

Анатолий Сендер

В КРАЮ ЗЕРКАЛЬНЫХ
ОТРАЖЕНИЙ

Роман

Минск
Издатель А.Н. Вараксин
2009

УДК 821.161.1(476)-32
ББК 84(4Бел=Рус)-44
С31

Сендер, А. Н.
С31 **В краю зеркальных отражений : роман / Анатолий Сендер.** — Минск : А. Н. Вараксин, 2009. — 496 с.

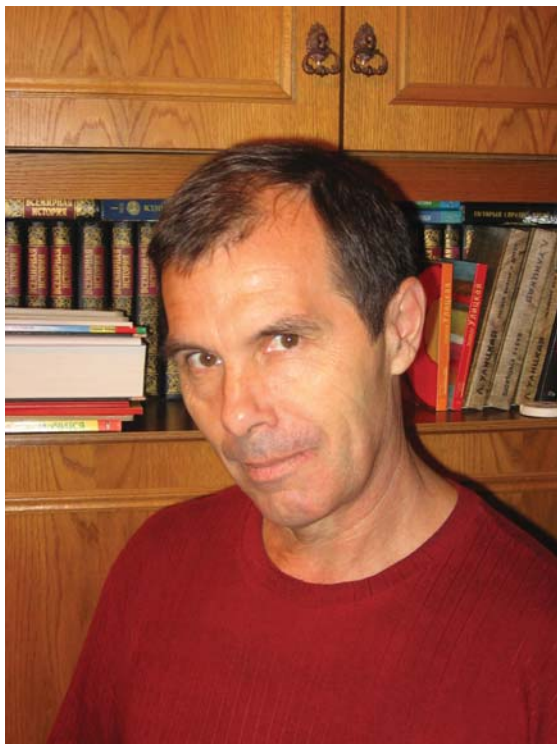
ISBN 978-985-6822-96-7.

Книга прозы Анатолия Сендера “В краю зеркальных отражений” – это продолжение исповеди жизни, начатой автором в романе “Южнее улицы Юшкова”. Это поэма о красоте, воспринимаемой чувствами, это запечатленное в слове зрение очами души. Это откровение для тех, кто способен видеть прекрасный лик всегда торжествующей справедливости, слышать мольбу очаровательной немощи, восхищаться взрослой детскостью, ее кротостью, покорностью и честностью.

УДК 821.161.1(476)-32
ББК 84(4Бел=Рус)-44

ISBN 978-985-6822-96-7

© Сендер А.Н., 2009
© Оформление.
Издатель А.Н. Вараксин, 2009



**Посвящается
любимому внуку Богдану**

Часть первая

Предуведомление

Это не сочинение, а документально зафиксированный опыт пережитого, сохраненный в чувствах, погребенный в подсознании и воскресенный благодаря духовному развитию. Пришествие на стезю самопознания само по себе значительное событие в жизни любого человека. Желание очистить себя от налета греховности — от явного и очевидного до тайного и глубоко скрытого — ведет к прекращению самообмана, что в свою очередь способствует возвращению здравомыслия и, следовательно, душевного здоровья.

Это произведение волнующей чувственности и психологической учености, обретенной не в книгах, но в горниле практического признания и решения своих проблем, приведшей к пониманию, действию, к правильным поступкам — в царство правильных принципов и отношений, на путь счастливой и целенаправленной жизни.

Это творение — не совсем художественное, хотя и живописное. В него призвана моя “живописная ученость” — преодолевать, говоря стихом Максимилиана Волошина, “двойной соблазн любви и любопытства”.

Возможно, кто-нибудь из читателей, захваченный метафорой идеи, возлюбит мои откровения многолетней давности, как живые и свои, или возлюбопытствует, что же там за боль — за неприхотливым иносказанием — неужели и вправду прямой и здравый смысл, таящийся в чувствах, то, значит, дело сделалось, образ заговорил, а боль воплотилась в слово.

От автора

Это не длинный роман в версификаторско-примитивном смысле, на создание которого имеет внутренне право всякий обыватель.

Это не “толстый” роман, несмотря на большое количество страниц, несмотря на то, что учитель причитал: “Длинные вещи сейчас никто не читает...”

Это не пустой роман, преследующий недостойные цели, проповедующий низменные идеи.

Это не утомительное чтиво с неумелыми метафорическими обхождениями, пейзажными длиннотами и скучным сюжетом.

Здесь вы не найдете многокилометровых умствований героев, бесконечных философских рассуждений, дерзких попыток прослыть мессией.

Здесь вы не увидите диковинных эквивоков, оригинальных высказываний, логической завершенности.

Здесь нет согласий или разногласий, из каких складывалась данная книга, из каких возросла и плодоносит.

Здесь нет фона и нет контекста, фрагментарности или случайности, обыденности или запредельности.

В сочинении нет ни одного вымышленного героя, ни одной придуманной ситуации, ни единого слова неправды.

В творении все истина, за исключением тех моментов, где по этическим соображениям изменены имена любимых женщин.

В произведении чувства и страсти, искренности и откровенности, исповеди и крика души одна лишь боль самопознания, известная своей пронзительностью в позднем возрасте.

В долгом мотиве перемежающихся луговых и небесных мелодий слышатся естественные птичьи речитативы, настоящий шум ветра, пронзительное тепло прямого солнечного света.

Перед вами то, что стало историческим временем, пережитым и прочувствованным, оставшимся в глубинах подсознания невысказанным удивлением, обидой и восторгом.

Вам предлагается то, что не истончилось по истечению судьбы, что оказалось вовсе не прямолинейным маршем, но затаенным магическим словом.

Личный опыт предвосхищает чудо, претворяет это диво в нечто, могущее предстать перед небытием с чистой совестью.

Личный опыт — нет его бесценнее — в данном замысле пригоден для всех. Потому что вот такой это опыт, такой свет, идущий все же из чувств, от них рожденный.

А значит, опыт смиренный, стоящий впереди интеллекта, утверждающий, дающий ощущение опоры.

И, стало быть, видение предвосхищает песнь, и она вызвенивается из опыта, творящего одну судьбу, коей все исчерпано.

А сам опыт неиссякаем, как неизбывны Чувства, Любовь, Слово.

Перед вами роман, отозвавшийся дивным словом честности и чести, раз и навсегда.

Вам книга, над которой не властно время, огонь, злокозны критиков. Она несет тихое добро и светло противостоит злу.

Она одинока и растеряна и потому всемогуща, храня неизреченные тайны, оные произнесены.

Перед вами я в обнаженном виде, и то, что, кажется, должно приземлить, окрыляет меня, будто страх божий, будто беспрекословное смирение...

Слиловые страдания

Сестра выбежала из гущины крыжовника, быстро сунула мне в руку сломанный ею саженец сливы редкой породы...

Я радостно и бездумно взмахнул тростинкой, словно саблей, и поскакал на воображаемом коне навстречу мчащемуся мне винограднику...

Из садовой тени, точно призрак, появился отец. Родитель выхватил у меня из рук злополучную хворостину, принялся меня сечь по чем попадя...

Через пятьдесят лет мы с сестрой проговорили далекие сливовые страсти. Валентина повинулась, созналась в том, что саженец сломала она, попросила у меня прощения.

Сливовая история обрела законные очертания. Истина восторжествовала. Таковы пути развития духовности — справедливости и любви...

Странно...

Странно, что в один из дней лукавых в наш дом ввалилась соседка и обвинила меня в нападении на ее сына, но я ничего не помнил...

Странно бродя по комнатам в лунатическом оцепенении, я иногда просыпался от маминого голоса: “Толя, Сынок...”

Странно, что я очнулся на берегу озера от звука смеющихся голосов. Ведь я ложился спать со всеми в палатке...

Странно, что в школе не запоминалось имя первой учительницы.

Слышишь, — тербил я рукав первого соседа по парте Витьку Трофимцева, — ты не забыл, как зовут нашу классную?

Странно, но после свадьбы моего друга мне шепнули: “Ты приставал к невесте, тебя могли убить...”

Странно, но с тех пор я перестал быть лунатиком...

Террикон

Решительным у нас считался поступок — взобраться на скопище дышащей породы, чадающей сероводородом, непрерывно дымящей, а главное, полной неизвестности. При добыче угля породу убирали несколькими способами. Один из них — складирование, последовательный вывоз сравнительно небольшими вагончиками — вагонетками. На шахте их пруд пруди. На днях мы со Славиком, одноклассником и другом забрели на лесной склад (время воскресное, социалистическое, бесхозяйственное) и давай раскатывать вагонетки под гору, и давай валить их на стрелках узкоколейки. Мы не тронули только тяжеленные вогончики, груженные лесом для отправки в забой.

По пологой стороне террикона простиралась колея, система тросов, лебедка, опрокидывающие устройства — вот и вся недолга. Вагонеточка переворачивалась, и катились вниз крутясь каменистые, уродины бесформенные, крепыши зазубренные, понеслись, не стой на пути — убьют, и случалось...

Таким образом возвышенность росла, расширялась, двигалась в разные стороны. Чтобы она не сбилась с пути, ее регулировали за счет насыпи, переставляя рельсы, заставляя породную массу двигаться под контролем. Поэтому насыпь становилась многоголовой, холмистой, образуя впадины, выемки, углубления, хороня тайны и не только их. Какие-то звуки, какие-то энергетические потоки таились в породных глубинах. Давным-давно для меня устроили экскурсию по лабиринтам шахты Лидиевка. В одной из проходок мы услышали зыбкий смутный голос, и мой провожатый рассказал мне, что это дух погибшего шахтера, тело его не смогли разыскать после трагедии. Возможно, таинственный дух иногда бродит по террикону, возможно, по такой причине здесь мальчики редко устраивали гульбище.

Со средней высоты гиганта — сказочное обозрение, жаль только, что Славик отказался путешествовать со мной. Как на ладони просматривался лесной склад, неухоженное кладбище (первейший показатель уровня культуры любой нации). Здесь иногда погребали усопших — могла над могилой, что не позволительно. В беспорядочных могильных рядах не различить холмик дяди Сени, жертвы лидиевской шахты, эмоциональной незрелости, инфантильности, прожившего свой короткий век под управлением инстинктов. Если верить свидетелям, дядя погиб, выполняя не свою работу в смертоносном бардаке социализма. А когда отцу в этой же шахте закрутило буром рукавицу и руку на производстве не было защитных щитков, но они появились мгновенно, как только случилась трагедия.

В знойный день террикон хорошо обдувался ветром, здесь острее пахло пылью. Может быть, и хорошо, что Славика нет со мной. Мне нравилось мечтать и с высоты различать на отчих переулках, например, Ваську Клименко. Понесла его жизнь через тюрьму, наркотики, алкоголизм. Умный, тонкий, сильный Вася паханом поселковой шпаны себя держал. Сильно страдал он от обостренного чувства несправедливости. Одного мужика застал на воровстве, привязал к столбу, повесил на грудь табличку “Вор!” Агрессивного соседа Васька загнал в погреб и целый день перевоспитывал. Он тоньше меня чувствовал грань жизни и смерти. Потом он набрел на толпу обиженных им поселчан, те жестоко избili Васю. Я приехал в отпуск после всех поминальных дел. И похоронили его на этом же кладбище.

И Валика Артюха, соратника по футбольной академии, тренера шахтной команды, мужа моей соседки Тамары закопали в местный

кладбищенский чернозем. Чуть раньше моего друга легла в землю его супруга Тамара. У меня была возможность еще при жизни Валентина и его жены попытаться донести до них идеи Анонимных Алкоголиков, но я не выполнил свою главную миссию трезвости, страх преградил мне путь к действию. Маму Тамары всю жизнь любил мой отец. Их роман тянулся много лет через звонкие скандалы, через ревнивые сцены моей матушки.

Несмотря на жару, я решил провести терриконную тренировку. Валяющуюся шину от грузовика я водрузил на плечи, бегая вверх-вниз, задыхаясь от марева. Потом поднялся к лебедке, выпросил у мотористки кусок веревки, привязал к шине и, точно бурлак, потащил колесо в гору, отработывая рывок. Вот бы Славик видел! Жарища, пылища, а я, как паровоз, волок эту нескладуху на подъем.

И что происходило со мной дальше, я не могу объяснить. Скорее всего выходила отроческая агрессивность, вложенная родительской жестокостью.

Согласно мировой психологии, агрессия не может быть направлена на более сильных предков и впоследствии и непременно извергается вовне неожиданно и непредсказуемо и не конструктивным образом. Короче говоря, я принял решение колесо вниз катнуть, причем, хорошо понимая, насколько опасна такая безумная “шутка”. А горка-то — метров триста высотой, уклон-то — градусов пятьдесят. Вроде внизу никто не проглядывался. Летело, скакало мое прыгающее чудище, неся силу дьявольскую на забор склада лесного, к террикону прилегающего. Откуда ни возьмись, через проем вынырнуло существо в робе. Мужик долго возился, вытаскивая широкую доску, подождал бы немного. Колесо протаранило забор неподалеку, легким движением выметнув двухметровый пролет. Да так молниеносно, что мужчина только слегка повернул голову на странный шум и медленно потащил по тропинке тяжеленную и широкую сороковку...

Шахта “Лидиевка”

Дядя Сеня погиб в 50 г. прошлого столетия в Донбассе на шахте 2-7 Лидиевка.

— Задавали, суки, — глубоко под землей прозвучали его трагические последние слова и навечно затерялись в неисчислимых проходках угольного края...

Нелегкий шахтерский рубль оказался для нашей семьи несчастливим. Вскоре в той же шахте мой отец получил тяжелое увечье. Руковищу-спецовку и руку ему закрутило буром. Нетрудно представить потрясение человека, потерявшего трудоспособность в расцвете сил. Тем не менее Никифор Сендер, обученный плотничеству во время

трудо­вой по­вин­но­сти в гит­ле­ро­в­ской Гер­ма­нии, пе­ре­учил­ся на ле­вую ру­ку, пе­ре­ори­ен­ти­ро­вал­ся в плот­ни­ц­ком ре­ме­сле, дви­нул­ся за­во­е­вать по­се­лок. Сле­ду­ет за­метить, род­ные па­ле­сти­ны по­лу­чи­ли креп­ко­го ма­сте­ра, не стре­мя­ще­го­ся за­ши­бить ко­пей­ку. Бу­к­валь­но, нет в го­ро­де До­не­ц­ке на ули­це Юш­ко­ва ни од­но­го до­ма, где не сту­чал бы его у­ме­лый мо­ло­ток, не в­жи­ка­ла его бле­стя­ще от­то­чен­ная но­жов­ка, не бли­ста­ли его не­скон­ча­е­мые анек­доты...

Дядю Пе­тра мы, ес­те­ствен­но, не ви­де­ли. В од­ном из бо­ев с не­мец­ко­фа­шист­ски­ми войс­ка­ми, по сви­де­тель­ствам оче­вид­цев, бом­ба раз­ор­ва­лась бу­к­валь­но у не­го под но­га­ми. Остаток по­хо­рон­ка и све­тлая па­мять о те­бе, Пе­тр Сте­па­но­вич Сен­дер...

Чет­вер­тый брат по ли­нии от­ца дядя Ми­ша же­нился на в­дове дяди Се­ме­на. Он не­мно­го по­ра­бо­тал в шах­те, купил “Во­лгу” и вс­ко­ре укати­л в ме­нее тра­в­мо­опас­ный Ме­ли­то­поль. Отец его за что-то не­до­лю­бли­вал...

Дед Сте­пан ока­зал­ся дол­го­жи­те­лем. У­час­тник Пер­вой ми­ро­вой вой­ны, штабс-ка­пи­тан цар­ской ар­мии, он имел сказоч­но кра­сивый по­черк. Пом­нит­ся, ма­ма все­гда ста­вила в при­мер ка­ли­гра­фиче­ские стро­чки его пись­мен­ных по­слан­ий.

Дед по­хо­ронил трех сы­но­вей. Воз­мож­но, он пе­ре­жил и чет­вер­то­го сы­на, но связь с ним об­ор­ва­лась, и даль­ней­шая судь­ба де­да и дяди Ми­ши мне не­из­вестна...

Отец пе­ред смер­тью ви­де­лся с де­дом и, по сло­вам ма­мы, все ему вы­ска­зал: и над­рыв­но тя­желые брев­на в ю­но­сти при стро­итель­стве до­ма, и лич­ные оби­ды, и от­но­ше­ние к ма­те­ри, и прочее, и прочее...

Я иду по Ли­диев­ке, не­ва­дали от мо­ги­лы дяди Се­ме­на, за ко­торой по ка­ким-то при­чи­нам ни­кто из на­ших не на­блю­да­ет. По тем же об­стоя­тель­ствам я, каж­дый год при­ез­жая в го­сти, поч­ти не по­се­щаю прах от­ца, от­че­го мне и стыд­но, и печаль­но. И лип­кое чув­ство ви­ны, пе­ре­ме­шан­ное с уголь­ной пы­лью, с рас­топ­тан­ны­ми аб­ри­ко­са­ми и шел­кови­цей, мне дол­гим ук­ором...

Женская баня

Вход в жен­ское мое­чное от­де­ле­ние, воз­мож­но с умыслом, спря­та­ли в мно­го­чис­лен­ных ла­бирин­тах ком­би­на­та шах­ты — по­даль­ше от любо­пыт­ных маль­чишес­ких глаз. Что­бы па­ца­ны, бродя по сред­не­ос­ве­щен­ным ко­ри­до­рам, блу­ждая тай­ком от ро­ди­те­лей в не­драх притя­га­тель­но­го и бес­край­не­го по­ме­ще­ния, слу­чай­но не наты­ка­лись на за­вет­ное ви­део.

В по­ис­ках при­клю­че­ний, го­нимый жа­ждой поз­на­ния ми­ра, я добро­совест­но, эдакий раз­веселый дош­ко­ляр, на­кру­чи­вал шах­тные ки­ло­мет­ры, на­чи­ная с же­лез­но­до­ро­ж­но­го ту­пи­ка, от­груз­ки уг­ля и по­род­но­го бун­ке­ра. Я, пре­ис­пол­нен­ный ощу­ще­нием не­хват­ки че­го-то, ис­кал не­из­вестно что,

поглощая реальность, совершенно не фильтруя бытие. Суть которого, оказывается, коренится в идее, объемлющей всю жизнь, целиком ее всю, как бы сказали византийцы — “всеохватывающее воспитание”, в каждом деятельном шаге — практическое, здравомыслящее. Но идеи как таковой не предвиделось, и я создавал истину из мусорных “гандонов”, найденных на свалке, шлангов от противогазов и прочая, и прочая.

В поисках самого себя, я кружил по золотистой угольной пыли, честно и открыто слоняясь от сборника опилок (купаюсь в них, потом не отряхнуться) до медпункта, привлекающего отличительной чистотой в царстве неиссякаемой грязи и духоты. Я просачивался на лесной склад, не находя там ничего привлекательного. Я перебирался к точильне, подолгу стоял у гулкого крутящегося точила, наблюдая, как мужики “доводят” топоры и ножи.

Меня не интересовала только столярка. Там можно было столкнуться с отцом или попасть на глаза его приятелям, что завершалось одинаковым наказанием, допросами и трепкой. Но если признаться честно, меня вообще-то привлекало другое, вовсе не эта пыль, густо намазанная на чернозем. Таким хитроумным образом я прятал свой главный замысел — разочек подсмотреть в открытые двери женской бани. Мои сверстники кричали об этом на каждом перекрестке, не таясь, я почему-то молчал о своих чувствах, живя в ореоле тайны.

Аки зверь, кружил я, приближаясь к добыче. Попробуй сторонний соглядатай проследить за мной, ему бы пришлось туго, он бы замешкался от недоумения, не понимая моих действий, сияясь объяснить логику моего движения, в бессилье опуская руки. Никто не подозревал наличия строгости и целеустремленности в хаосе детских движений. Как невозможно представить обратный образ осетра, уходящего из морских глубин в невероятно трудное и смертельно опасное путешествие, как бы раскручивая жизнь до истоков.

Может быть, психическая травма, психологический шок случился, когда мама взяла меня, умеющего чувствовать, в женскую баню. Невероятное, чудовищное преступление, под видом невинного омовения. Я очень хорошо помню ощущение стыда, безгласности, насилия над личностью (меня уговаривали голые взрослые бабы всем миром не стесняться).

Меня пытались раздевать силой, ласками, обманом, но я, шестилетний, полностью сформированный малыш (в личностном плане) скорее бы умер, чем принял бы нелепое предложение женской половины человечества. Никто так не унижал мое “я”, никогда меня так не растаптывали принародно. Ни разу в жизни я не чувствовал себя столь сильным и решительным в желании противостоять натиску глупости, беспардонности и нетактичности. Сжав зубы до ломоты, скрипа, я сидел в раздевалке, низко опустив голову, видя лишь женские колени, ненавидя голую мать вместе с обнаженными тетками.

Может быть, чувство мстительности направляло мои стопы к заветному входу (я хорошо помнил то место), узнаваемому по запаху мыла, мочалок, по виду выходящих, хохочущих, чистых женщин. Распахнув двери (можно кое-что подглядеть), они шумно вытекали в пыльный день, не замечая мальчика, пристально всматривающегося в предбанник...

Забытая поездка

В нашем доме многолюдно и накурено, в нашем доме гости, громкие разговоры, смех, игра в подкидного дурака. Мама и папа заполняют медленно и заунывно текущие будни.

Никто, кроме мамы, не обращает на меня внимание, на семилетнего малыша, греющего ноги в теплой духовке. Никто, кроме осеннего ветра, не знает о моих злоключениях. Ни одна душа не догадывается о моем неожиданном путешествии, случившемся сегодня.

Я восседаю на крепкой, незбылимой, как социализм тех времен, скамейке, мастерски сработанной дядей Женей. Мои ноги пока еще терпят в ненагретой духовке, держат не слишком сильный жар, ерзя по подстеленным половицам, которые и сушатся, и ногам подмога. Сейчас, когда мне бестревожно и хорошо, я с трудом верю, что еще совсем недавно меня в открытой машине вместе со всей командой, пронизывал неумолимый холод.

В одно время с известным в нашем районе коллективом футболистов я оказался на месте их традиционного сбора. Страстно и пылко наблюдал я за любимцами наших улиц, за кумирами футбольных полей. Я преисполнился готовностью совершить любой поступок, пойти на любую жертву, лишь бы находиться рядом с кудесниками мяча. Я даже страдал оттого, что они уезжают, а я остаюсь на окраине одиночешенек. За мгновение до отъезда я спросил у Вовки Денисенко, сына маминой подруги, нельзя ли мне поехать вместе со всеми. “Давай, быстрее забирайся...” — легко и просто разрешились мои сомнения, после чего я пружинкой взлетел на колесо, перекинул тело через борт, и газик тронулся.

День тянулся теплый. Туда ехали долго, потом я понял, что направлялись мы лишь в другой конец нашего города. Мы вкатили на настоящий, с огромной оградой, с рядами разноцветных скамеек, со спортивным комплексом площадок, с раздевалками и душем, стадион. Ничего подобного мы не видели на своей забытой богом станции Весовая. Обычное поле, кое-как размеченное, втиснутое в частный сектор за спиной магазина, куда при разминке и во время игры непрестанно залетал мяч, отчего, к нашему стыду, перед гостями возникали конфликты с директором торговой точки. Но здесь развернулась настоящая спортивная красота, по которой можно бродить, забираться на всякие

металлические приспособления, висеть на шведской стенке. Что я не без успеха и делал много часов подряд.

Мы приехали задолго до игры, как и полагалось накануне матча. Я, конечно, измаялся от громадного времени, свалившегося на меня.

Я очень проголодался, тогда как футболисты получили свои талоны и спокойно пообедали. Сама игра мне запомнилась очень крупным поражением моей команды и моим напрасным желанием победы нашим. Моя заветная мечта не осуществилась, но подсластилась одним голом, забитым моим кумиром Вовкой Денисенко. Счет оказался таким неприличным не в нашу пользу, что я, как футболист, не стану его называть.

Мы возвращались домой, верно, через Москву. Мы добирались как-то долго и мучительно. Я иззяб до такой степени, что, казалось, никакая печка уже не согреет меня.

Вовка Денисенко всю дорогу советовал мне надеть на ноги гетры, но я рос гордым и ни за что не мог показать свою слабость, затаив обиду на старших товарищей, которые, как мне казалось, обязаны обо мне позаботиться. Первое мое футбольное путешествие завершилось недалеко от дома. Я спрыгнул с машины, изображая взрослого, едва не отбив окоченевшие ноги. Больше всего на свете я боялся, что родители меня разыскивали и били тревогу. Я никак не мог взять в толк, как же мне выкрутиться, если начнется дознание. Пока рядом со мной шел Вовка, я чувствовал себя спокойно. Потом сосед свернул направо, а я ввалился в ярко освещенный вечерний, шумный, полный гостей дом прямо за полный угощений стол. Я ел, не останавливаясь, а мама нудила, что я ничем не помогаю по дому...

“Кому мороженое...”

Я слышал сладкий клич, летящий по поселку звонко и пронзительно, и мое сердце замирало от предчувствия праздника. Сам клич доносился за тридевять земель и, где бы мы ни играли, голос каким-то необъяснимым образом находил нас, доставал, пронимал и зазывал безоговорочно. На голос-крик мы слетались, как куры на призыв кормящей хозяйки. Мне не доводилось видеть ничего подобного. Сущее согласие, переходящее в соголасие. Течение податливого материала в одно русло. Опоздание исключалось, потому что те, кто не успевали, чаемого лакомства не получали. Те, кто не слышали, оставались с носом, с чувством неудовлетворенности, обиды и детской злости.

Я вбегал во двор коротким путем, минуя выемки и обильные чертополохи. Я задыхался от счастья, что заветное словосочетание “кому мороженое”, вспыхнув, полыхает на перекрестьи нашего проулка и улицы Юшкова. Я на одном только выдохе кричал, орал, громыхал маме, разыскивая ее взглядом в густом малиннике огорода, скользя

взором дальше под шелковицу поверх картофеля. “Ма, — кричал я, — там мороженое” — и мама, моя сказочно добрая мамочка, летела в дом за вожделенной мелочью, за одиннадцатью копейками, за стоимостью белого молочного дива.

Совершенно счастливый, с праздничным лицом, я взирал на всегда опаздывающего Славика и тайне радовался его горю. Поселок на мгновение, всего лишь на несколько минут наполнялся шумным веселым шумящей детворы, праздничной суетой, беспричинным смехом и восклицаниями. С каким-то чувством, похожим на сострадание, наблюдали мы за плачущими детьми из многодетной семьи, приунывшими, опоздавшими на зов заветного голоса. Я глядел на Валю Яхно (вечная ей память, безвременно ушедшей в мир иной), Валя мне нравилась, но выразить детское чувство я не мог и всегда обижал ее. А потом получал нагоняй от дяди Вани (ныне покойного).

Сегодня я с удовольствием заглядываю в гостеприимный дом тети Нади Яхно, подолгу беседую с умной, интеллигентной Верой, которая, в принципе, могла стать моей женой. Сегодня я не злюсь на своего отца, ярого противника мороженых, пирожных и всякого рода конфет, и вообще сладостей. “Ешь яблоки...”, — жестко изрекал папка в ответ на мои просьбы о шоколадах-мармеладах. И, окатив тревогой, исчезал в сторону своего лесного склада. Я же много лет не мог взять в толк, как можно любить яблоки, если Сашка Алехин ест на улице мандарины, а в магазине на витрине расплываются от жары огромные коричневые заварные пирожные. Как можно жевать рыбу с коротким названием хек, которой из-за дешевизны закармливала нас мама. Как можно смотреть на маринованные огурцы и помидоры, день и ночь, летом и зимой не исчезающие с нашего стола.

А сколько радости я испытывал в дни приезда сестры Люды из Таганрога. Мне выпадала на долю огромная (ею не надо делиться) шоколадка. Людя вручала мне желанную плитку, общалась с мамой, играла со мной. Я от радости, жадности и всего вместе добивал в одночасье сладкое угощение, боясь, что придется делиться со старшей сестрой. (Младшая сестра Галя еще не родилась). Я выбирался из-за дома, ощущая страшную жажду, умиротворенный на целый год, чумазый и коричневый от шоколада. Я складывал блестящую фольгу (мы назвали ее золотом), прятал в свой тайник, и сказка завершалась.

И снова приходилось есть полезную, хорошо приготовленную пищу. Вновь начинались будни, полные солений, мочений, пшенной и перловой каши, жареной картошки и чая с большим количеством сахара. Ничего не лезло в горло в эту жаркую летнюю погоду с ее тридцатиградусной жарой, с ее чистым безветренным небом и безоблачным горизонтом.

По-прежнему шахтный гудок звал шахтеров на смену, гудок еще не отменили. Как обычно, мы неслись за выемку на бугор и катились с него

вниз, к ногам выпивающих после смены шахтеров. Как всегда, сквозь мириады звуков, несмотря на грохот проходящего поезда, мы опять предчувствовали заветный и далекий зов “Кому мороженое...”

Забывтые уроки

Незадолго до глубокой осени, томясь безвременной непогодой, я изнывал под снегозаградительными щитами, стоящими в вечном наклоне. Масса их, прижатых друг к другу крепко сбитых сосновых пролетов, накреньясь, никогда не падала. Давя один другого, каждый такой ж-образный сбитень, окрашенный темной водоотталкивающей смесью, составлял силу и плоть типичных для моего детства диковинных сооружений. Мы забирались по шершавым, неоструганным боковинам, подолгу сидели на неудобных остро обрезанных и неопрятно складированных сосновых наверхих.

Моим учителем был Бог и случай. Я играл роль своей маленькой пьески, воцарившись на груде щитов. Я находился в том возрасте, когда ответов пока еще нет, а вопросы сыпятся как из рога изобилия. Они падали на жирный чернозем, возлежащий площадью у моих ног, тянущийся во все стороны одинаково и далеко. Свежевспаханная земля упиралась в местное кладбище, расположенное между терриконом, дорогой и частными домами. Буквально в двух шагах по железной колее тащился железнодорожный состава, как всегда перегруженный углем и лишними вагонами. Я располагался на одном уровне с машинистом и чувствовал себя равным с грозным, испачканным углем мужиком. Я всегда боялся машиниста, потому что без конца швырял камни в звонкие боковины вагонов. Но теперь я не испытывал чувства вины, спокойно глядя дядьке в глаза. А сцепщик дядя Саша Кривуля, папа моего друга детства Славика, совсем не показался мне страшным. Он по обыкновению стоял на площадке последнего вагона, замыкая угольное шествие, махнул мне рукой. Прежде чем “черное золото” отправится на станцию Весовая и затем на бескрайние просторы державы.

Я, конечно, сдрейфил от мысли, что дядя Саша передаст отцу мое местонахождение, но виду не подал. Безвольность сменилась зачатками чувства собственного достоинства и значимости. Я едва не задохнулся от осознания своего земного значения, что мне ничего не нужно бояться. Поистине лунатичность владела мной в минуты парения над пашней. Свобода маячила в отдалении, как бы приглашая причаститься к ее тайнам. Безмятежность и беззаботная легкость влекли мой неустойчивый дух куда-то в неизведанность. Я поднимался до уровня молодых акаций, вверяя свои детские муки и горести, свои душевные и телесные силы воображаемому полету.

Слова еще не сказались, жизнь только-только началась. Жизнь, как чудо взглянула на меня дружелюбно, промолвив: “Хватит...” И мягко толкнула на землю. Я рухнул в насыщенную сыростью пахоту. Земля заговорила со мной живо и реально, возвращая в текущие страхи и проблемы. Пинок судьбы прервал беспамятство, любовь небесная благодатно отворила створ дум. В мои провинциальные задворки вомчались уроки! Как же я мог о них позабыть? Я вдруг очутился в их власти, перепорхнув из страны эльфов в царство грифов. Иллюзия исчезла, щиты стали ненавистны. Невысокие домики на далеких околошахтных участках показались вовсе не такими просторными. Непогода, не предвещающая ничего, кроме дождя и слякоти, теперь производила тягостное впечатление.

Я бежал, раскрасневшийся и потный мальчик, по улице Толстого, расстегивая курточку. Я спешил исполнить задуманное — забраться на ржавую кабину, брошенную у дома одноклассника Сашки Захарова. Сноровка подвела, я рухнул со скользкой крыши вниз. Ссадина на ноге оказалась глубокой, кровь просочилась через штанину и не затиралась. Я плакал от боли, обиды и одиночества. Я рыдал от жалости к самому себе, от страха перед невыученными уроками. Как будто и не было недавнего легкого, бессмысленно-воздушного веселья. Я утер слезы, не обращая внимания на Сашку Захарова, плящегося на меня из ворот своего дома, смирившись с разбитой ногой, решительно бросился к отчему дому, проскальзывая и путаясь в густых и трудно отмываемых грязях...

Этикетки

Я услышал от соседа Кольки, поселкового коллекционера: “Монеты старые имеешь?” Я бы рад угодить Коляну, я бы разбился в доску, окажись в нашем доме шедевры нумизматики. Ценные монетки перекочевали бы куда угодно, лишь бы засвидетельствовать свое присутствие в мире, лишь бы ощутить чувство значимости, не доданное родителями. Но в отчем доме не хватало даже современных монет на хлеб. Мама не могла сходить в магазин. Возможно, в нашем огороде и таился захороненный клад, только место, где он расположен, ведали одни шумящие абрикосы и вишни.

Колька глубоко подцепил мой растрепанный образ. Колька затронул мою душу, жаждущую причастности, ищущую цель, изнывающую без пути. Желание возникло, благодать прынула, путь постелился. Само собой определилось: “Начну собирать этикетки...” Гришка Тамуров просто накапливал перышки, но перья нужно покупать, а денег родители не выделяли. Предки в основном возводили здание взаимоотношений без любви, доверительности, интимности, заботы, чувства исключитель-

ности. Стены рушились мне на голову, предки безуспешно начинали все сначала. Работа отнимала силы и средства. Не надеясь на их помощь, я отказался от соблазна приобретать перышки. И вообще я перестал думать о деньгах. И все же мне не давали покоя спичечные этикетки.

Я встретил Кольку, бредущего по разжиженному чернозему от путей к дому. Колька относился ко мне, как старший к младшему — снисходительно и немного свысока. Колька нес в кармане невиданное сокровище — новенький набор спичечных этикеток (оказывается, они свободно продавались по сто штук в наборе). Колька показал мне свое богатство, не выпуская диво из рук, не разрывая упаковку.

Порыв, овладевший мною, только и смог поддержать меня. Страсть ударила и в бровь, и в кровь, и в кривь. Я шел по грязи, направляясь домой, разрываемый обидой и саможалостью. Агрессия хоронилась внутрь, невысказанная, зачинала мне славное алкогольное будущее.

Я привел в порядок очень грязные сапоги, намучившись у “чистилки”, с пламенем в душе поспешил на кухню, начал нервно срывать этикетки с папиных спичечных коробков. Я не ведал, по каким ориентирам я двигался, я не думал, что творил, но, видимо, юродство вложено в меня небесами.

Отныне всякий мужчина, тянущийся непроходимыми грязями по улице Юшкова от шахты на станцию Весовую и наоборот, встречался с безвестным мальчиком, просящим разрешения сорвать наклейку с коробок. Всякий, стоящий на нашей остановке, сталкивался с моей безобидной просьбой. “Берегите лес” написано на картинке. Она отклеивается с уголка ноготочком, с каждым изгибом двигается наискось. Три-четыре завитка, и коробок сиротеет, становится безликим. А диво аккуратно складывается в карман.

“Дяденька, можно мне...” — звучало смиренно и убедительно. А на цветном изображении, что ни день, то новинка: “Тот, кто кофе утром пьет, целый день не устает.” И такие сюжеты печатались на спичках.

Я топтался у шоссе, ожидая жертву. На обочине в грязи я заметил помятую трехрублевку. Я примчался домой, застучал по ручке. Отворив дверь, мама шумнула: “Мы моемся...”. Она взяла трешку, дверь прохрипела, как перволед. Я не огорчился, уходя в осенний день, слепой от слез, считать свои этикетки.

Тревога

Спички я загодя взял дома, когда отец нырнул в погреб за синенькими и задержался там надолго, волнуя звонкостью своего винноводочного схорона, о котором я знал давным давно. Я спрятал тархатящий коробок в карман, испытывая при этом великое чувство вины. Мне думалось, тархатеньке разносилось по дому, сотрясая соления и

ветхозаветную тьму погребного подземелья, неприветливо чернеющую под ногами.

В глубоких карманах вельветовых штанов спички шебуршали и на улице, и звук их распространялся до самых путей, затихая в реве ползущего на станцию длинного состава с углем. Зыбкость моего благополучия заставляла воображение додумывать за мимоидущих прохожих и вообще — я предполагал, поселок только тем и занимается, что вслушивается в таинственные звуки, исходящие от неказистого мальчугана.

Вообще-то чувство вины (сегодня я плотно занимаюсь этой проблемой) неосознанное, невыраженное, непонимаемое властно, слепо, искусно управляет человеком, соответственно разрастаясь до мировой вины с непонятными и необъяснимыми истоками и последствиями. Отклонение психологической нормы поведения вело меня к соседям, здесь и там работающим на огороде или стоящим просто так у калитки на “дозоре”. Всех поприветствовав, я держал руку в кармане, сжимая громкие, звучные спички до опотевания ладони.

Впрочем, спички выполняли роль отвлекающего маневра. Если что, я преисполнился готовностью сдать спички, повиниться, покаяться. Я изготовился предать спичечную идею, если что-то не заладится. Я придумал версию о найденном коробке, на случай проверки карманов отцом. Спички я нашел в месте, куда нормальный Макар телят не гонял.

Я тянул время, выгаптывая дорожку к выемке. За бурьяном я резко свернул вправо и пошел, невидимый, на всех парах вдоль бугра с той стороны, наполненный большим количеством новых ощущений, вдыхая запах пережженного и свежего каменного угля. Там, у меченого столба, на стыке двух пролетов еще вчера я закопал пустую коробочку с тремя недокурками, подобранными на остановке автобуса. В расщелине штакетника виднелись громадные и трогательные кисти винограда, и чувствовалось присутствие беспокойного пса. Зверюга-таки учуял мои суетливые движения, мое копанье в черноземе, но припрыгал в мой регион явно с опозданием.

“Гав...” — не страшно громыхнуло за спиной, добавив еще одно блеклое впечатление в нескончаемое изобилие текущего дня. К великому сожалению для пса, я уже перескочил дорогу, растворился в разнотравье, занятый исполнением мрачной миссии — уничтожением своего драгоценного здоровья, служа тьме и силам реакции. Нетерпеливо, как наркоман, дрожащими руками я выгаптил из коробочка вонючий, со следами укуса “бычок”, зажал его зубами, присел пониже, чиркнул спичкой, неглубоко и неумело затянулся.

“Стоять!”, — напоминающее тоже собачье “гав” твякнуло прямо над моим ухом. Я почуял усиливающуюся тошноту, узрев соседских парней старшего поколения Петьку Ляшенко и Кольку Иващенко. “Еще раз

увидим у тебя сигареты и спички, расскажем матери и отцу...” И убрели по своим юношеским тропам, поселив в душе моей тревогу.

Домой я возвращался совершенно разбитый из-за непрекращающейся тревоги. Спички ребята у меня забрали, недокурки я выронил от неожиданности и напрочь забыл о них.

Мельтешащие соседи больше не волновали меня. Мать стояла у калитки и разговаривала с Иваценчихой и Ляшенчихой, едва заметив сына. Я вглядывался в матернино лицо и гадал? “Знает или нет?”. А из проулка в направлении нашего дома сворачивали с неба свалившиеся Петька и Колька. “Здравствуйте, тетя Вера...” — крикнули они в один голос и не заметив меня, поспешили по своим делам. “Иди, поешь...” — ласково шепнула мать, и я понял, ей ничего не известно. В душе стало бестревожно, я с удовольствием бросился в дом — хлебать нелюбимое блюдо — борщ.

На поляне

Какое футбольное пространство, томящееся в забытых Богом шахтерских поселках, угробили эти долбаные строители! Водопроводную артерию они повели прямо по середине нашей игровой площадки между Фролкиными и улицей Ваинша. Окрестности превратились в то, что обычно получалось после начала строительства — экологическое беспамятство, природная некорректность саморазрушения.

Надо сказать, на известном пространстве царствовали представители дикого футбола с явным лидером Валиком Фролкиным. В его отсутствие футбольные мощности активнее всех набирал я. Фролкин, приходя, елозил всех и вся, в хвост и в гриву трепал защитников любых рангов и переулков. Его обводка, отточенная в диких страстях отечественного уличного футбола, казалась на тот час феноменальной и непостижимой нормальному человеку.

На обратной стороне нашего поселкового игрища, словно притаились крыши (вровень с землей) сараев, начинающих или завершающих поселок Ваинша. Улица со странным названием (верно, по фамилии какого-нибудь подпольщика) отличалась в нашем регионе нефутбольной почвой и обстановкой и дала миру наименьшее количество играющей молодежи.

Мяч, залетающий в неспортивное направление, падая в нефутбольные дворы, застревал у страшного дяди Степы Перуна. Несговорчивый взрослый ни за что не желал с нами общаться. Ребята, обескураженные таким поворотом событий, осиротевшие без футбольного снаряда, гурьбой спешили к моему отцу (председателю поселкового совета) за помощью.

На спортивную площадку тянулись исподволь, намеренно, охотно с интересом, от безделья и по зову души. От перезвона душ тишина

делалась колокольной, зовущей. Взрослые зова не слышали, по дремучести своей бесчувственной спрашивали одинаково: “У вас там что, медом намазано, что вы и утром, и днем, и вечером летите на поляну...” Медом не медом, но духовное развитие и личностный рост наблюдался основательный.

Однажды революционное настроение коснулось наших сердец, заискрило наш скромный интеллект. Мы взялись за лопаты, грабли, носилки и сделали настоящее негабаритное футбольное поле, со вкопанными бревнами-штангами, настоящей футбольной разметкой, угловыми полукружьями. Мы играли, трудно приспособиваясь к правильным ограничениям великого вида спорта. Хаос и анархия дикого становления обрели законные очертания гармонии и законные границы порядка.

И тут затарахтели тракторы, загудел экскаватор, замельтешили рабочие, сгружая трубы большого диаметра, задымили смолокурни. Площадка превратилась в поле битвы. Внизу склона образовалось озеро-болотце с билием лгушек. Вовка Поярков, местный естествоиспытатель ловко препарировал их лезвием, восторгая прозаиков и ужасая поэтов.

В своих неловких валенках я топтался поодаль, сожалея о не надетых сапогах. Погода не заладилась, ненастье свирепело. Неловко ступив на край болотца, я провалился по колено в воду и потерял калошу. Мои смятенные мысли рисовали сцены наказания. Бедные мои руки тщетно рыскали в непроглядной мелководья, пытаюсь спасти положение. Рукава пальто безнадежно намокли. Греюсь у смолокурни, я, не думая, прислонялся к грязной емкости. Затем, надеясь на чудо, я брал палку и вновь искал калошу. Ноги промокли, пальцы замерзли, душа кричала. Лицо и одежда от частых прикасаний к смолокурне приняли откровенно темный оттенок. А порванные штаны, как только я не заметил торчащий гвоздь на доске для сиденья, превратили меня в самого несчастного мальчика в мире. Как ни прятался я от мамки, она рассмотрела все и увидела во мне мое горе. Мама усадила меня возле духовки, подложив под ноги деревяшку, чтобы я грел ноги...

Поляну застроили. Валик спился, дяди Степы нет в живых. Его племянник Шура Перун — мне приятель и единственный нормальный футболист с того поселка...

Воспитание

Имя и отчество первой учительницы не запоминалось. Диковинное словосочетание не касалось моего негибкого мышления. Первые детские образы создаются чтением, играми, следованием изначальным контурам.

“За мольбой идет назидательное чтение, за чтением — молитва, кратким покажется отроку время при столь разнообразных занятиях”.

Так звучит выдержка из письма блаженного Иеронима — из 4 века “О воспитании отроков”. Лишенный внимания, письмоводительства, я вырос отроком диким, невоспитанным, падким на цветистые вещички и штучки. И конечно же, имя наставницы не укладывалось в моей голове со слабо развитой памятью.

Иногда отец проявлял учебное рвение. Он совал мне в руки книгу, указывал отрывок: “Читай и перескажешь...” И засыпал в перманентной нетрезвости. Я мучился, пытаюсь запомнить прочитанное, со страхом глядя на храпящего отца.

Видя папку, ночами напролет читающего популярные издания, я подражал ему. Отец брался за “детектив” “Преступление и наказание”, но вскоре отбрасывал сложные для его образования тексты. Прикасался к Достоевскому и я. Доходя до третьей страницы, я мучился от непонимания и так же, как и отец, запуская книгу в даль.

Иногда к нам в гости приезжал дед, привозя маленькую банку меда (дед держал пасеку). Мне указывали читать дедушке. После декламации меня не похвалили, а я так нуждался в чувстве причастности.

Мама, наблюдая, как я маюсь от пустоты безигрушечной, научила меня делать из струганных палочек нечто вроде буквы “ж”. И еще из двух книг творить одну и потом разымать их. Какое ни есть воспитание. Игра, а не пустота темная.

Мама, шутя, наступила на мои длинные, уродливые лыжи (как вообще можно было купить малышу такое чудище, да еще на фоне гоночных лыж друга Вовы Козела), я раздраженно сделал рывок, и мама неуклюже рухнула навзничь, больно ударившись головой об оснеженную землю. У нас не было понимания, эмоциональной связи. Ничего, кроме чувства отчуждения.

Вечером я слушал проигрыватель, мама пыталась разучивать со мною фокстрот. Я передвигал ноги и ощущал гадкую брезгливость.

Купив велосипед, отец наблюдал за моими колеистыми падениями. Вскоре, перепахав колею, с разбитыми локтями и коленками я несся по высыхающему чернозему. И ветер свистел у меня в ушах.

Отец привез мне из Ленинграда первую и единственную игрушку, которую в детстве я держал в руках. Детских книг мне не приобретали. Я мгновенно сделал заводной, легко скачущей лошадке “ремонт”. Так и предстал перед папкой, терпеливо и смиренно, ожидая наказания. Но милость небесная коснулась сознания главы семейства. Он только махнул рукой, занятый своим.

Приближалась школьная пора. Мимо дымного террикона отец вел меня в первый раз в первый класс. Учительницу я видел молодой и красивой, но попалась пожилая и полная. “Не балуйся...” — шепнул отец. И нас, неуклюжих первоклассников, повели нестройным отрядом в будущую неизвестность. Я сидел на первой парте с Трофимцевым и

часто спрашивал незапоминающееся имя учительницы: “Ты не забыл, как ее зовут?” И вновь терпеливый и полноватый Витька отвечал мне — “Анна Тимофеевна...”

Погоня

Дети, жившие за автомагистралью “Центр — шахта им. Абакумова”, добирались домой из школы 94 по двум направлениям. Послушные следовали наставлениям мам и пап, смиренно тащили тяжеленные портфели вдоль асфальтного ответвления, ведущего к школе и дальше к дому культуры, стратегически объединяющему микрорайоны.

Как и велел отец, я в числе многих плелся со Славиком Кривулей, мучаясь в новом неудобном костюмчике, озирая кроны запыленных акаций. Деревья, изобилующие колючками, неприхотливо уживались даже на безжизненных терриконах. Дорога пролегла ровно, один раз изгибаясь, обнимая дымящееся породное чудовище. Терриконы, подобно вулканам, спали или животворили самое себя горением, дымами, взрывами. В местах задымленных лучше не появляться. Это я сразу понял, наступив на пепелище. Назавтра обожженная кожа вздулась и мучительно заживала.

У дороги высился магазин. Я заглядывал внутрь и долго рассматривал витрины с блестящими обертками конфет, халвой в банках, вазами, полными пирожных. Потом мы останавливались у длинного троса, исходящего откуда-то сверху, закрепленного внизу у забетонированного рельса, длинно и необычно, словно гигантская струна, соединяющегося с вершиной. Мы помнили историю о некоем спорщике, заключившем пари на автомобиль “Москвич — 401” о том, что он в перчатках на одних руках спустится по тросу, смазанному солидолом. Горемыка не рассчитал качество или количество перчаток. Кожу и мышцы на руках стер — ужас! Прямо кости увиделись.

Дальше мы со Славиком перебежали самую оживленную автомагистраль, опасную замысловатым изгибом, скрывающим мчащиеся машины. Я по природе своей рожден более ловким, чем тягучий Славик, поэтому очень злился на его медленность. Миновав “шоссейку”, мы перескакивали второстепенные подъездные пути, соединяющие шахты и станцию Весовую. Как чудно дымили паровозы, задыхающиеся на подъемах от избытка груженых вагонов. Как хотелось дышать клубами черного дыма. Чуть позже мелькали вагоны, возвращаясь порожняком обратно на шахты за углем. Звонко отлетали от металлических боковин брошенные нами камни-окатыши, не попадая в межвагонье.

Но существовал еще один путь из школы к отчему дому. Через бараки, с правой стороны окультуренного террикона, разрезанного на средней высоте тропинкой, протекающей по красному глею через

действующую вагонеточную трассу, мимо бункера отгрузки породы, через нижние железнодорожные колен, сквозь комбинат, вдоль крана с газировкой.

Я поднимался на горку (Славик пошел старым путем, он вечно делал не по-моему). Мне не глянулся гуляющий во дворе барака рыжий ровесник. Мы начали препираться, слово за слово, я бросил в него породу и попал в голову. Рыжий заорал. Его мать, словно ожидая, тут же выскочила с криками, причитаниями. Шагом-бегом и я на холме. Оглянувшись, я с ужасом отметил, что они идут за мной следом. И не находилось от них спасения, будто мать рыжего знала тропу лучше меня.

Путая прилипчивых преследователей, я юркнул в первую дверь комбината. Пропетляв по бесконечным коридорам, снуя за спецовками темноликих шахтеров, я появился в многолюдстве основного корпуса с обратной стороны. Перед соседкой тетей Верой с ненавистным Сашкой, у которого имелись лучшие игрушки, ящик мандарин и большая машина, недоступная мне. Сашку мы не любили всей улицей, потому что он жил в царстве изобилия и по статусу считался чужим. Тетя Вера занимала должность начальника отдела кадров. Сосед дядя Вова нехорошо пошутил в адрес кумы и соседки: “Она в обед и сто грамм выпивала, и начальнику давала...”. Я бросился к ней. Но тут погоня настигла меня. Пришлось вытерпеть немалые унижения и подзатыльник. Домой я возвращался с тетей Верой и Сашкой, лебезя перед ними, угождая и подлизываясь. Не дай бог, отцу и мамке расскажут.

Черешни

Колхозный сад раскинулся на тысячи гектаров. На его плантациях работали, подрабатывали, искали на дармовщину залежавшиеся огурцы и помидоры, трясли оставшиеся яблоки и груши, сезонно собирали малину (неблагодарное занятие). В лесопосадках, выполняющих роль оград и разделительных полос, мы “бастовали” (прятались от учителей), пропуская занятия в школе. На окраине аграрного комплекса и находился наш поселок. Но можно сказать и наоборот (так мы и считали), заветные гектары принадлежали нам, пацанам, отправляющимся познавать мир...

Я трудился с сестрой на плантациях крыжовника и малины. Я не любил нудную однообразную операцию по сбору ягоды. Я не переносил на дух вкусные и полезные фрукты еще и потому, что отчий огород изобиловал подобными полезными культурами. Моя нетерпеливость не соглашалась с жарой, с установленными объемами сбора, а спешка только усугубляла колючую ненависть кустов крыжовника ко мне. Исколотость пальцев достигала критической отметки нетрудоспособности.

Моя любимая старшая сестра Валентина будто и не замечала крыжовниковых колючек, гнала и давала норму, несмотря на маленькие расценки, несмотря на тридцатиградусное пекло.

Когда нас перевели на малину, я узнал почему фунт лиха. Тот, кто знаком с технологией сбора целебной ягоды (живой аспири́н), почувствует и поймет мой гнев и негодование.

Малинка в отличие от других культур тут же усушивалась, сейчас же утрушивалась и прямо на глазах уменьшалась в объеме. Выработать установленную норму могла только моя легендарная сестра со своей гениальной целеустремленностью. Одна радость — домой несли вдоволь, никого не ограничивали, все считалось общим и, стало быть, ничьим.

На противоположном конце сада, довольно далеко от наших посадок, росли сказочно вкусные, тающие во рту груши. В ту сторону по малолетству я не забредал. Однажды отец завел разговор о грушах. Порассуждав о сочных плодах, он сложил мешок, позвал в дорогу меня. Пройдя много садовых кварталов, мы оказались в грушевом раю. Я объелся медовой мякоти, набил грушами пазуху, отец наполнил мешок. Обьездчик (на лошади обслуживающий территорию), кажется, вел себя как папкин давний знакомый. Они распили бутылочку вина, и мы тронулись в обратный путь. На краю лесополосы отец спрятал мешок с грушами в кустарник, указав: “Выгляни, кто там идет...” И не напрасно, напрямик в нашу сторону пылил милицейский “воронок”. Машина остановилась. “Груши есть”, — спросил старшина. — “Пожалуйста”, — ответил отец и вытащил из кармана желтый плод...

Я старался угодить родителю, боясь встречи с тем объездчиком, который недавно “взял” нас на черешне. Тогда приключение обошлось без вызова милиции, но увидев, что у отца есть знакомые сторожа в саду, я струхнул. Тогда мы, Валеркой Лакомым (царство небесное) ящерицами проползли открытое пространство (ни пылинки не подняв), полежали в редком курослепе под сенью дерева, передохнули и принялись набивать пазухи еще совсем незрелыми ягодами. Жадность требовала еще и еще, хотя рубашка уже трещала по швам, не выдерживая тяжести обвислой фрукты, и мы забыли об осторожности. “Черешню рвете”, — раздался голос из-под земли, пригвоздив нас страхом к ветвям. Размахивая плеткой, под нами маячил грозный объездчик. О том, как бьются колхозные охранники, в народе ходили легенды. “Ребята, — произнес грозный дядька, — вы должны съесть все, что наворовали, или я сдаю вас в милицию...” И мы начали глотать черешню, по вкусу напоминающую кислую траву. Я слопал несколько килограммов зеленой массы и почувствовал тошноту и наполненность. Я понял, любовь к черешне покинула меня. Обьездчик разговаривал с лошадей. Лучше так, чем угодить в милицию, а потом под ремень отца...

Гвозди

И зачем только маме вздумалось вырывать за хатой грязно-пыльный бурьян? Стоял бы себе и стоял в полуметре от штaketника, никому не мешая, между угольным сараем и новым туалетом. Сорная трава создавала обстановку загадочности. За ней находился мой тайник с выигранными перышками (шариковых ручек мы еще не знали, пользовались исключительно перьями), с мелкой разменной монетой, выуженной в карманах родителей.

В гущине сорняка прятался придуманный наблюдательный пункт. Сквозь заборные щели я следил за передвижением соседей, чтобы в их отсутствие забраться на угловое абрикосовое дерево, привлекающее не только меня обилием крупных золотистых плодов. Фруктины высоко и опасно свисали над острым штaketником, но кого это может испугать?

Опрометью, змеей вдоль забора, шелестя бьющим по ногам полынником, я добежал до угла, в два движения воцарился на вершине — над проулком. И раз-два-три — посыпались золотые дары природы в глубокий карман шортиков матросского костюмчика. Непослушная бескозырка скользнула вниз на ботву вражеской территории. Спускаясь, я почуял на поясице цепкие руки тетки. Стоя между мамой и соседкой, я все отрицал. Тетка попыталась достать из узкого карманчика вещественные доказательства. Да куда там с колхозно-крестьянской лопато-образной ладонью, с коротышками-пальцами...

Пережив потрясение, я притулился к теплой, нагретой солнцем стене угольного сарая, слегка страшась нависающего паука-крестовика, и принялся поглощать абрикосы. Я спрятался так хорошо, что старшая сестра, пробежав к туалету по наклонной дорожке, проложенной у фундамента дома, меня не увидела. Я подумал, она что-то знает о моем тайнике.

Злости на тетку Глазко я не ощущал. Ведь ее муж, добрый дядька, всегда возвращал мне мяч, обычно зафутболенный выше "ворот" на ровные грядки. Их дочь Наташка не дразнилась, не ябедничала, даже нравилась мне.

Жара между тем усиливалась, отодвигая меня вглубь травы, больно уколов через подошвы сандалий острым предметом. Основание бурьяника, густо усеянное ржавыми кривулями, представляло определенную опасность. Я не знаю, где мой папик собирал такое количество кривых гвоздей, которые мне велел выравнивать, но трудовой повинностью он замучил меня основательно. К тому же трудовые навыки не воспитывались во мне последовательно. Я всегда спешил завершить любую работу, чтобы куда-то мчаться, делать главное дело. Как будто то, что происходит сейчас, вовсе не жизнь, а самая судьба начнется чуть позже, за горизонтом, за холмом, за взгорочком. Но когда поднимаешься на вершину, понимаешь, напрасно спешил, зря суетился, попусту тратил силы.

Короче, ровняя гвозди, я потихоньку выбрасывал третью часть в гушину — напротив.

Отец носил и носил изделия, бывшие в употреблении, складировал хлам в ненавистном мне ящике, а я с каждым разом все более добросовестнее сеял металлический хлам. Скошенное пространство, густо покрытое ржавчиной, смотрелось замечательно. И надо же было маме (хвала небесам, не папе) наводить порядок за домом. У меня бескозырка на волосах поднялась. Меня спасла напряженная обстановка в отношениях предков. Они пребывали в ревнивых разборках. Мать высказывалась у калитки тетке Глазко. Отец шумно исповедовался дяде Володе, ища поддержки. На гравейке маячила Наташа, наблюдая, как я метался между сараем и туалетом, убирая следы, швыряя гвозди в смежный огород...

Большие деньги

Дядя Женья, брат моей мамы, после демобилизации из армии жил в нашем доме и занимал спальню, где ранее спали мы с сестрой. Дядя работал в шахте, хорошо зарабатывал, жениться не спешил. Он, как холостой и видный мужчина, в свободное время дома находился весьма редко. Посему я и моя старшая сестра Валентина мстительно шарили по углам. Среди вещей выделялся приоткрытый чемоданчик, в котором виднелась внушительная пачка купюр. Сестра быстро выхватила сторублевку, и мы вылетели на улицу. Мы медленно протопали мимо мамы, занятой огородом, проскользнули за калитку, стремглав помчались в сторону лотка с мороженым — за дорогу — к шахте.

В то мгновение я переживал двойной страх. Не так давно, находясь в необъяснимом забытьи, я побрел за какой-то придуманной получкой, в буквальном смысле слова, на край света. Меня перехватила соседская девушка Полина, шедшая на танцы. Она привела меня в разволнованный дом к великой радости отчаявшейся мамы. Поэтому несколько дней я находился в опале — ремень витал надо мной. А тут еще новое приключение...

— Идем за мороженым, — приказала Валюха, да и кто устоял бы перед сладким искушением в те несладкие годы.

Лотошница уныло маячила под гастрономическим зонтиком, сонно лизала эскимо. Ее сонливость точно волшебной палочкой смело с лица, когда десятилетняя девчонка протянула денежку. Господи, как долго, как тщательно и дотошно спрашивала она сестрицу о происхождении купюры. Как только не изворачивалась моя любимая старшая сестра. Как уверенно ссылалась она на щедрого дядю. Слушая диалог сестры с продавщицей, я и сам вскоре уверовал в законное происхождение денег. Наконец, переговорив с какой-то женщиной (мне показалось, будто там произнесли нашу фамилию), утомившая нас тетя в белом фартуке,

светлая, как пломбир, выдала нам брикеты, впихнув в сестрицын карман пригоршню сдачи.

Мы слопали по четыре порции. Мы выпачкались до неимоверности, нас развезло от сытости, сладости и довольства. Мы медленно тянулись домой. Валя хохотала, глядя на мои мурзатые щеки, тыкала пальцем в мой шоколадный нос. На подходе к поселку сестра остановилась, спрыгнула в выемку, раскопала ямку и схоронила наш золотой запас.

Тс-с, — приложила она палец к моим губам и я понял, что скорее умру, чем выдам военную тайну.

Семейный совет во главе с дядей Женей встретил нас ласково. Нас спрашивали, вкусное ли мороженое, откуда у нас денежки. На счастье, отца дома не было, не то — быть беде...

Мы все отрицали до тех пор, пока мне не пообещали каждый день давать деньги на мороженое при условии, что я скажу всю правду. И мое сладколюбивое сердце дрогнуло. “Мы закопали сдачу возле путей — в выемке...”, — предал я сестру, наше захоронение и наши большие деньги...

Кочерыжки

Мы тащимся по шахтной территории, с любопытством разглядываем гору новых вагонеток, сваленных у железнодорожной колеи и начинаем их исследовать. Одна из громадин падает на пальцы ноги Вовки Пояркова. Истошный крик мгновенно дисциплинирует нас. Страшие товарищи подхватывают раненого, поочередно на плечах несут его к медпункту шахты Лидиевка. Подавленные, мы растекаемся по прилегающим к шахте улицам, спешим сообщить Поярковым о случившемся. Через минуту проулки оглашаются заполошным криком. Мимо моей калитки летит простоволосая женщина, Вовкина мать...

А в нашем доме тишь да благодать. Мама и старшая сестра Валя крошат для закваски капусту. Мама вырезает качанные кочерыжки и складывает ослепительно белые сердцевинки в глубокую тарелку — для меня. После купания и гуляния я очень голоден и мгновенно набрасываюсь на любимое лакомство. От алчности чревоугодья (есть в мировой психологии такое выражение) я веду себя неадекватно. Обычно я набираю полные карманы чего-нибудь вкусенького, как, например, вчера я появился за калиткой с пакетом ароматного горячего печенья. Возможность угощения дает чувство причастности, приобщая к великому уличному братству. Горбушка, поделенная с кем-нибудь из своих, доказывает, ты не жмот! Ты свой! И так, жуя еще очень горячее (только что из духовки) печенье, я испытываю раздвоенность и смятение. Кулинарное изделие вкусно тает во рту, мне не хочется делиться. С другой стороны, мне охота встретить бойцов уличного фронта (помните местные битвы улица на улице), ибо

я пока еще туда не вхож, а значит, мое место в драчливой когорте, в поселковой иерархии находится на вторых ролях.

На “вергуны” (так именуется в нашем доме выпечка) и приятель бежит, скажу, перефразировав известную поговорку. Валик Фролкин (откуда только взялся возле калитки) тут как тут: “Ломани печенья...”. Угощаю и жалею, сам не знаю, почему. Валик больше по футбольной части, он не гроза улиц. Валик поражает нас всех, выйдя в календарном матче на первенство города в составе юношей команды “Станция Весовая”. Я подаю мячи и тоскую о славе, плача внутрь.

Я протягиваю полвергуна звезде станционного футбола, соврав: “Мамка позавчера спекла, немного осталось...”. Валентин Фролкин быстро ставит меня на место: “Так они ж горячие, тринди до рубля, а то сдачи нету...”. Фролкин не дорастет до звезды советского футбола, угодит в алкоголизм, в общую бездуховность личностной потерянности большинства талантливых людей.

Из-за жадности я ем и ем капустные палочки. Овощ сладок, тарелка пустеет, животный инстинкт неостановим. Клетчатка забивает желудок, я слабею, бледнею, задыхаюсь, опускаюсь на кровать и умираю. Мама пройдя войну медсестрой в госпитале, совершенно не готова к такой ситуации. Если бы не Валя, спохватившись, она делает искусственное дыхане, никто не прочел бы эти строки. Я прихожу в себя уже другим человеком, я делаю щедрым и, как полагаются, через боль, более смиренным и немножечко духовным. Я набиваю карманы кочерыжками, спешу на привычное место нашего собрания производить впечатление. Но кроме Фролкина, пинающего мяч невдалеке, и Вовки Пояркова, сидящего на траве, на поляне никого нет...

Белая лестница

Мы собирались в Таганрог к маминой сестре тете Наде всем семейством. Мужественная женщина, пройдя фашистский концлагерь, потерю любимого, трагическую травму глаза на ткацком станке, наконец-то обрела свое счастье — вышла замуж за начальника по ремонту доменных печей Ивана Дмитриевича. По такому поводу нас пригласили в гости. Они жили в роскошной квартире у самого Азовского моря, воспитывая двух детей. Роскошные апартаменты удивляли своими размерами, а наличие домохозяйки поражало наше провинциальное воображение. О недавнем ремонте напоминали ослепительно белые стены, пахнущие побелкой, и небольшая емкость с торчащей из нее неопрятной щеткой, задвинутая за угол свежевывмытой лестницы.

Перед отъездом мы волновались за отца. Год назад тетя Надя гостила в нашем доме. Неделю она наблюдала за мытарствами матери, за поисками нетрезвого отца, пока в ее крепко сбитой плоти, в ее не-

покорной душе развивающегося алкоголика, с гневом своеволия не созрело решительное желание сказать правду. Отец выглядел жалким и беспомощным, униженно глотая гнев, боясь революционно настроенной родственницы. Тетка выразилась прямо: “Ты, козьявка, если ты еще раз тронешь мою сестру, я отрублю тебе голову топором...” — и выругалась так убедительно, что вся семья поверила ей. Такова главная причина нежелания отца тащиться в “какой-то Таганрог”, как он выразился.

Тем не менее поездка состоялась. Нас встретили хорошо, водили по огромным комнатам с высоченными потолками, показывали террасу. Прислуга накрывала на стол. Отец часто курил, вероятно, боялся властной хозяйки. Ожидали с работы важного и таинственного Ивана Дмитриевича, начальника с личной машиной и шофером. Для меня наполнили ванну, огромную, как море. После домашних купаний в оцинкованном корыте я впервые в жизни плескался в удивительном царстве ослепительного кафеля, пахнущих шампуней и мыла. После ванны мама меня передела, причесала, повела показывать за столом. Иван Дмитриевич оказался не страшным. Он делился впечатлениями о недавнем ремонте, мол, слава богу, закончилась побелка. Задав мне два-три вопроса, он перестал обращать на меня внимание. Я под шумок вылез из-за стола, отправился дышать летним вечерним воздухом.

Внизу, едва колеблемое дымкой, виднелось нескончаемое море. Насмотревшись на бездну, я начал слоняться вдоль перил, пачкаясь о побеленные колонны. Внимание привлек ползущий муравей. Я преградил путь насекомому щепкой, но маленькое чудо природы юркнуло под емкость с белой массой. Я силой толкнул ведро. Светло-голубая жидкость устремилась вниз по ступеням. Щетка с длинной ручкой зычно шлепнулась рядом с моими ногами, обрызгав с ног до головы. Я забыл о муравье. Отойдя от страха, принялся убирать следы преступления. Послушной размокшей щеткой я добросовестно размазал влагу по каждой ступеньке, а наступившие сумерки скрывали их темнотой. Оглядев проделанную работу, я убежал в дом смотреть мультфильм.

Вечером всем было не до меня, а утром я проснулся от переполоха. Я выглянул на террасу и замер от удивления. Вся семья с недоумением смотрела на сияющую, словно из сказки явившуюся, абсолютно белую лестницу...

Рубильник

Впервые на нашем поселке, прилегающем к шахте 2-7 Лидиевка, на облезлых угольно-серых столбах заблестал новенький, зовущий к себе тайной неизвестности — рубильник.

Я увидел его, гуляя по утреннему проулку, шелестя подошвами по перегоревшему углю, стуча палкой по скучному штакетнику, по серому

набрызгу ограды. Я забежал на бугор, возникший после строительства водопровода, и замер, глядя на сияющее, не покрытое пылью, не облапанное и удивительное чудо.

И тут меня объял жаркий пот любопытства и холод страха. И тут чувство, двоясь, повлекло мою суть к запрещенному электричеству, отчего стало тревожно. Отчего-то глазомер зашкаливал, прикидывая доступность объекта. Отче наш, как преодолеть главное препятствие, как обойти моих ровесников. Как скрыть правду, когда он вопросительно смотрит на тебя, а ты прядешь глаза и со страхом думаешь о том, что ему известно о твоём подглядывании за моющейся тетей Дусей, его женой...

Едва ли он забыл и простил тебе сломанную раму на новом велосипеде среднего сына (блаженной памяти) Сергея, через много лет угодившего под колесницу алкоголизма. Тогда мы — вчетвером, уместясь между сиденьем и рулем, съезжали с горки, хохоча и балуясь, пока терпеливый ухаб не встряхнул нас, и — пока, велосипед, пока-пока, согнутая рама. Плакал Сергей, мы бросились по домам. Чуть позже ты, лежал за крыжовником, слышал голос ругающегося дяди Коли и адвокатский бас отца.

Но сейчас рубильниковое чудо властно звало мою душу. Чувство подсказывало тревогу, интуиция давилась избытком эмоций. Тотчас же чудесным образом я скатился с бугра. Теряя голову, по проволочным скруткам забрался на рельсы опор, стал во весь рост, не чувствуя острой занозы в ладони, ничего не видя вокруг. Я потянулся к черной ручке...

Электрический ток и голос соседа обрушились с небес одновременно. Могучая сила швырнула меня вниз на свежekoпанную глину, крепкая рука взяла за ухо. От страха у меня случилась малая физиологическая потребность, от ужаса пропала речь. И только ослепительный рубильник с укором взирал на меня со звездной высоты, на меня, испуганного, дерзкого, но не поверженного. И только мудрый дядя Коля, понимая мое состояние не сказал мне ни слова — молча растаял в густеющем сумраке...

Хождение в пионеры

Слух о предстоящем приеме в общественную организацию, объединяющую младшие классы, будоражил и волновал. Ночью душа невольно замирала, пытаясь объять будущую церемонию, стараясь вообразить и прожить трепетные мгновения досрочно, чтобы хоть как-то унять страх ожидания. И таким образом, приближался час заветный, пионерский, традициями воспетый — заветный миг, увенчанный звуками горна и барабанными дробями. Чинными лицами ветеранов пионерского движения, проникновенным кличем, рокочущим и зовущим вперед и только вперед,

не оставляющим ни тени сомнения в выбранном пути, взывающим к ответственности и действию, вселяя определенное мужество и героизм.

“Пионеры, в борьбе за дело коммунистической партии, будьте готовы, — громко призывал старший. — “Всегда готовы”, - отвечали все. Вот такие идеи впитывал я в благословенное пионерское время процветания коммунистических идей. Во многих местах, особенно в школах, видел я молодежные отряды, ровно стоящие перед лицом школьной дружины. Я запомнил вдохновенные лица моих сверстников. Я мысленно находился рядом с ними и великий восторг ощущался в томительном безмолвии — накануне повязывания галстуков. Я вживался в ритуал, и слезы счастья стекали внутрь моего романтического сердца.

И вот приближалось начало новой пионерской жизни. Вы не представляете, какое значение, какое влияние имело место быть. Я не могу назвать то состояние души иначе, как боговдохновенным. В таком отрешенном измерении мы со Славиком тащились из школы домой мимо необозримого испражнения сероводородных нечистот, имевших совершенно пристойный вид и благозвучное название. Самое печальное заключалось в другом, мы гордились непроходимыми грязями, чумазой родиной и тем, чем были мы сами. Мы трепетали перед приближающимся мероприятием, мы имели на то полное право, дети великих степей, пасынки непутевой отчины.

У бугра мы с другом разбегались по своим сторонам. Я скоро делал уроки, затем доставал пламенный галстук и подолгу примерял красную святыню у зеркала, буквально грезя идеями. Переживая предстоящие события, как и полагается коммунистическому ребенку, самозабвенно и преданно.

Первый удар мне нанесли в школе, шатнув мою веру крепко и основательно. Всем не очень дисциплинированным учащимся (это касалось меня в первую очередь) довели до сведения, что прием в пионеры будет осуществляться в два этапа. И что первыми пойдут отличники и хорошисты. Чувства, испытанные от негативной информации, сегодня в словесном эквиваленте означают следующее: уважаемая коммунистическая партия, за время существования вы совершили две ошибки, вы поколебали мою веру в пионерском возрасте, вы не приняли меня в партию. Ваша психология недальновидна и безграмотна, на таких, как я (на эмоционально незрелых), зиждется и процветает вся ортодоксия, такие, как я, не позволили бы одному человеку одурочить всю партию.

Отроческая неустойчивая психика не смогла дождаться первого пионерского часа. Я убежал сразу после уроков. Меня душили слезы обиды и разочарования. Слова учительницы, призывающие учеников класса поддержать лучших из лучших, я возненавидел.

Дома я в крайнем раздражении швырнул тяжелый портфель под стол, переоделся, взял велик, решив покататься. На самом же деле я

выполнял ложный маневр, выделявая выкрутасы как можно ближе к дому Славика, напряженно ожидая его возвращения.

Мой друг показался мне врагом, с галстуком, важный, недоступный. “Привет пионерам” — крикнул я, притворяясь равнодушным, едва не зарулив в угол забора Лакомых. Славик многозначительно промолчал, подняв голову чуть выше обычного, как-то не так посмотрев на меня, посеменял по переулку своими мелкими шагами...

Станный случай

Так назвал отец маленькое происшествие, случившееся в нашем доме. Разбитое окно зияло неровностью и создавало ощущение разора. Порывы осеннего ветра норовили повернуть реденькие капли сентябрьского дождя в комнату, но ослабевали. Я маячил рядом с отцом, подставляя лицо освежающей прохладе, находя в сквозняке игривое расположение. “Да, непонятная история, — отец раздумчиво озвучивал мысли вслух и повернулся в мою сторону, — ты не видел, кто расколол”, — как-то отвлеченно обратился ко мне мой грозный папка...

В его тоне я почувствовал уловку и подвох. В такие минуты он всегда требовал, чтобы я смотрел прямо в глаза, если что-то случилось по моей вине. На сей раз события разворачивались по непонятному мне сценарию. Хотя бы потому, что глава нашего семейства оставался довольно добродушным. Хотя мне подумалось, он играет со мной в игру. Мама как всегда защищала меня от своенравного и жестокого мужа. “Что пристал к ребенку, пусть идет себе гулять”. — произнесла и ласково обняла мои беспомощные плечики, погладила непослушные вихры. Папа редко спорил с мамой в трезвом виде, но сейчас он остановил мамин сентиментальный монолог. “Тут кто-то странно расшиб”, — не договорил и обратился ко мне. Голова моя опустилась вниз, взор заскользил по некрашенному полу и споткнулся на ползущем тараканчике. “Один пацан шел мимо и камнем запустил”, — едва слышно мямлил я, не отрывая взгляда от игривого жучка. “Вот видишь, — поддержала меня мама, — сын ни в чем не виноват”, — и сильнее прижала меня к себе.

Сердце мое прыгало и радовалось, все складывалось прекрасно, через минуту-другую я увильну за выемку к бугру, на футбольную делянку. “Хорошо, — не сдавался домашний следователь и, ни к кому не обращаясь, произнес убийственную для меня фразу, — мне бы найти того пацана, разбившего окно — оно и так треснуло, я давно собирался его поменять. А пацану я куплю самых вкусных конфет”. Такого поворота событий я не ожидал, моя конфетололюбивая душа смягчилась потерялась и покаялась. “Па, не надо ему конфеты покупать, я разбил” — признался я, не имея сил противостоять мармеладовому соблазну.

И воцарилась глухонемота, утопающая в стыдобе. И в смятении, махнув рукой, мама отправилась на кухню. И я не знал, куда себя деть, огорошенный неожиданным поворотом сюжета весьма странного случая...

Хенде хох

1

Своим пьянством и знанием немецкого языка отец доводил всю нашу семью до крайности. Лежа на скрипучей панцирной кровати, глава семьи засыпал под воздействием винных паров, лепеча на каждого “хенде хох”. “Фашист, бендера, западник”, — вполголоса шептала мама.

Отец родился в западной Украине. Во время оккупации гитлеровской Германией в хату Степана Сендера зашли немцы, отбирая на принудительные работы молодых парней и девушек. “Хенде хох” — весело пошутил гитлеровец, осмотрелся и указал на Никифора. Юноша простился с братьями-сестрами, поцеловался с матерью, обнялся с отцом, и парня повели на сборный пункт.

Через полтора года он сбежал из концлагеря, добрался домой. Весил он сорок килограммов. Мать сына выходила, прятала в лесу у тетки Евдохи. Когда пришли наши, от них скрыли информацию о концлагере, помня о неизменной “десятке”, которую клеили всем, побывавшим в концлагере. Мать плакала, мол, тифом переболел, слабый, едва выжил.

Всю оставшуюся жизнь Никифор Степанович жил под жесточайшим игом страха. Сегодня, глядя на каждое его фото, я вижу тревогу в родительских глазах. Лишь в нетрезвом виде отец расслаблялся, без умолку болтал на немецком, доставая домочадцев словосочетанием “хенде хох”, получая от мамы неизменное “фашист, бендера, западник...”.

2

Когда я подросток, отец повез меня на Волинщину, “к своим западникам”, — исподтишка уколола его мама. В первый же день среди несжатых нив и лиственных лесов после душного Донбасса я всю ночь бредил, пил капли валерианки. Отец пристраивал меня у многочисленной родни, сам исчезал на сутки. В памяти осталась ночевка с клопами у тетки Евдохи и многое другое.

Ежедневно я получал от отца откупные на сто граммов мармелада, шлялся с ровесниками у клуба, переживая вчерашнюю гибель девочки-ровесницы, которую на наших глазах выносила мать из покойницкой местной больницы.

Чуть дальше, за клубом, в пристройке с распахнутой дверью, хранился реквизит местного театра художественной самодеятельности. Перебирая предметы бутафории, я нашел фашистскую каску, напялил ее на голову, накинул на плечо настоящий немецкий автомат и с диким восторгом выкатился на улицу навстречу идущей старушке.

— Хенде хох, — пропищало из-под каски едва заметное существо. Незнакомый мужчина, появившийся, вероятно, с небес, так отодрал меня за ухо, что я тотчас же подписал безоговорочную капитуляцию и написал в шортики...

В погребѣ

Мы с отцом работаем в ошлакованной яме — для будущего погребѣ — вбиваем в отметины сорокамиллиметровые уголки для полок. Я мечтаю об одном — поскорее бы все завершилось. В отчаянии я размахиваюсь кувалдой что есть силы, но слесарный инструмент неловко ускользает в сторону. Из пораненного пальца брызгает кровь, кожа на нем взбухает, синееет. У меня болевой шок.

Отец в растерянности. Он предлагает мне побрызгать ссадину мочой. Я отрицательно качаю головой, я стесняюсь отца — в нашем доме не развиты эмоциональные связи, доверительные отношения и открытость. У нас в доме не говорят о чувствах. Отец, ни слова ни говоря, совершает малую физиологическую потребность мне на палец. Я смотрю на изуродованный перст, обоняю инородный отвратительный запах. Меня едва не выташнивает. “Иди отсюда”, — недовольно, скорее всего от досады произносит мой родитель. Теперь ему придется звать на помощь не очень-то желанного соседа. С дядей Володей отец в ссоре после одного случая.

Лет двадцать назад, когда у старшей сестры не сложилась первая семья, она, никого не упреждая, возвратилась в отчий дом с ворохом вещей. Бедняга очень боялась главы семейства, так как вышла замуж, как сказали бы в старину, без родительского благословения. К большому нашему удивлению, отец выбежал на улицу, браня агрессивного зятя: “Не хватало еще, чтобы мою дочь била какая-то падла...”. Невдали на перекрестке маячил тот самый Глазко. “Что уже нажилась”, — сострил он. “Не твое дело”, — резанул его отец и послал к разгуляющей матери так, что с деревьев посыпались незрелые груши.

Их помирила вечность. Они давно погребены на одном кладбище...

Горечь

Началось с того, что на импровизированном семейном совете мать и отец неожиданно решили начать строительство проходной комнаты

для объединения нашего пятикомнатного дома и кухни. Сказано — сделано! Отец, скорый на руку, привез песок, цемент, доски, кирпич и, не откладывая дела в долгий ящик, принялся мастерить щиты для заливки фундамента. Он набросился на земляные работы, советовался с матерью, чертил на земле будущее детище, в меру нагружая меня, вечно спящего у него под ногами, вечно попадающего на глаза строгому главному строителю.

Маленькая (отец был невысоким), сбитая, необыкновенно живая и подвижная мама буквально цербером маячила между сыном и мужем, ограждая хрупкого мальчика от пролетарских привычек грубоватого главы семейства. “Пусть мальчик отдохнет...” — вмешивалась мама в планы капитана, и наш семейный корабль крепко штормило от папиных эмоциональных всплесков и назидательных волн. И наш капитан оставался без юнги, без мальчика на побегушках, без возможности воспитать ученика. Но возражать супружнице Вере Никитичне считалось очень дорогим удовольствием, имея за спиной похотливые прегрешения, и не было им числа.

Недавно мать вычитывала отцу за местное донжуанство, потом делалась с соседкой, повествуя о том, как ее дражайший супруг (“кобель старый” прозвучало самым невинным определением) ходил на свидание, почку новую надел, рубашку выходную из шифаньера достал, туфли полдня щеткой ваксил. Мать его выследила и взяла, как говорится, тепленьким и с поличным, неожиданно возникнув у него за спиной, окликнув его, ожидающего под сенью дерева с букетом цветов, за версту пахнущего одеколоном. Папка, конечно, смутился несмотря на военную и концлагерную, и шахтерскую закалку. Папка (как я его понимаю) с тех пор стал другим, и мне близка причина его внутренней перемены. Есть ли более глупая ситуация, чем встреча с женой во время свидания с любовницей?

Позднее мать узнала о длительном романе отца с женщиной, живущей по соседству (с гундой). Отец надолго попал в немилость, отчего родителево пестование, вынынчивание меня как образцового сына, как ровнятеля ненавистных гвоздей, в особенности, принимало удобные для меня формы, даже благой вести, превращаясь в нечаянную радость бездействия и вялотекущей маяты. Впрочем, на вверенном мне объекте я с удовольствием надзирал за строительным процессом,двигающимся под руководством маман. Меня устраивало кроткое и покорное краткословие отца и его бессловесность в присутствии жены, что давало мне существенное преимущество — быть неприкасаемым при полной немоте отца.

Я гладил красно-рыжий шифер, подолгу держал в горстях гранулированный шлак, предпочитая самовыявление предмета, не чуя расщудочной активности, скорее ощущая ее угасание. Я устремлял свой

взор к горнему, еще не ведая о том. Я жил телом без лика и образа, не пребывая в пространстве, незрим и неосязаем. Отец, бесконечно далекий от поэзии, видя занятость матери, все же нарушил табу (поэтам нельзя работать) и привлек меня к подсобным действиям по установке дверного проема. Он выставил коробку, перепоручил ее мне, громадную и незакрепленную, присел перекуривать. Мать, идя из огорода, издали запричитала: “Не трогай ребенка...”. Я раздвоился, готовый податься к защитной стене. Я, живущий в ирреальности, запомнил о своем задании. Коробка медленно подалась вперед, ведя за собой мою невесомую плоть. Мои робкие попытки встрепенуться и остановить кончину мира не увенчались успехом. Прямоугольник, крепко сбитый из тридцатки, угловой частью врезался в расслабленную ногу курящего плотника. В полном отчаянии я подбежал к взывшему отцу, который среагировал по взрослому, полуударив, полутолкнув меня в сердцах на бетонный фундамент. На глазах у матери произошла трагедия, не предвещающая отцу ничего хорошего. Я жутко разбил голову, только через много лет поняв — отец садист и шизофреник. Мать обзывала мужа всякими оскорбительными словами. Я же глотал горькую обиду, понимая, что не смогу простить отца очень и очень долго...

Скиталец

Между тем, после экзекуции, проведенной отцом над моим мятущимся образом, иссеченный сломанной веткой сливы, опозоренный в глазах любимой старшей сестры, униженный грубой физической силой, доведенный до отчаяния, я бессознательно взбунтовался и ушел из дому. Я намеренно опускаю пленительные особенности подсознания, вытворяющие с человеком истинные чудеса, что, в сущности, всего лишь второй разум, неустанно и безостановочно, во сне и в нетрезвости, словно автомобильный тахограф, выдающий точное и правильное решение, ведя человека на автопилоте. Я и сейчас с великим трудом могу представить вселенское отчаяние, овладевшее мной после избиения, если я, глупый пятилеток и беспечный самнабула решился на подобную крайность.

Я продвигался в неизвестную сторону, не имея ни прошлого, ни будущего, топя по окраине колхозного сада получать получку. Так я ответил соседской девушке, спросившей у меня о цели моего шествия. Деревья трепетали, листья струились. Меня возвратили исстрадавшейся маме, я что-то рассказывал ей слабым дремотным лепетом. Я не испытывал никаких чувств, никаких эмоций, ничего, кроме смутного желания лечь и уснуть, обессиленный неосознанным потрясением, изуродованный подсознательным страхом.

Вскоре последовали важные события в моей жизни. Дело в том, что произошло осознание всего происходящего, понимание опасности, ис-

ходящей от грубого отца, страшающего сына, ученика младших классов геенной огненной за неудовлетворительные отметки. Другой опыт прозорливости уже укрывал меня защитным покрывалом. И когда слух о моей слабой успеваемости начал тревожить душевный покой редко трезвого отца, я, не ожидая ничего хорошего, используя некогда обретенный опыт бродяжничества, вполне сознательно сбежал в предвесенний день, склоняющийся к вечеру.

Грустный ли, тяжелый ли образ мыслей двигал тогда мной, я уже не могу сказать точно, но одно я помню очень хорошо: мое чувство решительности что-то предпринять явно преобладало над чувством отчаянья. Да и возрасточком я вышел постарше, и осторожничал вполне по взрослому, поворачивая в сторону уходящего солнца подальше от дома, от его далеко видной головастой трубы.

Но еще ярче засияли белые дымы с наступлением вечера, еще острее давало о себе знать чувство безысходности. Хвостатые разноцветные струи возбуждали чувство саможалости, желание возвратиться домой, претерпев любое наказание. Блаженное подсознание не соглашалось, и сознание оказывалось бессильным. К тому же маленькие окошечки, блестящие вечерними огнями, напоминали об отчем уюте и тут же блекли при мысли об отце, от мысли, что же ждет меня в будущем.

Я стер зарисовки в воображении и решительно зашагал к одним из гостеприимно раскрытых ворот, к хозяйке, спящей с веником. Опустив голову, я повествовал ей историю своего бытия, трагически завершившегося в Днепропетровске смертью родителей. Рассматривая тщательно выметенное подворье, не поднимая глаз, я рисовал изломы своего печального существования, мягко напрашиваясь на ночлег.

Сердобольная тетя (дай Бог ей здоровья и многие лета) вняла и прониклась моей участью, накормила, спать уложила. Присев на краешек постели, она допозна дослушивала байку о моем нечеловеческом перемещении на товарняке в такие-то прохладные ночи.

Утром, простившись с хозяйкой, я отправился искать свою родную “тетку”. На трамвае я укатил в центр города, где, блуждая, столкнулся с ищущим меня отцом. Я не успел испугаться, даже не думая о том, чтобы увильнуть в соблазнительную подворотню. Отец купил две котлеты в тесте, которые не лезли мне в горло от избытка личностной горечи.

Позднее я узнал, сообщение о моем исчезновении готовили передать по телевидению. Отец обил все пороги средств массовой информации, ища сына-скитальца...

“Сладкие” папиросы

Глядя на отца, стучащего стаканом с самогоном о стакан дяди Саши, я отметил: мне хочется попробовать мутную жидкость. Я крутился

рядом, мешал их скучному разговору. Мужики то и дело удалялись на перекур. Я исподволь допивал капли, волнуясь, как от приключения. К вечеру мужи подобтели, занялись просветительством. Подвижники зеленого змия набулькали мне граммов тридцать влаги. — “Пей”, — сказал отец, и я глотнул со всеми вытекающими для пацана реакциями.

“Ты думаешь, мы здесь мед пьем”, — развеселились мужики, тем запомнились. Вскоре после крещения алкоголем Вова Козел предложил мне выпить брагу. В памяти остался подвал и рука друга с очередной кружкой коричневой чумы, раз за разом появляющаяся из бездны. Утром я проснулся не на своей постели. Как выяснилось, я изрыгнул выпитое на ковровую дорожку. Отец поддел: “Голова не болит?”

С тех пор алкоголь меня не привлекал, а внутри появился новый — никотиновый зуд. Наблюдая за курящим отцом, я сделал вывод, дым имеет сладкий вкус. Я начал угождать отцу, то воды подам, то отличную отметку покажу в дневнике. Но родитель ни на минуту не оставлял без присмотра курительное зелье. А пока дымил, бело-синее искушение сушилось на углу плиты. Остальные пачки томились в сквозной нише над печкой. Я вспомнил о батинем табачном запасе, и у меня в голове родился план. Главное, чтобы отец ушел сегодня на свой лесной склад. Главное, чтобы мать поскорее завершила стирку-уборку и отправилась бы на огород. С грядок она точно не сойдет до темноты.

Я обошел дом раз двадцать, несколько раз подразнил соседскую собаку, потарахтел палкой по забору, сломал крупную ветку вишни, пока мама наконец-то не появилась на крыльце с тазиком свежестиранного белья. Уж я-то знал — теперь она надолго застрянет во дворе.

На всякий случай я прошарил пустую полку, побродил по дому, примерялся к высоченной под потолок — нише и трудно взобрался на боковину железной панцирной кровати. Моя макушка маячила вровень с углублением. На краю россыпью валялись — дышали заветные коробочки “Прибоя”. Я достал папироску, сунул ее в рот, полез за спичками, стоя над пропастью между жизнью и смертью. И тут в окно постучали. Дитяти неразумное, я обернулся с папиросиной в зубах и хорошо рассмотрел в темноте за стеклом лицо мамы. Чувство ужаса отныне стало мне известно. Через минуту я молил мать ничего не говорить отцу, призывая силы небесные и земные.

Поздно вечером папка пыхтел у печки, мамка выясняла с ним отношения, Я же, послушный и смиренный, ловил каждое слово матери, равнодушно вдыхал горестную сладость вероломных папирос...

Бревна, доски и бруски

Мне шел десятый год. Мне страсть как хотелось куда-нибудь направить досексуальную энергию. Жажда хоть как-то самоутвердиться

призывала меня к действию, осмыслению самого себя в историческом контексте собственного становления и развития. Я подражал папе. Он проводил время подальше от нелюбимой жены. После потери правой руки в шахте, после реабилитации ему не сиделось дома. Лесной склад, безхозный и огромный, приютил его. Отец классически спивался с бригадой шахтных плотников, добросовестно выполняя роль гонца. Заодно день коротал, стройматериалы в хозяйство приносил.

Покатилось яблоко недалеко от яблони. Школа, уроки, пустота. Я сказал себе: “Надо что-то делать...” И тем, что сказал, привел себя в движение. Человек двадцатого столетия, гражданин СССР. Тем более, что воровать в государстве в пору социализма не считалось зазорным. Так подумал я, ища себя в круге воровского безграничья.

Листьев львиный листопад я тащил. Ливней лиры голубые я нес. То бревнышко метровое, то вдвое больше, то несколько кругляшей рядку. По прямому пути, по неудобному шпалоинтервалу. Слева из окон соседи смотрели, справа насквозь знакомцы пронзали взорами любопытными. Никто замечание не делал. Я смиренно влачил свой добровольный крест.

“Несунство” у меня выходило замечательно в смысле преодоления пространства и времени. Странно, не возникало никаких помех. Иногда, двигаясь с грузом я встречал друга Славика. Мне казалось, он смотрел на мои потуги с издевкой. Не то, что Сашка Захаров! Завидев меня, сгибающегося под тяжестью трех досок, Сашка кричал: “Привет трудящимся!” В его тоне чувствовалась искренность. Славик, как и его батя (царство небесное), всегда склонялся к иронии. Помню, на моих глазах отец Славика допекал некорректными шутками ревнивого соседа — деда Шкаева. Витек Шкаев тогда жестко отрезал дядьку. Я думал, драка случится. И Славка такой же. И я из того же теста. Потому-то и дружба у меня с ним тягостна. Потому не получалось у нас долго, трепеща единогласно, коллективно вереща, идти в ногу.

Над Сашкой Захаровым в раннем школьном возрасте мы изголялись сообща. Мы отпирали калитку, пес выскальзывал, лая на нас, а пружина захлопывала мышеловку. Пес на улице, мать на работе, Сашка в доме. Мы хозяйничали в винограднике, Сашка от бессилия ругался за двойными стеклами. Отец Сашки умер рано (от алкоголизма). Мы его боялись, мрачного (когда трезвый). Отец Славика бросил семью в зрелом возрасте, но умирать возвратился в очаг после смерти первой и второй жены. Славик жил далеко, женившись на кореянке. Вся тяжесть перемен легла на плечи его сестры Натальи. Славик, находясь на побывке, плакался: “Женился на красавице, а сейчас такая страшная...”

Мы с Сашкой говорили по душам, прячась под абрикосой от палящего солнца. Мы терпеливо выслушали нескончаемый монолог его мамы. Мы рассуждали о том, что не стоило разводиться в женами. Мы смотрели на старую колею, где я волочил бруски, упاداющие в курслеп.

Я вспоминал, как вдруг решился полукриком сказать отцу: “Больше на лесной склад не пойду”. Сидя на домашнем складике с одеревенелыми руками, я выводил музыку своей судьбы. Нашлись силы, хватило ума и сердца сохранить человеческое лицо. Отец исподтишка менял на водку мои бревна, доски и бруски. Низко наклонив лоб, я теребил пальцами гнетущую тишину...

Привидение

Вову Козела считаю одним из ярчайших личностей, другом, посланным небом. Согласно неписанным традициям, он, как выдающаяся личность, отправился в вечность — ныне, присно и во веки веков сиять беспокойным звездным образом.

Володя, как и я, рос под жестким контролем отца страха, жестокости, агрессии, под прессом непомерных родительских требований, проверок дневников, жестоких наказаний в замкнутом пространстве. Грозный и тучный дядя Ваня сек моего друга, преградив путь к отступлению, тучей надвигаясь с проема двери крохотной бани. Я слышал стенания единомышленника и ничем не мог помочь. Разве что я сравнивал безысходность его ситуации с умеренными экзекуциями моего папы, отчего на душе становилось легче. Но легкость душевная улетучивалась, когда на горизонте возникал друг. Мы оба с одинаковым чувством неловкости и вины молча брели на поляну. Эмоциональная связь между отроческими душами крепла общими страданиями, доверительностью, заботой и чувством исключительности, основными составляющими любых дружеских отношений. Мы притягивали ярко, самозабвенно, как случается только в отрочестве.

В мой день рождения Вова вручил мне удивительный подарок — футбольный мяч. Мы празднично обедали, наслаждались ароматными котлетами, разными салатами, предвкушали торт. Отец купил нам бутылку вина на семерых, каждому досталось по рюмке.

Мы гуртом вывалились в проулок, немного пофутболили, взяли велики, отправились производить впечатление на мою сестру Валю и на ее подругу Наташку Глазко. Окружающий мир виделся старшему другу по-иному, нежеле мне. Разница в несколько лет в юном возрасте заметна невороуженным глазом. Именно поэтому Володя не терялся в присутствии первых красавиц поселка, запросто с ними беседовал, легко прикасался, уместно и смешно шутил. Я же маячил поодаль, переминался от глубинных страстей, надувался, словно мыльный пузырь, от собственной значимости.

К вечеру мои родители отправились в какие-то гости. Сестра с Наташкой заперлись в доме, игриво секретничали, строили в окно мины, корчили рожи хохоча из-за штор. Мы же, аки волки голодные, рыскали

от окна к окну, скреблись от возмущения, подглядывая за дамами, барствующими в чувстве защищенности. От бессилия мы потерялись, сочли день завершенным, решили разбежаться. Вдруг я предложил проверить форточки в нашем многоквартирном доме. Конечно же, наша настойчивость и целеустремленность дали плоды. Конечно же, одна из форточек в дальней спальне не держалась на защелке.

Сейчас, глядя на крохотное пространство, не перестаю удивляться, как мы смогли просочиться, будучи далеко не мелкими и не маленькими. В спальне мы начали думать думати, мстительно фантазируя. Глупое детское воображение усадило меня на крепкую шею друга, сверху мы набросили простынку...

Топ-топ-топ, услышали, опешив, девушки, едва не сойдя с ума, чуть было не получив сердечный приступ и пожизненное заикание в лучшем случае. Скри-и-п, истерично хохотнула несмазанная дверь, на пороге воздвигнулось привидение. На светлое прозрачное чудище, с ужасом, бледные, как свежесбеленные стены, уставились девчонки...

Далекий взрыв

После взрыва на военном заводе по поселку ползали слухи. Говорили о шпионах, сказывали, там бесхозно валяются снаряды со взрывчаткой. Мы, мальчишки, рожденные в 50-е годы прошлого столетия, воспитанные в традициях военного патриотизма, с волнением впитывали смутные вести. Мы собирались за домом культуры, пристально всматривались в степную даль. Где-то за ковылями пряными, за полянами горькими, за чертополохами колючими, за балками пологими, за оврагами, полными акаций, тайлся наш далекий “друг”. Новости проносились сороками, в молве вспыхивали сплетни, немислимые рассказы, досужие вымыслы.

Валерка Лакомый, призвав меня в свидетели, клеил на рельсы аммонит (так называл он клейкую массу). Из-под колес поезда сыпались частые выстрелы. Машинист грозил нам кулаком, исторгая неслышную словесную шелуху. Мы убегали бурьянами, переходящими в подсолнухи, за снегозаградительные щиты. Там Валерка, примостившись у забора, вооруженный до зубов, набивал серой самопал, пока нас не прогонял строгий дядя Женья.

Вскоре военный завод “огрызнулся” у Горбузов — так называли на поселке безмужнюю полную тетку и двух ее сыновей. Старший, впоследствии прошедший жизнь по тюрьмам, начал греть толовую шашку в печи. В результате он остался без пальцев правой руки, а младший лишился глаза. А пока мы уличной гурьбой, за выемкой у бугра, забивали дырчатые банки в ямки, наполненные разбавленным водой карбидом. Сверху бросали горящую бумажку, и банка, бухая, взлетала ввысь, словно из катапульты, разбрасывая кусочки глины, рождая военные ощущения.

Валерка ежедневно постреливал из самопала. Случай с Гарбузами забывался. Я мечтал иметь что-нибудь солдатское. Пришлось ограничиться пугачом, полученным от старьевщика взамен на грязный хлам, лежащий за домом. Отец последовательно прострелил все пробки, вытащил острый боек, сунул оружие мне за пояс: “Держи, солдат...” Я двинулся к дому культуры на стадион, придерживая падающую вниз пушку, ощущая военную силу.

Стоял теплый вечер октября. Вокруг поля сновали подростки, ребята постарше в углу сгрудились у костра. Кое-кто бросал мяч в баскетбольное кольцо. Малыши повизгивали, но в общем преобладала тишина. Взрыв прогремел неожиданно. Раздались крики “помогите”. Как выяснилось потом, местные хлопцы положили в костер авиаснаряд. Всех покалечило в разной степени. По иронии судьбы, погиб восьмиклассник, он просто сидел на скамье и дышал свежим воздухом.

Мы хоронили товарища всей воьмилетней школой №94 Кировского района города Донецка. В числе прочих, идя за гробом, едва ли я думал о неисповедимости путей Господних. Едва ли осознавал, что, не задержись я на шахте у крана с газировкой, то непременно оказался бы у огня, в эпицентре тех далеких трагических событий...

Красные уши

Когда принесли спиртное, я совсем забыл про больные отмороженные уши. Вино пили на лесном складе, ребята глотнули по одному разу, я же, закомплексованный, буль-буль-буль — выпил почти полбутылки и охмелел-осмелел, разглаголился-разбахвалился, посулив такое вытворить...

По снегам, по морозам мы набрали на окраинный магазинчик “Спорттовары”. Я, ведомый эмоциями, находясь под анестезией, движимый ядерной энергией винных паров, задыхаясь от приступа собственной значимости, желая произвести впечатление, стремящийся удовлетворить инстинкт престижа, ничего не придумал лучше, чем выхватить из-за прилавка пару спортивной обуви и броситься наутек. Бежал я быстро, петляя я ловко, но, несущийся за мной парень, скоро настиг меня, цепко схватил меня за большие уши, так и привел в подсобку к ожидавшему меня милиционеру. Местный участковый посмотрел мне в глаза суровым взором Дзержинского, сказал кратко: — Да он пьян... — и, держа меня за ухо, повел меня в опорный пункт.

Представитель власти долго и больно трепал меня за уши. Он сразу же сломал мою психику и всякое желание врать. Мои уши опухли и, казалось, увеличились до размеров моей головы. Но старший лейтенант, подзревая подвох, снова и снова повторял экзекуцию. Я сдал всех, кто пил со мной, я продал Бога и самого себя, и меня отпустили. Хитро, заметая

следы, я вскочил в автобус, заехал за тридевять земель, затем перебрался в трамвай, возвратился в родные места с неожиданной стороны.

Насмотревшись фильмов о подпольщиках и пограничниках, я остерегался “хвоста”, продираясь сквозь высокие снега. У дома я перевел дух, расслабленно выдохнул, толкнул плечом входную дверь. Пряча глаза, я намерился прошмыгнуть в глубь комнат, но подняв голову, оторопел. За столом напротив краснощекого отца сидел наш участковый. Оба уставились на меня. Мой батя, скорый на расправу, шагнул ко мне. Мне запомнилась его рука, пронзительно летящая к моему напряженному уху. Я снова и снова давал показания, почему-то вспоминая краснодонцев из книги А.Фадеева “Молодая гвардия”, вынесших, по словам автора, нечеловеческие пытки...

Восьмилетка 94

Поговаривали, во время войны с гитлеровской Германией фашисты держали здесь лошадей — в этих длинных, баракообразных, вовсе не школьного вида помещениях. Ради человека, произнесшего такое, укажу, подтвердив: корпуса, разбросанные неподалеку от останков старого террикона, в самом деле напоминали что угодно, только не школу. Неспроста люди называли их бараками. Мнение народа, как известно, не редактируется. Разве что заблудший традиционно глас об алкоголизме. Это я так, к слову...

Одноэтажки занимали довольно большое пространство неподалеку от дома культуры и почты — центральных учреждений окололидиевской пришахтной территории. Почта привлекала нас, едва оперившихся третъякляшек, особенно. В длинные перемены мы бежали на площадь возле клуба, заполняли отделение связи (дикари дикарями), хватали бланки (лишь бы что-нибудь взять), стремглав, неслись обратно на уроки.

Первую учительницу я глубинно (подсознательно) не полюбил. Классная руководительница напоминала мамину подругу тетю Полину, властную, агрессивную женщину, оставляющую в моей душе страх обычной самодостаточностью. Анна Тимофеевна пугающе близко приближалась, подавляя, оставляя одну лишь неприязнь. Чаще и чаще училка видела меня опаздывающим к началу урока. Все корявей, небрежней читались написанные мною строки в тетрадках. Она прожигала меня взглядом.

Вчера на середину занятий буквально ворвалась мать мальчика из параллельного класса. Женщина обозвала меня хулиганом и бандитом, просила принять меры за то, что я сорвал шапку с головы ее толстого сына-придурка с жирной рожей и забросил головной убор высоко на балкон третьего этажа соседнего дома. Конечно, вызывали завхоза, искали лестницу, просили восьмиклассников забраться на высоту...

А на прошлой неделе меня вырвало прямо на уроке арифметики, перевернуло желудок от виноградной перегрузки (зрелые кисти держались в нашем винограднике чуть ли не до рождества). Листьев нет, а грозди красуются, удивляют, не падают на отчий двор. Урок, разумеется, не получился, учительница разозлилась. Пока уборщицу нашли, пока она убирала, шурша тряпками, звеня ведром. Меня усадили возле батареи — греть печень, а через минуту прозвенел звонок, привнося в душу чувство облегчения, хороня в подсознание ощущение неловкости и вины. С тех пор я избегал прямого взгляда преподавательницы.

Совсем скоро грянула новогодняя елка! Мы ждали, гадали, кто же исполнит роль деда Мороза. Я вместе со всеми хороводил в старом коричневом вельветовом костюме, в маске медведя. Мы нестройно пели вечный детский новогодний хит “В лесу родилась елочка”. А накануне мы много раз тренировались для какой-то страшной мифической комиссии. “Двумя ручками, ладошка к ладошке, словно топориком, сверху вниз наискось — р-раз! — под слова “Срубили нашу елочку...”

Стол, застеленный длинной скатертью, доверху заваленный новогодними подарками, волшебю влетел, неуклюже повернулся, едва не опрокинув часть блестящих гостинцев, замер у красавицы елки. Если бы стол сделали повыше, а скатерть нашли бы подлиннее, мы не увидели бы под столешницей приземистого мускулистого восьмиклассника. А по кругу шептали: “Дед мороз Анна Тимофеевна...”. Я носился среди ребятни и не сводил глаз с бородатого дедоморозовского лица и медленно узнавал классную руководительницу.

Уходя в другую школу

Такая спасительная мысль еще только витала над родимыми терриконами, оседая в степях Донбасса вместе с угольной пылью, жарой, детскими помыслами. Еще только первый пушок пробивался у иных пятиклассников. Еще только первые мысли начинали шевелиться в наших светлых головах, наполненных босячко-бандитской пошлостью, похотливым мышлением возрастающих чад социалистического месива, уродства, тюремной лирики, идеологического насилия, экологического издевательства.

Еще бы, только пятый класс, а мы всю “лапали” девчонок. Моя Лариса Городничая никак не отвечала на беспардонные прикасания к зачинающейся груди. Васька Булах (царствие ему небесное) запросто подходил к Лариске и запускал руку под ее школьное платье. Полнеющая девушка бровью не вела. “Видишь, — успокаивался Васька, — совсем не реагирует”.

В завершение карнавала брыкастая и непослушная Зойка Ярмоленко (к ней никто не приставал) накатала анонимку новой классной

руководительнице старших (пятых классов) Валентине Михайловне. Пребывая между деяньем и тем, что она им называла, Ярмоленко с огромной любовью сдала всех нас с потрохами. Она взяла и подробно, и прямо, без обиняков перечислила (весьма натурально) наши странные подростковые чудачества. Не называя того, что мы исполнили, мы сидели в классе (тише мышей) на мальчишнике, мы слушали беседу о нравственности, не глядя в сторону Валентины Михайловны. Из ее уст, легкие как птицы, как душа, вылетали замечательные сентенции из произведений великих писателей. Афоризмы, пуще слов обличительных, прибавали нас, распоясавшихся донельзя (откуда только источник про-бывался?). Не останови нас во время рука небесная, верно, в шестом классе наши девчонки рожали бы деток.

Вася Булах считался заводилой. Я метался на подхвате как исполнитель его замыслов. На том злополучном собрании — позоре — Валентина Михайловна не сводила с меня своих вездесущих глаз. И гвоздила, и совестила, и честила нас обнаженной правдой факта. Прежде чем уйти в чистейшее деянье, Вася Булах свел все дела в свой последний реестр, упорхнул в запредельность (умер от аппендицита). Он, как говорится, успел перецеловать все вещи мироздания раньше времени в лице наших девушек. И лишь тогда отбыл в несказанный глагол “я умер”.

Дело еще вот в чем, Валентина Михайловна помнила недавний разбор моих милицейских протоколов. Меня поставили пред ясные очи педсовета (суки). Завуч утомил, поясняя правильное написание фамилии моего подельника Конева. “Я вам говорю, Конев пишется без мягкого знака, потому что есть маршал Советского Союза...”. Грамматическая заминка немного отгородила от проблемы, дала возможность передохнуть. Валентина Михайловна, незаметно примостясь в сторонке, в прениях не участвовала, но глаз от моей физиономии не отводила. Я это чувствовал и не поднимал веки, прожигая взглядом концы своих грязных ботинок. По нашим грязям даже в сапогах непросто пройти до цивилизованного асфальта.

На педсовете решали, что со мной делать. Спрашивали, как я думаю жить дальше? Рассуждали о моей совести, об опозоренной чести школы (точно я изнасиловал целое учебное заведение).

Моя ненужность в восьмилетней школе №94 навела меня на мысль, которая тут же озвучилась, начала материализовываться. Я сказал, что живу на перепутье, что мне все равно очень далеко сюда ходить на занятия. Я добавил, что в средней школе №79 учится моя сестра, все мои друзья. Я думаю, что исправлюсь, перейдя туда. Валентина Михайловна от счастья даже улыбнулась, хотя глаза у нее все равно милиционерские...

Отслужив в армии, я встретил Городничую. Ей, единственной дочери очень богатой шахтерской семьи, предложил выйти замуж парень из

одного далекого городка. Она пыталась схватиться за меня, но Лариса мне не приглянулась...

ДСШ

Зачинался я как бразильский футболист. Только вместо песочных пляжей оведали меня братец одуванчик и сестрица резеда. Я, чистой воды тушканчик, прозвали почему-то тузиком, страдал без футбольного мяча, ожидая хоть какого-нибудь явления. И вот из-за бугра возникал Витя Пьянов (царство небесное), и вот из-за путей тащился Славик Кривуля — травы ниц — мы заводили карусель, и пыль стояла столбом. И вроде бы все пропето у диких футболистиков. Вроде бы юрче стрекоз ломких обводили друг друга — завидная мышечная координация — мяч непрерывно вылетал в выемку. Сколько же тысяч раз я спускался вниз по тонко потрескивающему разнотравью? Сколько раз я пугался сварливого шмеля, истратив высокий тенор беспокойства своего ломающегося голоса?

В таких условиях, произрастая, я ежевечерне вымалывал у отца поездку в настоящий футбол — на центральный стадион “Шахтер”. Ах, я свистун-тушканчик, ах плут лидиевский достал-таки отца до самого нутра. Добил-таки старого болельщика команды горняков (не любил мой блаженный родитель вояжи в суетливый город).

В 1966 году (начало реконструкции) стадион столицы Донбасса вмещал двадцать тысяч зрителей. Бессчетное количество зевак и любителей футбола парили — “болели”, располагаясь на склоне окрестного террикона с северо-западной стороны у горючего поля. Боже мой, невиданные впечатления захлестнули мальчика с далекой шахтерской окраины. Папка, не засти божий свет. Не мешай ребенку болеть за команду, проигрывающую одесскому “СКА”. Хорошие времена, нечего сказать. В игре полный развал. Тоже мне, нашли соперника, ну хотя бы “Черноморец”! Позовите моих сверстников, старожилы футбола. Никто и не вспомнит об армейцах из портового города. Мы выйдем против них, даже на один тайм, не боясь, умрем. Но как должно так и будет. Счет, страшно вспомнить, стыдно озвучить, 1:4 в пользу одеситов.

В ответ на забитый нашими гол престижа я, разрываемый эмоциями, засвистел. Я дул в пальцы так, что игроки двух команд на миг остановились, приняв мой посвист за реакцию судьи на игровой момент. Прильнув земли ко груди, я жил мгновением, я заиграл двенадцатым игроком в черно-оранжевой комбинированной форме. И одеситы дрогнули. Но, к счастью для них, прозвучала финальная трель арбитра. Отец торопился скорее покинуть утомительное многолюдье. Я впервые что-то почувствовал, и благодать коснулась меня своим светлым, прозрачным крылом, отворив врата пути, тронув духовное зрение и предопределив судьбу.

Отец, страстный поклонник горняцкой команды, представлял отряд болельщиков, знакомых с футболом по уличным перепалкам и по телевизионным передачам. Отец никогда не играл в футбол по настоящему и, конечно, ничего не понимал. Впрочем, я ему не судья.

Боль моего бессловья зазвучала словами: “Хочу в футболисты!”. Так и произнес. И говорил, и просил, и молил как мог. И верил так, что останавливалось колесо на копре и включалась аварийная сигнализация на шахте, и задыхался от хрипоты зазывной гудок.

И молчали ротозеи, видя, что-то происходит на краю сознания. Как-то беспокойно вздыбились волосинки у меня за ушами. Затевалось великое дело во имя спасения меня для иного пути. Более духовного, чем ожидающее меня многотюремье. Крик плавил небо, а гортань оплавлялась в породу. Кремень связной речи сек искры из папиного терпения и высек простое человеческое решение.

Я взмыл из крошечной бездны сероводородных испражнений, я прожег высь. Я уже хотел не просто инстинктом, но чувством. Я пробурвал хмельные папины туманы и затих.

Через неделю мы с папкой виляли вокруг стадиона, обходя строительные конструкции.

Мы разыскали гаревое поле у трибунного террикона. Там звучали не пустые разговоры.

Меня принимали в спортивную школу самые именитые тренеры Донбасса...

Средняя семьдесят девятая

Даже не взглянув на школу, без чувства благодарности за разжеванный алфавит начал мироздания, я амбициозно сжал в руке документы, полученные в канцелярии, зло хлопнув дверью, ушел навсегда из ненавистой восьмилетки. Ничего не шевельнулось в душе, ни одно школярское слово признательности не упало с моих горделивых уст. Потопал я по шоссе — в железнодорожно-пахнущую, двухэтажную, кирпичную среднюю школу. Удивительно, но оказавшись среди “августейших” особ школьного директората, я осознал чувство собственного достоинства, превращаясь в личность, исполненную любви. Что-то тревожило душу и бередило сердце, суля новые волнения и переживания.

Новая классная руководительница Любовь Антоновна Чиж в первые четверти обучения не могла нарадоваться на меня, любя и нахваливая и ставя в пример. В общественной жизни — участник, в познании предметов обучения — отличник — дневник пестрел отметками “пять” (высший оценочный балл 60 годов двадцатого века). КВН организовал, вопросами соперника поставил в тупик. А по спорту — душа школьных физруков и переменных футбольных баталий. Теперь же, оглядываясь

назад, становится понятно, как трудно нормально учиться, сидя на уроке, ожидая очередного перерыва между уроками и мчаться доигрывать незавершенный отрезок предыдущей паузы. Я томился на уроках избытком энергии, поминутно выпрашивая единственного владельца настоящих часов, сколько же минут осталось до окончания бесконечного проклятого урока. На физкультуре мои вселенские притязания огорчал Сашка Такмаков, посещавший секцию гимнастики. В маленьком спортивном зале его гимнастические достоинства смотрелись лучше моих скрытых футбольных талантов.

Одновременно с футбольным развитием охладевал ученический пыл, унималось рвение к наукам. Я лишь успел, любя предмет, выучить наизусть учебник немецкого языка за пятый класс. Иностранному языку я поклонялся до крайности фанатично. Идя домой, я доставал одноклассника Алика Клешкина (хороший футболист) примитивным говорением бытовых фраз на иноземном наречии. Заветный дневник, изобилующий высшими оценками, принес тренеру, поразив, удивив (остальные учились — ужас как плохо!) футбольных братьев по спортивной школе. Долго футбольный учитель ставил в пример мою (давно опустившуюся) успеваемость.

Трудности начинались постоянно. Видно, так сложилось исторически, спортсмены, за редким исключением, не достигают значительных успехов в учебе, отдаваясь всецело любимому виду спорта. Занятия по футболу начинались в восемь утра. Я спешил в другой конец города на переполненном автобусе. К двенадцати часам я возвращался домой, обедал, шел в школу. Учиться не хотелось, кроме усталости не было желаний.

А занятия тянулись своим чередом. Сашка Токмаков любезно предоставлял мне свои тетрадки, добросовестно исписанные домашними заданиями. В моем распоряжении находилась короткая или длинная перемена между уроками. Разумеется, я уже не мельтешил с ровесниками на футбольном майдане, измотанный тренировками, дорогой, переходным возрастом. Но строчил с каждым днем все менее понятные рассуждения математической и другой точной мысли. Неуверенность в знаниях закачалась у меня под ногами. Немецкие глаголы выветрились от нагузок. Волочась домой с Аликом Клешкиным, я деликатно избегал немецкой темы, болтая о пустом. Любовь Антоновна спрашивала: “Толя, что с тобой...”, видя, как вчерашний отличник скатывается, минуя середняков, в отстающие. Еще большую отвагу я проявил в плутовских проделках из-за богатого футбольного воображения, весьма опасного без интеллекта. Надпись на кабинете “Директор Василий Харлампович Райко” зачернела устрашающим несдерживающим уже фактором. Я-то полагал, дело в той восьмилетней ненавистной школе, из-за нее беды зачинились...

В шалаше

Здесь самое время заглянуть в густые бурьяны, лопухи, репейники, издали кажущиеся сплошной и скучной массой. Здесь, на стыке железнодорожной выемки и нехитрого огорода Лакомых, сходились нити поселковых пилигримов, перекрещивались дорожки уличных развлечений. Заросли сорных трав некогда стали началом местного культурного движения шалашей, если можно так выразиться. Местные ребята повадились возводить зыбкие сооружения из палок, проволоки, бурьянных стержней, лопуховой листвы. Внутрь сносили всячину, собранную на улицах, на задворках домашних хозяйств. Пеструю утварь бросали, стелили, даже прибивали гвоздями к доскам, лишь бы выделиться перед остальными в многоликой детской ораве.

Издали разнотравье смотрелось эдаким морем разливанным. Из него выбрасывались настоящие кошельки, привязанные к ниточке, ускользящие из-под неловких пальцев. Из темно-зеленой тайны вылетали комья земли, почти беззвучно шлепались под ноги прохожим (чаще женщинам), идущим через выемку в сторону магазина или шахты, дальше идти было некуда. Швырять что-либо в мужиков (в основном здесь проживали шахтеры) не решались, опасно сердить человека, живущего на грани жизни и смерти.

Особенный колорит в скуку нашей однообразной местности приносила телефонная линия. Два столба маячили посредине берьянника, накренившись миниатюрными пизанскими башенками. Мы прилагали к основным остовам уши и слышали будоражащий воображение гул, оставляющий повод для размышлений.

Стало быть, шалаш, примыкающий к столбу с подпоркой, считался привилегированным, более надежным, престижным, требующим значительно меньше строительных материалов. Из такого укрытия (как вы уже поняли, принадлежащего мне) хорошо проглядывались дворы, хозяева которых представляли для нас хоть какую-то опасность. Мы избегали попадаться на глаза дяде Коле Лакомому, собственно, мы и не могли опростоволоситься, ведь он находился у нас в поле зрения, даже не подозревая об этом.

Поскольку столб, как и полагается, устанавливался в чуть-чуть возвышенном месте, я царствовал, кум королю, сват министру, как говорила моя мама. Я радовался отсутствию отца, я пьянел от ощущения превосходства над родителем. Я всегда видел его, уходящего в сторону лесного склада, оставаясь невидимым пустынножителем града божьего. Я примечал, соответственно расположению домов, в каком направлении двигались соседи и, особенно, Клименко Наташка. Я как волк-одиночка следил за симпатичной расцветающей девушкой, в глубине своей плоти томимый похотью, обуреваемый первыми ее позывами.

Наташка шла из магазина, потому что в сетке болталось молоко (хлеб они не покупали, их отец водил авто на хлебовозе). Наташка испугалась, когда я окликнул ее из травяной гущи. Она разглядела меня, остановилась, перестала спешить. Мы стояли у края выемки, два четырнадцатилетних подростка и обменивались информацией ни о чем не зная, как же сказать о том, о чем хочется. Как же начать игру, время которой пришло и заявляет о себе и днем, и ночью. Идеал, конечно, всегда оказывался иллюзорным. То, что я проживал в воображении легко и запросто, в реальности предстояло очевидной, не имеющей решения задачей. А уж о практике и говорить нечего. Мне стоило больших усилий произнести несколько простых слов: “Пойдем, я покажу тебе шалаш...”. В сильном волнении я почувствовал, сколь непроходим бурьянник, сколь трудна миссия, ожидающая меня в моем тайнике. Мы втиснулись в узкое пространство, исполненное тишины и стука наших бешено колотящихся сердец. “В шесть мне нужно быть дома...” — трепетно выдохнула моя первая девушка...

На взгорочке

Бугор образовался на поселке после строительства подземных коммуникаций. Многие увидели в нем добрый знак. Насыпная возвышенность создавала ощущение защищенности. Зимой мы катались с нее на лыжах, санках, летом — на велосипедах. Здесь назначались встречи. Отсюда просматривалась перспектива шахты, а вершина террикона казалась не такой высокой. Здесь было наше место — так считал я и мой друг Славик, и это не обсуждалось. Здесь таилась наша корневая сила, наше чувство причастности, переходящее в чувство приобщения к Родине, Отечеству, Отчизне...

Целыми днями мы струились по склону вверх-вниз, ревниво оберегая место от посягательств тех, кто жил за путями — от братьев Власенко, Пукасов. Когда игра утомляла нас, мы шли ко мне или к Славику и устраивали прятки с обливанием. Я свергал воду с крыши на таящегося в тени крыльца Славика. Мой друг молчал, обижался, уходил домой. Мне подумалось, причина была совсем в другом. Недавно мы возвращались домой с танцев и напоролись на хулиганов. Заводила насел на меня, но я вильнул в сторону, сделал ложное движение и был таков. Славика побили... Назавтра я заглянул к другу. “Что, надавали по соплям, — съязвил его отец, — идите-ка на свой взгорочек”.

Новое название нашего пристанища приглянулось поэтичностью, легло на душу. Мы снова стояли на вершине мира, маялись от безделья, ковыряли пазы чугунного люка. Мы давно пытались заглянуть в его преисподнюю, но безуспешно. Но сейчас мы решились, потому что мой папа в полдень оседал на лесном складе. Потому что родитель Славика

собирал колорадских жуков в картошке. Со стороны остановки взрослые не просматривались, а дядя Коля молотил уголь в глубоком угольном забое. Да и Шкаевых, их в поселке называли “кацапы”, мы не боялись.

Солнце стояло прямо над нами, и, Бог свидетель, мы все-таки оторвали проклятую крышку от прикипевшего к ней обода. Мы подняли рифленый кругляш с одной стороны и взирали в глубину веков, вдыхали мрак и сырость подземелья, слушали живой шопот воды и наслаждались обволакивающей нас прохладой. Небесное светило высветлило углы замшелого таиллица. Нелегкая крышка едва держалась в руках. Я посмотрел в глаза Славику и сипящим шопотом скомандовал: “Бросаем!”. И отпустил гнетущую тяжесть. Славик не успел отнять пальцы. Я заметил падающие наземь, пламенеющие капли, белое лицо друга, горечь в его глазах, прежде чем он бросился бежать домой. Но я улепетывал с места происшествия еще быстрее...

Целые сутки я не выходил из дома, удивляя родителей небывалой доселе усидчивостью. Через день я осторожно подошел к калитке и выглянул на улицу. На бугре маячила фигура моего друга с перебинтованной рукой. Он смотрел на меня. Он казался мне таким же одиноким, как я сам, застыв на нашем незабываемом взгорочке...

Медбрат

Когда кошмар закончился, врач сказал: “Ну, парень, беру тебя к себе медбратом, уж больно ловок ты вены находить”, — и расхохотался, на что я лишь слабо и уныло улыбнулся.

Когда Светка Кониченко, шая в отсутствие учительницы, замахнулась, чтобы ударить меня своей тяжелой ладонью, я среагировал, подобно боксеру, отмахнулся авторучкой и угодил ей пером прямо в руку. Красное пятно поползло по плотному рукаву розовой кофточки. Я испугался, Светка убежала из класса. Занятые сверстники ничего не заметили.

Через некоторое время школа напоминала смольный институт в период революционного восстания. Рассказывали, что, когда отвернули рукав кофточки, из руки забил пурпурный фонтан. Похоже, я открыл новое месторождение крови. Через час меня вывели из класса едва ли не под конвоем, разве что не доставало наручников. Через сутки Валя Додина, сидящая впереди и все узревшая каким-то образом своей крепкой спиной, давала показания против меня. Все видела, все слышала, все знала...

К вечеру рука у Светки опухла, в школе поговаривали об ампутации. В мою сторону не смотрели, мол, конченный. В последующие дни на меня второпях составляли отрицательную характеристику, предусматривая даже смертельный исход случая.

Я возвращался домой самой длинной дорогой по весеннему колхозному саду, вдруг, осознав, что я уже не боюсь своего грозного отца. Случилось что-то такое, что вывело меня из рамок детства во взрослость. Мои родные понимали — дело пахнет трудовой колонией, короче говоря, тюрьмой.

Назавтра я плелся в школу так медленно, что даже ползущие за мной перwokлашки натыкались на меня. Единственным положительным моментом для меня было пренебрежительное отношение учителей ко мне. Коллектив готовился к грозе, выгораживая себя. Дирекция переставывалась. Я ощутил острое чувство одиночества, безысходности, тоски и несправедливости...

После выходных я, крепко осунувшийся, ко всему безразличный, приволокся в ненавистную мне школу, в нелюбимый мною класс и уселся за проклятую парту. Рядом возник Сашка Заседкевич, единственный, кто мне сочувствовал. Он пнул меня в плечо: “Беги в санчасть, Светку, кажется откололи!”. Думаю, можно не объяснять, как я быстро бежал, как я парил над землей, окрыленный наркотиком надежды.

На пороге медицинского учреждения курил доктор. Он поманил меня пальцем. “Все, парень, Светка вне опасности, я отправил ее домой. Но ты артист! Вот так запросто одним махом угодить в вену... Не у каждого так получится... Когда закончишь школу, поступай в медучилище на медбрата”.

От радости я почувствовал слабость и опустил на серую от табачного пепла лавку...

Баласики

— Пойдем собирать баласики, — зовет меня друг детства более старший Валерка Лакомый. Баласики — это камешки-окатыши небольшого размера, предназначенные для стрельбы из рогатки. Мы плетемся по железнодорожному пути от шахты к центральной магистрали. Поезда здесь появляются редко, двигаются медленно, с надрывом, чиханьем, визгом, скрежетом. На этом участке на вагон взбирается Витя Шкаев, мой учитель гитары, быстро и ловко сбрасывает уголь-крупняк на обочину. На этом месте я получаю крещение — цепляясь за плывущую мимо лестницу вагона. Могучая сила опасно несет меня над землей.

На этом баловстве один из сверстников сорвался вниз, бедняга получил тяжелое увечье, остался без ноги.

Поэтому Валерка, его младший брат Серега и я с полными карманами баласиков вихляем по междупутью, браним неудобную для шага ширину между шпалами. Наши восклицания разносятся по выемке, поросшей курслепом, осотом, чертополохом. Стальная колея выводит на Весовую станцию напрямик к одиноко стоящему пассажирскому вагону.

Баласики уходят на второй план. Мы быстро взбираемся внутрь вагона, оцениваем поле битвы и, словно одержимые, начинаем крошить все бьющееся, ломающееся, хрупкое, как жизнь.

Рабочие появляются неожиданно. Они в смятении от увиденного, они возмущены до предела. Они ведут нас, испуганных детей, к дежурному железнодорожнику, они рассказывают ему о нашей благоглупости. На нас с удивлением смотрит папа моего друга Федор Лелеко. “Знакомые хлопцы”, — только и произнес в нашу сторону. Нас переписывают, все мы живем на одной улице, отпускают переживать о случившемся.

К вечеру я плетусь домой. Навстречу мне из переулка в одних брюках с ремнем, затянутым поперек и свободно, идет отец. Он, как всегда, бьет меня долго и зло. Мне уже не больно, я взрослый. Несколько раз меня вызывают к следователю по делу о порче вагона, но я с ребятами много раз тренируюсь, что и как отвечать. Словом, обошлось...

После каникул, в первый день учебы в школе меня ведут в учительскую, полную преподавателей, долго стыдят разными словами, вгоняют меня в чувство вины. Меня, вчерашнего отличника, унижают так, будто отлучают от церкви. Режет слух фраза: “Какой несбалансированный ребенок...”

Мне вдруг становится весело, уж очень созвучно странное слово с баласиками...

Мировой рекорд

Толя Науменко, друг и одноклассник, выкальвает букву ниже запястья моей левой руки. Мне нравятся две Елены, Жаткина и Антонова. Я не могу говорить о своих чувствах, поэтому я заказываю таинственную букву “Л”. От нестерильной иглы, грязной туши, кисть у основания большого пальца краснеет, кожа саднит...

Не так давно кто-то принес в школу карты с изображением обнаженных женщин, чем весьма разволновал ребят. Я вырезал с фото голову Антоновой, наклеил девичий облик на физиономию разбитной игральной дамы подбросил произведение глупости в парту. Увидев шедевр, Антонова рыдала, точно у нее одновременно умерли все родственники. Я успокаивал школьную подружку, возмущаясь, грозя набить физиономию тому, кто посмел так надругаться над прелестным существом...

— Щас ты у нас настоящий мужик, — басил Толян, колдуя над своим детищем...

А я думал о строгой Жаткиной. Тайну о том, что я ухаживаю за бойкой отличницей из параллельного класса, я хранил так глубоко, что сам не догадывался о ней. Я обратил на себя внимание Елены грубой подножкой во время школьных снежных баталий на перемене. Жаткина тяжело и неуклюже рухнула на оледенелый асфальт подворья...

Вечером я дождался ее после заседания совета дружины, возник рядышком как бы случайно, провел к дому. При расставании я вручил подарок — заячий хвостик — самую дорогую личную вещичку...

Елена замуж не вышла, может быть, она предназначалась мне в жены. У нее симпатичная дочь. Мы видимся с ней один раз в год, пьем чай, дружески предаемся воспоминаниям. От нее я узнал о двадцати четырех тысячах советских рублей, которые, как у многих лежали на книжке у ее родителей в период инфляции. Я пожалел о том, что не женился на Алене, искренне считая “сгоревшие” деньги своими. Мою грубую шутку Елена не помнит, а образ пушка затерялся в прошлом...

Толян завершает художественный образ. Выглядит буква не почеловечески. Меня тревожит тяжелое объяснение с отцом, если тот что-то заметит. Смешно сказать, но только через год мой постоянно нетрезвый Никифор Степанович взглянул на руку. “Это что такое?” — грозно крикнул папа, хотя я не понял, о чем идет речь, так как свыкся с того и давно забыл о ее существовании...

Вечером у Толяна мы смеемся над наивностью моего предка, сплетничаем о делах школьных. Уходя, я традиционно добираюсь до калитки, а друг открывает собачью будку. Пока собака мчитя в мою сторону, я оказываюсь за оградой. Но сегодня мать Толяна заперла калитку на замок. Я не успеваю испугаться вида приближающегося пса. Я не могу объяснить, как, взявшись рукой за высокий забор, я перелетаю через штакетник с легкостью Валерия Брумеля, несомненно установив мировой рекорд того времени. Через мгновение в то место, где секунду назад стоял я, бьется очумелый, ничего не понимающий зверь. Вслед ему вприпрыжку, не менее ошарашенный, подскакивает Толян. Он замирает, оценивает высоту забора и мои возможности. Ничего не понимая, мы нервно смеемся...

Азартная душа

Мне страсть как хотелось хоть один раз выиграть в поселковое развлечение — в лото. Здесь на окраине Донбасса, состоящего из терриконов и прилегающих к нему частных домов, на колыбельной улице Юшкова, на лавке у дома Коневых напротив болгарской семьи (никогда не слышал, чтобы о них говорили иначе чем “болгары”) мы по соседски предавались лотошным страстям.

Я испытывал судьбу, всегда снующую рядом в виде Людки Коневой. Мне бы следовало жениться на стройной, домовитой девушке, но сегодня я думаю по другому. Люда, конечно, хороший человек, добрый, отзывчивый, но два года старшинства в почтенном возрасте ощущаются очень остро. А тогда она носилась между игроками, сидящими на — кто что принес. Тогда ее переросток-брат вечно втягивал меня в

курительные и хулиганские случаи, за что отец меня бил. Ленька же рос безотцовщиной.

Огромный Петька, славянский брат болгарского происхождения, крупный, как террикон, наводнял сборище страхом — одним только присутствием. Вечер опускался легкий, теплый и безветренный. Лотошные карты лежали миролюбиво и спокойно, накрывачки не слетали на пыльный чернозем. За маленькие кружочки мы спорили, деля их, едва не дрались. Опоздавшие пользовались личной мелкой разменной монетой.

Я вырос в семье без развития, выражать свое мнение, озвучивать гнев, прямо говорить о недовольстве я не умел. Посему, сидя на краешке лавки, из-за неразвитой моторики и рассеянного мышления я с трудом воспринимал цифры “кричащего”, медленно ориентировался по карте, ненавидел — особенно Петьку-болгарина — умных, быстро соображающих, вынимающих бочонки из сумки пригоршнями, озвучивающих знаки с пулеметной частотой.

Посему, никогда не выигрывая, в этот летний вечер я не отдыхал, как все, но лишь накапливал недовольство, видя, как с каждой партией тают мои медяки, с таким трудом выуженные в мамином кошельке, в папиных брюках, брошенных в углу.

Петька-болгарин, казалось, помнил наизусть расположение всех цифр на картах. Он двигал свои кружки, словно трюкач, держа в поле зрения всех играющих. Я же едва справлялся с двумя листами, меняя их после каждого тура, снова и снова оставаясь с носом.

И тогда, да простит Бог мой грех, я закрыл монетой лишнюю цифру и заорал: “кончил!” Все привычно стряхнули накрывачки, сбросили бочонки в мешок. Как полагалось в случае выигрыша, я озвучил занятую линию, назвал номера быстро и скомкано, мучаясь от страха, тревоги и беспокойства, так как вездесущий и глазастый Петька со своей болгарской высоты коршуном следил — смотрел в мой выигрышный лист, вперся в ряд с пронизательностью ясновидящего. “Так “тринадцать” не вынимали, — недовольно буркнул богатырь, наблюдая за мной, десятилетним лукавцем, но, подумав, согласился, отсчитал гривенник (карта стоила по две копейки), — на, азартная душа”, — одарил лгунишку труднопонимаемым словосочетанием.

До темноты я мучился нежеланием играть, смятением души, чувством вины и прочими стопятидесятью психологическими нюансами переживаний. Никогда в жизни я не ощущал так остро беспомощность души, расстроенность чувств и безысходность...

Свидание

Я знаю о том, что мой друг Славик Кривуля находится у любимой девушки... Я направляюсь в тихий окраинный двор, потому что его

сестра Наташка дома одна. Абрикосы специально падают мне под ноги и расплозаются по пыльному чернозему золочеными пятнами. С выемки тянет польнюю. На лавчонке маячит девичья фигура в легком платье.

“Привет”, — бросаю в тон скрипящей калитке, голос держу небрежным, развязным, внешний вид равнодушным. Сердце бух-бух-бух — громче тишины. В мыслях: “Вдруг Славик придет, вдруг...”.

По правде говоря, у меня нет опыта общения с противоположным полом. Глядя на друга, ежедневно гуляющего с ровесницами, я завидую ему и мечтаю о том же, но изо всех сил скрываю комплекс и делаю вид, что меня девчонки не интересуют.

Мы замираем на неудобной лавочке, мы сливаемся в одно целое, молчим, слушаем сердцебиение друг друга и сетуем на проклятые непреодолимые миллиметры. Каждый из нас желает одного и того же — отроческого поцелуя. Наташка ждет, а я не в себе, я не ведаю, как подойти к главному, как одолеть несуществующий барьер. “Тебе, наверное, прохладно, — спрашиваю я, — давай я посажу тебя на колени!”, — на одном дыхании выпаливаю слова и втаскиваю не очень-то возражающую Натку на дрожащие ноги, и плыву в неге и волнении. Руки жаждут скользить по облегающему платью, но застывают на талии, плоть желает близости, но бездействует.

Мы сидим, мы не шелохнемся, точно так же, как свисающая над нами ветвь абрикоса и тихая звездная ночь. Мы недоумеваем, откуда в наше вечное томление врываются из темноты гулкие шаги, зачем выскальзывает совсем неуместный сейчас Славик. Я быстро снимаю Наташку с колен, и она растворяется в темноте дворика. Я благодарю Бога, что не видно моего горящего, почти пылающего лица. Один лишь дрожащий голос и моя неуместная болтовня медленно убивают прелесть ушедшего мгновенья.

“Десантники...”

Хорошо Сереге Чижу, он высокий, худой, долговязый, куда хочешь заберется, что пожелает — достанет, не то, что я — маленький, тщедушный, для девушек неприметный. Повезло Сережке, живет рядом со школой, ближе только Витька Сычев и Лена Богдан.

Удобно Чижу, хитрый он, коварный, в отличие от меня, прокрадется в класс задолго до уроков, вычудит какую-нибудь чудинку, напакостит, незаметно улизнет. Нет свидетелей.

Один Бог да я ведаем, кто женские туфли засунул под внешнюю проводку высокого потолка. Спешат одноклассники к началу урока, а в коллективе роптание, смута. Ребята с девчатами за парты не усаживаются, на потолок глазуют, потешаются — туфли Ленки Богдан недоступно красуются. Витька Сычев громче других хохочет — зрелищем наслажда-

ется, наверно, знает тайну туфлевую, как и я. А достать обувь с потолка никто не может, кроме чижары. Хорошо моему другу Сергею Чижу...

Не стану излишне скромничать, в основном школьная атмосфера загрязнялась, как и водится в старших классах, группировкой лиц, страдающих хронической неусидчивостью, болезненным несмирением, неразвитым здравомыслием. Не скажу ничего нового, напомнив о том, что в примитивном смысле человеческий организм представляет из себя систему, вырабатывающую определенную энергию. Задача воспитания и заключается в способности воспитательной системы преобразовать томящуюся силу в созидательное действие мысли, творчества, ремесла, спорта. Но забота наша, как вы уже, верно, догадались, творить пакости из-за банального отсутствия здоровой мысли. Нечего тут скромничать. Мы таким образом дико самовыражались.

В надежде подвинуть общественное мнение в свою пользу мы не могли быть самими собой, послушными и боголюбивыми. Мы, как те обезьяны, выхватывали бронзоликий звонок из бочки с мелом (там хранила свое сокровище техничка) и, призвав мужество, на глазах у изумленного, самоуглубленного директора, держа звонок за набалдашник (не дай бог звякнет), переносили его в другое место. Нам казалось, главное лицо школы внимательно изучает нас, пронизывая взглядом насквозь. Нам, захваченным метафорой идеи, не терпелось получить результат — всеобщий хаос, признание значимости, прочую чушь.

В ответ на сорванный урок силы реакции безошибочно указывали на меня с Чижом и громогласно призывали нас к ответу в просторном кабинете директора, смотря в темечки наших низко опущенных голов. Василий Харлампович называл нас по фамилиям, выдерживал долгую паузу, ожидал пока мы с Чижиком наконец поднимем головы, спрашивал: “Так, десантники, теперь рассказывайте, как вы убегаете с уроков через окно?”

Мы, кому надобно молчать от рожденья, поменяли свои назначения и заговорили наперебой, мы оправдывались разом и сообща, чем распотешили шефа нашей школы. Чем не удовлетворение амбиций, чем не тема для внеклассных рассказней. “Идите...” — только и вытолкнул директор из исторических уст (он вел историю).

Имидж выделывателей всякой всячины должно соблюдать неукоснительно. Иначе наше место займет следующий ловкач. Следуя указанию директора, мы отправились (он ведь не сказал “Идите на уроки, а просто идите...”) за школу, посмаковали подробности, потоптались, перекуривая, и полезли в класс через не очень высокое окно первого этажа.

На краю подоконника присаживались, наблюдали за учительницей. Кто-нибудь из наших, видя нас, в нужный момент подавал сигнал. Перебрасывали одну ногу на парту, близко стоящую у стены. Из-за ряда оконных створок от учительского стола, расположенного напротив

первого ряда, полметра пространства не просматривалось. Становишься на сиденье парты, переволакиваешь вторую ногу и — юрк — сидишь, будто и не выходил. Первым перевалился Чиж, за ним, ведомый его жестами, в класс перебрался я. Действо делалось быстро, мы как бы возникали из небытия. Мы подняли невинные глаза и наткнулись на сомкнутые губы Василия Харламповича, наблюдающего за нами. И мы поняли, последнее слово опять осталось за ним...

Школьные причуды

Вот как на одной странице моей памяти сошлись два мироощущения — равно исповедальные, но разделенные друг от друга целой жизнью. Первые исповеди слушали Сергей Земский (навекі ушед) и Толя Науменко. Ребята с определенной периодичностью выясняли отношения недалеко от школы у летнего туалета — пристанища начинающих курцов и просто удобного места, скрытого от учительских глаз. Били друг друга до первой крови.

Расположенная неподалеку свалка тепличной ботвы знаменита непрерывным шествием “за огурцами”. Сморщенные овощи то и дело находились в гущине увядающей зелени — считались верхом успеха и благополучия. Грязные и немывые, безжизненные заморыши хрустели на зубах вместе с песком и черноземом. И никогда ни у кого не болели животы.

А теперь о том, как складывались отношения с приятелями-друзьями. С Толей мы дружили, коротали время, познавали мир, возвращаясь из школы. Я досадовал, видя, как Земский побеждал моего друга. Но вмешиваться не полагалось, разрешалось оказывать помощь по окончании битвы. Как будто все предельно объективно, во имя высших интересов справедливости и ради идеала. Сергей для меня не представлял опасности.

Может быть, мне так нравилось думать. Невысокий, коренастый, он располагался перед Толяном, как крик души, рвущийся на волю сам собою, неудержимо и неостановимо.

Он чаще оказывался ловчее Науменко, как мне думается, кем-то обучен началу баталии.

Мой друг вновь вытирал кровь, обильно стекающую из носа. Дыхательный орган у Толи кровил от порыва ветра. Выяснение отношений тут же прекращалось. Земский исчезал, мы с Толей коротали время, пока кровь не останавливалась.

У Земского, как и у меня, в школе училась старшая сестра, претендентка на золотую медаль. Истины ради замечу, для общих показателей и отчетов школа не всегда объективно оценивала знания отличников, вытягивая их на финишной прямой. Но истина истиной, а затевается все

для и ради человека, как изрек великий писатель. Сестрой Земского мы гордились. Моя Валентина училась на отлично, не дотягивая до медали. И моей Валентиной гордилась школа. Науменко рос без сестры, опоры, подобно нашей, не имел. Жалел я Толю в душе, желал ему скорейшей победы над противником.

Начиналась поступь бойких школьных придумщиков (чего только не вытворяли), пришел мой черед возникать на сцене. Законы уличной популярности суровы, уступить я не мог как существо более высокой организации, чем дерущиеся одноклассники.

Представить конечную цель моего замысла мои исповедники не могли. Можно ли назвать меня разумным? Едва ли. Но друзья дали добро, чем вознесли меня на пьедестал. Я самовыдвинулся на первый приз по глупости. Я бросил пачку дрожжей в темное чрево фикальных испражнений. Я нарочно пропускаю туалетные страсти, разборки и непонятки. Дерьмо перло вверх необъяснимым способом. Несмотря на временные неудобства (по ремонту туалета), традиционный мотив обращения ко мне зазвучал вновь, по-новому, наново и сызнова, возведя меня в ранг школьного идола идиотизма.

Что произошло с объектом издевательства? Да ничего особенного, не считая вонючего ассенизатора, объяснившего ответственным педагогам, отчего да почему неорганика прет.

Внять его слову недостаточно, за руку меня никто не схватил, никто не сдал. Пользуясь всеобщей суматохой, в бурю и в ливень, я выудил из класса журнал успеваемости, прибежал, намокнув, в только что восстановленный туалет, бросил свой позор (двоек у меня накопилось много) в неароматный зев естественной бездны. Журнал долго искали, поглядывали на меня, но фактических доказательств и свидетелей не нашли...

Анаша

Из многих подвигов, совершенных мной в мою пользу, можно считать неупотребление наркотиков. Сквозь призму сегодняшней духовности определение прозвучало бы так: небеса отвели лохматую руку зависимости в сторону, а могло бы оказаться иначе. Как у той верующей, пятьдесят девять лет не слышавшей о веществах, изменяющих сознание. Как только она прикоснулась к вину, в ней проснулась тяга, она тут же умерла как личность и проснулась как алкоголик. Случается и такое. Как бы там ни было, я гостил с приятелями у “шефа” (юношеское прозвище товарища), наслаждаясь свежим весенним воздухом, веющим в открытые окна и двери из соседнего колхозного сада. Я искоса поглядывал на Саньку, растирающего на ладони пальцем зеленый комочек, мешающего коноплю с табаком, вынутым из беломорины и вновь забивающим перемешанную массу в папиросу.

“Толян, курнешь?” — спросил Витька Пьянов. Мои друзья дружно устали на меня, помня о моем спортивно-волевом аскетизме. Не могу объяснить, но что-то произошло со мной в ту минуту, небеса отвернулись от меня, прекратилось действие благодати, светлая зелень акаций запахла табачными изделиями, а лукавые ухмылки моих сверстников превратились в свиньиные рыла преисподней. Легкий ветерок навевал кладбищенские запахи с погоста, расположенного неподалеку, а легкая грусть стадного инстинкта с головы до ног окатила меня решимостью сделать, как все, быть как все. И боязнь, что подумают ребята, ослепила, сделала меня неспособным сопротивляться, осознавать трагизм последствий.

И вот я пустился в первый наркотический путь. Ух-ух-ух — издавал я втягивающий звук, находясь в проклятом круге дьяволова зелья. Затянулся, передай другому, траванулся, помни о следующем, оттянулся, не забудь посмотреть вправо. Надо признаться, я не услышал сладкоголосое пение на незнакомом языке, ко мне не спустились чудесные пришельцы, я не перенесся неисповедимыми судьбами в сиреневую долину невиданных грез. Но как странен оказался чертов сладкий дух ирреальности. Как зовуще нагрянули дивные таинственные сны. Я отдыхал в царстве безмятежности, я бы сказал безвременья. Я не слышал звуков разговора, я точно потерял память в саду забвения, утратив зрение и слух...

Я опустил на грешную землю под шум всеобщего хохота, сыплющегося на меня густо летящими гольшами. Ничего не понимая, я с удивлением огляделся, посмотрел на журнал “Юность”, неизвестным образом попавший в мои руки. Я чувствовал себя странно, дремотно, точно вышедши из туманной крошечной тьмы. Я ничего не мог вспомнить, узнавая лишь незатихающий шепоток соседствующих с домом густолистных акаций, ожидая объяснений от друзей.

Спустя мгновение после подкурки, Витька Пьянов сунул мне в руки журнал, помня о возможностях наркотического состояния, дающего возможность сосредоточиться на том, на чем ты сфокусировал свое внимание за миг до начала магического действия. Несильная анаша взяла меня настолько, насколько позволил мой хорошо тренированный организм.

Я временно выключился из течения жизни и окунулся в сладкое чтение периодического издания. Я прочел общественно-политический буклет от корки до корки, включая критику, публицистику и выходные данные. А мои друзья (сволочи) все это время прикалывались, ухаживаясь, наблюдали за мной. Я с трудом верил их басням, беспокойно и даже враждебно воспринимая случившееся. Глубоко в подсознании я, вероятно, вынес отрицание, не терпя насмешек, подколов, розыгрышей, будучи обидчивым, как все эмоционально неустойчивые люди. Внешне я ничего не показал, к счастью, остранился от них, но журнал запомнил на всю оставшуюся жизнь. Только в зрелом возрасте я уразумел, поче-

му так остро реагирую на вид и озвучивание словосочетания “Журнал” Юность”...

Последний звонок

И вот во дворе средней школы № 79 города Донецка началось торжественное построение к заключительной школьной линейке. Шум, гам, оклики классных руководителей, мельтешение первоклассников. Я и Сергей Чиж тусуемся в многолюдстве. Нас не смущает марево утренней майской жары. Мы не замечаем мук плоти, заключенной в кримпленовые рубашки. Мы пребываем в мучительном нетерпении, мы ждем, когда вынесут пухлую, расшитую и блестящую подушечку, мы выглядываем из толпы, мечемся на цыпочках. Все вперяются в дверь, откуда сам директор доставит звонок, который я и Чиж спрятали в нашем классе под моей последней партой.

Переполах-таки начинается, “праздник”, как говорится, удастся, наша глупость спорится и творит свое разрушительное действие. Но хитреца наша, видимо, значится на физиономиях. Директор столь решительно появляется из школы, что все мгновенно затихают. Бывший морской десантник Василий Харлампович Райко, прошедший войну, несомненно направляется к старшекласникам. Он разрезает выпускников как крейсер “Варяг”, и молодые люди расступаются перед ним волнами. Мы понимаем, нас кто-то заложил. Директор подходит к нам очень близко, выдерживает небольшую паузу, дает нам возможность послушать скребущих на душе кошек. — Где звонок? — спрашивает так резко, что слышат все.

Я, ни слова не говоря, бегу в класс, Чиж не шевелится. На меня смотрят девчонки, мне нравится находиться в центре внимания. Девчонки я боюсь, поэтому стараюсь выделиться любым способом. Мне кажется, меня осуждают, мне думается, праздник получился смазанным. Но вскоре я все забываю от умиления, от избытка чувств, видя, как крошка из первого класса сидит на плече гиганта Горюнова, неловко колоколит большим звонком. И школьный двор оглашается последним для нас переливом звуков — печали и волнения...

У ворот

Тогда еще, на закате футбольной карьеры, в донецком “Шахтере” играли знаменитые В. Лобановский и О. Базилевич. Тогда еще мы, будущие выпускники футбольной школы при команде мастеров подавали мячи по периметру поля. Тогда в раздевалке под трибунами наш тренер П.А.Пономаренко назначал десять счастливых на обслуживание

встречи. Тогда мы волновались не менее, чем игроки нашей любимой команды или их соперники — блистательные киевские динамовцы.

Мне и Валерке Рудакову выпало непрестижное место за лицевой линией. Дело в том, что нахождение в тройке подающих мячи из-за боковой линии обеспечивало попадание в телеэфир и популярность на поселке. Но дело еще и в том, что за лицевой линией можно было поставить мяч на угловую отметку самому корифею “сухого листа” Лобановскому.

Ревут трибуны, счет не в пользу моей команды. Мчимся за улетающим мячом, выстраиваемся с Валеркой в линию, чтобы предельно быстро доставить мяч на подачу. К мячу спешит великий мастер угловых ударов. Разбег, резкая крученая подача за спину всем, но там, словно известный герой из табакерки, возникает Базилевич и вколачивает гол. Счет сравнивается. Минут через десять он же с подачи Лобановского забивает гол-близнец. Гости взвинчивают темп, наши начинают тянуть время. Мы с Валеркой стараемся больше всех. За мячом спешим медленно, начинаем передавать кожаный шар в замедленном действии. “Мальчики, быстрее”, — кричит киевский вратарь. Но мы продолжаем хитрить, мы играем за своих, мы приближаем победу.

Судья вскидывает руки вверх. Вслед со своих мест взмывает сорокапятитысячная толпа болельщиков. Мы вдесятером, как и в начале, по пять человек в ряд с каждой стороны, выстраиваемся, провожая мастеров в раздевалку. У меня и у Валерки такое чувство, что это мы выиграли. Сегодня я хорошо знаю: мы подавали мячи лучше, чем они в поле играли.

Первый гол

Виталий Старухин, ты появился в донецком “Шахтере” тихо, незаметно и неожиданно. Ты сразу пришелся по душе нам, семнадцатилетним юношам, привлеченным в дублирующий состав после окончания футбольной академии. Ты легко и непринужденно — по свойски — общался с нами на загородной спортивной базе и, казалось, нет никакой разницы в возрасте, в мастерстве. В отличие от высокомерного и амбициозного Анатолия Конькова, ты оказался своим в доску. Именно ты показал нам многое и прочее из футбольного багажа. Именно ты научил нас при обводке убирать мяч под опорную ногу соперника. Потом, после ужина, мы с Валеркой Черныхом долго мучили друг друга техникой обводки.

Тогда — всего один год — существовало жесткое положение: командам запрещалось дозаявлять игроков в середине сезона. Поэтому ты играл в дубле под фамилией Валерки Черныха, дабы не потерять навыки и вообще спортивную форму. Тогда в далеком 1972 году “Шахтер” выступал в первой лиге. Ты забивал, играя за второй состав так часто и

много, что тренеры сборной страны вызвали Черныха на тренировочный сбор. Глядя на него, они дивились, недоумевали, как же он, совсем еще сырой, играя за дубль, поражает ворота, а здесь — ничего из себя не представляет.

Много позже — я вижу фрагмент воочию — ты уже матерый бомбардир команды горняков, любимец публики, при подаче углового или штрафного рыщешь по штрафной площадке, наводя ужас на защитников. Ты поднимаешь руку — сигналишь подающему — и к общему восторгу сорокапятитысячной толпы ты хлопаешь себя по почти лысой голове, то ли специально, то ли от избытка эмоций. И торсида ревет, мяч, словно замороженный, летит туда, где царствуешь ты. Мяч находит твою голову и, ударившись о нее, влетает в сетку...

А пока ты, еще не заявленный футболист без имени, под чужой фамилией вслед за мной выходишь на футбольный газон донецкого стадиона “Локомотив” играть против дубля запорожского “Металлурга”. Петр Андреевич Пономаренко, тренер дублирующего состава, в раздевалке обратился ко всем, чтобы поддержали меня, выходящего в первый раз в составе команды мастеров.

Вячеслав Чанов потрепал меня по плечу, Юра Дудинский, сжав кулак, поднял большой палец, мол, все класс! Ты же сказал: “Ничего не бойся...”

И я ничего не боялся, я носился по полю, где попадаю. Словно в забыты, я прожил семьдесят пять минут, не видя ни болельщиков, ни скамейки запасных, ни самого себя. Покуда меня не толкнул киевский динамовец Виктор Кашей — “Тебя меняют...” Я не сразу понял, о чем идет речь, повернулся к боковой линии, увидел запасного игрока у бровки и бросился доигрывать атаку. И, как выяснилось, не зря. Виталий Старухин “добивал” защитников “Металлурга”, долго возился с ними в штрафной площадке, затем резко и неожиданно развернулся в обратную сторону и мягко — на блюдечке — выложил мне передачу. Мне ничего не оставалось, как чисто исполнить несложный технический элемент — удар сходу с близкого расстояния в семиметровый створ ворот. Я счастливо поднял руки, мы крупно победили. Мне аплодировали тысячи болельщиков. Спустя много лет я с теплотой вспоминаю свой первый гол, забитый с передачи легендарного Виталия Старухина.

Гранаты

В ту пору команда “Шахтер” Донецк выступала в первой лиге. В ту пору мы с Валеркой Рудаковым с надеждами переживали страсти дублирующего состава. Поездка в среднюю Азию предвещала много захватывающего, а главное — нам хотелось до отвала насытиться диковинными тогда гранатами.

В Душанбе мы прилетели на красавце “ИЛ-62”. Нас встретили, разместили в гостинице. Вечером, когда спала жара, а сон не шел, мы с Валеркой сидели на подоконнике и с третьего этажа любовались ночным городом. Валерка хорошо отзывался о Базилевиче, потому что заиграл в основе при киевском специалисте. (Мы с Рудаковым — выпускники одной группы ДСШ). Мы ругали недалёководного Салькова, а Валерка поверял мне потаенные сплетни команды горняков. Вдруг он спросил: “Кто живет в соседнем номере, чьи окна рядом?” Я ответил, что за стеной поселился старший тренер. Валерка взволновался, перешел на шепот: “Что ж ты раньше не сказал?”

Утром, после легкой зарядки, врач команды (он отвечал за питание и кормил нас ужасно) посоветовал налегать на арбузы и не шляться по жаре. Плюс тридцать пять в тени — мы переживали в номерах, терзая теплые арбузы. Встречу у местного дубля мы выиграли, отметив, что женщин на стадионе нет, а все наши попытки познакомиться в городе с чернявыми таджичками оказались безуспешными. Мы поняли, азиатские девы для нас недоступны. Зато, когда мы, изнуренные от жары, притянулись в гостиницу, то сразу увидели студенток из наших краев. Девушки обрадовались, знакомство состоялось в сей же час. Моему другу, как всегда, повезло больше, чем мне. Подруга у него оказалась без прерассудков и вскоре молодые люди всюю занимались любовью в соседней комнате номера, охая и ахая, смущая нас, не решающихся перейти грань детства и взрослости.

Назавтра играл основной состав, стало быть, у нас, у дублеров, оставалось свободное время. Мы с Валеркой приняли решение выехать за город и взглянуть на гранатовые рощи. На пригородном автобусе мы быстро выбрались за черту Душанбе в предгорье и диковинное селенье, состоящее из длинной улицы, обрамленной глиняными оградами, предстало перед нами. И всюду, как яблони в белорусской веске, близкие и доступные, свисали вожделенные гранаты. Не сговариваясь, мы ступили на завалинку и одновременно схватили по два плода, и дерево зазвенело перезрелыми фруктами, густо падающими наземь. Из гула и грохота возникло бородастое лицо аборигена, ругающегося на таджикском языке. Как по зову военного сигнала, из-за ограды вспыхивали растревоженные лица хозяев. Они выбегали на улицу, держа в руках устрашающие мотыги.

Видел бы нас в эти минуты тренер. Промчавшись две остановки до окраины города, мы даже не устали. Почувяв себя в безопасности, мы сошлись на мысли, что под гору бежать одно удовольствие. И слава богу, мы не забрались в дистри, где нас похоронили бы и ни одна душа не узнала бы, под каким гранатовым деревом покоятся наши прахи, заваленные серыми бесчувственными азиатскими камнями.

В армию

Всего этого я очень боялся, обо все этом гнал навязчивые мысли, терзаясь бредом отношений (кто и что подумает по поводу случившегося). А произошло нечто непредвиденное и необъяснимое. Старший тренер футбольной команды мастеров “Шахтер” Донецк Владимир Сальков просмотрел наш выпуск, выискивая бегущих, мышечно-огромных (я рос изящным технарем), каким был сам. И через девятнадцать — в дублирующем составе — игр он оставил меня без внимания, как и многих других, выброшенных из жестокого естественного отбора. Я бросился в запорожский “Металлург” к Юрию Захарову и укатил с ними в длинную среднеазиатскую поездку. Но Захаров предпочитал не растить игроков, но полагался на зрелых мастеров. Он попытался освободить меня от службы. Но вскоре в телеграмме я прочел: “Вопрос решить не удалось. Захаров.” И все...

Через неделю мне предстояло идти в армию. Внутри у меня рушились мечты и надежды юности, а чаянья о большом футболе громыхали личной гражданской войной. Общее угнетенное состояние духа усугубляли чувство вины и страха перед посельчанами, перед теми, кто верил в мое великое предназначение. Я не мог свободно гулять по родимым улицам, боясь столкнуться с футбольными фанатами улицы Юшкова. Всю неделю состояние прострации не покидало меня.

Отец и мать начали готовиться к проводам в солдаты. Постепенно наезжали родственники. Сумками из магазинов перетаскивались продукты и спиртное. Провизию складировали в погребе. Меня грызло подсознательное чувство вины перед отцом. Батя в своих кругах нередко оговаривал мою будущую футбольную карьеру, бахвалился моими успехами. Если бы не спортивная закалка, я бы сломался еще раньше...

Мамин брат дядя Женя прикатил раньше всех, поддержал, принял участие. Плотник мирового класса, он привел в порядок хозяйственные огрехи отца, “оживил” входную дверь.

Отец со своими нервами инвалида болезненно среагировал на вмешательство родича.

Общее напряжение местного конфликта, как правило, заглаживалось за вечерней рюмкой и бесконечными добавками и заверениями о мире и дружбе. В день проводов отец и дядя мешали друг другу своими вмешательствами и советами, нагнетая и без того нервную обстановку. Но в общем дело шло к завершению. Я начал смиряться. За час до сбора гостей мама отправила меня в погреб за спиртным. Дядя Женя держал погребную крышку, я из глубины подавал вино. Одну за одной я доставал бутылки, почему-то очень легкие. На свету мы увидели пустую тару, аккуратно прикрытую крышечками из фольги. Ящик вина отец опустошил за неделю, как подобает профессиональному алкоголику,

тихо, незаметно и безответственно. Маму едва не хватил удар. “Цыц, — закрывал ей рот отец, не любящий и боящийся огласки, — замолчи...” — и добавлял нехорошее слово в адрес матери.

Мое терпение лопнуло. Я, пружинистый, хорошо тренированный, пробкой вылетел из прохладного подземелья, схватил проспиритованного отца, оттолкнул его от мамки с такой яростью, что тот спиной назад просеменил через шестиметровую комнату, упав на панцирную кровать. Отец был опасен в такие минуты, он молча шагнул к полке, выхватил оттуда шило и сунул его в карман. Шило мы едва отобрали у него...

В те дни я еще не пил. Спиртное вообще мало интересовало меня. Дядя Женья подкупил вина, я приобрел одну бутылку коньяка для “особенных” гостей. Мне трезвому не веселилось и не печалилось. Я бродил меж гостей, стараясь всем угодить, предлагая налить еще и еще. Была у меня надежда, что Ленка Антонова не притащит с собой своего поклонника, а я с ней пару раз поцелуюсь, если не сказать больше. Но моя тайная зазноба конечно же приволокла своего идиота. На один танец она все же пригласила меня. Под звуки какой-то медленной мелодии мы топтали потрескавшийся асфальт нашего дворика. Я был девственником и совершенно не представлял, как вести себя с дамами...

Рота, подъем!

Под звуки марша “Прощание славянки”, заставляющие рыдать сердце, мы, призывники Родины, солдаты Донбасса, нестройным шагом уходили в армейскую взрослость. Я плакал внутрь, прикусывая чувства, тайком поглядывал на мокролицых сверстников. Ребята не утирали слезы. Они чувствовали и в отличие от меня они не прятали свои переживания.

В “солдатском” эшелоне я приобретал военный опыт, так не похожий на гражданку. Офицеры осторожно пили водку, предоставив нас бывалым сержантам. Один из них прохаживался по вагонам с зимней шапкой, прося “подаяние”: “Ребята, кто сколько может...” Я с сожалением, словно обязан это сделать, бросил в засаленную внутренность трешку...

Нас привезли в снежную и загадочную столицу Татарии. Город как город. Нас провели строем некоторое расстояние, и отверстие чрево воинской части поглотило нас. С нами начали обращаться, как с материалом: разбрасывали по ротам, постригали, одевали, учили, заставляли, давали уроки армейского смирения.

Сержант выловил меня, неловкого, выделяющегося в многолюдстве несолдатской растерянностью. “Рядовой, ко мне...” В начале службы сержантский состав значительнее, важнее генералов и выше маршалов. Сержант — это генералиссимус. Я пулей помчался к зовущему меня командиру. Получив задание, я взял ведро, швабру и мыло.

“Коридор для построения должен блестеть, как стеклышко...” Коридор в уфимской учебке длиннее жизни. Нисколько не смутившись (сержанта я запомнил), я взял дыхание...

Вечером я заступил в наряд — на кухню. Опять же, согласно многолетним занятиям спортом, я психологически спокойно принял предстоящую работу. Разумеется, меня как молодого запихнули на мойку. Разумеется, истина познается (на “пластинках”) на мытье полутора тысяч тарелок, вечером, утром и днем. Так я не изматывался даже на самых ответственных играх, на самых изнурительных тренировках. Я ждал отбоя и засыпал на ногах.

Я едва забрался на верхнее ложе двухъярусной кровати, прикоснулся к подушке и провалился в бездну. И тут же услышал громыхающее и неумолимое, непонятное и противное:

“Рота, подъем!” Мне, еще вчера выступавшему за футбольную команду мастеров, избалованному особенной свободой, присущей миру спорта, царственному, как лев, вдруг захотелось заплакать от чувства глубокого отчаянья, от некоей безысходности и тоски. Но уже через мгновение я кубарем летел вниз прямо на голову брату-сослуживцу.

Прошло совсем немного дней, пока к нам заявили “купцы” из далекой военной части.

Служить под крылом вежливого майора первым вызвался я. Офицер шутил: “От нас до Москвы недалеко...” Купил нас столицей Отечества с потрохами. Тридцать сослуживцев обманул, служивый. Нам выдали паек согласно штатному расписанию, согласно предстоящей командировки. Осмелев, я начал мягко шутить с прапорщиком: “Старшину теперь можно не бояться...” Невысокий, мудрый, холеный хозяйственник роты ответственно произнес мне в ответ: “В армии не на страх, а на совесть...” Военную поговорку я запомнил и часто цитировал молодым бойцам для пущей важности армейского момента.

Поезд уносил нас ближе к Москве (майор не соврал). Опекающие нас сержанты, едва стоящие на ногах, с красными лицами носились по вагону в поисках приключений. Старший офицер смотрел на их пьянство сквозь пальцы, то и дело пересчитывая молодежь.

По радио передавали марш “Прощание славянки”, вызывая щемящие ностальгические ощущения, пережитые недавно на пересыльном пункте для призывников. За оледенелым окном мелькали темные оснеженные сосны, высоко занесенные снегом. В вагоне пахло копченым салом, дешевым вином и сигаретным дымом. Поздно вечером мы вышли на станции “Леонидовка” Пензенской области. Снегопад прекратился. По нечищенному перрону нас повели к дороге, усадили в машины и повезли живописной лесной дорогой...

Осторожнее

Мы, солдатики, разгружаем полутонные авиабомбы. Прапорщик еще и еще инструктирует нас, повторяя общеизвестное: “Внимательно зачаливаете тросом, приподнимаете с платформы и ведете пятисотку как можно ниже над землей, придерживая за дерево упаковки, повторяю, осторожнее...”

Я медленно, как подобает молодому бойцу, дергаю крючки, еще раз оглядываю взрывоопасное хозяйство на платформе вагона, на мгновение допускаю безумную мысль: “А вдруг...”. Помня слова ротного, если рванет, всю часть разнесет, я поворачиваю голову в сторону кранового, нетерпеливо ждущего моей команды: “Вира”. Я даю добро, тросы резко и намертво затягиваются, смертоносная игрушка вздрагивает, напрягается, подается вверх и плывет над землей как-то высоко и неправильно.

Крановой явно школьничает и спешит. Мы застываем, прапорщик багровеет. Бомба вдруг виляет, дергается, срывается вниз и гулко падает на асфальт. И, как в той песне: “стало тихо, тихо...” К тому же стрела крана, следуя законам физики, мчится в противоположную сторону, достигает верхней точки, переваливается назад, словно брызги, разбирающая все наше отделение в разные стороны.

“Лапы противовесов мы не выставили...” — отмечаю я и следом думаю, как оправдаться потом, если что-то вдруг... Случай повергает нас в шок. Мы ждем грозы, взрыва, наказания. Неплохо бы земле разверзнуться.

Крановой, бледный, как луна, застывает в ожидании, потому что к нему медленно идет прапорщик, точно каменный гость из знаменитой трагедии. Наш командир ничего не говорит, замахивается черенком от лопаты, невесть откуда взявшимся у него в руке, бьет кранового по спине. Тот никак не реагирует, ничего не говорит, просто стоит, тупо вперясь в бомбу...

Станция Леонидовка

“Дедовщина” как таковая здесь практически отсутствовала. Разве что мелкие стычки с упрямым Камаловым. Узбек напоролся на мою блестящую физическую подготовку, получил отпор, ретировался. “Деды” и молодые бойцы выполняли ответственную задачу по обслуживанию боевой техники. Тяжелая физическая работа и в снег, и в жару сближала личный состав, а общая цель стирала возрастные служебные грани.

Мне, изнуренному тренировками, все вокруг происходящее виделось замечательной игрой, забавой, учением. Мне, фанатику футбола, самим Господом назначился отпуск — таким диковинным военным об-

разом. Мы оказывались на запретной территории, окруженной тройным кардоном, системой часовых и электрических охранителей. Чтобы туда попасть, следовало пройти сквозь фильтры относительных обысков. Категорически запрещалось проносить сигареты и спички. Когда при проверке у меня в карманах нашли огонь и табак (я не курил и спички не носил), мне устроили такую трепку, такую выволочку, что на вечернюю проверку заявился сам командир части — поглядеть на меня.

В зимний период, в сезон больших снегов, снежный бог особенно любил эти места. Уж одаривал регион, уж наваливал сугробы высоченные. Тогда личный состав занимался чисткой снега для приема и вывоза боеприпасов. Мне нравилось штурмовать огромные плацы с полуметровым снежным одеялом. Я врвался в снега с яростью невыпеснутой энергии спортсмена в отпуске. С самоотречением радовался я поставленной цели. Ефрейтору из Татарии я доверительно кричал в уши: “Скоро у меня мышцы накачаются — во!” — поднимал я ладонь бугром над плечом. “Нет, — отвечал он, — через год ты станешь хитрее...”

Вскоре меня забрали во взвод, занимающийся уничтожением старых авиаснарядов. Майор Краснов, добродушно ожидавший пенсии, подметил мою сноровку. После непродолжительного обучения я лихо действовал на станке, похожем на токарный. Я вставлял снаряд, двигающийся в отверстие с зацепом, разделяющийся на гильзу и патрон. Порох я высypал в отдельный ящик и потом сжигал. Боеголовки уничтожались где-то в другом месте, капсулы пробивались вручную. С нами в группе служил сибиряк последнего года службы, верно, чемпион мира по курению. Полагаю, он и спал с сигаретой. Майор, улыбаясь, советовал солдату набрать дыма в цилофановый мешочек и периодически дышать им. Кстати, солдат, как и ефрейтор Збруев из кинофильма, переписывался с семьей девушками из разных городов страны.

Вызов из спортивного клуба застал меня на “колючке” — мы тянули колючую проволоку.

Я долго помнил количество рядов, метраж между столбами и бесконечные снежные завалы в лесу, где снег, в отличие от дорог, не убирали с первого дня зимы. И, странно, я чувствовал себя очень и очень комфортно и в психологическом плане и в смысле душевного покоя. Для секретной воинской части, живущей тихой размеренной жизнью, вызов из штаба округа считался значительным событием. Во второй раз я предстал перед командиром части. Полковник умело отговаривал меня от поездки. Он давил авторитетом. “Вот, — говорил он, протягивая удостоверение, — я командир войсковой части. А ты можешь подтвердить, что ты мастер футбола...” Он продолжал рассказывать сказки о том, что у них есть своя команда, что скоро наступит лето, мне дадут возможность выступать за сборную части. И, странно, я, эмоционально незрелый, с классическим комплексом неполноценности, исполненный страхами и

чувством вины, твердо, как генерал, ответил: “Товарищ полковник, я поеду в 16 спортклуб армии, я футболист...”

Поезд плавно тронулся. Я на месяц уезжал с Леонидовки, но оказалось навсегда...

Шестнадцатый спортивный

Этот куйбышевский (самарский) армейский клуб вспоминается, как безмятежная служба в армии. Нас, футболистов, любили все, потому что, устав от специализации, нормальные спортсмены играли в футбол. Хоккеисты — те же игроки. Носиться с боксерами мы не желали, остерегались, с борцами бегали нормально, за штангистами не угнаться, очень взрывные атлеты. С нами разделяли игру даже не футболисты. Так что “СКА” — это класс!

Удивительность службы в полувоенном подразделении ощущалась всюду. Например, на сборы наезжали именитые гражданские армейцы. Возвращаясь в казарму (скорее общежитие) после тренировки, на койке отдыхает чемпион Европы по боксу Чернышов — какие люди, а в углу скромно почитывает книгу олимпийский чемпион, легковес Валерий Соколов (служба 1972-1974 г.г.). Не правда ли, удивительное зрелище?

Майор Сарбаев, командир нашей роты весьма экзотично выражался матерными словами, придавая им поэтичность необыкновенную. Он выстраивал нас на плацу и хулил за самовольные отлучки. Офицера слушали, как полузапрещенного Высоцкого. У форточек административного здания грудились чиновники. За сетчатой оградой маячили военные из соседней части. Майор Сарбаев являлся своеобразным символом армейского клуба, истинным воплощением справедливости. Уж коль командир роты кого-то наказывал, то, стало быть, есть за что. В основном у нас служили местные ребята, а в целом СКА охватывал спортсменов Поволжья. Местные жили как у Бога за пазухой, увольнительные им давали для проформы, они все равно ночевали дома.

Наш замполит, как всегда, заглядывал на вечернюю проверку. Постоянно пребывая в легком подпитии, он требовал от нас новые анекдоты, а выслушав, хохотал, словно ребенок. Майор, пошатываясь, стоял перед личным составом, слушал монолог дежурного, не догадываясь, что все, кто напился, упрятаны во втором ряду. И только когда штангист грохнулся на пол после команды “разойдись”, замполит стал относиться к нам строже.

В канун нового года я предложил отказаться от яблочного сока, а вино пронести в коптерку в ведре с яркой надписью “СОК”. Старшина покидал нас в добром расположении, не подозревая о том, что мы через пару часов нажремся, как свиньи. Вино глотали кружками, не-

сколько раз бегали за добавкой. Напились все без исключения. 1 января 1974 года мне было очень плохо.

Соседствующая с нами шоколадная фабрика “Россия” звала нас разгружать вагоны, взамен щедро угощала и одаривала бракованным шоколадом. Мы набирали, кто сколько мог унести. Следующие несколько дней мы называли шоколадными. В столовую никто не ходил.

Наступала весна, стаял высокий снег, вокруг клуба, напоминая подснежники, “вырастали” пустые бутылки. Неужели мы столько выпили?

Мы играли подставными за ракетчиков. В первой игре набрали одиннадцать голов. Инструктор схватился за голову: “Что же вы делаете, вы же ракетчики с далекой точки, вы должны плохо играть...”

Увольнялись каждый с той части, где числились. На станции Рузавка, в Мордовии, на утренней проверке мои красные погоны, синюю фуражку и желтые носки с ужасом осматривал прапорщик: “Ты кто такой?” — я ответил — “Футболист...”

Дерзость

В самом деле, неужели только ради праздничной жизни прозябал я в шестнадцатом спортивном клубе армии в Самаре (тогда еще Куйбышев)? Мое утро, как говорится, духовно пировало и валяло дурака, и я решил, все предметы мира мне по зубам, служба по уму, трудности по плечу. А смирение молодого солдата постепенно превратилось в наглость, хитрость и расчетливость бывалого воина последнего полугодия службы. Правильно говорил татарин еще на станции Леонидовка: “Станешь хитрее...” Но мудрости не дано было уместиться в моей просторной голове. Я почувствовал себя важным и значимым. Я совершенно потерял бдительность, с каждым днем становясь наглее.

Вышеуказанные качества, прежде всего, проглядывались в безответственном отношении к продуктовой карусели в дни дежурства по кухне. Техника махинаций разрабатывалась далеко не мною и воспроизводилась в действиях каждого наряда по блоку питания. Как-то так повелось, дежурные по кухне имели негласное право вольно распоряжаться деликатесами дополнительного питания (о нескончаемых самоволоках, о пререканиях с патрулями, мы представлялись боксерами из “СКА”, начальник спортклуба не слышал). Я освинел до высшей степени свинства. Получая соки, я безбожно угощал никчемнущих кладовщиков, малознакомых прапорщиков и случайных солдат. Причем, тут же, не прячась, восполнял недостачу обычной водой из-под крана, удивляя даже самых щипичных и выдавших виды торгашей из военной братии.

Засценический смысл моей сути неожиданно вышел на сцену во всей своей красе, претендуя на всеислие и вседозволенность. Я начинал

существовать в среде спортсменов в притчевом варианте, как чудодей и маг продуктов для дембелей. Получая сыр, я отхватывал добрую половину от каждых десяти порций и сосредоточивал продукты на столе для наряда, впрочем, приглашая на пир и сослуживцев-дембелей. В праздничный день потрясенная публика (состояла она из солдат второго года службы) попросила меня повторить на бис номер с изобилием сыра и, представьте, я повторял, жертвуя тарелкой с НЗ для опоздавших, подгулявших и напившихся друзей футболистов.

Честнейший, добрейший и справедливейший майор Сарбаев любил использовать меня для спецзаданий. Ставилась боевая задача. Мне давали двадцать пять рублей (сумасшедшие деньги для начала 70 годов двадцатого столетия) и велели как можно быстрее (что я и делал) привезти водки, хлеба, селедки, консервов и т. д. Доверие и хорошее отношение ко мне майора, моего воровского существа не изменили. Конечно, воспроизводить материально-денежные ухищрения я не собираюсь, мои правила-приемы не отличались разнообразием. Трешка, почему-то запрятанная в носке, считалась пределом мечтаний. Военная секретность ремесленной тайны, спешка и порядочность майора Сарбаева размывали смысл содеянного, цель которого несоизмеримо выше контрольных рублевых мелочей.

Невидимый произвол моего своеволия рассмотрелся неожиданным образом и с неожиданной стороны, как и водится во всей мировой лжи. В день дежурства неожиданно подшагнул офицер в погонах подполковника и поинтересовался, почему же я с каждого солдатского стола, отрезаю половину масла, сыра. Окажись я самодостаточнее, взрослее, мудрее, проблема решилась бы туманным объяснением. Но я, повторяю, сам себе казался генералом, если не сказать больше. Я так долго оставался безнаказанным, что, естественно, среагировал так, как и подобает нормальному хаму. Я начал отвечать, как равный равному. Я плел нечто о сложившихся традициях. Я сразил наповал вконец удрученного проверяющего (он контролировал другие вопросы) приказным тоном и советом: если что-то не нравится, идите, жалуйтесь начальнику спортклуба. Что он и сделал. Его зыбкое говорение обрело крепость и прочность человека дела. На утреннем построении Сарбаев, не поднимая глаз, объявил: “За нарушение воинской дисциплины рядовой Сендер отправляется в часть для дальнейшей службы...”

Степи оренбургские

Нашу команду в полном составе командировали в Оренбургскую область в одну из многочисленных воинских частей, разбросанных по необъятным просторам России. Железнодорожная станция, окрестные села, военный городок. Командир дивизии, генерал — большой люби-

тель и поклонник тенниса (сам прилично играл и держал в части мастера спорта для повышения личного мастерства), хоккея (“Крылья Советов” Москва, в то время чемпионы СССР, в турне заезжали на нашу станцию по приглашению генерала) и, конечно же, господина футбола.

Генерал (о нем витали легенды) организовал процесс службы так, что утром все офицеры без исключения сорок минут проводили на стадионе, растрясая свои неофицерские животы, вспоминая о тех налогоплательщиках, на чьих плечах они благополучно проживали. Я наблюдал за офицерней, за их недовольными физиономиями (кто посмеет перечить генералу) и от души радовался их мучениям.

На праздник я надерзил прапорщику (директору стадиона). “Кусок” оказался дерьмоватым и злопамятным, пожаловался старшему офицеру, а тот вынужден был отправить меня на месяц на исправление — на кухню. В завершение наказания вонючий прапор приказал мне выдрать местный туалет, такой же паганый, как и он сам, после чего простил меня, униженного и оскорбленного, помня о моем участии в беге на восемьсот метров. Я хоть и не легкоатлет, но когда надо, могу основательно выложиться на дистанции. Присутствие генерала означало, я или умру на беговой дорожке, или займу призовое место. На втором круге коварной дистанции мне явно не доставало дыхания и опыта. А на финишной стотметровке, на глазах у восторженного генерала, я продемонстрировал футбольный рывок и “съел” соперника, опережающего меня на добрый десяток метров.

Колька Морозов и Колька из средней Азии вздумали выяснять отношения, устроили драку на стадионе. Мы тоже хороши, нет, чтобы прекратить безобразие, так мы окружили их, визжали, злорадствовали. Обошлось без увечий. А вечером Колька конфликтовал с хоккеистом, воровавшим вещи и прячущим их под нашими матрацами. Вечером мы допоздна обсуждали участь счастливчика-солдата, прямо-таки чудным образом выхватившего отпуск у счастливого случая. Рядовой, растрепанный, вылетел из захолустья на центральную аллею, столкнулся с генералом. Боец не растерялся, сделал оборот на 360 градусов, успев застегнуться на все пуговицы. Генерал тут же объявил ему десять суток отпуска.

Вечером я кружил по воинской части, расположенной в степях. Молодая девушка привязалась ко мне, мечтая о любви. Мы обнимались в стогу сена. Я довлел над ней, не решаясь раздеть. Она мягко отдавалась, но я растерялся и сподобился лишь на поцелуи.

Степь манила меня, словно я имел с нею не видную генетическую связь. Она неслышно звала меня, влекла нескончаемыми просторами. Я спускался вниз к усыхающей реке, заходя в один из домов, глядя в глаза замужней хозяйке, страдающей от одиночества. Япил выпрошенную воду, но влага не лезла мне в горло, потому что мне хотелось совсем

другого. Пришло время любить, но я не знал, как взять любовь и похоть. Хотеть мало, нужно действовать. Так я стоял рядом с источником и не мог напиться, умирая от жажды. Я медленно тонул в глазах хозяйки, не в состоянии переступить грань, разделяющую мальчика и мужа. Она долго смотрела мне вслед. Я не оглядывался, но чувствовал тем особым чувством, не требующим свидетельств и доказательств. Я не сомневался, и это придавало мне сил...

Таня

Признавая и решая свои проблемы, я долго и мучительно разбирался с прошлым. Я создавал картину пережитых лет, я писал историю страхов и чувства вины. Я воспроизводил ощущения наиболее выразительных фрагментов личного бытия, еще и еще раз перелопачивая-проглядывая темные моменты, забытые сюжеты. Я как бы прожектором осветил заброшенную комнату, бросив на вещи внимательный и критический взгляд. Я впервые в жизни назвал вещи своими именами, исходя из собственного понимания, что такое хорошо, что такое плохо. Вы думаете, напрасный труд? Ничуть, начали происходить духовные перемены, пришло правильное понимание собственного назначения в мире, осознание себя в отношениях с самим собой, с другими...

Замечательные духовные программы, которым, безусловно, принадлежит будущее, уверяют, что наибольшее количество глупостей человек творит там, где нужно установить отношения, основанные на сотрудничестве. Узнав об этом, я принялся за летопись неправильно построенных и, естественно, разрушенных, не начатых, не могущих существовать отношений. Хотя и зачатых в воображении и, к сожалению, не продолженных в реальности...

Таково на сегодня состояние моего душевного здоровья, примерно так выглядит моя здоровая (выздоровливающая) мысль. Таким образом я высветлил многое и другое, бередящее подсознание тяжелым и необъяснимым бременем. Оно-то и мешало успокоению духа, странным образом умножалось, принимало невидимые призрачные формы, едва ли материализуясь, оставаясь недоступным в человеческих пределах. Выметая забытые обители, посещая их письменно, я вновь встретил Таню...

Наши отношения, живые и драматически напряженные, цельные и полные, трогательные и духовные до сих пор имеют место быть. Как все платоническое, чистое, не оскверненное похотью и расчетом, тронутое неведеньем наивности и романтики. Совершенно неожиданно я вытащил на свет божий нетронутое чувство недовольства собой и вытекающее как следствие чувство вины. Высокие отрицательные эмоции трудно узнавались, как заурядный гастрит на фоне раковой опухоли духовного тления.

Полагаю, только в провинции можно встретить девушку, угодившую моим повышенным требованиям. Она принесла нам помидоры, огурцы и хлеб (мы без зазрения совести продавали казенную краску, выполняя дембельский аккорд) в обмен на светлохимическое соединение. Ее папа (прапорщик) передал нам немного спиртного. Она, по домашнему доступна и притягательна, просто стояла и смотрела на меня, иногда поворачивая голову на Сашку Попова, друга из Самары. Буйно цвели огородные зелена, остро шевельнулось тайное предчувствие. С тех пор мы ежедневно здоровались с Татьяной, с приветливой и гостеприимной мамой, смиренной и безропотной, как нормальная жена военного. Мама зазывала нас на чай, мы усаживались за стол, вынесенный во двор, и упивались ощущением счастья. Таня оказывалась напротив меня, она смотрела на меня лучезарным взглядом.

Старшая сестра Тани, студентка, собирающаяся замуж, к общему изумлению вдруг заявила в гости со смелой подружкой. Попов предложил совершить прогулку. Смелая подружка подхватила Сашку под руку, мне досталась Танина сестра. Мы допозна выхаживали степные дали, изучая диковинные старые русла рек. И целовались, и делали то, что творят в молодости. Смелая подружка тут же отдалась Сашке, а моя девушка только измучила меня. Когда они уехали, я пригласил Таню на природу. Мы забрели за тридевять земель, дальше идти некуда. Мы присели на край обрыва и говорили не о том, о чем следовало, мы болтали о пустом. Я чувствовал и осознавал, но у меня отсутствовал опыт преодоления реальности в подобных ситуациях. Нельзя сочинить рассказ, не выучив алфавит. Я не смог сказать о своих чувствах, хотя девушка глубоко затронула мое сердце. А потом я встретил ее с Поповым, более решительным и опытным, чем я. А потом уже на гражданке, я получил от нее письмо, где Таня сообщала, что у нее все хорошо, что Попов скоро придет в гости...

Ирония судьбы

Только что завершилось первенство Вооруженных сил (события 80 годов времен СССР). Отыграв "вооруженку" на твердую троечку, мы заняли пятое место, уступив очень сильным ЦСКА, СКА (Хабаровск), киевлянам и одеситам. Мы шлялись по вечерней Одессе, изучали экзотику знаменитой Дерibasовской, приставали к девушкам, ходили к морю, глазели на его нескончаемые волны.

Перед прогулкой я подолгу начесывал пробор. Привычку уделять внимание прическе я обрел еще в период моего пребывания в донецком "Шахтере". Я подражал известному полузащитнику Виталию Бардещину, который считался образцом галантности. Я прилизывал угловатый армейский расчес на коротких волосах (все-таки мы считались солдатами

срочной службы), ожидал скорейшего увольнения в запас, чтобы дома на поселке шахты 2-7 Лидиевка сразить наповал местных красавиц.

Так, с роскошными волосами, я неожиданно предстал перед ясны очи поселчан. Я рассказывал местным болельщикам басни о футбольных приключениях, явно преувеличивая заслуги перед футбольным отечеством. Я говорил правду о том, как Тарасов, уже будучи футбольным тренером, приглашал меня в ЦСКА. Я вспоминал, как жалел старший тренер “Крылья Советов” о моем несогласии осчастливить местную команду.

Откровенно говоря, я не очень-то четко представлял свое футбольное будущее. В “Шахтере” царствовал старомодный Сальков, он любил жестких. Подъезжал я в “Азовсталь” (Мариуполь) к Алпатову, написал заявление, но у них творилась финансовая непонятка. Оттуда же рванул по Украине, заглянул в Запорожье. Всюду все занято. Вернулся домой, начал устраиваться в местную команду, играющую на первенство Украины. Зарплата выше, чем в любой команде второй группы класса “А”, а состав не пробиться. Сплошь и рядом отставные футболисты, волки матерые.

Неопределенность томила, папа ворчал, мне надоело слоняться по региону. На стадионе шахты Лидиевка я оказался совершенно случайно. Отыграв игру против какой-то команды, я увидел Голю Ермошина, друга детства. Он обитал в другой республике и, понаблюдав за мной, предложил мне уехать в Белоруссию. Фортуна со скрипом повернула свое колесо, и я через несколько дней получил телеграмму из далекой Орши.

На вокзале меня провожал Витя Пьянов. Мы вместе занимались футболом, в одно время начинали футбольную карьеру. Витя по неизвестной причине оставил занятия, мне только запомнилось, как тренер перед разминкой часто спрашивал “Где Пьянов”? Вероятно, наставник видел в моем друге божью искру. А я по иронии судьбы уносился туда, откуда родом моя мама, где давным давно тяжелую травму глаза получила тетя Надя...

Проснувшись рано утром, я вперился в удивительные для степного жителя ельники и сосонники, заводы и березняки. Потом я пил чай и вспоминал вчерашний разговор по телефону с Петром Андреевичем, огорченным моим неожиданным отъездом. “Поиграешь и возвращайся, ты птица высокого полета...”, — посетовал мой первый тренер. А я еще не знал, что навсегда останусь в краю крапив, осотов, пижм, что увижусь с великим педагогом незадолго до его смерти, только через тридцать долгих лет...

Впечатления

Первое, что я ощутил в новой футбольной команде — чувство сожаления и разочарования. Мне бы появиться здесь, на благодатных

витебских землях, на год раньше. Мне не помешало бы поиграть в Германии, куда коллектив выезжал в составе делегации Витебской области по линии культурного обмена. Само собой разумеется, зависть и негативные эмоции на короткое время захлестнули меня, лишая душевного покоя. До тех пор, пока не высветлилась полная картина случившегося...

Пересечь рубежи милитаризованного Советского Союза в 70 годы прошлого столетия среди простого обывателя считалось пределом мечтаний. А тут такая редкая возможность, ушедшая прямо из-под носа — побродить у “витрины” социализма. Взволнованная повесть о загранице — первое, что я услышал от моего селекционера Анатолия. Он вспоминал подробности и поездку в целом. Он дробил отдельные моменты, превращая обычность в славное приключение, в забавную сиюминутность, удивляя меня, дикаря, закордонными причудами.

“Немцы специально для нас открыли универсам в выходной день. Мы как ломанулись по двум лестницам, такой гул стоял. У них никто не следил за товарами. Я взял туфли, две рубашки, — показал на обувь, — быстро сунул в сумку и перешагнул в другой отдел...”

Зависть шевельнулась в моей воровской натуре, любящей взять что-нибудь просто так.

Обида колынула мое романтическое (оказывается, не романтическое) сердце, взорвались мои негативные эмоции, громыхнув. Я раздваивался между хохотов и всхлипов, терзаясь.

Летели спортивные будни, тренировки, игры, пьянки по поводу выигрыша, проигрыша, просто пьянки, пьянки ради пьянки, бессмысленные и беспорядочные половые связи. А друзья мои футбольные, нестройно и нескладно, как часть жизни своей (черт побрал бы этих типов), продолжали нагнетать настальгию. И вспоминали, прожигая насквозь мое, ежесекундно новое естество. Из жизни перейдя, едва ступив на чистую бумагу, сделался сюжет, как черное на фоне голубого.

Толя Каплун: “Я в сумку набросал и того, и другого, немцы вот, — ударил пальцами по уху, — лопухи, ничего не замечают. Даже не смотрят в нашу сторону...” И начал перечислять вещи, смутив меня, ступившего на тропу самопознания и духовного развития.

И подумал я, слава Богу, не попал я, не влез в тот сюжет. Но до чего он хорош для моих приятелей. И повествовал Пашка (царство небесное), и удивлялся я, недоумевая, не понимая действий немецкой стороны. До чего же плох сюжет, который не дан, а устроен. У меня есть выбор, но я в смятении, потому что в истории крайности. И “да”, и “нет” нераздельны, а значит, солнце и лед перепутались как понятия. Как тогда понимать: Вратарь и Сусман с восторгом, вздохом воскрешали события, смаковали, как ребята едва не подрались из-за ворованной шмотки. Как вообще что-то понимать при таком раскладе?

“Я схватил горсть запанок, высыпал в карман...” — признавались и откровенничали. Позорище обрело завершенность. Толя продавал мне туфли за две бутылки шампанского. Газированное вино выпили в его обиталище, добавили водки, как приличествует, плюс по пачке сигарет на брата. Я отправился на свидание к любимой девушке, огорошив и ее, и родню, узревшую меня во всей красе. Тамара сделала мне литровую кружку кофе, а старшая сестра, которой я очень нравился (жаль, что не затащил в постель) несколько раз заглядывала к нам в комнату — поглазеть на диво нетрезвое. Вот еще еврейский колхоз, пьяного футболиста не видели. Знали бы они, что я вытворял в свободное от свиданий время. Наверное, знали.

Через тридцать лет мы с Витуном шли по Орше (Витун избежал поездки) и воображали, что власти ГДР к приезду нашего свинства готовили персонал “не видеть”. Камеры видеонаблюдения фиксировали события. Посмотреть бы сегодня ту пленку, хотя зачем нам еще раз окунуться в это безобразие...

3:6

Мы, профессиональные футболисты, лежим на пляже после честно оттренированной и отыгранной недели. В случае победы наш тренер Анатолий Борисович Шумский (ныне покойный) собирал нас через четыре дня. В противном случае через сутки — круги, рывки, большой квадрат и прочая муть. Мы томимся под ласковым солнцем на берегу древнего Днепра, несущего воды свои из вечности в вечность. Мы с Витей Долгим, классным полузащитником, отличным человеком, считаем очки наших преследователей по турнирной таблице. На фоне противоположного берега, поросшего редколесьем, мы наблюдаем за мельтешением местных красавиц. Кстати, о той стороне: “Если не поворачиваться, то, — как сказал брат Вити — Коля Долгий, десятки лет ходивший по морям и океанам, — северная Америка...” Так мы как бы частично находимся в Канаде, наслаждаемся лидерством после семи туров, радуемся жизни, изнывая от безделья.

Рокот мотоцикла слышится, точно с неба. И вправду, откуда же здесь, на пологом пляжном берегу возьмется такая тарыхтящая техника. Старший лейтенант милиции, по совместительству футболист-любитель (с большой натяжкой), возникает, словно Вельзевул в лирическом пейзаже. Не подходя к нам, прямо с сиденья своего “Ковровца”, стоя поодаль, кричит, глуша звук мотора: “Лориновка проигрывает: три — ноль! Спасайте...” Он по очереди везет нас в поэтическую и солнечную Лориновку, играющую на первенство общества “Урожай” по нижнему дивизиону.

Я быстро переодеваюсь, в общей массе спортивного инвентаря подбираю кое-какие бутсы, выхожу на замену, начинаю “возить чайников”. При определенной подготовке, после специальных физических упражнений таких соперников можно обыгрывать табунами. Я заявляюсь под чужой фамилией, но если присмотреться, только слепой не различит во мне профессионала. Сразу же, обойдя большое количество очень слабых соперников, забиваю первый гол. Вскоре подъезжает Витун, затем Пашка, после Толян...

Мы плетем кружева на половине поля соперника, дергаем в квадрате бедного и наивного защитника, пытающегося отобрать у нас мяч. Мы для него, как команда Бразилии против сборной СССР в шестидесятые годы. Мы истязаем несчастного защитника пять-шесть раз, он задыхается от рваного ритма, кричит тренеру: “У них мяч никогда не отберешь...” От перенапряжения бедолагу вырывает...

Минут за десять до завершения встречи счет уже шесть — три в нашу пользу. Худолей, как и вначале, по очереди меняет нас обратно на местных ребят, дает нам по десять рублей. Мы растворяемся в многолюдстве местных болельщиков, большая часть из них, подобно всей стране, пребывает в нетрезвости радуется общему крупному счету. “Ну наши дали, шесть — три”, — там и здесь слышатся ликующие возгласы. Соперник, более сильный, чем сборная Лориновки, в последние минуты вновь имеет полное преимущество, но тут звучит финальный свисток. Ребятам, ни тем, ни другим непонятно, что же произошло. Куда же испарилась те призрачные, вездесущие нападающие, напоминающие волшебников, забивающие голы как-то не по местному, быстро и легко...

Самообразование

Увидев, как легко разгадывает сложные кроссворды мой сослуживец из Москвы, я почувствовал интеллектуальный голод, словесную убогость и с болью осознал недостаток общего образования. В глубине души наметилась склонность к подвигу, к подвижничеству, а в небесной канцелярии — хлоп! — поставили печать — выписали ксиву в страну самопознания — влачи мучительный путь к себе!

Я начал учить наизусть стихи. Томик Сергея Есенина я спрятал под подушкой. и повторял, повторял непривычно сладкие строки. После отлежки в санчасти я с удивлением увидел, как солдаты нашей роты, шагая в сторону санитарного узла, приподнимают подушку и рвут горемычного Есенина. Пospешив спасти останки, я обнаружил лишь пятьдесят страниц из трехсот...

С тех пор какая-то страсть к запоминанию поселилась в моей трепетной душе. В сознание, не обремененное знаниями, в память я последовательно вложил бесчисленное количество виршей самых раз-

ных авторов советского поэтического периода. Но зачем мне понадобилось запоминать длинные поэмы, я не могу объяснить даже самому себе. Я двигался к цели, сметая любые преграды. Эпические творения златоглавого рязанского пиита, включая “Анну Снегину” и “Емельяна Пугачева”, я аккуратно зафиксировал. Перейдя к Пушкину, я налег на “Бахчисарайский фонтан” (легкая работа), одолел “Бориса Годунова” (нерифмованный стих). Многие отметили, я значительно прибавил в гибкости мышления.

Мои амбиции удовлетворялись ежедневным многочтением в городской библиотеке. С утра в читальном зале читал один лишь я! Лавина времени разрывала меня, призывая к научению или к тьме, к — быть или не быть, иметь определенную степень интеллектуальной защиты.

Просматривая много периодических журналов и классики, я старательно выуживал красивые мысли в литературной бездне, изящные комплименты. Ладнозвучные словосочетания собирались в тетради, распространялись устным образом. На ресторанные вечеринки я приносил своим ребятам специально для них подготовленные комплименты на каждый отдельный случай. Необыкновенная поэзия заключалась в них. Едва ли под сводами провинциального ресторана когда либо звучало: “Душа и тело женщины не только источник наслаждений.” (Если не ошибаюсь, О.Бальзак). Едва ли без моих толкований мои не слишком начитанные приятели смогли бы удивить местных красавиц.

Мои ребята поднимались из-за стола на очередной перекур. В мужской комнате мои ребята вынимали из потайных карманов заветные шпаргалки, еще и еще, повторяя заученные фразы. Я тихо их экзаменовал, давал добро, и мои хлопцы, точно апостолы мысли, несли к дамам сердца перлы мировой классики.

Шумели годы, развивался мой алкоголизм. Первая девушка утомила. Ничегониделанье привело к первым признакам психических отклонений. Пассажиры в общественном транспорте раздражали, темнота пугала, мировая литература не читалась, а вечером невыносимо хотелось водки. И я попытался еще раз взять себя в руки слабым усилием воли...

Медовый месяц

Мужики, у вас был медовый месяц? Ну что за банальный вопрос, конечно! Мужики, вам доводилось проводить медовый месяц с чужой женой, вместо ее мужа, в буквальном смысле этого медового слова? Мне же и в интимной сфере выпала нелегкая доля. Дерзну обмолвиться следующим образом, унесла его нелегкая в первый месяц семейной жизни бог знает куда. Я не виноват в том, что Тамарочка предпочла смотреть в мою сторону. Я вообще знать ее не знал, слышать о ней не слышал. Просто жил, играл, приударял за девушками с нашего “Легмаша”. Попросту

я спешил в кассу за зарплатой, замешкался на проходной, загляделся да не на нее. А Тamarочка, что судьба, поперек дороги повернула — ни объехать, ни обойти. Вокруг люди добрые располагались, сами просочиться на завод не могли. Мы, видите ли, выросли у них на пути, ни к селу, ни к городу. Тут мы на землю опустились. Я подозреваю, чувство вспыхнуло между нашими сердцами и душами.

Я о многом тогда не догадывался, только лишь предполагал, как и свойственно в двадцать прекрасных лет. Ничего еще не знала и Тamarочка, один Бог определил нашу дальнейшую ипостась. У самого турникета на меня смотрела девушка, исполненная любви и поклонения. Ни один моралист не глянул в нашу сторону лживыми глазами лжедобродетели.

Потому что все — только в любви, а страсть узнаваема и почитаема. И нет ничего прекрасней, чем люди, влекущиеся друг к другу на основе высокого чувства. Мы плавно устремились, куда бы подумали, прямо вверх в своей сцепленности. Нет более точного слова. Мы мгновенно приобшились к наипервейшему смыслу бытия — к любви. Мы не собирались разбегаться, огорошенные внезапностью благодати.

Хотя любая неожиданность легко объясняется задним числом, мы отделились друг от друга, еще до первого соития, плененные красотой неожиданности, нетривиальностью, божественной самоценностью полученного счастья. Мы безумно любили любить в местах, вовсе не пригодных для встреч. В подвезде на подоконнике безбожно сквозило, а соседи, сговорившись, двигались туда-сюда вплоть до окончания акта близости. После чего мы, обезумев, в сиюминутной чувственности, спускались к водам Днепра, совершая путь к загаданности вещей, делая представимые вещи мира невидимыми. Старая лодка обращалась в диковинное парусное судно, а ее вещи — каждая в отдельности — отпечатлелись в памяти. Мы до невозможности выпачкали во что-то ее восхитительный светлый костюм, непригодный для подобных приключений.

Тamarочка отдавалась мне всюду, где я видел ее (встречи происходили ежедневно). Именно такое отношение к себе я считал приемлемым, упиваясь внезапно свалившимся на меня даром небес из нетленного хранилища нетленных образов, покуда жива моя память в своей памятливой единственности.

Помрачение, слепота вместо ее просветленного кареглазого взгляда опустились в один день на меня. Тamarочка призналась, что наш медовый месяц подошел к завершению, что ее муж, уехавший на другой день после свадьбы, завтра возвращается. Она рассуждала о наших чувствах как об отношениях, за которыми ничего не стоит, разве что — эхо пустого ведра или отзвук полой души, тяжелоступие греха.

Таковыми оказались тридцать дней, проведенные с чужой супругой, превратившие в жертву меня, имеющего цель сделать жертвой ее. Я

наблюдал за странной супружеской парой, еще вчера будучи фактическим любовником медленно уходящей вдаль женщины. Я запоминал ее, уезжающую в далекий город Горький вместе со всей предшествующей греховной жизнью, трудно и мучительно сбрасывая коросту суеты и притворства. И тем не менее, Тamarочка щедро напитала меня елеем радости и вином любви, подарив мне страсть чужого медового месяца...

Боевое “крещение”

Девушка работала на “Легмаше” учетчицей в горячем цехе. В этом цехе как футболист получал деньги и я, иногда, заглядывая в недра социалистического производства, вдыхая вредный дым отечества. Девушка легко пошла на контакт со мной и я почувствовал — у нас получится служебный роман.

Начало весны команда проводила на тренировочных сборах. Мне ничего не оставалось, как пригласить девушку в номера. Перед выходными тренер уезжал к семье, назидая: “Смотрите, чтоб все в порядке...” Только фигура тренера таяла в извилах оснеженной тропинки, ведущей к автобусу, народ оживлялся, как будто на улице стоял жаркий майский день.

Я распахивал по тумбочкам и шкафам спортивную форму, резко пахнущую потом. Я прыскал по углам тройным одеколоном, а Витун от души обхохотывался, смотря на мои жениховские приготовления. И подначивал, и подтрунивал, и поддевал: “Жених, бальзаминов, клоун...”, вываливая в ситуацию бесконечный синонимический ряд подколов. И хохотал пуще прежнего, видя, как я “точу” пробор в непослушных, плохо вымытых волосах.

В тумбочке (Витун и не подозревал), завернутые в трико, притаялись коньяк и шампанское. Обычно мы встречали дам напитками попроще, а тут — такой случай. Короче, я боялся прослыть осмеянным. Моя угодливость истончалась до прямолинейности, и Витун отправился ночевать домой.

На стук в дверь я среагировал мгновенно: “Войдите...” Милая девушка впорхнула в мой холостяцкий мир. Комната наполнилась светлым образом, привнесшим магию чувств. Сделалось чудо, претворилось в личный опыт ощущений. Девушка с низкой самооценкой буквально отпрянула от щедрого угощения. “Толя, вполне хватило бы бутылочки шампанского...” Мы, не спеша котейлили, встретившись в пору любви, и мы любили. Моя душа торжествовала от свободы. Никто нас не беспокоил. Все шло так, как хотелось мне. Девушка послушно и женственно отдавалась порыву, а после выпитого казалась еще прекрасней.

Первая проблема вызвенилась в ночной песне расставания. Я предложил чудному созданию остаться до утра, она же с неколебимым

упорством засобиравалась домой, ссылаясь на строгие домашние правила. Опыт личных отношений, перетекающий в судьбу, приобрел оттенок горечи, необъяснимой досады. Она предложила пройти пешком, долго смотрела в глаза доверчивым взглядом, положив руки на плечи. Но пуганный темнотой, боится и сумрака. Где уж мне одолеть непостижимый барьер страха перед ночными бдениями. Доверительность пошатнулась в сторону небытия, звеня иной песнью. Она растаяла в гущине мрака, скрипя новыми сапогами по ухоженному снегу.

Вторая проблема выделилась на конце деторождаемого органа. Канал, при надавливании, упрямо низвергал утреннюю каплю. Мочепуспускание вызывало усиливающуюся резь. Гонорейные симптомы проявлялись быстро. Делатель кожно-венерических дел отчеканил: “Или ты называешь ту, с которой спал, или получишь 200 уколов от сифилиса для профилактики...” Так дешево меня купили. Я назвал место работы девушки.

Спустя полгода я встретил ее в цехе: “Что ж ты ходишь-бродишь, хворьями награждаешь нас?” — как-то мягко заметила учетчица. Но чувство вины не затронуло меня. Гонорея не мною начата, не мною исчерпана, к сожалению, неиссякаемая, как любовь. Чем же она отзовется? Или завершится раз и навсегда.

Кожвендиспансер

Моя эпоха “болезней любви” завершилась так же быстро, как и началась. Девушка из предыдущего эпизода моей жизни пронесла меня над поверхностью венерических вод, как некий дух, что формовал стихию. И огонь окаменел. Первый трихомонад я “подцепил” от Людмилы. С ней по очереди спала вся команда, а болезнь отозвалась в моем инструменте удовольствия сперва легким щекотанием, неприятным зудом, темно-зелеными мутными выделениями. Главврач Сергей Сергеевич взял у меня мазок, отдал сотруднице стеклышки со слизью, произнес таинственный медицинский термин: “Цито!”

Выпив вызывающий тошноту трихопол, я предстал перед главврачом без свидетелей, отдал армянский коньяк. Он посмотрел анализы: “Все хорошо, на всякий случай сделаем промывочку раствором серебра...” И усмехнулся. Жидкость вогнали в канал, на конце завязали бантик и рекомендовали держать не менее тридцати минут. Я шел враскорячку. Жжение в канале усиливалось. Я понял, назначенное время раствор мне не удержать. Я завернул в кладбищенский туалет, кляня женский пол, развязал тугой узел (хорошенькое дельце), выпустил серебро и помочился. Никто не рассказал мне о боли, возникающей в канале при малой физиологической потребности. Я двинулся в город еще медленней, переживая невиданные доселе ощущения.

Через месяц я вновь маячил перед главврачом, терзаясь очередной гонореей. В этот раз специалист выписал набор таблеток. Я продолжал тренироваться, нагружая ослабленный организм двадцатью четырьмя таблетками ежедневно. В период лечения высокие нравственные мысли посещали мой смятенный разум. Я принимал решение вести достойный образ жизни, найти девушку. Но опять последний мазок, провокация (водка, селедка), еще раз контрольный мазок. “Анатолий, у тебя явно избыток спермы, тебе надо жениться...”, — советовал мудрый доктор.

Спустя три недели мы с доктором любезничали в его уютном кабинете. “На сей раз у тебя “букет”, гонорея с трихомонадом одновременно, — рассуждал Сергей Сергеевич, — вначале “убьем” гонорею, затем возьмемся за второе...”

“Может быть, обойдемся без “провокации”, — заискивал я перед врачом. “Нет, Анатолий, любишь гулять, люби и отвечать.” Медсестра безо всякой жалости, “с любовью” вогнала в мой многострадальный канал раствор серебра. Я убито поплелся враскорячку со скоростью три метра в час в свой дежурный кладбищенский туалет.

Семь гонорей и шесть трихомонадов свалились на мой несчастный фаллос. 84 тайных и официальных мазка сдал я в эпоху кобелирования. В последний раз (надеюсь, что это так) в мазках что-то не сходилось. Меня послали в областной диспансер (уникальный случай для местной больницы). А Сергей Сергеевич (ныне покойный) подводил итоги: “Анатолий, когда построим новую больницу и заведем книгу почетных больных, твое имя впишем на первой странице золотыми буквами”, — пошутил, скребя стеклышком по каналу моего фаллоса.

Деньги Бороды

В начале 70 годов прошлого столетия в Витебской области прогремело криминальное дело начальника Оршанского райпотребсоюза, одного из выдающихся деятелей теневой экономики времен социализма Матвея Захаровича Бороды. Через несколько лет в очаровательную, тюремно-пивбаровую провинциальную Оршу приехал я — играть за местную команду на первенство республики. К тому времени великий комбинатор уже прозябал в одной из колоний Вологодской области. Но всякий раз, гуляя по улицам городка, мои сверстники указывали на милovidную девушку: “Смотри, вон та, справа, дочь Бороды...” На мое вопросительное молчание Витун, Капа наперебой посвящали меня в вымышленные подробности, но в каждом источнике явственно прослушивалось: “Деньги Бороды не нашли...”

В ту пору я заполнял духовную неполноту бредовыми идеями, ища легких путей. Золотой момент для лукавого. Великий отрицатель дел божественных развернул бездну и ткнул носом в изречение Синклера

Льюиса : “Женитьба должна составлять половину карьеры...” Конкретная мысль, природный авантюризм моей незрелой натуры с алчностью повели меня к действию.

Нет ничего проще, чем познакомиться с девушкой, желающей того же, что и ты. Встречая темноволосую красавицу, я начал кивать ей головой, дарил улыбку. Она первая пригласила меня на белый танец в городском саду. Я провел даму домой, а на завтра, как мы условились, началась эпоха поцелуев. Ее мама весь день прозябала в библиотечной тягомотине, и мы использовали квартиру, как молодожены.

Иногда Тома отлучалась по делам, и я рыскал по комнатам, воображая, в каком же месте спрятан тайник с деньгами. Я открывал холодильник, набитый деликатесами (в несътное время 70 годов), я тихо воровал одну баночку чего-нибудь на потом (в основном брал печень трески).

Тамара выросла в атмосфере всеобщей любви. Ее способность отдавать чувство оказалась исключительной. До возвращения мамы квартира полыхала страстью нашей молодости. На вечерние тренировки я плелся очень “растренированный”. Витун непременно задавал колкие вопросы: “Сколько?” Тренер спрашивал: “Что с тобой?” Я же с умилением вспоминал выдох Тамары у двери: “Не пушу...”

Вскоре я познакомился с мамой. Интеллигентная женщина устроила праздничный стол с шампанским, Тома вызвонила подруге. Взглянув на чернявую девушку, я понял, гореть мне в геенне огненной. Подруга отдалась мне на третьей секунде, как только я намекнул ей, что вечером зайду в гости. Так и повелось, рано утром я залетал в постель к подруге, а через пару часов я поднимался двумя этажами выше к Тамаре.

Девушка постепенно посвящала меня в тайны семьи, я же изображал неведение. Матвей Захарович в письме просил выслать ноты. Я попросил знакомого музыканта, заплатив ему. Через несколько месяцев из Вологды поблагодарили: “С меня сто граммов...” Так я заработал сто очков у самого Бороды.

Мама уезжала на свидание к папе. Мы изнуряли себя любовью. Моя любимая крепко спала, а я думал, где же деньги Бороды? Тогда я не оценил жест Провидения, столь щедро одарившего меня девушкой, умеющей любить, думающей лишь о том, как сделать меня счастливым. Но страсть хотеть больше того, что тебе положено небесами, наказуема, и чуть позже Бог лишит меня разума...

Евгений Онегин

“Зачем тебе это надо?” — спросила моя девушка Тамара, узнав о намерении выучить наизусть “Евгения Онегина”. Зачем я намереваюсь запомнить сто семьдесят страниц рифмованной поэзии? Нет ответа, все целеустремленные люди — безумцы. Где уж понять меня прагматичной

Тамаре, слушая бредовые идеи фанатика самосовершенствования. Хотя с точки зрения здравого смысла тогда в СССР всего два человека (если не врут) знали на память поэму “Евгений Онегин”. Где-то в печати про-скакивала такая информация. Кстати, неизвестные мне люди, вложили в себя творение российского африканца для работы, по необходимости, ради корыстного интереса, на поводу тщеславия. Я же решил познать тайну дивного российского творения, что называется, для души (бес-платно), душевного богатства ради. И так мечталось: где-нибудь зач-нется спор о тайнах “Евгения Онегина”. И я, скромно сидящий в углу, одиноко томящийся на грани хандры, вдруг цитирую на память строфу за строфой. На том и порешил я. И вот иду осенним, мокрым берегом Днепра. И вот заглаываю первую главку.

Вот месяц прошел. Та же темная водянистая зыбь, тот же порыви-стый причечный ветер, тот же колокольный звон на противоположной стороне. Те же чувства, только на иной, более прочной основе. Потому что около тридцати отрывков неизменно вложены и последовательно со-хранены в глубине. Как и планировал, в день по пятнадцать — тридцать строк. Во время утреннего прохождения обязательный повтор заучен-ного. Перерывы и паузы исключены. Перевалив за середину поэмы, я поверил в успех. Я понял, я осознал, я могу заявить во всеуслышанье: запоминанье наизусть 170 страниц гармонии требует большого граж-данского мужества и является культурным подвигом в общем движении культуры.

А Тамара раздражала меня общим и частным непониманием, равнодушием к моему рвению, к моим высоким целям, к выдающимся интеллектуальным поискам. Мне так хотелось, чтобы она восхищалась мною, гордилась, что у нее, серенькой еврейки, такой умный и красивый парень. Ей не приходило в голову, что меня надо беречь. Но знак земли (Тамара) супротив знака воздуха (это я) — червь презренный.

И объяли меня воды Славутича до пояса. Возвращаясь от церковки по льду, я неглубоко провалился в ледяную воду. Как будто Господь окрестил меня по поводу завершения моего подвижнического труда, по научению меня слову пушкинскому. Одним словом, ровно год пролетел, громыхнул по истории культуры ямбом блистательным. (Не ахти какое событие). По такой причине влачился я, не в себе находясь, с того берега церковного. По этой причине и я окрещен оказался. Побегал на вос-ходные, одежды новые надел, впечатления запечатлел, так себе, ничего сверхэмоционального, быстро и не страшно, как при потере памяти, и темно, и не больно, но лучше бы во сне.

Я повторил 170 страниц еще раз, и бесконечная пушкинская вязь уютно улеглась во мне. С неземной печалью я осознал, что мне не с кем поделиться. Тамара, потеряв надежду выйти за меня замуж, укатила в столицу. Витун потащился на заработки. (Заработал двадцать пять ты-

сяч и все прогусарил). Пушкинские строки долго мешали мне сочинять собственные стихи, внося неповторимый колорит в мою поэтическую индивидуальность...

Ничтожество

Тамара беременела от воздуха. Я утомился тратить деньги и нервы на устранение последствий. Как обычно накануне близости, я размягчался под звуки музыки, несущиеся из магнитофона, забывал о предосторожности. Через полтора месяца мы вновь поднимали на ноги всех знакомых. Я приобретал достаточное количество “Синистрола” (кажется, он так назывался). Тома раз за разом выгоняла меня из кухни, делая укол. Моя будущая жена терпеливо высидивала положенные часы в ванной. Она прыгала с дивана на пол так неуклюже, что несколько раз в дверь звонили соседи с нижнего этажа, удивляясь, что за шум в интеллигентной и всегда тихой квартире.

Но беременность имела место быть. Я опять чувствовал себя ребенком, мечущимся перед ответственностью за свои поступки. Мне казалось, женитьба отнимет свободу, что в свою очередь воспринималось как личная трагедия. Я метался загнанным зверьком, я искал выход, но впереди маячил тупик и проклятая женитьба. Параллельный роман с эмансипированной Залевской не давал ощущения защиты, убеждая как раз в обратном. В близости Тамара неизменно первенствовала, казалась желанней, сексуальней, раскованней. А Нинель Залевская однажды неоднозначно очертила свою нравственную позицию: “Я с мужчинами непостоянна, но делаю это постоянно...” Поскольку верность в отношениях для меня всегда считалась основополагающей, то чаша весов склонялась в сторону Тамары. А там имела место быть беременность.

От страха я мечтал о кончине света, даже о смерти Тамары. Я вынашивал внутреннюю готовность совершить подвиг во имя родной страны, но Родина-мать безмолвствовала, земля не разверзалась, пришествие Спасителя задерживалось. Перед наступающим 1978 годом у меня накопилось проблем поболее, чем у деда Мороза. Мог бы дедушка Мороз и пощеднее оказаться, одарить меня благодатной вестью, произнести устами Тамары по телефону: “Все нормально...” И я вновь содрогался от предстоящей перспективы, курил и вновь звонил...

“Я рассказала своим, — первое, что услышал я на другом конце провода. Мои хорошо тренированные ноги подкосились, холодная колючая снежная вьюга превратилась в пекло. — Ты скоро придешь?” Едва продышав “да...”, я двинулся сдаваться медленным шагом, окружным путем, по глубокому снегу. Как известно, не спеша, идешь быстро. Тома выглядела настроенной. Ее взгляд изгибался сплошным вопросом.

Муж старшей сестры томил плоскими шутками: “Ешь больше мяса, тебе сейчас нужно...” — и многозначительно улыбался...

Я выходил курить, боясь родственников, самого себя, Тома и надвигающихся событий, того, что навалилось на мою бедную инфантильную голову. “Ты ее любишь?” — спрашивала девушка. Я отвечал уклончиво: “Я отношусь к ней так, как ты ко мне...” Звучало жестоко и безответственно. “Я сделаю все, чтобы ты был счастлив, я буду такой, какой ты захочешь...” — умоляла меня дивная душа, а я слушал, не слушая. В прихожей я произнес: “Знаешь, я выбираю ее...” Я мгновенно оделся, исчез. Зять хотел догнать меня (он занимался борьбой), но Тома качнулась, падая в обморок, чем задержала нетрезвого праведника, предоставив мне зеленую улицу.

Едва добравшись до нашего секс-дивана, Тома, словно окаменев, просидела на нем до утра, а ее родные всю ночь рассказывали ей, какое я ничтожество...

Кефирная сила

Тамара Михайловна, одна из многочисленных “любимых” женщин моего друга Витуна, соблазнителя более изощренного, чем Казанова, стояла передо мной, держа в руках сетку с тремя бутылками кефира (тогда кисломолочная продукция продавалась в стеклянной таре). Тамара Михайловна занимала важную стратегическую позицию, закрывая мне путь к отступлению. Она располагалась по отношению ко мне боком, как бы собираясь садануть мою похотливую физиономию кефирной полутарокилограммовой массой в височную часть. Женщина самым серьезным образом выясняла, спал ли я с ее шестнадцатилетней дочерью Линкой? Мать школьницы произносила вопросы тоном, соперничающим с гулом оживленной магистрали, расположенной у нас за спиной.

Еще недавно мы здоровались при встрече, мы обменивались любезностями. Еще недавно я не знал о ее семействе ровным счетом ничего — до того момента, пока Витун не потащил меня к ней в гости (для прикрытия). Мы выпили, произвели друг на друга впечатление, вывалили дежурные остроты и анекдоты. Любовники рано легли в дальней комнате, шумно захрипели томными кроватями, застонали неземными голосами страсти. А мы с Линкой, выглядевшей вполне взрослой женщиной, устроились в детской и целовались до посинения губ, но не более того. Гонимый страхом, боясь оказаться уличенным, я прервал безперспективное занятие, разочарованный побрел в среднюю комнату на указанную мне постель. Минувя громко шелестящие шторы-висюльки, я бросил через плечо в сторону провожающей меня взглядом молодойки: “Я приду позже...” В безмятежной тишине наступающей ночи висюльки звучали пушечной канонадой.

Всю ночь я не сомкнул глаз, ожидая дежурного выхода любовников в ванну-туалет, чтобы потом сигануть в постель к соблазнительной молодой девчонке. Уже не гудели автомобили за окном третьего этажа, уже спал усталый город, а Линка, ворочаясь в девичьей постели, ждала и ждала моего пришествия. Я же юлой крутился под жарким одеялом, не решаясь перейти Рубикон, одолеть непроходимые замороженные висюльки. Утром за чаем Лина шепнула: “Я ждала тебя всю ночь, позвони мне через пару часов...” Мое сердце затрепетало от радости и волнения.

Ровно через сто двадцать минут, как только я позвонил, трубку сразу подняли. “Приходи скорее, мама ушла до вечера...” Вскоре мы занимались прелюбодейством без последствий. Я умело не завершал таинство. Даже чрезмерная девичья скованность в близости, ее неумение и страх, ничуть не умаляли ее очарования. По местным каналам мне уже сообщили о ее вольном поведении с мальчиками. Так что я знал точно — она не девственница. Но еще более точно я знал другое — каковы последствия при растлении несовершеннолетних.

“Не залетишь?” — интересовался я, движимый тревогой. Вероятно, она боялась зачатия, так как очень быстро отреагировала: “Я не беременею...” Но сильно побледнела в лице. Вечером она открылась маме. Не знаю, о чем они говорили, но сказанное посадило маму на коня и основательно.

Вот и стоял я, загнанный в изгиб парапета, уча еще один урок жизни: “Тебе что, прости, тёткок мало? (и то правда). Дать бы тебе с размаху вот этими бутылками... — А сама между делом выясняла, — скажи, Линка — девушка?” (Господи, никогда не пойду в блуд, в такие мгновения не врешь). Я Линку не выдал, отвечал туманно, типа “не помню”, “не разобрался”, все силы тратя на возможное отражение удара непредсказуемой кефирной силы...

Мельников-Печерский

Игровой сезон завершился. Улеглись футбольные страсти. Когда футбол — профессия, то едва ли к нему относишься, как к игре. Когда футбол — утром, днем и вечером, и всегда, то едва ли к середине осени сохраняются хоть какие-то трепетные чувства к любимому занятию. Сказать по правде, ничего не остается, кроме опустошения, одиночества и усталости. Футбольные эмоции причесались, притихли, перетекая в другие русла моего “хочу”.

Может быть, в листопад, набирающий силу над моей головой в светло-желтой, наполовину пурпурной кленовой сени. В пламенных шевелюрах, венчающих сырые кроны, стоящие за главным корпусом дома отдыха. Быть может, Первомастер таким образом задумал футболистов,

надеясь их поэтическим воображением. И что прикажете делать в отпуске неженатому, полному невытрезвленной энергии молодому человеку? Вот и гуляю, вырванный из физических нагрузок, вдруг отлученный от тренировок. И не понимаю своих желаний. И не слышу своего сердца, стучащего трепетно и страстно. Надо мною сумрачно прячут кленовые листья. И только они приближаются, я вижу их таинственные лики.

Мне невдомек, что себя нужно творить заново, даже на один день. Я убываю от реальности в миф воображения. Но следом начинается новый день. Дымкой утренней окружена, ты гуляешь, ангел, взявшийся невесть откуда. Ты, только что проснувшееся диво, берешь меня под руку и ведешь в тайну. Ты лежишь в моей постели, нежна необыкновенно. Золотым колечком вокруг твоего запястья красуется луна. Твои персты легко прикасаются ко мне. Но главное ускользает от моего внимания. Ты библиотечар в этом же доме отдыха.

Утром я минуя аморфную пустоту твоего отсутствия, врываюсь в твоё царство проштампованных книг. Ты взираешь свысока чужими глазами, ты опускаешь веки, ты дрожишь вся, начиная от ресниц. Ты медленно совершаешь ритуал убийства любви: “Я во всем призналась мужу, я сказала, что развожусь с ним, и он простил меня.”

Только потом я обратил внимание на резко очерченные бессонницей круги под твоими глазами. Только потом чувство тревоги шевельнулось в моей душе, а твои слова прокатились грозным свидетельством истока ненависти.

Как же мне захотелось отомстить! Как же — мгновенно — любовь, некий жрец формы и придумщик, обращается в противоположность. В мое истинное “Я”, выволоченное из-за спины, лукавый швырнул уголья. Я взял с полки книгу Мельникова-Печерского, запихнул под брючный ремень, укрыл свитером и тихо застегнул молнию куртки. Для отвода глаз, я выбрал для чтения Чехова.

Ежедневно я выносил по одному тому издания 19 века. Ежедневно ты вычеркивала из моей карточки “лжечтиво”, не удивляясь, не поднимая глаз. Я топтался в крохотном читальном зале, как на обломках любовной катастрофы и не уходил, формалист по природе. Мелкая душонка, тайный злодей алчбы, выросший из мрака пресноводья. Я ждал восхода твоих очей, но страсть одного дня коснулась нас, поникла, распростерла крыла свои сухие. Мне показалось, по твоей щеке протекла слезинка. Мне подумалось, ты догадываешься о Мельникове-Печерском...

Зая

Когда над сторонами улиц сошла тьма и схлынул зной, Витун предложил мне отправиться в гости на окраину города. Витун представил меня своим новым знакомым. Для провинциальной скуки и

низкоинтеллектуальной рутины они заблестали светильниками разума, подвижниками интеллекта.

Жаклин (Заля появилась позднее) выучились в столице. Их не ставительные речи сильно отличались от местного плоского шутовства. Мы с Витуном плавно перетекали в их поклонников, становясь последователями их образа мышления. Девушки истинно глаголили! Их мысли будоражили разум. Их гостеприимство казалось актом культуры и обдавало парижской экзотикой и хлебосольством. Нас встречали как заморских послов. В комнате струился голос Дениса Роусиса. Он стекал по теням, падающим от темного бра в бокалы с сухим шампанским.

Заля подавляла пиршество шумным явлением. Она глядела блестящими глазами, тоскующими по любви. “Виктор Наполеонч”, — утонченно обращались дамы к Витуну и он (император всюду император), размягченный напитком богов, изрекал остроумный и, как всегда, блестящий монолог о смысле жизни.

“Апполон Никифорович, ваше шампанское”, — предпосылали дамы развернутые уроки моему сознанию, утомленному многочтением. В уроках прочитывалась исходная увлеченность и заинтересованность моей персоной. Я чувствовал здесь источник предстоящих общений, тоскуя по ком-нибудь.

Заю я привлек наивностью, внешней доступностью (возможностью выскочить замуж) и, конечно же, инфантильностью (мечта всех засидевшихся невест). Ее поклонник, увлеченный Залиной необычностью, не мог взять в толк, почему Заля выбрала меня. Самодостаточный, интеллигентный мужчина часами выстаивал у Залиного подъезда, ища встречи, прося показать хотя бы мою фотографию. Он долго всматривался в мое лицо (хоть бы не сглазил, козел), переводил взор на свою мечту, но сказка отвечала неизменное “Нет”. И он ушел.

Заля любила метафорически равно как и ревновала к Жаклин. После дня рождения мы проснулись практически пьяные. Заля побежала на работу отпрашиваться (преподавала в училище ин. языки). Я же, ссылаясь на холодное одеяло, нырнул в постель к Жаклин. Томясь нехорошим предчувствием, я успел завершить таинство и покинуть округлые черты горячей женщины Я только успел повернуться лицом к стене, как влетела Заля классическим выражением ревности и недоверия. Она окинула пристальным взором подозрительную сцену, как бы невзначай войдя в наши отношения, уже исполненные стыни.

Перед сном Заля мыла мне ноги и, школьничая, спрашивала: “Ты разрешаешь мне выпить воду?” А вскоре Заля привезла мне трихомонад из витебской командировки. Полгода я ей не изменял, отчего присутствовала уверенность в себе. В отяжелевшие миры моих чувств ворвалась мстительность. Я со злобой топтал битый мрамор и замшелый гранит любви. Я послал Витуна сообщить Зале, что у меня проблема, что

мне нужны деньги на лечение, помня о ее мнительности и нервозности. Сказать о своих чувствах я не мог.

Заля, выйдя замуж за нелюбимого художника, родила двух девочек, называя мужа “мой абориген”. В ее речах звенел цинизм. Я остро почувствовал, не нынче, так завтра время вычернит ее зеленые и фальшивые слова...

Мои недостатки

С чего все началось? С восстановления, упорядочения образа обычной, будничной жизни. Ее следовало бы сложить заново. Я занялся именно деланием себя из духа и свободы.

И тут случилось преобладание грехов, как обычно бывает при следовании, при мучительном поиске Бога во тьме крошечной и непроглядной. Нечаянное и незначительное чудо — понимание, что я не всемогущ, я не Бог, еще не произошло. Амбиции так бы и оставались во внутреннем самодовольстве, не загляни я на огонек самопознания. Но события происходили за век до духовного пробуждения. Мгновение для вечности. Я вдруг заболел грехом осуждения. Вирус гордыни поразил мою плоть, душу и сердце. Требовалось лечение физическое, психическое и социальное — мне, дотоле неведомому в кругах духовных.

Пока чудные дела божии не осветили мой новый земной путь, пока не ясно — для чего — тут-то и проступили очертания меня — настоящего. В один миг я прозрел не в ту сторону.

Я начал замечать, видеть, обнаруживать, выявлять, подчеркивать чужие черты и недостатки. Как водится, мой испепеляющий взор, внимание мое сосредоточилось на тех, кто рядом. Я слушал откровения друга — это ведь исповеди — и думал, зачем он мочится в раковину, деревня. Нечаянно раскрытая страница души чрезвычайно заинтересовала мое любопытство. Кому не охота заглянуть в святая святых человеческой души? А тут перед тобой распахивают грешную душу. “Ты знаешь, я сорвал кружку в церкви с подаванием” — вспыхивало покаяние человеческое, откровение личности особенной, недюжинного жизненного племени. Человека, рожденного обществом бесплодным и чудесным, легким и необыкновенно талантливым, нравственным и пронизанным греховностью.

Мы путешествовали по безделью и алкоголизму, мы двигались из ниоткуда в никуда, мы сжигали время в топке вопиющего непонимания кратковременности и непродолжительности земного человеческого бытия. Живые романтические сердца, умные до полунамека, проникновенные до взгляда, простые и непостижимые непосвященным. Мы с таким трудом выбрались на тропу сокровенности, преодолев внутреннюю сложность сердца и боль души, так противящейся открытию

святая святых для всеобщего обозрения. Чтобы туда проник луч разума. Вспыхнув, зачал бы великое дело.

Он как бы плакал, осознавая содеянное им. Он трудно и медленно вспоминал и, кажется, не для меня, для собственного спасения. “Признаюсь, я уезжал домой, мы стояли с другом во дворе. Мимо прошла женщина в дорогой шапке, на руках блистали многочисленные золотые кольца. Я сказал другу: “Подожди минуту”, — и бросился за ней. Я ударил ее по голове, затащил в подъезд, снял шапку, несколько колец и вернулся к другу. Я быстро с ним попрощался, прыгнул в автобус и уехал на вокзал...”

Потом я наблюдал, как он воровал декоративную плитку для тротуаров. Потом я видел его, когда он украл одеяло в гостиннице. Чуть позже я узнал, что его поймали с поличным во время “чистки” карманов нашего коллектива. Он был с позором изгнан. Тогда я ничего не понял. Но тогда проступили очертания образца, случайно разверзлась страница моей личности, и я узнал в нем себя. Много из того, о чем он плакался, сидело во мне. Его словами Небеса обращали мой взор на самого себя. Его честностью небеса извлекли меня из-за спины моей и поставили меня лицом к лицу самого перед собой. Смотри на свою нечестность, уродливость и нечистоту! Ужас объял меня от небесного деяния. Порывался я бежать, куда глаза глядят, но силы оставили меня. Я пытался отвести взор от себя, но мой друг вновь ставил меня перед самим собой. Он будто прикивал ко мне взор мой. Я нашел неправду в себе и отверг ее и возненавидел ее. И я крикнул себе, что знал о ней раньше, но боялся и молчал. Не потому что забывал, а потому, что был нечестен перед самим собой.

Северная Пальмира

“Понятно, свободным искусствам предшествовали великие переживания, предварявшие все остальное, многое и абсолютно все...” — примерно такое рассуждение считывала Заля со своих многочисленных извилин, переполненных вовсе не женственностью, украшенных отнюдь не смирением. Я смотрел на эмансипированную женщину с обожанием подростка, выпестованного разорами недуховной обстановки. Я чувствовал в той или иной мере стыд за сплошную внутреннюю профанацию, за свое бесконечное незнание, неумение сказать так, как надо и то, что следует говорить в данную минуту в Эрмитаже, стоя у мраморной фигуры Венеры Милосской. Я молчал с большим тайным смыслом, боясь изречь что-нибудь глупое, неуместное. Я пытался ощутить некий трепет перед гениальным творением, но испытывал лишь тягостный гнет интеллектуальной беспомощности и ловил себя на том, как приятно казаться загадочным и слыть молчаливым. И отталкиваться от реальности таинственными и пустыми односложностями.

Я, не отрываясь, глядел на скульптуру, медленно возвращаясь на грешную землю, осознавая, что Витун и его утонченная Жаклин, наблюдая, смеются над моим глубокомысленным видом. “Толян, о чем думаешь?” Я медленно повернул голову в их сторону, улыбкой ответил их улыбающимся лицам, изрек: “О вечном...” Я прекрасно осознавал, Заля ловит каждое мое слово, Заля таким образом погружалась в мою суть, ища во мне сладкий обман многоочтения.

Впрочем, от постоянно действующих экспозиций быстро устаешь. Нужно долго готовить себя к живописной учености. Это обстоятельство не требует тонких наблюдений. Нормальный человек, сформированный на задворках цивилизации, едва ли находит трепетные чувства среди произведений искусства, источающие не всегда положительную энергию.

В таком хаосе рассуждений мы двигались вдоль Казанского собора, целуясь и фотографируясь, школьничая и снова обнимаясь. В Ленинград (времена 70 годов прошлого века) мы попали по милости наших любимых женщин. Они предложили нам влиться в состав туристической группы от строительного училища, мы согласились. Мы вели себя раскованно и свободно. Мы распоясались и расположились на заднем сиденье в одном нижнем белье, вначале смущаясь преподавательского состава, пока мастера училища не начали прикладываться к вонючему самогону.

В Ленинграде у меня непрестанно кружилась голова от впечатлений, от избытка увлеченности, от чувства вины за мой тощий кошелек. Как раз дело дошло до угощения в театре, накануне блистательной пьесы Бернарда Шоу “Корзина с яблоками” и, конечно же, великолепная Заля, равно как и дама Витуна, отдали нам свои кошельки в полное распоряжение. От жадности мы съели все бутерброды на столе в фойе, скоренько вылакали марочный “Портвейн”. Позже мы без интереса разглядывали сцену, наблюдали за действиями артистов, но нам очень хотелось добавить вина. Мы лорнировали героев спектакля, но думали о другом.

И как мне показалось, мир изменился, Заля виделась будущей женой, умной, интеллигентной, а друг Витун с Жаклин и с тремя детьми приходили бы к нам в гости. А мир, напротив, радовал бы нас своей вечной новизной, как эти не всегда понятные произведения импрессионистов, к которым я так стремился и которые меня ничем не удивили, но скорее разочаровали, производя одно лишь тягостное впечатление. Я до боли в глазах пялился в золотисто-табачные цвета какого-то автора, боясь, что Заля не поверит в мою высокую и духовную цель в указанном небесами смысле. Пока моя ученость не была вышколена, а моя закваска интеллектуала не отдавала брожением. И я без конца подозревал, что Витун и Жаклин насмеются надо мной, глядя, как я корчу из себя выдавшего виды знатока, мучительно выстаивая у каждой картины, у любой скульптуры, запоминая и впитывая, страдая и любя этот чарующий и неповторимый Ленинград...

Моя команда

У всякого профессионального футболиста есть команда, с которой он играет лучше обычного. Например, киевский динамовец Евтушенко всегда блистал именно против одноклубников из Минска. А мой соратник Ленка Заикин, самый смешной защитник всех времен, почему-то часто забивал в свои ворота. Мне же фартило с “Локомотивом” Барановичи.

Итак, мне двадцать два, я легок, как Гарринча, я эмоционален, как бразилец Андерсон из “Манчестера...” В ответ на информацию диктора по стадиону о моем дне рождения болельщики одаривают меня аплодисментами. Играю необыкновенно легко, кладу два гола. После игры, как обычно, пьем на берегу Днепра либо за выигрыш, либо за поражение, а сегодня, известно, за меня. И дальше по сценарию: танцы, девушки, утреннее похмелье...

Во втором круге, опять же в Барановичах, я автор двух голов. После тот же распорядок, только в чужом городе держимся вместе. Черверо наших Вова Моргалкин, Бера, Думанов и Комаровский — боксеры. Если возникает потасовка, мы, как правило, в накладе не остаемся, боясь только за Мишку Кожемякина, он в нетрезвости агрессивен и не опасен. Пристал на днях по пьянке к таксисту, тот, не долго думая, влепил Мишке по сусалам, наш полузащитничек так и растянулся на грязном асфальте.

Самый недрачливый среди игроков “Старта” — я. Потому что мой удел — библиотека, интеллектуальное развитие. В каждом городе я ищу читальный зал, учу наизусть полюбившегося мне Есенина, вызубрив до этого “Бахчисарайский фонтан”, “Борис Годунов” и — моя гордость — сто семьдесят страниц (отдал год жизни) “Евгений Онегин” — на память, не для зарабатывания денег, а для удовлетворения амбиций и для украшения духа.

Спустя год, руководство “Локомотива” предлагает нам поменять в календаре очередность игр в связи в каком-то местным праздником и приурочить к нему игру с нами. Нас хорошо встречают, мы же, пользуясь отсутствием тренера, весь вечер пьем “Рислинг”.

В полномъ все засыпают, а я, подогретый вином, читаю наизусть все подряд.

Встречу выигрываем 1-3, причем третий гол я забиваю, просто избавляясь от мяча, ударив его изо всех сил в сторону ворот соперника, растягивая время, ожидая финального свистка. А все кричат: “Толя, гол”, потому что я бегу в обратную сторону и не вижу результата.

В раздевалке второй тренер Геннадий Голубович отмечает: “хорошо вчера готовились, режим соблюдали, молодцы...” мы переглядываемся с улыбками, знал бы он, сколько сухача мы вылакали, сколько этой

кислятины выжрали. Потом тренер выясняет, кто же вытер руки о чистые шторы в туалете, глядя на меня, акцентированно переспрашивает: “Толя, ты не в курсе?” Я его ненавижу в эту минуту, меня трясет от возмущения и несправедливости. Поднялся Кожемякин и сделал признание, я бы, наверное, не смог так поступить. А вскоре Мишку отчисляют из команды, вся его жизнь идет наперекосяк. На производстве ему отрывает руку, от него уходит жена, он не справляется с навалившимся алкоголизмом. Поддержать Михаила никто не может, я уезжаю в Минск. Группы Анонимных Алкоголиков в Орше нет. И уходит в небытие добрейший Михаил Кожемяко, повторив судьбу многих футболистов, навсегда потерянных в реальности.

А я часто предаюсь футбольным воспоминаниям, с удивлением пытаюсь разгадать сию тайну футбола — загадку “своей” команды...

Велосипедистка

Моя дикая плоть терзалась в огне пылающей похоти, продолжая оставаться таковой, несмотря на высшие препятствия, несмотря на многочисленные кожно-венерические предупреждения. Моя бездумная плоть упорствовала, ища легкого и безответственного удовлетворения. Мой удел — пляжные случайные знакомства и романы — вполне меня устраивал. Я любил совершенно неведомый мне, умиротворенный покой, исполненный пестрых женских купальников и мужских плавок. Я любил сладостно и мучительно наблюдать за почти обнаженными, понравившимися мне женщинами, осторожно ступая между загорающими дамами и редкими мужиками, витая в обмане воображения. Как всегда, я зачинал новое знакомство, еще не ведая с кем, еще не зная, зачем мне все это нужно. Как обычно, я остановился на фигуристой (по моим представлениям) женщине, напросился на ее одеяло.

Сама завязь любых взаимоотношений очень напоминает поэтическое вдохновение, превращаясь с первых слов либо в восторженность и радость, либо в бесперспективный рутинный диалог. Самая революционная крайность увиделась во мгновенно разгорающейся страсти, самые добрые чувства хлынули в обоюдное желание, а сладкий разговор задался с первых глаголов. Она оказалась Людмилой, велосипедисткой в прошлом. Звуки наших слов сходились в одну тональность, наши взгляды сливались и куда-то смотрели поверх трепещущего Славутича.

Но ничто уже не могло удержать нас от надвигающейся, полной неизвестности и огня страсти. Заискивающий образ похоти вставал перед нашими глазами и воображению мнилось долгое и безмятежное счастье. Находилось оно на верхнем этаже пятиэтажного дома, суетливо угощало меня чаем, предварительно накормив жирными отбивными с пюре. Счастье без умолку лепетало бог знает о чем, лишь бы не молчать, вторя

моим байкам, неизменно ведущим к постели. И в то же время страх трезвого воображения ставил неодолимые препоны, столь нереальные, что их не было сил превозмочь, разве что назвать вещи своими именами.

Не сумев сказать главное, не решившись произнести сокровенное, я чувствовал себя глупо, напрашиваясь на ночлег. Счастье стелило мне постель в отдельной комнате. Я лежал на ней дурак дураком, облизывая горящие губы, бессмысленно выискивая какие-нибудь соединительные фразы, лишь бы не оборвалась, так и не начавшись, наша эмоциональная связь. Не придумав ничего умного, я попросил счастье принести другую подушку. Я взял ее руку, сжимающую подушку, и до утра не отпустил сказочно нежную Людмилу.

Красота и великолепие первого таинства двух душ, истосковавших по любви, не поддается никакому описанию. Единственным тревожным моментом интимного чуда оказалось наличие и реальное существование грозного мужа, мастера спорта по борьбе, который реально мог явиться рано утром из минской командировки в провинциальную Оршу. В том таилась самая опасная часть жизни любого донжуана, всякого соблазнителя, каждого похотливого мужика. Здесь заключалась ее горечь, экстремальность, исток нелогичных стрессов и, может быть, великая бессмыслица. Только проснувшись, я бросил взгляд на часы и похолодел. Если бы супруг Людмилы приехал вовремя, он уже был бы в квартире, и мое присутствие в постели его жены на высоком этаже ему точно не понравилось бы.

Мною овладело желание сейчас же, немедленно бежать, куда глаза глядят, и моя растерянность передалась эмоциональной женщине. Мне было не до чая, не до бутербродов.

Через минуту я спокойно двигался к остановке, отметив выходящего из автобуса мужлана, явно борца, со сломанными ушами, который по необъятности мышц вполне мог заменить три моих плоти. Я сразу почувствовал, что это муж моего счастья. Потом, когда она показала мне его фото, я так испугался что у меня волосы встали дыбом. Я живо вообразил, что могло бы произойти, окажись он дома вовремя...

Ящик водки

Футбольный сезон мы завершили среднестатистически — в середине таблицы. Можно бы вздохнуть свободно, но формула наших соревнований требовала подтверждения статуса мастерства. Короче говоря, после календарных соревнований чемпионата, после кубковых и прочих турнирных приключений, нам предстояло отыграть первенство области. Два первых места давали право на участие в первенстве государства в следующем году. Как правило, мы и команда “Темп” из города-спутника не оставляли соперникам никаких шансов, превосходя их в мастерстве и в опыте.

В тот год областное первенство проводили в Новополоцке. В тот день — события происходили более тридцати лет назад — мы, игроки команды “Старт”, досрочно обеспечившие себе первое место, собирались на встречу с последней командой турнира. Поскольку игра ничего не решала, мы расслабленно мусолили карты (вчера мы нажрались водки), травили анекдоты, донимали шутками запасных игроков. Мы эротически рассматривали горничную, медленно вытирающую пыль в номере. Коля Углик, как всегда, уточнял, когда ее муж придет из командировки...

Постучав в дверь, неожиданно вошли ребята из третьей команды. Мы поговорили о том, о сем, после чего наши коллеги предложили нам обыграть сегодняшнего соперника с крупным счетом, намекая на вознаграждение. В таком случае у третьей команды появлялся шанс обойти нелюбимый всеми нами “Темп”. Уходя, наши гости добавили, что вечером на поле наш соперник не окажет сильного сопротивления — защитники куплены.

Собственно, мы не увидели в предложении ничего криминального. Игру продавали не мы, договаривались не мы. Нам следовало выложиться полностью и всерьез, используя все голевые моменты, а их-то нам помогут создать. К тому же мы не могли упустить возможность хоть как-то насытить нашим “врагам”. Мы отложили в сторону карты, обсудили варианты, предупредили второго нападающего, играющего со мной в связке, начали собираться на стадион...

С первых минут встречи я почувствовал, сколь “лояльны” ко мне защитники. Сразу же я понял, сколь много значит умение просачиваться даже через поддающуюся оборону. Редуты все равно оставались под ногами, их нужно обходить, перепрыгивать, унимать. Первый выход один на один с вратарем завершился ударом в штангу. Следующий проход — снова штанга. Через минуту я бью с острого угла, все делаю вроде бы правильно и по законам футбольного искусства, мимо. Продираюсь сквозь частокол слабо борющихся защитников, посылаю мяч в очень открытый угол — мимо. Ворота, словно заколдованные. Вылетаю слева почти по центру, направляю снаряд практически в пустые ворота — мяч скользит по странной траектории — снова мимо. Ничего не понимаю, равно как и соперники. “Браток, забивай...” — шепчет игрок в майке с номером три. Только в конце тайма я засунул нелепый и нелогичный гол. И калитка отворилась. Мы вколотили столько голов, сколько надо. Мы уходили с поля с опущенными головами, не глядя на болельщиков за нас темповцев.

Вечером ребята из третьей команды притащили к нам в номер ящик водки и конверт с червонцами. Пока мы планировали тихую пьянку, явился тренер, недоуменно уставился на “пойло”, очень разозлился и ушел, даже не поздравив нас с победой...

Морская пехота

После тренировки Толя Каплун уносит мячи домой (живет в двух шагах от стадиона), а следом, изнуренные большим квадратом, рывками и жарой, плетемся мы с Витуном. Мы шагаем и спрашиваем друг друга: “Ну что будем делать?” Мы знаем, что мы будем делать, но никто не говорит прямым текстом. Сейчас мы сделаем — по сто граммов — дальше, как Бог положит, а Бог, как всегда милостив, посылает нам вдохновенье, желание и путь. И осторожность. В команде есть стукачи, стало быть, мы не афишируем свое неспортивное поведение, прячась не в сводах кафе, я в тихой уютной квартирке на пятом этаже.

Тетя Вера терпеливо встречает нас (как только не надоели наши приходы с пьянками-гулянками). Глотнув водки, Толя включается: “Я служил в морской пехоте..”. Мы знаем, это не так, но в устах Капы фраза звучит оригинально. “Мама, посмотри, как твой сын напился”, — указывает наш полузащитник на среднего брата, солиста ансамбля, классного парня, утопающего в алкоголизме.

Толя чаще и чаще становится в стойку каратиста: “Витун, я морская пехота!” В перекур он достает меня: “Веремей (мое футбольное прозвище), вот тебе масло, сало, хлеб, сахар” — начинает доставать продукты из холодильника. При большом количестве водки пластинка Капы окончательно сбивается на повтор, а провизия, предназначенная для пропитания трех сыновей и мужа, с таким трудом добываемая тетей Верой, тает, тает, тает...

Водка выпивается быстро, чувство реальности теряется скоро. Добродетель, занимающая высокое место на шкале духовных ценностей, рассеивается. Стаей хищных воронов мы вылетаем из подъезда. Соседу, просящему закурить, Толя достойно отвечает: “Боксеры не курят...” Минута доминошников, мы появляемся на площади. Толя угощает нас квасом, игнорируя длинную очередь, напомнив толпе: “Боксеры после тренировки хотят пить...”

Витун хищником оценивает гуляющих девушек — ищет жертву на вечер. Витя, первый соблазнитель города, имеет внешнее сходство с Наполеоном. Мы все болтаем одновременно. Отовсюду слышится: “Витун, Веремей, я морская пехота”. Веселясь, мы вспоминаем забавный эпизод с нашим полузащитником. Разбив бутылку вина, он упал на четвереньки и по собачьи принялся хлебать из лужицы.

Искусственное настроение ведет нас к двери кафе, где, как обычно, висит табличка с надписью “Мест нет!” Толя с Витуном (я веду себя посдержанней) барабанят в дверь руками и ногами, не замечая проходящего мимо тренера с супругой (вот и вся разгадка стукачей). Мы молоды, прекрасны и смешливы. Витя, соблазнивший более сотни женщин (“сотник”), кричит швейцару через дверь: “Ты что, не видишь,

футболеры пришли...” И конечно же изо всех измерений гроыхает: “Отворяй, идет морская пехота!” “Мы только выпьем пивка для рывка и водочки для обводочки,” “Кто не курит и не пьет, тот в основу не пройдет,” “Тренированных тренировать — только портить”. Вываливаем футбольные присказки в лицо швейцару, дерзнувшему произнести: “Спортсмены не пьют... А вечером в окружении дам мы вываливаемся из кафе, и над тихим провинциальным городом, словно с небес, еще долго несется “Морская пехота...”

Часть вторая

Гитара

Пройдя еще немного дальше, я остановился от зашедевшего сердца, унял сердцебиение.

Я знал, Витек Шкаев во второй смене, я все очень хорошо знал. И что не следует брать гитару без его ведома, и что не нужно являться в чужую семью в отсутствие мужа. И то, что я жажду заполучить вовсе не семиструнный инструмент, а увидеть его жену. Новые чувства прекрасно гармонировали с блестящим снегом, покрывшим большую часть двора. Небольшой мороз и запах кухонной стряпни, тишина и блеск тусклого фонаря, низкие ступеньки, утонувшие в снегу, замечались мной поверхностно и рассеянно. Я еще раз посмотрел на луну, выглядывающую из-за крутого ската крыши, и постучал в дверь.

Жена Витька Надя доверчиво и чисто смотрела мне в глаза, простенькая, молоденькая, желанная. Стоило мне протянуть руку, думаю, все совершилось бы само собой. Но в этом ли было дело? Главное, я испытывал страсть к обучению игре на гитаре, скрывая под ней глубинную увлеченность чужой женой. Главное, мои горячие, юношеские чувства появились, они существовали, жили и будоражили меня. Я заведомо знал — увлеченность останется безответной. Я твердо верил, ни за что на свете я не смогу открыться ни единой человеческой душе. Я пожал ее мягкую податливую руку, спросил, дома ли мой учитель. Будто бы я забыл о его второй смене. Будто мне в самом деле день и ночь мечталось о гитаре. Витек и так давал её мне в любое время суток на неопределенное время.

Витек (вечная ему память) оказался хорошим наставником. Он долго и терпеливо показывал мне незапоминающиеся аккорды. “Большая звездочка — вот так... Маленькая звездочка — так...” Затем начинался маленький сольный концерт. “Царь Николашка правил на Руси...” — довольно мужественно и близко к тембру Высоцкого выводил мой сосед. Его прокуренная, небольшая и очень уютная (от присутствия Нади) комната под воздействием музыки расширялась, слова российского барда делались близкими и родными.

Меня все равно волновала жена Шкаева. Все одно меня тянуло к ней (я был девственник). Как все подростки я томился тайным желанием и предчувствием чего-то, но, оставаясь наедине в женщиной, превращался в глупого, беспомощного, смешного клоуна.

И сейчас, держась за гриф, я никак не мог сосредоточиться и поговорить нормально.

Незатейливое Надино платьице расстегнулось на груди. Мне страсть как хотелось заглянуть туда. Я беспомощно отводил глаза, болтал о снеге и морозе, о ветре, лишь бы уйти от реальности, лишь бы скрыть страх перед откровением.

Я приволок “свою бандуру”, как говорила о гитаре мама, в дом, потренировался брать аккорды. Устав от комнатной жары, смятения и музицирования, я крепко уснул. Я не слышал глухого щелчка, случившегося ночью. Я проснулся с утренним солнцем в пору зимних каникул. Свет, слепя контрастами, озарял комнаты. С праздничным веселым настроением, слыша мамину возню на кухне, я бросился к инструменту с желанием обогнать в технике игры друга Славика (мы начали учиться в один день). Увидев оборванные струны, я испытал потрясение, шок, конец света, духовное превращение. Дом наполнился траурным сумраком. Мамина картошка загорчила и опротивела. Я не представлял себе дальнейшего поведения с Витьком. Но, видно, я родился нечестным по сути. Мне всегда не хватало решимости сказать правду.

Я спешил к Витьку напрямик, не замечая снежных сугробов. Из открытой форточки Славика (он жил по соседству) неслась музыка. Заснеженная распашка раздражала. Чувства к Наде из-за страха при-тупились. Я, точно вор, приоткрыл незапертую дверь в прихожую, сунул гитару к стене, быстро исчез в снежных переулках. Витек не ругал меня за оборванные струны, но что-то в отношениях надломилось. Он жил, работая сцепщиком вагонов, сбрасывая уголь с медленной катящихся вагонов. Он, как и многие в наших краях, соблазнившись ранней пенсией (нужно было отпахать в шахте десятку), полез в проходку. “Витек умер...” — смиренно ответила мне Надя через много лет в ответ на вопрос: “Где муж?” “Болел?” — спросил я от растерянности. “Нет, просто умер и все...”

Людмила

То ли она не долюбила в жизни, то ли у нее накопилась мстительная обидчивость на мужа, но, безусловно, великий Пушкин, шепча, “душа ждала кого-нибудь...”, имел в виду Людмилу и только ее. Мы познакомились случайно в больнице. Я, как обычно изнуренный алкоголем, излечивался в кардиологии. Будучи избалованный женским вниманием, я пребывал в смутном предчувствии — ожидании нового любовного приключения. Моя взволнованная натура, моя тревожная душа, ища любви, металась по коридорам больницы, незримая и неосязаемая. Мой дух вдруг столкнулся с ней, жаждущей того же.

Мы болтали, школьничали, смеялись над пустяками. Мы гуляли после коротких больничных обходов, взявшись за руки, как делают одни лишь романтические влюбленные — рассеянно и бездумно. Пыль-

ные околобольничные улицы казались нам Елисейскими полями, а чудовищно загазованные магистрали виделись нам тихими лесными просеками. После завершения курса лечения, мы продолжали тайно встречаться, предаваясь утехам любви. Наши отношения напоминали медовый месяц молодоженов, проживающих у внимательных и заботливых родителей. Меня устраивали связи, не требующие материальных затрат. Мне нравилась ее неприхотливость, удовлетворенность тем, что я есть. Потом я все же осознал — платить придется самым дорогим из душевных переживаний — чувством глубокого сожаления, чувством неудовлетворенности.

Она возникала на пороге, внося в дом свет и любовь. “Большое и сильное чувство ведет меня к тебе...” — произносила моя милая женщина, прижимаясь к моей плоти трепетно и доверчиво. Я же нетерпеливо тащил ее в постель, спеша и суетясь, склоняя к прелюбодеянию. Тайнство совершали, тем не менее, медленно, по основному принципу Кама-Сутры (для мужчин) — не завершать или делать это как можно позднее. Ее ласки отличались изощренным разнообразием и сексуальным талантом, какому могли позавидовать тайские ветреницы, где царствуют неповторимые поцелуи лотоса.

У дорогой моей женщины случился сердечный приступ. Я быстро добрался к ней в неприемное время, выслушал просьбы о помощи (нужно было что-то купить) и потащил Людмилу, как самку для случки, склонив к шведскому сексу.

Постепенно мне становилось трудно совмещать встречи с тайной женой и супругой. К тому же я завел пока еще редкие легкомыслия с молодой девушкой и начал тяготиться встречами с удивительной женщиной. Как-то, расставаясь у лифта, я сказал, что пора бы мне устроить личную жизнь поосновательней. Люда ничего не ответила, лишь печально и пристально посмотрела мне в глаза. Створки лифта хряснули, словно гильотина, разрезав наши любящие души.

Позднее я жалел о случившемся, звонил, намекал на встречу, но неизменно наткнулся на чуть слышное, но твердое “нет”. Я вспомнил, как Людочка оборонила о муже “он меня крепко обидел...” Теперь я примерял эти слова на себя, ибо ни одного упрека и даже намека на претензию не слышал я из ее уст. И ничего не осталось от нее, кроме мягкой осознанной благодарности, чувства сожаления о разлуке, перемешанной с глубокой досадой.

Обида

Все чаще мне снятся обидные моменты моей семейной жизни — с моей первой женой. Небо нашептывает: наступила пора посмотреть в глаза своим обидам. В день свадьбы я с ужасом открыл для себя, что

моя трижды разведенная (я женился по расчету, у нее была квартира) будущая супруга накрашена так, что я считал неприемлемым. Я высказал свое недовольство. Она от меня просто отмахнулась, ущемив мое самолюбие, пренебрегая моим мнением. В моей душе поселилась обида, гнев ушел внутрь, эмоциональный мир поблек, и в целом во то мгновение моя жизнь ухудшилась.

Назавтра мы летели в Ленинград. Мы шумно ворвались к моей двоюродной сестре. Они познакомились и вновь, к моему ужасу, манеры и поведение моей половины вызвали чувство разочарования и печальное осознание того, что произошла какая-то страшная ошибка, и нужно сейчас же разрывать отношения, и бежать, бежать, бежать...

Мы обедали в кафе. Существо женского рода, названное женой по некоему затмению разума, сгорбившись, чавкало, хрюкало, поминутно говоря обидные вещи: “Я бы с Петром-1 не против...” В самолете я вжался в кресло, отвернулся в иллюминатор. Я не мог принять решение, потому что мое нечто призналось в беременности.

Тревожное чувство продолжала досада, после явления друга Зои. Они запирались в ванной, чем добивали меня, вызывая огонь ревности, дикое желание объясниться, чувство потерянности и безысходности.

Меня оскорблял беспорядок, но еще более бесил тон, с каким ОНО пресекало все мои попытки возыметь голос более, чем совещательный. О неустроенности нашего жилища в кругу моих знакомцев ходили легенды. Спустя годы мне стало ясно, мое ДИВО — гений несобранности. Добавлю одно, на хаосе вещиизма я всегда выигрывал пари, как только спорящий со мной приятель переступал порог нашего дома.

Но я терпел поражение. В великой скорби детской я смотрел на бесконечных приятелей ее: то на слесаря-сантехника, которого следует угостить вином, то на дебильного якута, видно трахал, мою тварь ранее. То возникал некий Фрадкин, а ей лишь бы мужик. То гостил идиотствующий поэт и роконосец (ха-ха-ха). Потом на горизонте воздвигался толстяк. Следом офицер, прощенный мною — я переспал с его женой. Тащились в дом бесконечные имена и фамилии, внося в тишину незащищенность, досаду, ревность и другие чувства, невысказанные и терзающие ночными сонными призраками, уличными воплями на весь подъезд, соседскими нашептами, откровениями любящих меня подруг. Они раздирали мою суть, до сих пор не согласную, не желающую принимать давно ушедшую реальность, исполненную невысказанной обиды...

Наваждение

Отпустив эту, несомненно поэтичную, недолюбившую, издерганную контролем мужа женщину, я присел на кресло-кровать, все еще не осознавая, что же произошло, что случилось в нашей так сладко длившейся

близости, обрушившейся на меня, на нас обоих. Которая не только не повторится, но может иметь весьма и весьма негативные последствия, означающие нежелательные разборки с мужем (дай Бог, чтобы он оказался культурным, интеллигентным мужиком, а не выходцем из быдла). Я начал понемногу забывать о ней, так мне казалось сначала. Но Инесса решила являться ко мне во сне, жестокая и мстительная, как язычица. В иные ночные бессонные бдения и в прочие волнительные размышления она возникала по несколько раз, словно чувствуя, как мне не достает ее чистого, наивного взгляда, скрывающего беспокойные думы о будущем.

Я ерзал на скрипящем сиденье, чувствуя себя обитателем некоей обители похотливых злодеев-совратителей, причем злодеев прирожденных, по сути своей неисправимых и неподвластных никакому внушению, кроме, разумеется, действия Высшей милости и благодати. Я по-детски капризно хотел продолжения безответственного интимного праздника, возможного лишь со своей половинкой. А встретить свое настоящее счастье удастся далеко не каждому, хотя живет оно не так далеко, как кажется сначала. Моя душа замирала от такого хода мыслей, моя плоть вспоминала и вспоминала милые интимные сладости, несмотря на суевный страх перед каждым звуком, раздающимся за дверью, перед всяким приближающимся мужчиной, кажущимся ее мужем. Самый диван усугублял смятение и тоску, храня ее запахи, ее тепло, ее недоуменные от всего происходящего глаза.

Моя нравственная жизнь и в целом духовная позиция существенно изменилась после встречи с Инессой, говоря метафорами православного толка, после благодатного крещения. Я и вправду в каком-то смысле скорбел о былой не очень-то чистой жизни, как будто бы раскаиваясь. Даже поверхностный анализ содеянного выдавал шокирующий результат: произошла встреча с любовью. Как в таком случае объяснить то, что я сделался образцом кротости и любви к себе и ближнему. Как понять то, что она мгновенно разглядела меня в многолюдстве, что мы, будто муж и жена, ни о чем не договариваясь, ни в чем не сомневаясь, медленно подвинулись к бездне страсти.

Равно, как бедным и нуждающимся Господь дает милостыню, так и нам, прозябающим в нелюбви, Вседержитель отворяет вход в царство вечного блаженства. Инесса робко и трепетно ожидала меня в прихожей (мы заглянули всего на одну минутку), пока я снова туда-сюда с замирающей душой, даже не мечтая к ней прикоснуться. Наши близорукие глаза вдруг встретились и узнали друг друга. И я прильнул к ее устам...

Наши отношения осложнялись ее абсолютной безгрешностью. "Как только муж о чем-нибудь догадается и начнет меня спрашивать, я не буду лгать..." Огорчала меня Инесса вот такими откровениями и опять просила меня отпустить ее пораньше, до прихода мужа. До того, как

она заберет детей из детского садика, как приготовит ему борщ. Как приведет в порядок свои расплывшиеся глаза и разлетевшуюся во все концы прическу.

Наши встречи начинались и завершались днем. Они проходили в мирном безмолвии поцелуев, неспешных занятий любовью. Причем, мы ни о чем не договаривались. Каждый день я подходил к определенному месту у гастронома, предчувствуя ее. Я насыщался ее лицемерием, сладким ее присутствием, недолгим покоем души, над которой она владычествовала. И вот произошло то, чего я так боялся. Обо всем стало известно мужу. Она появилась, огорчила меня, покинув наше тихое любовное пристанище, робко попросив: “Отпусти меня, пожалуйста, я тебя очень прошу или же я сойду с ума...” Я смотрел в окно на сумрак угасающего летнего вечера, на еще неяркие звезды и никак не мог возвратиться в реальность из чудного любовного наваждения. В один из дней в квартиру позвонили. Я открыл дверь и увидел ее мужа. Взглянув на меня, он интеллигентно ушел...

Трусы

Я отдыхаю в южной республике, в душном городе, в пыльном поселке Донбасса. Я базируюсь у родственницы. Моя умная и целеустремленная сестра Валентина живет тем, что шьет и продает лучшие во всей Украине трусы. Сегодня по просьбе сестры я заменяю ее на рабочем месте. Я изнываю от жары и мечтаю о чудесном покупателе, который купит все 139 единиц товара. Но ко мне, к сожалению, никто не подходит, отчего я испытываю чувство вины перед сестрой.

Идущий муж пристально смотрит на рекламную особь мужского белья, потом впереяется в мою разноцветную халабуду. “Между прочим, все размерчики есть”, — я как бы невзначай прошупываю его. “Уже и посмотреть нельзя”, — обижается мужчина, злится, спешит, растворяется в базаре. Жарища, липкий пот течет из-под мышек, медленно ползет время. У прилавка возникают супруги. “Купи трусы”, — плачется муж. “А ты заслужил?”, — охлаждает свою половину жена и — бац его ладонью ниже поясницы. У товара останавливается семья. Молодой человек рагладывает разноцветье, вопросительно обращается к жене. “У тебя ж есть!”, — как-то резко отвечает ему половина. “Так они ж латаные”, — совсем беспомощно возражает он. “А кто тебя видит?”

Марево-парево, безветрие, даже мухи притихли. Печальная женщина средних лет перебирает материал, ворчит-шипит: “У, падла, опять ему трусы покупай, чтоб шлюхам угодить...” “Так не берите”, — мягко вставляю я свои пять копеек. “А что люди скажут?”

Вскоре появляется сестра. Она хозяйски оценивает состояние дел: “Будем закругляться”, — конкретно и в общем озвучивает она и в ра-

бочем порядке просит шагающего мимо работника рынка, указывая на рекламное белье 58 размера: “Паша, сними мне трусы” “Тетя Валя, вам?” Павлик сконфужен, смущен, растерян. Мы переглядываемся и хохочем.

Молитва

Я механик-диспетчер фирмы, занимающейся грузоперевозками и экспедированием грузов. Моя работа заключается в следующем: мне нужно всегда быть на месте. При моей высочайшей эмоциональности задача не из легких. Поэтому я принимаю решение — духовно развиваться. Я нахожу приемлемое для меня определение: “Духовность — это правильное понимание своего предназначения в мире, в отношениях с самим собой, с другими людьми и с Богом”. Такая позиция меня устраивает. Здесь, похоже, не пахнет религией. Именно поэтому я учу наизусть первую в своей жизни молитву. Сила помыслов и обстоятельств уносит меня в сторону от поставленной цели, втягивает в некую невидимую борьбу с ними.

“Отче наш...” — едва произношу первую фразу — хлопает входная дверь, вбегает опаздывающий наш работник, злюсь на него, но скоро возвращаюсь...

“...иже еси на небесе...” — снова отвлекаюсь, конечно, судя по походке, приближается Регина со своими затаенными невротами и психозами. В молодости она была ничего себе — симпатичная женщина. Интересно, заметила ли она, что у меня несвежая рубашка?

“...хлеб наш насущный...” В молитвенную тишину врывается финансовый директор.

“Толя, где наш водитель?”, — начинаю вспоминать, где же он. Решаю вопрос, нахожу водителя, задерживаюсь в экспедиции, где мы с Ильиным переключаемся на футбольные темы. Едва не забываю о главном...

...“даждь нам днесь...” Звонит телефон, шеф велит срочно найти секретаршу Ксюшу. Делаю это с удовольствием, потому что девушка мне нравится... Но вспоминаю о Боге...

“...яко же и мы оставляем...”

Какое же это неприятное чувство — вина! Вот пришло в голову: утром, открывая окна, я забрался на стул грязным ботинком. Теперь думаю, не остался ли след?

“...и не введи нас во искушение...”

Грохот, шум, восклицания. Не понос, так золотуха! К нашему генеральному директору направляется делегация взволнованных водителей. Меня опять перебивают. Чертыхаюсь про себя и тут же прошу у Всевышнего прощения за лукавое словечко...

Попробовали бы вы провести день на моем месте. Тут не только молитву не выучишь, вздохнуть некогда...

Трезвое чудо

Это — непрекращающаяся исповедь души, изнуренной страданиями, души, уже однажды умершей, но с помощью Неба возрожденной. Это — песня души, окрыленной духом нового пути и умиротворенной болью смирения. “Я уже однажды умер...” — некогда произнес поэт. Полагаю, он имел в виду кончину духовную, когда в тебе теплится одна лишь телесная оболочка, ты влачишь свое бездуховное существование между глотками спиртного, между днем и ночью, между жизнью и смертью.

Смерть сделала все для того, чтобы алкоголизм превратился в разрушительную силу. Чтобы он превратился в важнейший инстинкт, в твой последний стержень пустой физической оболочки — инстинкт самосохранения. Печальная лирика костлявой старухи, обряженной в чарующие метафоры химической зависимости, не менее сильна и притягательна, чем жажда жизни. Такая мрачная позиция обусловлена подменной ценностей жизни, манипулированием сознанием, отсутствием душевного здоровья и всего того, над чем властен один только Бог. Но как возвратиться к здоровой мысли, той самой и единственной, ориентирующей на обращение за помощью к небу, когда все остальные средства бессильны и безрезультатны. Как сформировать новое сознание, будучи по виду взрослым.

Я осознал, что не могу объяснить все то, что случилось со мной, но я не мог понять, как я оказался растоптанным и безвольным. Куда истекла сила воли, словно высосанная кем-то коварным и всемогущим? Может быть, причина таилась вовсе не во мне, коль уж моих сил не доставало даже для того, чтобы сделать нормальный вывод? Результат не резюмировался, судьба не объяснялась, наследственность только брезжила смутными тайнами. Одни лишь демонические силы, по могуществу уступающие Создателю, маячили перед глазами угасающего духа, большого разума — всепоглощающей безысходностью вещества, изменяющего сознание — алкоголизма!

Чудо произошло раньше, чем я предполагал. Возможно, в тот день, когда моя вторая жена предложила мне прочесть газетную публикацию об анонимных алкоголиках? И я впервые ощутил действие благодати, вглядываясь в неинтересные для меня строки, протестуя внутри, не любя супругу и думая о полбутылке водки, спрятанной на антресолях...

Возможно, чудо произошло в то утро, у леса, куда я убежал в четыре часа утра, гонимый ужасами бессонницы, то ли от себя, то ли на зарядку? Я почувствовал, мною что-то управляет более могучее, чем моя сила

воли. Меня окатило страхом от чего-то, происходящего с моей душой, разумом, психикой. Я рассыпался на мелкие частицы, я разрывался в клочья. Я впервые в своей жизни опустил на колени, признался Богу в собственном бессилии и попросил помощи.

Возможно, превращение произошло в женский праздник. Мы с соседом с утра надрались так, что я не мог стоять перед женой. Она ушла к маме, а я кричал ей вслед что-то оскорбительное, наполненное негодованием, саможалостью, обидой и мстительностью. Я рекомендовал ей больше не возвращаться — это последнее, что я помню...

Чудесный голос

Голос мне был в образе телефонного звонка. Мне позвонили в то время, когда я должен находиться на работе. Я поднял трубку. Меня позвали на трезвый праздник. Мой друг (ныне покойный) так и сказал: “Приглашаю тебя на безалкогольный день рождения...”

Слово “безалкогольный” я, разумеется, не услышал или принял за дружескую шутку. С Леонидом Голубцовым мы в пьяной жизни “съели” не один пуд соли, именно поэтому я уверовал, что меня разыгрывают. Более того, моё пьяное мышление на такие уловки не поддавалось, я отнесился к спиртному, как дитя пьяных традиций и здоровых намеков не воспринимал.

В коммерческом киоске я купил в подарок туалетную воду, остановил такси и помчался на другой конец города, предвкушая пьяное застолье. Разговор за столом не ладился, время тащилось медленно и уныло, вспыхивая редкими шутками, омрачая меня суровой правдой трезвости. Предо мной лежали златобокие отбивные, куры и ветчина, холмообразные салаты, соленья. Я смутно надеялся на скорое окончание трезвого безобразия. Я предвкушал увидеть вспыхнувшие заговорческие глаза хозяйина и волшебный жест — и, бог весть, откуда взявшуюся водку.

Постепенно я понял нелепость своего трезвого томления, своего положения в целом, понятного только всегда пьющим, всегда желающим выпить, ожидающим одну лишь выпивку. Я хотел кушать, но кусок не лез мне в горло без водки, а ее-то, родимой, и не было.

Безобразие (на самом деле чудо) длилось и двигалось со мною и после гостей.

Брат Леонида, мой друг Виктор, уже несколько месяцев посещал собрания Анонимных Алкоголиков. Он вдруг (чего никогда не случалось) предложил мне отвезти меня домой через весь город и начал говорить со мной как трезвый человек о трезвой жизни. Он вел странный монолог: о необходимости что-то изменить в жизни, об ином отношении к употреблению спиртного. Трепетно, больно и мучительно зазвучал в душе мотив трезвости.

Еще одно чудо

Самое большое на земле чудо — трезвость — складывается из маленьких чудес. С того момента, когда Виктор заговорил со мной о трезвости, со мной начали происходить миниатюрные чудеса. Собственно, а зачем человеку огромные перемены, если жизнь сама по себе состоит из мгновений, течет медленно и подробно и есть мое самое большое и главное чудо!

Может быть, кто-нибудь объяснит мне, почему я тогда, 12 марта 1997 года не купил себе на вечер бутылку водки, традиционно проделывая подобный ритуал ежевечерне в течение двадцати двух последних лет? Без единого перерыва — чуть более восьми тысяч раз, не считая добавок, девочек, такси и потанцуем. Я смотрел в глаза продащице винно-водочного отдела. Она, хорошо зная меня, с удивлением подала мне литровый пакет апельсинового сока, востребованного мною. Я неловко держал сок в руке, потому что мои карманы давно приняли форму бутылки.

Накануне

Итак, водки я не купил. Пакет апельсинового сока занял место моей Высшей силы. Напиток не лез мне в горло. Скорость его употребления была смехотворной черепашней. Литра апельсиновой жидкости, казалось, хватило бы на несколько лет. Моему организму, перестроенному на “ядерное” топливо, грозило апельсиновое отравление.

Дело заключалось в том, что мой алкоголизм являлся перманентным. Пауз я не делал, я пил всегда. Традиционно я выработал систему самообмана, чтобы пить и день и ночь, чтобы обмануть себя, родных, работодателей. Старо, как мир: пить не более одной бутылки в день, пить только сухое вино, пить только по праздникам (праздники каждый день) и т. д. Моя творческая фантазия, мой интеллект усугубили весь трагизм ситуации, где непобедимый чудодей алкоголизм, он же, по совместительству, маг человеческих душ, он же неиссякаемый придумщик вовлек меня в нескончаемую борьбу.

В мою систему самообмана (как известно, здесь нет здравомыслия) включался трудоголизм, сексуальная распущенность, двигательная сверхактивность, превышающая все нормы рекордов книги Гиннесса. Мой сосед Сергей Николенко однажды изрек мне, уходящему в бездну дня с тяжеленной сумкой на огромные расстояния: “Какая сила заставляет тебя двигаться вперед?” Позже, после чудесного превращения, я часто вспоминал его удивительный вопрос. Разве можно поверить в то, что человек реально парится 365 раз в году, иногда дважды и даже трижды в день, но именно так я и выжил. Инстинкт самосохранения

выгалкивал из организма токсичные вещества, а частые бани, как выяснилось потом, вовсе не вредны, но скорее наоборот, если париться в меру, а не двадцать один раз, чередуя ледяной бассейн и раскаленные камни. Даёшь Бог, чтобы выдержало сердце.

Я стал толстым. Я закусывал каждую из тридцати рюмок, вбрасывая в себя столько же отбивных, куриных ножек, котлет и салатов. Я глотал не более ста граммов каждые два часа, начиная с шести утра. А вечером я продолжал употреблять с кем-нибудь из соседей. Я никогда не пил за чужой счет. Вечером я рано укладывался спать, как только в глазах начинался двоиться телевизор. И таким образом мой организм приспособился к ежедневной смертельной норме. И таким образом алкоголизм сделал мою плоть бессмертной, умертвив душу и разум. Мои чувства изолгались, правда жизни захирела, цели рассеялись. Во мне воцарился непроглядный мрак и смирение перед алкоголем. Сила воли, словно испарилась, а сила духа не подавала признаков жизни. Безумная тяга, аллергия организма отчаянно вели меня по дороге к гибели. Алкоголизм превратился в важнейший из инстинктов, он вырос в огромное “хочу” без плоти и лица. Суицидные мотивы звучали непрерывно, как шлягеры из соседнего двора. Они обретали законченность веревки, летящей из окна плоти. Система ценностей упростилась, опошлалась. Я бродил мертвецом мертвого бытия, предмогильным существом, бесчувственной массой.

Отходняк

Я весил не менее ста килограммов. Тридцать пять из них делали мою форму комичной. Овал моего лица (друг дразнил меня луной) виделся в серых тонах. Я проснулся в мысленном хаосе, находясь во сне, но без сна. Нечто, именуемое мной, неопохмеленное, неловкое, тревожное, беспокойное, потерянно хрипело, сипело, хрюкало, поворачивалось в кресле-кровати на кухне и не могло подняться. Нечто с липким чувством вины, обиды на весь мир, страхась спящей в соседней комнате дочери, тащилось по полам, визжащим в унисон состоянию души.

За дверью чудилось топтание, в темноте виделось что-то рогатое, слышалось чье-то лепетание, чудилось незримое присутствие кого-то. При этом все двери сузились и цеплялись за меня. Галлюцинации пошаливали, пространство стужилось, и все раздваивалось. Струя мочи бешено звенела, рождая новое чувство вины, нескончаемо вгоняя в новое чувство страха. Бред отношений доводил воображение до невысказанных ситуаций.

Сказать о том, что мне плохо — ничего не сказать. Это когда миллионы клеток, если посмотреть на человека как на клеточный сгусток, орут одну просьбу, вмещая в нее мировую скорбь и печаль, руша все религии и философии, всю мудрость и традиции человечества. Они произносят всего лишь одно слово “дай”, которое, переходя в “хочу”, усиливается

требовательным наречием “немедленно”. Цена за глоток спасительного химического соединения — вещь, недвижимость, Родина, жизнь, цена — дети, семья, родители, истина, справедливость, любовь.

Разжиженность серого вещества не дает возможности осознавать масштабы трагедии, разрушения разума, души, плоти, духа. Боль и чувство приближающейся беды длится бесконечно, мешает двигаться, жить, осознавать, вообще что-то понимать, действовать.

Со стыдом за внутренний тремор, я приготовил завтрак для дочери. До принятия утренней дозы я уменьшился в росте, не имея чувства собственного достоинства, не считая крайне низкой самооценки. Я просто тянул время, готовый на любую искупительную жертву, на любое унижение, не ощущая ничего, кроме присутствия несчастья от поражения перед чем-то.

Осторожной походкой я семенял по квартире, боясь аритмии сердца, четырежды предупредившей меня о надвигающейся опасности. Во мне вспыхнула трезвая мысль: “А не помириться ли мне с женой?” Не разобрать ли мне в ситуации, приносящей бесконечные страдания. Я повернул в ельник, упал на колени и впервые в жизни попросил у Бога помощи. Я принял решение прежде, чем прикоснулся к спиртному.

В то чудесное утро

И я принял свое первое трезвое решение. Я ворочался в постели, тысячу раз прокручивая предстоящий разговор с оскорбленной супругой. Я приехал в колледж, где она работала, за несколько часов до начала занятий. Когда она возникла в пролете лестницы, она показалась мне необыкновенной. Я, точно школьник, стал перед ней и попросил прощения, обняв ее пылко, как молодой гусар. Я сообщил ей о том, что решил начать трезвую жизнь.

В наркологию я притащился, имея твердую позицию: только не кодироваться, только не подшиваться. Доктор выслушала меня, обозвала алкоголиком второй степени и напомнила, что с понедельника у меня начинается платное лечение. Между прочим, добавила: “А пока сходите к Анонимным Алкоголикам...”

Я набрал номер телефона центра зависимости. Приятный женский голос, ничего не спрашивая, любезно ответил. “Приходите, мы вас ждем...”. По иронии судьбы офис центра находился в двух шагах от того места, где преподавала моя жена.

Чудесное превращение

Дима, трезвый алкоголик, обрабатывал меня на лестничной площадке. Я слушал и удивлялся лишь тому, как близко от моей жены нахо-

дится центр. Меня не пугали психически ненормальные окна, в которые хотелось броситься с разбега. Даже темные силы приуменьшили свои зовущие голоса. Я относительно спокойно реагировал на широченный пролет лестницы, зияющий шизофренической привлекательностью.

Я слушал нечто благодатное, и стал невозможен самобман, и стала проистекать Божья милость, и я почувствовал себя другим человеком. Такое возникает при общении двух трезвых алкоголиков, когда один из них готов сделать все, чтобы избавиться от губительного пристрастия, а другой несет огонь идеи о том, что спасение возможно. Тогда я впервые узнал правило первой рюмки, о том, что существует суточный план трезвости, о том, что можно жить счастливо с такой болезнью, как алкоголизм.

К жене я возвратился совершенно другим человеком, она сразу же это почувствовала и отметила изменения в моей личности. Моя душа пела, внутреннее состояние стабилизировалось, впереди меня ждала группа Анонимных Алкоголиков. Я намерился увильнуть от занятий сегодня, но мой мудрый первый наставник, видя мои ухищрения, поставил меня на место: “Ты пойдешь на группу “Возрождение” сегодня, я встречу тебя у входа”.

Чудесное путешествие

Шел четверг двенадцатого марта 1997 года. Я уже трезвел семь-надцать часов подряд после 22-летнего непрерывного употребления. Я проживал самый длинный день в жизни. Я тащился на занятия группы Анонимных Алкоголиков через весь город. Я так долго не осознавал то, что происходит вокруг, что чувствовал вязкое течение бытия. В троллейбусе агрессивно бранились взрослые, студенты громко обсуждали какой-то матч, а несколько выпивших мужиков, словно сговорившись, дышали в мою трезвую сторону.

Откровенно говоря, я не очень-то жаждал заниматься какой-то духовностью, Но ведомый Создателем, я все же заглянул в наркологию. Там меня ожидало чудо в образе доктора Владимира Владимировича Иванова. Психолог подвел меня к двери и мягким, но повелительным жестом втолкнул на собрание группы трезвых алкоголиков.

Чудесное собрание

Божья воля ненавистным мне жестом доктора втокнула меня в царство исповеди, Божьей милости и благодати. На собрании группы “Возрождение” находилось примерно тридцать человек. Все выглядели как нормальные люди, вовсе не похожие на тот образ алкоголика, который традиционно сложился у каждого, кто не знаком с проблемой

алкоголизма. Меня одолевало желание исчезнуть, спрятаться, затаиться в щель, стать невидимым.

Как алкоголик интеллектуального племени, я сразу же начал оценивать уровень культуры выступающих. Не найдя ничего удивительного, я сделал первый трезвый вывод: “Самый умный здесь я...” Истории пьянства слышались неубедительными, наигранными, неживыми. Пьяно-приключенческие подробности, по сравнению с моими выкрутасами, в словесном эквиваленте виделись скучными, не вызвали доверия. Голос чувства слабо пробивался сквозь логику инстинктов. Меня, могущего, оставаться без спиртного не более двух часов, поразило высказывание: “У меня шестьдесят дней трезвости...” Я посмотрел на дивного парня с лежачего положения, как можно более принизив себя, чтобы угодить и понравиться заискивающим подобострастием. Может быть, в то мгновение я, пронизанный духом соперничества, уже поставил перед собой цель...

Мне показалось, что разумнее было бы провалиться сквозь землю, чем впервые принародно назвать себя алкоголиком. И чем ближе подходила моя очередь представляться, тем сильнее я вжимался в кресло, надеясь в него спрятаться. “Алкоголик Анатолий”, — ура-ура-ура, окрещен! Легкость наступила необыкновенная. Мой витиеватый монолог выдохнулся сплошной метафорой самообмана. Во время моего выступления братья несколько раз хохотнули, за что я все им простил. После занятий все пили чай, кроме меня. Я почему-то полагал, что кто-то поднесет мне стакан и пряник. За чай я обиделся и много лет мстительно помнил...

Чудесное возвращение

Несмотря на то, что моя жена не могла нарадоваться на мою трезвость, у меня складывалось впечатление, что пьющий я для нее более приемлем. И тем не менее, моя сверхугодливость, готовность все объяснить и оправдываться, детское желание понравиться и производить впечатление давали ей безусловное превосходство надо мной. И тут я в одночасье превратился в мужа молчащего, отстраненного, обидчиво-агрессивного, со всеми перегибами инфантильности переходного возраста. И тут я столкнулся с чудовищной хаотичной эмоциональностью, с энергией, равной ядерному взрыву. И тут я стал тем, из которого вырос алкоголизм — безликой серой личностью, думающей о себе преувеличенно неверно и по-детски горделиво.

Самое страшное заключалось в другом: моя жена меня не устраивала в трезвой жизни во всех отношениях. Во-первых, я перестал ее замечать и бояться. Во-вторых, во мне начали происходить глубокие духовные изменения, повлекшие за собой сильные изменения в личности. Короче говоря, жена предстала предо мной со своей идиотской стрижкой, какую

я не замечал назло ей. Моя супруга являлась мне источником раздражения. А вечерняя близость ужасала мое соображение сомнениями: а вдруг не получится?

Поздно вечером я лежал рядом с женой и мучительно вспоминал сексуальные моменты из моих измен, чтобы как-то воспламениться. Я мучился чувством вины, страхом, теряя уверенность в своей мужской силе.

Слегка протрезвев, я начал избегать тех, с кем пил. Точно вор, я выглядывал из подъезда, быстро шел вдоль стены дома в противоположную сторону от того места, где еще вчера считался заводилой, организатором пьянок.

Как всегда мои приятели маячили на лобном месте, ожидая чуда опьянения за чужой счет. Как всегда, их присутствие вызывало чувство незащищенности. Причем это ощущалось настолько остро, что при виде собутыльников я с детской непосредственностью приседал за куст, дабы не попадаться им на глаза.

Сосед по имени Пашка по привычке заруливал ко мне в первом часу ночи. Его поздние звонки звучали укоризненно и я, напоминая побитую собаку, с чувством вины перед дочерью и женой, плелся отпирать дверь, чтобы объяснить Пашке положение дел, чтобы еще раз оправдаться.

На другой день моя интеллигентная половина затащила меня в гости. При виде гвардии бутылок я потерялся, а последней каплей прозвучала реплика хозяйина: “Если Анатолий не выпьет, то и я не возьму в руки фужер...” И следом мое счастье добавило: “Он у меня теперь непьющий”. В тот миг я понял, что ненавижу свою жену, трезвость и все мировое движение Анонимных Алкоголиков...

Чудесное желание

Я удобно устроился в кресле Пашки, моего бывшего напарника по алкоголизму и вкатывал ему в уши идеи трезвости. Он пил холодную водку, хрустел грибами, смачно жевал мороженое сало и соглашался. Мои рассказы, верно, забавляли его. К тому же бутылка была еще обнадеживающе полна. Когда спиртосодержащее вещество в бутылке иссякло, он глубокомысленно заметил: “Пора и мне в Анонимные Алкоголики записываться”, — и веско, с отрывкой захохотал, весьма довольный собой. И вдруг спросил: “Вы что, там пьете анонимно?” И вдруг засобиравшись в магазин за какой-то мифической солью.

Я парил по улице, ощущая свою божественную предназначенность вперемежку с манией величия и чувством исключительности. Я находился в уверенности, что через несколько месяцев в городе не останется ни одного пьющего алкоголика. Так я решил спасти человечество от страшной болезни.

Ксендз Владислав, настоятель прихода св. Сымона и св. Елены

Униженный алкоголизмом, измученный вновь обретенной трезвостью и страхами навалившейся на меня реальной жизни я несколько лет не решался войти в Красный костел. Вечерами я подолгу смотрел на его таинственный силуэт, на мерцающие кресты, стремящиеся в небо. И пристально вслушивался в проникновенный речитатив проповеди, несущейся сквозь гостеприимно открытые главные ворота божьего храма. В праздничные, торжественные, особенные для духовности народа дни службу усиливали расположенные по периметру репродукторы, делая меня более решительным, унимая мои тревоги.

Загадочность службы и вместе с тем необыкновенная гостеприимность обители господней однажды заставили меня, озираясь, войти под своды, исполненные святости и благочестия. Прошу поверить мне на слово, страх не то чтобы исчез, как бы сказать правильной, его власть надо мной уменьшилась, отчего в душе сделалось тихо и светло.

Имша уже завершилась, прихожане медленно расходились, а я стал искать взглядом того, чье слово звало меня к духовности. Милая и приветливая девушка, скорбная, как Пресвятая Матерь божья, назвалась Марией, предложила немного подождать. “Пробач сейчас будет...”, — вымолвила и принялась отвечать на телефонные звонки.

Почему-то мне не удавалось унять сердцебиение. Почему же я, взрослый мужчина средних лет, так волновался, словно мне предстояло держать экзамен перед самим Богом? Подумать только, я находился у кельи настоятеля, подвижника, ученого человека. Я смотрел на него, выходящего из полумрака лабиринтов и сопоставляя его благородное чело с портретом Иоанна Евангелиста на картине Сандро Боттичелли. Только на шедевре итальянского мастера, хранящегося в берлинском государственном музее, легендарный богослов изображен с огромной бородой и усами.

“Слушаю, пан...”, — весьма любезно после взаимных приветствий спросил служитель костела. Если бы, однако, кто-нибудь зафиксировал эти блестящие тирады — о чем бы ни шла речь — они были наполнены магнетической силой слова. К тому же священник говорил на чистейшем литературном белорусском языке (когда я узнал, сколько языков он знает, мне стало не по себе), к тому же в его речениях духовно пировало глубокое знание предмета.

Решив, что мне снизошло чудо (оно является тому, кто его заслужил), я напрочь позабыл о цели своего пришествия. Я собирался просить помощь в создании новой группы Анонимных Алкоголиков. Выгалькивая свою витиеватую мысль, я вдруг почувствовал: мои словеса от слишком вольных с ними обращений обезбожились (словесное “чего-

угодничество” в конечном счете — начало эрозии души, ума, духа). Мне казалось, я убеждаю, но чувство подсказывало обратное. Мне мнилось, я логично и аргументировано живописую состояние дел, но ощущения кричали об ином. А мой глубоко духовный собеседник — слушал, слушал и слушал. Он делал это так мастерски, что я невольно вспомнил чье-то изречение “умейте слушать, и вас поймут”. Он еще ничего не произносил, но я уже понимал, кто находится передо мной.

“Костел для всех, пан, этот вопрос я решу, зайдите...” — и он назвал день, когда мне следовало появиться. Ни за что не догадаетесь, о чем я тогда подумал: “Он подчеркнул, помог осознать мне равноценность различных временных отрезков пред вечностью...”

Позже он благословил многие мои книги стихов накануне выпуска, осеняя благостью крещения. “Его авторитет в наших кругах непрекращаем...” — поделился со мной один деятель искусств. Я вспоминал его мысль, сидя в костеле, слушая духовного пастыря: “Путь к Богу — это мучительный путь человека к самому себе...” И вдруг я начал осознавать свой смысл и значение. И вдруг понял, Ксендз Владислав помог мне найти то, что я мучительно искал всю жизнь, смирение...

Черная слива

Я воровал всегда. Вначале — деньги сестры, спрятанные за печкой, после чего моя единоутробная возмущалась так громко, что шатались стены дома, а свет покаяния блистал надо мною столбом. Затем в магазине на станции Весовая я вытаскивал из дощатых ящиков пиво. Я и мои приятели, примостившись на рельс (поезда, груженные углем, ходили редко) — утоляли жажду “Жигулевским”. Я видел себя смелым и значительным.

Я “очищал” доступные огороды до тех пор, покуда один хозяин за выемкой у моста не стрельнул, убив насмерть малолетнего похитителя георгина. Я выковыривал мелкие монеты из родительских заначек и переводил их в свои карманные деньги, столь нужные в том возрасте. За спиной у зазевавшейся учетчицы я похищал распираторы — комплект самозащиты для шахтера. Мы убегали по лабиринтам — на пустырь — за террикон. Там мы кроили резину, качественную и эластичную, рогатки из нее получались — будь они не ладны.

По-видимому, воровство — мой крест, а крест дается для чего-то свыше, мол, задумайся, найди признаки духовного неблагополучия. Я вообще все делал воровски. Мне было проще что-то взять тайком, нежели попросить. Даже в овощном магазине, при наличии достаточных денег, я раскладывал товар так, что усталая к вечеру кассирша обязательно пропускала то копеечную халву, то малюсенькую шоколадку, как бы случайно положенные хитро и незаметно.

Дело в том, что я таил мстительную обидчивость на “овощняк”. То и дело мне отпускали среди прочих то гнилое яблоко, то несладкий арбуз. Всегда мое психическое отклонение, мое несориентированное “хочу” хотело больше, чем ему полагается или отпущено небом...

Сливу я заметил сразу. Я не мог оторвать глаз от чуда, привезенного из далекой Испании. На ней виднелась прозрачная пыль жаркой страны и охлаждающий всяческий порыв космический ценник. Я выхватил из ящика фруктину, искоса взглянул на занятую расчетами кассиршу, двинулся за лотошный ряд, уходя из зоны видимости, и вонзился в сочную мякоть. Слива оказалась большой и невкусной, и бесконечной, как божье наказание. Я, пригнув голову, трогал ненужный мне лук, чеснок, капусту и чувствовал себя более чем ужасно. Я не ощущал ни вкуса, ни удовольствия и лишь страх того, что может получиться, если меня схватят за руку, уносил меня в ужасные фантазии.

И наконец, мои страдания завершились. Я быстро сунул косточку в карман, взял для приличия пару огурчиков, направился к кассе. Удивительное свойство нечестности, думать, что все написано на лице. Я отогнал это поганое чувство, хотя внутренняя спешка гнала меня скорее рассчитывать и выскочить на улицу. Я быстро выложил деньги из кармана на блюдечко для сдачи и остолбенел. На тысячную купюру нелепым уродищем приклеилась золотистая сливовая косточка...

Фроттеризм

В переполненном автобусе №50, перевернутый с ног на голову, зажатый ягодицами нескольких представительниц прекрасного пола, я нисколько не страдал. Я не злился на прижавшуюся ко мне из-за спины даму, мне было уютно, как будто в чреве матери. Чувство защищенности и любви, неразвитое родителями, окутывало меня божественной плевой. Автобус, подобно зыбке, убаюкивал меня, унося в состояние, близкое к забытью. Как бы случайно, как бы непроизвольно, скользя по поручню вниз, я опускал кисть к девичьей руке с необыкновенно длинными пальцами. Почти касаясь, я останавливался в опасной близости, исподволь наблюдая за реакцией девы, при этом глотая чувство страха, волнения, помня, как при подобной ситуации одна самодостаточная женщина считала мужчину почтенных лет. Наши руки почти слились, под пальцами девушки перемычка, ей некуда скользить. Мне думается, она тоже страдала моим заболеванием. Как бы там ни было, мы, обуреваемые похотью, пребывали в царстве грез, в уюте скоростного пятидесятого маршрута. Минута непередаваемых ощущений была мне гарантирована.

Я, не умеющий любить, реагирующий на бабский образ, собирал великое чувство по крупяцам, ища свое, неповторимое творение, не зная, что же мне надо искать, на кого смотреть, на чем остановиться. Может

быть, поэтому моя жизнь бездарно протекала в похотливых связях с замужними женщинами. За чужих жен не нужно отвечать, а в случае неудачи, можно ретироваться, сбежать, спрятаться в нишу. Ведь для того, чтобы строить отношения, основанные на сотрудничестве, интимности, заботливости — требуется мужество, которого я лишен в той мере, в какой могу прозябать в своей ущербности, бесцельности, не видя перед собой той женщины, того облика, какой мне нужен, какой я ищу.

Из детского сексуального воспитания запомнилось неприглядное женское белье, вызывающее чувство брезгливости, вечные папины пьяные подарки — рейтузы маме и сестрам и гостящая у нас тетя Поля. Я сновал между мамой и соседкой, ползал по полу, мяучил, выделялся неестественно, обретая чувство причастности через унижение. Я тайно подглядывал под юбку маминой приятельнице, видя, опять же противные розовые рейтузы.

В отрочестве на танцах сверстники приглашали девушек, я же изображал равнодушие, продолжая хотеть, увеличивая “хочу”, и оно разрасталось до неимоверности. И сегодня мое “хочу” хотело уродливо, неостановимо. Обострялось заболевание “фроттеризм”, близкое к сексопатии. Я страдал от навязчивого желания прикоснуться в девушкам, женщинам, бабам, шлюхам, ангелам, лишь бы “она”.

Вот так и влачил дорожное существование, крепко прижатый со спины теплой женской грудью. Незаметно поправляю волнующийся деторождаемый орган, отмечал, что еще одна остановка, и та, волнующая меня дама, выйдет на проспекте. Холодная, отрезвляющая реальность “наступила на уши” голосом водителя, фыркающей дверью, выскользнувшей кистью девы, исчезновением дамы бальзаковского возраста слева, отшествием от меня незнакомки. Возвращением на грешную землю. Навоображав, я успел увлечься романтическим существом. Не выдержав, я оглянулся, уж лучше бы я оставался в неведение. То, что создавалось в фантазиях, оказалось старухой неопределенного возраста, оно смотрело на меня глазами скорее смерти, нежели жизни...

Волчий вой

“Что за странный звук слышится в офисе?”, — спросила меня, изнывающего в печали, одна из наших работниц, скоро зацокала каблуками по плитке, удалилась в сторону нашей евростоловой. Весьма занятый, измученный преодолением материи времени, реальности, я кивнул головой в знак согласия, звеня страхами, погребенными в подсознании, цепко ухватил вопрос и тут же присыпал ее хламом бытовой информации.

“Что за шум, Толя?”, откуда он, — через минуту ко мне обратился коммерческий директор.

Медитативное пространство потеряло очертания, зыбкие границы промоленной духовной атмосферы спутались. Движимый любопытством, тревогой, я двигался методично и последовательно. Прослушал комнаты арендаторов, заглянул к вечно занятому шефу, ворвался в непроветриваемый кабинет коммерческого директора, ни звука.

Ноющий, режущий, пронизывающий, похожий на утробный рык, не имеющий названия, взахлеб перекатывался то ли под искусственными сводами потолков, то ли как гудящий сквозняк низовый.

Финансовый директор как всегда пригвоздила земным: “Толя, в офисе пахнет чем-то неприятным...” Я возвратился на землю, выпал из ангельства, заспешил в комнатку финансового директора, мысленно отмахнулся от невидимых темных образов. Хлопнул ладонью по воющему радио, заглянул в тумбочку, по-собачьи схватил курагу, мгновенно глотнул, отметил мед и кофе. Перешел-потоптался в шумной экспедиции, не прислушиваясь к профессиональным разговорам, обратил внимания на сильный ветер за окном.

Конечно же, ветер, а что еще, дует, издает мелодию, всех переполошив. Ан-нет, показалось. Я перебрался к холодильнику, хлопнул дверью, как собака, потянулся за бутербродами, оставшимися со дня рождения, один за другим несколько штук проглотил, не прожевав. Побоялся, кто-нибудь зайдет, увидит, уличит, что-то подумает. Осенило! Вентиляция, как же я сразу не догадался! Буквально побежал в дальний предбанник, прихватив еще один бутерброд, сунув его в карман дорожного, подаренного шефом пиджака. Нет же, здесь дуло-продувало ровно и монотонно, ну и слава Богу...

В бухгалтерии, я испытал чувство страха перед бухгалтерскими зубрами, услышал тот же вопрос от нервного главбуха. “Ну что там у вас рычит?”, — сказала таким тоном, испугала, испортила настроение, возмутила мстительность и зависть. Уж очень я не люблю тех, кто больше меня получает, уж так ненавижу их, что просто спасу нет.

Так бродил я, вертя головой вниз-вверх, так вчувствовался внутрь, мучаясь непонятными ощущениями, пока, наконец, не осенило. Ну, конечно же, это моя душа воет по-волчьи против ветра, стонет от боли, страдания и несправедливости. Так и доложил, ничего обнаружить не удалось, посторонних волков в офисе нет, а кричит, конечно, моя душа.

И успокоился, и развеселился, и развалился на стуле, независимо, аки волк, агрессивно...

Встреча с одноклассниками

“Папа, тебя к телефону”, — позвала меня к аппарату дочь Светлана, и я услышал незнакомый мужской голос. “Не узнаешь, — проговорил

он раздраженным тоном, — Науменко! — Голос принимал все более обидчивые тона, — друг называется, всех нашел, кроме меня...”

В недавнем отпуске, томимый печальными чувствами воспоминаний, я переходил мост, ведущий на станцию Рутченково. Лицом к лицу я столкнулся с одноклассником Витькой Хоменко. Тот возвращался с работы с приятелем, как выяснилось потом, с Сашкой Засидкевичем, с которым мы не виделись около сорока лет. Зася отсидел определенный срок уже в почтенном возрасте. Я хотел с ним увидеться и вот — Сашка, эмоциональный, инфантильный, не ведающий, кто я. Хом не долго маялся, не выдержал, пробубнил: “Зася, ты знаешь, кто это перед тобой? — Не ожидая ответа, сдал меня, — Толян Сендер!” “Е-К-Л-М-Н”, — выдал из себя Засидкевич. Мы обнялись, и понеслись воспоминания.

Узнав, что я не прикасаюсь к спиртному вообще, Зася твердо произнес. “Я тоже пить не буду...” На что мудрый, спокойный и самодостаточный Витька мгновенно среагировал: “А я не откажусь, Зася, иди, купи мне “маленькую”.

Мы врезались в узкий проулок частного сектора, выходя к воротам, едва скрывающим Вальку Додину. Издалека Витька (он вполне мог на ней жениться) закричал: “Валька, ты. Толика Сендера помнишь?” Что тут началось! Мы не встречались с Додиной столько же, сколько и с Заськой. Я предложил назавтра собраться у нее без спиртного. И с нетрезвыми мужиками потащился дальше. Заська юркнул домой. Витька балагурил, размягченный водкой. У любимой школы Витька Сычев (из нашего класса) хлестал самогонку с дружками. Увидев меня, он пытался общаться, но лишь утомил нас. Дальше мы постояли с Мальгой (она осталась на второй год еще до моего прихода в 79 школу), забрели к Витьке. Я, будучи трезвым, немного пообщался со школьным товарищем и был таков.

Утром я отбежал дежурный воскресный футбол (температура воздуха — кошмар — 37 в тени, мы вновь обыграли молодых, и они, а не мы, “старики”, попросили закончить игру). Притянулся к маме, принял душ, отдохнул и, набрав в огороде груш (чтоб не покупать гостинец), двинулся на встречу.

Явились-то всего три женщины. Люба Паленкова (совсем не изменилась) говорила больше других. Лена Богдан вспоминала, как я за ней ходил, ухаживал, следил, с кем она гуляет (при всем при том добавляла трогательные подробности, неведомые мне самому). Наверное, так виделось мое поведение со стороны. Валя Додина замуж не вышла, она замечательный человек и хороший товарищ. Ей бы такого мужа, как я. Но не могу же я жениться на всех одновременно.

Я пил кофе, с чувством вины ел конфеты, жевал печенье, принял решение в следующий раз непременно прикупить что-то значительное и реабилитироваться щедрым гостевым подарком. Потом, когда Ленка

и Любка откланялись, Валя сетовала: “Зря Паленкова несколько раз напомнила о своем высоком сыне, у Лены-то мальчик маленький...” И мы вместе попереживали за Богдан, сочувствуя ей по-человечьи.

Я не мог объяснить Толе Науменко по телефону, что мне с ним общаться будет не просто, потому что он захочет выпить сто граммов, а трезвый пьющему не свинья, гласит малоизвестная пословица. Он кричал в трубку, “И Додину нашел, и Паленкову выудил, и Богдан встретил! Вот бери билет и приезжай обратно, совести у тебя нет..”. Я так же не мог просветить Анатолия о сути трезвости, о новой духовной жизни. И о том, как я в течение часа увиделся практически со всеми одноклассниками. Как хорошо, что на встречу не явились те, кто не может жить без веществ, изменяющих сознание. Много лет назад без водки не мог существовать я. Я оправдывался перед Науменко (Толя сильнее меня в психологическом плане) и чувствовал себя при этом очень и очень глупо...

Александра Александровна

Я звоню по телефону в отчий дом, младшая сестра, как всегда эмоционально и радостно приветствует мои дальнейшие планы, звонко и пронзительно шутит. Она приглашает рядом стоящую мать, я слышу, как она подталкивает к креслу восьмидесятичетырехлетней мою единственную и любимую маму Веру Никитичну Сендер, в девичестве Новикову.

“Здравствуй, сынок, — вкрадчиво и любяще звучит ее неизменно молодой голос, — поздравляю тебя с внуком...” Она желает моему внучку Богданчику всего самого доброго, самого лучшего и нежного. Мама произносит теплые слова, льющиеся от сердца, от души и только в неровном дыхании, в чеканности каждой фразы, в безошибочности точной мысли ощущается мудрость, честность и чистота. И вековая усталость.

Но о каком возрасте идет речь? Все в мире относительно. И вообще-то у меня две мамы. Хотите верьте, хотите нет. Если есть желание, читайте о моей сирой и убогой жизни. Часть ее прошла на витебщине, в маленьком провинциальном городке под названием Орша. Временами я наезжаю в уютное местечко увидеться с друзьями моей уже далекой молодости. Я останавливаюсь у моей второй мамы Тети Шуры (Александры Александровны Долгой), мамы моего друга и соратника по футбольной команде Витуна. “Так, твоя мать еще молодая”, — рассуждает тетя Шура, узнав о возрасте донецкой мамки. Она произносит космические цифры прожитых лет, в каких и потеря мужа, и блокада, пережитая в осажденном Ленинграде, и смерть всех родственников, и служба в действующей армии. Верно, в очень поздних житейских годах,

равно как и в ранней молодости, разница в несколько лет имеет существенное значение. Так же, как счастье и горе.

Так же гостеприимно, словно и не было промелькнувших тридцати пяти лет, меня встретили в доме Долгих в день приезда, меня, совершенно незнакомого, впервые вошедшего в их дом совсем еще молодого человека. Мы ели ароматный борщ, примостившись на крохотной кухне “хрущевской” планировки. Мне нравилось первое блюдо, меня смешили малоросские остроты Ивана Лукьяновича, хозяина, отставного капитана, ронявшего в мир перлы великого украинского юмора, произнося нам, отправляющимся на танцы “Уже пишлы, тильки дитэй робыть...”

Точно так мы встречаемся сегодня, храня длящуюся во времени цепь дружеских отношений. Точно воспроизводим сокровенно пропущенное через себя футбольное время. Я воздвигаюсь на пороге их дома — всегда желанный гость, спустившийся из столицы в утлую лодчонку, в коей можно еще спасти душу. Я чувствую точно и определенно, звоня в заветную дверь, обнимая медленно двигающуюся Александру Александровну, подшагивая навстречу Витуну, грузно поднимающемуся с дивана. Мне уютно, как в отчем доме. Мне хорошо и спокойно. Тетя Шура, как и свойственно уроженцам Ленинграда, высоко культурно, вполне поэтически излагает любую мысль, что, вероятно, передалось Витуну и его старшему брату Коле. Слушать их не менее интересно, чем Ираклия Андронникова, а воспринимать их повествование одно удовольствие.

Об этом и прочем рассуждаем за столом, костим косноязычие некоторых товарищей (наших общих знакомых), вдыхаем дым невозможно много курящего Витуна, переходя на околوفутбольные, любимые нами темы, утомляя мою вторую маму длиннотами, специальными подробностями и приключенческими разнообразиями.

Назавтра я исчезаю так же быстро, как и возникаю. Людям в очень почтенном возрасте не нужна лишняя суета. В этом и состоит гостевая наука или гостевая мудрость — “не докучать, соблюсти меру пребывания”. В этом и состоит жизнь во всей ее противоречивой полноте, ежемгновенной печальной учености, которую никак не удастся поставить позади смирения. Но я радуюсь тому, что уезжаю вовремя, сохранив добрые чувства, не наскучив второй маме...

Кошелек

Жизнь, в которой преобладает один из смертных грехов, когда хочется больше, чем полагается, полна горестей необъяснимых. Спасение от них — молитва, прощение, слезы, подвижничество, служение идее. Но прежде тысячедневная подробная исповедь не в общем смысле, как практикует церковь, а покаяние каждого отдельного фрагмента. Т.е. вторичное проживание судьбы. Т.е. проделывание того, что уже

известно, пройдено, прочувствовано, но как бы в ускоренном темпе. Иными словами, просто освещение прошлого ярким светом, просто перечисление той правды, которую очень хотелось бы похоронить, чтобы ни одна душа не проведала о твоих проделках. Что-то вроде лечения исповедями. Но для всего исповедального процесса нужен некто, гуру, учитель, наставник, предуведомитель, дающий определенный уровень, являющийся ретранслятором, голосом небесной канцелярии для выполнения равноапостольской миссии. Ибо человек, умеющий привести к Богу несогласного и противного, равен первосвященнику и может быть сам собою рукоположен. Ибо значительно тяжелее вести к вере и смирению одного крайне несмирненного, чем руководить многими миллионами верноподданных религии.

Перед вами наиболее короткое объяснение того, чем я сегодня занимаюсь, того, чем я сегодня излечиваюсь от наиболее трудного порока человеческого — клептомании, воровства, может быть, это как-то связано с алчностью. Рискну сказать, воровство практически не излечимо, так как сей вид порочной человеческой деятельности можно в равной степени назвать и разновидностью искусства, фокусничеством, ловкостью рук, направленными не на созидание, а на разрушение.

Дело еще вот в чем, я нетривиальный вор, может быть, вор классический. Главное мое отличие состоит в моей исключительной образованности, в высокой духовности, позволяющей мне, собственно, за счет исповедей не желать чужого имущества. Как, например, у человека, не испросившего помощи у Бога супротив преобладающего чревоугодья нет шансов подняться из-за стола с чувством голода.

Но ничего не могло удержать мои алчные устремления, помыслы и антимолитвы в поезде. Ничего не мог поделать я, борясь, а затем и сражаясь с диким, первобытным и необузданным желанием “взять что-нибудь из плохо лежащего кошелька”. Что только не вытворял лукавый, зная о моих сомнениях и мучениях. На какие только хитрости не шел он, чтобы заполучить мою чистейшую душу, пораженную неизлечимым смертельным заболеванием. Некий Виктор, попутчик по купе, сразу осажженный веским и убедительным “я не пью”. Добрый и неисповеданный Витек, спортсмен времен социализма, положивший здоровье, как и я, за талоны, за идею, едва ходя на больных ногах.

Витек, как специально, выкладывал мне тайну за тайной, многократно подогреваясь глотком водки. Ты ведь не знал, что я работал с тобой в школе “ангела”, это когда я перевоплощаюсь в собеседника и говорю о том, о чем ему говорить боязно без моего стимулирующего личного монолога. Ты ведь откровенничал на уровне первого класса, но какие глубины ты затронул, часто убегая курить, уже не пряча кричащий кошелек, просящий меня взять его, подержать в руках, заглянуть в него по-дружески.

Венцом твоего творения, уважаемый Виктор, снизошло опьянение, потеря бдительности, кошелек, видный из-под брошенной одежды, надзирающий всю ночь за моими действиями. Кошмарные ночи, как правило, очень длинные. Я отсекал помыслы словами, неуместными в жизни, я гнал размышлениями похотливые мечты. Кошелек был неумолим. Он свисал с края постели, за спиной отвернувшегося и от души храпящего Виктора. Он манил, как безхозное казначейство, до утра издеваясь, щекоча мое зыбкое, беспринципное “хочу”.

Выходя, Виктор, одурманенный водкой, казалось, вообще забыл о бумажнике. Не взглянув на него, он бросил мне “пока” и ушел бы, если бы не божья благодать, спасшая меня, давшая силы крикнуть вслед Виктору и остановить его...

Экономия

Первым просветителем моей дикости и необузданности считается, конечно же, мама.

Я оказался достойным преемником ее традиционно смиренного, острожного, осознавшего и голод, и холод, и лишения мышления. Увещевания и мольбы, обращенные к голосу разума детей, неубедительны, никогда они не имели успеха. Действует разве что сила примера, вовремя вложенная идеология, какой бы нелепой она ни казалась. Много лет спустя я осознал то великое смирение, подаренное мне матерью, ее непрестанными повестями о том, что войны мы не видели, что они в детстве ели одни лепешки из мороженого картофеля, что варили суп из травы. Что у них на десять человек водились три пары валенок. И что сегодня очень трудно жить, уголь дорогой, дрова привезли сырые и крупно поколотые, что печки не вытапливают большой и холодный дом.

Таким образом, среди множества прочих я и выпестовался. Основательно предупрежденный о таинственных ворах, шныряющих по улице Юшкова, о том, что кто-нибудь зайдет и заберет в сумку обувь, не спрятанную в веранду, я вложил в свой череп идею осторожности и неправдоподобия бытия. Я внезапно воскресил в возрастной памяти, помнящей мельчайшие подробности времен далеких, жалкие и ноющие упреждения о неэкономном отношении к продуктам, о том, что суп пропадает. Мама усаживалась за стол, осуждая нашу разборчивость, принималась доедать несимпатичное первое блюдо, ворча и причитая “Войны вы не видели...” Мама не могла взять в толк, почему же мы не хотим поесть такую вкусную пшеничную кашу, вспоминая: “Мать чугунок перловки наварит, так мы аж деремса, пока отец ложкой по лбу не треснет...” Доведа рассказ до логического завершения, вызывая у меня чувство вины, мама вновь совершала разрушительное для моей психики действие, ложку за ложкой,

проглатывая слезавшуюся, поблекшую, неаппетитного вида кашу. Продолжая недовольно причитать и воспитывать нас.

Раздробление мировоззрения на множество не связанных уделов довершали воспоминания о правильной экономии во время практики в Малоритском районе Брестской области. “Я куплю всего понемногу, разложу по пакетикам, отложу деньги на танцы, возраст у меня большой был на те времена — двадцать шесть лет, надо скорей выходить замуж...” В таких внутренних раздорах и смятениях, в страхах и беспокойствах проходила моя юность. В таких лишениях, на самом деле не существующих, формировалась моя тревожная душа. Что же я обрел в действительности, достойный сын благочестивой Веры Никитичны? С малых лет отправленный в странные образцы житейской добродетели и осторожности. С отроческих дней возымевший страх перед банальным течением жизни, неуверенность перед завтрашним днем, растерянность перед тем, что еще не наступило и не придет никогда.

Внутренние раздоры в буквальном смысле губительно действовали на течение, прозябание, иначе и не назовешь то, что происходило со мной в реальности. Я напоминал легендарного скареда, живущего под личиной беспечного мота. Я доедал блюда, пригодные лишь для мусорной ямы. Я воровал на гулянках все, что можно унести в карманах. Я варил борщи и каши на семь дней, хотя дочь протестовала против несвежих блюд. Я с удовольствием ходил в гости на чужое угощение, делая вид, что не голоден, вскоре, однако, уплетал за щеки предложенные деликатесы. Даже то, что мне полагалось съесть за столом, брал воровски в тот момент, когда хозяин или хозяйка отворачивались, непременно сунув в карман две-три конфеты или горсть орехов, чувствуя себя при этом очень скверно от внутреннего бунта и неуверенности в себе, в том, что я делаю.

Я разламываю зубочистку пополам, неиспользованную часть укладываю обратно в коробочку и ощущаю нелепость бессмысленной экономии, кошмарность желаний, добывающих меня окончательно и бесповоротно. Я с изумлением гляжу на себя со стороны. Моя душа ликует хотя бы оттого, что я как-то оторвался от преследующей меня всю жизнь житейской лжефилософии, в какой, право же, есть доля истины...

Какая честь

Отсутствие смирения довольно болезненно отдается в моей жизни, принося невероятные страдания от мании величия, чувства исключительности, своего божественного предназначения и прочей психоэмоциональной дребедени, именуемой психологами шизофренией. Отклонение в душевном здоровье в свою очередь ведет к проблемам физическим, социальным и т.д. Возвращаясь откуда-нибудь, я всегда и очень не-

хорошо думаю о людях, препятствиями возникающими на моем пути. Я ненавижу вот эту женщину, медленно плетущуюся впереди меня с огромной сумкой, тогда как я опаздываю и мир должен это понять. Я бы не прочь управлять миром, людьми и обстоятельствами, черт бы побрал эту толстуху с огромной сумкой, вдруг остановившуюся прямо у меня перед носом на задней площадке троллейбуса. Вот этот дебил мог бы податься вправо, чтобы не мешать мне свободно пройти вперед к милой девушке. А та рыжая старуха, толкнувшая меня рыхлым телом, получила в упор метафорку “старая дура”, прожегнутую с такой ненавистью, но отраженную с легкостью первой ракетки мира “на себя посмотри”. Правда отрезвила, огорчила, возвратила меня в состояние “здесь и сейчас”. Правда заставила меня пристальней взглянуться в старуху, вдруг показавшуюся мне ровесницей.

Чаще всего оказывается, что я не нахожусь в истинном измерении. Оттого жизнь моя тяжела и неопишима, словно подвиги затворников, оттого благодетельное направление жизни не желает принимать мою душу. Меня, как не желающего смириться, тут же подхватывают вездесущие силы тьмы и с огромной “любовью” ведут подальше от Господа.

Примерно так, однако, происходили события со мной в данный момент. Убогонький полупьяный старикашка, заорал на меня, убого сидящего: “Уступи место женщине...”

Я поднял голову. Я, мужчина почтенного возраста, с огромным желанием засадил бы ему между глаз, но опешил, узрев довольно спортивного деда лет на двадцать старше меня.

Слава Создателю, пролетал момент истины, я сделал жест для меня не характерный, я поднялся быстрее, нежели пассажиры смогли что-то понять. Но как хотелось съездить ему по роже.

Точно так же я почувствовал себя — бесприютно, когда в общественный транспорт ввалился полупьяный агрессор и начал ругать последовательно экономику, политику, социум, употребляя непечатные и более суровые для произношения слова. У меня не хватало мужества сказать ему правду в глаза, потому что только правду признает и правды боится зависимый человек, потому что пьет от страха. Как блестяще сказал мастер трезвости одного дня: “Пьет, значит очень боится...”

И вообще после того, как мои пьяные чувства сменились болью трезвого осознания, я ничего не испытываю, кроме агрессии, злости, страха и чувства вины, кроме алчности и злобы. Недаром народная молва утверждает: “Избегай людей агрессивных и злых”. Стало быть, избегайте меня. Это я только с виду добр и беспечен, весел и бесхитроsten. Ничего подобного, мне ничуть не присущи перечисленные добродетели, мне чуждо чувство благодарности, мне кажется, и это правда, я оказываю великую честь миру тем, что благополучно в нем пребываю. Мой шеф считает, что мне повезло с работой и с ним, и с тем отношением,

какое я здесь получаю. Втайне я считаю, что я поднял фирму на мировую высоту только своим явлением, только тем, что оказываю великую честь всем и каждому, общаясь с ними запросто.

Опамятовался я в один миг, повинился перед Богом, выходя из троллейбуса, напоследок саданул якобы случайно толстуху и пьяного, и деда, продрался напролом, поиграл в воображении роль Бога, вышел в пугающую реальность и очень быстрым шагом заспешил по обочине. Потому что так мне кажется безопасней и спокойней...

Стеснение

В числе многих внутренних эмоциональных конфликтов, постепенно забытых, упрятанных в подсознание и ставших причиной необъяснимого внутреннего беспокойства, я бы назвал странное стеснение своей неадекватной фамилии. В тот день, как и обычно, мы без вдохновения томились на уроке глупой и ненужной нам математики. Я вслушивался в юмористический стиль Валентины Михайловны, тщетно пытающейся хоть как-то оживить скуку утомительных цифр, звучащий примерно так: “Здесь мармелады не налеплены, шоколады не красуются, зефиринок не выдать...” Уставшие одноклассники просто слушали, я же, боясь училки и желая ей угодить, всхлхывал через силу, чувствуя себя при этом более чем скверно. Пожилая преподавательница, сделав паузу, начинала рассказывать об отличниках параллельного курса, приводя в пример Ленку Жаткину, вызвав у меня глупый истерический и весьма неуместный смех. Принимая мою реакцию на счет неблагозвучности фамилии, математичка жестоко осадил меня. Глядя мне в глаза, зная, что я ее боюсь, рявкнула: “Ты думаешь — Сендер — красиво звучит?”, — напялив на мою неуверенность еще один комплекс. Тогда я не думал, насколько все это серьезно для будущего развития личности. В тот момент непедagogический жест учительницы совершил свое маленькое преступление. Только сегодня, исповедываясь в прозе, помогающей мне отдохнуть от нашествия стихов и засилья Музы, спасая себя для будущей Нобелевской премии (тот, кого выдвигает уважаемая конфессия, еще услышит мое слово), я получаю спасительную благодать, чувствую настоящее душевное облегчение.

Как известно, тот, кто единожды ощутил милость небес, будет пытаться искать ее всю жизнь осознанно или по наитию. Чувствуя приближение земного предела своей жизни, во всей силе мужества я обращался к исповедальности, зная о ее целебной силе, исцеляющей от любых недугов. Я все время ощущал некую неловкость, внутреннюю ущербность, душевный гнет, когда люди произносили мою фамилию вслух. Я не принимал образ и во времена футбольные — тогда дикторы объявляли состав команды по микрофону, усиливая звук на все континенты. Что-

то глупо шевелилось у меня внутри при обращении ко мне по фамилии, при озвучивании состава команды в раздевалке. А ласковые, доброжелательные, рассудительные начальники отделов кадров, паспортных столов, ЖЭСов, невнимательные кассирши, глуховатые сотрудники отделений связи, друзья приятели, величавшие меня не по имени, гундосые соседи, говорившие про наш род непоэтично “Сэндэры...”

Постепенно сформировалось правильное отношение к неправде, смирение перед старшими, ласковость и приветливость ко всем, означилось в душе милосердие. Последовательно младенческое добродушие соединилось с пылкостью сердца, но неприятие своей фамилии по-прежнему донимало меня. Некто маленький, востроносенький испуганно вздрагивал, отзываясь на неизменный вопрос: “Повторите еще раз, после “с” “е” или “э”?” Или “У вас какая-то необычная фамилия...” После чего я спешно оправдывался, объясняя корни происхождения надуманными образами, боясь еврейского оттенка.

И наконец, мое внутреннее негодование прорвалось. Я завел неприятный разговор со своей старшей, а потом и младшей сестрой. Мы пришли к выводу: у нас потрясающе поэтическая фамилия. Мы с гордостью озвучили то, что все мы с долей стыда носили в сердце. Как выяснилось, все мы испытывали одинаковые чувства, в известной степени смущаясь чудесной, одной из самых благозвучных в СНГ фамилий: “Сендер...”

Теперь я, то рассеянный, то пылкий, то негодующий, то искренний по тому или иному поводу комплексующий, с гордостью уверяю, я не сделаю того, что много лет мне хотелось втайне исполнить, я не поменяю свою фамилию на очень красивую мамину — “Новиков”. Хотя такой вариант едва не исполнился...

Великое заблуждение

Пройдут десятилетия, пролетят века, промчатся тысячелетия, но, вероятно, еще многие смертные попытаются сделать то, что сейчас вытворяет наш заместитель генерального директора по строительству. В самом деле, не творит, “вытворяет”. А что бы вы сказали о человеке, в зрелом и почтенном возрасте ищущем доказательства отсутствия Бога? Думаю, ровным счетом ничего. Пусть себе раскапывает и доказывает недоказуемое. Пусть себе тешится на старости лет удовлетворением атеистических амбиций. Пускай безупречные учителя святой бедности и нищенской святости, помещенные великим Данте в рай, будут ему единственными судьями и беспристрастными оценщиками. Пусто было бы на земле без атеистической логичности, без их тошнотворной аргументации.

Наш строитель вызвался помочь дочери с одной статьей атеистического толка. Истоиво и самозабвенно просматривал он разные источники,

надеясь найти что-нибудь основополагающее. Предполагая остановиться на “Мифах народов мира”, он обратился ко мне как к книголюбу. Я любезно предоставил в его распоряжение издание “Религии мира”, где он завяз окончательно и надолго. Блуждая в числе иных замечательностей, в мертвоватых уплощенных копиях, снятых исследователями с туманных мифических героев прошлого, наш друг окончательно обосновался в изобилии легендарных течений, в хаосе примитивных верований, в монолите восточных и основных религий.

“Я почти доказал отсутствие Бога...” — восторженно восклицал строитель, будучи воплощением социальных добродетелей, оставаясь народолюбом и демократом, но не правовестником коммунистических начал, а просто хорошим нормальным мужиком и своим парнем при любых обстоятельствах. Он же герой, противоположный религиозным фанатикам. Я отворяю дверь комнаты переговоров: “Ну что, Валерий Константинович, нашли доказательства отсутствия Бога?” Он оживает, но, не испытывая любви к Богу, вспыхивает в мертвом атеизме логики, инстинктов. “Да, конечно, есть много интересного”, — он тут же пламенеет, загорается и польхает эксцентричной идеей, такой атеистической праведник, чуждый мистически символического ощущения бытия.

Я хорошо знаю тревожность, опасность подобных игр с небесной канцелярией. Естественно, я отмалчиваюсь, не высказывая никакого мнения, вернее, не имея никакого мнения по данному поводу. Я рассеянно внемлю, не слыша народного праведника, как отметили бы историки, ведущего родословную отнюдь не от богословов. Дело в том, что я не представляю, как следует отвечать на подобные выпады сил реакции — жонглера божьего.

Я, препоясанный простым вервием, я жених госпожи Бедности, друг божьего прощения.

Мне нет никакого дела до реформаторов-санитаров, пытающихся произвести всеобщую санацию божественности. Да мало ли что еще...

Через свой созерцательный и чувственный опыт я обращаюсь к самому проверенному методу спасения собственной души от скверны. Улетаю в медитационное состояние к воображаемой цели и обращаюсь к свету. Вспоминаю, как Раймонд Луллий дерзко ответил “Бог не часть, а Все...” Наблюдаю, как отяжеленный грубой реальностью, наш друг ступил на опасную тропу. К тому же он предствлял определенную опасность для меня, находящегося в процессе формирования запоздалой или поздней духовности.

Я держу ухо востро. Я никому не позволяю трогать дорогое и близкое для меня чувство чуда и удивления, чувство счастья и цели, чувство смысла и восхищения. Как говорится, рефлексия разрушает мистическое состояние. Поиски Бога ведут к безверию, если эти изыскания проводятся путем поштучного прощупывания. Бог — это комфорт души, ее

потреба и боль. Бог не требует внешнего закрепления — в догмате или же в символе.

Только ничего не ответил я строителю, только помолился и смиренно промолчал...

Письмо к известному поэту РБ

Итак, вы оказались в избранной толпе, вы закружились в вихре перестройки, вы одурели в своей “всепитейной” исповеди. Вы совершили подвиг, превратившись в бродячего монаха, отринув хмельные страсти отныне и присно. Угодив в замечательные своей новизной, трезвые правила грамматики, какие вы ощущаете времена? Какие тиски трезвого склонения способны выдержать Вы, заключив веселье, плач и песню в новую, непонятную Вам жизнь? Да, теперь вы распеваете, поскольку “распевать” не приходится. Да, забыл представиться, специалист по трезвому мышлению и поведению, мастер по изменению трезвой личности, дабы тот, кто оставил вещества, изменяющие сознание, не чувствовал себя трезвым дураком.

Да, я не оговорился, именно, чтобы он не ходил трезвый, как дурак. Это довольно точное определение того состояния, из которого трудно вырваться на новое качественно мышление. Это могила для — просто трезвых — не прошедших болезненные личностные изменения. И как вы себя чувствуете в этой братской могиле, живя одиноко и желчно, любя раздраженно и неумело. Как вы заставляете искомый смысл, который дан вам изначально, сноровистым образом присутствовать в способе — приеме, сработанном из слов?

Каково же вашей душе присутствовать в этом приеме, сращенном с прошлой жизнью узами брака.

То, что вы смогли стать на новый путь развития, говорит о вашей внутренней силе. То, что вы продолжаете творить в новом качественном состоянии, говорит о недюжинных способностях. Но как же вы можете жить, оставаясь на неизменном поэтическом уровне так много лет? Я говорю вам вещи чрезвычайной важности! Помните, Марина Ивановна

Цветаева пропела “Сказать вещь”. Вероятно, вещь как смысл. Впрочем, вы не поклонник русской поэзии. Вы ярый поборник и защитник белорусской культуры. Прошу вас, умерьте свой пыл, успокойтесь, на великую национальную культуру Беларуси никто не нападает. Скажу больше, никто не собирается растлять ее в дальнейшем. Добавлю, и врагов у нее нет. Так что успокойтесь, говорю вам еще раз.

Коль уж речь зашла о вашем волнении, то скажите правду самому себе (не так давно я читал ваши стихи в “Гомоне”), признайтесь самому себе, найдите в себе мужество. Вы же смогли отказаться от спиртного? Так сумеете оценить себя по достоинству, пребывая на одном уровне вот

уже много тысяч лет. И вы ни за что не сможете прибавить, не изменяя себя. Таковы законы развития трезвой личности. И творческой личности тоже. Вы не сможете прибавить в мастерстве, не проведя болезненных личностных подвигов. Вы находитесь в состоянии поэта, взявшего в руки перо. Представляете, какой путь ему предстоит пройти, прежде чем он поднимется к той черте, выше которой начинается настоящая поэзия. Так вот к чему я клоню. У вас, возможно, еще есть шанс видеть редкое зрелище, присутствовать при встрече с настоящей Музой. Она ждет вас в толпе и многолюдстве, она всегда рядом, но не с вами, я читал ваши сочинения о “мове”. Дело, конечно богоугодное, но типичное для поэтической глухонемой. Сделайте усилие, будьте скромнее, не выпячивайтесь на всякие там премии, включая Нобелевскую. Есть люди более талантливые, чем вы. Есть поэты, прошедшие настоящее страдание как таковое, понимающие суть любви и справедливости раньше красоты окружающего мира. Но они скромны и сдержанны, у них нет парадно выстроенных стихосложений, величавого и жуткого чувства избранности. Отмечу также ваше оцепенение и духовное напряжение, которым вы заражены, если так можно выразиться.

Постояв несколько минут у ваших творений, я скажу, они великолепно догматичны.

Именно догматизмом поэтическим. К сожалению, он трудно преодолим. Посему примите мое сочувствие: поэт-символист, король рифмы и техники стиха, Анатолий...

Концертные пьесы

Как забыть ночные бдения с шестиструнной гитарой? Как не вспомнить спасительные занятия по Агафошину или по Ларичеву. Как же не сказать ни слова о Карулли, гитаристе-виртуозе, оставившему благодарному человечеству блестящие пьесы, школу игры на шестиструнке. Дивные и чудные мастера, что делал бы я без ваших блистательных этюдов, открывших мне возможности гитарной техники. Как почувствовал бы я легкость в пальцах без взыскательных упражнений для техники правой руки. Нет, я не выжил бы в нескончаемые ночи с любимой женой, не будь ваших изящных произведений. Не от них ли чудятся мне поныне ночные сонные голоса, неведомые, неземные аккорды.

В армии меня научили исполнять диковинную цыганочку. Каждый гитарист, встреченный мной на жизненном пути, оставлял мне несколько вроде незначительных штрихов, музыкальных хитростей, новых возможностей гармонии. Но чего-то не доставало. Чего то не хватало для полного гитарного счастья. Душа требовала чего-то принципиально нового, отличного от предыдущего опыта. Я находился в роли личности, попавшей в тупик, безыдейность, недоумение. Даже ночью я спал

скорбно, как человек, лишенный пути. В той гитарной жизни я достиг цели. Мои беспорядочные видения, противоестественные реакции в реальности подтверждали тревожные догадки. Я взялся за ноты.

Таинственные знаки занялись моим молчаливым руководством. Жуткая поспешность, какая случалась со мной на всякой новой жизненной стезе, вновь овладела мной. Я пробежался по нотной грамоте, будто по бульвару, приноровившись упрощать сложные моменты. Спешка с работоспособностью творили двойное действо. Я быстро рос в мастерстве, но оставался не изощренным в нотной грамоте, укоровив не хорошую привычку.

Я располагался на нашей неопрятной кухне, “жрал” кофе литрами и до первых петухов повторял и повторял концертные пьесы Джулиани. Спешка и страх, которые можно объяснить лишь с точки зрения психологии, довершали свое дело. Семь-восемь часов упорных тренировок, повторов, гамм, быстро давали о себе знать. Пальцы довольно скоро начали летать по грифу. Квартира наполнилась гитарной классикой. Любимая дочь слушала сказочные истории о королеве и молодом принце, танцующими на балу, и вслед звучал трогательный менуэт. И следом моя сентиметальная дочь, помечтав, крепко засыпала. А немилая супруга часто заглядывала на кухню, перебивая музицирование одними и теми же вопросами: “Сендер, иди спать...” Она называла меня по фамилии. То ли боялась, то ли не верила, что такой красавец — ее муж.

Я не чувствовал запаха молодой весенней травы, доносившегося в открытую форточку.

Я не видел нежно-зеленого склона, расположенного напротив окна. Я не замечал осветляющих склон первых солнечных лучей. Я тихо отдыхал от сонаты Ре-мажор того же Джулиани, повторяя ее несчетное количество раз, почти запомнив, как хорошо выученную сонату того же автора До-мажор. Я не мог легко сыграть простенькую мелодию, но заучил концертные вещи, длинные, грандиозные. Тогда я по-настоящему ощутил неограниченные возможности старинного инструмента с шестью струнами. Тихое утро ничем не омрачалось. Не растраченное душевное тепло и любовь отправились по иной дороге, воплощаясь в небрежное исполнительское мастерство, в возможность произвести впечатление. Хотя бы на себя. Я думаю, у меня это получилось.

Супруга вновь появлялась на кухне в прозрачной ночной рубашке и напоминала скорее привидение, чем женщину. Запах сотен сигарет исходил от штор, потолка и обоев. Меня не умиляли женщины с сигаретами, такие, как моя жена. Она сделала себе ранний кофе, по-сиротски присела на краешек углового дивана. Я сжалился над ней, гоня глубинные мысли о бессмысленности жизни с этой женщиной, легко и душевно заиграл отрывок из Джулиани...

Иди к черту, Чертков!

Когда же дело доходит до позитивного мышления, случается вот что. Я начинаю проводить моральную оценку чужой позиции, вместо того, чтобы сосредоточиться на своей.

Ревностный богослов (он пытался изменить меня) советовал так не думать, простить брата заблудшего. Но до всего этого мне пришлось очень долго готовить себя к освоению духовной учености, очисти себя — мстительного и обидчивого — к встрече с вещами значительно более тонкими, нежели поэзия или музыка.

Как видим, мое время напрасно потрачено на вынашивание, на вскармливание греха. Градация ответственности перед самим собой, меры вины, степень наказания. Чем не муки адовы? Правда, я выискивал обходные пути, минуя рвы и ямы. Правда — наука эта еще горше, чем кажется. Много лет ненавидеть и не иметь представления о прощении. Смешно только со стороны. Я прохожу мимо дома Чертковых и плюю в их сторону. Можно подумать, это и есть подлинная жизнь. Разумеется, нет! Совершенное безумие злиться на крепенького старика, цепко схватившего тебя взглядом. Он-то здесь причем? Он паркует машину, оценивает тебя с ног до головы, естественно, не узнает.

Он находился рядом и неотлучно с сыном. Он сопровождал чертенка на тренировки.

Иногда мы ехали на занятия в ДСШ вместе, вроде бы сдружились, так же сообща возвращались, ругались, мирились. Проходили месяцы и годы учебной футбольной бытности.

Я занесся и считал себя пристойной Сорбонной, чертенка же — базарной бурсой. Я высказал ему правду в глаза, а правда, как известно, глаза колет и не только их, но и создает угрозу действию инстинктов. А это самое страшное и всегда опасное мероприятие, имеющее обычно неинтеллигентные последствия. Я ни с того, ни с сего сделался попроще да погрубей с “чертом” (его тамошнее прозвище). Ему, крайне самолюбивому, проще было бы выполоскать рот мочой, съесть несколько пилюль из дерьма. Рога у него пошатнулись и только, а следовало бы сбить полностью. Возможность имелась. С позиции футбольного значения чертик числился на побегушках даже не шестеркой, прислуживал за столом, чистил одежды, ваксил обувь. Словом, унижительные контрасты, едва ли не богохульные, низвергающие чертика с вершин воображаемого величия.

Он набросился на меня, когда мы двигались в пустынном месте к стадиону “Шахтер”.

Он заговорил, расслабил, “открыл” меня, кроткого и немощного. Он ударил меня, отведя прямую правую руку далеко в сторону. Внутренняя часть довольно крепкого кулака угодила точно между носом и верхней

губой. Вполне содержательный урок. За излишнюю болтливость. И поделом мне. Голова бросилась назад, едва не оторвавшись, кровь, слава Богу, не брызгнула, ногдауна не случилось. Я мгновенно сгруппировался, бросил тело на обидчика, коварного, как татарин. Но черт оказался не менее ловок, чем я. Да и люди появились там и тут.

Каждый год, как и сейчас, я так или иначе оказываюсь рядом с домом ненавистного мне черта. Какие сцены мстительности я только не строил в воображении! Каких друзей не привлекал на свою сторону в своей беспокойной умозрительности, ничего не делая в реальности. Чем не безумие, чем не шизофрения. Мышление весьма далекое от реальности. Единственное, чего я достиг, в любой момент спора с самим собой, прервать его, заключив хотя бы и временный союз со смирением.

Я наблюдаю за смотрящим в меня старшим Чертковым и чувствую, время прощения еще не наступило. Я даже не готов поговорить с отцом, боясь сорваться и наговорить дерзостей и впасть в грех осуждения. Стало быть, час прощения действительно не пробил. Должно быть я в действительности и в реальности не располагаю достаточным смирением, чтобы сделать один-единственный шагочек. Прежде чем совершить первый шаг к примирению. А не петушиться, не обнажать ежесекундно шпагу спора, клинок словесно аргументированного человеческого характера. Но скоро я останавлюсь и скажу: “Разрешите вас на пару слов...” И мы проговорим с его отцом до позднего вечера, и я успокоюсь...

Сестра моя любимая

Так что же, звучит крепкое и прочное слово чувства, творческое и образцовое? Неужели такое возможно в нашей семье, в наших братских отношениях? Позже историки нашей фамилии найдут где-нибудь на обломках цивилизации мои чувственные, несгораемые, неистребимые воспоминания. Они отличаются от умных рукописей тем, что еще и не исчезают. Как божии свитки, как чудотворные иконы и мощи. В них и прочтут “Я, мастер слова, пишущий о чувствах, впервые произнес слова любви маме, сестре...”

Это равносильно тому, что мусульманин забыл мусульманство, буддист отвернулся от Будды, христианин осквернил имя божье. Это я предал ложь и возвратился к честности.

После пятилетнего отсутствия, все еще боясь водочных изделий, еще не веря в то, что произошло, я наконец засветился на пороге сестры Валентины. Мы долго не виделись, давно не общались по родственному в новой жизни, свободные от предрассудков, страха и алкоголизма. Я испытывал жуткое чувство вины, стараясь не утомить своим мельтешением. Я завтракал, смущаясь ее щедрых блюд, полных любви и солнца.

Я плохо себя чувствовал во время вручения мне денежной купюры на дорогу. Я приходил попозже, чтобы не надоесть. Осмелюсь неловко заметить, мне уже пятьдесят лет, я сам в состоянии о себе позаботиться. Но втайне я ощущал, приятно иметь в кармане дополнительную банкноту. Порой казалось, Валя делает то, что не довершили в воспитании родители. Они относились к подобным ситуациям достаточно безответственно или просто невнимательно по занятости своей.

Я делал жесткий массаж спины Валентине, болтал без умолку о жизни, вспоминая те или иные эпизоды нашего далекого детства. Удивительно, но старшая сестра помнила совершенно другое. Она видела все в ином, непонятном для меня свете, под непонятным мне углом. У меня сердце падало вниз от сострадания, когда я узнал, в какой обуви она ходила в техникум. Мне стало стыдно и досадно за такие промашки родителей.

Иногда в квартиру влетал сын Вали Леша. Молодой, сильный, несобранный, он всегда хотел кушать, всегда рассказывал какие-то несусветные истории. Сестра обязательно совала Леше деньги, настаивая, поучая с любовью. “Лешке я не уделила достаточно внимания...” — сетовала Никифоровна, вероятно, испытывая крайнее чувство вины.

После смерти нашего общего любимца Саши, старшего сына Валентины и моего первого и самого дорогого племянника (вечная ему память), сестра только сейчас пришла в себя. Она крайне удивилась, отметив: “Вспоминаю Сашу и уже нет слез...” Произнесла с горечью, сухой горечью, наполненной тихими слезами безысходности. Саша умер на Крещение в день рождения сестры. “Преподнес мне сынок подарочек...” — отметила и потемнела в лице. У блаженного Саши случилась сердечная недостаточность. Родственники жены и его дочери, настроенные против отца, на похоронах вели себя ужасно.

В день приезда младшая сестра Галя повела меня на рынок, чтобы показать то место, где торгует Валя. Радость встречи омрачилась сестрицыными выяснениями, кто есть кто “Приехал, называется, в гости, — потешалась Валя, — устроили сестрички тебе день знакомства...” Я и в самом деле чувствовал себя не очень комфортно, оглядываясь на людей, не представляя, что делать.

В одну из побывок я понял, Вале нельзя раскрывать свои коммерческие планы. Потому что она обязательно старается оплатить мне покупку. Потому что она окупает мне поездку. Потому что она хороший человек. Поэтому в следующий раз я совершу тайные приобретения. Мне не нужно лишнее чувство вины перед самим собой. Мне не следует обманывать себя. Мне нужно без страха, так же, как и маме, привести сестре поклон из дальней республики и заветные сердечные слова: “Валя, я люблю тебя...”

Дядя Женя и тетя Лариса

Я вторгся в судьбу абрикосового квартального проезда, но не во всю целиком, а в ее временной отрезок. Я не приезжал к дяде Жене и его восхитительной жене тете Ларисе ровно тридцать лет. Мне страшно и весело бежать по утренней улице и по-мальчишески срывать желтые, грязные от пыли жердели. Я испытывал чувство вины за затянувшуюся зарядку, потому что тетя Лариса наверняка уже приготовила завтрак и волнуется обо мне.

Потому что мне немного не по себе, что я, как и много лет назад я ничуть не повзрослел.

Я бежал вдоль оживленной трассы, пролегающей по бывшей тихой улочке, кланяясь каждой абрикосовой веточке. Я буквально проглатывал абрикосы целиком, как будто пытался насытиться на всю оставшуюся жизнь. Исполдволь, как матерый похититель фруктов ценностей, я внимательно наблюдал за окнами хозяев, не желая осрамиться.

Я нагрянул в приморский Таганрог по наитию, по напоминанию свыше. Стыд и срам, столько лет не видеться с дядей, младшим из рода моей мамы. Мне почувствовалось что-то, захотелось увидеть двоюродного брата Володю. В конце концов накопаться в Азовском море, напитаться айвазовщиной для будущих стихов да и вообще, все смертны. Надо радоваться в текущей жизни, поменьше умничать, больше чувствовать там, где прежде приходилось рассуждать. Впрочем, не помешает обрости тиной и лечебной грязью, маллюсками и водорослями ленности и безделья.

Надо отметить особо, младший из Новиковых, брат моей мамы не узнал любимого племянника. “А вы кто?”, — поинтересовался семидесятилетний крепкий пожилой мужчина. После объяснений мы обнялись. Я выложил скромные гостинцы, выставил бутылку водки, медленно осознавая, что этого делать не следовало. У дяди виделась проблема.

Тетя Лариса появилась скоро. Меня встретили тепло и сердечно. У меня даже создалось впечатление, что я племянник жены Евгения Никитовича, а не наоборот. У меня появилось ощущение, будто меня ждали в гостеприимном доме все тридцать лет.

Ежегнновенную печаль чувствовал я, слушая воспоминания бывшего старшины сверхсрочной службы, бывшего шахтера, некогда работника металлургического завода, рано ушедшего на пенсию по горячей сетке. Драматическое напряжение возникало при воспоминании об ушедших братьях и сестрах его, моих родичах. В живых остались старшая сестра, моя мама и самый младший дядя Женя. Я, слава Богу, не стал сочувствовать родственнику и его другу алкоголю. Они явно находились в долгом драматическом томлении друг по другу. Да кто разберет мелкие звенья, сцепленные в длащуюся во времени цепь

судьбы? Кто скажет, что за молитвы привели его к чудо-женщине, каких больше не найти.

Тетя Лариса кормила меня божественным супом, ароматным мясом с вермишелью. А после того, как я насытился, изрекла: “Чай попьешь у Володи...”. Страшное это дело двойкие чувства. Я обрадовался встрече с братом, и одновременно я испугался позднего угощения. Я знал, что кревоугодые властвует надо мной, чуял, что не смогу отказаться от кофе и пирожных. Так оно и получилось. Бисквитные изделия были из лучшего в городе магазина, жена гостеприимна, брат умен и тонок, рассудителен и мудр, дочь — красавица.

Мы очень хорошо пообщались, я объелся, увидел дивные цветы, распускающиеся прямо у нас на глазах. Брат у меня молодчина и мастер на все руки, я на такое не способен.

Я ворочался в душной постели, перегоревший на солнце, напитанный морскими пейзажами и обожравшийся от жадности. Меня донимала изжога. Искреннее раскаянье, посещающее человека во времена настоящей боли, явилось в сознание. Я вновь дал себе слово, не садиться за обеденный стол после восьми часов вечера. Мне снились высокие волны, бесконечное море, отражающее ослепительное солнце и марево жары, очевидно связанное с треклятым перееданием.

Утром я спросил у тети Ларисы: “Может быть, я храплю?” В ответ услышал: “А я ничего не слышу, я крепко сплю...”. В дорогу тетя приготовила мне короб еды. Дядя Женья с трудом завтракал всухомятку. Брат Володя провожал меня на вокзал...

Меж четырех директоров

С точки зрения японского понимания производственной психологии, мне полагается довольно приличная зарплата, более чем солидные премии и продолжительный отпуск. Вредные условия труда обусловлены непосредственной близостью начальства, его постоянным присутствием, свидетельствующим, впрочем, все о той же трудности профессии. Как преподать себя объективно с лучшей стороны, как исхитриться воплотить себя во всеобщий опыт, как представить себя значительной фигурой? Таковы вопросы на службе государевой, таковыми предполагаются и ответы при решении этой, поистине евангельской сверхзадачи. Словом, донести обыденные перипетии моей офисной жизни. Выплакаться в контексте, воспроизвести фрагменты, вызывающие стрессы и несоответствия.

Как, например, в первое время я глубоко страдал от частых замечаний финансовой головы. “Толя, ты долго говоришь по телефону...” Заметила, отметила и была такова. Зацокала каблучками по звонкому полу, заронила мне в душу обиду и мстительность, досаду и горечь.

Как хотелось какую-нибудь правду бросить ей в глаза, что-нибудь обличительное обронить ей на красивые сапожки. А правды и вправду не было, обличать было не в чем, вообще ничего не было, кроме борьбы в воображении, кроме придуманной ирреальности. А какой удар по моей низкой самооценке, страдающей хроническим недомоганием? А каково мне, великовозрастному дитяти, слышать упреки в сторону моей забывчивости. “Он вообще ничего не помнит...” Ну, это я вам никогда не забуду, вспомню в монологе, унижу в строфе, чтоб потомки смеялись.

А слово, как гонец вечности, призывало меня к прощению. Мстить слишком низко, ненавидеть глупо и себе дороже. И я начал бояться шефа. Я вскакивал при его появлении, как будто видел новые улики на следствии. “Толя, кто есть в офисе, — интересовался генеральный, — Маргарита на месте?” Видит Бог, я только что помнил о ней, знает Бог, я уже почти склеротик. И легко воскрешаю в памяти вплоть до подробностей события тридцатилетней давности, но тут же забываю, кто, где, когда. И, представьте, у меня благодушное настроение, как личность я свободен. Но вот открывается дверь, и на пороге возникает шеф. Вроде бы ничего не происходит, а я не в себе, мне беспокойно. Я начинаю неестественно острить, производить впечатление, угождать, произносить то, что и в голову мне не пришло бы в его отсутствие.

Но, как уже сказано, меня окружает много заместителей Сергея Леонидовича. Он мудро, сдержанно защищает меня от нападков главного строителя по одной личной претензии. “Толя всегда внимательно относится к своим обязанностям...” — вежливо отказал шеф строймастеру. Я, разумеется, это запомнил, перестал смотреть в его сторону, затаив склоки и обиды. К тому же, строительный начальник располагается у меня за спиной, ко всему он довольно образован и поэтичен. После недолгих препираний мы, можно сказать, сдружились, положим, скорее, начали приятельствовать.

Отмечу, сполохи его слов мгновенны, сюжеты его остры, а мысли сюжетно заострены.

Именно в данное мгновение впечатаны глубокомысленные реплики коммерческого директора. Наш мыслитель зафлаживает меня слева. Коммерческого я не боюсь. В последнее время я ощущаю свободное мышление в присутствии практически всех директоров. С одним бесеую о смысле жизни, с Маргаритой — о душе, со строителем — о бренности бытия, с шефом — обо всем. Тем не менее, мне хотелось бы убедить их в том, что я говорю чистую правду насчет морального ущерба. Что четырехкратные психологические перегрузки с точки зрения японской производственной этики — физическая реальность нового времени, к сожалению, неоплаченная, но оплакиваемая. А я тоже хочу хлебать щи с мясом, кушать нежную свинину с овощами и быть...

К деду

Пересказав личные поступки, перечислив житейские примеры и, как принято, чудеса, я устал производить впечатление на домочадцев и принял решение поехать в гости к деду. Отец моего отца пустил корни в Кировоградской области, Новомиргородском районе, в селе Мартыноша, взяв в жены женщину-молдаванку. Дед держал пасеку, грамотно следил за своим здоровьем, не перерабатывался при советской власти, во всем соблюдал умеренность и спокойствие. Мой предок, отнесенный Богом в разряд долгожителей, сформировался во времена дореволюционные и, конечно же, большевиков и прочую рвань и дрянь, потопившую Россию в море крови, погубившую великую страну, не жаловал. Дед всю жизнь оставался по сути своей дворянско интеллигентным и образованным штабс-капитаном царской армии. Он гордился своей принадлежностью — белая кость, голубая кровь — к великому дворянству, но не выделялся по одной причине. Дед происходил из немцев, отчего страдал во времена сталинско-репрессивные, во времена, пропитанные подозрительностью. Отчего зазор между именем и тем, кто им наименован, делался вполне ощутимым.

Я претерпел суету отъезда, порадовался удачным попутчикам, толстяку-супругу и его красавице жене. И принялся рассматривать быстро темнеющий небосвод с многоугольниками желтых звезд. Поезд отправлялся очень поздно, пассажиры быстро укладывались спать. Высокое небо, густо усеянное блестками, перестало меня волновать, глаза смежались сами по себе, сознание отключалось под мерный перестук колес и железной дороги.

Я улегся на правый бок и наткнулся на взгляд супруги толстяка. Сон мгновенно улетучился. Женщина смотрела на меня, обжигая маляжками, волнующим полымем. Последнее слово оставалось за мной. Я протянул руку к ее свесившейся ладони и как бы случайно прикоснулся. Наши пальцы сцепились, желая одного и того же. Мне хотелось стать на колени у изголовья этой ветреницы и целовать ей пальчики. Медленно и неловко перевернулся на верхней полке ее муж. Она отпрянула от моей стороны, я быстро убрал десницу под простыню. Убедившись, что муж находится в глубоком сне, моя женщина приняла прежнее положение, перехватив мои персты. Мы ехали и томилась от желания и похоти, мы смотрели в глаза друг другу под вагонным столиком, лежа в полуметре друг от друга, боясь преступить заветную черту из-за чертового мужа.

Она вдруг взяла мою руку и приложила к своей обнаженной груди. Полная луна слишком ярко освещала спящих пассажиров. Петруха храпел на втором ярусе. Я принял решение. Мы соединились под одеялом и замерли, вслушиваясь в ночную тишину. Лишь речитатив барабанищих

колес выводил свою однообразную бесконечную мелодию. Лишь спина и толстый зад мужа опасно свисали с вышины божьего страха.

Я настойчиво просил ее оставить мне свой киевский адрес, обещая приехать при первом случае. Она же советовала забыть случайное приключение, проведя меня взглядом при выходе из поезда рано утром.

Я прыгал на ухабах, летя в обитель дедушки на рейсовом автобусе. Водитель хохотал на весь салон, спрашивая: “Козлы есть...”, имея ввиду остановку под странным названием. Задумавшийся молдованин с большой полной торбой рассеянно вторил “Есть...”. И он сейчас же оправдывался, и весь салон заходилась смехом. А я отвлеченно разглядывал людей, смутно представлял дом деда, запомнившийся с далекого детства соломенной крышей, кусающимися пчелами, моим плевком в колодец с последующим наказанием.

Я медленно шагал по подобию дороги, прыгая через лужи. Справа от меня тихо двигался силуэт той незабываемой и взбалмошной женщины, перемежаясь с тенью красивых придорожных деревьев, не отпуская мои растревоженные думы до самого порога...

Наташка

Она поглядывала на меня как на кумира молодости, которого, наконец, встретила. Она шла ко мне, как мастер влечется к Богу, часто произнося: “Для меня все очень серьезно!”

Она вежливо, романтически называла меня “Толенька”, и мне нравилось нежное чувство. Ее слова ложились мне на душу легко и привольно, и не было в ее речах ни снисходительности, ни иронии. Она рассматривала меня, стоящего с видом провинившегося школьника, чувствующего себя братом ее, может быть, сыном. Наталья говорила медленно, вдумчиво, с толком и расстановкой. Она произносила свою правду легко и доступно: “Толенька, я люблю тебя...”

Она досадовала, что мама не дожидая до сегодняшнего дня, она сетовала, что мама не смогла порадоваться вместе с ней — за нас двоих. Я слушал ее и боялся доверительных чувств. Я хотел слышать то чувственное, неозвученное моими женами, невысказанное мамой, недополученное в первой любви. Оказалось, я не готов брать воду из родника страсти. Возможно, я не мог отдать нежность, возвратить тайну природе. Почему же в таком случае я не нашел в себе способностей принять щедрость небесную? Зачем я оттолкнул, прогнал, растоптал настоящее человеческое отношение, еще раз озадачивая ангелов, щедро сыплющих мне под ноги бесценные крупницы человеческого счастья?

Мы топали в никуда, люди, достигшие цели, найдя друг друга. Мы вместе были светом, мы не отбрасывали тени или же оставались отблеском небесным, направляясь туда, где отсутствует мрак. Сыпали пухом

тополя, плевались от пуха прохожие, самопроизвольно покрикивали густые кущи голосами прячущихся внутри любителей любви и алкоголя. “Толенька, ты замечательно мыслишь, я слушала бы тебя бесконечно...” Именно так нужно говорить со мной. Кажется, она знала какой-то секрет человеческих отношений, произнося укрепляющие эмоциональные фразы. Донося словосочетания прямо к подножью моей души, к изголовью моего сердца, что не изобразимо, духовно и божественно. Мы продвигались по солнечной улице, и нас нельзя было увидеть. Нас могли бы обнаружить на слух лишь люди, обладающие духовным зрением.

“Толенька, давай еще немного постоим”. — Наташа проживала тепло первой любви, с ее безумной каруселью несоответствий. — “Давай мы пропустим еще один троллейбус и ты поедешь на следующем, я отпущу тебя, я обещаю тебе...” А я не мог воспринимать муки подвижничества любви, я желал брать, не отдавая, потреблять, не производя. Я научился лишь красиво рассуждать, пусто и звонко причитать о заповедье, верещать во вселенские пустоты в надежде на эхо. Я предлагал себя всем, кто захочет, кто пожелает услышать. Но ведь свершилось, чудесный адресат нашелся и отозвался. Вселенская мелодия оказалась не пуста, чувственные развлечения не простым звуком.

“Толенька, я чувствую, ты не со мной!” — громким шепотом звучала боль ее сердца. “Ну почему ты знаешь, почему ты так считаешь”, — сопротивлялся неожиданно разоблаченный я. “Толенька, я это чувствую...”

Я буквально впикивал ее в троллейбус, пряча мину недовольства, скрывая раздражение.

Я спешил к другой женщине, и она знала об этом, не зная. Я бежал на другое свидание, и она видела меня насквозь. Она шла за мной, плача внутрь, по-детдомовски, с надеждой смотря мне в глаза, отвечающие лишь бегаящими зрачками, лживым взором, находящимися у другого сердца, такого же любящего, такого же обманутого.

Когда мы расстались, она несколько раз спрашивала меня, не понимая причины моего холодного отношения к ней. “Толенька, я тебе не нравилась как женщина?”. И напряженно ожидала ответа, не отводила пристального взгляда, не опускала глаз, исполненных тем же солнечным теплом, той же материнской влюбленностью и безответной нежностью...

Во имя человечества

Я пристально взгляделся в Юлю и понял, вот на таких девушках надо жениться, и тут же озвучил легкую утреннюю мысль на всю кухню, улыбаясь, ища поддержки у стоящего рядом Валентина Аркадьевича. Кухонное напряжение сошло на нет перед расудительным перевозчиком. Опытный мужчина кратко поставил меня на место. Он напомнил о про-

шлом (мы с Валентином почти ровесники), он ревниво убрал меня как конкурента и поклонника Юли. Открытым текстом он преувеличенно показал мне мое безнравственное прошлое и, признаюсь, он попал в самую точку. Он оказался прав в том, что я так обращался ко всем и так обманывал девушек в молодости.

Я не чувствовал восторга, но понимал, осаждали меня вполне справедливо. Я ощутил прилив негативных эмоций, приступ глубинного раздражения. Я поспешил скрыть свое недовольство, переключаясь на другую тему. Я поступал так всегда, когда приходилось открыто выражать негативные эмоции, когда предстояло отстаивать свою позицию. Я переключался на смешную или грустную тему. Я начинал уходить от проблемы в бесследно ушедшее — прошедшее время, превращая его в неожиданную метафору любопытства.

Я покидал кухню с чувством неудовлетворенности, с ощущением пораженческой незавершенности. Но ничто не должно уходить бесследно. Как сказал бы мастер слова, таков категорический императив культурной истории. Я же добавлю и человеческих отношений. Я все же не смог просто так унести напряжение в сознании. Я подумал, равновесия нужно добиваться сию же минуту. Не теряя ни секунды, я заговорил о бывшей жене, превращая тему в дешевый фарс, с прослойкой издевательства.

“Аркадьевич, ты пойми, благодарное человечество еще не оценило мой гражданский подвиг во имя людей. Я женился на самой ленивой, на самой неаккуратной тетке в мире”.

Прозвучало с превеликой горячностью и поспешностью, свойственной отрокам и юношам. Ляшук мгновенно включился в мою тему. Моя бывшая жена осмеяна всенародно и повсеградно. Равно как придворный щеголь и суеслов, верещал я недостойные речи не в пользу ненавистной супруги. Я въехал в тему, жил в ней, все больше, все глубже впадая в невысказанные, непроговоренные претензии. И такова сущность самодуров, без особенных причин опирающихся на собственные домыслы, выступающих от имени человечества. Печально, но я, не приводя доводов разума, стремился к вольному толкованию жизни.

Юля молча внимала. В дверь звонили и, верно, злились оттого, что я не открываю. Валентин помогал мне выплескивать отрицательные мысли в адрес бывшей супруги. Я уверен, вы посмеетесь, даже пожалеете старого женоненавистника. Вы признаете подобное толкование жизни вздорным и нелепым. Представьте, вы абсолютно правы. Я покидал кухню и своих коллег по работе с нехорошими чувствами. Я топтался у своего стола с тяжелым сердцем, думая: “Когда же это кончится? Когда уйдет неприязнь к нормальной женщине, с которой, если заглянуть в конец жизни, я был счастлив?” Для пущей ясности, мне хотелось поторопить время, заглянуть в будущее, осознать, что же останется от всех негативных чувств. Я влачил производственное существование,

пребывая в развенчании, осмеянии глупых разукрашенных слов, не назначенных теперь ни для каких смыслов. И я захохотал раблезианским смехом над своей непосредственностью, граничащей с детством. Помятуя о том, что высший образец смирения звучит банально и наивно, нелепо и непосредственно: “Не слишком задирай нос...”

Мужские слезы

Мужики начинают выносить гроб с телом отца, и меня захлестывает волна чувств. У меня в горле сбивается ком, становится трудно дышать от всего происходящего, от большого количества выпитой водки, от первого осознания боли. Я быстро прячусь в дальние сени, мистически воспринимая происходящее. Густая темнота никогда не освещаемой комнаты скрывает меня, мое заплаканное лицо, позволяя оглядеться и стереть следы предательски льющихся слез.

Я примчался на похороны в темный и глухой вечер, осветленный расцветшим свежим маем. Мне пришлось тащиться через Луганск, ибо прямой самолет на Донецк вылетал только завтра, а похороны — мероприятие скоротечное, не терпящее отлагательств. Я спешил из местного аэропорта на автовокзал, ощущая миг печали, делясь с таксистом своим горем. Много раз я видел подобные сцены на экране, глядя на героев, несущихся проститься с покойным, и в моей душе воцарялась таинственная тишина. Я как бы погружался в ветхозаветную ночь, осторожно, до плача внутри сострадавая, сопереживая. И вот теперь я находился в такой же роли, и мой протяжный голос звучал осторожно и отдаленно. Моя душа искала поддержки, понимания, участия. Чуть позже я медленно тащился в рейсовом автобусе, благородно останавливаемом у каждого столба. Моя плоть стонала, жаждающая водки, а душа ждала доброго слова.

Неподалеку от дома я увидел играющую детвору, беснующуюся в неглубокой яме. Боже, среди них болталась моя почти четырехлетняя дочь. Я страшно разозлился на свою непутевую и ленивую жену, и вместе с ребенком медленно пошагал к родным пенатам.

Я намеренно замедлял шаги, подсознательно боясь предстоящего свидания с покойным. Жену, бросившуюся к нам с радостным лицом, я грубо осадил, пожурился: “Ты должна смотреть ребенка, здесь без тебя справятся...” — слабо слушая ее плачи об усталости, о невозможности отдохнуть. Вообще-то эта тетка очень мало меня интересовала. Я уже давно понял, во что я угодил и просто не знал, как от нее избавиться.

Среди страстных и горестных лиц, среди вразной рыдающих родственников, соседских причитаний и признаний в искренней любви, в духоте наглухо запертых комнат я намеревался совершить один акт исцеления. Согласно народной молве, покойник может забрать с собой любой недуг, если прикоснуться с больному месту рукой усопшего. У

нашей дочери тянулся бесконечный хронический насморк. Дело усложнялось присутствием скучных недоброжелательных старушек, терпеливо высиживающих у гроба Никифора Степановича, ни за что не желающих отлучиться хоть на минутку. Бабки томили нас своей ненужностью, неуместностью, мешая преодолеть и без того громадный страх перед суеверным обрядом. Я долго, возбужденно крутился вокруг покойного, ощущая враждебность в зорких старушечьих взорах. Оправдавшись перед ними, объяснив, что к чему, я взял левую руку отца (правую он потерял в шахте), приложил к носу дочери. Насморк-таки не оставил маленькую дочь, может быть, потому что десницы-то у отца не было.

А тем временем кто-то дал команду, и мужчины взялись за основной ящик, обтянутый черно-красной материей. Я отпустил дочь к жене, бегом исчез из поля зрения народного, боясь естественного проявления нормальных человеческих чувств. И все же скорбь (хотя и нетрезвая) потекла, закапала, выдала меня с головой. Больше всего меня удручило то, что мой скорбный плач видела жена. Она как нарочно потом рассказывала знакомым, как истинная деревенская баба: “Я впервые увидела Толика плачущим...” Она всега и все выбалтывала, как на базаре, позоря меня, позволяя совершенно посторонним людям заглядывать в мое нижнее белье. Более я не доставлял ей этого удовольствия. А вскоре я сделал лучшее, что можно было сделать в этой жизни, я разошелся со своей женой, а чуть позже по согласию бывшей супруги дочь навсегда переехала жить ко мне...

На тракторе

Благородный, живой юноша изнывал от ничегонеделанья на за-бытом богом участке малой механизации крупнейшего строительного управления столицы республики. От избытка реального времени кто-то выделял изящные ножи, другие мастерили кое-что для дома, третьи (к ним относились почти все) коротали день отшеством от реальности при помощи плодово-ягодных изделий. Я же перебирался от токаря к механизатору, от бригадира к плотнику, от цеха к фабрике по переработке вторичного сырья, ища спасения от самообмана, думая, чем заполнить великую пустоту нескончаемых дней.

В сущности, я напрасно корчил из себя интеллигента, ссылаясь на курс журналистских наук, пройденных очень нечестно и притом заочно. По сути своей я был плоть от плоти слесаря или тракториста. Я был кость от кости своего отца, человека простого и не очень образованного. Дед, правда, числился штабс-капитаном царской армии и, может быть, там зачинались истоки моих амбиций, желания и страсти прожигать бесцельно и бессмысленно жизнь. В принципе я чувствовал себя неким революционером, жаждущим славы, пылкой деятельности, опьянения

себя невиданными выделками, розыгрышами, шумом дружеских пьяных компаний. Не исключаю, что я являлся настоящим интеллигентом, чурающимся пошлых нетрезвых шуток, примитивных росказней, плоских мыслей. Я прятался от всех, представьте себе, в трактор. Потом начальник участка Валентин Иванович Королев намекнул мне: “Давай, осваивай технику, в случае чего, не нужно никого просить, сел за баранку и действуй...” И я забыл о своей избранности.

Я носился по территории на добитом механизме, окончательно уничтожая издыхающую технику, взмывая на ухабах, развивая крайнюю скорость на ограниченных просторах участкового бездорожья. Я совал нос во все дырки, вызываясь перетащить прицеп, вырвать тросом зажатый агрегат, подвести негабаритную деталь. Что побуждало меня, рискуя жизнью других (прав у меня не было), заниматься, как сказал однажды Королев, “Этим грязным делом...”. Что вызывало во мне неподдельный интерес в скучной, непоэтичной, неароматной работе? Я не могу ответить на такой вопрос даже самому себе. Но я транжирил свои необыкновенные способности на такое познание мира. Но я охлаждал жар молодости ветреной метусней, мчась между сварочным агрегатом и компрессором, расположенными в десяти метрах друг от друга. Я умудрялся цепляться за все на свете, за все, что попадалось на пути, утомленный разрушительным действием алкоголя.

Несомненно, я плакал внутри от восторга, я искал иных путей. Наконец, ко мне пришла свежая мысль, а не съездить ли мне на стадион, не произвести ли мне впечатление? И я почувствовал, мне надо окунуться в горнило страданий, возвыситься над всеми, выделиться поступком. Когда начальник укатил на планерку, я газанул в сторону трассы.

Ощущение, испытанное мной на оживленной автодороге, можно вызвать несколькими рюмками водки. Но нечто радостное и задорное вдруг сменилось трезвым мышлением.

Я понял, мне не на что опереться, наступил момент истины, меня охватил жуткий страх.

На безсветофорном и очень сложном перекрестке я совсем растерялся. Не зная, кого пропускать в первую очередь, я застыл как вкопанный и вовсе упал духом. Восьмисотметровая пробка, где ее сроду не знали, привела к приезду ГАИ. Ужас моей души прогрессивно действовал на мышление. Я представил возможные последствия, завел технику, медленно протиснулся между Икарусом и машиной скорой помощи, напрямик по зеленой зоне, в арку стоящегося многоподъездника. С горем пополам возвратившись на участок, я поставил трактор на место и больше к нему не подходил. “Да что с тобой”, спрашивал у меня начальник... — не понимая, что могло произойти такое, если я раз и навсегда откrestился от механизаторства...

Красное удостоверение

Давно нет в живых Анатолия Ивановича Божка, одного из моих замечательных учителей, журналиста, редактора отдела новостей областной газеты “Минская правда”.

Давным-давно промелькнули дни нашей дружбы — учителя и ученика, восхитительные фрагменты ненаставительного поучения, от которого челюсти дрожат, сводит зевотой, от которого душу разрывают крайние, противоположные чувства, возбуждая амбиции, желание протестовать и мысль поменять наставника.

Мы отдыхали с мудрым и несравненным гуру в его уютном кабинете с окнами, выходящими на скучный дворовый пейзаж с блеклой оградой. Анатолий Иванович запер дверь, по-мальчишески реагируя на текущие рабочие стуки. Он отвергал всякие попытки внепланового вторжения в наш мальчишник, полный анекдотов, водки и закуски. Мой мудрый друг в конце концов пощадил меня и после третьей рюмки достал-таки из внутреннего кармана червонное чудо. Пурпурный переплет, слегка отражая дневной свет, мягким стуком озвучил неловкую тишину, соблазнительно застыл на столе. Я не решался прикоснуться к восхитительному документу, пока еще недоступному мне.

“Бери, — назидательно и ответственно произнес старший товарищ по журналистике, — с моего, так сказать, благословения, и смотри — он сделал паузу, поднял указательный палец вверх и рука его застыла на месте, — перед милицией не размахивать, ты представитель обкома партии, смотри, чтобы мне не пришлось краснеть перед редактором...”

Я слушал старого журналиста с открытым ртом, все еще не веря в то, что чудо уже произошло, что у меня в кармане то, о чем я не мог и мечтать. Потому что в “Советской Белоруссии” такую ксиву не дали бы. В других периодических изданиях у меня не было постоянного отдела, куда я мог вот так запросто прийти и пообщаться по старому русскому обычаю, за бутылочкой водочки, выговориться накоротке, быть самим собой.

Конечно, такое событие, как получение удостоверения литературного сотрудника областной газеты, мы не могли обмыть всего лишь одной бутылкой водки. Анатолий Иванович пригласил меня в гости. Мы расположились в живописной кухне, увешанной картинками, всякими интересными предметами, обычно вызывающими интерес обывателя в любом новом месте. Пока я осматривался, замечательная супруга журналиста приготовила нам стол. Мы “съели” еще одну бутулку водки, кажется, сверху намешали пиво, кажется глотали что-то еще спиртосодержащее и горячительное.

И все же мне не терпелось похвастаться классным удостоверением, ставшим событием того исторического времени в его дальней близости. Его странной естественности, прошедшей сквозь меня живой неза-

вершенностью тех, кто уже все написал, кто уже свое сказал. Я спешил найти новых слушателей, которым тоже есть что произнести и ответить достойно. Так как не пресекался род людской, проживающий в живом общении с теми, кто был, есть и конечно же будет, с прошлым, будущим и настоящим. Я выложил книжицу перед женой, но это существо не могло оценить моего восторга. И я позвонил Ларисе.

Обойдя полгорода, мы заблудились с женщиной на кладбище и восторженно целовались в самой гущине непроходимого кустарника. Наряд милиции, прошуршав, возник, как произведение искусства. Сержанты застыли в недоумении, полагая увидеть перед собой бомжей. Они рассматривали интеллигентно одетых, блестяще выглядевших молодых людей с некоторой растерянностью. Я быстро преодолел смущение, легко и небрежно, как представитель обкома партии, достал всесильное свидетельство, сунул его в лицо представителю власти. Сержант отступил в ухаб, моя женщина застыла на месте, а ситуация наполнилась радостным оживлением и пониманием. Все логически завершилось. Главное заключалось в том, что Анатолий Иванович Божок так и не узнал, как я испугал милицию красным удостоверением...

Букет цветов

Тогда еще некое глубинное брожение греха преобладало во мне, рассудок только-только освобождался от хаоса первобытности, от будничной ограниченности и небожественной суеты. Тогда еще я мыслил не связано, а довлел во мне бродяжничество и юродство, бунтовщичество и радость смирения, и высокопарная словесная чувственность. Тогда я приобщался к служению в костеле, преодолев страх и чувство неуверенности. Я с благоговением и великою честью совершал свое паломничество в храм небесный, одолев неодолимую тягу к веществам, изменяющим сознание с помощью благодати небесной. Я искал защиты сверху, я строил защитное покрывало из человеческого участия. Я устал от вечной потребности хмельного безумного праздника, я искал спасения. И чувствовал, ачность отступает, сдает свои позиции, но с муками великими.

Я ходил по костелу и разглядывал огромные картины. Я вглядывался в иконы, пытаюсь постичь их потаенный смысл. Я сам себе казался маленьким ребенком, отправившимся познавать мир. Ксендз Владислав внимательно и уважительно обходился со всеми без исключения. Хотя мне думалось, я имею какое-то особенное значение, в отличие от других. Поэтому мне хотелось особенного внимания, чтобы рассказывать иным, не решаясь и на пушечный выстрел приближаться к настоятелю прихода св. Симона и св. Елены.

Я, еще вчера протестант, бунтовщик, исполненный ненависти и презрения к действительности, ступил на тропу самопознания. Я, пре-

зирающий людей и окружающий меня мир, я, возмнивший из себя бог знает что, сейчас мучительно искал путь к рассудку, постигая тайны ускользающего смирения. Я вовсе не думал о Боге, я мечтал найти путь, ведущий к самому себе. Я не принимал на слух блистательные проповеди ксендза, но выживал в них спасительные для меня мысли, идеи, вспышки метафор, пронзительные словосочетания, могущие соединить мой разрозненный и мятущийся дух. А дух мой, пораженный алчностью, и рассудок мой, бессознательно подточенный гордыней, мечтал о личной прибыли, о первенстве и власти. И терзала меня несостоявшаяся моя самобытность, исчезающие остатки просвещенности, обретенные в ранние бдения иноческие.

Как известно, на самых трагических руинах, остается лишь вера и вновь, и вновь произрастает, и не одолеет ее и самый ад. Так, в моих развалинах погибло все земное и человеческое, все временное и брэнное, но, подобно купине, душа моя тлела, душа алкала света осознания, душа, воскресшая из могилы в буквальном смысле этого слова.

Но к моему ужасу и позору, грех преобладал внутри меня, одолевая помыслами, точа искушениями. Грех поразил меня, как библейская проказа. Я двигался среди священных предметов, не зная, как справиться с искушением воровства. Это можно сравнить с вездесущей чумой, и нет от нее спасения нигде. Мои руки сами тянулись к одиноко лежащим четкам священников. Мои завидующие глаза видели только то, что можно легко взять и положить в карман. А главное, в том жили мои убеждения, в том варился мой хворый дух.

И я от страха, переполняющего меня, и я от непонятого смятения, овладевшего мной, украл букет цветов, мило поздоровавшись с девушкой, служительницей костела. Я с трудом втиснул охапку сиреневой красоты в узкий пакет и впервые в жизни ощутил, как же в самом деле сильна человеческая греховность. Я нес протестующее растение, словно говорящее мне о чем-то покаянном. Мои ноги не шли, люди, казалось, смотрели на меня осуждающе. Я понял, как на воре горит шапка. И я отринул бесстыдство. Я еще с большим стыдом возвращался в костел, боясь, как огня, ксендза Владислава. Я молил Бога только об одном, хоть бы никто не встретился на моем пути, хоть бы никто не узнал, как низко я пал. И Бог услышал мои молитвы, никто мне не встретился. Так же не по-людски, как и при воровстве, я быстро поставил букет в пустую вазу. Я скоро выбежал на улицу, летя домой, легко и свободно...

Тайная борьба

Я с трудом высиживаю за столом свой бесконечный рабочий день, не имея никаких сил преодолеть роковую, вожделенную черту. Я, мятущийся взрослый ребенок, нахожусь на высоченном пороге, за

которым такая влекущая, такая увлекательная и странная взрослость. Как объяснить своим работодателям, задающим бесконечные вопросы, непрестанно достающих меня, отвлекающих меня от внутренней борьбы, что мне страшно в реальности, что невозможно всем угодить, что я не в состоянии запомнить свои права и обязанности, что я порой не помню даже своего имени. Как урезонить трудовой коллектив, без конца снующий то на перекур, то в туалетную комнату, то на ксерокс. Как унять их неудержимый поток, пугающий меня, заставляющий вздрагивать при любом мало-мальски незначительном вопросе. Причем, я инстинктивно хватал в руки первый попавшийся предмет, будь то ручка, карандаш или мобильный телефон, и начинал судорожно переключать из руки в руку. При этом мне хотелось только одного, чтобы все вокруг поняли, что я старательно работаю, изнывая от жажды принести пользу фирме и Отечеству.

Особенно тяжело и безотраднo мое положение в дни высокой эмоциональности. Я веду себя точно маленький ребенок, громко и шумно доказываю свою истину, оправдываюсь во всем по-детски и очень наивно объясняю свою невиновность и тут же нелепо пытаюсь произвести впечатление и угодить, особенно директорату.

Не менее печальна моя участь в дни осенние, депрессионные. У меня леденеет душа, у меня плохо произносятся слова, я чувствую, будто начинаю сходить с ума. Правильнее сказать, я не понимаю, что со мной происходит. Народу у нас много, я ощущаю стыд перед каждым работником, внутренне вскакивая с места, готовый мчаться куда-нибудь, лишь бы избавиться от чувства вины, от несобранности и глубинного безобразия.

Стыдней всего мне было перед Наташей Владимировой, обращающейся ко мне с обычной производственной просьбой — сообщить ей о приходе шефа. Я, со своим рассеянным мышлением, почему-то помню то, что произошло сто лет назад, но мгновенно забываю о текущей просьбе. Разумеется, женщина полагает, что я не помню или же я специально веду себя таким образом. Наташа врывается на мою территорию и криком шепчет: “Толя, почему вы мне не сказали, что Сергей Леонидович на месте?” И она исчезает в свой отдел, свободная и крепкая, вогнав меня в чувство вины и не зная о том. Разные оттенки переживаний проносятся в моей душе, страхи будоражат мое сердце.

Страшное иго неуверенности в социуме поработает меня. Коллеги мелькают, двигаются вокруг, меняют расположение. Шеф бесконечно донимает простыми вопросами: “Где Новолаев, где Маргарита Александровна, где Хвалюк...” И, не церемонясь, едко шутит, отпуская пронзительные шутки, разя остротой, смущая меня претензиями.

Еще более страшной остается незавершенная борьба с самим собой, превратившаяся в часть жизни, в невидимую реальность, вытворяющую

внутри меня геенну огненную, с которой впору было бы списать потусторонние ужасы нездорового воображения. Она заключается в позднем, запоздалом взрослении великовозрастного мальчика, пока еще борющегося с самим собой. Еще не понимающего своих чувств, сомневающегося в своих решениях, думах, поступках. Еще бы, шеф предлагает мне на пятидесятилетие выбор подарков, а я едва не схожу с ума, как жадный ребенок, предъявляющий немислимый перечень желаемого деду Морозу. Вот так и мучаюсь я от блаженного головокруженья, борясь с жизнью, пытаясь объяснить шефу трудность моей миссии, моего бытия, вызывая улыбку окружающих, с насмешливым любопытством слушающих невразумительные байки о какой-то борьбе с самим собой...

Влюбленность

У Людмилы оказался необыкновенно милый образ, с превосходными, удивительными чертами. Удаляясь от прожитых и пережитых отношений, я тайно, словно любимую иконку, воскрешаю в воображении ее чудесный, исполненный очарования облик. Я к всеобщему удивлению моих смятенных чувств все более думаю о ней.

Между тем великая влюбленность возникла буквально на ровном месте. “Аптека, улица, фонарь...” — завершал я скорое и короткое чтение блоковских строк женщине, сказочно смотрящей на меня из-за аптечной стойки. Пока никто не мешал, я пытался произвести ухаживательное, очень важное впечатление. Именно на основе первого восторга, именно от первого впечатления произрастает древо любви. Она, совершенно очаровательная в халате и в белой шапочке, смотрела на меня с вниманием и восторгом, слушая мою глубокочувственную бредь. “Я пришел для того, чтобы перевернуть всю вашу жизнь”. И мы обоюдно тонули в глазах друг друга. И мы недоуменно поворочивали наши взбалмошные головы в сторону шумящей старушки, досаждающей каким-то аспирином.

Через несколько недель наш бурный многотомный роман развивался вовсю. Мы подолгу высиживали в кафе и растили, не жили первые ростки хрупкого романтического сада.

“Я так рада тебя видеть...” — шептала она и бросалась мне на шею в прихожей квартиры.

Моя жена не умела так любить, и поэтому у меня голова шла кругом и не останавливалась.

Мы рискованно оставались у нее на всю ночь, уповая лишь на Бога, надеясь, что муж не возвратится с рыбалки в эту дико прохладную осеннюю ночь. Веря, что каждое срабатывание лифта после полуночи — происки влюбленных или поздние возвращенцы со второй смены: “Мой друг, мы сможем так часто встречаться...” — мягко осаживала Людмила

мой неумемный пыл юного Ромео. Она называла меня именно “Мой друг...” с какой-то радостной спешкой, очерчивая границы осторожности, верно, чтобы во сне не назвать мужа моим именем. (Жена Гришки в сонном смятении назвала — Генка, милый...).

Утром всюду блестел яркий солнечный свет, отражаясь в лужах, делая мрачноватую сырую осень неожиданно светлой и яркой. Утреннее возвращение было для меня самым трудным моментом. Помимо вранья, имея глупый вид нашкодившего кота, приходилось с большим трудом выводить запах редких в то далекое советское время французских духов. Моя первая жена нос имела самый что ни есть звериный и учуяла бы живучий парфюм за три версты. Поверьте, у меня накопился довольно редкий опыт борьбы с неистребимым ароматом. И представьте себе молодого человека, стоящего по пояс в разнотравье и трущего себя и свою одежду чем попадая, нюхая поминутно руки после растирки ладоней пижмой. А жене я говорил разное, например, сочинял стихи, задумался, упал в какой-то овраг, объясняя таким образом зеленоватые следы на руках и одежде.

Идею Людмилы взглянуть на мою жену я встретил без восторга. Не стоило прекрасной женщине после утренней зари разглядывать мою благоверную. Но Людочка с подругой нагрянули в мой дом, сославшись на молву о гадательных способностях моей половины. Они ей заплатили, что-то там выслушали, быстро распрощались. Я сидел в соседней комнате с дочкой и не находил себе места. “Лучше бы она у тебя занялась порядком в квартире...” — только позже вывела моя душа. А я мучился безденежьем, я не знал, как поступить, где взять лишнюю копейку, чтобы поздравить Людмилу с днем рождения, пригласить ее в то же кафе.

А потом, скажу простосердечно, я влюбился в юную жену художника. Я очень жестоко отстранился от моей доброй женщины. У меня не достало мужества сказать ей всю правду, впрочем, нормальные зрелые люди так не поступают. Потом, гуляя с женой и маленькой дочкой, мы столкнулись с Людой. Разойдясь, мы обернулись и я покрутил в воздухе пальцем, мол, позвоню. Она утвердительно кивнула головой. Я вновь соврал ей. И только, встретившись через много лет, мы с печалью проговорили незавершенный по моей глупости роман.

Сумка

Это желание что-нибудь взять, что плохо лежит, сведет меня в могилу. Впрочем, воровство и следует отнести к разряду смертных грехов, предполагающих смертельный исход частицы духа. Прочь пагубное и темное желание, уйди, мысль лукавая, но желание великого “хочу” все-таки и неизбежно. Коль получил “хочу” от Вседержителя, то небеса и проси о спасении. Молись о том денно и нощно. Нет другого лекарства

от клептомании, кроме единовременной помощи свыше. Чтобы получить подмогу, нужно о ней попросить. Легко сказать, не трудно рассуждать, хорошо советовать. Только нужная мысль приходит не вовремя в трясушемся скоростном автобусе, в вечно переполненной пятидесятке. Толком до определенного места и не проедешь. Справа давят в ребро, слева крепкий, рослый молодой человек поминутно топчется по новым ботинкам, за спиной пресс входящих пассажиров вдавливает меня в стареющую нехорошо пахнущую тетку. И ничего не поделаешь против кажущегося беспорядка, против желания протянуть руку, почистить вроде бы ничейную сумку.

И в зрелых годах преобладают одни и те же желания, и нет от них никакого спасения. Буквально, ничего в мире не существует, кроме бесхозной и явно забытой кем-то сумки. Мне даже удобно, что мужики, болтающие между собой о повышении цен, громко и заразительно хохочут о чем-то своем, отвлекая меня от усиливающегося страха, помогая мне сосредоточиться и оглядеться. Обычно такие особи возбуждают у меня крайнюю неприязнь, нажимая на осевшие в подсознании клавиши беспокойства. Особенно этот коренастый мужлан, чем-то напоминающий отца. Но в данную минуту мною всецело владеет великая клептоманская идея, она ведет меня на привязи вот уже половину пятидесятого маршрута. Скорей бы центр города. Там можно определиться по сумке, осмотреться, не ловушка ли, не сидит ли сбоку рассеянный хозяин, беспечно размышляя о своем горе.

В первые годы трезвости я столкнулся с полным пакетом всякой всячины на одной из остановок. Я минут сорок тряся, делая независимое лицо, изображая полнейшее равнодушие. Наконец, я дождался, пока на скамеечке никого не оказалось, пока алчность превозмогла страх. Я небрежно взял вещи, спрятался в первый попавшийся троллейбус. До самой конечной остановки я пребывал в стрессе, пока водитель по селекторной связи не напомнил мне о конце маршрута. Я летел домой и лелеял мечту о неожиданном кошельке, наполненном долларами, о дорогом сотовом телефоне, о бриллиантовом колье небывалых размеров и цен. В свертке оказались две скатерти и пара пустых пакетов.

Происходящее сейчас большое и страшное событие с виду вроде бы и не заметно. Вроде бы совершенно самодостаточный мужчина спешит на работу, пребывая в думах.

Никто не чувствует мою лживость и притворство. Никто не замечает, как я будто бы случайно подвинулся к заветной сумке, как плотно закрыл ее от посторонних взглядов.

Никому не приходит на ум, как трудно мне бороться с лукавыми помыслами, преобладающими над здравомыслием. Никогда не увидеть меня более неискренним, нежели сейчас. Я само притворство, сама ложь мыслей и чувств. Я тупо смотрю в одну точку, но это всего лишь

отвлекающий маневр. Быстро пустеющий автобус под моим строгим воровским контролем. Обгоняющие авто просматриваются на случай войны, не хозяин ли сумки встрепенулся да частника нанял? Дикое сердцебиение, которое, кажется, ничем не унять, в унисон мерно звучащему двигателю широко распахивает общественный транспорт. Скорее бы вышли те неспешные ребята, быстрее бы выползла та тучноватая женщина. Слава Богу, водитель смотрит в сторону, р-раз и поехала сумочка в моей дрожащей руке, р-раз и нырнул мой взор в ее соблазнительный зев, наполненный тремя пустыми пятилитровыми емкостями для питьевой воды...

Шизофрения

Вы думаете, я лично не ищущу себе никаких благ? Совершеннейший вздор, чушь собачья. Хотя духовное развитие у меня стоит на первом месте, хотя бы осознание своего места в мире, хотя бы понимание своего истинного человеческого предназначения. Но вы подумайте и о том, как пропитать свое грешное тело, святой водой ладони окропив? Как правильно расчертить небо, как отделить запредельность и реальность? Как, зарабатывая хлеб насущный, не потерять зависимость от неба? Уповая на источник премудрости, чему обязан я страсти, предаваться алчности, пребывая в злобе, ее неизменном спутнике? Кому взбрело в голову утопить меня в жажде золота, тщательно скрываемой под маской самопознания? Под прикрытием исповедального плача, изнываю от тайной алчбы и стяжания.

Вы думаете, перед вами стою я? Напрасный труд, думайте так и дальше. За смыслом и верой, умением быть в собственном личном опыте, изранив себя словесностью, выплавав сердце до самого дна, истерзав воспаленный ум, я болею душой лишь за жалкий рубль.

Отчего же я несвободен от страха? Отчего же я помню только то хорошее, что связано лишь с деньгами. Я начальнику точно так сказал, более всего мне запомнились дни увеличения зарплаты. Еще врезались в память щедрые начальниковы подарки, денежные подачки, неожиданные и бесплатные угощения. Я люблю деньги больше Родины, Отечества, Отчизны. Я вам доложу, милостивые государи, что вы меня, по сути, не видите, вы меня, по существу, не знаете.

Каковы же мои чувства, хороши же мои ощущения, о которых я непрестанно трезвону на каждой странице, если единственная цель моей жизни, единственный смысл моей дороги превратиться в богатого человека. Причем в один миг, чудодейственным образом, не прилагая ни капли усилий. Лучше по-большевистски забрать все деньги у очень богатого человека. Еще лучше отнять награбленное у всех и править миром. А собственное действие по спасению своей души как же? А ни-

как! Вы же видите мою уравновешенность и авторитарность, слившиеся воедино, вы же замечаете уязвимость мою и агрессию. Мне бы взять за груди министра финансов, встряхнуть его хорошенько и спросить с “огромной любовью” с позиции финансовой перспективы: “Где мои деньги? Вы очень симпатичны мне и моему народу, но я бы хотел уточнить, почему мне не достает на прожить?” Так нет ответа. И не будет. И не предвидится.

Хорошо, давайте считать. Я получаю четыреста двадцать три тысячи. Отнимаем коммунальные услуги, раз, остается триста тысяч. Делим на тридцать один день, выходит чуть меньше десяти тысяч в день. Вам напомнить, сколько стоит один обед по-человечески?

Да, да, еще нужны носки и трусы, часы и проездные документы, моющие средства и зубная паста. Продолжу перечень просто по-бытательно, но, сочувствуя, не хочу докучать вам, господин главный финансист. И коль уж быть откровенным до конца, извольте выплатить мне недостачу в заработной плате из расчета сто условных единиц за месяц.

Далее, умножьте количество отработанных месяцев и возвратите мне кругленькую сумму.

Извините, я оговорился, считайте с начала перестройки, лично сэкономив на разнице. Восстановите справедливость хотя бы в моем лице. Внесите свой вклад в демократические процессы нашего общества. Следите хоть немного за личными страданиями отдельной личности, и вы окажетесь в непосредственной близости от народа. Но давайте улыбнемся, ведь улыбка никому не мешает, давайте отбросим шутки в сторону, хотя без шуток и даже без шутовства жизнь скучна и однообразна. Давайте, господин хороший, владелец всебелорусских финансов, не забудем умножить полагающуюся мне сумму на два, памятуя о моральном ущербе, который, как известно, идет один к двум по отношению к нанесенному ущербу. Засим подписываюсь я, едва не умирающий с голода, сидящий на дешевых кашах, кефире и свекле, алчный и злобный, хитрый и расчетливый, истрадавший и смиренный мещанин Анатолий...

Энергия

Между прошлым и настоящим пролегла бездна, обозначая лишь то, что началась принципиально новая жизнь, вернее, ее пролог, стелющийся странно, как-то по-детски, неестественно наивно. Вначале меня радовало такое положение дел. Чуть погодя, я услышал от людей бывалых, будь осторожен, потребуется много усилий для изменения личности. А кажущаяся правильность, размеренность, эйфория лишь поначалу приемлемы и легки.

Я вертелся в многолюдстве микрорайона. У меня из головы не выходили слова аксакала, претерпевшего значительные изменения в личности. Я начинал ощущать известные неудобства нового мышления, нового поведения. Я чувствовал себя настолько несоборанным, насколько может пребывать в избытке эмоциональности ребенок с соответствующей психикой. Я исколесил все продовольственные магазины в округе, купив по списку жены заказанные продукты. Я выполнил многочисленные поручения дочери, переворошив хозтовары целого региона. Я остановился, город остался позади, на меня уставился сосновый облик лесного чудища.

Я отпрянул от сосонника, как от наваждения, понесся в противоположную сторону выполнять череду навалившихся на меня жизненных обязательств, недоделанных дел. Я не умел быть явленным, новорожденным, получив в свое распоряжение необычно податливый материал. Но как большинство людей, резко изменивших собственную жизнь, я не мог приспособить зрение и слух к новому миру, чтобы просто видеть и слышать. Я перестал понимать обычную прозрачность жизни, составляющую ее искусство, проходя мимо, насквозь, терзаясь. О таком ли я мечтал? Хаос мыслей, эмоций, чувств, ощущений свалился на мою горемычную голову. Я шел мимо дочерниной школы и не замечал учебное заведение. Я переходил дорогу, боясь автомашин. Я получил бытие в лучшую его пору и чувствовал себя умным дураком, богатым безумцем и рабом.

Мне подумалось, не все так хорошо в новой жизни, в которой я менял место работы, место жительства, жену, убеждения, сбросил тридцать килограммов веса, отказался от общения со многими, утопающими в алкоголизме приятелями, и растерялся. Мне почудилось, я еще что-то не завершил. Домой возвращаться не хотелось и я метнулся к сберкассе, разобрался с платежами. Я завернул на почту и заплатил за телефон. Я пробежал к рынку, наполнив сумку доверху фруктами для любимой дочери. Некая несогласованность царила между мыслями, чувствами, вкусами реальности и моими запросами и потребностями, между мечтой и реальностью. Я не усматривал своего привычного материала в чистой, окружающей меня художественной потенции. Я не мог разобраться, что же это за благо, я не умел лицезреть его. Наверное, самое нелицеприятное заключалось в другом — я не знал куда двигаться, в какую сторону света направить неугомные стопы.

Старший товарищ, упреждал: “Ты будешь иметь дело с неуправляемой высвободившейся энергией. Если ты не сможешь преобразовать ее в действия, ты не получишь того желанного чувства удовлетворения. Старое мышление возвратится и убьет тебя прежними привычками”. Я оказался слепым, ничего не умеющим сказать о красоте. Я не соображал духовными категориями, т. е. я не мог воспроизвести прекрасное

чело справедливости, терпимости, более прекрасные, чем, например, полыхающая заря.

Смятение чувств, телесное зрение, очи души — мелькали в уме высокие категории, когда я осознал, что почему-то иду пешком на девятой этаж. Более того, я почти бегу, как будто и не было за спиной двенадцатичасовой реальности, проведенной на ногах, преодоленной в движении без единой паузы или остановки. Как будто тайная власть обрушенной на меня энергии направила мою бrenную душу в идею неосуществимости полноты любви и счастья. Я переживал новшества со всей силой новизны, сомневаясь в ее законности, постигая новое виденье вещей мира...

Аппетит приходит во время еды

“Так и назови рассказ”, — подсказал мне Сережа, после того, как я поблагодарил его за идею чревоугодья, которую мы с ним периодически обсуждали, встречаясь у ксерокса в очереди производственной суеты. Сколько чувств вызвала в душе тема обжорства! Этому смертному греху, преобладающему в моей личности среди прочих отклонений, отвечали и вторили накопившиеся во мне глаголы. Чревоугодью внимали съедобные строки, плавно льющиеся в кулинарные изделия. Соблазнительные выпечки валились на меня с неба божественной амброзией. Пища невоздержанных в отличие от пищи богов, насыщала, уничтожая плоть, властвовала над разумом, искусно теребя тучное “хочу”.

Иногда Сережа останавливался рядом с моим рабочим местом, и мы вновь обсуждали волнующую меня проблему. Он как бы обнажал мою заветную мечту — научиться умеренно употреблять любую пищу. Смех смехом, но в такие минуты откровения я щедро угощал его тортом, принесенным шефом на всех. Я разрезал пирог “по-честному”, угостив его заместителей половиной того, что им полагалось по-человечески. Безбожно отхватив третью часть убийственно вкусного изделия, я схоронил сладкую массу подальше глаз.

Сергей вроде бы воззвал меня к совести, сам того не предполагая. Вообще-то трудно предположить, глядя на Сережку, что у него есть склонность к полноте. Кстати, фамилия у него Прокопенко. К слову, он племянник известного и талантливого футболиста минского “Динамо” времен советского периода, эпохи блистательного чемпионства. Если бы у меня в роду числился такой знаменитый дядька, я бы вел себя пофарсистей, поамбициозней. Сережка у нас вполне интеллигентный человек, специалист по компьютерам, любитель бильярда и такой же, как и я, сластена. Короче говоря, как ни жалко мне расставаться с большей частью шефова подарка, угостил я Серегу. Он все-таки неплохой мужик, советом поможет по компьютеру, на машине в баню подвезет. Тем не

мене после моей необъяснимой щедрости в душе образовалась пустота, шевельнув алчность.

Я подождал, пока мой товарищ уйдет заниматься чревоугодным самоистреблением. Я боялся, что в приступе щедрости отдам остатки вкуснятины и бросился доедать остатки, не находя сил подождать до завтра или хотя бы до вечернего чая. Что делал я над собой, живой, сильный, благородный, но беспечный в очень важных жизненных вопросах? Зачем я разбазаривал крупницы бесценного сокровища по имени “здоровье”. Разве мало мне того случая с кочерыжками? Разве недостаточно мне тех девятнадцати отбивных, съеденных после девятнадцати выпитых рюмок водки на свадьбе, после чего я едва не испустил дух? Неужели меня не научил уму-разуму случай в гостях, где я, трижды пообедавши, не знал, как вызвать рвотный рефлекс, стесняясь гостей и родственников?

Я хватал торт так, будто перенес тяжелую болезнь, будто неизвестный вирус уничтожил божественное чувство меры и увеличил чревоугодное “хочу” до гигантских размеров. Я со страхом прислушивался к шагам, не желая никого видеть, не думая ни с кем делиться. Если бы кто-то сейчас посмотрел на мои щеки, он со смехом отметил бы: “Чистый хомяк...” Мои ланиты напоминали склад готовой продукции фабрики бисквитных изделий и действительно слыли хомякообразными. Я глотал сладкое мясиво кусками, подражая крокодилу, забывая о хроническом гастрите. Я не помнил о мягком назидании доктора и жены: “Острого, жареного, соленного поменьше, пища должна быть хорошо приготовлена”. Я даже не успел расстроиться, заметив жирный кусок, упавший на новые брюки, превратившийся в плывущее пятнышко. Но я задумался, Сережка Прокопенко подвиг меня к размышлению и действию. Потому что я почувствовал себя совершенно беззащитным, как лист на ветру, как первобытный человек перед мордой голодного хищника. Я доел сладости и принял решение что-то делать с обжорством.

Школа ангела

Игорь организовал статью по психологическим проблемам реабилитации химически зависимых людей. Материал включал в себя мини-интервью с группой лиц, значительно продвинувшихся по этой стезе. Мнения высказывались разные и хорошие. Каждый человек, принявший участие в создании панорамы выздоровления, в меру своего понимания и видения вопроса поделился своим опытом преодоления мук духовного роста.

Корреспондент позвонила и мне. После нескольких незначительных фраз девушка с приятным голосом принялась расспрашивать меня, как с моей колокольни выглядит тот или иной этап изменения человеческой

личности. Надо добавить, в мире, исследуемом представительницей периодической печати, я чувствовал себя исключительной, даже выдающейся личностью, можно сказать, владеющей миром. Разумеется, подобное мнение можно считать большим преувеличением, но я изучал последовательность развития исцеляющейся личности с психоэмоциональными отклонениями с завидным рвением. Я жил по вере, т. е. по тексту. Я следовал каждому абзацу с преданностью крайнего фанатика. И я не ошибался в своем фанатизме по причине потенциально смертельного заболевания. Тупиковые ситуации возможно решить лишь стопроцентным смирением.

Сто пятнадцать страниц духовно-психологического текста, изложенного в последовательности выздоровления, хранят и передают опыт тех, кто прошел путь от могилы до способности жить и сохранять эмоциональное равновесие, двигаться целеустремленно при любых условиях. Я бы рискнул назвать его религией для смертельно больных людей. Да простят меня ревнители религиозных конфессий! А религия требует, именно требует непрерывного личного усилия для понимания и принятия заложенных в ней принципов или божьей воли, если хотите. Говоря словами одного теолога, двенадцатизаповедная подготовка нового мышления дает возможность по частям увидеть и принять то, что есть все.

Собственное действие по спасению погибающей личности завершается личным примером и ничем более. “Мы что-то вроде ангелов, превращающихся в тех, кто рядом с нами, вызывающих их на откровение исповеди своей честностью и открытостью...” Довольно путано и сложно делился я с моей собеседницей из серьезной газеты. “У вас там религия в самом деле? — вопрошала удивленная незнакомка, — насчет ангелов вы хорошо сказали”.

Мой исповедальный плач нарисовался в периодической печати дословно и в полном объеме. Мой друг Игорь показал-таки предел своего смирения. Мой духовный брат, прочитав статью, сразу же позвонил мне, пробубнив своим ясельным интеллектом: “Ты уже заносишься, надо советоваться...” Он, видно, имел ввиду самого себя. “Мои действия не обсуждаются...” — отрезал я зарвавшегося недоучку, этого самодовольного индюка, в которого мне не удалось вложить даже полдуши, и бросил трубку.

Необыкновенную силу школы ангела я почувствовал сразу же, как только начал наставничать с молодыми реабилитационщиками. Я вызывал их на откровенность, лишь делая вид, что я только им могу выложить самое сокровенное. И я озвучивал тайны души, словно брал аккорд, позволяющий оркестру чувств взять нужную тональность. Я давал ему возможность выпустить первый, пустой, не главный пар, чтобы освободить место для высшей милости, дающей новое смирение и мужество преодолеть страх. И он уже произносил следующие истории,

все больше и больше доверяя мне. Он, еще вчера сжавшийся комок, спустя несколько месяцев, превращался в самую открытость. Главное, он должен думать, что это он мне помогает. Я же плакал и плакал о прошлом, о том, как легко мне с ним делиться прошлым, вытаскивая из прожитых глубин еще более болезненные темы, предупреждая неизменный кризис учителя и ученика.

С лучшими из лучших я беседовал примерно около восьмисот раз без единого перерыва. Включая телефонную терапию. Что свидетельствовало об их нравственной мощи. У тех, кто прошел школу ангела, не произошло ни одного срыва...

Тяга

Что же делает с человеком тяга к вещам, изменяющим сознание? Тяга бесконечная, тяга неостановимая, равная тьме и тьмою управляемая. Врачу легче: он витийствует вещанием общих моментов и теоретических обоснований. Мне же, испытывающему влечение, ставшему образом зависимости, вещь тяги, остается также витийствовать о себе. Но уже настолько глубоко, настолько искренне и мастерски, как это может сделать человек, сросшийся с проблемой настолько же тесно, как улитка с раковиной. Итак, я лично явленный, в каком-то смысле художественный артистизм — мастерский артистизм той незабвенной проблемы. Уж и родину люди меняли, и родителей новых обретали, и от убеждений отказывались — и с таким багажом тихо-мирно проживали свой новый век.

А вот, идя по старой улице Маяковского, не нарушая правила приличия, как пройти мимо тех мест, правдами и неправдами зазывающих в свои уютные алкогольные бездны? Как не слышать пугающе-шипящие агонии отверстых бутылок шампанского? Как не вдыхать всепроникающий и вездесущий запах портвейна, аромат смертельно разящего коньяка, вкус визуально витающей в атмосфере водки? Что за необъяснимый закон, действующий неукоснительно, неумолимо? Он вступает в силу лишь после жалких и тщетных попыток освободиться или хоть как-то ослабить тягу. Закон наливания всеми и всюду. Закон предлагания выпить теми, кто никогда не предлагал. Закон нахождения спиртного там, где его оборонили, положили, спрятали специально для твоей растленной души. Точно задним числом услышали твои темные просьбы силы тьмы.

Господи, доколе? Господи, доколе ты будешь вспоминать мои прежние неправды? До каких пор будешь насыпать чад неразумных, к обильному питию меня ведущих? Я говорю, рыдая в горестном сокрушении сердца. И вот из соседнего магазина зазвал меня голос отрока, по стакану выпить предлагающий. Голос то ли мужа, то ли мальчика повторял одно и то же: “Сделаем, брат, по стаканчику красенького?”

Закрыв уши, бежал я вдоль дороги, куда глаза глядят. Забрался в другой конец города, за кольцевую дорогу — в дальнее Уручье. Колесил по улице Руссиянова, спасаясь от наваждения бесовского. В тон моим обильным чувствам и дневному солнцу гудел Сережка Николенко? “Пойдем, чего-нибудь выпьем...” Я рванулся к присутственным местам, а сила влекла мои стопы в ликеро-водочные палестины. Я спрятался в дом, но и там буря в образе жены предлагала мне жить-быть вопреки хронологическому порядку. В тоне басенно-морализирующего, наставительного свойства. Как и подобает учительнице.

Не правда ли, странный способ действия тяги, уходя, оставлять некое глубинное влечение, не поддающееся объяснению? Ускользя от сути решаемого вопроса. Так вот и супруга в гости позвала. Полагала, я почувствую бодрость необыкновенную. Я от переживаний почернел, как тот цыган после пяти ярмарок. Я ухаживал за женщинами, я занимался мелким бизнесом, я выхаживал пешком значительный километраж. Все одно мне хотелось, страсть как хотелось выпить водки. Я довел свое пешее хождение до крайности, неизменно двигаясь до вокзала пешком (десять остановок на метро). Я старался не смотреть в сторону отделов по продаже спиртного. Я награждал себя обилием сладких блюд, заморских фруктов, влюбленностью. Меня тянуло к проклятушей водке.

Исколесив столицу республики, пройдя на своих двоих (на одиннадцатом маршруте) от камвольного комбината до Кунцевщины, не срезая дороги, я даже не обессилел. Приятель по имени Славик сошел с дистанции и попросил пощады. Я притащился в дом, щелкнул телевизор. Там показывали рекламу спиртного. Позвонил Славик, сетуя на боль в ногах. Отзвонилась половина моя, уточнила, идем ли мы в гости. Из-за холодильника водочной этикеткой глазела в мою душу пустая бутылка из-под водки. И эта тяга — нет от нее спасения, видеоизменяясь, не хотела меня оставлять...

Обеденный перерыв

Бутерброд был довольно большой, он сам просился в желудок, привлекая трехслойным навершием и толщиной лоснящейся ветчины. Лакомый кусок частично отвлекал от текущей заморочки, от бесконечных телефонных звонков. Мерно гудящая печ СВЧ тепло лелеяла банку, наполненную бульоном вперемешку с хорошо проваренной курицей. Чересчур шумный гул печи раздражал тем, что невозможно услышать звонки в дверь. Отчего непонятная суета и спешка не переставали терзать ароматную предобеденную прелюдию.

Специфичность моей работы, моей деятельности и заключалась в вечной привязанности, прикандаленности ко входу, к телефонному аппарату, к текущему процессу. Непрекращающаяся смута в душе длилась

всегда и тихо, незаметно для постороннего глаза, не ощутимо, на первый взгляд, для меня. Сотрудникам как-то не приходило в голову подумать о моих проблемах, о моем чувстве защищенности. Естественно, ко мне обращались ненормированно, невзирая на мою занятость, не представляя, что у меня пять отделов, живущих автономно, ожидающих своих гостей, свою почту, свою зарплату.

Хотя логика в самом деле очень важная вещь, коллектив не утруждал задуматься над тем, что я, как личность, иногда устаю, хочу кушать, что мои силы не беспредельны. Тот, кто только что позуммерил в дверь, не посмотрел на часы, не отметил обеденный перерыв. А я превратился в вольного, беззаботного нейтрала и со сдержанным удовольствием вслушивался в настойчивый сигнал, призывающий отпереть дверь. Я стоял, уставившись на мерные часы, установленные на печи, и мстительно держал фигу в кармане. “Звонят в дверь, кто-то пришел, — подсказала предупредительная Алла Михайловна, — Анатолий, там ломятся в дверь...” Сказано в самую точку. Я не выдерживаю напряжения, спешу ко входу, теряя аппетит.

Почтальону нет никакого интереса помнить об обеденном времени. Женщина с крепким остаточным запахом вчерашнего или утреннего спиртного рассеянно подхватывает мои реплики, ориентированные на перевоспитание всех и вся, напоминающие, назидające. Валерий Константинович по своей строительной занятости вообще забывает о желудке, а его вездесущие строители тут как тут. И Леонид Ефимович как назло, вздумал разыскивать бухгалтера, надо было мне поднимать трубку! Жена тактично набрала меня по мобильнику — не следовало прикасаться: “Ну как, в обед можешь со мной немного поговорить?” К тому же Саша, наш водитель, просит помочь ему размножить документы на ксероксе, обрацается ко мне так вежливо, ни за что не откажешь.

Начинаю угождать всем одновременно, вспоминая о давно забытой обедне. Пришел в себя и разозлился, представив, как кто-то из наших выставил мой золотистый бульон. Обиделся в воображении на холодное первое блюдо, теряя аппетит, гаркнув на всех неожиданно и неуместно, бросился на кухню. “Толя, ты не видел Костю?” — прерывает мой путь Виктор Михайлович. Тактично приостанавливаюсь, не могу же я проигнорировать коммерческого директора, тем более почти писателя и единомышленника.

К кричащему мобильнику лечу по инерции смиренного мышления, читаю на табло имя шефа, испытываю небольшой стресс, нажимаю кнопку. До первой фразы генерального директора успеваю пролистать нечестные действия и поступки, вдруг что-то не так сделал? Решаю вопрос Сергея Леонидовича, считываю ему нужные телефоны, вновь выпустив из головы нить перерыва. Вдруг слышу по телевизору слово “бутерброд” и уже без аппетита, без интереса, словно кусок резины, жуя, начинаю

выполнять важнейший из древних обрядов, совершаю акт приема пищи вяло и безобразно. И вновь проклиною постылую сухомятку, выпустив из головы свежий и ароматный бульон...

Нобелевская премия

Пройдя нечеловеческие муки, я начал испытывать совершеннейшую радость и почувствовал себя личностью. Как мистический поэт средневековья Франциск Ассизский и певец радости совершенной. Как поэт-символист, эстет формы, отчасти фавист. Пройдя горнило страданий, чуждых мистерийной театральности, притворства и декоративности, я ощутил необходимость выдохнуть внутреннюю радость, скорее напоминающую блаженство. Пребывая в ее жизненной сказанности, я пристальней всматривался в бытие, но еще чаще вслушивался в себя. Меня и мои легкие летние одежды оведал свежий вечерний полевой ветер. Ранняя луна едва пробивалась зыбкими серебрищимися контурами. Сладко пахла липа на окраине селения с поэтическим именем "Поляны". Я направлялся в гости к Пекарским, приехав сюда "вечерней лошастью". Мне предстояло пройти три километра через две деревни по большаку.

Я двигался намеренно медленно, вдыхая вечернее июльское тепло, запоминая низкую лунность, звуки жаворонков, происки грачей. Я вырвался из жутко душного города. Температура воздуха не опускалась ниже двадцатипяти градусов тепла даже вечером. Горизонт отчаянно пылал, предвещая закат. Не отрываясь, я смотрел на щедрые краски земли и неба, чувствуя в себе силы подавать пример великой святости и доброго назидания. Мне хотелось познать все языки, все писания и даже пророчествовать. А также лечить ото всех болезней и даже воскрешать мертвых. Частично, я уже познал язык ангелов и движение звезд, и многие свойства на свете. Я научился обращать в веру Христову — нет, не неверных, не сомневающих, а идущих в другую сторону. Единственное, в чем я заблуждался, так это то, что я забыл о Боге.

Негоже похваляться божественным предназначением, не моя, не только моя в том заслуга, скорее, вовсе не моя. Собственно, так и выглядит госпожа Гордыня. К тому же она еще и лжна. Да, я обрел кое-какие навыки в сфере знаний, данных исключительно словом. Но как прекрасна сиюминутно творящаяся жизнь! Эта луна, все яснее проявляющаяся за черными полями. Эти, пока не густеющие вечерние, может быть, еще не сумерки. Эти запахи гостеприимных и хлебосольно открытых крестьянских дворов. Веселые смеющиеся подростки, липовые тени на поляне, пугающие меня коровы — зримы, подробны, значимы. Они жизненны и очень убедительны. Именно здесь начинала расцветать моя совершенная радость. Ей не доставало знания в слове, жизни самой по себе. А мне не хватало чего-то. Вероятно, добыв радостный образ бытия,

исстрадавшийся, я все же не сумел отрешиться от себя — ценою великого унижения и тем возвыситься.

Смятенные мысли одолевали меня, мятежного, ищущего бурю, точно так, как искал ее известный лирический герой поэта Лермонтова. В точности невероятной двигалась моя душа в гибельные для нее страдания. Радость-то заключалась в свободном выборе, позволяющем причислить мои мучения к разряду добровольных и считать их доподлинно моими. Поскольку ничьими больше они не являлись, только ими я мог похвалиться. Я спотыкнулся о торчащую веревку. Мне было до того легко и благостно, что я не клял чертов местный уклад, не чертыхался на хозяев-недотеп, разбросавших у дома проволоку. Меня не раздражали роящиеся, донимающие мириады мошки.

Неужели мое чудо — это боль преодоления боли, возможность обрадоваться боли, выпустив с болью девятнадцать сборников стихов. Пребывая в личной скорби, в слезах, дорогих сердцу подробностях жизни, создавать роман души в муках живущей, души светлой, праведной, хорошей. И тут я увидел хутор Пекарских. Я смотрел сквозь него, захваченный великой идеей. Я принял решение выдвинуть себя на соискание Нобелевской премии в области литературы. А почему бы и нет. Обязательно и в пик белоусскоязычному поэту. И я это сделал. И моя совершенная радость сделалась осмысленной, логически завершенной и вполне реальной...

Кофе

Совершенно замечательный урок с разгадкой в конце получил я накануне Нового года. Что и помогло мне поменять нелогичное мышление на виденье ясное и открытое, как эмблема. Я усвоил без морали. И принял к сведению, и осознал. А прежде, пользуясь доверием шефа, я карабкался ему на голову, ведя себя в социуме согласно плебейскому происхождению. Но как устроен этот, полный коварства и лжи, кишащий притворством и лезть, состоящий из угодничества и двуличности человек? А устроен он вот как.

Напиток, повышающий тонус, изменяющий сознание и влияющий на давление, шеф принес неожиданно. “Будем пить кофе...” Так точно и сказал. Могу поклониться на Библии. Владя языком ангелов, я ответил что-то угодническое, отметив широкие возможности, появившиеся в области горячих бодрящих напитков. Шеф практически открыл мне все блага земные, облакая большим доверием. Думая, так оно и должно случиться, я принял нормальное человеческое отношение за должное и обязательное мне благо.

Дело не в том, что я жил естественно, как лист на ветру, как роса божия на траве, как птица, вдаль летящая. Дело в том, что я не мог

принять нормального доброго отношения. И что же такого я сделал? Ничего особенного. Просто-напросто, я покрсытничал, хотя вполне объяснимо. Ведь шеф произнес членораздельно, на чистом русском языке: “Будем пить кофе...” Нормальные люди, даже если им разрешили в чужом доме пользоваться холодильником, все же сдержанны и тактичны. Нормальные люди. Но только не я. Я крыса. Что в этом зазорного? Кто еще из многих миллионов людей способен сказать правду о себе? Очень немногие. А я раздеваюсь и психологически предстаю перед миром, аки младенец, наг и нищ. Мне остается только каяться, смиренно склонив голову.

Чтобы растроганный и огорченный шеф простил меня, неразумного, ворвавшегося в кофейный заповедник. Прежде следовало бы стать человеком. Прежде, чем корчить из себя существо божье. Думая, что жизнь у меня легко складывается, простодушная, как у ребенка. Шеф позволил, я в кофе нырнул, одни круги пошли по кофейне. Не Анатолий, а прямо-таки жонглер-эксцентрик, некий веселый вагант-бродяга. Упаковку — раз — разворотил, зернышек в аппарат кофейный сыпанул (в отсутствие генерального), водички подлил, дверь комнаты переговоров поплотнее запер, свет выключил. Чтоб не слышали уши любопытные, не видели глаза сторонние. Гудит кофемолка импортная, далеко гул разносится, а дверь захлопнешь, едва шум доносится, на крик далекой электрички похожий.

Пьешь кофе быстро и тайком, каждое движение сопрягается с чувством вины. Провались пропадом такая нечестная жизнь. Утомила она меня до чертиков, до коликов в душе, до аритмии в сердце. Как ступить на стезю честности, как не лезть в притягательный пакет, как не думать о нем? Покаявшись, гляди, не твори греха! Знал? И не только. Даже проповедовал мысль о покаянии на определенном этапе духовного развития. Бог, сие безобразие вида, ангелов-то и наслал с проверочкой. Сквозь грех проступила жизнь. Громыкнула реальность. Шеф пребывал в таком гневе, не для всех, конечно. Без выволочки за нерадение пробрал до дрожи одним гневным голосом. Напугал до смерти. Заставил заявление на увольнение написать. Я не мог предположить, потроша кофе, что шеф вздумает отнести кофе в качестве подарка. Я же, пронира, упаковку степлером аккуратно прошил по краям. А тот, кому предназначался подарок, оказался профессионалом. Он увидел мою работу и задал прямой вопрос. Плохо было шефу...

Потерял я доверие. Не получил новогодние премиальные. Чувства разные отрицательные испытал. Главное, чувствовал себя глупо. Пришлось на покаяние идти, страхи друзьям проговаривать, по-идиотски объясняться в том, в чем несколько не виноват. Потому, что кофе — вещь, изменяющее сознание. Потому что я неадекватно реагирую на химические вещества и поистине бессилен перед ними...

Теологический спор

“В основные мировые религиозные конфессии ворвалось одно духовное учение. На его основе сформировалось мое мировоззрение. На его духовных принципах высветлился путь, улеглась интеллектуальная разбросанность, на второе место отодвинулся интеллект. Зачалась и возросла жизнеутверждающая позиция, позволяющая обрести чувство опоры в том, что происходит, при любых создавшихся условиях. Признание и решение собственных проблем позволило избавиться от страхов, главного источника жизненных проблем...” — я давил редактора в доме баптизма, где продавали диковинные библии, редактировались будущие книги и смиренно принималось происходящее. Я выступал так горячо и самозабвенно (так мне думалось), что редактор и работники отдела отмалчивались, не находя никакой возможности противостоять моему эмоциональному натиску.

Здесь, в Минске, в районе улицы Чихладзе, в нешумном покое частного сектора, я свергал авторитеты и рушил вечные устои. Здесь дребезжали стекла не от проезжающих автомобилей. Есть ли на белом свете существо человеческого вида, более многоликое, нежели я сам? Здесь я купил по номинальной стоимости десять священных книг для последующей продажи. Здесь я с превеликим трудом удержался от соблазна украсть один экземпляр. Мне очень, очень хотелось быстро спрятать красивую книгу в сумку, сделав честное — постное лицо, удобнее расположиться в кресле, ожидая возвращения главного товароведа. Их привалила целая гурьба, сдержанная, переговаривающаяся, топающая по многокомнатному дому, полному прекрасных религиозных чувств.

Они двигались с сознанием своего призвания, с чувством своего человеческого достоинства. Я не любил баптистов, но, положив руку на сердце, их прекрасные лица светились верой. Самое главное, на мой взгляд, в них отсутствовали признаки сомнений. Я же чувствовал себя как космонавт, покинувший корабль и перешедший в измерение невесомости. Мое зыбкое состояние усугублялось страхом перед бесконечностью. Мне очень не хотелось бы затеряться и пропасть в пропасти неопределенности. Поэтому тоненькая ниточка духовности, связывающая меня с небом, показалась мне особенно важной в ту минуту. Я не мыслил себя без невидимой пуповины. Рамки просто необходимы для меня. Но беда заключалась в том, что я не ведал своих границ.

Я слыл носителем чужой учености, учителем туманно понимаемого предмета. Я преодолевал рамочные пределы, меня влек предмет моей ученой сосредоточенности. К смыслу хитроумных, лихо выстроенных собеседований. К учености диспутов, к суетному ратоборствованию, и я оказывался у разбитого корыта.

Вот таким хаосом обрушился я на бедную редакцию, в противоположность их тихому несуетному бытию веры и неколебимости. Разумеется, я почти поссорился с ними, хотя заметить разногласие или возмущение по их сдержанности и было невозможно. Весьма серьезные люди, редактирующие и готовящие к изданию известного белорусского классика Я.Купалу, показали мне множество чудеснейших томиков в твердых переплетах, демонстрируя образцы печатной продукции. Я принялся распоряжаться новенькой библиотечкой, тревожа книжицы и вороша их классический покой.

“Вы можете издать мою книгу стихов?” — огорошил я редактора прямым вопросом. “Как восхитительна его сдержанность, — подумал я — как стройна и легка его речь и тверда убежденность”. Как бы там ни было, его ответ сводился к одному: “Вот если бы вы посещали занятия баптистов, тогда мы с вами могли бы разговаривать...” Его благородство и высокий строй мыслей ничуть не повергли меня в смущение. Тем паче, спор на основе разногласия — не хитрая вещь. Тут я выложил перед ним свой главный аргумент: “Вам предписано помогать сырым и убогим, независимо от вероисповедания. Помогите выпустить книгу для наркоманов и алкоголиков!” И прекрасный мой порыв завяз в молчании и безмолвии, где дело обстояло куда решительней и куда консервативней...

Дневник

Вместо того, чтобы заниматься дурным пустословием, я вел дневник эмоций. Я вычитал в исторической книге, что цари тоже вели дневниковые записи, что это удел хорошо образованных, мыслящих, культурных людей. Я спросил знакомых, осторожно наводя их на интересующую меня мысль. Оказалось, некоторые из моих друзей также фиксируют на бумаге важные жизненные события, имеющие определенное значение в их личной жизни, в их судьбе в целом. Я задумался, взвесил “за” и “против”, преодолел страх перед новым начинанием, отряхнулся от стресса и занялся учительством для самое себя.

Конечно, научились, поверили этому дневниковому начинанию, этому божественному подарку не многие. Лично я оказался в их числе. Я не долго терзался сомнениями, я больше мучился приступом жадности, покупать или взять общую тетрадь из фирменного канцелярского имущества. Алчба, преобладающая в моей душе, победила, и я незаметно взял шиток из имущества нашего завхоза Константина Соловьева. Я согласился с тем человеком, изрекшим: “Нет ничего прекрасней чистого листа, нет ничего страшнее нового листа...”. Я разверз листы будущего молчаливого и безответного собеседника, взял ручку, немного подумал и принял решение исповедаться самому себе, начиная с момента, едва не завершившегося отшествием в небытие.

Я не то чтобы решил просветить мир только собственной жизнью, нет, я устал от долгого лживого молчания. Все живое может долго безмолвствовать, но потом рано или поздно следует поведать миру о чувствах и помыслах, одолевавших израненное сердце, беспокойную душу, бrenную плоть. Пришел час рождения дикого, затаившегося крика, внезапно проснувшегося, взбудоражив зыбкость зеркального благополучия. Неожиданно голос, напоминающий скорее шелест дождя, нежели грохот грозы, зазвучал и не осекся. Цитируя, ретранслируя: "...так, сии, оставив немедленно все свое, отказавшись от собственной воли, освободив руки свои и оставив неоконченным занятие свое, послушной стопой поспешают делами своими за гласом приказующего, и точно в единый миг веление наставника и исполнение ученика, — то и другое, окрыляемое страхом божьим, — совершается одновременно, наибо́льшейше".

Я принялся говорить долготерпеливой бумаге о ненависти к миру, живущему не по моим законам. Я начал выплескивать чувство недовольства зарплатой, зыбкостью и неопределенностью социального положения. Иная, вовсе не смиренная, не человеколюбивая позиция обнаружилась в моей сути, раздираемой противоречиями. И если перефразировать Пастернака, изрекшего: любовь — "единственная новость, которая всегда нова", то во мне не обнаружилось главной божественной искорки — любви и страсти. Как я ни ворошил свое прошлое, как ни перелопачивал я свое житие, прожитое с расчетом и по расчету преодоленное, я не находил божественного огня. Наши семейные традиции, пропитанные ненавистью, недоверием, грубостью и насилием, таковыми не являлись.

И тут меня обуял новый страх. Как сохранить запечатленное, если оно может стать достоянием праздного любопытства. Ведь в нем жила моя жизнь, в нем пребывала моя судьба. Слово словом, но опыт души не должен сводиться к безлично-всеобщему чтению. Вот чего я боялся, вот что неустанно бредило мое разволнованное нутро. Я не верил в истину и справедливость, не доверял миру, сомневался в благодати небес. Я прятал тетрадь за семью печатями, хотя никто никогда ею не интересовался. Я колебался на грани веры и неверия. Я хоронил тетрадь глубже кашеевой смерти, выше небес обетованных, дальше тридцатых земель. Я истерзал себя излишними подозрениями в адрес наших работников, случайно бросивших взгляд в сторону моих творений. Я думал лишь о том, как бы не оставить заветные откровения на видном месте. Абсолютно лишенный самобытности, я обретал ее, я нес миру свое слово. Но чувство неуверенности росло соответственно объему написанного. Однажды я забыл тетрадь откровений на работе. Думы одолевали меня два выходных дня. В понедельник я порвал тетрадь и разбросал в разные урны...

Сестра Галя

Удивительно трогательные чувства посещают мою душу в пять часов утра у окна поезда, замедляющего свой ход перед станцией Рутченково. Малоснежная зима, безлистые посадки акаций и пестрые вспаханные черноземы видны в местах моей юности. Двухминутная стоянка коротка. Саша Лелеко не встречает меня. Я специально его не беспокою, не хочу дергать друга детства, юности и футбольной молодости в такую рань. Я быстро договариваюсь с частником, даю ему двадцать гривен, выходя у отчего дома.

Сестра Галя просыпается согласно заведенному будильнику, а я уже тут. От великого гостеприимства и радушия она пытается накормить меня досыта. Мама отлеживается, уж очень много ей лет исполнилось в нашей брэнной жизни. Уж очень нелегко ей ужиться с властной, красивой, певучей, умной сестричкой, в которую, это очевидно, вселился дух покойного отца. Собственно, два капитана — корабль тонет, две хозяйки в доме не к добру. Житейская мудрость, практичность и самодостаточность женщин двух поколений встретились в неравной борьбе. И мама уступила. А что можно поделаться в таком случае? Поставьте себя на место Галины, поживите в одном доме с очень пожилым человеком восьмидесяти пяти лет. Все не так легко и просто. “На все есть причина..”, — отметил первый поэт.

Я с большим трудом отбиваюсь от галиных хлебосольных излиний, мне в самом деле не хочется есть. Мне бы выпасться, сердцем к маме прикоснуться, выслушать ее. Но я хорошо знаю правила: Гале не нравится мамина откровенность. Она не любит, чтобы сор выносили из избы. Как химически зависимая, моя сестренка скрывает главное, говорит лишь о второстепенном. И обязательно использует подвернувшийся повод для легкого употребления небольшой дозы спиртного.

Даже после десяти лет воздержания у меня по прежнему при виде водки происходит прилив слюны во рту. Понятно, речь не идет о первой или единственной рюмке, но алкоголизм коварен, думается мне между глотками кофе совершенно ненужного желудку в шестом часу утра. Галя же на автопилоте проглатывает еще одну рюмку. В ее взбалмошной эмоциональности рождается безусловная и свободная идея отложить принятие смены в магазине еще на один день, а мой приезд — повод, чтобы ничего не делать.

Галя, рожденная для духовной миссии, легко торгует. Сестра, пришедшая в мир вещать об истине, очень рано вышла замуж, убегая из постылого и неуютного отчего дома. “Куда пошла”, — кричала мама вслед пятнадцатилетней дочке, получая в ответ благодарные фиги несогласия и глаголы несмирения. Спустя несколько лет ранняя семейная жизнь по разным причинам покатила наперекосяк. Однажды сестра сказала: “А

что же вы мне ничего не шепнули, ничему не научили?» Будто можно вразумить отроковицу, обуреваемую похотью, захлестнутую страстью, так похожую на настоящие человеческие чувства.

Понятно, с течением времени положение дел усугубилось. Ревнивый муж преследовал Галю. Они укатили на север. Галя сбежала от него вначале домой, потом к нам в Минск. С новым мужем жизнь тоже не заладилась. Случилось несчастье, у красавицы сестры во младенчестве умерла дочь Леночка, вечная ей память. А муж, милиционер по призванию, угрозами (по рассказу Гали) заставил ее отказаться от претензий на квартиру.

Мама расположилась в кресле напротив и слушала, и смотрела на меня. Я аккомпанировал на гитаре, Галя пела. Несостоявшаяся София Ротару, называю я талантливую во многих сферах дочь Веры Никитичны. Она получила от небес поистине божественный голос и абсолютный слух, сказочно привлекательную внешность (мужики делали предложение на третьей секунде), пытливый и острый ум, и неразвитое духовное начало. Возможно, я своим примером привлек ее на стезю самопознания и смирения, так необходимого ей...

Воровские мысли

Не приведи Господь, ангелы расскажут о моих мыслях Создателю. Упаси Боже душу мою от страстей греховных. Избавь же, Творец, очисти помыслы мои от скверны воровской, преобладающей во мне даже в минуты пребывания в святом храме. Не молитва высокая звучит во мне, не смирение послушническое глаголет истинно. Поверьте, я в отчаянии, услышьте, я в бессилии. Я, отрок, невинно убиенный смертным недугом, Провидением от болезни спасенный, ангелами из могилы вытщенный обнаружил я в сердце затаенное преобладающее семигреховье. Я думал, что я очень хороший, я полагал, что они во всем виноваты, они явились причиной моих неудач. Я так устал от греха осуждения, я накопил столько гнева, что гнев принялся оборачиваться против меня.

Вначале я бросился к психологам. Я терпеливо и, надо сказать, с удовольствием высиживал групповые занятия по гештальт-терапии. Я слушал талантливого Сергея Александровича Мартыненко и диву давался, до чего же умны эти психологи, до чего же все запутано у меня внутри. “Яркий искрящийся поток льется на вас, на темечко, на плечи, на руки. Вы сами начинаете излучать свет, вы — светящийся шар, ваши ладони источают тепло...” Примерно так говорил талантливый специалист, работая с нашей группой. Я превращался в нечто бестелесное и легкое. На несколько минут я возлетал ангелом, не ощущая ни тела, ни удручающих меня разбросанных помыслов. Медленно и постепенно врач выводил нас из состояния транса, нас, группу смертников, возвра-

тившихся из плена потустороннего мира, болящих тем потенциально смертельным заболеванием, которое в статистике здравоохранения стоит рядом с раковыми опухолями и сахарным диабетом.

Прошло немало времени, прежде чем я разобрался в происходящем. Психотерапия, жаждущая денег, ищущая деньги, не властна над отклонениями нездоровой души. Потому что душа выше всех соображений этики, потому что душе чужд акт помощи, выраженный в финансовом эквиваленте. И я доказывал Мартыненко отрицательное влияние психотерапевтических методов, не говоря о их вредности, а хитроумным мышлением пытался показать свое всемогущество. Думаю, выглядело и звучало мое участие в мировом процессе выздоровления более чем наивно. Думаю, я не поколебал убеждения мастера терапии, но отошел от него, принявшись решать все же свои, а не чужие проблемы.

Проблемы не уходили. Я обращался к православным священникам, они только поучали и давали советы. Я заглянул к баптистам, с теми дело обстояло еще хуже. Я нашел приют у католиков, где мне предоставили самому разобраться в том, что происходит в моей душе. Никто не тащил меня в католичество, никто не зывал ко мне. Вот почему меня в минуты смятения тянуло в костел. Но отчего, откуда засилье воровских мыслей? Откуда дикое желание взять все, что не так лежит, что смотрит на меня.

Мое внимание тогда привлекли книги — двухтомное издание — жизнеописание папы Иоанна Павла 2. Не мог же я предположить, что в скором времени ксендз Владислав, настоятель прихода св. Сымона и св. Елены, предложит мне и другим совершенно бесплатно взять себе несколько двухтомников. Каково же мне было смотреть ему в глаза, когда я вчера унес в сумке четыре книги, испытывая при этом дикое желание провалиться под землю, лишь бы никто не узнал. Один человек все же проведал о моем грехе — я сам, я, Анатолий, не совладающий с навязчивым желанием воровства.

Я делился к ксендзом своими проблемами, не столько раскаиваясь, сколько испугавшись преобладающего во мне желания “взять”, “схватить”, “утащить”. Воровство оказалось значительно сильнее моего духа. Я слушал ксендза и не мог оторвать глаз и внимания от чудных янтарных четок. Я бы с удовольствием спрятал их в карман, но что-то уже начало происходило во мне, исцеляя и раздирая изнутри необъяснимой болью...

Пятьдесят долларов

Кто объяснит появление на дороге лукавой зеленой бумажки с портретом Дж. Вашингтона, в самом видном месте, на глазах у изумленной публики? Кто указывает место, где эта купюра покоится до поры, до

времени, пока не придет тот человек, кому денежная банкнота назначена свыше? Тогда я подумал, наверное, мои деньги никто не возьмет.

И сказал об этом другу Саше в контексте нашего общего и плавно текущего разговора. Александр Фомичев, истинный образ смиренного человека от Бога, как всегда, слушал меня внимательно и терпеливо. За редкое умение слушать я прощал Сашке все на свете, хотя прощать было нечего. Таилась в нем некая неизъяснимая духовность, отпущенная очень немногим людям на смиренных складах небесной канцелярии. Жила в бывшем спортсмене, мастере спорта по дзюдо и хорошем боксере непостижимая разумом кротость и покорность воле божьей. Она-то и делала Сашу притягательным и добрым собеседником в кругу знакомых и друзей.

Мы шли, а рядом с нами с беззаботной удалью внутренне агрессивного человека метался одинокий человек. Мужчина вызывал у меня чувство незащищенности притворной неловкостью, снуя со всех сторон в поисках пьяных приключений. Мы явно игнорировали сноровистого мужа, что не нравилось взволнованному больному. В его лице, в его довольно обширной плоти просыпался дикий бизон, жаждущий крови. Саша продолжал спокойно говорить о своих делах, а я слушал и внутренне боролся с непредсказуемым мужиком. А тот выжидал и дружинил, как мастер единоборств перед боем. Вдруг он издал то ли крик, то ли рык и неожиданно исчез, помчавшись в сторону темной арки дома.

Я подумал: “Отовсюду ужас и опасность, извне — шизофреники, внутри — страхи”. Саша вымолвил: “Я думал, придется бросать...” Мне делалось легче, я чувствовал себя воздушнее пуха. С необыкновенной словесной грацией я начинал острить, размахивая руками. С преувеличенной детскостью, крича, я аплодировал Александру за мужество и героизм вот таким неадекватным поведением. Рядом с сильным другом у меня складывалось ощущение, будто мне хорошо известно, что за спиной моей много лет стоял сам Бог. Будто никогда не одолевала меня тоска с отчаянием.

Боже, как памятны мне наши долгие прогулки от станции метро “Пушкинская” до улицы Петра Глебки. По обычаю, мы доходили до поворота в мою сторону, перемолов всякую всячину мужских переживаний. Подавляющую часть времени болтал я, в таких случаях пишут “без умолку”. Положа руку на сердце, я признавал такой грех за собой. Я родился сверхэмоциональным ребенком и, являясь экстравертом по природе своей, нечасто встречал на своем жизненном пути людей, умеющих долго и до конца меня выслушать. Под сумрачными и сырыми небесными сводами чаще звучал мой голос. В напряженной преддогововой тишине мелькали темные старушечьи фигуры, продающие семечки. Молитвенный шепот действующих пьяниц, просящих добавить триста рублей на хлеб, звучал не убедительно.

Прежде чем разбежаться, мы с Сашей решили заглянуть в универсам. На самом видном месте возле ступенек, под яркими лампочками лежали пятьдесят долларов. И вот они, упавшие навзничь, всеми презираемые (так должно относиться к презренным деньгам), смотрели на меня сиротские и ничейные гроши. Саша не успел глазом моргнуть, не понял, что случилось, как я выхватил волшебную бумажку у него из-под ног и спрятал ее в дальний карман. Я очень боялся, что мне придется делиться с другом. Я переживал, что кто-то специально подбросил злополучные деньги. Я чувствовал вину, что не могу сказать об этом другу, но верил в то, что он обязательно откажется, если я предложу ему половину найденной суммы...

Паспорт

Сумрак сгущался. Чаще и гуще вспыхивали вечерние огни в панельных домах. Ярко сияло здание поликлиники. Я выстоял очередь к своему врачу, закрыл больничный лист, спустился по лестнице в фойе, чтобы получить в гардеробе пальто. У большого зеркала для посетителей справа красовалась обложка темно-синего паспорта. Я расслабленно и небрежно наклонился, спокойно поднял таинственный документ. После этого еще очень долго длилась тишина, хотя прошло всего несколько минут, хотя мне думалось, что все посетители поликлиники только и думают обо мне и о потерянном кем-то паспорте.

Ни одна душа не обратила внимание на мои действия. Никто не произнес сдержанно и строго: “Мужчина, отнесите находку в регистратуру...” Лишь долгое и скользкое шебуршение подошв ответило моим страхам, лишь безмолвный внутренний страж совести неодобрительно крякнул, как всегда смиренный и одинокий. О чем думал я тогда, уже достаточно зрелый и взрослый отец прекрасной дочери, добрый и неверный муж, футболист местной команды, умеющий и знающий в сфере футбола очень многое? Что шептал мне в то мгновение Единосущный? Или же взирал безмолвно, оповещенный ангелами о моей глухонемоте духовной? (Духовность и религиозность очень разные вещи, они отличаются, как футбол от фристайла).

Насколько же все это взволновало меня, подростка, даже мальчика в смысле духовном? Сколько в конце концов было во мне настоящести? Во мне, готовому к незамедлительному поступку, во имя чего? Я открыл документ, удостоверяющий личность и прочел: Анна Ивановна Гостинцева. Красивая фамилия ассоциировалась с гостинцем, и я подумал о будущем вознаграждении. Я столько раз испытывал подобное ожидание. И вот случай предоставил мне редкую возможность реально получить заслуженные дивиденды.

Я шел по вечерней улице, специально игнорируя общественный транспорт. Я обдумывал сложившуюся ситуацию, упорно ведущую меня на окраинную улицу сквозь умирающий вечер. Ни возгласы пьяных подростков, ни пугающие темные фигуры прохожих сейчас не беспокоили мое сердце. Я находился в состоянии глубокого гипноза, именуемого самообманом. Что, собственно, происходило в самом деле? Я нес паспорт по адресу, прочитанному на месте прописки. Моя святая и притворная бедность, призвав в помощники чистую святую простоту, глубоко упрятав алчность и скупость, и мудрование плоти, укрывшись пологом гордости, творила добро. Но у дьявольских и плотских искушений насчет доброты были другие соображения.

Я слышал далекий и милый голос ангела, который приветствовал мой порыв, грозя пальцем за тайные и корыстные помыслы. Со священной готовностью я поднимал к небесам свои бесчестные глаза и, зачарованный, врал смиренным молчанием тем же великим небесам. Ангел же шептал, чтоб не носил я ярких расцвеченных одежд на душе своей, ибо тонки и обманчивы.

У пятиэтажного дома сидели столетние старушки. Над ними странно и поздно пела какая-то осенняя птичка, звонкая и христолюбивая. Она пела о всеобщем братстве, о том, что все одинаково богоугодны. Бабушки дружно повернули головы в мою сторону и также синхронно проводили меня в бездну подъезда. Я поднимался на пятый этаж, чувствуя основательное сердцебиение. Добрые и благочестивые очи очень пожилых женщин освещали грязные ступеньки, хотя на самом деле они были еще и недоброжелательны.

Святая мистерия доброго замысла истекла у неприглядной двери. Обычная серая женщина вызвалась на мой кликушествующий звонок, не удивляясь, не охая по поводу утерянного, приняла мой должествующий жест. Наверное, так открываются и закрываются святые врата. Коричневая дермантиновая дверь отторгла меня от Анны Гостинцевой, давая мне еще одну возможность осознать земную слабость и гордость. А мое тайное домогание гостинца так и осталось глупым человеческим упованием пока еще не озаренного благостью сердца...

Поэт Леонид Голубцов

Я помню много слякотных предзимних дней, проведенных на строительных объектах юго-запада столицы. Я помню день, который дал мне самого надежного друга в моей жизни. Тогда грязные оттепели не сменяли веселые снегопады и метели так часто, как это случается сегодня. Тогда наши души не донимало странное, неподдающееся анализу чувство ненужности. А ощущение бесцельности, неуверенность перед

завтрашним днем терялись где-то в общей массе стапятидесяти оттенков человеческих переживаний.

Все на свете, равно как и земное существование всех народов мира, влекло нас, захватывало нас, будоражило наши мысли. Мы стояли друг против друга и спорили ни о чем. Мы глаголили о вечной вечности, преподавая самоуроки с помощью вечных глаголов. Я еще не знал о поэтических увлечениях моего нового друга. Я считался мотористом и обслуживал механизмы нашего подразделения. Леонид работал в бригаде, занимающейся подземными коммуникациями. В перекуры, в свободные минуты мы стали не разлей вода. Страсть к высшему виду творчества объединила наши пути и сблизила наши души. Мы творили текст из небесных слов, глубоко личный и вместе с тем всем и для всех.

Я впервые гостил у Голубцовых, диву давался его необыкновенной, созданной для семейного счастья, жене. Галя сносила наши нескончаемые сабангуи. Она с изяществом резала примороженное сало. Я лишь чувствовал вину, когда она входила и, не глядя на расставленные бутылки, тихо и мягко расставляла тарелки. Я чувствовал себя очень глупо, когда мы с Леонидом одевались и уходили на поиски приключений. Однажды Галя шепнула: “Когда тебя ждать?” “Не спрашивай, а то вообще не приду...” Глобально решал проблему глава семейства. Это вызывало у меня дополнительное чувство вины. В моей семье нормальной семьи с одним “капитаном” не получилось.

Мы последовательно одолели этапы поэтического развития. Каждый из нас выпустил несколько поэтических сборников. Еще раньше мы проговорили и свергли с пьедестала поэтические авторитеты. Наши пути разошлись из-за моей новой жизненной позиции. Я бросил пить и курить, выбрал здоровый образ земного бытия. Леонид за мною не последовал.

Наши встречи стали редкими. Но мы продолжали заниматься, как сказал ученый, “изготовлением плача”. Леонид тосковал в одиночестве, изнывал от поэтической неудовлетворенности и всегда ждал моего звонка. Он находился в ощущение невыговоренности, в горечи недосказанности, во мраке нереализованности, в отсутствии чувства причастности. А я, гордый в трезвости, недоступный в символичности, снисходил к другу нечасто.

Как все поэты, обладая даром пророчества, мой лучший друг даже предисловие к будущей книге составил так, будто смерть его уже предопределена, будто она обязательна и неизбежна, как преждевременное действие небес обетованных. В тот день я звонил ему на мобильник. Как всегда, он говорил со мной так, будто жить ему оставалось еще целую вечность. Его брат, мой друг Витя, неожиданно набрал мой номер во второй половине дня. От растерянности (мы перезванивались редко) я задал первый попавшийся вопрос, который пришел мне на ум: “Как

дела?” Витя горестно выдохнул: “Какие дела, Леня умер”. Я чувствую глубинную вину, что не смог быть на похоронах.

Я чувствую вину, что редко звоню вдове и не навещаю их гостеприимную семью. Порой я открываю один из его сборников стихов и сквозь его простые и доступные образы улетаю в то далекое дружеское время, в каком была настоящая дружба, хороший друг и много доверительных разговоров...

Свидетель

Внук родился дома. Мы пережили стресс. Чуть позже начали радоваться, ведь все хорошо, все нормально. Через месяц дочь сказала о повестке в суд, вызывающей меня для дачи свидетельских показаний по делу “Установленного факта”. Я рассматривал повестку и не мог прочесть фамилию секретаря суда. В плавающих цифрах я не мог определить номер комнаты, куда мне надлежало явиться. Рассеянное мышление и сумеречность памяти то ли по возрасту, то ли от детского недоразвития не улавливали информацию, запечатленную на сером бланке. Моя нехорошая привычка решать завтрашние проблемы сегодня, а не по мере их поступления, вступила в свою силу и начала сводить с ума.

Я нарочно много ходил по офису, живя в воображаемой ситуации, отвечая представителям юриспруденции на мною же придуманные вопросы. “Что-то ты сегодня рассеянный...” — констатировали на работе. “У тебя плохое настроение?” — спрашивала жена. Я не люблю, когда лезут мне в душу. “Ты не хочешь со мной общаться?” — обижались на том конце провода. Я же находился не в себе. Эта повестка, прянувшая неизвестно откуда, совершенно выбила меня из колеи. Я начал бороться с ситуацией тем маленьким мальчиком, который живет в каждом из нас. Беда заключалась в свалившемся на меня страхе неуверенности. Трагедия душевного покоя жила в нереальности вопроса. По причине его несвоевременности. Помните, девяносто девять процентов всех проблем разрешаются сами по себе, остальные просто неразрешимы.

К сожалению, простые и доступные истины доходят до человека в самом конце и без того короткой человеческой жизни. К великому огорчению для себя пишу, мирный голос небес, разрешающий с любовью внутренние противоречия, слышится после великих испытаний, несносимых болей, больших душевных потрясений. Я, подверженный суете и сомнению, мучительно готовился к делу, в каком не было дела. Я томился вопросом, в каком не стояло вопроса. Я упивался какой-то мистической ситуацией. Ее события не двигались по моему замыслу, и я не хотел их принять таковыми, как есть.

Низкие своды небес опустились на порядок ниже. Тепло и сумрак бесснежной зимы мешались с тишиной и скорбью. Неделя маячила впе-

реди, прежде чем мне предстояло явиться по вызову в суд. Я уже устал ненавидеть систему ценностей, творящую подобную несправедливость. Родился человек, мой внук, а мне нужно подтверждать факт его рождения. Вопиющий факт бесчеловечного отношения к молодой маме, к молодой семье. И стопроцентно выигрышное дело в любой цивилизованной стране, если подать иск за причинение морального ущерба. Уж не вы ли, господа судьи, должны, обязаны приехать сами, с огромным подарком от благодарного государства? Родился человек! Не вы ли оторвали от работы шесть человек и нанесли ущерб державе? Не вы ли ко всему прочему взяли пошлину? Не вы ли подвергли рискованным волнениям молодую маму, заставив ее тащиться в сырую погоду, волноваться по многим причинам о малыше?

Едва не сойдя с ума от беспредметной борьбы, я вызвался как свидетель. Все, к чему я готовился, мне не понадобилось. Если не считать огромного страха и чувства вины после вопроса об имени внука. Имя Богдан вспомнилось и произнеслось не сразу. Я думал о том, что по этому поводу подумала госпожа судья. Я свободно вздохнул лишь после того, как зачитали положительный результат. Он вступал в силу через десять дней. Чушь какая-то. Родился человек, а он еще не имеет юридического обоснования и гражданского вида. Ожидая в коридоре, я подумал, что если жениться на судье, то всю жизнь придется доказывать ей, где ты был вчера вечером. Мысль привела меня в восторг. А моя дочь, в эмоциональном плане более взрослая, чем я, заметила: “Наверное, им здесь мало платят, — и на мой удивленный взгляд добавила, — одни женщины работают...”

Учитель

Как ни странно, мне всегда чудилось, будто я талантливее своего учителя. С каждым новым витком поэтического развития я вновь просматривал его стихи. Я ревниво выискивал подтверждение своей правоты. Я сопоставлял свою гениальность и неизменно ставил ее выше учительского таланта, располагающегося в шкале способностей вслед за мной. Я хотел, чтобы он хвалил мои творения, а он был немногословен. Я жаждал признания в его лице, а он, оценивая мои вирши, скупно бросал “мелкотемные”. Я чувствовал, что я погружен в ветхозаветную беспросветность. Мне чудилось мировое признание. Шеф стихосложения (я называл его таким образом) совершенно бесстрастно, хоть бы мускул дрогнул, хоть бы эмоция взыграла, хоть бы чувство вспыхнуло, просматривал мои невыстраданные строчки, лишь добавляя в словесном выражении: “Опять много написал...” Он же не разделял моей радости по тридцати стихов в день.

Что за странное желание — нагнать по количеству написанных строк Лопе де Вега? Что за блажь честолюбия — научиться творить без чувства, предаваясь безудержной гонке за иллюзией фавизма? А наставник подливал масла в огонь своим философским спокойствием. “Братся за перо надо тогда, когда болит душа...” Шатались пламена свечей, троекратно рыдала душа, беспощадно, подобно бродящему вину, выдерживал меня главный поэт королевства (как только терпения достало). Он довел меня до того, что я опустил до ничтожных тридцати стихов в неделю. Но он оказывался неумолимым.

Голос его звучал по-прежнему тихо. А с той стороны, где развивался я, опять же, как из рога изобилия, сыпались и сыпались рифмованные строки. На какие ухищрения я только ни шел. Я набирал текст более плотно. Я располагал гениальные сочинения в два ряда на одном листке. Качество, как и утверждал учитель, от количества не менялось. И тогда я начал принимать кардинальные меры. Я отошел от рабского служения суете. Я перекроил всю литературу, где можно почерпнуть новые образы и свежую лексику. Я основательно потрудились над качеством рифмы, устранив известные затруднения при развитии образа, мысли, чувства. Я научился приделывать крылья к рифмованному чуду и делать его крылатым. Я переводил стих из одного размера в другой. Я менял размер, и мой тягучий дактиль стремительно преобразался в хорее, вопия и просясь в неударимый ямб.

Какого рода навыки требовались мне еще? Я углублял тему, увеличивал крылья, утончал редакторскую музыку, доводя каждую деталь почти до филигранности. А учитель бросал: “Много написал...” Я неплохо чувствовал себя в подмастерьях, снизойдя до одного стиха в день. А глава Парнаса восклицал: “Еще меньше...”. И отметил всенародно мою технику. Для начала я все ему простил. Я начал прикасаться к высшему виду творчества единожды в неделю. Краски устоялись, чувства выжили, страсти забурлили. Я поднимался по лестнице, идя к учителю, и не сомневался — несу хорошие стихи. “Я сейчас читаю твои стихи с удовольствием...” За такие слова я проставил бы ему коньяк, но укоренившаяся трезвость и новая жизненная позиция не совместимы со спиртными напитками. Пройдя все стадии символизма, все этапы творческих поисков, я пришел — таки к своей правде, освободившись от страха быть вторым. Хотя мастер утверждает, что сейчас в моих стихах символизма как никогда много. Ну что ж, символист всегда сможет уйти в реализм, а вот наоборот ни у кого не получится.

И если бы только в таком ученичестве было дело, все виделось бы просто, как божий день. И если бы все дело таилось в мастере. Тут вопрос в умении выпестовать ученика, вложить в него душу. Как удалось Анатолию Юрьевичу Аврутину вылепить из меня редактора собственных стихов, уму непостижимо. Но все же удалось. И вот же

можно стать поэтом, имея средний талант. “Я считаю, у тебя не средние способности...” Ответил и ухмыльнулся...

Забывтый сюжет

Я ни за что не вспомнил бы малолюдный осенний парк, блеклую листву, расклеенную на мокром асфальте сырой аллеи, холодную скамью с разошедшей темной краской. Если бы не мое ассоциативное мышление, реагирующее на звуки слов, на музыку словосочетаний, воскресающее в памяти то, что я никогда не проговорил бы...

В пору молодости и неженатости я, естественно, предчувствовал свою половину, следуя мощному порыву, заложенному в меня небесами. Я искал таинственную встречу с надеждой закомплексованного человека, не способного выражать свои чувства. Я всегда ожидал решительных действий от девушек, я томился, пока объявят “белый” танец. И это тоже давало некую опору и перспективу. Я не мог быть самим собой без веществ, изменяющих сознание, чтобы стать самим собой и произнести главное...

В ту пору я бродил по пустынным и многолюдным местам в смутном предчувствии перемен, в тайном чаянии желанной встречи, не решаясь просто пригласить девушку в кино, просто подойти и познакомиться и признаться в первом порыве юности.

Я двигался по замирающему парку в самом центре столицы. Я увидел ее, сидящую на блеклой скамье, притягательную, как образ одиночества. Образ печали и не мог выглядеть иначе. Скорбный, потерянный, незащищенный, вызывающий сострадание и участие, привлекающий и отталкивающий одновременно. Образ едва среагировал на звук моих шагов и снова замер, глядя в одну точку.

Я, колеблемый сомнениями, вдруг преисполнился решимостью вновь убежать от реальности, обмануть самое себя, не дай бог, взяв на себя ответственность за извечное любопытство. Но похоть, жажда таинственности вдруг сделали меня изначально мужественным. И я опустился прямо на противоположном конце скамейки, полуприсев на самый краешек.

Я выглядел идеалистом, беспокоящимся о судьбах далекой и мертвой заурядности. Собственно, таковым я себя и чувствовал. Напрасно я пытался шевелить извилинами, исполненными страха. Тщетно собирался с духом, унимая сердцебиение. И проживал в воображении одну сцену за другой, глупея от бездействия.

Я не смог ничего придумать, достал блокнот, выгнул ручку, принялся производить впечатление молчаливой загадочностью одинокого поэта. В тот период я сочинял стихи не лучше музыканта, впервые играющего на одной струне ненастроенной гитары. Мои стихо-слагательные

мышцы тогда еще не могли заниматься высшим видом творчества. Едва моросил дождь, едва кружилась последняя листва. Едва ли нам требовалось еще что-то, помимо любви. Но между нами пролегли бесконечные и проклятые, незримые и неодолимые миллиметры. Минут сорок я терзал почти забытое четверостишие, украдкой поглядывая на светловолосую, миловидную девушку. Мне показалось, она наблюдает за мной. Мне думалось, все произойдет по моему сценарию, мне хотелось...

Наконец, я почувствовал, терпение исчерпалось. Нам оставалось молиться, но, как известно, молодые люди наедине не станут читать “Отче наш...” Я начисто переписал вымученные строки, вырвал лист из блокнота, набрался храбрости, ни слова не говоря, протянул записку девушке, держась на расстоянии. И почти бегом понесся, куда глаза глядят, едва услышав шепотом произнесенное “Спасибо...” В последней строке звучало: “До свидания, белая, изваяние, памятник...” Ничего глупее доньше не создавали поэты...

Рано утром

После ночной грозы в комнате стало тихо. Утро проявлялось, как фотография. Зыбкие очертания виноградника, нависшего за окном, в сумраке виделись безличными. Я ворочался на старом диване. Я думал о милой дальней родственнице, спящей в смежной спальне.

Вчера вечером, по случаю ее приезда, мама приготовила гостевой стол. Мы ужинали, как говорится, с горячей прослойкой. Вскоре все начали говорить одновременно и шумно. Я пригласил скучающую девушку в сад. Мы мечтательно дымили сигаретами под шелковицей. Мы смотрели в глаза друг другу и вдруг, так случается в молодости, прильнули — уста к устами, застыли в долгом пьяном поцелуе. Разгоряченные огнем самогона, скрытые темной сенью дерева, мы мягко провалились в первородный грех — мы ощутили чудесную сладость похоти, то дивное очарование, похожее на влюбленность.

А где-то вдали мама созывала разгулявшееся семейство, грозя грядущей грозой. Где-то рядом, громко и пьяно, хохотала моя младшая сестра. Лето громыхало, молния предательски освещала нас, вгоняя в чувство страха и вины. Рано утром, мучаясь похмельем и кляня шумные пружины, я принял решение пробраться к молодой особе. Я изнывал от любви. Я страдал от проделок крайней плоти. Я горел в геенне огненной своего пылающего разума. Казалось, я никогда не соскользну с проклятого дивана. И полы застонали! И полы так завывали в ранней тишине, что я испугался...

Всего один шаг, о Господи, сущий гром, истинная буря. Всего полшага, грохот, оглушительное эхо. Вдруг я вспомнил, через комнату направо располагается лежбище мамы. Вдруг я осознал, родительница

просыпается очень рано. Мысль охладила мой пыл, но не сексуальный инстинкт. В жажде предстоящего соития я вновь шагнул вперед...

И вечность прошла, прежде чем я приблизился к затемненной спальне. Прежде чем услышал милый, исполненный волнения шепот: “Кто там?” — после чего, я задохнулся от нахлынувшего желания и счастья. Поэтому я не сразу понял, что за спиной распахнулась дверь. Поэтому я неохотно оглянулся. Поэтому, ничего не понимая, я уставился в удивленное лицо моей бессонной мамы...

Орехи

Всякий раз я привозил из отпуска донецкие орехи, выросшие в отчем саду. Дерево, когда-то посаженное отцом, вовремя “оплодотворили”, так по-местному называется процедура — под центральный корень кладут лист железа. В таком случае сила дерева уходит в плоды, и дерево плодоносит несчетно. Мы собирали до семи ведер орехов. По окончании побывки, мама отваливала мне неизменных десять килограммов. Отбиваться от материнских щедрот себе дороже, отказываться глупо, тащить, руки оторвешь. Но я нес сумку с вокзала до общежития, злился на маму, на орехи. Если бы я знал, чем все это кончится, то срубил бы ореховый саженец на корню и не боялся бы отца.

Орехи созревали тонкокожие, скорлупа легко разымалась, сухие плоды попадались редко. Черви не поселялись внутри из-за обилия йода. Еще во время службы в куйбышевском СКА (ныне город Самара) один матерый прапорщик учил нас: “Ешьте орехи, будет потенция...”. Еще люди добрые научили пользоваться незрелым орехом в молочный период среднего созревания. Светлая внутренность в виде кашицы прикладывается к деснам и блестяще отбеливает зубы, не надолго из-за присутствия йода, желтя губы.

Так мы болтали с Колей Ежовым в общежитии, собираясь на работу. Колька детдомовский, умный, обидчивый. Конечно, как тут не огорчиться, если твой бутерброд меняют в профилактории на аккуратно завернутый брусок. Или разбирают кровать до такой степени, что, прикасаясь к ней, собираясь спать, ты с удивлением видишь разваливающуюся у тебя на глазах ворох железа. Или же глотаешь ароматный сладкий чай, почему-то вдруг превратившийся в отвратительную соленую массу. Словом, угощал я друга орехами щедро не только как соратника по слесарному делу, но из великого чувства вины за бесконечные, тайные и явные розыгрыши.

Тридцать минут мы маячили на остановке, пока Колька не нырнул в монолитную массу пассажиров, пробкой торчащих из задней двери. Если бы не сумка, не вписывающаяся в габариты (там лежал дефицитный роман В.Пикуля о Гришке Распутине), дверь захлопнулась бы.

Водитель не басил бы в свой микрофон: “Освободите заднюю дверь...” Но выхода не находилось. Колька крикнул: “Беги в переднюю...”, — что я и сделал. Уж лучше бы я опоздал на работу, уж лучше бы поехал на такси. Я шлепнулся на первое сиденье рядом с женщиной. “У вас есть часы”, — спросила миниатюрная дама. “Часов нет, но есть орехи”, — только и нашелся я и сыпанул ей в ладони горсть орехов.

Так и познакомились, разговорились, раззвонились и вскоре поженились. Женщина она неплохая, да не моя. Радует только одно, у нас родилась и выросла умная, красивая, образованная дочь...

Недавно я возвратился из отпуска. Традиционно меня оснастили орехами. Я угостил Костю Соловьева, нашего незаменимого специалиста по всем вопросам, после напоминания, я немного сыпанул орехов на стол шефу, хотя плод пошел мелкий. Коле Ежову, если бы встретил, фигу бы показал, а не орехи. И ни одна женщина в мире отныне не получит от меня ни одного зернышка...

Журналистика

Первая жена (мы тогда ждали ребенка) настаивала: “Поступай на факультет журналистики...” Я сочинял стихи, мечтал о литературной славе. Сдав экзамены, я превратился в студента, в сотрудника газеты “Советская Белоруссия”.

Редактор отдела культуры Роман Алексеевич Ерохин терпеливо наставлял: “Информацию нужно преподносить с помощью мысли, а не голым фактом.” Просмотрев мои стихи, отметил: “Концовку стиха взрывавай мыслью...” В первой публикации я допустил неточность. Роману Алексеевичу позвонил коллега и сообщил: “Такого объединения в республике нет...” Ерохин, раздосадованный моей невнимательностью, отчеканил: “Ну вот, на всю Белоруссию отметился ошибкой”. Первая жена моего ровня не оценила.

Началась погоня за информацией. Я находил в день до двадцати тем. Анатолий Иванович Божок, тогда редактор отдела новостей областной газеты “Минская правда”, подчеркивал: “У тебя есть одно из главных качеств, необходимых для журналистской деятельности, ты умеешь найти то, что нужно”. Не выдержав требований Ерохина, я поменял отдел. Я звучал по радио, публиковался практически во всех периодических изданиях республики.

В “Немане” в отделе публицистики мне подсказали: “На большие материалы нужно брать правильное дыхание, как при беге на длинные дистанции...” Правильно и доходчиво объяснить — это дар Божий. Мне страсть как хотелось напечатать в “Немане” стихи. Но там царствовал непробиваемый Спринчан.

Журналистика в целом давалась туго. Надо мной довели стихи, вечно ускользающие. Я мечтал о своем сборнике виршей. А получив в подарок книгу “Снегопад в июле” от поэта Анатолия Аврутина, вообще потерял покой. Но до высокой поэзии крутая дороженька. В возраст осенний пути — сто лет. Можно добраться до заветной грани через потрясения, равные войне, плену, личной трагедии, алкоголизму. Я выбрал последнее. А тут еще началась перестройка. Я остывал к партийной журналистике. Не дай бог жить во время перемен.

Я трудился слесарем на участке малой механизации. Вдруг позвонили из редакции многотиражки Нархоза, чтобы проверить мою квалификацию. Я бродил по аудиториям вуза, получив от главного редактора задание. Прочитав написанное, редактор почему-то отметил, что я мог бы одеться получше, все-таки редакция. И добавил, меня еще нужно редактировать, а значит, переписывать, а ему не хочется за кого-то делать дело. Впрочем, слесарство давалось мне легче.

Тогда для журналиста имел значение партийный билет. Я собрал рекомендации, подал заявление о приеме в партию. Начальник участка Алексей Васильевич Строк не поднял за меня руку, многие воздержались, и меня не приняли. Вот это, партии я никогда не прошу.

Написал в газетенку об отсутствии санусловий на стадионе “Домостроитель”. Партком передернули, профком занервничал, на меня надулись, вот так вам!

Григорий Иосифович Колобов звал меня на СТВ. Сейчас, брошу свою водку и отправлюсь на телевиденье. Сегодня Колобова нет, профессии нет, тренировать футбольную команду не берут, как слесарь я не состоялся, льнопроизводство изучал более чем поверхностно. И ничего в этой жизни не довел до конца. Пишу обзоры по анонимным алкоголикам, чем не журналистика...

Осенний дождь

Ожидая трамвая в осенний полдень, кляня морозящий дождь, я обратился к одиноко стоящей женщине: “Может быть, у вас найдется свободное место под вашим восхитительным красным зонтиком...” Лариса (так представилась незнакомка) словно ждала такого действия, впустила меня под пурпурную балоньевую сень. Мы познакомились, разговорились. Мы встретились, словно два одиночества, и что-то почувствовали. Мы стояли и молчали, нам было очень хорошо, как случается при начинающейся влюбленности. Дождь усиливался, а мы все не могли расстаться, пропуская трамвай за трамваем.

Лариса позвонила ко мне на работу: “Анатолий, вы помните красный зонтик?” — спросил приятный голос на том конце провода. Я не только

помнил, но и думал об удивительной встрече. Она пригласила меня к себе домой. Ее муж, известный деятель искусств (сама Лариса преподавала в вузе), как обычно укатил в командировку за вдохновением. А мы плавали в легкой музыке, тонули в глазах друг друга, срывали одежды, освобождая пламенеющую плоть. Огненная дама больно впивалась мне в спину длинными ногтями и шептала: “Я хочу кричать...” И стонала до неприличия громко.

Мы шли с Ларисой по лесопарку, словно молодожены, прижимаясь друг к другу. “Когда мужчина берет меня за руку, — шептала моя любовь, — я уже не могу сопротивляться, если бы мужчины знали об этом...” Следуя исповедальному мотиву, я нежно повлек мягкую плоть в глубь осинника и у замшелой осины овладел ею...

Лариса арендовала квартиру у подруги для встреч. Она сама покупала спиртное, фрукты и для нас, и для хозяйки жилища. Плата за предоставленное убежище невелика, но мне, выросшему в традициях отвратительного отношения к прекрасному полу, такая ситуация нравилась. Мне не хотелось тратить на лучшую половину человечества. Я считал, что Ларисе повезло со мной. Поэтому я не заботился о любимой так, как подобает поэту. Поэтому я, словно отбывал сексуальную повинность, сделав таинство с Лорхен прозаическим текущим моментом. Однажды Лора спросила: “Толя, почему ты не даришь мне подарки?” Я ждал этого вопроса, я боялся его услышать. Само собой начало созревать решение — прекратить связь, потому что я испугался.

Лариса обычно звонила мужу, предлагала ему сходить, например, в кино. Деятели искусств непременно отказывался, но его нахождение обнаруживалось. Тогда в относительной безопасности мы занимались любовью, но каждый из нас уже почувствовал, стержень отношений надломился. В конце концов свидания превратились в удовлетворение моей молодой похоти. К тому же я начал поглядывать на молоденькую дочь моей взбалмошной подруги. Я специально являлся в отсутствие Лорхен и учил целоваться глупую девчонку.

Может быть, десятиклассница раскрыла маме наш секрет.

В последний раз мы развратничали в аудитории института прямо на работе у Лорхен. Насытившись сексуальными фантазиями, мы устало сидели на двойной смежной скамейке — спина к спине. Тихим, немного дрожащим голосом прозвучало: “Толя, не звони мне больше...” Она поднялась, не оглядываясь, вышла из аудитории. Ее шаги долго звучали в коридоре, уводя от реальности, пока не затихли. С чувством смятения я подошел к окну. В душе ощущалась звенящая пустота. За стеклами, точно по иронии судьбы, как в первый день знакомства с необыкновенной Ларисой, моросил мелкий осенний дождь...

Сухой счет

После завершения профессиональной футбольной карьеры я влачил свое существование, как тысячи бывших футболистов, брошенных в реальную жизнь. Я трудно выходил из состояния высокой функциональной подготовки, жаждавший либо нагрузки, либо водки, нереализованный, не нашедший места в мире, не попробовав силы на тренерском поприще.

“Возьми чалки и отнеси к тельферу...” — велел мне первый производственный наставник Степан Клиз, произнеся пугающее и красивое словосочетание. Видя мою некомпетентность, повел меня по цеху, дал пощупать то и другое.

Примерно в таком духе вникал я в слесарное бытие, маясь от избытка энергии, ожидая очередного летнего футбольного турнира на первенство объединения.

Вот и телефонограмма пришла, вот и настала пора вновь выставять команду.

Конечно, полагаться только на своих, очевидное безумие. Рабочие участка малой механизации имели весьма смутное представление о футбольной азбуке. И тогда во мне просыпался нереализованный футбольный тренер и организатор.

Мы провели предварительный турнир без поражений, обыграв всех исключительно с сухим счетом. Наше начальство удивлялось, соперники недоумевали. Подставные игроки, подготовленные мною психологически, не выпячивались, давали сопернику вначале первым забить гол, а то и два, в зависимости от их квалификации. После чего мы чуть-чуть взвинчивали темп, быстро выходили вперед, но не дай бог с крупным счетом, а в конце второго тайма давали противнику еще раз забить нам мяч в ворота, играя в треть силы.

Накануне финала начальник участка Алексей Васильевич Строк многозначительно улыбался, ожидая дальнейших событий, мы же поговаривали о премии и тихо смущались от разговоров о наших победах. Мы носились по цеху героями, нас не донимали работой, проставляли вино, что для некоторых работников было великим подвигом.

В день финала наш очень сильный соперник привел с собой легион поклонников с барабаном, горном и прочей шумоизвергающей атрибутикой. Их поклонники в количественном отношении явно превосходили нашу более чем скромную команду поддержки. В день игры наши противники из уважаемого 204 строительного управления пригласили все начальство. Глядя на нас, скромно переодевающихся поодаль, они ерничали, острили: “Ну, сейчас УММ нас обыграет...”, веря в свою неодолимость. Скажу честно, в тот день я переборщил с “левыми” игроками. С таким составом мы обыграли бы и более сильного соперника, чем СУ-204.

Настроение у соперника испортилось уже на первой минуте. Не дав им коснуться мяча, мы закатали первый гол, как некогда сделали голландцы в финале чемпионата мира со сборной Германии. Через минуту мы вколотили еще один гол и, отыграв треть тайма, мы вели с тройным преимуществом. Более того, наш соперник вообще не переходил половину поля.

За их издевки, спесь и гордость я ничего не говорил нашим, я никого не сдерживал. Мы крупно выигрывали, я не мог смотреть на лица руководителей управления. Из их лагеря кричали, что напишут протест, но в основном они молчали, униженные и подавленные. А я колотил и колотил голы, вкладывая в каждый из них свои неудовлетворенные амбиции...

Море разливанное

Царство небесное тебе, дитя послевоенной провинции, познавшее и голод, и холод, и суму, и тюрьму, и трагедию безлюбья. Земля тебе пухом, мой бригадир участка малой механизации, Евгений Мартынович Зенькевич. Ты отправлял меня линейным мотористом, спасая от немилости руководства. Ты покрывал сотни моих беспричинных опозданий на работу, отчески грозил мне пальцем, любя и цenia мои шутки, хохоча над ними, за что я прощал тебе все. А в знак благодарности я вваливался к тебе с бутылкой водки, и ты неловко шутил, наливая опоздавшей жене рюмку воды, а я чувствовал вину за тебя, за нее, за себя и за весь мир. И жевал, жевал тающее во рту сало...

Я воровал у тебя сухарики. Почему-то твой хлеб казался мне вкуснее обычного. Почему-то ты всегда все ведал, все понимал, просчитывал мои ухищрения, хитрости, и мне многое сходило с рук. Ведь по моей вине в компрессоре вырвало клапан вместе с головкой оттого, что я не залил в новый агрегат масла. Аппарат застучал, как стучат в милицию, взорвался, едва не убив блаженных маляров. Ты дело замазал, и обошлось...

Едва мне, слесарю-футболисту, выдали сверло для работы с чугуной камерой, я не закрепил ее, понадеялся на тяжелую громоздкость. Сверло закусило вязкий металл, завертело чугунину, словно пушинку, и, хряснув, переломилось, полетело мимо моих, богом хранимых ребер, аки ядро. Ты тогда мудро изрек: "Я-то знал, что может случиться, но не стал говорить под руку..." Создатель мой, лишь теперь осознаю, сколь многому научил меня Женя, сколь много раз он не "заметил" моих преждевременных уходов с производства.

— Иди, — указал он на крышу нового цеха, — подсоедини к водосливу десятиметровый шланг от бетономешалки, проверь, чтоб без пробок, — предупредил, как в воду глядел...

Утром Евгений Мартынович встречал меня у входа на территорию, чего никогда не случалось да и глаза у него источали тревогу и смятение.

Он жестом позвал меня. Мы простучали по лестнице, миновав чердак, выбрались на крышу и я едва не упал в воду. Дело в том, что крыши не стало. То место, где она существовала, превратилось в бассейн размером с добрый стадион. Единственное, что я сегодня понимаю, только чудо небесное сохранило бетонные перекрытия от чудовищной перегрузки и спасло работающих в цехе людей от верной гибели. Удержав громадину на честном слове Господа Бога. Мы без лишних слов спустились вниз, простучали кувалдочкой шланг, расколошматили сгусток бетона. Сверху со змеиным шипом хлынула податливая и неодолимая, как говорил великий Лао Дзы, струя воды, устремясь в захлебывающуюся ливневку...

Еще с десяток раз я поднимался на крышу в тот день, оглядывая площади, всматриваясь в мутные дождевые воды, ища отмели, но они не появлялись — так много божьей влаги накопило за ночь мое незабвенное море разлитое...

Литровая кружка

Жив ли ты, Михаил Васильевич Гладкий, участник войны с фашистами, несравненный моторист, бесконечный курец и сумасшедший чефирщик? Здоров ли мой скупой собеседник, меткий выпивоха, останавливающий после изрядного употребления спиртного машины с надписью “Милиция” и до их явления успевающий исторгнуть в адрес власти все, что тысячелетиями копилось в свободолюбивой славянской душе.

Ежели так, то помнишь ли, как, посылая меня за вином, единственного, кому ты доверял, ты наставлял отрока за сварочным агрегатом: “Толя, лисой туда и обратно...” На что я неизменно отвечал: “Так точно, товарищ начальник разведки...”, — исчезая в глиняных бурунах смежного завода. А ты готовил свой неизменный чефир в литровой кружке, долго кружа вокруг варева, священнодействуя по-шамански, со смыслом мировой вышины и глубины.

Откровенно говоря, ядовитые, характерные мужики тебя побаивались из уважения к возрасту, от присутствия в тебе загадки или тайны. С лукавым интересом поглядывали коллеги на огромную, всегда ожидающую тебя на одном и том же месте кружку, десятилетиями не мытую. Лично у меня тайлось детское желание дотронуться до емкости, сдвинуть в сторону, таким образом утолить любопытство.

Пока я трудился на ниве гонцовской, происходили события, подвигнувшие меня к созданию одного из моих любимейших рассказов. Наши слесари указали новому трактористу, ищущему что-нибудь для солярки, на грязную кружку. Парень, честно и добросовестно выполняющий поставленное задание, хватанул из тенического бачка с поллитра соляры, прежде чем Михаил Васильевич успел осознать ужас происходящего.

Медленный, больной, он бросился к невинному человеку так, как, верно, кидался, пленяя языка (служил он в разведке).

По возвращении мне достались отголоски местного скандала, и судя по тому, как мой старший товарищ жадно выпил стакан вина, я понял, событие крепко потрясло старика. Потекли будни. Наши язвительные мужи на том не успокоились. Когда моториста отправили на объект устранять текущую поломку, работяги всем миром принялись драть поверхность кружки. И поливали металл солярко́й, и терли песком, и проходили наждачкой, снова опускали в техбачок.

Возвратился Михаил Васильевич. В цехе воцарилась искусственная тишина и шпионское притворство. Все так хорошо работали, что становилось противно.

Старый моторист привычно взял пачку чая, подошел к стеллажу, механически протянул руку и тут же отдернул ладонь, как от раскаленного предмета. Кружка слепила, пугала, казалась чужой и противной. Михаил Васильевич длинно и поэтично выругался в неизвестность и брезгливо швырнул уродливую чистоту в ящик для отходов...

Улица Глаголева

Она тянется беспризорно, неухоженно, неопрятно. Лик у нее неумытый, пыльно-осотовый, неприглядно-чертополоховый, лопухово-однообразный, пустырниково-пыреевый. В печали ее — тоска свалок, трезвого воря и хмельного воронья. Одесную расположен мой участок механизации. Со стороны проема в ограде, за малым цехом, едва заметной тропинкой на суглиновом взлобке, сбежав с работы, я спешу к фабрике вторичного сырья.

Я люблю газетно-журнальную массу, напоминающую свалку, лежащую повсюду многослоино. Бельмом здесь лишь чудовищно-рвотные испражнения цеха по переработке костей. Я люблю хаос привоза-вывоза, тюкования, суматоху у весовой, мельтешащих заготовителей, автопокрышки, “спасателей” книг, весь тамошний строгий порядок мироздания — гармонию той эпохи с директором, в прошлом борцом, выходившим на ковер со знаменитым А.Медведем.

Я волоком тащу мешок журнальной продукции. Директор, глядя на меня, шутит: — “Почему бы вам не вынести мешок обуви с обувной фабрики?” Роняет фразу, исчезает и скоро отправляется на небо. Словно извиняется, но впечатление производит товарищ Цербаков. Я спешно прячу журналы, предназначенные для букинистических отделов столицы. Мне по-озорному хохотно, по-детски неестественно.

Наверху меня ожидает Серега, мой приятель и собутыльник по соместительству. Он проверяет журналы — листает — нет ли вырванных

страниц. Я учу его такому способу добывания денег. Теперь я злюсь на приятеля, зарабатывающего деньги в обход меня.

Вскоре мы поочередно несем мешок с товаром, ловим такси, посылаем фиги вслед неостановившимся машинам. Мы все время двигаемся вперед вдоль автострады, точно несколько десятков метров что-то решают. Мы торопимся к той свободе, какую дают легкие деньги. Нам не терпится превратить купюры в спиртное. Мне хочется обрести фальшивую высшую силу и мифическую опору. И призрачное счастье. И новое желание — вновь возвратиться на улицу Глаголева, в ее необжитость, тайну и притягательность...

Маргарита

Во время затянувшегося таинства она вдруг прекращала действия, призывая мою разгоряченную плоть к тому же. Она начинала чудить, причем ее чудачества отличались непредсказуемостью вперемешку с завидной оригинальностью. Женщина с долей самоиронии ставила на мою грудь телефонный аппарат, звонила на работу мужу, едва продолжая соитие. От собственного страха и дерзости любимой женщины я задерживал дыхание, боясь шевельнуться. В такие трудно объяснимые моменты ее выходок мне думалось, что ее супруг видит нас или же обо всем догадывается. Меня не покидала мысль, что глава семьи грозно наблюдает за нашими сексуальными кувырканиями и ждет своего часа...

В этих условиях тяжелый, жаркий и душный сон валил нас в царство Морфея. Пробуждение наступало само собой. В подсознании крепко сидела тревога и обязательное условие — покинуть квартиру до возвращения хозяина (я брал ключи у приятеля). Перед выходом в мир нас, как правило, посещала невылюбленная страсть, выплескиваясь свободно и с выдумкой. Пламя нашей встречи, польхнув напоследок, затихало, венчаясь любимой выходкой моей красавицы — звонком “дорогому”, “любимому” и единственному — с обязательным прикладыванием к трубке моего взволнованного органа размножения, с непременно игровой фразой “ужинать не буду, я объелась мороженого...”

Обессиленные и смиренные, подобно послушникам, мы влюбленно гуляли за городом, медленно, по глоточку цедя из горла коньяк, ни от кого не таясь, рассеянно слушая журчание реки, несущейся в город. На душе у меня царил непокой от близости собственного дома, от нелепой случайной встречи, могущей произойти с родственниками жены. А пока, согретый коньяком, я безмятежно сминал изумрудные травы, хохотал в угоду очень желанной и единственной даме, самому дорогому (после дочери) существу в брэнном мире.

Иногда Маргарита проводила моральную оценку наших отношений, гвоздя правдой. “Тебе бы только переспать со мной, — корила она своего

любовника, стыдила, вселяя в отношения смутное начало разрыва, — звонишь редко, а я жду, вдруг заявляешься не в самый подходящий момент...” Этим ворчанием, собственно, исчерпывались личные разборки, сдобренные легкими вспышками ревности. С этим я, смиренен и мал, беспомощен и убог, притягивал к себе желанную плоть (за полчаса до возвращения мужа), и мы овладевали страстными телами, находясь на грани жизни и смерти. После чего мое счастье вновь набирало номер телефона. После небольшой паузы она “радовала” мою беспокойную душу. “У мужа никто не поднимает, мой Отелло на пути к дому...” И совсем уже кроткий, но решительный, я отстранялся, высказывал в коридор, слушал гул лифта, спускался пешком, лишь на улице облегченно вдыхая сладкий воздух свободы.

Много лет назад сосед Маргариты (одинокий мужчина) что-то попросил у соседки, пригласив соблазнительную даму в прихожую. Наивная женщина не поняла, как оказалась в постели. Несдержанный сосед попытался взять ее силой, но, видно, вовремя одумался. Марго не решилась открыться мужу, лишь намекнув, дескать сосед делает недвусмысленные намеки. Дальше, по словам моей любимой, произошло следующее. Муж разволновался, бросился к соседу, пообещав просто поговорить. “Не знаю, о чем шла речь, — рассказывало мое счастье, — но, возвратившись, он пообещал “больше этот козел на тебя даже не посмотрит”. А я хорошо помнил о скором отъезде мужа в далекие при- морские края.

Муж каждый день звонил и писал Маргарите письма с юга. Муж телефонил поздно вечером в самый шумный разгар любви и похоти. Услышав зуммер, она предупредила: “Мужских голосов быть не должно...”, — после чего показала пальцем в стену смежно расположенной квартиры, шепнув: “А мы так шумели”. Она брала в руки мою крайнюю плоть и, держа ее возле трубки, лежа на моем животе, сонно и прохладно ответила супругу. Она потянулась к журнальному столику и молча протянула мне открытку-письмо от близкого человека, которая завершалась словами: “Ритуля, я люблю тебя...”

Мокрые майки

Возвращаться домой не хотелось, машала глубинная, необъяснимая тревога, напоминающая нехорошее предчувствие, известное каждому здравомыслящему человеку. За каждым чувством, как и за всеми вещами мира, что-то стояло. За моей, саднящей душу тревогой затаился смертный грешок в виде сегодняшнего прелюбодеяния, а за похотью съезжился трудно проверяемый обман придуманной командировки. Позавчера я сообщил своей беременной жене о предстоящей поездке в Могилев на очередную календарную игру. Я, собственно, договорился

со всеми, условился с тренером на случай непредвиденной жениной проверки. Вечером, как и принято, я долго гладил игровую форму, наводил стрелки на белых трусах так, что в нашей беспорядочной однокомнатной квартире запахло жареным.

Рано утром, прозябая в одной постели с нелюбимой женой, я вскочил раньше будильника. Не завтракая, на крыльях влюбленности я помчался на свидание с чудной Татьяной, танцовщицей мюзикл-холла. Странное беспокойство, преследовавшее меня, влияло на мою половую активность, заставляло быть не в себе, раздваиваться и глупо воображать. Чтобы не опростоволоситься по забывчивости и суетности своей, еще до встречи с милой женщиной, я подготовил главные козыри: у колонки, тщательно облил водой обе майки и ту часть трусов (у резинки), где особенно потелось в игре. С искренним сожалением (жена так долго и трудно отстирывала следы от падений на траву) я потер футболками по суглинку, перемешанному с клевером. Получилась вполне реальная иллюзия, ни у кого не вызывающая сомнений. И вышло осязаемое свидетельство для моей ревнивой супруги.

Как мне тогда думалось, я все предусмотрел, подчистил все хвосты и поэтому я гулял с Татьяной по берегу Минского моря почти с чистой совестью, не считая смутной тревоги. Впрочем, я только и занимался тем, что тащил необыкновенно женственное существо за каждый куст, пригодный для занятий сексом, скрывающий нас от редких прохожих “Я признаю только нормальную постель...” — пыталась сопротивляться Таня, но после некоторых колебаний уступала моему напору. И мы вновь шагали по сырому песку, утопая в шуме волн и в бездне любви.

Как известно, влюбленные люди невнимательны. Мы переночевали у Татьяниной сестры (сестра мне очень понравилась) и неосторожно начали мельтешить в суетном городе, кишашем знакомыми и родственниками. Ничего не предвещало тревоги. Может быть, я потерял бдительность, потому что Таня чувствовала себя легко и безмятежно, осыпая меня поцелуями, как это умеет делать влюбленная чужая жена. Изящная, живая, как все танцовщицы, она держала руку у меня на плече с царственной грацией, словно собиралась закружиться. Она чмокнула меня в щеку и растворилась в толпе.

Я поднимался по лестнице, совершенно пьяный от чувства, окрыленный, почти забыв о тревоге. Почти не касаясь замка, я отворил дверь и остолбенел. Моя беременная жена стояла передо мной на скамеечке с петлей на шее, закрепленной на крючке для качелей. Это существо (с ребенком во чреве), оказывается, весь день ждала моего появления, узнав от пришедшей племянницы (дура видела нас) всю правду. Потрясение, испытанное мною, оказалось столь велико, а раскаянье столь искренне, что мне даже показалось, что я люблю свою жену. Я рассказывал о давней знакомой, о чьей-то жене, с которой шел просто так, с которой

встретился случайно, возвращаясь домой из командировки, чтобы быстрее замочить форму в порошке. Я вспоминал какие-то невероятные подробности и сам начинал верить в их реальное существование. Я вынимал из сумки задохнувшееся белье, специально завернутое в пакет. И складывал на кухонный стол грязно-зеленые майки со следами недавней игры...

Перекур

“Что-то ты приуныл?”, — поддержал меня мастер участка Борис Григорьевич, куришь и куришь”, — обращаясь ко мне, сидящему на обрезке доски, приспособленном на глиняном склоне. Я ничего не ответил, я обдумывал неожиданное, неловкое для понимания, задание. Главное, я не находил никаких вариантов для быстрого исполнения, чтобы освободиться, чтобы скорее нестись, сломя голову, в ликеро-водочную аптеку за вечным лекарством, чтобы таким образом уйти от реальности. Алкоголизм подкрадывался ко мне незаметно, развивая хитроумное алкогольное мышление. Но пока я не знал о своей болезни.

Вчера, например, Борис Григорьевич велел раскидать рамы по пяти этажам строящегося здания. Времени отпустил — три дня. Но голь на выдумки хитра.

Используя систему блоков, мы с напарником за три часа подняли бесчисленное количество оконных деревянных изделий. Семь потов сошло с нас, а мы, как ненормальные, двигались и двигались, пока последний пролет не занял свое место. А потом с чистой совестью мы опять жрали вонючее винное изделие.

Сегодня нам предстояло выкопать двадцать четыре ямы для столбиков. Сложность заключалась не в количестве, не в глубине выемки, а в узком диаметре необходимого отверстия. Любой строитель знает, как неудобно углубляться на девяносто сантиметров штыковой лопатой при малом диаметре. Потому-то мы долго курили, умявшись на глине среди мятого осота.

Оттого печаль моя глубоко поражала сердце, а выпивка откладывалась на неопределенное время. Двадцать четыре ямки — это вам не халам-балам, не шурум-бурум. Я грустил, рвал горькие травинки, автоматически жевал их и, морщась, сплевывал горькую слюну. И думал, думал, думал...

Борис Григорьевич, я почуял его взгляд, окинул меня взором из окна своего автомобиля, укатил на часик по своим делам. Я же включился в бред отношений — начал думать о том, что он подумал о моем долгом перекуре.

Мои извилины зашевелились, реагируя на пылящий пролетающий тракторок с буровой установкой — вот тебе и божья воля, вот и реше-

ние. Я живо поднялся, побежал по колдобинам наперерез рокочущему диву.

Тракторист, узрев меня, остановился, вопросительно посмотрел. “Браток, выручай, нужно насверлить дырок в почве”, — объяснил я и сунул в его нагрудный карман трешку на вино.

Через минуту он “спиной” подруливал к разметке. Вжик — десять секунд, вжик — туда-сюда — вверх-вниз — для очистки совести — получи товар.

Еще через полчаса мы с напарником, примостившись на обочине, с чувством выполненного долга, не веря в удачу, тянули вонючий дым дешевых сигарет, попав в поле зрения возвращающегося Бориса Григорьевича. Притормозив, багровый от возмущения мастер, выскользнул из машины, направился к нам, приготовив, по-видимому, казуистическое наказание. Полагаю, он онемел, обнаружив зияющие, дымящие как сигареты, полные тепла и солнца — двадцать четыре красавицы — лунки. И точно, ничего не уразумел, сконфузился, вода головой то на нас, то на бог весть откуда появившееся чудо...

Фальшивые абонементы

В обеденный перерыв я приспособился бегать через дорогу на неопрятное предприятие по переработке вторичного сырья. Я набирал двадцать кг. бумаги, паковал богатство в мешок, прятал в густом чертополохе. После смены я спешил в заветное место, уносил сокровище к приемному пункту. Одноглазый Николай Тимофеевич, по прозвищу “циклоп”, скоренько обвешивал меня, уверял: не достает килограмма. Я соглашался, оставляя взамен сорок копеек. В книжном магазине мне вручали новенький том Дюма, а моя макулатура в общей массе, следуя вечному круговороту вещей в природе, возвращалась на ту же фабрику. Излишек талонов на книги легко продавался по три рубля за штуку.

Я сдружился с “циклопом”, несколько раз выпил с быстро пьянеющим пожилым коллегой, получил у него за полцены три сотни списанных чеков на литературу. Так я начал распространять книжную продукцию в столице, спасая горожан от бездуховности и мецданства. Вечером я наклеивал марки на талоны, договаривался по телефону с бригадиром об опоздании. Рано утром я обегал мелкие и крупные предприятия, подробно прорабатывая каждый отдел, постепенно охватывая каждую улицу.

Ежевечерне я выкладывал на стол приемщика кругленькую сумму, обманывая его безбожно так, как он лукавил со мной. Тимофеевич “щедро” одаривал меня бутылкой “Портвейна” (в стране продолжалась на пряженка со спиртным), отправляя меня в угол за макулатурную массу. Пьянея, я, словно заяц во хмелю, сулил Николаю золотые горы, преданность и получал еще одну бутылку красной дурманящей жидкости. А

приятель грезил: “Через два-три года у меня соберется тридцать-сорок тысяч, куплю катер...” Совсем скоро Коля сел в поезд, везя в специально пошитых двойных трусах большую сумму денег, достаточных для приобретения катера.

По каким-то жуликоватым каналам мой книжный друг напечатал огромное количество “левых” талонов, предложил мне заняться их реализацией. Я оставил работу, вступил на новую стезю. Я наклеивал марки, доводил абонемент до полной готовности, продавал, распространял, торговался. Первый звонок прозвучал после появления в продаже книг. Народ, купивший у меня “Современный зарубежный детектив”, возроптал. Многим прямо у прилавка указали на ложный квиток. По вторсырью по городу поползли слухи.

Николаша крепко испугался, у него за спиной уже имелась одна судимость и семь лет отсидки. Я же после консультаций с юристами немного успокоился, узнав об отсутствии статьи за подобную подделку. Теперь мы с одноглазым ругались, деля несуществующие деньги. Мы коротали время в вагончике и швыряли друг другу увесистые пачки подделок, “жрали” водку, мирились, снова выясняли отношения.

Однажды вечером раздвижные двери старого троллейбуса прохрипели и вошла симпатичная особа, которой я продал оптом триста абонементов. Вытащив из сумки связку фальшивок, женщина, не глядя на меня и явно скрывая гнев и возмущение, процедила сквозь зубы: — “Если вы не вернете деньги, вам набьют рожу так, что вы на всю жизнь запомните”. Не говоря ни слова я, вытащил из нагрудного кармана уже ставшие мне родными купюры. Не поднимая глаз от стыда и позора, я отдал шестьсот рублей и, не прощаясь с “циклопом”, послав его подальше, отправился в одиночестве переживать свое горе...

Шансы

Я встретил давнего приятеля из далекой футбольной моей провинции. Николай тогда считался своим парнем и крутился в наших околфутбольных кругах. Я приятельствовал с Николаем еще по одной причине. Он женился на подруге моей несостоявшейся жены Тамары Бороды. Поэтому наши пути периодически пересекались. Но вот судьба еще раз свела наши пути-дорожки. Вот мы глотнули водки, вспомнили давние молодые годы, добавили сверху по сто граммов, проговорили подробности, снова заказали по рюмашке (платил, конечно, я) — оршанские хитрецы, известное дело, пьют за чужой счет. От провинциального товарища я узнал о дальнейшем пути Тамары. Женщина уехала за рубеж (ее житейская позиция основывалась на желании эмигрировать), из Израиля она перебралась в США, где, по мнению длинных досужих языков, хранились невидимые деньги Бороды.

Николай о чем-то длинно и увлекательно повествовал, а я думал о той возможности, могущей кардинально изменить всю мою жизнь, которую я не использовал. Я мыслил, вживаясь в ушедший образ, в то мгновение, промелькнувшее яркой вспышкой моего шанса — навсегда покинуть страну советов, поселиться в далекой стране. Я не знал, как относиться к упущенной возможности, но понимал, тогда покинуть Родину я бы не смог по причине эмоциональной неготовности. И я, изображая перед Николаем внимательного слушателя, остро ощутил ностальгические чувства человека, покинувшего родные палестины. Мне показалось, я даже испугался, во всяком случае, мне не мечталось дальше. А что бы изменилось, окажись я в Лос-Анжелосе? Как уверяла Томина мама, я человек ненадежный. А кто спорит? Никто. Пока я не выгулялся бы, согласно неумной похоти, пока я не переспал бы со всеми подругами, родственниками и знакомыми Тамары — там, за Рубежом, я бы не успокоился. В таком случае на всех мужчин мира нельзя положиться.

Мы двигались с Николаем по Партизанскому проспекту. Я плакался об ушедшей футбольной и тренерской карьере. Я говорил, какой замечательный шанс я упустил в своей спортивной юности. Вот Женья Канана, из моего выпуска, и поиграл в высшей лиге, и матчи судил как арбитр, и тренером устроился при команде мастеров...

Потом мы забрели в следующую рюмочную, и снова платил я. Мой собеседник компенсировал мои расходы внимательным слушанием и удивительным внутренним тактом и пониманием, может быть, так думалось спяну. Перебирая несбывшихся жен, мы вслух анализировали мое, ничем необъяснимое бездействие в армии. Тогда я познакомился с милой дочерью военного генерала. Тогда мама девушки, оценив меня, поддающегося дрессировке, отчеканила, начертав мне план дальнейших действий. “Толя, вы ей пока не пишите, она собирается сдавать экзамены, не волнуйте ее до... — полнеющая дама разрешила наши сомнения, предусмотрев каждую мелочь, — вам сразу московская прописка и квартира”. Колян (пил он всегда слабее футболистов) громко и невнятно начал разбирать допущенные мною стратегические жизненные ошибки. Он перечислял “за” и “против”, путался в событиях, требовал вспоминать дальше, вдруг замирал, застывая, видимо, в своем боксерском прошлом.

К вечеру мы непонятно как оказались в другом конце города. Там, в одном из многочисленных корпусов университета я в последний раз встречал Тамару. Я упивался своей памятью, сохранившей многие теплые подробности. Я боялся за Николая, он все-таки занимался боксом, и кто знает, может, у него крыша поедет. Тамара сдавала экзамены на геофак, увидев меня, искренне обрадовалась. Мы обменивались репликами, я обратил внимание на ее нездоровый интерес ко всем без исключения проходящим мужчинам. Она не пропускала жадным

горящим взглядом ни одного существа противоположного пола. Ее повышенное внимание к мужчинам выдавало серьезную внутреннюю проблему (мужики не очень-то баловали ее вниманием). Я тихонечко позлорадствовал, порадовался, что у нее не складывается личная жизнь. Но этим я не мог поделиться с Николаем. Он махнул на меня рукой и быстро исчез в привокзальной толпе, не дав мне возможности завершить сказ о моих шансах...

С легким паром

Смешно сказать, мы, взрослые мужики, подглядывали в бане. Разумеется, смотрели мы не на голых мужчин. Случалось, начальство приезжало к легкому пару с хорошенькими женщинами. Тогда мы устремлялись в одно заветное местечко, известное только нам. Там мы отодвигали довольно легкий шкаф и сквозь глазок, вмурованный в полу, по очереди наблюдали всякие сексуальные чудачества чиновников. О тайне знали только два человека, я и мой гениальный приятель, вставивший сие всевидящее око и поделившийся со мною великим откровением.

Отверстие он проделал перфоратором из помещения, расположенного над комнатой отдыха. Именно там чаще всего случались пьяные оргии и прочие, развлекающие нас представления. Видимость приближалась к идеальной, разве что иногда глазок запотевал, немного раздражая нас во время просмотра очередного “кинофильма” о безнравственном поведении руководителя. Между мной и приятелем присутствовала некая недоговоренность, я бы сказал, неловкость, от нечистоплотности той же тайны, притягательной, дурно пахнущей и никому не нужной.

Так мы и жили от понедельника до выходных, а накануне — в пятницу мы слесарили рассеянно, предвкушали очередной сеанс, торопили медленную рабочую смену. Ближе к обеду завхоз жестом руки поманил к себе двух “фабзайцев” — практикантов, дал разрядку — вымыть бассейн. Это означало только одно — гости непременно приедут, “все билеты проданы”, как любил выражаться мой приятель.

В завершение дня бригады норовили поскорее отправиться по домам. Переодевались скоро, мылись, торопясь, запасливые быстро распивали бутылку вина.

Мы с другом, воспользовавшись общей суматохой, юркнули в глухую комнату.

Дверные навесы и замок мы хорошо смазали солидолом, толщина потолка гарантировала надежную звукоизоляцию. Мы покурили раз, другой, третий, дождалось, пока наступила тишина. Мы прислушались к странному шуму, напоминающему пение во время радиотрансляции концерта. Переглянувшись, мы, не сговариваясь, ловко отодвинули пустой шкаф, сняли с глазка маскировку — маленький кусочек клеящейся

ленты. Первым номером сегодня выступал я. Внизу, сквозь звук приятного профессионального пения, я наблюдал какой-то удивительный праздник, похоже, организованный для высоких чинов из милиции. Разбросанные генеральские и полковничьи мундиры подтверждали мои предположения. Обилие водки, закуски, отсутствие женщин, во всяком случае, в поле моего зрения дам не наблюдалось, меня смущало.

Вдруг я рассмотрел очень известного эстрадного певца советского периода, поняв, голос-то лился не из радиоточки, а звучал живым образом. Голос поминутно вставлял между куплетами - "с легким паром", кланяясь, поднимая вверх бокал с чем-то бронзово-прозрачным. Озадаченный неожиданным сюжетом, я уступил место на наблюдательном пункте нетерпеливому, давно подгоняющему меня другу, шутя: "Смотри, какая парилка, еще не помылись, а уже кричат "с "легким паром"..."

Гонцовский стакан

Меня держали, терпели и любили на производстве как незаменимого гонца. Дни тянулись медленные, согласно пьяным традициям времен социализма. Я бы рискнул назвать их — времена питейные. Наш участок числился вспомогательным подразделением строительного объединения. Он обеспечивал объекты механизмами, выполнял их ремонт и обслуживание.

Я как бывший футболист маялся от медленно текущего времени, метался в темнице цеха, страдая от унылости пейзажа. Я медленно завоевывал авторитет доставкой спиртного. До меня один непутевый слесарь пытался сделаться носителем вещества, уводящего от реальности, но после нескольких неудач его забраковали: "Понадеялся авось на небось..." — как крестом пригвоздили навсегда. Мужики наблюдали за мной не один день и вскоре оценили мою сноровку и быстроту, и утвердили тихой народной молвой — "гонец".

Утром я, как всегда, спешил к своему бытовому ящику. Меня перехватили те, кому было невмоготу: "Ну наконец-то, не раздевайся, пока в чистой одежде, беги за вином", — и вручили деньги. Я пересчитал купюры, оценил предстоящую задачу. Десять бутылок бригаде новой техники, двенадцать на ремонт, три смолокурам, четыре трактористам, плюс поллитра Мишке длинному и мне, всего полтора ящика, ничего себе...

Я летел через холм за оградой, сбивал джинсами росу на чертополохе. Я прыгал через забор, спеша наискось, сквозь фабрику вторсырья. Я хватал большущий бумажный мешок, минуя кричащего сторожа, и огородами — низами неся к заветному гастроному, затерянному в пятиэтажках...

Моя первая гонцовская операция запомнилась смешным эпизодом. Выйдя из магазина, я рассовал бутылки по рукавам со стороны подмы-

шек. Этому меня научил друг Павел Савченков: “Проверяют за поясом и по карманам, а так бутылка как бы продолжает руку и находится вне зоны видимости...” Но телогрейка моя прохудилась, истончилась. Дырка на локте как раз приняла горлышко сосуда и лишь посигналивший водитель с понимающей улыбкой указал мне через стекло, мол, аккуратней. Мне стало нехорошо, я на миг представил, что сделали бы со мной мужики, собравшие последние крохи на опохмелку. Я был свидетелем того, как гонец разбил единственную бутылку на пятерых — на глазах у них же. Отчаянье, захлестнувшее народ, оказалось столь высоким, что самый страждущий, владеющий матерным словом на поэтическом уровне, молча сорвал с головы свою шапку, изо всех сил ударил ею об асфальт, не произнеся ни звука.

Вино разобрали мгновенно, а я отправлялся переодеваться, зная, меня прикроют, если что. Когда-то меня, студента журфака принимали в партию. Мой прораб Стельмах отметил: “Толя не слесарь, но без него работа не ладится.”

В столярке на столе лежало сало и наломанный хлеб. Мишка и длинный ждали меня, как бога. В углу таился безденежный механизатор. Делили на четверых. Я наполнил граненый до краев и выпил на одном дыхании. Наступила тишина. Стакан вина с бутылки на одного из четверых многовато, но закон один для всех: сбегал, купил, доставил — получи свой народный, бескомпромисный — гонцовский стакан...

В пути

Очень странно возвратиться к пассажирскому поезду и не найти его на месте. Не отставайте от своего поезда, это рождает очень сильный и долговременный стресс. Этот невыраженный страх, затаился у меня в подсознании, не давая покоя. Я долго мучился его вездесущим присутствием, его непрекращающимся действием.

Первое приключение в Харькове случилось еще в бытность отца. Мы маялись на многолюдном вокзале, коротали медленное время, ожидая не скорого отправления нашего вечернего состава. Отец с неохотой уделял время детям, но тогда он повел меня на прогулку, купил бутылку лимонада. Окрыленный, я не знал, куда себя деть. Эмоции переполняли и носили меня в четыре стороны. Внутренняя взволнованность взметала меня, дикого ребенка степей и угольной пыли. Ухоженность красавца вокзала, чистота, необычность впечатлений будоражили меня необыкновенно. Батка потерял бдительность, а я утратил контроль над собой. Я споткнулся на ступеньках и — бах — бутылка вдребезги, палец порезался, я испугался и оцепенел от нехорошего предчувствия.

Отец по примитивности своей педагогической залепил мне крепкий подзатыльник, словно занозу вонзил в подсознание еще одну обиду. В

таким состоянии он привел меня в медпункт. Руку перевязали, спросили имя и фамилию, уточнили адрес. Если бы вы знали, с какой гордостью я произнес название своего любимого города! Если бы шахтерская столица могла оценить по достоинству мой патриотизм. Такой я запомнил первую столицу Украины.

Наш необыкновенно прозаичный поезд “Орша — Донецк”, длинный, буднично-прибыл на замечательный харьковский вокзал с приличным опозданием. По невнимательности своей я не внял предупреждению дежурного по вокзалу, пропустив информацию мимо ушей. Я бродил по привокзальной площади, поглядывая на отдаленные церкви, которых не видел в Донецке. Что-то волнующее вызвали из глубин души луковки золоченных глав. Они унимали смятение и зачинали новое, неведомое душе чувство.

Я возвратился с добрым ощущением умиротворения. Я обнаружил, что длинная стена вагонов как-то неестественно отсутствует. Далее все пошло по обычному житейскому тексту. Далее я, крайне растревоженный и беспокойный, обежал все платформы, хотя и так было видно, что моего состава нет. В тот миг я подумал о том, какой я несчастный человек. Ничего, кроме чувства горя и безысходности, я не испытывал. Я смотрел на гремящие вагоны и мучительно решал, что же делать. Я видел себя птицей в клетке, я отчаянно бился о перрон.

Начальник вокзала такие вопросы решал не в первый раз. Во всяком случае, он привел меня в чувство, видя мою потерянность. Он возвратил меня на землю и сориентировал. Страх улетучился, телеграмму послали на маршрут, чтобы мои вещи сняли на одной из станций, а меня устроили на один из проходящих поездов. Три часа я нетерпеливо пребывал в тревоге, прозябая в рабочем тамбуре один на один с сигаретами.

Три часа неизвестности отняли все мои эмоциональные силы и создали ощущение после тренировочной усталости. Я выскочил на долгожданный вокзал, побежал к дежурному. Мне быстро вернули вещи. Вскоре на другом поезде я летел в гости к маме после долгого и утомительного футбольного сезона. Вторым, менее сильным огорчением было видеть свои вещи перебранными, просмотренными, потревоженными как после обыска. И, слава Богу, я выплеснул те крайне болезненные чувства...

Книги, книги, книги

Нет и в помине того школярского рассматривания новых книжных поступлений, какое случалось в период повального дефицита, в эпоху странного социализма. Ведь страшная борьба велась за печатные издания иных и многих авторов. Люди рвали души и сердца в неравной борьбе, желая заполучить любимый том желанного прозаика, запрещенного поэта. И мудро изречено: “Невежды вставали и брали себе небо...”

Теперь я по-прежнему с благоговейным трепетом двигаюсь вдоль книжных полок, уставленных самыми разнообразными и востребованными изданиями. Я испытываю к себе противоречивые чувства, и преобладает в их мерцающей кровоточащей массе довольно жестокая жалость вперемешку с горьким разочарованием. Смятение возникает от ощущения, будто ученость и вовсе не нужна, будто зависимость от неба имеет меньшее значение, чем финансовая независимость. Будто книги, едва ли не главное богатство человека, едва ли не единственное, чем нужно прежде всего дорожить, уже не способны никого волновать.

В мою молодую бытность общество вполне можно было назвать как общность, впадающую в волнение при виде книг, при мысли о книгах, при разговоре о них. Я подметил силу печатной продукции быстро и сразу. Несмотря на то, что я постоянно пребывал в естественной беспечности футбольного безделья, житейская практическая хватка у меня оказалась по-бульдोजьи цепкой. Я познакомился с продавщицей Зоей и предложил ей построить обычные для того времени отношения “ты — мне, я — тебе”. И так я получил доступ к тайнам центрального книжного магазина города Орши. Моя знакомая проводила меня на книжный склад, выкладывая передо мной новинки, которые не доходили до массового читателя. Мой кошелек таял на глазах. Часть книг я вез на продуктовый склад, меняя на продукты, и доставляя их Зое. Всех все устраивало.

Следует признаться, мои прихоти и книжные желания исполнялись, словно по воле богов. Тогда в пору было явиться высокомерию. Я отсылал красивые тома к родителям потому что в общежитии складировать и оставлять книги не представлялось возможным. Я ехал в очередной отпуск и радовался своему сокровищу. Первое огорчение свалилось на меня, когда я вблизи осознал, что отец-то имеет всего три, да и то неполных класса образования. По простоте своей он посоветовал мне приобретать романы о разведчиках и военные приключения. Я с трудом подавил ироничную улыбку. Вторым разочарованием свалилась на меня новость, что книги наивный отец отправлял на сырой и непригодный для библиотеки чердак. (О господи!) Если бы родитель представлял истинную ценность того, что он вот так взял и наполовину привел в негодность. Если бы он вообразил, что на эти деньги он мог бы построить еще один дом!

Трудно выразить словами мои эмоции. Но я еще не знал о третьем подарке судьбы.

Моя будущая жена прислала письмо и плакалась в нем о беременности. Посочувствуйте мне, мужики! Денег ни копейки, все прогулял, все пропил с друзьями. От новости, как вы правильно меня понимаете, я не пришел в восторг. Я взял японский зонтик и с помощью друга Санька продал его, чтобы приобрести билет и погасить дорожные расходы. Долго я печалился над книгами. Наконец, я собрал мужество,

проглотил горечь и досаду, понес библиотеку в букинистический отдел. Заведующая отделом танцевала вокруг моей наивности и сдувала с меня пылинки, оценивая книги по номинальной стоимости, минус двадцать процентов комиссионных. Я отрешенно молчал, и слезы текли по моей беспокойной душе. Я еще не знал, что на книжном рынке я бы выручил втрое больше. Я еще не знал, что не следовало сдавать библиотеку, что вообще не придется жениться на Тамаре...

Жодинские переживания

У меня была навязчивая идея, можно сказать, мечта — где-нибудь купить импортные лезвия и сделать подарок отцу, который брился отечественной, тупой “Невой”. К слову, во время утреннего бритвенного ритуала с использованием советской “Невы” у мужчин буквально отвалились весьма чувствительные места. При этом любовь к Родине отходила на задний план и покидала сердце навсегда. Как обычно, нужные лезвия долго не попадались мне на глаза, пока мы не приехали в Жодино играть с командой “Торпедо”. Небольшой городок, известный на весь мир автомобилями “Белаз”, запомнился тихими пьяными мужиками, добрыми людьми, гостеприимной столовой.

В общепитовской богадельне хорошо кормили, плохо считали, чем мы и пользовались. Девушка-практикантка из глубинки явно не ориентировалась в чеках. Она смотрела на молодых парней с удивлением, обожанием и чувством вины. Она находилась в прострации молодости, эмоций, похоти и чувств. Она поднимала на нас свои красивые горящие огнем глаза и подавала все то, что мы называли. Скромностью мы не страдали и, не моргнув глазом, подсказывали ей удобный для нас ход мыслей. Вскоре, насыщенные и сонливые, мы изучали неоживленные улицы, местные достопримечательности и убогие советские магазины.

В одном из отделов я высмотрел желанные лезвия. Я воспыла любовью к родителю, купил блок импортной английской продукции, посуетился на почте, получив взамен чувство огромного удовлетворения. Потом мы тянули время до игры, посмеивались над Аркадием, правым защитником, вспоминая, как в минской поездке у него стащили авоську, приспособленную для форточкой. Случай был свежий и пока еще действовал на воображение, смешил и развлекал. Одни уверяли — божье наказание за что-то, другие считали, нелепый случай, третьи злорадствовали, что сетку с сырокопченой колбасой украли у Аркадия.

Вечером мы проиграли игру с крупным, разгромным счетом. Мы не выдержали натиска хорошо сбалансированного коллектива, мобильной полузащиты и быстрых нападающих. При счете 2-0 судья дал пенальти в сторону хозяев. Я исполнил одиннадцатиметровый штрафной удар крайне плохо. Я пробил прямо во вратаря, но голкипер бросился в левый

от меня угол. Если смотреть со стороны, все выглядело чинно и красиво, но я-то знал, что мяч у меня срезался. Дальше соперник переиграл нас по полной программе, забив еще два гола.

Радости неожиданной от игры у нас не получилось. Горечь поражения усугублялась еще и крупным счетом, предчувствием стыда перед болельщиками и начальством.

Мы наскоро перекусили, слонялись вокруг стадиона, все как один поросшие щетиной. Перед встречей у спортсменов игровых видов не принято бриться. Это хотелось объяснить каждой девушке, которая, как нам думалось, хотела бы узнать, почему же мы в таком небритом безобразии. Аркадий же реализовывал мечту. Он хотел купить дочери велосипед, но был нравственным калекой. Он появился за минуту до отъезда, везя детский, складной, новенький, как он потом рассказывал, “взял у магазина”, у такой же замечательной девочки, как и его дочь. Я возненавидел Аркадия, я пожалел, что не соблазнил его неинтересную жену. Я взвалил на себя чувство вины и все возможные последствия за ту моральную травму, какую получил неизвестный бедный ребенок. Я долго представлял невинную душу, плачущее личико мальчика или девочки, когда он или она выйдет из магазина и почувствует себя несчастным и одиноким.

Рыжий

Без тягостных колебаний я предался греховному намерению, вполне соответствующему моим нравам, и моя неразумная плоть продалась медовому чревоугодию. Вскоре и душа моя присоединилась к жидкому дивному продукту. Мед, похоже, был настоящий, ядреный, почти ядовитый. Его золотистая мутная масса, схваченная зараз, жгла и будоражила в горле всякое желание съесть еще одну ложку. Мед принадлежал моему напарнику по комнате общежития — рыжему. Я делал скидку на его деревенскую туповатость и недогадливость и прощал ему не щедрость, скупую забывчивость, принимая их за повеление мне своевольничать и действовать. Я мстил рыжему за его жадность, за то, что он такой глупый, за его рыжие волосы, за его рыжую натуру. Он отправлялся на работу, а я превращался в крысу и брал без спроса его продукты.

Я смаковал медовый вкус и любовался дальним берегом реки, протекающей ниже нашего общежития. Я не тревожился о последствиях медового вторжения, тут же заглаживая следы преступления точно таким количеством сахара. Мед почти мгновенно принимал сахарный песок, растворяя белые крупинцы в солнечном чреве. На том берегу реки печально трезвонили церковные колокола, призывая прихожан к обедне и звеня мне о покаянии. Так как я еще не был вразумлен действием свыше, я продолжал наказывать моего рыжеволосого товарища всякими придуманными пакостями.

Что за странное явление? Какова причина его возникновения в моей душе? Но божье озарение пока не коснулось моего сердца, не осветило его небесным милосердием. А тайники моих глубинных страданий еще крепко хранили свои божественные тайны, не желая их раскрывать. Анатолий, что там, в твоих глубинах, сын Адама? Я не голоден, но отрезаю ножом пласт сала, быстро укладываю свиной продукт на место, расправляя складки оберточной марли так же непринужденно, как и было.

Моя мстительность всеильна. Вчера этот рыжеволосый козел слово в слово передал уборщице мои откровения о прогулках с ее дочерью. Помимо того, что мужики так не поступают, мне сказать нечего. Бить его по рыжей хитрой физиономии рука не поднималась. Значит, оставалось мне томиться, вертя себя в собственных оковах греховных желаний и нечестных побуждений. И вспоминать свое глупейшее самочувствие, когда разгневанная техничка, возмущенная моей болтливостью (я тоже хорош), в присутствии рыжего друга моего (впору сгореть со стыда), выговаривала мне, отчитывала меня.

Вероятно, видя во мне будущего зятя (размечталась, дочь у нее как невеста слабовата).

Еще я мучился вот чем. Я много рассказал своему соседу такого, о чем следует знать лишь друзьям, доверенным лицам. Излишняя откровенность мучила мою совесть. Я никак не мог расторгнуть то, что избавило бы меня от негативных переживаний. Я не мог принять настоящей положение дел. Я стоя жевал сало с черным хлебом и без интереса глядел на молодую пару, сладко целующуюся у реки прямо напротив меня. Что-то не отпускало меня и мое недовольство, удваивая удары страха и чувства вины. Что-то мешало мне принять моего деревенского парня таким, какой он есть. Зло мстительности, по всей видимости, укоренилось во мне, действуя ловчее формирующегося добра.

Пусть будет, как будет, подумал я, вспомнил, увидев источник раздражения, смотря в окно и отмечая, что молодая влюбленная парочка слишком долго целуется. Несколько месяцев назад я принес и показал деревенскому парню парнографический журнал и тем поверг его в ужас. Он перестал спешить, обернулся вспять, мгновенно отменил какие-то там срочные дела и застыл с журналом в нерешительности, явно смущаясь моим присутствием, даже тяготясь им. Пустыжовое легкомыслие и глупое тщеславие дергали меня за уши, теребили мое самолюбие и радовали, что мне удалось удивить противного парня с рыжим характером. С тех пор я не люблю рыжих людей...

Больничные листы

“Погоди, я еще проверю твои оправдательные документы, — хитро, по-крестьянски, смотрел на меня мастер участка, — ты у меня не отвер-

тишься...” Я стоял в прорабской, опустив голову, наблюдая, как мой начальник в десятый раз всматривался в предъявленную мной повестку из военкомата. Еще час назад амбициозный начальник планировал уволить меня за прогулы, за то, что я такой умный, за преждевременные уходы с производства, за систематическое опоздание на работу. Еще сутки назад он, возмущенный большим количеством больничных листов за год, пытаюсь вникнуть в них, не находил нарушений.

С некоторых пор я начал честно уходить на больничное сидение. Вызывал участкового врача. Она приходила, что-то писала, слушала дыхание, смотрела горло и заполняла светло-голубой корешок, ради которого все страдания. И зачем мне очередное освобождение от производственных обязанностей, если, глядя в глаза медленному времени, я мечтал лишь об одном, отключить сознание вином.

Еще я приспособился брать больничные листы в ведомственной поликлинике. Врач нашего участка ко всему прочему обслуживал наши игры на первенство города по футболу, следовательно, с освобождением проблем не возникало. В ответ я отдаривался абониментами на книги. С другой стороны мне нравилось сидеть на больничном по уходу за ребенком. Моя первая жена с неразвитым материнским инстинктом поддерживала мой порыв. Так мы с дочерью “болели” несчетное количество раз.

Порой, прости Господи, я притворяясь, обращался в травмопункт с ребром и предплечьем. Снимок, как правило оказывался туманным. Но меня одевали в гипс. Я чувствовал себя несчастным, жалким, убогим. Поэтому можно было понять негодование мастера, перебирающего синие листы из разных ведомств, не поддающиеся проверке. Поэтому, когда я прогулял три дня, когда меня трижды не нашли на работе, мастер решил, что пришел его час.

А я от безысходности отправился к военкому, вошел, упал на колени, пояснил суть дела, пообещав военным любое изделие из дерева, соврав, что я классный плотник. К вечеру полковник осмотрел то, что заказал, похвалил. Он еще раз выяснил, не убил ли я кого-нибудь за те три дня — справку давали задним числом (в этом заключался казус ситуации), выписал документ.

К началу смены следующего дня я вошел в прорабскую, выложил на стол повесточку, отшагнул, опустил голову. Не вникая с первого раза, мастер еще и еще раз перечитывал содержание. Он багровел, белел, дергался, снова брал в руки повестку, чувствуя, что я опять ускользаю у него из рук, что правда снова на моей стороне...

Сказочный бизнес

Времена начинались темные, времена приближались смутные, и происходили они в правление Михаила Горбачева. И осуществлялись потря-

сения экономические с неудобствами местными, возмущениями народными, роптаниями локальными. И касались они святая святых — вещества наркотического, вино-водочных изделий, ежедневно исчезающих.

И вознамерился я заняться бизнесом — водочки привезти с Украины в столицу Белоруссии тихо и незаметно — пятьдесят бутылочек. Хотел я купить зелье бесовское по пяти рубликов, а на точку сдать по пятнадцать рубликов и заработать денежку легкую.

И алчностью движимый, ринулся я в столичный град Донецк к матушке, да к сестрам моим родимым в гости. И пил я в гостях вещество спиртосодержащее, что духом переводится и духом божьим унимается. И мамушке надоел, и соседа-ревнивца утомил — зыркала его жена пышнотелая на меня глазами похотливыми, украдкой целовала меня в губы горячие в темных сенях, покуда мужинек грозный огурчики из погреба доставал, самогонку в тайнике дожевывал. И грела меня мысль, что пятьдесят бутылочек-то куплено, что пятьсот рубликов доходу-то — ожидается.

И ворочался я в беспмятстве безумном, в постели отчей, от жажды изнывая, не ведая, как домой добрался. Да как напомнила утром матушка про деянья мои вчерашние и про то, как по-свински по углам испражнялся, как муть сквернословную во сне изрыгал, в животное превращаясь.

И настало время отъездное, печальное, слезное. И потянулись плачи-расставания, поплелись разговоры дорожные, прощальные. И поднял я сумочку тяжеленную, и заныли мои рученьки, и душа страхом наполнилась, мол, не доведу, да бизнес мой горемычный силы придал.

И, дрожа, садился я в поезд пассажирский, и, бутылочками звеня, пугался милиции доблестной и грозной. И от страха-то водочку-то откупорил, пассажиров угощением задабривал из желанья тайного и необъяснимого. Молодого мужа назло жене его топил в зелье всю дороженьку, скандал в их семье надолго поселивши, мук совести не испытавши.

А как в Минск-то добрался, не помню, как сумищу проклятую к бабке Агапке приволок, не ведаю. И запросил по двадцать рубликов за товарец ходовый поначалу. Но хитра зело бабка Агапка, стаканец мне напузырила, другой набулькала, салаты разные на стол поставила. И подобрело мое сердчущко горемычное, и сторговались мы на тринадцать рубликах.

И домой придя без водочки, сироткою себя я почувствовал, выпить возжелавши, впечатление произвести вознамерившись. Соседа угостить нацелился (царствие ему небесное и жене его блаженной).

И оставил я у бабки проклятушей все денежки, водку свою же по двадцать пять рубликов за две недели выкупивши, на точку тайную являясь и днем и ночью.

И молили мы языком время смутное, и, глядя на пустую бутыль, в путь дорогу собирались прогуливать мой сказочный бизнес...

Тишина

Право же, я не знал, как прервать близкие отношения с Татьяной. Ее муж отсутствовал, мы греховодили. Цвели каштаны, хорошели березки, парила земля. Бредя по легкомыслию, мы не замечали ничего вокруг. Если бы не боязнь приезда мужа, то алкоголь и захлестывающие меня эмоции сделали бы нас счастливыми. Разум противился продолжению опасного романа, воля, парализованная спиртными напитками, ослабела, не сопротивлялась.

Вчерашнее бессонное бденье, дерганье при скрипе пружин разбитого дивана, хрип лифтовой камеры вымотали меня. Я не забывал о том, что Коля — кузнец, именно кузнецы в мировой классификации силачей — лидеры. Как-то, глотая водку у Николая на работе, я наблюдал, как он урезонил агрессивного борца-крепыша, скрутив его клещевидные ручки. А недавно, топчась у винно-водочного отдела, я отметил, как он ударом уложил громилу. Толстяк так и остался лежать на асфальте, крепко взволновав нас возможными последствиями.

Смута на душе усиливалась, но похоть не могла отказаться от легкомысленного секса да еще с чужой женой. Мы курили с ней в моей квартире. В осторожном полумраке, Татьяна ластилась, творя чудеса изобретательности, а мое сердце стучало не там, где надо. Мои ощущения безглагольно вестили тревогу. Моя душа не лежала к близости, а крайняя плоть вела себя импотентно. Время приезда мужа мы отметили беспокойным перекрестным взглядом. Таня уверяла, “не приедет...” — от чего внутри становилось еще нервозней.

В дверь забарабанили так, как стучат из преисподней, призывая грешников опомниться. Странно, что не позвонили, ведь голосистый звонок пребывал в полной исправности. Наступила доисторическая тишина. Дух Божий еще не носился над землею, но тьма над нами и над бездною сгущалась. Коля стучал с периодичностью перекура и выпитой “сотки”. Не веря в наше присутствие, он тактично не вышиб дверь могучим плечом, хотя и держал нас в жуткой неизвестности. Я не представлял встречу с ревнивцем, ворвавшимся в квартиру, в которой находилась его пьяная жена, сидящая на разбросанной постели. К тому же я жил на девятом этаже. К тому же у решительного Коли жил опыт решительного выпрыгивания из окна.

Тогда он застал Таню с мужчиной в постели. В таких случаях для мужа есть два выхода: или убить обоих, или направить агрессию внутрь. “Сейчас выпрыгну” в сердцах крикнул он, пытаясь хоть этим разжалобить разбитную жену. “Ну и прыгай...” — ответила Таня, и человеческое существо выбросилось с пятого этажа в руки пролетающего ангела. И опустилось с допустимыми увечьями на оснеженный склон. Как известно, важнее полет, а не слава...

Мы оба помнили о том, сидя со вздыбленными волосами, не шевелясь. Воображение рисовало страшное, душа холодела в пятках, ночной сквозняк щекотал ноги. Я чувствовал себя бесполом существом, проклинал Татьяну, свою неразумность. За полночь звуки затихли, а мы так и просидели до утра, едва дыша, не замечая зябкости.

Рано утром мы босиком выскользнули из квартиры, ринулись вниз по лестнице, установив мировой рекорд спуска. У подъезда мы расстались без слов, договорившись о действиях заранее. Таня пошла домой якобы от подруги. Я же, спеша, двинулся вдоль стены, оставаясь в зоне невидимости. Город еще спал.

Сквозь тишину, сквозь открытую балконную дверь вдруг донеслись крики избиваемой жены. “Ой, Коленька...” — разобрал я, шумно ускоряясь, кляня предательскую тишину...

Виноградный сок

Раздается звонок. Мой друг (ныне покойный) Павел Савченков кричит на том конце провода, что нашел мне место на станции техобслуживания “Пежо”. Как раз то, о чем я мечтаю — дежурство — сутки через трое.

Глупое, скажу, состояние устраиваться на производство, имея профессию слесаря околоспортивных наук, ощущение горечи оттого, что ты не состоялся как звезда футбола, что ты журналист без стажа, что диплом выпускника механико-технологического техникума тебе не понадобится, что ты банальный распространитель книг и трезвеющий алкоголик. Начальник охраны Александр Иванович Радкевич, узнав, что я не пью, доволен. Он высоко оценивает мою трезвость с практической точки зрения, потому что на употреблении в его коллективе “сгорают” многие высокие чины.

Итак, после продолжительного алкоголизма я веду себя, точно школяр. А что вы хотите, инфантильность вперемежку с эмоциональной незрелостью — штука неизлечимая. Мой друг Павел Савченков, с которым мы вместе играли в футбол, вместе делили краюху хлеба в общаге, тоже не пьет, посещает вместе со мной занятия Анонимных Алкоголиков. Мы с Павлом по наивности стремимся отрезвить заблудших своих коллег, чем развлекаем их и смеем. Во время дежурства я занимаю телефонный эфир двадцать восемь раз, ровно столько номеров телефонов числится в моей записной книжке. Как будто действует телефон доверия белорусских анонимных алкоголиков. А страдающие души алкоголиков, нуждающиеся в помощи, изнывают от жажды, от желания высказать наболевшее. И многие спасаются, звоня мне в ночное время.

А пока в новой трезвой жизни я иду по темнеющему периметру “Пежо”. Ужас охватывает мою душу. Точно, как в далеком детстве, я,

напуганный мамиными сказами о бабях и прочей нечисти, не мог переступить грань тьмы, чтобы пройти несколько сот метров по неосвещенной улице поселка. Тогда я стоял и рыдал, словно передо мной находилась неприступная линия Манергейма. И теперь я, взрослый, глядя на непроглядную сень деревьев, пугаясь темных углов, испытываю тот же ужас.

По пути встречаю председателя правления “Пежо” Леонида Яковлевича Фридлянда. Он сулит помощь при издании моей книги стихов и, уходя, роняет: “Скоро переведем вас на другие деньги...” Я долго жду обещанное, но председатель уезжает в командировку и я, обидевшись, увольняюсь, унося в душе зависть, озлобленность и мстительность.

После полуночи наступает относительная тишина, таксисты спуют не так часто. Я забираюсь в общий холодильник, с жадностью жую бутерброды, оставшиеся после какого-то застолья. Боясь быть уличенным, гонимый тревожностью, хватаю пару бутиков, пакет виноградного сока, выметаюсь из приемной и прячусь в свою неосвещенную будку. Из тьмы возникает тень, материализуясь в человеческую фигуру. Призрак, как выясняется, в прошлом наш слесарь. Порассуждав о жизни, он почему-то оставляет мне бутылку водки, кольцо ароматной краковской колбасы, после чего так же неожиданно исчезает. Я мучаюсь присутствием водки: разбить — глупо, отдать — жалко, хранить — тревожно. Но вспоминаю о виноградном соке, делаю глоток и в ужасе отбрасываю пакет — там вино. Отплеываюсь долго, выпиваю из чайника всю хлорированную воду, открываю дверь, бью с носка в пакет. Проклятая упаковка, шурша, изрыгает на асфальт красные следы. А я думаю о том, сколь коварен и непредсказуем алкоголь, как зыбка и трудна трезвость.

Кавказцы

Собаки кусаются — быть страху перед четвероногими братьями всю жизнь — гласит моя личная мудрость. Я пытаюсь проскочить мимо Шарика, охраняющего дом маминой подруги тети Поли. Я не обучен общению с братьями меньшими, в результате получаю то, что получается в таких случаях. Шарик точно следует инстинкту, реагируя на убегающую жертву. Боли не остается, а неистребимый страх впечатывается в подсознание на всю жизнь. С той поры существа собачьей породы на шкале ценностей располагаются у меня на последнем месте. С тех пор я равно реагирую на злых шавок, на шумных дворовых сторожей и на породистых красавцев.

С тем и прогуливаюсь с Тamarой, несостоявшейся женой, идя мимо семенящего овчара. С тем и прикрываюсь Тamarой от нюхающего все и вся зверя, оцепенев, шепчу “Не шевелись...” На что удивленная и возмущенная Тaмaрa бубнит: “Нет, чтобы меня защитить...” И замолкает, потому что она пока еще не жена и старается вести себя хорошо.

Много лет спустя мы гостим с первой женой у ее друга (я думаю, что она с ним спала). Всякий раз ко мне подвливает огромный дог, утомляя игривым мельтешением. Всякий раз я умираю от страха при виде этого гнусного животного. Герой умирает один раз, а трус тысячу раз, гласит народная глупость. Теперь я знаю, многие пословицы можно и нужно редактировать, потому что трусливых людей нет вообще по сути. Поэтому что следует говорить: от тюрьмы, от сумы и от первой рюмки не зарекайся. Похоже, становлюсь мудрым...

А Бог посылает мне пинчера с помесью дворняги, с задатками циркового пса, к тому же лающего на трех языках. Вначале песика покупают для дочери (дочь тогда еще не переехала ко мне). В первую встречу я кажусь псу родственной душой, и он выбирает хозяином меня. Я плачу ему вниманием, нерастраченным на семью, любовно кормлю его прожеванной курицей с руки. О его прыгучести я мог бы рассказывать чудеса. Я прогуливаю его по-королевски, я балую его, как балуют детей богатые родители. СЭМ, так его кличут, снимает комплекс, унимает большую часть собако-фобий. А соседская овчарка Керри, удивительная и свободная от воспитания, приводит собакобоязнь в норму.

Но вот я устраиваюсь механиком-диспетчером в “Белкарго”. Коллега знакомит меня со страшными, стоящими в клетках кавказцами. В самом деле, кавказцы добрейшие собачки большого роста и все. Через пару месяцев я легко справляюсь с ними, развожу по периметру, а утром снимаю. И надо же было сорваться этому молодому головорезу! Напарник в сей час досыпает свое время. Два водителя возятся у кабины. Мимо них несется длинношерстая тень. Они, словно космонавты на луне, с места впрыгивают в кабину. Минут сорок они наблюдают, как я ношусь за кавказцем по кругу, меся полуметровый снег. Моя телогрейка дымится, сердце барабанит дробью. Вскоре открывается не только второе дыханье, но и третье. И я начинаю обгонять пса, чувствуя, что он догоняет меня.

Поистине, отчаешься, и Бог помогает. Мой мучитель вдруг замирает на склоне, отзываясь на мое хриплое и отчаянное: “Ко мне!” — и покорно ныряет в ошейник.

В пересменку я ничего не рассказываю напарнику, боясь насмешек. Я пока еще очень уязвим в социуме на четвертом году трезвости...

Галина

Ах, Галина, Галина, откуда ты взялась на мою голову? Откуда ты вообще? Я увидел Галину в текучке города. И все. Дернула же меня нечистая сила — набрать те шесть цифр. Мог ли я предположить, что львы по гороскопу, влюбляясь, сходят с ума чуть безумнее, чем остальные. Конечно, частично я бы мог возложить вину на свою нетрезвость,

сослаться на одиночество. Но как в таком случае объяснить мою забывчивость в отношении дочери.

Четыре недели в пьяном похотливом угаре пролетели мгновенно. Галя бросила мужа, девочек-близнецов, поселилась у меня. Бедный, сходящий с ума супруг, с детьми колесил по району, ища своенравную супругу. И он-таки вычислил нас, он просчитал меня, опросив соседей, собрав инфо об одиноких мужчинах. Вначале он запеленговал нас на стоянке такси, рванулся к нашей машине, но моя любовь — хлоп — по фиксатору и застопорила дверь! И приказала ничего не понимающему водителю: “А ну-ка прибавь газу, мы опаздываем...”

На следующий день на рассвете мы, как всегда, рано покинули мою холостяцкую квартиру, дабы прогуляться перед работой. Ах, как легко бежал за нами ее неспортивный супруг! Ах, как устрашающе цокали по асфальту набойки его дорогих туфель! Он несся свысока и казался преувеличенно огромным через призму моего страха. Гулкие звуки в тишине просыпающегося города укрупняли глупую встречу с ревнивецом. Слава Создателю, мужик оказался интеллигентом, а не агрессором. Он погавкал на меня весьма невразумительно, я же проямлил что-то про каратэ, прозвучав писком комара. Галя же спокойно проговорила: “Ударь меня по очкам...” И они двинули под его бдительной охраной вслед дребезжащей утренней мусоровозке...

Ах, какая стыдоба одолевала меня, когда я слушал рассказы дочери о том, о сем: “Ты, папа, раньше приходил каждый день...” И сердце, обрываясь, летело в бесконечное чувство вины. На том завершиться бы роману, на том, порешили пришедшие ко мне ее родители, всему и оборваться бы (мама и папа Гали провели моральную инвентаризацию меня). О том и муж глаголил. Он пришел ко мне (не агрессивно), попросив меня не впускать Галю на порог. На том и ударили по рукам.

Она же, периодически напиваясь, звонила в дверь, но я силой выталкивал ее на лестницу и захлопывал дверь. Она же вновь звонила, звонила, звонила.

Позднее жена моего приятеля выловила своего мужа и мою Галину в постели, выплакалась мне, отдалась мне от горечи и печали, что удовлетворило мои сексуальные амбиции. Разочаровавшись в Гале, я понял, что все пьющие женщины одинаково стервозны. Я вырвал ее из жизни, помня ее удар ниже пояса. Однажды, засыпая, она сравнила меня с мужем, убив мое чувство.

Бросив пить и курить, я перестал интересоваться Галиной, помня, что она, выпив, требует сигарету, а покулив, просит рюмку. И так до бесконечности...

Однажды я куролесил с Людкой. Неожиданно возникла совершенно пьяная Галина. Мы усадили ее за стол. Женщины немного порычали друг на друга, выясняя, кто в доме хозяйка. Вдруг уснувшую гостью

мы уложили спать, занялись экстремальным сексом, поглядывая на храпящую женщину. Люська убежала рано утром, а я долго томился присутствием женского существа, жаждущего опохмелиться, довольный тем, что ей плохо, не прощая измену. И втайне радуясь, что мне все известно о ее непорядочности...

Фигура на простыне

Моя гражданская жена Елена, заходя упредив меня по телефону, появляется, как правило, один раз в неделю. К ее приходу из чувства вины я закупаю продукты, забиваю ими холодильник, наполняю отделы экзотическими фруктами (в основном для дочери от первой жены, которая по согласию жены живет у меня).

К явлению благоверной я быстро очищаю балкон — от бутылочных излишеств — недельная норма моего питья с соседями (за мой счет), Господи, какие времена ушли! Лишь единожды, не успев провести уборку тары, я услышал от наивной женщины: “Ты, наверное, уже полгода посуду не сдавал?”

В ее пришествии заключается тайна моей короткой трезвости. Я терпеливо сношу тремор, панически боясь первых блюд, расплескивающих в ложке у самого рта. Я жую лавровый лист, заварку, лишь бы заглушить неистребимый перегар действующего алкоголика, надеясь, что моя половина ни о чем не догадывается, а дымящееся дерьмо, под названием “Прима” хоть как-то приглушает сивушный дух.

В существовании Елены таится великий замысел небесный, приведший меня впоследствии к духовным принципам Анонимных Алкоголиков и к осознанной трезвости. Через ее трудолюбивые руки Первопричинник подал мне первую весть о том, что спасение возможно, что выход есть.

При первом знакомстве с ее родителями, тогда еще моей невесты, я не увидел на столе традиционной бутылки. Пришлось, проглотив обиду, часто ходить в туалет и там, в антисанитарных условиях, глотать из плоской металлической бутылки коньяк, затаив мстительность на тестя (царствие ему небесное). Когда наступила пора красить дом, тут-то я все ему и припомнил, не придя в самый ответственный момент ремонта.

Елена периодически бросает меня, видя меня спящего и пьяного. Женщина разворачивается, роняет дочери: “Передай папе, пусть выбирает — или я, или водка...” Так как я уже давно расположился на краю алкогольной могилы, то Елена своими “взбрыками” выбивает у меня из-под ног опору, заставляет задуматься над тем, что же происходит в реальности.

К тому же меня устраивают отношения с женщиной надежной, не признающей (в отличие от меня) параллельных романов и считающей — мужу нужно разрешать все. Шероховатости в моей позиции стирает

частный домик в престижном районе Минска и весьма дорогая земля, которые я считаю платой мне за то, что я осчастливил их семейство. К общему необременительному семейному комфорту добавляется возможность спать на балконе и таким образом приходиться в себя после пьянки.

В субботний день к нам являются гости с банкой самогона. Меня тревожит только то, что нужно будет спать с женой. Я-то знаю, чем завершится трехлитровая дистанция. В общем, гостей мы отправляем на такси. Пока жена прибирается, я ложусь и проваливаюсь в преисподнюю алкоголизма. Просыпаюсь я от жары и влаги. Недовольная жена с гаммой претензий на лице лежит у стенки с открытыми глазами. Я скатываюсь на пол и вижу на простыне свою тень. Словно кто-то, очертив мою фигуру серым цветом, напоминает о зыбкости бытия, о чем-то очень-очень важном...

Медсестра

В четвертый раз лежу в кардиологии. “Срыв” сердца произошел во время утреннего бега. Чистое безумие — после пьянки носится по холмистой местности, пытаюсь совместить спорт и спирт. Мечта, конечно, дерзкая, но, по правде говоря, неосуществимая ни при таких обстоятельствах. Многие люди пытались установить товарищеские взаимоотношения со спиртосодержащими веществами. Все потерпели поражение, поэтому напоминаю тем, кому предстоит пятнадцать-двадцать лет алкогольного кошмара: “спиритус” переводится как “дух”, и противостоять ему может только дух Божий.

Но сейчас мой сердечный ритм зашкаливает. Меня одолевает страх, смятение, беспокойство. Вызвав врача, я даю ценные указания дочери, мол, если помру, деньги под вазой, мама тебя поддержит (мы в разводе, а ребенок живет у меня).

Скорая помощь мчит меня на другой конец города. В такие минуты снисходит благодать, истекает божья милость, приводя мятущуюся душу к смирению. В такие минуты рождается истинная мудрость, глубже раскрывается смысл жизни, а мысль о том, что истина, справедливость и любовь — вечные и реальные ценности, не кажется идеальной и далекой. Трясаясь на кушетке, я ощущаю приступы саможалости, забиваю голову страхами о смерти. Я возвращаюсь в свету сует, исторгая приступы злобы на тупых владельце авто, не соображающих, что везут меня.

В больнице меня прокапывают, ритм восстанавливается, страхи покидают душу. Начинаются медленные однообразные будни, доверительные палаточные исповеди на фоне монотонности распорядка с подъемами, завтраками, обходом врача, процедурами, таблетками, обследованиями.

Глядя на сердобольных жен, пестующих мужей полными сумками блюд домашнего приготовления, я, знаете ли, не горю страстью к своей

второй гражданской супруге, с которой сожительствую. Общих детей у нас нет. Мое “счастье” является не с утра пораньше, как все нормальные “берегини”, а когда ей удобно. Начинаю мстить, исчезая специально к ее возникновению, теряюсь в бесконечных лабиринтах громадного девятиэтажного корпуса.

Как правило, прячусь у медсестры по имени Людмила, признаюсь, что я владею массажем и часами массирую хрупкие спинки молодых девушек. Вечером возвращаясь в палату, слышу неизменное: “Анатолий, к тебе женщина приезжала...” Злорадствуя, вспоминаю, как в первый раз жена спросила: “Может быть тебе бульончик сварить по-домашнему?” Ну, думаю я, если об этом жена еще не знает, дело совсем плохо. Вечерами я с Людмилой пью водку, мы целуемся, любим друг друга в ночную смену. Утром за ней заезжает муж и журит за легкий перегар изо рта.

После выписки мы условливаемся продолжать встречи, и вот мы эпикурействуем у меня на кухне. Дочь в лагере, жена на работе. Ничто не может нам помешать. Мы “жрем” водяру весь день, и Людмила, не выдержав, совершает малую физиологическую потребность прямо на новый диван. Она так пьяна, что я едва довожу ее до остановки и впикиваю в толпу.

Дома колдую над мочевым пятном, поливаю всем, чем можно, глазу раскаленным утюгом, отчего мочевой дух становится устойчивее. Войдя в прихожую, жена спрашивает: “Что это у нас мочой пахнет?” Притворяюсь простецом, развожу руками, вроде все в норме. И в тайне сожалею о дорогом дезодоранте, распыленном напрасно. Подвел меня французский парфюм...

Приключения

Он поднял на меня глаза, остановил свой взор на мне и принялся делать из меня дурачка. Он решил, что перед ним наивный простака, на котором можно вдоволь покататься. Он собрался развудить меня по полной программе, намекая на выпивку за мой счет, процудупывая меня на предмет кредитоспособности. К тому времени я уже был звездой малого футбола, начинающим поэтом, мастером комплиментов, владельцем завидной библиотеки. В те дни я выучил наизусть пушкинского “Бориса Годунова” и заметно влиял на развитие культуры маленького провинциального города, вдохновляя примером множество ярких личностей. В тот час я слонялся по вокзалу в ожидании скорого поезда, горя священной любовью и благоразумным стыдом к несчастному человечеству, для которого намеревался стать мессией и тем самым спасти неизвестно от чего. В это мгновение на моем пути появился молодой человек, несколько запущенный, с зачатками шизофрении.

Он смутил меня навязчивостью и, как говорят в таких случаях, неадекватным поведением. Он, с грустью замечу, напоролся на блестяще подогвленного спортсмена, причем, пребывающего в самой лучшей спортивной форме. Пусть даже не боксера, не мастера спорта по борьбе. До тех пор, пока он держался на расстоянии, я блуждал в тревоге и добродушии. Мой незнакомец не предполагал, что я из тех, кто наследует царство небесное. Я уклонился в сторону, отметая его фамильярное рукоприкладство, не позволяя держать себя запанибрата. Меня охватывало пламенное желание как-то поставить на место зарвавшегося бродягу. Подвернувшийся дежурный милиционер, как потом выяснилось, уже давно обратил на нас внимание. Я обратился к представителю власти за помощью.

Вскоре я давал показания в комнате милиции. Очень скоро парень впал в приступ или придумал взрыв болезни. В нем словно соединились смертельная скорбь и безудержная радость. Он то становился тих и безучастен, то бун и неудержим. Вызванный врач осматривал неспокойного чудака, а я по нивности, по неопытности вслух при нем называл свои данные, место работы, адрес. Все в жизни, в беспокойном социуме зыбко и опасно. Еще никто не научил меня осторожности. Впрочем, вскоре я был вольноотпущен.

Я несся в скором поезде, в купейном вагоне к любимой Тамаре и чувствовал на себе скромный солнечный взгляд девушки, лежащей на соседнем нижнем месте. Моя похоть предчувствовала приключение и, заинтригованная самим действием, затомилась. Девушка оказалась тем типом, которому я нравлюсь. Я совлек с себя все мирское вместе с платьем, собираясь прилечь, и перевел взгляд на милое существо, оказавшееся студенткой из града Петра. В наших сердцах бушевали бури любви и страсти. Девушка издавала пугающие меня возгласы. Все заглушало громыханье поездных сочленений.

Я возвратился в простую непритязательную обстановку общежития и своего проживания. Я обнаружил взломанную дверь, пропажу некоторых вещей и гитары, столь нераздельной со мной, со всеми моими привычками, вкусами и всем холостяцким существованием. Негодуя неизвестно на кого, я испытал немалый стресс, на миг предавшись воспоминаниям. Многие связывало меня с гитарой в трудной цепи самоутверждения. Мне, как никогда, захотелось сыграть что-нибудь любимое из личного репертуара. Но шестиструнного инструмента не стало.

Я вдруг отчетливо вспомнил картину в милиции и свою тревожную мысль о том, что, возможно, парнишка запомнит адрес, что зря я произношу вслух личную информацию. Я легко воскресил его глаза, вспыхнувшие недобрым лукавством, полыхнувшие огоньком мстительности после того, как я надиктовал милиции свой точный адрес. Я помню, взор его тогда стал решителен и тверд. У меня нет доказательств того, что в

моей комнате побывал именно тот странный пришелец из ирреальности. Его недобрая усмешка, наполненная колючей злобой, так и осталась косвенным фактом его мифической причастности в цепи случившихся со мной приключений...

А можно было бы...

И, казалось, конца не будет этому произведению без сюжета, но максимально правдивому и честному. Казалось, я брошу эту изнуряющую меня исповедь, состоящую из двухсот маленьких откровений, каждое из которых равно шедевр классики. И возьмусь за обычную версию примитивного романа. Мои герои бесконечной чередой пройдут перед вами, они станут известными и популярными, они примутся рассуждать на поле битвы, удивляя вас своим мужеством, поражая преданностью Отчизне. Мои мужи и женщины превратятся в образцы для подражания или застынут в памяти потомков жалкими предателями.

Прекрасными рассуждениями, светлой моралью и добрыми поступками они явят людям новые примеры для мысли. Но как остро хочется услышать хоть от кого-нибудь правду, узнать, что же там, в потемках души человеческой, противоречивой, желающей сотворить вовсе не то, что вы видите, думающей не о том, что звучит из уст. Как никогда раньше, люди устали от кривды и невежества. Эти здравомыслящие люди (их становится все меньше), всецело отдавшие себя служению истине ради исцеления всеобщего, изнывают от тоски по естественности, по непритворству. Чтобы в мире темном и хмуром, в поле отчем и ветреном, в доме зыбком и незащищенном густые темные сумерки нечестности не довели над душой, чтобы чувство Родины возродилось без обмана. Ведь уже давно человек не видел себя настоящего. Ведь он стремится в будущее, которого нет. Пути нет, цели нет, что же делать? Начинать с самого себя. А для этого нужно выдернуть себя из-за спины!

Вот я и проникся любовью к мудрости и чести. Вот и презрел я призрачное счастье неправдивой картины мира. Вот свободно посвятил себя ее исследованию. И пришел к выводу, что в подавляющем большинстве писатель пишет не то, что есть на самом деле. И происходит это вовсе не из боязни чего-то. Поиск и обретение истины, который следует ценить выше всех иных наслаждений, процесс крайне болезненный. Наслаждения плоти и сокровища земные значительно ближе всего остального. А тут предлагают показать какую-то скверну человеческую, предполагая свое внутреннее благополучие. А тут еще недуг похоти, какой весьма удобно видеть в других людях. Тут же следует рассказать, как ходил неправыми путями святотатственного заблуждения. Как предпочитал его другим учениям, крича народу о счастье, о выдуманном, мифологическом царстве.

Клонит, клонит голову сильная дремота, неодолимая ничем. Сейчас самое время рассмотреть себя по совести, а не враждебно оспаривать реальную действительность. Ближе к полуночи она рассеивается, и вновь на бумагу ложится версия, зовущая в никуда. И ты вновь медлишь выдрать себя из тьмы глухой души заблудшей. И вновь, не зная себя, пророчишь, ты, не покайся, и учишь нравственному образу. Даже мне после восьми тысяч исповедей неясно, куда же ты направляешь стопы, куда двигаешь свой путь научения истине других и всех.

Пришел, однако, час, я стою перед миром, наг, и моя совесть обличает тебя. Что есть твой язык? Где язык твой, есть ли он у тебя, коль ты глаголешь, не зная самое себя. Коль ты не можешь сбросить бремя суеты и назвать то, что тебя волнует по-настоящему. Тебе, безусловно, мешает неуверенность в истине, а твоя преобладающая брэнность давит тебя тяжким грузом ненужного креста. Оставь же версии, изнуряй себя исканиями, угрызаясь от стыда содеянного тобой. Уж лучше бы я творил примитивную версию, а не показывал всем мерзость души своей заблудшей. Да и не нужен мне вовсе этот божественный дар провидца, сумевшего оторваться от потока привычек, где душа чахла и гибла...

У грани честности

Почему? Зачем? За что мне такое наказание — муки вечные за нечестность перед самим собой? Я пытался следовать божьим заповедям. Последние исследования библии уверяют, что раньше заповеди преподносились несколько в ином ключе, постепенно искажаясь в последующих переводах или трактовках, приобретая оттенок повелительности: “Не убий, не укради, не прелюбодействуй...”. А следовало бы: “Если ты будешь следовать Богу, то не станешь убивать, воровать, прелюбодействовать...” Может быть, когда-то мне довелось служить ангелом и я подсознательно не принимал духовного навязывания и насилия. И душа упорствовала, оставаясь на своей позиции, ничуть не оправдываясь.

Тем не менее, я продолжал тайно воровать и мелко грешить — по пустякам. Я спешил по офису по каким-то служебным обязанностям, примечая кусок картона, вероятно, занесенного протектором подошвы. По-человечески и согласно моим служебным обязанностям я поднимал твердую бумажку и выбрасывал в урну. Согласно общепринятым нормам и человеческим понятиям. И служебным обязанностям. Я страдал оттого, что не понимал людей. Я мучался оттого, что не знал самого себя. Я не умел жить по-человечески. Даже когда исчерпаны все доводы. Даже когда откинута вся сомнения. И я не знал, как все это называлось, но я слышал и понимал, и бунтовал. Против собственной воли.

Итак, возвращаемся к началу события. Злополучная картонка мешала мне мчаться, неизвестно куда. Она мешала мне нестись куда-то с

большой скоростью. Я воровски огляделся, словно вокруг находились одни взрослые, а я был плутоватым, шаловливым ребенком. Так я всегда поступал в детстве. Наступил момент истины. Мне нужно наклониться и... Я отметил запертую дверь шефа, отсутствие случайных свидетелей. Я потратил бездну энергии, массу усилий лишь для того, чтобы ничего ни делать. Я резко ударил по бумажке носком ботинка, и серый комочек исчез под темно-синим диваном. Я вспыхнул резко и эмоционально (именно то, что мне нужно), погребая мелкое и колющее чувство вины под меленьким пеплом щекокущего страха, осыпанного адреналином.

В обители моей внутренней, в опочивальне сердца моего порой разыгрывались миниатюрные трагедии, невидимые для стороннего наблюдателя. Я кинулся прочь от самого себя, расплескивая по офису капли коричневого кофе. Я показал фигу тряпке, пялящей на меня свои тряпичные очи, сделал вид, что не расслышал зовущий голос веника. Охваченный волнением, я перетоптал крошки у стола, ботинками растер капли на плитке. Я остановился, удивленный безмолвием совести, пораженный системой поведения, основанного на инфантильности.

Я направился на кухню, чтобы помыть тарелку. И тут я почувствовал — мною что-то управляло. Что-то цепко держало меня в путах страха, заставляющего спешить, спешить, спешить, повелевающего бежать от проблемы, по возможности отряхнуться от нее. Я мыл тарелку не по-людски. Вот хроника: быстро включал воду, обрызгался с ног до головы. Мои щеки, лоб, уши, глаза горели спешкой и желанием уйти от решения проблемы. Мой слух ожидал властной команды от шефа. Перепонки напряглись в предчувствии звонка в дверь. Одновременно я жевал лаваш и наблюдал за красивыми движениями Алеси из соседней фирмы. Капли моющего средства так и оставались не смытыми на ободе тарелки. О том написали: “Он страдал целительной болезнью и умирал живительной смертью, ощущая зло, не постигая, какое благо придет вскоре”.

А руки все равно следовали программе, и в ее основе лежал грех. И грех не был помехой моему одиночеству, скорее потворствовал ему. Все нечестные люди очень одинокие, сказал умный человек. Я бы добавил, очень несчастные. От горя реального осознания я, естественно, не вытряхнул из сита раковины свой мусор, придумал причину для оправдания, плеснул остатки воды в кружке под стол и, негодую неизвестно на кого, отправился к своему рабочему месту...

Рифма

“Теперь веруешь, что рифма в стихе не главное?” — спросил меня мой терпеливый учитель. Мысль его зависла в воздухе, предчувствуя мое сопротивление, несогласие.

Взор его устало заскользил над брэнностью, исчезая в складках немислимой, невидимой для меня вечности. Он просматривал мои очередные тридцать стихов в день, мудрый, как Иисус, шептал “Все подчинено рифме...”

Признаюсь, вышеупомянутый элемент стихосложения, может быть, я придумал, тормозил мое творчество. Я испугался, решил пройти испытание личными поступками, постепенно прибавляя житейские примеры. И, как водится, подтвердил правильность выбора чудесами, т.е. чудесными творениями, созданными на основе рифмы. Для начала я начал собирать оригинальные созвучия у других поэтов. Следом я принялся выискивать благозвучные слова и словосочетания, преподавая урок самому себе. “Мощей — вообще” — записал в отдельную тетрадку. “Ноша — множа” — схоронил до лучших времен. “Соловка — не ловко” — замечательный поворот страсти. “Воина — усвоена” — хороша, чертовка, с дактилическим (два безударных слога в конце) окончанием. Слова кружились у меня в голове, превращаясь в вирши, наполненные очарованием оригинальности и удивительности.

Я мечтал о всемирном признании, как некогда в детстве, лежа в постели, воображал нереальные сцены и весьма эмоционально проживал их. Я трясся в метро, я сминал высоченные снега, я колесил на “одиннадцатом” (на своих двоих) маршруте бесконечные улицы столицы и грезил вспеланетной славой. Я взбегал к учителю на пятый этаж, становился на плечи гигантов и, спеша от желания произвести впечатление и заполучить похвалу за скорое восхождение, потев от усердия, доказывал ему преимущества и возможности моей новой теории — основного элемента высшего вида творчества. “Когда нахлынет страсть и чувство, — осаждал мой не совсем взрослый лепет шеф мирового стихотворчества, — рифма сама придет, сама найдется...”

Кто может и не впервые сказать так внятно и определено? Преподаю урок содержательный, сообщая смысл главный, великий и стратегический. Обратите внимание “когда нахлынет...” Звучало, как “заповедь вам даю...” , как старая мудрость, исполненная по-новому, как общеизвестное мнение, но вдруг переосмысленное. “По вдохновенности узнают меня, что я ученик его” — так понял я, так поумнел за последние две тысячи лет.

А в это время гордость моя нахлынула, захватила душу мою и понесла своевольничать.

Тайком от народа, независимо от учителя, отринув послушничество, в силу потрясающей дерзости, провел я нетрадиционный эксперимент, возможно, единственный в истории мировой литературы. Открыл я словарь господина Ожегова и ринулся на бескрайние словесные просторы. Мои общие тетради с оригинальными рифмами пухли от “жира”. Стихи мои превратились в красивый по форме “фавизм”, не имеющий

явно очерченных признаков содержания. И совсем иной мой учитель, одинокий и молящий, словно несчастнейший из людей, осенял меня успокоительным словом, сдерживая мой благородный порыв. Избавь меня, учитель, от часа сего.

Наставник дал мне возможность побыть один на один с миром, с Богом, самим собой. И это последнее — дал почувствовать с удвоенной силой тоскливого одиночества. Чтобы сам себе — все. И учитель, и ученик. И я едва не задохнулся, создавая, символистско-сюрреалистические красоты. И делал их по предопределению. Так предусмотрено свыше. Следом получился сборник с двумя тысячами нестандартных рифм. Книга, в которой нет ни одной проходной рифмовки, существует. Думаю, в своем роде это единственный экземпляр. Он лишен личной самобытности. В каждую строфу искусственно вкладывалось трепетное двузвучие. А сверху одевался сам стих, изогнутый до неимоверности. И только неправдоподобным, нечеловеческим усилием мне удалось уйти к нормальному чувственному творчеству — когда “оно нахлынет...”

Иван Лукьянович

“Смотри за ним...”, имея ввиду своего покойного отца, проговорил мне Коля Долгий.

Я забрался на открытую грузовую машину с опущенными бортами, отделанными трагическими красно-черными тонами, неудобно уселся на корточки. Другого выхода у меня не было. Не кричать же во время похорон о затекших ногах или о каких-то там неудобствах. Тем более, когда машина тронулась и потянулась на маленькой скорости к оршанскому кладбищу, ситуация не казалась мне такой уж страшной. Кое-как я уместился на колени, приспособился часто менять положение. Таким образом, я смирился, вспомнив об усопшем Иване Лукьяновиче Долгом, уставился на его тело, трясущееся в гробу в унисон ухабам и соответственно неровностям дороги. Согласно полученным указаниям, я монотонно бросал на землю маленькие сосновые веточки — по обе стороны автомобиля. В перспективе пышные зеленые кисти составляли некую бесконечную линию жизни без начала и конца, напоминая о бренности бытия.

Вслед покойнику двигалась немногочисленная родня, горстка соседей, друзей и просто помощников по обряду захоронения. Витя Долгий и его старший брат Коля шли, опустив головы, так ни разу их не подняв до самого кладбища. Тетя Шура, жена покойного (фронтовичка, участница войны с гитлеровской Германией) двигалась за сыновьями с подругой Марией. А я почему-то вспоминал блестящие афоризмы Ивана Лукьяновича, которыми он награждал нас, уходящих на танцы. “Уже пишлы к дивкам, — старый боевой офицер, профессиональный военный изъяснялся с завидной прослойкой украинского наречия, малоросских

шуток-прибауток и масляного юмора жарких южных степей — шо, тильки дитей робыть, одно на уме...” Он провожал нас до двери, страдая болезнью ног, задыхаясь от тучности и малоподвижности. Он солнечно смотрел на нас, искрящийся юмором, добротой и бесхитростностью. Тетя Шура всегда говорила, что с Иваном Лукьяновичем легко жить. Зла они друг на друга не держали, а в разных сложных жизненных ситуациях быстро примирались. “Не могу долго сердиться, — делалась со мной тетя Шура, — туда-сюда, спрашиваю, кушать будешь, Иван отвечает — с удовольствием ...” — и все, забылась ссора.

Собственно, следуя неписанным традициям, после поминок, мы долго пили, добавляли, шлялись по пивбарам. Мы вновь оказывались на берегу Днепра, снова сбрасывались по рублю. Родственник из Донбасса щедро бросал в шапку то пятерку, то десятку. Я ничего не мог поделывать, финансы пели романсы, к тому же я не уехал в столицу вовремя и прогулял три дня. Но сейчас все это мало беспокоило меня, алкоголь делал свое дело, а поздно вечером я уже ничего не помнил.

Утром (я переночевал у Коли) мы завалили к тете Шуре, собрали бутылки, едва уместив их бесчисленное количество в шесть сумок. Мы волочили тяжелые баулы как раз по той дороге, где я вчера выстелил сосновую дорогу, печальными сосновыми обломками. Будучи суеверным, я старался не наступать на веточки и очень страдал, видя, как Витя и Коля топчут мое произведение искусства, не замечая их, не обращая на них никакого внимания. Когда мы сдали тару, то денег хватило еще на четыре бутылки водки. Мне подумалось, как же много вчера выпили на поминках...

Только в субботу я смог вырваться из провинции. Я думал о бренности бытия. Я тащился в самой медленной электричке республики, благогородно останавливающейся у каждого столба. Похмелье, словно ртуть, двигалось во мне, крича сердечной аритмией вперемешку с тахикардией. Точно и не жил на свете солдат Отчизны, участник кровопролитных боев, мудрый и добрый Иван Лукьянович Долгий. Точно так происходит в природе испокон века и ровно в отмерянный срок. Мелькающие за окном сосонники слегка напоминали о тех веточках, брошенных мною под ноги судьбе. А тень, похожая на солдата Родины, как бы из небытия благодарила меня, последнего, кто смотрел за ним, хотя и не очень добросовестно...

Вездесущие стихи

Творя в совершенно забытом жанре житий и видений, я сумел оторваться от стихов. Я научился молчать целую неделю — она казалась мне вечностью — впуская в свои пространства горячо переживаемую действительность. Именно современность, пришедшую из были неогляд-

ной, можно назвать причиной нового эстетического переживания. Имя ей — поздние времена, умноженные на благоприобретенную мудрость. Образ ее — исток поэтического молчания как жанра, как художественной формы.

Весьма памятный принт во мне прямо-таки задышался от слов-ассоциаций, от слов-аллегорий, от значительной своей священной жизни. Мой внутренний вагант прямо-таки собрался жить, разрываясь между языком богов и презренной прозой. Не учтя количество эмоциональных охр, уходящих на отделочные работы романа, я почувствовал надрыв душевной палитры и окончательно рассыпался. Отказал жене в общении, не захотел разговаривать с другом в другом измерении, болезненно среагировал на дочь, кормящую маленького ребенка. На офисе, в отместку делателям замечаний, возразил им (неслыханное дело), указал, опустил на землю и едва удержался, чтобы не сказать главное — все, что я о них думаю.

Таковым окриком бога был приостановлен бездумный акт творческого самоубийства.

Захлебываясь в противоположных видах искусств и совсем уже, воспаря над смыслом жизни, я отодвинул стихотворческий канон, плача от наставляющего стихосложения. Велением небес мне предписано слагать стихи. И в прозу не года меня клонили, и не гнали года шульную рифму. Мне предлагалось научиться так расставлять слова, чтобы всякое слово хорошо знало свое место. Тут мне подсовывалась идея (от учителя), тут же раскрывалось учебное пособие под названием жизнь, тут и стиховедчество прилагалось. И желание присоединилось к естественному течению событий, скользя темой, растекаясь разухабистым содержанием.

Свет одной темы освещал тьму другой мысли, рождал третье содержание в четвертом страдании. Точно так, как пророчески отметила великая и незабвенная Марина Цветаева, но переиначим, взяв за основу мысль ее. “Моим делам, как выдержанным винам, явился все ж черед...” Рассказы получались и в отдельности — светлы, и в совокупности гармоничны. Поминование бытия своего, безвозвратно ушедшего, навеки канувшего, совершалось во имя просветляющего смысла. И ради него тоже. Повести сопровождались искренне льющемся плачем, вытеснением греховных реминисценций и тревожных преданий, затаенных в бездне подсознания.

Поэты заиграли прозаизмами, осыпанными розами и пеплом. Социально-политическое изгнание и безвременье оборачивались культурным знаком, каким владеет, может быть, лишь царская власть, которая давно не существует. Я стал слаб, до невозможности, молчалив до чрезвычайности, а моя божественная поэзия оказалась обычной и земной.

Град божий рушился на глазах, идеал культуры моего творчества не соответствовал идеалу социально-политическому. Универсальное христианство не пронизывало и не скрепляло сферы моей лирики. Слияясь с непростой прозой, забывая на некоторое время вдохновенные вирши, я легко понял то, что перечислил выше.

И проза спасла мои стихи. Обывательское сочинительство сохранило для человечества поэта. Короткие рассказы, не менее тяжелые, чем иные романы, наметили вовсе не умозрительный общественный идеал. Он предполагал единство чувств и ощущений, осознание своего истинного назначения на земле, был чужд крайностям и умерен в проповедях. Имея в виду, как говорится, единство жизни и политики, жизни и религии. И вел человека к самому себе. Следует добавить, самым коротким путем.

И стихи пошли, редкие, другие, написанные точно языком богов. Случился великий поворот к иным словам через молчанье. Имя ему — поэзия небесная, земным человеком положенная на песню...

Дядя Вася

Большим оригиналом был мой родственник по линии мамы. Он медленно подходил к калитке, рассматривая меня, не узнавая, но чувствуя, что я свой. Больно схож я лицом с его младшим сыном и моим двоюродным братцем Василием. У людей, выросших на природе — по природе своей — глаз наметан, внимание обостренное, нерв чувствительнее нас, городских. Он замедлял шаг, почти останавливаясь, пронзал меня взором, окатывая осторожностью и все же не узнавал своего довольно близкого человека, сына старшей сестры Веры.

Оригинальность сухого, невысокого мужчины, избалованного вниманием тетки, у которой он вырос, выражалась особым образом и проявлялась во всем. Собственно, как у подавляющего большинства людей с возрастной алкогольной зависимостью, но необыкновенно одаренных от природы разными способностями и талантами. У мужа сего коренилась просто завидная способность не подчиняться общим правилам и оставаться свободным при любых обстоятельствах. Может быть, у него выработалась особенная избранность в теткинку бытность, тогда как остальные братья и сестры не доедали, не шили лишнюю пару обуви, не достающую на восемь детей.

Он приехал к брату в Таганрог и всех нас достал своим необъяснимым недовольством.

Он потребовал вынести койку на улицу и установить ложе в гараже, чтобы лучше спалось. И действительно, конфликты как-то разрешились сами собой. В доме прекратилась суета, воцарились покой и тишина. Гость мирно спал днем и ночью, не выходя из гаража. Лишь изредка

мы видели его бредущим в магазин за сигаретами. Питался он кое-как, ел мало, аппетит, по его словам, имел плохой.

Мы перестали его замечать, занимаясь своим отдыхом, различным времяпровождением и рассказами о морских пляжных приключениях. Когда Фоменков уехал (фамилия у него осталась теткина), мы все ахнули. Ремонтная яма оказалась заваленной — пустыми бутылками из-под дешевого вина. Тара лежала в таком количестве, что оставалось удивляться, сколь много спиртного можно выпить одному человеку всего за месяц отпуска. Он всего лишь два раза посетил магазин в наше отсутствие, принеся две сумки заветного напитка. Он спрятал дурманящую жидкость вниз, прикрыл ее тряпьем и напросился спать в гараж. Артист, всем артистам артист.

Он был очень удивлен, когда я в первый раз во взрослом состоянии прибыл на побывку в деревню, на родину моей мамы. Я долго добирался из Орши, пройдя пешком от железнодорожной станции те самые девять километров, о которых так много рассказывала мама. Она училась в Климовичах. Ежедневно туда-сюда и есть расстояние. Или, может быть, в одну сторону. Мне показалось, я шел очень долго. Девушка любезно показывала мне дорогу. Она работала в такой глухомани после окончания института культуры и, очевидно, тосковала по столице республики. Глаза ее источали одну печаль. Я блеснул для нее несбыточной надеждой. Как знать, не судьба ли прошелестела рядом, едва окликнув, окатым призрачным счастьем — только руку протяни.

Я шел мимо тех сел, какие пестовали маму и мою родню по маминой линии. Я пытался представить то место, где погибла мамина сестра тетка Анна. Она спасала сына Михаила во время заготовки дров, угодив под падающую березу. Дерево гулко ударило в женскую плоть, хрупкую, как яичная скорлупа.

“Водки привез”, — спросил родственник. “Нет...”, — весьма глупо и напрасно пошутил я, услышав в ответ отборный мат, украшенный местными оборотами и устойчивыми непечатными фразеологизмами. Я сразу же пожалел о сказанном. Дядька обиделся не на шутку. Он быстро и решительно уходил в поля, свободный и независимый, ругающийся без остановки. Я кричал ему, чтобы он остановился, что я пошутил, а он, одетый в полушубок на голое тело, в трусах и с кнутом напервес, так и не повернулся...

Трамплин

Лыжи скользили медленно, застревая в не глубоком снегу. Лыжи поминутно упирались и тыкались носками в комки земли и неровности борозд пахоты, по которой была проложена не ахти какая лыжня, ведущая лыжника вдоль железной колеи и посадки к едва видимому вдаль

мосту. Лыжня напоминала зимнюю тропинку, растоптанную пешеходами и вдруг схваченную гололедом. Колеи не держали лыжи, пляшущие вправо-влево и лыжник (как вы поняли, я), не очень любя сей вид спорта, двигался еще медленней.

Лыжи после долгих уговоров и вмешательства мамы, отец купил неожиданно, выбрал быстро и соответственно спешке. Он выполнил отеческий долг по данному эпизоду отчего участия. Лыжи удивляли сверстников, ставили в тупик внимательных отцов, смешили лыжников своей длиной, несгибаемостью и неуклюжестью. Их скорее можно было бы назвать приспособлением для передвижения по лыжне, чем радостным приобретением. Поднимая руку я не доставал до конца стоящей рядом лыжи примерно шестьдесят сантиметров. Вообразите, каково спускаться на них с миниатюрных горок, других в наших степях не найти. Катание с высоченных терриконов не поощрялось и считалось опасным. Где-то, возможно, прозябали холмы, овраги, пригодные для зимних забав, но только не в наших зеркально ровных местах.

Оставалось постигать азы лыжного марафона и шалить на полупригорках с последующим “нырянием” в выемку к путям. Те, кто несся (если можно так назвать черепашую скорость медленного спуска) на правильно подобранных лыжах, благополучно миновали угловатые спуски. А я, как вы уже догадались, на своих неповоротливых, неуклюжих негнущихся уродинах встраивал в почву на перепадах высот (как только ноги выдерживали) и чувствовал себя при этом скверно. Лыжу я сломал на третьей секунде местного спуска. Вогнал себя в дикое чувство вины, боясь отца, ожидая наказания, но обошлось. Батяня приспособил снизу полома жестяное приспособление, огибающее форму носка. Я снова стал в строй, но из-за жести скольжение значительно замедлилось.

На таких “чудесных” снегоходах, можно сказать и так, я дерзко направлялся к лидиевскому мосту, кажется, единственному в нашем обозримом пространстве месту, удобному для скоростного спуска. Впрочем, я спешил на крутую гору, следуя молве. Ребята рассказывали о тамошнем трамплине, вскидывающем мчащегося спортсмена на несколько метров. Говорили, что от полета захватывает дух, что ничего подобного нет нигде в нашей околошахтной округе. Молва придавала мне сил, и я неустанно бился в раздерганной лыжне, сетуя на озьябшие и устающие от высоких и несоразмерных лыжных палок руки.

Неожиданно я, увлеченный преодолением пространства, уткнулся в мост. Я взял в руки тяжелые лыжи и трудно взобрался наверх по боковине мостовой насыпи. Там уже давно катались незнакомые ребята. Один из них оказался моим соседом. Петя Лобко дал мне погреться в его громадных теплых рукавицах. Я стоял на горе и восхищенно смотрел на умелых прыгунов с небольшого трамплина. Они набирали скорость

по очень крутому склону и летели вниз. Они взмывали на выступе и превращались на мгновение в птиц.

Чувство восторга сменилось дерзким желанием и любопытством. Один парень крикнул мне: “Давай на спуск...” Может быть, оклик относился не ко мне. Я быстро стал на лыжи и нырнул в бездну. Скорость, несоразмерная с моими возможностями, уняла равновесие, схватила тело, вырвало из лыж, и все вместе покатило под гору, суля серьезные последствия. Я отбил внутренности, сбил дыхание, понял, что такое преисподняя. Парень, виляя и скользя по спуску, прибежал ко мне, скорченному, но живому и невредимому. “Цел, — поддержал мой смущенный дух, добавив, — трамплин запомнил?” Я смотрел вблизи на обычную снежную насыпь и думал, обманула молва. Ничего-то здесь необычного нет.

Обычная лыжня и обрыв. Но чувство причастности приобрел. Да еще какое...

В посадке

Легкий орешник, непроходимая, вернее, непролазная акация и несущие темную сень каштаны, липы вперемежку с тополями создавали надежный полог, защищая от палящего степного солнца. Заросли казались наполненными страстью, тайны и тревогой шатающихся от легкого ветра теней деревьев. Блики, рассыпанные солнцем, падали мне на лицо, слепили моих товарищей.

Старшие ребята “воевали” с неизвестными представителями далекой семнадцатой шахты. Никто из нас не видел тех самых, так называемых врагов Лидиевки, но традиционно в шестидесятые годы двадцатого столетия на окраинах существовали враждующие друг с другом регионы. Кто и как это определял, одному богу известно. Однако, по слухам, исходящим от старших ребят, мы очень скоро узнавали, кто кого побил и кто с кем сегодня враждует. Военная идея объединяла нас, делала из нашего духа воинов, помогала преодолевать страх и однообразие. Мы прятались в гущине около путевой посадки эдаким дозором, готовым дать отпор всем и каждому, кто посмеет обидеть наших — лидиевских.

Старшие ребята действовали более конкретно. Они выкладывали холодное оружие, состоящее из велосипедных цепей, прутьев и палок и вслух рассуждали, что делать с военным богатством, если вдруг встретятся пацаны оттуда. Что, если те пацаны начнут всех обыскивать. И наш маленький отряд охватила тревога и смятение. Валерка Лакомый и Ленька Конев решили отдать мне свои цепи, скрутив их в скрутку. “Тебя обыскивать никто не будет, — резонно заметили хлопцы, — ты самый маленький...”

Я сидел на многослойном листовом настиле, а ребята прилаживали свои приспособления под тугие резинки моих широченных шаровар

(где мама их находила), отяжелив мои стопы. Вскоре я томился на полусолнце, задыхаясь от гордости и чувства причастности к великому лидиевскому воинству, как средневековый рыцарь, облаченный в защитные доспехи. Пацаны, разморенные жарой и утомленные бездельем, расплозились по деревьям, выискивая кальку — ягоду красноватого цвета, съедобную и вязущую полость рта. Не исключено, что это местное название. В данном случае я действительно не завидовал соседям по улице, их свободному парению над суетным бытием на хрупких ветвях мироздания. Я не чувствовал себя ни чуточку ущемленным, видя, как они “тарзаняты” — бросают вниз тело, держась за тонкий ствол, по захватывающей дух траектории, опускаясь на землю (новое слово появилось в лексиконе в связи с появлением на экране дома культуры кинофильма “Тарзан”).

Хочется заметить, многие слова и выражения отражали штрихи и черты нашего времени. Например, практически все вратари на уличном футболе перед ударом по воротам психологически настраивали себя фразой, собравшись в комок: “Вратарь Чанов...” Я не знал, кто такой Чанов, но когда меня отправляли из заворотного бека в клетку ворот, я, подражая, произносил то же самое. Потом в ДСШ по футболу при команде мастеров “Шахтер” Донецк мне доведется играть за дубль со Славиком Чановым, видеть восхождение Виктора, блестящего голкипера, тренирующегося в более младшей группе.

Тревога прозвучала непонятным для меня звуком, озвученным как “шухер!” Молодцы, мужики с моей улицы. Братцы кролики слетели с деревьев, аки птицы, растревоженные, загадели. По тропинке, разрезающей посадку вдоль от моста до станции Весовая, двигался вражеский отряд, превышающий нас по численности, а, главное, по возрасту. Я, конечно, пока еще не был бойцом, но у меня сложилось впечатление, что я один ничего не боюсь. Ленька и Валерка велели мне идти первому. Мы медленно двинулись навстречу неизвестности. Более всего я боялся, что отберут цепи, и я подведу ребят. От страха мы шли так тихо, что стук наших сердец заглушал гул проходящего поезда. Противник уступил нам дорогу, не обращая на нас внимания. Цепи больно терли мне ноги...

Морская капуста

Мама вспоминала, что отец, когда мы жили на далеком и таинственном острове Сахалин, не разрешил ей работать зоотехником, ревнуя мать ко всем. Много раз приезжали к моим родителям представители из области, ценя такого специалиста, каким была моя мама. Глава семьи даже не хотел слушать. “Нет и все...” — отвечал он назойливым гостям, ничего не объясняя, даже не предлагая войти в дом. Ревность, равно как и любовь, великое чувство, сладить с ним не под силу многим мужам.

Следуя этому распространенному общечеловеческому пороку, отец не позволил развиваться своей жене, семейному бюджету и эмоциональным отношениям, блюдя мамину нравственность. Но я ему не судья. К сожалению, я как раз преподаю вот эту науку.

Мама рассказывала, что папка много работал на лесоповале, сбегав (он трудился буфетчиком) — уехав — завербовавшись на далекий остров — за длинным рублем и от правосудия. Иначе в жизни отца был бы другой лесоповал. Молодожены ожидали ребенка. Отец просто грезил, иначе не назовешь его внутренний романтический настрой, сын и только, сын и никаких гвоздей! В день родов отец оказался на смене. Высокие крещенские снега и январские морозы все равно не позволили бы добраться до больницы. Телефон находился за тысячу верст. Выход напрашивался один: рожать дома. Бедная мама, она рожала сама вообще без посторонней помощи, сама перерезала пуповину, преодолевала послеродовые последствия.

Мой противоречивый отец, характер которого, как и судьба, делилась на две одинаковые части. До и после развитого алкоголизма (сейчас я преподаю трезвый алкоголизм). Мой неподсудный родитель явился, не запыхавшись, разумеется, в подпитии. Узнав, что свершилась воля Бога, а не его, отцова, не пожелал даже подойти к маме. Бедная мама, как я понимаю ее нынешние отрицательные чувства, очень высокие и очень негативные ощущения в адрес нерадивого и непредсказуемого супруга. Три дня батя не желал общаться с роженицей, не хотел видеть дочь Валентину.

Потом Никифор Степанович оттаял и пустился в другую крайность от великих родительских чувств. Дочь превратилась в единственное, горячо любимое существо на свете.

Дочь закармливали дорогим шоколадом и всем тем, чего ребенку не следовало бы давать. Сейчас моя сестра, сама того не зная, страдает от нарушения обмена веществ, не может сбросить вес, совершая самое волевое усилие в мире. Все одно ничего не выходит.

Мать вспоминала, когда я родился, отец подпрыгнул до потолка, больно ударившись в невысокие своды. От избытка эмоций и впечатлений, как и принято на Руси, папа на радостях делал то, что подсказывает духовность каждому человеку. Бедная мама, она и при вторых родах не увидела помощи, не нашла в нем опоры. Ничего, кроме горечи, не звучит в ее печальном старческом голосе.

“Тебя нашли в морской капусте, — повествует мама, — мы так тебе и говорили, когда ты спрашивал, откуда ты появился. А ты интересовался очень серьезно и основательно. Мы тебе вот так и отвечали. Плыл ты по морю-океану, мы тебя и выловили в капусте...” Я хорошо помню, как в детстве я подолгу разглядывал на огороде огромные белокачаннные плоды капусты и детским воображением пытался представить, как меня обнаружили.

Мама делилась впечатлениями о прошлом уже спокойно, без явной неприязни к отцу, лишь отмечая: “Ехали тридцать суток с Дальнего востока. Я колотилась с двумя детьми, тебе девять месяцев, Вале три года, отец с вагона-ресторана не вылезал. Проспится и снова туда. И когда с Сахалина на пароме добирались на материк, я едва не зашла от тошноты. Что-то я устала, разволновалась...” завершила повесть мама. Я поразился ясности памяти, легкости изложения событий, странности ее судьбы...

Письма

Каждую букву я вывожу аккуратно, слова расставляю ровно, не смотря на волнующийся почерк и беспокойный характер. В каждый абзац я ввожу чужую мысль, коих у меня на столе, в море записей, цитат и стихотворных строк великое множество. Из окна моей комнаты, из моего общежития видны очаровательная девушка, живущая в том доме частного сектора, ее тучный и серьезный папа, копающийся в огороде, и красивая хозяйка. Но все это меня мало интересует, потому что я занят очень важной творческой деятельностью — отработкой личного эпистолярного стиля в соответствующем жанре. Я пишу письма любимым женщинам — сразу троем — вкрапляя в ткань пустых и лживых писем чужие мысли, сторонние чувства, ворованные образы.

Страх и комплекс неполноценности не позволяют мне развивать нормальные отношения с одной девушкой. Как известно, нездоровый человек хочет всего больше, чем ему полагается или отпущено богом, как вам угодно. Не умея по-человечески выражать свои чувства, я прячу свой страх под маской ряженого, под личиной влюбленного, за завесой таинственности. Я скриплю пером, бессмысленно вглядываясь в очаровательную девушку, ища заоблачное счастье за тридевять земель. А радость души, не исключено, вот у меня перед глазами — несет воду, метет двор, рвет на грядке сорную траву.

Еще в армии я знавал одного старого солдата (по сравнению с моим сроком службы), таким чином пытающегося строить отношения с противоположным полом. Мы балагурили в цехе разрыва авиаснарядов, ожидая призова новой партии, назначенной на уничтожение. Вова из далекого Красноярска обычно располагался особняком полутвернувшись от нас. Дембель помногу раз перечитывал многочисленные письма. Он получал долгожданные весточки из разных концов страны и взахлеб — вечерами — просматривал, что-то повторял, что-то выискивал, чему-то улыбался. Было занятно следить за его лицом, за его шевелящимися губами (видно, с образованием проблемы), за его меняющейся мимикой, перетекающей из улыбчивого спокойствия в раздумчивую печаль.

Майор частенько поддевал нашего сослуживца, говоря то о невозможности частом куреве, то о бесконечно меняющихся адресатках, верящих и надеящихся на свою избранность.

“Вовка, не перепутай адреса, позора душевного не оберешься...” Мы вечерами, продолжая тему, допоздна обсуждали Володьку, боясь его, но больше завидуя его богатству. Я непременно брал сторону майора, девственник, не знающий об отношениях ровным счетом ничего на свете. Я как бы сдавал майору друга, невзначай сообщая о получении очередного письма. Солдат второго года службы никак не мог взять в толк, откуда же начальник наш узнает о заветных конвертах, каких присылают в часть на восемьсот человек неисчислимое множество.

Мне Вовка доверял многие тайны и часто рассказывал о девушках, о том, что у него их пруд пруди, что он зачастую путает имена и фамилии, города и веси, что он беспокоится о том, чтобы не перепутать адреса, чтобы не поставить себя в глупое положение.

Дверь общежития открылась, возвратился мой напарник по комнате, принес почту.

Я не хотел при нем распечатывать интимную почту, перекинулся с другом несколькими словами, засобиравшись на улицу. Приятная летняя погода располагала к лирике. Нежаркое солнце напоминало о скором отпуске и о приближающейся осени. Я углубился в частный сектор, специально мелькнул у дома очаровательной девушки, не подозревающей о моих наблюдениях за ней. Примостившись на ближайшую лавочку, спрятанную под ивой, я восторженно распечатал письмо. Поверьте, я испытал сильное потрясение, стыд и страх, чувство вины и досады. В конверте лежало мое письмо к Гале с припиской на коротеньком листике. “Ты ничего не перепутал? Ирина.” Мужики, не пишите писем несколькими женщинам сразу, это чревато...

Виктор

Удивительно трезвые, не выпив ни капли водки, мы уезжали со дня рождения поэта, проведенного под эгидой здравомыслия и, соответственно, под лозунгом “Ни капли спиртного!” Не понюхав даже винной пробки, не увидев на столе ни одной бутылочки с вождельным напитком, я злой, непохмеленный (кусок не лез мне в горло) сидел в “Ниве” с братом поэта, слушая его странные и необыкновенно трезвые речи. Он тихо обрабатывал меня с точки зрения трезвого алкоголизма (сегодня я преподаю мастерство трезвости одного дня), говоря удивительные вещи. Например, я узнал, что нормальное состояние человека — трезвое. Что любой государственный деятель, руководящий большой державой в нетрезвом виде, — неуверенный в своих действиях политик. Что князь,

погрязший в грехах, принимал судьбоносное решение, находясь в состоянии страха и неуверенности, поэтому он принял вот такую религию.

Я слушал друга, но удивлялся другому — почему же он повез меня домой через весь город. Я вслушивался в любопытную тему и взволнованно отмечал, разговор меня захватывает, беседа, имеющая место быть, ложится мне на душу. Мой собеседник выбрал непонятный маршрут, он поехал мимо наркологии, удаляясь в сторону от моего дома. Мы остановились на улице Волгоградской. Бывший директор совхоза немного рассказал мне о том, как ему удалось бросить пить. Как ему помогла группа поддержки — вот здесь — по таким-то дням и часам. Главным ощущением, испытанным в то мгновение, можно назвать чувство покоя и заинтересованности. Впервые в жизни я беседовал о том — главном, волнующем меня, тревожащем мою душу. Впервые в жизни после многих лет пьянства я вел себя искренне, я произносил правдивые слова, извлекал сокровенные мысли.

Впервые мы увиделись с Виктором много лет назад у его брата, моего друга и поэта.

Энергичный мужчина доставил родственнику харч (я очень позавидовал другу), дал денег, подавив нас важностью и значимостью. С точки зрения моей низкой самооценки, общение с директором предприятия, знакомство с ним казалось неординарным событием.

Очень скоро мы летели на директорском газике в хозяйство молодого руководителя.

Очень высокую эмоциональность испытывал я, любуясь красотами зеленых полей, игривых березняков, колосющихся нив. “Очей очарованье” отходило на дальний план, когда, словно из-под земли, Виктор доставал нам желанную бутылку вина, передавал нам с поэтом на заднее сиденье. Глотнув вещества, изменяющего сознание, мы умнели, читали свои стихи и чувствовали себя счастливыми.

Мы гостили в огромном доме Виктора, наполненного всякими штучками военного толка. Их оказалось гораздо больше, чем нужно (я так решил), исходя из детского понимания ответственности, решив часть вещей экспроприировать. Я толкал в сумку учебные гранаты — зеленоватые лимонки, старый штык-нож, горстями засыпал холостые патроны и всякую всячину, безусловно доставляющую удовольствие любому нормальному ребенку.

Рано утром (я-то житель городской) бригадир разбудил нас на общих основаниях, и мы с поэтом неплохо потрудились на огороде директора. А в обед он завез нас в город, наполнив наши сумки продуктами, овощами и фруктами. Всю дорогу я без умолку болтал, скрывая страх и чувство вины за ворованные безделушки. Через неделю мы вновь ехали к Виктору. Я торопил время и томился желанием скорее возвратиться

терзающие меня игрушки. Набравшись храбрости, я во всем признался, совершив для себя поступок года.

Много лет спустя мы неслись в “Ниве” с другом Виктором и, улыбаясь, вспоминали прошлое как нечто далекое и покаянное. Тогда бывший директор совхоза, сам того не полагая, выполнил свою великую миссию на земле — он спас меня от губительной алкогольной зависимости, показав путь, вызволив мою душу, подарив мне дело всей жизни...

Червонцы

Мы играем в воскресный футбол во дворе некогда очень близкого и дорогого мне дома.

Мы угрожаем стеклам первого этажа в критических моментах складывающихся единоборств, непредсказуемости полета мяча во время его выноса подальше от ворот. Слава Создателю, густые ветви часто посаженных у дома деревьев спасают нас от позора, а жильцов от глупой ситуации. Я хорошо помню, как один из нерадивых игроков вложил в удар всю свою силу, как летел мяч по немыслимой траектории, минуя помехи, как звонко и страшно зазвенело разбитое, осыпающееся стекло. Детская тревога на мгновение обуяла нас, взрослых мужиков, а мне, словно в далеком детстве, захотелось убежать подальше от греха и спрятаться в высокой траве, как тогда — на поляне в далекой юности.

Сейчас же я машинально поднимал голову и поглядывал на девятый этаж, вспоминая фрагменты молодых чудачеств. Мне виделась та неповторимая и чудесная Ольга, помнились те безумные, полные адреналина, греховные времена. В измерение том жилось мне беспокойно и влюбленно. Опасность связи с чужой женой пьянила и волновала, а муж, служащий в армии, придавал отношениям полный романтический изыск.

Подъезд, где проживала моя любимая, кишел знакомыми. Я старался не попадаться им на глаза, но проклятый и неотвратимый закон подлости подливал масла в огонь неожиданными встречами и нежелательными свидетелями. Я долго и мучительно объяснялся и оправдывался перед ребятами футболистами, выдумывая диковинные небылицы, хотя никто ни о чем меня не спрашивал. Мы разбегались со знакомцем в разные стороны. Я впихивался в простуженный лифт и, прислонясь к его грязной расписанной, расцарапанной стенке, долго — до верхнего этажа — слушал его ветхозаветное ворчание и бронхиальное клокотание нутряных колес, тросов и подшипников.

Ольга отпирала дверь, захлебывалась от восторга нашей влюбленности, рассказывала, о вчерашнем и очень неожиданном приезде мужа. “Я открываю дверь, я думаю, что пришел ты, а на пороге — муж — явился на побывку со службы...” Она прижималась ко мне, хрупкая и до-

верчивая, добрая и женственная, чужая жена и моя любимая женщина. Она шептала мне, продолжая переживать вчерашнее потрясение: “Я думала, что сейчас умру. Он что-то спрашивает, а я вижу только тебя, он о чем-то болтает, я думаю о тебе и молю Бога, чтобы ты следом не позвонил в дверь...”

Признаюсь, я крепко тогда струхнул и потерял равновесие души, примерив ситуацию на себя самое. Тут дело не обошлось без вмешательства небесных сил. Впору было поверить в бога благодарно поставить пудовую свечу во спасение. Ревнивые мужья, знаете ли, на девятом этаже особенно опасны, к тому же их дело правое.

Пока Ольга приводила себя в порядок, я быстро и ловко (это вошло в систему) распахивал кошелек, наполненный довольно большим количеством десятирублевых купюр советского периода, и волшебным хватывал свою дежурную купюру. Я прятал деньги в носок, принимал расслабленное положение, начинал рассматривать старые газеты, с лихвой разбросанные по кухне. Позже, когда я влюбился в медсестру, я делал с ее бумажником то же самое. Впоследствии и Ольга, и медсестра резко прервали со мной взаимоотношения, ничего не объясняя. Я притворился обиженным, естественно, не звонил им, а при встрече я делал вид, будто передо мной незнакомые женщины.

Сейчас, во время игры, меня почему-то охватил необыкновенный стыд, неожиданное осознание, вспыхнувшее покаяние. Я едва ли слышал оклики напарников, недоумевающих, почему же я, всегда такой собранный на поле, так рассеянно и небрежно играю, точно и нет меня на дворовой площадке. Точно я стою на балконе девятого этажа, как вон тот мужчина, и наблюдая за острой и напряженной игрой...

В поезде

Пассажирский состав, рассекая зимнюю вечернюю тьму, разрезая среднестатистическую метель и легкий мороз, быстро преодолевал пространство степей Украины. Вместе с поездом в холодную ветреную неизвестность несло все купейное и плацкартное бытие, по причине темноты мало интересующееся законным непроглядьем. Начинающиеся крещенские морозы пугали, порывы ветра волновали мою нетрезвую плоть, мою заблудшую душу, мой рассеянный разум. Мелькающие за окном, тонущие в сугробах редкие перелески, блестящие огни полустанков и населенных пунктов, причиняли неудобства нездоровому здравомыслию — манили надеждой поживиться за пятикратную цену бутылкой водки. Как обычно, при стоимости бутылки огненного напитка в пределах пяти рублей, за риск, за все прочее платили двадцать пять — тридцать целковых. Перестроечные и антиалкогольные события (очень хочется оценить их в словесном выражении с позиции тюремной

лирики, но с силой второго поэта королевства) только подстегивали ликеро-водочные страсти спившейся страны. Имея на один инстинкт больше — алкоголизм из заболевания перетекает в инстинкт — великая страна не останавливалась ни перед чем, платила любую цену на каждой остановке. Я, по качеству безумия превосходя многих, с этой же точки зрения творил чудеса не менее чудесные, чем летчик с фигурами высшего пилотажа, чем великий бразильский нападающий Жаирзиньо с бедными защитниками. Я вылетал из поезда (ехал с дочкой) и разрывал неизвестность неумной энергией действия.

Спящие дежурные на станциях испуганно шарахались, видя в темном окне мой маячащий облик, мое молящее лицо. Будки обходчиков отворялись, сердца людские понимающе теплели, мои трудовые деньги тонули во тьме звенящих углов, вызывая дух алкоголизма. И спиритус, хохоча и корчась от удовольствия, не касаясь земли, окатывал мою душу липким непроглядным туманом.

Ожидающие меня напарники (мне все равно), мужчины и женщины встречали меня восторженно, на бис, на ура. Полушепотом шуршала бумага, вполголоса звякали стаканы, глухо булькала вожделенная жидкость. И никто не делал нам замечание (бросив пить, я испытал раздражающий фактор подобной ситуации). Теплился душевный разговор, росло желание добавить еще, найти хоть какое-нибудь пойло, глотнуть капельку сверху. Бутылка уплывала под стол, беседа замирала, темы иссякали. Я чувствовал вину за всех и перед всеми, я взваливал на свои хрупкие плечи ответственность за продолжение банкета.

Я очень внимательно приглядывал за ребенком, очень строго оценивал пьющую компашку, никогда не доводя ее до многочисленной, вступая в эмоциональный контакт только с людьми интеллигентными, обязательно привлекая женщин. Дочь — единственное в жизни счастье, к которому я относился с полной серьезностью. Я начинал делать обход вагонов, заниматься опросом проводников. Бедные сопроводители вагонов недовольно отпирали свои дежурные купе, глядя на меня, без стыда и совести врывающегося в личное время трудящихся людей. Но мольба на моем лице действительно выглядела искренней младенца. На проверяющего я не походил. На роль подставной утки спецорганов милиции я явно не годился (толстый, спитый, добрый, смиренный). Опять исчезали мои трудовые купюры в липких руках ночных продавцов спиртных напитков, снова дух алкоголизма, звеня в темном углу, возникал из небытия, перетекая в меня еще невыпитым чином.

Пассажирский поезд гремел на стыках, а я будоражил и тревожил обслуживающий персонал, собирая по возможности всю водку, какую мне дадут. Чтобы до утра больше не блуждать по спящим вагонам, не прятать бестыжие глаза от честных взглядов ни в чем не виновных провожатых, не хлопать звонкими железными дверями, летая из первого

вагона в двенадцатый и обратно. Бегая из теплого купе в метельный перрон, не боясь ни простуды, ни отставания от маршрута, ни бога, ни алкоголизма...

Бешеный муж

Он гонялся за мной по провинции, как неотступная тень возмездия, как прилипчивый дух алкоголизма, как молодой защитник, приставленный к опытному форварду. Он был странный и ревнивый, он любил свою жену и прощал ей многочисленные вздорные выходки, он стерег ее и ничего не мог поделать с ней, взбалмошной, ветреной и влюбчивой.

Я не пытался объяснить необъяснимое, я не понимал, откуда она сваливалась на мою бедную романтическую голову. Она обрушивалась водопадом благодати и ливнем божьей милости, она возникала из пены Славутича, восставала из пепла, загадочная, как жрица, и легкомысленная, как гетера. Тогда мне не приходила в голову такая мысль, а сейчас я подумал, может быть, она следила за мной. Не тот ли происходил случай, когда в одного из любовников вселяется дух роковой любви, способной на перевоплощение и чудеса?

Не она ли — богиня любви — снизошла с небес обетованных, чтобы я понял, вразумел, осознал, проникся, прочувствовал всю прелесть и уродливость непостижимой страсти, всю сладость и горечь, плавно переходящих друг в друга.

Я отворял дверь библиотеки и оказывался лицом к лицу с ней, доступной и манящей, опасной и сумасшедшей. Она ничего не говорила, она не произносила ни слова, она была сама — глухонемота, кричащая о любви, жаждущая совокупления сейчас же, сию минуту и тут же, на том же самом месте, где и встретились мы. Я полагаю, она оказалась заблудшей в городе русалкой. У нее вероятно не получалось принять свой первоначальный облик. Но у нее прекрасно выходило заманивать других в свои сети, что она с успехом и делала. Как говаривал поэт: “Я был просто первым...”, на кого она наткнулась, а русалки, как известно, не переборчивы. Она выполняла свою русалочью работу с завидным терпением и упорством. Она следовала природе, подчинялась инстинкту, высшему зову, божественному или дьявольскому предназначению. Единственное, чего она не делала, не хотела, не желала и не могла исполнить, так это требования мужа, которому она тут же, через мгновение после соития признавалась в содеянном грехе и смотрела на него беспомощного и бессильного в своей ярости и в своей любви, точно как на известного героя романа Набокова.

А известный оршанский герой, в отличие от набоковского, оказывался не таким терпимым, не таким интеллигентным, не умеренно-обывательским. Наш друг (ваш, дорогой мой читатель, друг) входил

в ярость, в дерзость лукавую, в помыслы недостойные и ослеплял себя жаждой мстительности в мгновение ока. Он искал меня по многочисленным улочкам и лабиринтам центра Орши, источая агрессию, тьму и сумятицу. Он забежал к Витуну, моему другу, звонил в дверь и спрашивал: “Где Веремей, я не знаю, что с ним сделаю?” (Веремей — мое прозвище). Витун, конечно, так гаркал, так кричал, так приструнивал строптивного ревнивца, чем крепко меня защитил и, не исключено, спас от серьезных разборок и непредсказуемых последствий. Удивительно, но я ни разу с ним ни встретился, наши с ним грешные земные пути не перекрестились.

И слава небесам! Я гуляю по тем же местам, с теми же добрыми и волнующими меня чувствами, думая о далеком прошлом, о той необъяснимой женщине, промелькнувшей в моей жизни несказанным дивом. Именно вон там, в четырехэтажном доме, в последний раз мы виделись с ней, сливаясь устами в долгом и горячем поцелуе. Там, вдали от суеты, в отсутствие Витуна и его жены, ушедших в кино, мы не чувствовали, что в десятке метров от нас, внизу, разгоряченный, как всех подозревавший Отелло, ищет нас ее знаменитый на всю провинцию, любящий и неординарный супруг. Мы не знали, что видимся в последний раз, что скоро я навсегда уеду в столицу и осяду в Минске. Мой некогда родной городок никак не реагировал на мое короткое гостевание, на мои переживания, он просто жил, просто был...

Майские жуки

Мне думается, нет места на нашей грешной матушке земле более памятного, чем вот эти пологие склоны на выемке возле путей, поросшие, как и пятьдесят лет назад, курослепом, пыреем и чертополохом. Такие же неприглядные и неказистые, такие же сырые и пыльные от угольной копоти, Сейчас, после дождя, невозможно и шагу ступить по скользкому чернозему, густо перемешанному с бытовым мусором, куриным пометом и сажей.

Даже мой недоюжинный талант легко и умело струиться по терриконовым спускам в данную минуту кажется мне недостаточным. А индивидуальные тренировки по общей физической подготовке по схеме вверх-вниз, похоже, не спасают, коль уж закралась в сердце неуверенность, если появились признаки боязни высоты, риска и бесшабашности.

Я желаю спуститься здесь, именно в этом тревожном месте, и только вот по этой грязи и сумятице, по красно-черной мокрой жужалке (остатки отгоревшего угля — местное) и в сию же пору. Мне не терпится взглянуть в глаза земле моего детства, привечающей меня по-прежнему тепло и уютно. Я изнываю от ностальгической жажды восстать из глины маленьким и незащищенным мальчиком, чтобы погладить самое себя по

непослушным вихрам. Чтобы сказать себе много добрых и хороших слов, себе, потерянному и запуганному, одинокому и несчастному.

Смешное несчастье заключалось в тех самых майских жуках, больших и крохотных, наводнивших тамошние склоны в далеком 1960 году. Ни единой майской твари не нашел я сегодня, сколько ни искал, сколько ни вглядывался в разводы мусорных мозаик, всматриваясь в основание бурьянника, наклоняя его плохо гнущиеся внизу стебли грязной и воюющей палкой с торчащим из нее ржавым гвоздем.

Честно говоря, я чувствовал себя очень плохо, когда на меня пристально посмотрели идущие по тропинке, протоптанной на обочине выемки, нормальные взрослые люди. Наверняка они отметили во мне хорошо одетого, опрятного, самодостаточного мужчину, трезвого и адекватного, но занимающегося необъяснимой ерундой, свалочной чепухой замызганного старьевщика. Еще более острые ощущения появились при виде женщины с ведром, доверху наполненным мусором. Ее лицо мне показалось очень знакомым, отчего мое обостренное чувство вины, мое свалочное копание мгновенно превратилось в личностное самокопание. Не видя меня, низко нагнувшегося к земле, симпатичная и полная особа женского пола, словно косою повела, справа налево сыпанула мусор скользящей, разлетающейся и ровно стелющейся массой. От стыда я так и не оправился, остался сидеть на корточках, словно собираясь совершить физиологическую потребность.

Где-то здесь, точно тут, ну, может быть, примерно два-три шага влево или вправо один из сверстников, кстати нынешний муж вон той тетки с ведром, бросил в меня жука. Я показал друзьям слабинку, а дети жестоки. Жуки посыпались на меня, как майский дождь. Ребят было много, каждый считал своим долгом поучаствовать в экзекуции. И делали это мои поселчане со всей добросовестностью отрочества. Мог ли я тогда подумать о том, что получу один из потрясающих психику стрессов, который будет терзать мой душевный покой и ныне, и присно. И только совершая великую исповедь в моем личном романе, я смог вспомнить и воскресить из преисподней подсознания еще живые страхи и ужасы от летящих в меня майских жуков. Я смог спокойно и бесстрастно посмотреть в прошлое с того самого места, где получил тяжелейшее душевное увечье. Я наконец-то понял, жуков мне не найти. Я поднял камешек, отдаленно напоминающий ползучую сволочь, спокойно подержал его в руке, попросил у неба сил и, бросив жука далеко-далеко, истощно заорал изо всех сил: "Я тебя не боюсь!"

Рогатка

Попадись мне Петя сегодня, я бы разорвал его на мелкие части, посыпал бы солью и скормил диким голодным собакам. Окажись я с

нынешней физической формой тогда с ним глазу на глаз, я бы крепко его поколотил, хама и уличную скотину. Выходца из дермальной толпы, шваль и подзаборника, подшиванку и подворотню, как обзывались в нашу бытность шестидесятых годов прошлого века. По-разному звучали прозвища и клички, но имели место быть всенепременно. По всякому обращались друг к другу, изменяя имена, превращая красивые фамилии в еще более красочные шедевры уличной лирики.

Лишь его, коварного и беспринципного, величали по имени и фамилии. Лишь возле их дома мужики играли в домино, превращая заповедное игральное место в своеобразный поселковый центр культуры. Лишь рядом с шахтерами, отдыхающими от смены, мы, мальчишки, чувствовали себя смиренными и маленькими. Петькин отец, инвалид (что-то творилось у него с ногами), как бы оставался за главного, представлял собой организованную единицу действия. К положенному времени домино лежало на столе с набитой сверху толстой резиной. К тому моменту подтягивался народ с шутками-прибаутками и прочими разговорами местного значения о мировой политике. В ту эпоху хрущевства за столом зачитывали опасные и острые подборки анекдотов о кукурузных излишествах и прочих перегибах высоких руководителей. Здесь, на окраине, редко встречались стукачи, по сему высказывались свободно, по-шахтерски матеро и без внутренней боязни.

А мы маячили поодаль, занимаясь изготовлением рогаток. Кое-кто уже имел самопал.

Но тогда мужи имели веское слово и сильную власть над молодежью. Тогда почитание старших находилось на должном нравственном уровне, и мы боялись отцов и соседей.

Мы (я не входил в их число) выстругивали рогатины, шлифовали их чашеобразные образы, их мягкую форму, напоминающую очертание бокала в горизонтальной плоскости.

К рогатинке, на конце которой делались выемки для фиксирования резинки, привязывался кусок, вырезанный из респиратора, украденного в шахтерской раздевалке. Мы называли ее резина резин. Качество отменное, растяжение максимальное, прочность надежная. Я скоро почувствовал на себе все слагаемые компоненты уличного вида оружия.

Мы играли гурьбой на нашем перекрестке ближе к дому Лобко. Петька и Колька осторожно двигались со стороны доминошников со всем своим юношеским коварством. Петька выстрелил в нашу сторону в самый неподходящий момент, когда мы превратились в расслабленную игрой живую мишень. Он использовал мини-рогаточку с резиночкой, вытасченной из резинки, пуля в детей маленькими загнутыми проволочками.

Он попал сестре в лоб, и красное бескровное пятно ушиба расплослось над надбровной дугой. Теперь я понимаю, чем могли окончиться с виду невинные игры. Федька с весовой, тот швырнул нож в ворота.

Металлический предмет спружинил и вонзился в глаз — так! Я, как сейчас, слышу плач моей любимой сестры Вали. Я, как сегодня, чувствую то негодование, ненависть и праведный гнев, охвативший меня. Я клокотал от обиды за свою сестру и настроился биться за нее до конца.

Петька же, не чуя ни стыда, ни совести, достал другую рогатку, прицелился в птиц, сидящих на проводах, и бедный грач, взмыв немного вверх, камнем рухнул на пыльную улицу. Мы застыли от ужаса. “Рыба! — доносилось от доминошников. “Кому мороженое...” — зывала лотошница. Моя сестра, всхлипывая, утирала следы от слез...

Психологические миниатюры

Перед игрой в Микашевичах мы уже стояли в центре, приветствуя зрителей. Один из наших нападающих — Жорка Шедевский, ни слова не говоря, с возгласом “Ой!”, прибавив затем к восклицанию крепкий и устойчивый фразеологический оборот с упоминанием очень близкого человека, сорвался с поля и помчался в сторону раздевалки. Мы, грешным делом, подумали, не рехнулся ли наш быстрый форвард. Гадая, что же могло случиться, мы как можно медленнее разбрелись по зеленому газону на свои места, затягивая начало матча. Вскоре из дверей спорт-комплекса вылетел наш товарищ, заняв свой правый фланг. Как выяснилось чуть позже, самый опытный игрок нашего коллектива вспомнил, что забыл поставить водку под холодную воду, и таким образом проявил свою озабоченность. Весь первый тайм мы потешались и никак не могли настроиться на игру.

После моей свадьбы в понедельник мужики на работе пригласили меня сыграть несколько партий в домино. Я хорошо знал эти парутройку партеек. Засылался гонец за винцом. Так и звучала поговорка народная — “Не заслать ли нам гонца за бутылочкой винца...” В итоге доминошные баталии превращались в среднюю пьянку с очень поздним возвращением домой. А я был еще даже неполноценный молодожен с неполным стажем медового месяца. В понедельник после бракосочетания я ответил мужикам вполне серьезно и со смыслом: “Нет, я к жене спешу...” Так залихватски, так душевно рабочие давно не хохотали и причем все до единого, до слез, до коликов. Через год, после рождения дочери, я в числе первых занимал место за столом и никогда не опаздывал...

Вечером принесли почту. В газете “На стройках Минска” на литературной странице опубликовали мое первое стихотворение. Страх и неуверенность в себе подсказали, что нужно подписаться чужой фамилией. В редакции письмо получили, стих начинающего автора прочитали (кстати, вполне приличный) и сделали то, что сделали — напечатали его под фамилией “Жданович”. Чувство удовлетворения сменилось чувством разочарования, а как же на работе узнают, что это мое творение?

Как же я смогу похвастаться свежим номером газеты, если под моим произведением четко и ясно написана чужая фамилия?

Приехав из отпуска, я надел на холодную погоду мамин подарок — толстый и теплый дорогой свитер. Мы пили с соседями за мой приезд, добавляли с друзьями за красивую вещь — за свитер, а утром искали деньги на опохмелку. Я долго шарил по заначкам, по карманам старых брюк и курток. Я, не думая, схватил мамин презент, одиноко и покинуто лежащий за диваном, занес его к бабке Агапке и променял на бутылку водки. Бабка от щедрости дала большую емкость — 0,7. Прошло более пятнадцати лет, а чувство вины перед собой и перед мамой остается очень сильным.

Ступив на стезю трезвости, я потерял всех друзей, знакомых, товарищей и собеседников. Я начал тяготиться их обществом, они принялись анализировать мою трезвость, и мы не понимали друг друга. Все, о чем они говорили после употребления, слышалось скукой провинциальной, болью зубной, рутинной болотной. Спустя десять лет трезвости мне объяснили — отношения, построенные на водке, живы и неестественны. И поэтому рухнули мои многочисленные дружбы...

И после всего случившегося я решил духовно развиваться. Разбираясь со своим пониманием мира на тернистой тропе самопознания, я столкнулся с понятием “борьба с самим собой...” Мое неприятие самое себя, своих мыслей, действий и поступков само по себе вещь обычная для человека с низкой самооценкой. На меня произвел впечатление друг, однажды выступивший на духовных занятиях по данной теме. Он четко и ясно отчеканил, как будто произнес специально для меня, будто озвучил афористически мое состояние — “я чемпион мира по борьбе с самим собой...”

Валерка ударил меня при всем классе за длинный язык. Я не отвел взгляд, я не боялся его, хотя с ним стоял сильный Барабащук. Я смотрел им в глаза, продолжал улыбаться, ошеломленный, испепеляя их ненавистью и непокорством.

Падение

Истязая себя муками самопознания, болью осознания и принятия своего прошлого деяния, я двигаюсь тем путем, который едва не привел меня к гибели в той проклятой пьяной жизни. Я совершаю тот самый маршрут смерти, пытаюсь понять, почему же так случилось и как я оказался здесь, у железнодорожной колеи, в полнейшем сомнамбулическом беспамятстве. Я выполняю задуманное действие, потому что от бессмысленности случившегося меня преследуют негативные и, что особенно важно, крайние без полутонов чувства. Опуская их названия, не утомляя себя перечислением ощущений, я замираю на месте моей первой предпо-

лагаемой смерти в период отказа от здравомыслия. Ничего особенного, вход на складскую базу, многоэтажные дома, наседающие со всех сторон, стальная магистраль в сторону Пуховичей. Возмутительно, что нет мемориальной доски. Горисполкому не мешало бы установить памятный знак, мол, так и так, здесь едва не завершил свой жизненный путь главный мастер трезвого алкоголизма, создатель школы ангела, мастер перевоплощения, эталон эмоциональной незрелости и взрослого детства, гений инфантильности и король мании величия. Но не шизофреник! Собственно, с точки зрения религии для смертельно больных людей (12 шаговая программа реабилитации), серый кардинал, первосвященник и т. д.

Движимый отнюдь не самоедством, вовсе не томимый умолчанием, я тщательно силюсь помнить, как же я попал в сие странное место, где, кстати, я в свое время приторговывал книгами. По всей видимости, двигался я согласно тахографу подсознания или автопилоту.

Поскольку моя рассеянная память оборвалась где-то на улице Могилевской, кажется, в троллейбусе, я медленно возвращаюсь к точке отсчета и никак не могу представить тот общественный транспорт, который мог бы сюда свернуть. Тут-то и проводов троллейбусных нет, и трамваи сроду не дребезжали, и автобусы не бегали.

Стало быть, я притащился сюда либо пешком, либо явился на такси, другого варианта я не видел. Но чудеса встречаются там, где присутствует сам Бог. И опять же, и, стало быть, где-то все-таки чудо произошло. На грани жизни и смерти. Началось и завершилось моим не спасением, но сохранением, консервативно и с намеком. Случилось дело у племянницы моей бывшей жены. Но почему я там оказался! Началось, так началось — с тайной мысли превратиться в любовника Натальи. Я заглянул к ней на огонек во второй половине дня и обнаружил целое гульбище, сущий девичник, звонкоголосый подружник.

Мне, принявшему “на грудь” уже грамм шестьсот — по чуть-чуть, но часто, глянулись красивые спяну женские лица. Ко всему встретили меня, на радость мою похотливую, восторженно, с огромной нетрезвой любовью, с визгливыми восклицаниями, сочными и вполне серьезными поцелуями, нетоварищескими ласканиями. Я оказался растерянным и беспомощным от изобилия нежности, сверхвозбужденным от возможности выбора и доступности желанных и симпатичных особ женского пола. Мне “снесло башню”, я устроил безумный финал, выпив на брудершафт со всеми поочередно. Таким макаром я влил в себя шестьсот граммов бренди за пять минут. Женщины употребили только по рюмке. Я почувствовал резкий упадок сил и более чем среднее опьянение, засобирался, куда-то заспешил, вошел в какой-то троллейбус и все.

Ангелы привели меня в эти края, включили сознание, и я начал падать, словно человек с отрафированными мышцами. Я ронялся на асфальт, уворачиваясь от карусельного гудрона, группируясь как только

возможно. Насчитав двадцать восемь трупных падений, я вдруг протрезвел, вспоминая, где я нахожусь. Дежурная, добрая женщина, открыла мне дверь, помогла привести себя в порядок. Я вызвал милицию на себя, будучи в безумии, чтобы заплатить им, как за такси (оцените уровень детскости). Прикатил воронок, ребята поглядели на мою окровавленную физиономию и даже не забрали. Немного погодя такси несло меня в дому. До Уручья было так же далеко, как до первого дня трезвости, как до осмысления своего предельного человеческого унижения и морального падения...

Хитрость

Что за странное явление — хитрить и обманывать себя, экономить на спичках, чтобы потом все равно заплатить за спичечную фабрику? Жена сказала, нужно везти дочь в больницу (ребенку немногим больше трех недель). Трешка на такси в одну сторону — в другой конец города, трешка обратно, и вся проблема. Следуя природной рассчетливости, пытаясь оказаться умнее остальных людей, я глубокомысленно выдержал паузу в разговоре, поднял палец вверх. «Мы попросим Владислава Павловича, и он поможет нам...»

Наш старший друг и сосед, историк-архивист, книгоечей, подвижник, блестящий собеседник вместе с женой (давно ушед) Рианой Григорьевной никогда нам ни в чем не отказывал. Мы с первой женой платили интеллигентной семье той же монетой, даря пожилым людям всяческие услуги строительного, сантехнического и снабженческого характера. Например, вчера я приволок им металлическую стойку для белья, которую мне сделали мужики на работе за бутылку вина. Я жалел деньги, потраченные на вино, но желание произвести впечатление оказалось сильнее. Устанавливая стойку, я услышал, как на той стороне перегородки откололся кусок бетона и упал рядом с играющим ребенком.

Слава небесам, ничего страшного не произошло. Потрясение мое улеглось в подсознание. Владислав повествовал о жизни былой. Кое-что из его прошлого стоит вспомнить.

Мальчишкой он спешил на фронт, отринув запреты родительские. Своеволие — грех тяжелей. Эшелон попал под фашистские бомбы, и при этом юному герою оторвало левую руку и левую ногу. Вот такие, брат, пироги. А его любимая Риана — целая легенда — внучатая племянница легендарного Буденного, вкусившая в послереволюционном Ленинграде в тридцатых годах прошлого столетия всю сладость высокопоставленного детства в двух шагах от Сергея Мироновича Кирова. Потом репрессии, ссылка, мытарства, институт, практика в Казахстане, внебрачная дочь от начальника отдела — казаха. Владислав и Риана познакомились так же, как лейтенант Шмидт с дамой сердца в рассказе киногодея фильма

“Доживем до понедельника”. Они проговорили много тысяч дней и так не наговорились.

Владислав Павлович Миронов подрулил свой “Запорожец” к подъезду и мы с дочерью и женой разместились в машине. Мы проехали по Ольшевского, пошли на светофоре налево. Рычаг, приспособленный на баранке для одностороннего водителя, при обратном вращении зацепился за рубашку, сделав водителя беспомощным. Зеленоглазое такси бухнуло нам в бок, тормознуло, завизжало и затихло. Жена на заднем сиденье не пострадала. Наш друг долго выбирался из машины. Увидев его без руки и без ноги, таксист поостыл, слыша от ветерана лишь одну фразу — “Несовершенство конструкции...”

Мы с женой тут же поймали такси, понеслись в поликлинику. На обратном пути я помог другу отбуксировать покореженный автомобиль, испытывая чувство вины, взяв всю ответственность за случившееся на себя. На работе бригадир Витя Мальцев (ныне покойный) с товарищем за несколько дней довели механизм до первоначального состояния. “Это тебе обойдется в двести рублей...” — оценил Витя ремонт.

Ровно столько оставалось у нас на книжке от маминей тысячи — подарка на мою свадьбу. Мы с женой недолго совещались, решив без сомнения заплатить негласно и ничего не рассказывать гордому и самолюбивому Владиславу. Он ехал на отрехтованной и покрашенной “красавице”, насвистывал мелодию и улыбался. Витя ничего ему не сообщил, как мы и договорились. А на такси, как вы заметили, сэкономить не удалось, не считая двухсот “рябчиков” сверху за хитрецу...

Стресс всех стрессов

Голос совести звучал тише и спокойней. Я глядел на окна одного из домов, расположенных по улице Жудро. Я вглядывался в новые деревянные окна на третьем этаже, где, в принципе, жила моя несостоявшаяся семья. Никто не мелькал за светлыми солнечными шторами, ничто не смущало моего любопытства, хотя мне думалось, что за мной некто наблюдает. Я быстро отводил глаза в сторону и, боясь быть узнанным, обходил стороной старое девятиэтажное панельное строение. Нормальное и спокойное душевное состояние не наступало, что-то бередило, совестило и досадовало внутренним блуждающим образом. Как только мне надоело бояться, в квартире раздался звонок. Голос далекой Люды, внешне очень смиренный, заворковал, напомнил о себе, осыпал, прошупывая, вопросами.

В своем трудном трезвом алкоголизме (это когда не пьешь вообще, но остаешься эмоционально неуравновешенным) я продолжал бояться дома, улицы, окон, прячась, подобно маленькому нашкодившему мальчику, подобно подгулявшему жениху.

Люда взяла и родила сына Костю, как две капли воды, похожего на меня. Я об этом, конечно, не знал и спокойно жил, и сочинял свои, как я считал, гениальные стихи, которым, как и творениям Марины Цветаевой, придет свой черед. Я изнывал над банальной формой, пытаюсь втиснуть в нее негабаритное содержание. Я трясся над диковинной рифмой, а телефон разрывался. Я думал, меня разыскивает жена, и намеренно не поднимал трубку (уж лучше бы супруга). Наконец, терпение лопнуло, я поднял трубку и выслушал неожиданное приглашение давно забытой Людмилы: “Анатолий Никифорович, зайдите к нам в гости...”

Роман у нас получился короткий, скомканный, я был женат, она не замужем. Расстались мы тяжело, она подловила меня на лжи, бросила трубку, не захотела со мной общаться. Нечего было меня пугать, так думал я, вспомнив внутреннюю реакцию на новость о том, что она собирается рожать. Я таскался с Людой по району, моля бога, чтобы не встретить свою половину. Тут поневоле начнешь пить от напряжения и тревоги. Меня в общем-то устраивало, что инициатором разрыва оказалась строптивая дева, и я стер ее из памяти. Я не знал, что меня хотели побить ее друзья-товарищи за невыполнение отцовских обязанностей. Неприятная новость, конечно, к Людмиле чувства не добавила.

Вторая весть — просьба защитить ее честное имя и честь сына от наговоров зятя тоже не привела меня в восторг. Собрав всю агрессию в кулак, заручившись поддержкой знакомых, я беседовал с зятем, вытalkingивая из себя обломки необидительных словосочетаний.

Уж лучше бы я дал ему в морду, как сволочному мужику. Костя лежал в пеленах, чисто я во младенчестве. Улыбаясь через силу, я переживал стресс величиной с атомную подводную лодку, у которой только надводная часть высотой в пять этажей. Внутренний эмоциональный конфликт так сильно шатнул мой и без того зыбкий душевный покой, что мне сделалось дурно. Если бы не хорошая физическая подготовка, если бы не водка, то непременно случился бы удар.

Я встретил Люду и Костю через шесть лет, попытался дружить на расстоянии, но дева упорно преследовала цель сделать меня отцом ребенка. Она всегда предъявляла ко мне претензии (вполне справедливые): “Опять водка, — и окатывала гневом, — мы приехали за деньгами...” — ужасала Люда мое тревожное душевное состояние. Я что-то мямлил про жену и дева, заплакав, ушла навсегда. Мне стало необыкновенно легко и спокойно.

Совсем недавно раздался этот звонок, совсем другая звучала Людмила. Я попросил у нее прощения, рассказав о случившемся со мной горе — Дева вняла и тоже попросила у меня прощения. А через несколько лет, когда я сбросил свои лишние сорок килограммов, она возникла из тьмы и присела передо мной в автобусе. Она скользнула по моему лицу взором, явно не узнав меня. Особенного восторга при встрече я

не испытал, к тому же я представил, что у меня была бы такая не очень молодая жена, да еще с претензиями...

Миниатюры

Бутенины приехали к нам из Ленинграда. Отец тогда отлеживался со сломанной ногой.

Он упал с крыши, помогая бабке Порошихе стелить крышу шифером. Гости скрасили наш провинциальный быт. Нина Бутенина, моя двоюродная сестра, пыталась тормозить мужиков, день и ночь цедящих спиртное, но вскоре махнула рукой. Их дочь отдыхала днем на кровати в моей спальне и вызывала смутное волнение в моей семнадцатилетней душе. Муж Нины часто и наставительно подсказывал мне житейское направление развития, видя, что я нахожусь в тупике: “Ты попробуй поступать в военное училище, а то ведь засосет рабочий класс...” Я вспоминал его слова через много лет, опохмеляясь в бездне засосавшего меня пролетариата. А в тот день мы провожали полюбившуюся нам семью, тратившую каждый день кучу денег на продукты: “Муж еще не получал отпускные...” — успокаивала нас Нина, видя наше волнение и чувство вины. Поезд “Жданов — Ленинград” останавливался на станции Рутченково на две минуты. Мы втаскивали чемоданы, сестры плакали, все прослезилось. Нина перекривила мужа, раздраженная его опохмеленным самодовольством. Вагон плавно двинулся в сторону Донецка...

Заехал в гости дядя Миша, брат отца. Я помог ему достать прицепы “Зубренок” — два экземпляра. Фантастическая роскошь в советское время — вывести в другую республику дефицитный даже для Минска товар, имея справку-счет, заплатив при этом номинальную цену. Лично я угрохал кучу денег на подарки, о чем дядька не знал. Я злился на него, сам не зная, за что. На другой день получилась небольшая заминка, исчез один из участников цепочки, по которой прицепы уходили налево от трудящихся. Мы сильно переживали, тетя Нина, жена Михаила Степановича, безостановочно плакала. Я испытывал еще вину, страх и желание едва ли не умереть, лишь бы у гостя заладилось дело. Но обошлось. Мы катались по кольцевой дороге, утрясая последние мелочи. “У тебя шаровые хорошие?” — спрашивал я дядю, помня чью-то историю о сломанной детали на большой скорости и переживая страхи по-детски. Дядя отвечал мажорно и самоуверенно. И, спасибо богу, колесо повалилось у нас, как только мы тронулись. До сих пор я не унял злость и раздражение на дядю, воображая, что могло бы случиться. Уезжая, он пообещал привезти гостинец — ведро черешен — главному доставальщику прицепов. Мой интерес никто не учел. Я и здесь обиделся. Дядя звонил из Мелитополя, намерившись продолжать тихий бизнес, прицепы перепродавались очень неплохо, но я не подходил к телефону.

На фото мамина родня, соседи по деревне, бабушка Акулина, дед Никита и т. д. На фотографии мой двоюродный брат Василий (он крепко пьет). Полуприсев, мой родич выставил напоказ свой светленький пи-сюничик. Сколько мы ни смотрели на снимок, сколько ни разглядывали родословную, нас все одно разобрал смех от неожиданности сюжета.

Я появился у мамы накануне Нового года, немного пьяный, немного голодный. Дома никого не оказалось, но я догадывался, что мама у младшей сестры Галины помогает досматривать маленькую — до года — Леночку. С автобуса на автобус, триста метров быстрым шагом, и я в другом районе столицы Донбасса. Взбегаю по лестнице добротной малосемейки, скорым шагом иду по коридору, толкаю незапертую дверь. Господи, Галя в черном, Леночки нет, поминки. Друзья и родственники в трауре. Медицина дала туманное объяснение. В отчем доме мы с мамой перетираем трагическое событие, плачем внутрь.

Бедная Галя. Бедная была бы мамочка, если бы в ту неделю — она приглядывала за дитем — горе случилось во время ее отсутствия. “Галка убила бы меня, — сокрушалась мама. Как раз одну неделю мама болела, и трагедия случилась без нее...”

Часть третья

ПОВЕСТЬ НЕ ПЕРЕЖИТЫХ ЧУВСТВ

Вступление

Чудится — в далеком — прошлом веке — в одном из кинотеатров столицы республики я мучительно влачу кинематографическое существование в качестве зрителя, пытаюсь проникнуть в тайны картины Тарковского “Зеркало”. В том случае наименьшее из зол — непонимание служит хранителем внутреннего очага напряженности, предшествующего смертельному недугу стихотворца тоталитарных времен.

Чуть позже, друг нашей семьи, историк-архивист Риана Григорьевна Миронова ограничит мои версификаторские возможности доступным и реальным объяснением философского произведения “важнейшего из искусств”. Таким образом из моего воображения частично уберется смесь натуги с болтливостью, охранив меня от словесной неряшливости, простраившей беспомощности в тамошних диссидентских нашептах.

Чуть погодя, заплатив режиму посильную дань за возможность творчески воплотиться, я обнаружу свое творческое сознание практически девственным и удивительно свободным.

Чуть-чуть и постепенно, приподнимая завесу внутренней неприкосновенности, как говорил А.Блок свободы “тайной”, я пойму, что не поддаюсь соблазну душевного угождения разбойной власти, полуосознанному обольщению — нравиться читательской публике, ориентироваться на ее вкус.

Чуткий мой “гербовник чести” оставался незапятнанным. Тогдашняя социальная реальность почти не повлияла на мое общечеловеческое единение с миром, защитив мою обнаженную душу блистательным и восхитительным алкоголизмом. На “пиршестве живых” дух мой упрямо искал связь с небом, нащупывал потаенную и очевидную тропу самопознания, где можно было выжить в любые времена, в любой обстановке, даже переусердствовав.

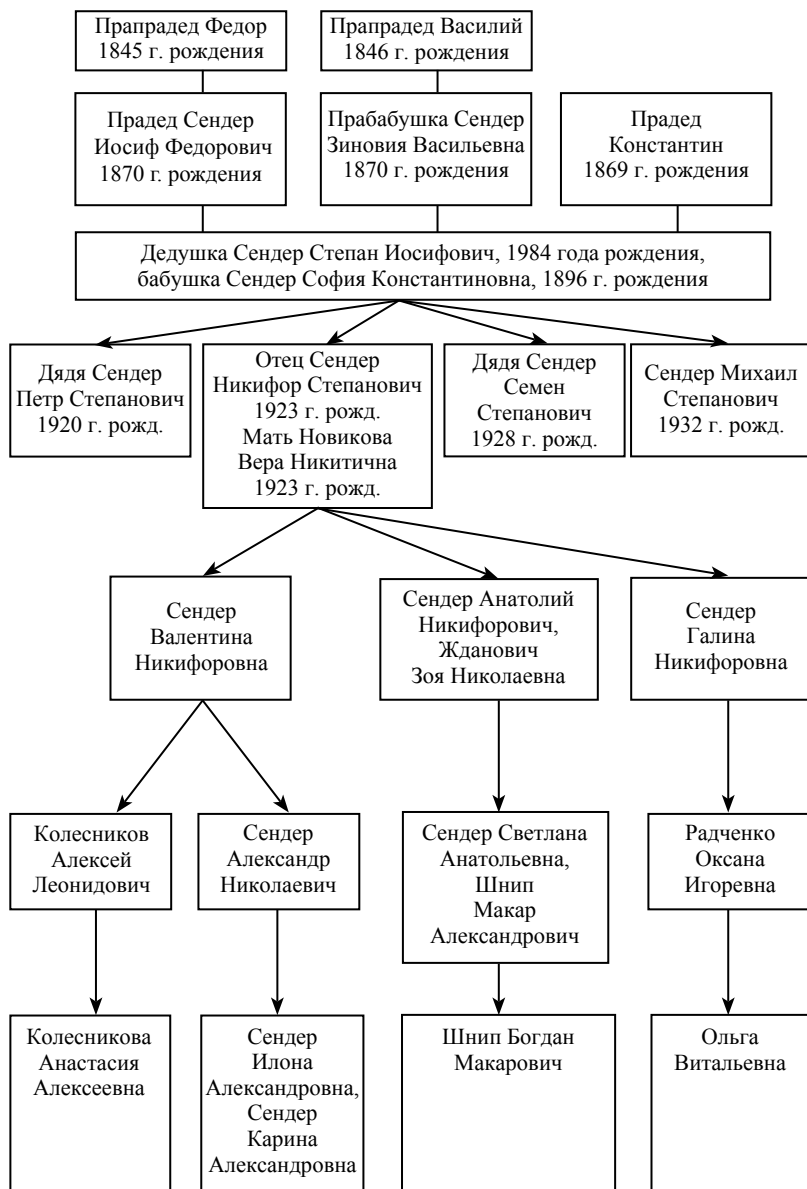
Чудесная драматическая сложность моей творческой созидательности еще и в том, что я не являлся только лириком, но всегда тяготел к эпике, а учитель мой Анатолий Юрьевич Аврутин, большой поэт, умел насытить мои предполагаемые задумки протяжным ладом эпического полотна, суровой гражданственностью, не уча, но указывая своим творчеством основную линию родовой связи виршей с поэзией предшествующих столетий.

Чувствовал я, будет преобладать моя печаль о том, как “удержать мгновение”, тот миг, какой по слову Державина — “вечности жерлом пожрется”. Не потому ли я все чаще с явным ностальгическим удовольствием и завидной точностью воспроизвожу и перечисляю черты былого,

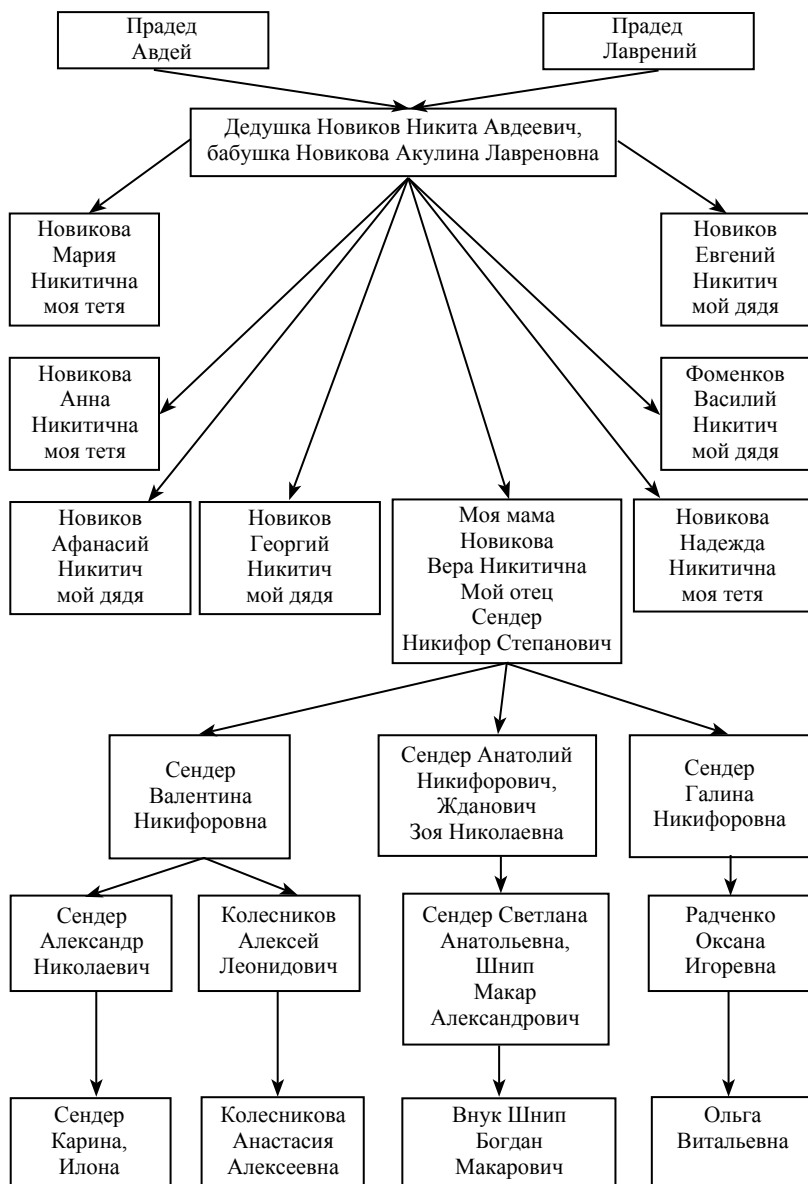
вдруг являющегося и денно и ночью. Не потому ли эти временные отметины суть еще одна оригинальная строка, еще один дополнительный импульс, несущие на себе потаенный смысл пока еще не выдохнутого образа, не вымолвленного стиха.

Отсюда и долгое существование вне диалога со средой, и односторонняя “любовь без взаимности”, и одиночество при очевидном многолюдстве. Отсюда дерзновенное желание посягнуть на порядок мироздания, подобно подвижникам средневековья Алкину, Августину, Абеяру, Франциску и представить по частям то, имя чему ВСЕ. И выход за пределы своего времени. В прочие времена и пространства. Иная точка зрения, будто бы не историческая, не поэтическая. Выпадение из времени и явление в будущем. Или наоборот. И только будущее соединит воедино изображение пришельца, вопреки всем традициям раздвигающего материю времени членораздельными ассоциациями...

Родословная по линии отца



Родословная по линии мамы



Перечень поколений одного рода, устанавливающий происхождение и степени родства — основа родословия, производного от греческого слова “генеалогия”. В историческом масштабе — это специальная дисциплина, изучающая возникновение и развитие родственных отношений. Как научная дисциплина, устанавливающая родственные связи исторических деятелей, родов и фамилий, возникла в XVII—XVIII вв. Вот наиболее общая информация о семи коленах семейства Сендеров и Новиковых, скучная, но правдивая речь о пращурах моих далеких.

Сендеры

Имя моего прапрадеда — Федор. Имя известно по свидетельству о рождении деда Степана, которое сохранилось в архивах моего брата, где проживал свои последние дни мой дед. Имя прапрадеда по прабабушке — Василий.

Мой прадед — Сендер Иосиф Федорович. Имя сохранилось по тому же документу. Моя прабабушка Сендер Зиновия Васильевна, имя известно из того же источника. Проживали в Вольнской области, Любомльском районе, село Пища. Мой прадед по бабушке Константин. Возможно, коренной житель волыньщины.

Мой дед — Сендер Степан Иосифович, род. 11 декабря 1894 года в Вольнской области, Любомльском районе, село Пища. Подпоручик царской армии, штабной писарь, обладатель каллиграфического почерка, дворянин, долгожитель, прожил девяносто восемь лет. Поклонник хуторского хозяйства. Участник партизанского движения. Связной с отрядами партизан имени Ворошилова, имени Дзержинского, что находились в белорусских лесах Домачевского района Брестской области. Позднее пострадал от советской власти, был осужден — обменял мешок зерна на овес для колхозной лошади, затем выслан. Сдал его однофамилец. У деда отобрали все награды. Дед много раз писал по инстанциям, но восстановить справедливость не удалось. В предка стреляли бендеровцы, когда тот вез казенные деньги, да бог миловал. Находясь в заключении, дед помогал писать письма братьям по камере. После смерти первой жены, вторично женился на молдаванке по фамилии Никора. Семья проживала в Кировоградской области, Новомиргородском районе, село Мартыноша. По возрасту и усталости они продали дом и уехали жить к дочери жены. Та создала старикам режим невыносимости. Жена у деда ушла из жизни насильственным способом, а деду пришлось прозябать в свинарнике. Младший сын Миша откликнулся на письмо и забрал отца в Мелитополь. В восемьдесят девять лет Степану Иосифовичу вырезали аппендицит. “Послушайте, как у деда мотор молотит”, — кричала сестра медицинскому персоналу и коллеги в белых халатах с удивлением смотрели на показания классического давления, спрашивали: “Дедушка, вы чем-нибудь болели?”

“Лет семьдесят назад страдал цингой”, — отвечал усталый дед. Умер старик 9 октября 1992 года от тоски и одиночества, отказавшись от пищи. Он пережил смерть трех сыновей и отшествие четвертого в позднюю женьтубу. Похоронен в Мелитополе.

Бабушка Сендер София Константиновна, знаменитая целительница, костоправ, известная в свое время на всю Польшу, Западную Украину, Румынию. Скоропостижно скончалась в годы войны с гитлеровской Германией. По свидетельству ее мужа, моего деда, “почернела, иссохла очень быстро...” Редкие и пожелтевшие снимки запечатлели ее взгляд, пронизывающий насквозь неизъяснимым всевидением — даже с фотографии. В ее чертах угадывается откровенная привлекательность и красота, огромная внутренняя сила, может быть властность, возможно, затаенная немощь.

Сендер Никифор Степанович, мой отец, родился в 1923 году. Участник войны с гитлеровской Германией, узник концлагеря, избежал коммунистической “десятки” за нахождение в плену на вражеской территории. Сорокакилограммовым мальчишкой он добрался домой, чудом избежав смерти. Семья жила на хуторе, домочадцы затаились, спрятали сына от недобрых глаз, распространили весть, что все годы ребенок провалялся пластом — болел тифом и едва выжил. Поэтому отец благополучно был призван в Красную армию, успел завести одну семью где-то в прибалтийских республиках. Потом встретил мою будущую маму, работал на лесоразработках на острове Сахалин, спустился в шахту, где и получил увечье — лишился правой руки. Рано получил пожизненную пенсию, столкнулся с медленным временем, не нашел нормальных способов его преодоления, втянулся в употребление спиртных напитков. Умер в Донбассе двадцать второго мая 1985 года. Отец похоронен на кладбище Шахты 29. Дети Валентина, Анатолий и Галина.

Мой дядя Сендер Петр Степанович, 1925 года рождения. Участник Великой Отечественной войны, пропал без вести в ноябре 1944 года. Очевидцы уверяли, что мина прямым попаданием разорвалась буквально на нем. Сохранилось извещение о смерти.

Мой дядя Сендер Семен Степанович, 1928 года рождения. Обзавелся семьей в Донбассе после окончания горного техникума. Ранее, по свидетельству родни, влюбился или увлекся приемной сестрой Марией, дочерью второй жены отца и моего деда Степана. Возможно, это оказалось главной причиной его отъезда из дома в промышленные — угольные края. По рассказам мамы был частым гостем в нашем доме, прежде чем отправиться к семье. Любил выпить рюмку водки. Трагически погиб в забое шахты “Лидиевка” в городе Донецке 30 октября 1957г. Получил смертельную травму тела от соприкосновения с движущимся угольным комбайном. Не исключено, что кто-то отомстил и нажал кнопку “Пуск” за нанесенные обиды. Дядя Сеня считался очень жестким десятником.

Был парторгом участка. В перспективе мог бы стать начальником шахты. Как члену партии шахта устроила ему пышные похороны. Остались маленькие дети сын Валерий, дочь Лариса. Прах его находится на кладбище шахты “Лидиевка”.

Мой дядя Сендер Михаил Степанович, родился в 1932 году, умер 1994 году. Служил на флоте, где и остался бы, если бы не смерть брата Семена. Впоследствии женился на вдове дяди Сени, поработал в забое шахты “Лидиевка”, уехал с семьей в Мелитополь Запорожской области. Был частым гостем в нашем доме, но постепенно связи и контакты оборвались, вспыхивая случайно редкими встречами. В Мелитополе у дяди Миши и его жены тети Ларисы родился общий сын Виктор. Дядя не слишком-то внимательно относился к своему здоровью, что впоследствии и привело к обострению заболевания легких, и стало причиной смерти. Прах его покоится на мелитопольском кладбище.

Новиковы

Прадеда по линии деда звали Авдей, по линии бабушки Лаврентий (возможно, Лаврентий). Они являлись уроженцами Могилевщины.

Мой дед Новиков Никита Авдеевич, родился в 1885 году. Коренной житель Белоруссии, Могилевской области, Климовичского района, деревня Семеновка, мастер по выкраиванию овчины, специалист по выделке валенок. Участник Первой мировой войны с Германией в 1916 году, жертва газовой атаки, великий хлебосол, добрый семьянин. Никогда никого не подвел как мастер, не выпил ни одной рюмки, прежде чем не завершил работу. Имел болезненную склонность к употреблению спиртных напитков. Умер, как сказали очевидцы, не мучаясь, мгновенно 17 февраля 1965 года.

Моя бабушка Новикова Акулина Лавреновна, коренная жительница деревни Семеновка, в шестнадцать лет вышла замуж. Родила много детей, ограничилась ролью домохозяйки. Умерла 18 июля 1969 года. На фото бабушка сидит с внуком Анатолием Фоменковым. Увеличенное индивидуальное фото выдает необыкновенную доброту лучезарных глаз, вовлекающих внимательного зрителя в умозрительный и неслышимый — духовный диалог. Похоронена в деревне Семеновка.

Моя тетя Новикова Мария Никитична, 1912 года рождения, дети: Нина, Валентина, Татьяна. Несколько раз была замужем. Свой век доживала в грибных и ягодных приключениях, умерла в одиночестве в костюмовичском доме престарелых, где и похоронена. По свидетельствам родни характер имела гордый и неуступчивый, властный и решительный. К приезду родственников работники дома престарелых приготовили: “Похоронили по-человечески, не беспокойтесь, земля всюду одинакова...”

Моя тетья Новикова Анна Никитична, умница, красавица, дети: Миша, Соня, Лида, Вера. Трагически погибла 30 января 1951 года во время “тайной” заготовки дров. Несколько дней в сильные морозы и снегопады тайно пилили огромную березу-вековуху, чтобы тихо убрать следы, замести содеянное. Сын сорвался с ветки. Бросившись спасать ребенка, тетья угодила в яму, заметенную снегом и ее накрыло падающей кроной. Удар был столь силен, что, сказывали, когда несчастную женщину ворочали, слышался хруст костей, как будто они лежали в мешке. Блаженная вскоре скончалась. Ее похоронили в поселке Высокое.

Мой дядя Новиков Афанасий Никитович, родился в 1916 году. Рано уехал на “свои хлеба”, избежав судимости за грехи молодости. В Москве прибилсь к военному училищу, стал офицером НКВД. Присылал большие деньги и богатые посылки. Погиб во время бомбежки в период русско-японской кампании 1945 года. По сообщению сослуживца, умер у него на руках после налета японской авиации двадцать третьего февраля. Возможно, имел семью. Его жена прислала письмо родителям Афанасия и, словно насмехаясь, положила в конверт три рубля. Гордые Новиковы крайне оскорбились. Афанасий покоится в братской могиле на станции Сучин.

Мой дядя Новиков Георгий Никитович, 1922 года рождения, участник войны с гитлеровской Германией, истребитель танков из ПТР (противотанковое ружье), имел боевые награды. Великий потребитель никотина, гений самосадного употребления, нескончаемый курильщик в буквальном смысле. По моим скромным предположениям входил в тройку мировых лидеров вредных привычек, расставаясь в табаке разве что во сне. Детей не было. Играл на гармошке как любитель, обслуживал увеселительные мероприятия глубинки, обеспечивая сносное музыкальное сопровождение. С родичами держался особняком, говорят из-за осторожной семейной позиции и нежелания портить отношения с супругой, отчего по поводу Георгия существовали разные мнения. Похоронен в Стайках.

Моя мама Новикова Вера Никитична, 1923 года рождения. Окончила Осмоловичскую семилетнюю школу, Климовичский сельскохозяйственный техникум, по профессии ветеринар. Участница войны с гитлеровской Германией. После освобождения Климовичского района от фашистских оккупантов в приказном порядке была загнана на медицинские работы в госпиталь. После окончания войны на запрос об участии в военных событиях ответили, что это была добровольная волонтерская акция, что ее участники не подпадают в разряд привилегий, полагающихся за пребывание на фронтах. Дети: Валентина, Анатолий т.е. я и Галина. Основное жизненное пространство заполнила домохозяйством и воспитанием детей. По причине ревности отца не смогла работать по профессии. Живет в городе Донецке.

Моя тетя Новикова Надежда Никитична, 1926 года рождения. Привлекалась на принудительные работы в Германию, родила сына, муж умер. Инвалид труда, частично потеряла зрение на Оршанском льнокомбинате Витебской области. Обосновалась в городе Таганроге Ростовской области, жизнь посвятила торговле, подверглась жестоким нападениям алкоголизма, несколько раз была замужем. Умерла двадцать пятого августа 1988 года, похоронена на Николаевском кладбище в городе Таганроге. Дети: сын Анатолий и приемная дочь Людмила.

Мой дядя Новиков Василий Никитович 1928 года рождения. Единственный ребенок из многодетной семьи, который воспитывался отдельно от всех у бездетной тетки. Поэтому по паспорту числился на фамилии Фоменков. Самобытный, гордый, с ярко выраженными личностными индивидуальными особенностями несостоявшегося поэта. Неповторимый представитель свободных белорусских просторов, мастер своеволия. Алкогольно зависимый. Умер в 2004 году, похоронен в городе Гомеле. Дети: сыновья Анатолий и Василий.

Мой дядя Новиков Евгений Никитович, родился в 1932 году. Несостоявшийся армейский старшина, на гражданке великий мастеровой-плотник, участник партизанского движения, ветеран труда. Работал в Донецке на шахте "Лидиевка", на Таганрогском металлургическом заводе, пенсионер, живет в Таганроге Ростовской области. Дети: сын Володя.

Мяу-мяу

Таинственный и невидимый котенок источал капли странного мяуканья, растекаясь, то ли мольбой о помощи, то ли просьбой об участии. Существо суетилось в недрах круглого подстоля, накрытого цветастой, невыразительной, темно-зеленой клеенкой. Потомок северной — норвежской кошки привлекал голубоватым с блестящим отливом окрасом шерсти. В неуверенных движениях котенка чувствовалась затаенная страсть ливийского дикого животного, мощь северных африканских барханов, исторгнувших к ногам человека подвид дикого животного более пяти тысяч лет назад.

Столешницу окружали гости, пирующие по какому-то революционному поводу. Пронзительно хрустели соленые огурцы, полуцельно на боках слеживались маринованные помидоры, пятнами на тарелках распозались синенькие, обильно политые пахучим малоросским растительным маслом.

Подтаявшее холодное светлил и серебрил яркий зимний свет,рывающийся в наполовину замерзшие окна. За стеклами тучнели обильные сугробы, схваченные морозом и расцвеченные ярким солнцем.

Сквозь бахрому свисающего полотенца я наблюдал за полной тетей Тосей, в тон разговору размахивающей вилкой с нанизанным на трезубье надкусанным куском разомлевшего сала. Женщина оказалась единственной соседкой, обратившей внимание на мой потерянный дошкольный образ, мечущийся то под столом, то под чередой старых и скрипучих скамеек.

Я проползал низами — полами хрипящими — вдыхая несвежий запах носков, ужом ввась меж ног и ножек. Я ощущал низовый сквозняк, неведомый невнимательным взрослым, не обращающим взор на несчастного котика, оттирающего и лижущего побелку холодной стены. Одна лишь тетя Тося — я периодически попадал в поле ее зрения — ласково и понимающе трепала детскую непричесанную головку, наполненную отнюдь не светом божьим.

Родители и не догадывались о той трагедии, какая происходила в маленькой формирующейся душе, жаждущей чувства причастности к окружающему миру. Им бы, бедолагам, поставить мальчика на табурет, им бы всего-то пять минут уделить внимание отроку, и бегал бы сынок по уютному многокомнатному дому радостный и счастливый. Знать бы мамке и папке простые истины, не пришлось бы сыну всю жизнь искать внимание к собственной персоне неестественным — клоунским и шутовским способом — как тот крохотный котик. Как вы уже догадались, в шкуре мифического мурлыки таилась вовсе не кошачья душа.

Я ерзал от спальни к печке, вдыхая слабо струящийся углекислый газ — тяга дымохода из-за отсутствия ветра не справлялась с угольным чадом. Всем аборигенам поселка “Лидиевка” такой запах считался привычным, а свежий воздух, пронизанный сероводородными терриконными копилками, паровозными топками и дымами печей частного сектора, свежим назывался весьма и весьма относительно. Опять же, у местных жителей, привычных к нечистому региону Донбасса, где у нормального человека случались приступы и трещала голова, отсутствовала аллергия на загазованность.

А я пицал и верещал под столом, как мне тогда думалось, натурально, жалобно и правдиво. Я возмущенно думал, почему же взрослые не бросаются на поиски невидимого пушистого комочка. Почему же громогласные дяди и тети, жрущие вонючий самогон, вдруг не крикнут: так вот кто всех нас смешно и ловко обхитрил, а мы-то думали и вправду котик заблудился: мяу-мяу...

Гости

Дядя Миша (мама его не очень почитает) заруливает на своей красавице-волге “ГАЗ-21” в узкое пространство нашего Г-образного двора. Я, скача от радости, прыгая с ноги на ногу, следом запираю

ворота, предвкушая вечер знакомства с тайнами автомобиля. От необычной перспективы у меня захватывает дух, а плоть мою распирает предчувствие приближающегося чуда, просто явление гостей. Правда в далекие времена XVIII века и ниже гостями на Руси именовались крупные купцы, члены привилегированной корпорации купцов. Они выполняли важные поручения правительства по закупке, оценке и хранению товара, гласит энциклопедический словарь. Мой родственник примерно относился к тому же племени только мелкого городского масштаба, но хватку имел державную.

Дядя Миша (мама считает, он мог бы привести более щедрый гостинец, только языком треплется) обнимает и целует племянника, т.е. меня, мягко толкает к своим отпрыскам, к двоюродным брату и сестре — Валерке и Лариске, и мы прячемся в жаркой от летнего солнца кабине.

Дядя Миша (мама за глаза называет мелитопольского гостя “куркуль”), младший брат моего отца, балагурит за столом, бахвалится коптильней и своей должностью заместителя начальника цеха. Выпив рюмку с отцом, он долго закусывает спиртное салатом из свежих огурцов и помидоров, а затем прямо из тарелки выпивает огурцово-помидорный сок попережку с растительным маслом.

Мы же, детвора, дружной семейкой “греемся” в салоне самого комфортабельного народного советского автомобиля шестидесятых годов минувшего столетия. Брат Валерка ведет себя как бывалый водитель, сметая все мои притязания на техническое первенство. Брат, словно балуясь, открывает таинственный капот, долго и задумчиво смотрит в моторные недра, поражая техническими терминами.

А потом он цитирует модную песню “Черемшина”, переложенную на футбольный лад блистающего в то время киевского “Динамо” — “Бибу и Мунтяна, Сабо, Паркуяна, ждуть медали, ждуть...” — завершается страстный припев болельщиков и звучит своего рода угрозой, как выразился провинциальный националист, “москальским командам “Торпедо”, “Спартак” и “Динамо”.

Я же, опытный запахами салонных чехлов, жарой, высокой эмоциональностью родственной встречи, сидя на заднем сиденье, под диктовку Валерки и несуетливой Лариски, записываю сладкие и полюбившиеся сердцу строки, хотя “болею” я за донецкий “Шахтер”. Мне, живущему на самой окраине промышленного Донбасса, нравится песня с футбольным содержанием. Да что там нравится, я вообще никогда в своей жизни ничего подобного не слышал.

К вечеру спадает жара, мы двигаемся по двору полусонные, утомленные обилием впечатлений. Дядя Миша “перебирает” или же взбрыкивает оскорбленная гордость в контексте братского разговора. Или же отец, освобожденный от страха первачом, говорит рвущуюся наружу правду: и то, что Мишка женился на вдове — тете Ларисе из-за денег,

которые накопил погибший в забое шахты “Лидиевка” его брат дядя Сеня, и то, что на могилу Семена Мишка редко приезжает...

Дядя Миша одуревает, бросается к машине, намеревается куда-то ехать. Для окраинного темнеющего поселка, опускающегося в ночную тишину, мы ведем себя шумно и крикливо. Валерик открывает капот и вынимает свечу, но опытный водитель Михаил Степанович Сендер сразу же обнаруживает подвох. Свечу возвращают, дядю Мишу уговаривают всем миром, все, кроме Ларисы Петровны. Она-то хорошо ведает твердолобость муженька в хмельные часы.

Буян возвращается так же быстро, как и уезжает. Он возникает из машины уже другим человеком, исполненным чувства вины и стыда. Он не произносит ни словечка, но я-то представляю, что он услышит завтра из уст супруги. Чуть позже, сидя на лавочке, я слушаю его рассказы об армии — служил он в морской пехоте. С другими общаться он пока не желает. А на завтра вдруг возникшее семейство мелитопольских Сендеров тихо и без скандала укатывает в марево дальней дороги. Дядя Миша встретился с отцом перед смертью моего родителя. Возможно, они простили друг друга и сказали главное...

Принцип

Я думал, полубокс — это красивое название прически. Я заметил, мой друг Славик с соседней улицы Толстого, как-то скептически относился к моему смешновато-глуповатому лицу, обрамленному в старомодную стрижку. Я обратил внимание, Славик то ли хохотнул, то ли хмыкнул, прощаясь со мной с чувством безусловного превосходства, блистая удаляющимся затылком, оттороченным модной и потрясающей “канадкой”.

Поскольку в число моих достоинств входил неистребимый, может быть генетический, дух соперничества, я немного подумал, пощупал ладонями отросшие волосы, и предвидя неразрешимый конфликт с отцом, с горящим лицом двинулся по летнему абрикосовому переулку на шахту в местную парикмахерскую.

Возвращаться в дом оказалось трудным и неприятным делом. Подсознательно я чувствовал необъяснимую тревогу, поэтому приближался к улице Юшкова самым длинным путем. Мимо того самого домика, где я через пару лет беспричинно камнем расколочу стекло. Куда я приду через долгих сорок зим и весен, после духовного пробуждения, после переориентации всей жизненной философии на основе программы Анонимных Алкоголиков. Я сделаю это — попрошу прощения у оскорбленного дома. А через год я окончательно избавлюсь от страхов и поговорю с хозяином о том далеком и неприятном для меня случае.

Я неспешно кружил поселком, забредая за крайние хозяйства Дремовых и Кравченко, минуя небольшое кукурузное поле перед выемкой, спускался на пути железнодорожной колеи. Оттуда, невидимый для поселчан, я добирался до обителя моего друга и по крутой тропинке выбирался из выемки как раз напротив безхозяйственных и неорганизованных Шкаевых. Славик как назло нигде не маячил. Я не решился зазывать его громким криком, боясь строгости его родителя и педагогического взгляда его мамы. Главное, я не ощущал себя неполноценным, важно, что я убрал чувство ущемленности. Я гордо шествовал мимо любознательной вдовы тети Раи Поправко, скучающей без новостей. Ее муж дядя Вася алкоголик божьей милостью, покончил с собой. С точки зрения программы Анонимных Алкоголиков прощен и причисляется к лику святых как великомученик трезвого и пьяного алкоголизма. Никакая из религий не докажет мне обратное.

За Лакомыми я завернул налево, обошел взгорочек, хватанул из травы горсть слежавшихся абрикос, осыпанных с углового дерева Иващенко, начал быстро жевать желтую и теплую мякоть вместе с прилипшей пылью и, кажется, муравьями.

В прихожую отчего пристанища я входил осторожной матерого разведчика, держась теневой стороны, радуясь плохому освещению. Комната ослепила девичьими лицами — подругами старшей сестры Вали. Но радость омрачилась пришествием депрессивного отца. Разглядев возмутительную “канадку”, его хлебом не корми, дай помракобесничать, батяня устроил мне взбучку, опозорил перед девушками. Такое я ему не простил бы сто веков — так оно и получилось по судьбе.

Батя кричал, что нужно убрать возмутительное постригалово. Он требовал заменить его нормальной человеческой прической, имея в виду “полубокс”. Муж пропитанный до основания алкоголем, имел соответственную основу. Его внутреннее убеждение, зиждилось на наркотиках и таким же образом определяло его отношение к действительности в целом. И так же выглядела норма его поведения и деятельности. Мне от этого было не легче. Я плакал по-детски безутешно, искренне и саможалостливо. Я рыдал от обиды и оскорбленной чести. Я бы снес любые унижения, но тут примешались нормальные человеческие инстинкты, данные человеку свыше, чтобы выжить и быть счастливым.

Валины подруги, как могли, защищали меня от нападок домашнего тирана. Маленькие окна дребезжали от папиного возмущения. Хорошо и качественно положенный пол простуженно покашливал. Мои поклонницы твердо стояли на моей стороне. Затылок у меня чесался как кулаки у отца, который, того и смотри, вцепился бы мне в глотку, оторвал бы неправильно постриженную голову...

Почесуха отроческая

И опять появились признаки глубоко сидящего — будущего заболевания — алкоголизма. Или шизофрении, что по большому счету одно и то же. И опять наступили мрачные, медленно текущие дни, разрывающие изнутри именно своей медленной текучестью, которую хочется ускорить. Но реальность течет как течет. Бытие двигается, не изменяя сознание, не отключая настроение. Быт раздражает, давит, утомляет и, наконец, ужасает.

И вновь я не могу вспомнить свой возраст — в том возрасте. И вновь я ощущаю, об этом мне трудно писать. И не только об этом. Думается, мне лет тринадцать-четырнадцать. Я медленно и мучительно — для ребенка из неблагополучной семьи — начинаю превращаться в начинающего мужа. Призраки полового созревания, терзающие человечество в переходный период взросления, особенно призрачны и прозрачны, навязчивы и довлеют.

И сравнимы разве с почесухой из группы заболеваний кожи, когда чешется деторождаемый орган, чешутся руки, держа его в утреннем беспокойстве. И характерный сильный похотливый зуд — невроз отрочества — надолго лишает внутреннего равновесия, колебля даже ориентацию. Ну, чем не почесуха?

Я маюсь — классное слово, я брожу по комнатам, обхожу отчий дом несколько раз, без интереса срываю несколько вишен и жую сладко-кислую массу шпанки без особого желания. Изобилие овощей и фруктов, конечно же утомительно и не радует, потому что оно — и-з-о-б-и-л-и-е. Избыток времени я бы отнес к смертельной категории смертных грехов. Но возраст свой я все-таки не в состоянии определить.

Это медленно текущее, проклятое, проклятущее время в эпоху душевного смятения, в час раздвоения личности, в минуты потерянности, превращающееся в бесконечность, ведет мою плоть и душу отдельно. Более того, оно лелеет и холит их в разных измерениях, не позволяя прикоснуться к духу. Я воровски, чтобы мать потом не обнаружила, швыряю вишневые косточки в угол тщательно выметенного дворового асфальта, щелкаю пальцем по райскому яблочку, свисающему на наш огород с ветви дерева смежных соседей Поправко, снова поворачиваю стопы в дом.

Что-то смутное и потаенное формируется в глубине моего хрупкого образа, рождая образы диковинные и младенческие. Что-то лохмато-эротическое не позволяет умиротворенности подобраться ко мне ближе. Бог весть что жуткое и непроницаемое для благодати и милости небесной тучей заслоняет слабо развитое, хилое, рахитическое здравомыслие от влияния космического. Происходит что-то ненормальное.

Ненормальность в том, что ничего в самом деле не случается. Я просто есть, просто движется высшая материя со скоростью, установ-

ленной по законам природы, а мне не терпится ускорить ее шевеление, расшевелить ее до ускорения. Я ступаю на крыльцо, лениво отворяю первую — самую ладную в доме — дверь, доведенную до столярного совершенства братом маменьки — дядей Женей. Я толкаю перекошенное подобие двери на веранду, бью плечом сверхплотное, слава Богу не бронированное, изделие, сверхплотно подогнанное и оказываюсь в комнате с низко нависающим потолком.

Я безотчетно рву ручку двери, отделяющей пристройку от старой части помещений. В окно справа струится виноградник и слышится пронзительный голос тети Дуси, предупреждающий сына Сергея, чтобы слушался, “а не то яички оторву...” Я заглядываю в зев влекущей меня спальни. Атласные шторы серебрятся и струятся, в окно, затененное сенью ореха, врывается жаркий летний воздух. Восемилетняя сестра Галя спит на правой койке, повернувшись лицом к веселой мчащейся тройке на рисунке настенного ковра.

Я присаживаюсь на панцирное чудо напротив и заглядываюсь на оголенные ноги сестры, с трудом отрывая взгляд от темно-розовых трусиков. Я пугаюсь своего ощущения, своих мыслей и желаний, непонятных и необъяснимых. Я наскоро собираюсь с останками здравомыслия и бегу вон из спальни — куда глаза глядят, больно ударившись голенью об угол невысокой, торчащей из-за угла скамеечки. Я не обращаю внимание на резкие болевые ощущения под коленной чашечкой, я спешу, барахтаюсь в вязком течении жизни, не видя берегов, не находя выхода...

Садизм

Я любил, когда родителей не было дома. Я очень хорошо чувствовал себя в отчем доме, наполненном тишиной агрессии и наоборот. Я считал себя хозяином положения в такие благодатные дни — надо мною не витал призрак страха, вызываемый отцом из некоего таинственного далека. Передо мной не мельтешила мама, раздражающая не весть каким женским образом. Я предпочитал царствовать в нашем темном пристанище в горделивом одиночестве.

Я воображал себя важной птицей — так оно и есть — и волочился из комнаты в комнату за воображаемыми призраками и надуманными героями. Я командовал армией из одного единственного солдатика — моей младшей — шестилетней сестры. Тогда я не представлял, насколько я болен — опасен именно своими неразвитыми — неуправляемыми инстинктами. Как известно, недостатки личности, состоящие из — извращенных естественных желаний — причина всех жизненных неудач и душевного беспокойства. А я-то полагал себя выдающейся личностью, почти гением. А я-то мнил себя важной птицей...

Сегодня и сейчас все мое существо содрагается от страшной мысли, что могло бы случиться, не окажись я на спортивной стезе, поддавшись влиянию безумного, похотливого “хочу”. Нынче — время собирать камни, однако, и сказать главное, правду, не умоглядную, не общую, всем известную, но истинную и глубоко сокрытую. В данную минуту ни одна негативная эмоция не беспокоит мою относительно прозрачную совесть.

Я блуждал по обители родительской, не догадываясь, какой бродяжнический путь мне предписан по книге судеб. Исполненный тьмы и злобы, мстительности и обиды — пока еще не выраженных, пока еще ожидающих своего часа — я фантазировал соответственно — создавал чудовищные игры, присущие будущим шизофреникам — подробные, инфантильные и нелепые. Суть моя блудливым отроком расстилалась изворотливой тенью, угождая сильным, разрушая слабых.

Сестра Галя только что проснулась и подобострастно взирала на старшего и авторитетного брата. Сестрицын полусонный лик полуосвещался светом вечеряющего августа, разбавленного гущиной ореховой кроны, разросшейся на высоту двухэтажного дома. Девочка лежала кротко и покорно, не ожидая ничего страшного. Она только что освободилась от вязкого полуденного сна, утяжеленного летней жарой.

Странное это дело — приступы шизофрении у слабо развитых детей. Кошмарное это состояние неизвестно откуда берущееся, неясно куда направляющееся — необъяснимое желающее вспышки разрушительности и хаоса. Удивительное это начало. Половое созревание с основой извращения. Я конечно же в то время не мог обосновать, что для полового удовлетворения мне нужно причинить боль существу противоположного пола. В те экологически кошмарные для шахтерского поселка и для разума дни, я ничего не знал об имени А. Де Сада, обосновавшего такое ненормальное стремление мужчины к женщине, это стремление к жестокости, наслаждению страданиями других.

Я ложусь рядом с Галиной, жалею сестренку по-братски. Малышка вновь засыпает. Я вдруг хватаю полотенце и начинаю бить по крохотным детским ногам, по беспомощным ручкам, по заголившейся попе. Доведя единоутробную до истерики, я успокаиваю ее, целуя и жалея по матерински. Крошка скоро приходит в себя и я вдруг вновь повторяю всю экзекуцию еще один раз. Потом я лежу, прижимая Галочку к груди, говорю ей добрые и теплые слова. И мы вместе засыпаем.

Мама будит нас около семи часов вечера довольная тем, что у нас ничего не случилось, что ее любимые детки сладко и безмятежно сопят в спальне. Мама зазывает нас из дальней комнаты, приспособленной под кухню, на ароматный неизвестного содержания ужин. Я показываю Гале кулак, шепнув, “Мамке ничего не говори, убью...” — и мы шумно соскальзываем с гремящей панцирной кровати под бесстрастными взгля-

дами молодых родителей, воззирающих на нас со свадебной фотографии на стене...

Исповедь по швейцарскому времени

Я же говорю вам, что получаю все необходимое, как только подумаю об этом. В пределах разумного, конечно. В рамках человеческого понимания, разумеется. Но как охота побыть на месте Создателя! Как жажду я получить все и тотчас же, и незамедлительно, и ежесекундно. Так и подбивает меня господин лукавый поиграть роль Господа в великой человеческой пьесе под названием — жизнь. Так и норовит вытолкнуть на сцену в главной — руководящей роли. И велит глаголить миру нескончаемым речитативом истины и непогрешимости.

Но я же не бросаю слова на ветер, несущийся навстречу утреннему народу, овевающий меня с ног в первый солнечный день мая, в первое утро на пятьдесят пятом году моего земного бытия. Я только размышляю о старом ремешке на моих замечательных часах. Я едва ли сокрушаюсь от усталого и стареющего — привычного для кисти тикающего механизма и смутно начинаю желать новые часы. Я с раздражением останавливаю взор на 779 странице словаря, оценивая информацию о Швейцарии. Как футболист, я подсознательно помню, что великая игра в Конфедерации находится на среднем уровне развития. Как великий мечтатель, я желаю иметь счет в швейцарском банке. Я много слышал о высоком качестве швейцарских часов, но статистика поражает мое воображение. Страна является крупнейшим поставщиком на мировом рынке качественных часов (около половины мирового экспорта). Как мне мечтается о собственных часах.

Ни для кого ни секрет, небесная канцелярия лишена чувства юмора. Стало быть, помыслил, жди ответа. Возжелал, честолюбивый страстный порыв уже рассматривается на секретариате. И никаких волокит и бюрократий. Абсолютная справедливость. И ласкающий ветер тому порукой. И ничемнущая досада тому подтверждение. Но никто не поздравляет с днем рождения. Один лишь Коля Ильин спросил, почему я такой торжественный. “Ничего не знают” — среагировал я с обидой, превращающейся в жалость к себе и переходящей в мстительность.

Светло и празднично я выгляжу сегодня — от блистательной рубашки подаренной сватами, от модного костюма в полосочку, источающегося если не светом, то уж точно духовностью. Идя асфальтом, залитым ранним солнцем, я мечтаю о целом состоянии, ну хотя бы о сотне тысяч белорусских рублей. Их непременно наши работники подарят мне сегодня согласно коллективной традиции — вскладчину — как имениннику.

Но я блистаю в мажорных тонах еще и по случаю выхода в свет моего первого и пока единственного романа-исповеди. Пока никто, за

некоторым исключением, не ведает, что аналогов в мире нет. И все очень просто: исповедники не становятся писателями, а писатели не умеют писать исповеди. Во мне же волею небес соединились оба качества. Я не успеваю довести до завершения внутренний монолог. На пороге возникает шеф. “Толян, откуда такая классная рубашка?” — хоть один внимательный и культурный человек, отметил я про себя и мягко, но с умыслом намекнул о дне рождения.

“Зайди в кабинет, — решительно произносит шеф. Также быстро он снимает с руки восхитительные швейцарские часы “Tissot” — вот тебе подарок...”. Опынев от восторга, смущенный от избытка эмоций, я держу заграничное чудо с серебряным циферблатом цепкими руками вездесущей мафии и нисколько не сомневаюсь, никакая сила не отнимет у меня хрупкое произведение в стальном браслете. И все еще не веря в то, что пришло, я спешно надеваю и застегиваю браслет — как бы ставя точку в действии.

А шеф, продолжая тему моего исповедального сочинения, высоко и объективно отзывается о достоинствах моего творения. Надо отметить шеф говорит правду и чувствуется, идет она от чистого сердца. “Молодец, так себя обгадить, так показать себя с темной стороны! Ты состоишься!” Еще бы, раскрыться верующим, атеистам и агностикам. В надежде получить прощение? Едва ли. Хотя, почему бы и нет. Общим именем Иисуса Христа. За подвижничество. К слову, исповедь поначалу была публичной, затем стала тайной, обязательной. Не удивительно, что моя душа тяготеет в католицизму. Потому как именно католики узаконили исповедь на четыре века ранее православных. А поступил я в данном случае как протестант. У тех вообще исповедь не таинство. В моей же конфессии исповедь практикуется как важное условие освобождения от греха. Без причащения.

Я перемещаюсь по офису, ощущая на руке маленькую частицу Швейцарии. Горная европейская страна гордилась бы тем, как восхищенно я возношу их продукцию. Мой маленький внутренний ребенок не выдерживает течение времени, жажда позвонить кому-нибудь из друзей и поделиться новостью. Мой полыхающий душевный восторг пламенеет в моих глазах, горящих огнем — кричащих всему свету: “Я же сказал вам, все дают небеса, стоит мне только пожелать...”

Шоколадные перегрузки

Странное дело, первое, что пришло мне в голову в одном из днепропетровских ресторанов — во время ужина — что-нибудь украсть! Да-да, не насладиться уютной обстановкой зала, не полюбоваться красивыми девушками, не послушать популярные песни в исполнении ансамбля, а именно стащить какую-нибудь вещицу на память.

В красивом и очень загазованном Днепропетровске в 1970 году мы играли предварительную часть финального турнира на первенство Советского Союза среди юношей. Красивые днепропетровские девушки смущали наше отроческое воображение смутными желаниями. Мы передвигались стайками, делясь на группы по авторитетности. Ведущие игроки — Генка Курганов, Женька Канана, Женья Коваленко — держались особняком. Все они, заиграли в разных командах высшей и первой лиги. Володя Дрозденко смелее других озорно подступал к обогнавшим нас девушкам, не реагирующим на неловкие заигрывания, бросал странное: “У нашей дуры ни лица, ни фигуры”.

Столовались мы (правильнее было бы сказать “ресторанились”) в расположенном неподалеку от гостиницы заведении с поэтическим названием “Днепр”. Удивительное дельце, в полутемном помещении, отделанном под бархатные тона, для приема пищи, раз за разом мне приходила в голову одна и та же мысль — воровать!

Наш тренер Петр Андреевич Пономаренко — в жизни не встречал более честного человека — не экономил на наших желудках, не наживался, используя наше юношеское неведение и наивность. В отличие от остальных участников турнира, мы питались до отвала. Никто из ребят не осиливал огромные отбивные с картофельным пюре, полные стаканы сметаны обязательно с сахаром, послеобеденные дополнительные шоколадки, огромные, как стандартное футбольное поле.

Я, выросший в простой рабочей семье — отец потерял в шахте руку и трудоспособность, а мать всю жизнь промаялась домохозяйкой и иждивенкой — не относился к детям, избалованным кондитерскими излишествами. Я не ел, я жрал шоколад. Я впихивал в рот коричневую массу, некрасиво ломая податливые квадратики и глотая их, почти не прожевывая. Я наивно представлял себе шоколадное вечнозеленое дерево, кажется, “семейство стеркулиевые”. Я смутно рисовал перед собой страшные тропические леса Америки, помня одну только уличную песню “Мы идем по Уругваю”. Я мысленно ставил мякоть плодов с абрикосовыми половинками и не мог представить, как в них вырастает теобромин алкалоид для врачей и масло для кондитеров, фармакологов и парфюмеров. Жмых от плодов шоколадного дерева я сравнивал с “макухой” от семечек, происходила нестыковка понятий, как, шоколад и порошок какао из какого-то вторичного жмыха. Но прожеванная приторно-сладкая масса проскальзывала в глубину пищеварительного тракта, прерывая размышления, и я вновь наполнял полость рта экзотическим продуктом.

В отличие от других ребят, я не оставлял ничего шоколадного на завтра. Сейчас, накануне ужина — Петр Андреевич вручал нам по плитке, вечерами — мы томился в ожидании второго блюда. Я тихо и, как мне

казалось, незаметно взял на соседнем столе дополнительное меню и принялся листать. Я поднял глаза поверх пятистраничной брошюры, проводил взором официантку, уходящую в сторону кухни, суетливо запахал фирменную темно-синюю книжонку в спортивную сумку с формой.

Мы все сидели с сумками — после игры с ворошиловоградской “Зарей” — усталые до чертиков, но счастливые от выигрыша. Тем паче, что наши сверстники из смежной области, курящие, имеющие немало подставных игроков, вчера в гостинице, стоя неподалеку, поддевали нас, выглядевших более молодо и уязвимо. Лично я злорадствовал, но интересовал меня вычурный — серебряный подстаканник. Несколько подобных штук я экспроприровал еще в поезде, один увел на домашнем турнире в донецком кафе “Шахтарочка”. Произведение из потемневшего от времени серебра я внаглую, не прячась, пристроил между бутсами, накрыв мокрой, вонючей майкой. Для убедительности и от страха я бросил сверху черно-оранжевые горняцкие гетры и мятые черные большие трусы.

Мы возвращались в столицу Донбасса самолетом — победителями. Остатки денег тренер “превратил” в шоколад. Объевшись перед вылетом, налитый теплой газированной водой, я не выдержал самолетного волнения. Меня вырвало во время посадки. Я едва успел сделать подобие кульки из подвернувшегося под руки меню, не подозревая, что на полке для каждого пассажира хранится гигиенический пакет. Рвотную массу я незаметно опустил под сиденье. Покидая салон, я обонянием ощущал ее кисло-противный запах...

И был свет

Мама с трудом сдерживала недовольство — свет горел в каждой комнате — прихоть смертельно больного отца. В узком смысле мать раздражали электромагнитные волны в интервале частот, воспринимаемых человеческим глазом. Верно, родительница воспринимала волны разной длины как разные цвета от красного до фиолетового. О приближающейся смерти отца (кто ведает время своего ухода) знали только близкие родственники. Смертельная болезнь в легких развивалась на основе алкоголизма. А не оттого, что отца били в концлагере, и не оттого, что отец несколько лет работал в шахте. Врачи строго настрого запретили отцу малейшее употребление спиртного. Жесткие требования, ограниченные рамки трезвости, создавали старому пьянице невыносимые условия, усиливая муки прозябания в проклятой реальности. И вместе с тем твердая позиция медиков давала надежду на то, что не все так плохо в королевстве Сендеров на улице Юшкова, 16. И в самом деле, не все так безнадежно, коль уж свет ежевечерне струится из всех окон многокомнатного дома и не гаснет до утра.

Вера Никитична с большим напряжением посматривала на черные, устаревшие выключатели, отгоняя страстное желание погасить лампочки хотя бы в дальних комнатах. Неспokoйная женщина, похоже, видела свет и в широком смысле. Она рассматривала весь диапазон электромагнитных излучений с точки зрения оптического излучения, то и дело прислушиваясь к гудящему изношенному счетчику, требующему срочной замены. Уроженка земли белорусской перебежала из комнаты в комнату, опрoметью летела на кухню, поглядывая в окна на вечереющие сумерки, опускающиеся на дворовый асфальт. Хозяйка нервно оценивала взглядом совершенно обесцвеченного, когда-то очень красивого мужа, безвольно сидящего на скамеечке у крыльца и, казалось, живо беседующего с невесткой Зоей, внучкой Светланой, приехавших из далекого Минска. Батяка навсегда утерять то, что в астрономии называется светимостью — полное количество энергии, выпускаемое объектом в единицу времени. Величина его светового потока равнялась практически нулю. Отец в самом деле исповедывался, как потом рассказывала жена, отчего лицо его (сморчок сморчком) слегка покрывалось (может быть, от падающего из окна комнатного света) живым блеском.

Позже я разглядывал старые фотографии отца, хранящиеся в семейном альбоме с темно-синим замшевым переплетом. Я диву давался, поражаясь неистребимому страху, льющемуся на меня из глаз папы, смотрящего с нервным напряжением внутреннего беспокойства. Мое воображение тронуло потрясающее сходство наших потерянных взоров, наполненных до самых краев глубинной невысказанностью. Еще пристальней я вперивался в себя — будущего и понимал, как близок моему сердцу родич, как делает близких людей похожими — одно из жутких и липких ощущений, спрессованное в непоэтичное существительное “страх”.

А мама неудержимо неслась неизвестно куда и неизвестно зачем — лишь бы не сидеть на месте — чисто механически тянулась к раздражающим темным выключателям и всякий раз восклицала: “Ой, чуть не забыла...” — одергивая руку. Очевидная внутренняя потеряность проглядывалась в каждом движении усталой хранительницы очага. Рассеянная раздумчивость и предчувствие приближающихся потрясений будоражили женскую психику, измученную вечным выяснением семейных неразрешимых истин. Вторая часть любви — ненависть — сдала свои позиции безотчетному испугу перед рвущимися невидимыми связями, испокон века существующими между супругами, и будущее виделось туманным и пугающим, а прошлое важным и значительным, как частная собственность.

Незванная смерть явилась подобно неожиданным гостям — в самую неудобную пору. Отец рухнул со скамеечки, кровь пошла горлом, медленно проявились трупные пятна. Скорая помощь, приехавшая как

обычно не очень скоро, исторгла из чрева доктора, произнесшего: “Он умер”. Зоя визжала, что этого не может быть, что он только что был живой. Светлана испуганно прижималась к стене. Мама быстро скользнула в дом и выключила свет во всех комнатах...

Благие намерения

Еще безмятежно тянулись советские времена. Еще совсем маленький мой первый племянник (блаженной памяти) Саша неистово тянулся ко мне — любимому дяде, ища чувства защищенности, тоскуя по отсутствующему отцу. Еще разноцветно сиял детский садик с диковинными аттракционами и горками. Молодая воспитательница, напавшая сраженная моей свежестью, взглядывалась в мои незнакомые черты, интересуясь: “А вы кто ему будете?” Восторженный четырехлетний мальчик красноречивее любых слов объяснял, кто есть кто, бросаясь на шею долгожданному дяде Толе. Благо заключало в себе определенный положительный смысл, в тот период даже “Высшее Благо” как термин, введенный Аристотелем. Заметим, “благо” у Платона и неоплатонизме означало “Единое”, в средневековой схоластике “бог”, в конце XIX века вытеснилось понятием “ценности”. В более узком смысле и в данном моменте благо в моей этике маячило синонимом добра.

Еще бесперебойно работала многопыльная шахта “Лидиевка”, выдавая на-гора золотисто-черные угольные тонны. Церковный благовест заменяли денно и ночью гудящие шахтные механизмы. Гудок вместо колокола призывал верующих к социализму к началу добычи угля вместо богослужения. Густая темная масса отгружалась в вагоны, извергаясь из громадных металлических бункеров, до блеска отшлифованных каменным “золотом”. Согласно евангельскому повествованию, как раз я и приехал 25 марта в память о сообщении архангелом Гавриилом моему Сашеньке благой вести — о моем грядущем приезде. Каждое подобное событие входило в христианский календарь детского сердца вместе с другими моими явлениями и прочими обрядами небесными.

Мальш и я шли через шахту, наблюдая многочисленные механические чудеса, движения, верчения копров, шевеление стальных канатов. Он улыбался, любя меня и обожая жизнь как дар любви божьей к нему, как действие Бога, спасающее, освящающее и приобщающее его чистую душу к жизни истинной. Дети очень близки к Богу.

Околошахтный магазин считался убежищем племянниковых кулинарных желаний. Все дороги вели, конечно же, не в Рим, но в неприглядную пиццеторговскую обитель. Шахтеры после смены не упускали возможность заглянуть в ликеро-водочное безумие. Тут же в одном помещении располагались остальные отделы, исполненные пирожно-конфетных чудес, столь любимых любознательным мальчиком.

А потом по мановению волшебной палочки и такси мы оказывались в самом центре Донецка и долго гуляли мимо клумб с пламенеющими многоцветными розами. Мой любимый мальчик грыз свое любимое яблоко, крепко держа желтый черенок остатков белого налива. Я по невнимательности выхватил у него огрызок, столь дорогой сердцу ребенка, швырнул в ближнюю урну. Он заплакал столь горько и искренне, что я сообразил, это была его игрушка, это была его частная собственность. Я испытал глубочайшее — первое осознанное чувство вины. Как же долго та липкая эмоция маячит за моей спиной, не давая покоя ни днем, ни ночью.

А после мы забрели в цирк за минуту до начала представления, нагулявшись у родного стадиона, протопав по длинному мосту через городской ставок, охватывающий с одной стороны парк культуры и отдыха имени Щербакова. На лодке я не решился кататься. На лишний билет в цирк не рассчитывал. Но мое наивное лицо и просящие глаза племянника умилили огненно-рыжую билетершу. Отказав прямо перед нами мужчине и женщине, она полушепотом выдохнула, глядя на меня, говоря ребенку: “Вот вам с папой два билетика...”, — и глазами проглотила мою пружинистую плоть.

Завершая путешествие, полные цирковых эмоций, мы мчались домой на сорок первом маршруте “Центр Шахта Абакумова”, выйдя на остановку раньше, направившись домой длинным путем — через посадку. Я без умолку болтал, развлекая Сашу, вычудив одну из самых глупых шуток, свойственных моей тамошней эмоциональности. Я спрятался в гущину орешника и с ужасом отметил, как испугался мой мальчик. Я поселил в душе его неистребимый испуг, вместо чувства защищенности, нанеся глубочайшую душевную травму, потворствуя таким образом приостановке общего развития.

Через годы, наезжая в очередной отпуск, я трудно улаживал региональные — в отчем доме — конфликты моей мамы и уже взрослого, пользующегося наркотиками Александра Сендера. За пять лет моей трезвости я еще мог с ним увидеться, но страх и болезненное личностное развитие смуглили мой разум. Я закомплексовал, впал в самообман и мы не встретились. А на Крещение в тридцать лет его не стало. Я читал письмо от сестры и плакал, и боялся, что дочь увидит мои слезы. И еще острее ощутил вину за идиотское поведение в посадке — в далекие семидесятые годы прошлого столетия...

Кислички

Зря это вы, Петр Андреевич, при всем честном футбольном юношестве юмор оттачиваете на мне, маленьком-маленьком, тщедушеньком, никчемнушеньком. В смысле физическом и эмоциональном. Сашка

Колодяжный гогочет, как мне показалось. Женька Канана обычно в улыбочивом состоянии, лицо у него веселое, безмятежное. Валик Артюх, кажется, ухмыляется, но упорно смотрит вниз, наверное, все же насмехается. Я же одновременно вижу всю нашу группу, чувствуя себя крайне скверно и одиноко.

Потому что позавчера, до прихода Петра Андреевича, мы травили запрещенные анекдоты, гранили друг о друга чувство причастности и шалили, согласно четырнадцатилетнему возрасту. Я с привычной тяжестью в желудке — мама всегда успевала к шести часам утра приготовить мне обильный завтрак — переваривал массу жареной картошки, перемешанной с солеными огурцами и помидорами. Я толкался с Колькой Земляным, наиболее близким и приемлемым мне по духу. И напоролся на бандитские манеры Колодяжного. Сашка, вроде шутя, ударил меня затылком в лицо, когда я оказался у него за спиной, будучи значительно сильнее, я бы сказал более матерым в делах мелких уличных взаимоотношений.

Я таращился на “колоду”, как мы его кликали, напрочь лишенный страха и беспокойства, неподвластный желанию сдаться, уступить или ретироваться. Сверстник вдруг сунул кулак прямо мне в живот. Желудок, набитый высококалорийной и малопитательной пищей, мгновенно среагировал резким унизительным звуком выхлопного свойства и запаха. Я опозорился, но, благо, остальная футбольная братия, занятая своими спорами, ничего не слышала, кроме Женки Цыпляева.

Через много лет Женька Цыпляев, подававший просто сумасшедшие надежды, как будущая “звезда” футбола, встретится мне в развитом алкоголизме на пыльном перекрестке микрорайона Текстильщик. Через тысячи дней после завершения “матча” он выскажет мне накопившиеся обиды и то, что я не увез его в Белоруссию (где он спился бы еще быстрее), и то, что я зря не возвращаюсь на шахту имени Скачинского (где самая высокая в мире степень смертности и травматизма) к нему в бригаду, и что он с удовольствием поможет мне устроиться на лучший участок.

Почему-то вспомнился ясный августовский День шахтера — наиболее чтимый в краю горняков — мы уже вышли из младшего возраста подающих мячи и надежды. Мы уже виделись более или менее определенными и сформированными как футбольные личности. По крайней мере Петр Андреевич Пономаренко, наделенный пронизательностью великого педагога, знал и понимал что-то такое, о чем и сейчас никому неизвестно. Почему-то, будто еще раз услышались, воскресли слова, взбудоражили меня до основания. Тренер нашей футбольной академии крепко выговаривал, и кому бы думали, да, Женьке Цыпляеву. Все о том же, об известных ему случаях появления винного запаха у некоторых наших воспитанников. Бац и я в шоке, в трансе, в ужасе. Женьку не-

которое время я считал своим кумиром. И хотя наш тренер рассуждал в общем, но глядел Жеке в глаза. Вся команда догадалась о ком речь — о том и судачили, смотря матч с московским “Торпедо”.

О том я пока еще не знал. Ведь перед моими глазами вырос тренер, как тень из будущего, поинтересовался, как обстоят дела в школе и что-то еще. И добавил: “Сендер, ты что, сегодня не умывался?” — вызывая в душе бурю протеста и всплеск возражений. Я, конечно же, настаивал на обратном, оправдываясь и глупея на глазах. Не понимая, откуда же ему известно о том, что я не мыл физиономию? Великолепный и великий Петр Андреевич при всем честном юношестве добавил: “У тебя же кислички в глазах...”. Прибив мой образ к кочковатому газону неопровержимым фактом.

В ту минуту я возненавидел тренера, погружаясь в долговременную обиду и чувство вины, навсегда, запоминая позорное слово “кислички”. Позже из любопытства, вчитываясь в описание рода трав “кислицы” (сем. кисличные), распространенных главным образом в южной Африке и Центральной Америке. Потом, бродя полями и лугами, я рассматривал многообразные зелена, ища хоть какую-нибудь поросль из шести видов, существующих на территории России. Я мигал нездоровыми глазами чаще обычного, точно ощущая в их углах те самые беленькие налеты, вынимаю их грязными руками. С удивлением в тенистом хвойном лесу Беларуси разглядывая обыкновенную (заячью капусту). Я полагал, что от содержания щавелевой и аскорбиновой кислоты родилось название кисличной культуры, еще и еще, протирая указательными пальцами края усталых и больных футбольных очей...

Последние слова

Понятно, не окажись рядом мамы, неизвестно чем завершился бы домашний конфликт с отцом. С точки зрения социальной науки как постижения мира произошло знакомство моего незабвенного родителя с моим взрослеющим образом мужа. Умеренное рукоприкладство с моей стороны вполне подтвердило опасения зарвавшегося семейного диктатора, наделенного неограниченной властью в духе крайнего конфуцианства. Понятие, характеризующее систему осуществления государственной власти недемократическими методами, авторитарно или тоталитарно, вложилось в суть отца с молоком матери. Но конфуцианство объявляло власть правителя священной, дарованной небом, а кто позволил отцу делить семью на себя “божественного” и остальных? Кто посеял в его душу зерна всеобщей несправедливости? Отметим, конфуцианство в основу социального устройства ставило нравственное совершенствование и соблюдение норм этикета. Такая позиция была чужда отцу как мыслителю узкого направления. Тайное овладение тайным знанием привело сына к

яростному сопротивлению. Сокровенные, богом поощряемые силы, выметнулись из трогательной духовности, наполнили яростью непослушное тело. Вчерашний домашний сатрап угодил в крепкие руки возмездия, в цепкие персты неумолимой справедливости.

Пытаясь не упасть, папа метра четыре семенил ногами вспять, отшвырнутой необъяснимой для него силой от стены к панцирной постели. Рыхлая группа мышц, изуродованная пьянством все же не удержала слабеющее тело. Никифор Степанович не рухнул, но повалился на темное клетчатое одеяло, недоумевая, кто же это сумел потрясти незыблемый семейный трон, кто же посмел дерзко поднять не то что руку, хотя бы взор, хотя бы незримый помысл в царственную — отцову сторону? В одно мгновение, изменив плавное течение справедливой истории славного монархического семейства.

Мама — противоположная сторона текущего межличностного конфликта — живой исторический свидетель невиданного в доме потрясения — замерла, побледнела, уменьшилась ростом. В комнате, соединяющей дом и кухонный блок, в четырех стенах, раздираемых тьмой, воцарилось легкое актуальное понимание — грозно надвигающихся демократических перемен, чреватых путчами и военными переворотами.

В небольшие окна едва струился вечерюющий сумрак, переходя в рассеянный свет слабой лампочки сороковки — таким чином в доме, сколько я помню, экономили. Возможно, по причине крайне слабого освещения в жилище, у меня, у младшей сестры зрение подверглось необратимым изменениям. Кажется, домочадцы при таком положении дел, виделись или напоминали скорее призраков тьмы, нежели человеческие фигуры. Батя быстро оправился от смущения. Батя не подал виду, понимая преимущество сына. Но zelo дерзок был родитель Сендер, чтобы просто так сдаться и уступить престол. Он не роптал, не противился, не угрожал, он быстро шагнул к полке, отодвинул культей мешающее ему пальто, левой рукой взял шило, опустил колющий предмет в карман неглаженных засаленных брюк. И вышел из комнаты, протопав верандой, грохотнув по крыльцу, хлопнув входной дверью, глухо застучав по асфальту, идя вдоль хаты.

Мама встрепенулась, разволновалась о последствиях. Страх и тревога наполнили мою душу до краев, потекли по непослушной плоти. “Сынок, собирайся ты лучше на вокзал, там и переночуешь, отец дурной, не простит, ой-ой-ой, он же шило взял, я боюсь...”

Отец и впрямь после концлагеря, криминальной торговли, сахалинского лесоповала, шахтного травматизма, предупредительного суицида и долговременного алкоголизма источал отнюдь не добрые намерения. Я скоро собрал вещи, не догуляв отпуск, не попрощавшись с друзьями, в испуге укатил на вокзал коротать время до утреннего поезда “Донецк — Орша”.

Побывка получилась смазанной и нелепой. Об отце думалось зло и ненавистнически. Вокзальное бытие тащилось черепахой и нудно смежало сонливостью усталые глаза. Сквозь прищур век я следил за снующими воришками, за мельтешением пассажиров и жалел, жалел себя, еще не умея осознавать нахлынувшие чувства.

Ровно через год в очередном осеннем отпуске (по окончании футбольного сезона) я встретил своего лучшего друга Володю Козела, услышав от него укоризненное: “У тебя, что, друга нет, переночевал бы у меня...”. Такими словами он как бы попрощался со мной навсегда. Больше в этой жизни мы с Володей не встречались. А спустя годы, я узнал от мамы, отец взял с полки не шило, а пачку папирос...

Музы

Она ворвалась в офис через распахнутую дверь, сквозь приоткрытое окно в кабинете шефа, дочь Зевса и Мнемосины, одна из девяти сестер — богиня наук, поэзии и искусства. Служительница из греческой мифологии привнесла тепло, свет и удачу фирме. Капризница вызвалась терзать психику диковинными образами, рифмами вприкуску с крепким — двойным кофе. Ветреница ни за что не хотела покидать помещение, несмотря на отвлекающие телефонные претензии уже не любимой, мгновенной ставшей ненавистной Мельпомены, еще недавно занимавшей место главной Музы. Сумасбродница никак не реагировала на замечания финансового директора, но мешала страдать моей душе. Наперстница тайн моих включила большое воображение. Властительница дум моих, казалось, заревновала меня к бывшей смазливой сожительнице, отринутой на веки вечные. Потому что мне надоело терпеть ее проделки, предполагать негативные последствия и дознаваться исторической правды относительно отношений. Я расслабился, глубоко вздохнул обостренную поэтическую тишину. Я провел взглядом размеренно входящего, мешающего сосредоточиться главного бухгалтера, взял перо, ища новую вдохновительницу, готовый предстать перед служительницей Парнаса. Но свет погас, тепло испарилось, сквозняк захлопнул окно и дверь, оставляя летучие завихрения от прозрачного платья исчезающей изменщицы.

Своеволие

Мне не взбрело в голову спросить разрешение и официально отпечатать на принтере страницы романа. Как человек я не волен в выборе объективных условий своей деятельности, однако же, я обладаю конкретной и относительно свободой. Я решил провести операцию тайком до прихода сил справедливости и возмездия. Я раздваивался в категории, обозначающей философско-этическую проблему — самоопределяем

или детерминирован я в своих действиях. Акция завершилась успешно, я успел покинуть место своеволия. Я нарушил правила, санкционированные нормами и ценностями данного предприятия. И хотя историческое развитие человечества в целом сопровождается расширением рамок свободы личности, но не настолько же. Тут, как говорится, вечность сверкнула мгновением и появился начальник. Я злорадствовал: “Раньше надо вставать, хрен ты меня впопал за руку...”. Заискивая перед ничем не подозревающим руководителем, я с чистой совестью собрался исчезнуть. Вслед уходящему мне, повторив знакомую какофонию предраспечатки, принтер начал вновь изрыгать копии моего досужего сочинения. Я с ужасом уставился на выползающие нескончаемые листы, чувствуя вопросительный взгляд огорошенного руководителя.

Шестой номер

Собираясь в командировку, шеф позвал меня в кабинет, спросив: “Сможешь побыть “шестеркой” один день?” Я сдвинул брови в раздумье, вырывая из памяти образ содружества французских композиторов, сложившийся после Первой мировой войны, именовавших себя именно словом “Шестерка”. Разные по творческим установкам идеологи содружества Ж. Кокто и Э. Сати объединились стремлением к новизне и простоте, противопоставив себя музыкальным импрессионистам. Удовлетворенный моим искренним удивлением, мятущимся в очах, пояснил: “Записывай все нарушения, кто, что, когда, больше доложишь — больше премию получишь. И про нее...” — указал на сидящего напротив финансового директора. Мы дружно заулыбались, но у каждого в глазах увиделся второй смысл, а в душе заструилась дерзкая музыка.

Ночью я плохо спал, думал, как бы побольше заработать денег...

Ну же, ножи!

Мне казалось, достаточно не думать об этом и проблема исчезнет сама собой. Мне думалось, эдакому гордому гению, у меня с психикой норма. Я полагал, мне все завидуют среди нечаянных промельков внешних примет жизни. Нечто радостное и юное, некое брожение сладости и умственная свобода от уз рутинности создавали вокруг меня ауру и даже ореол почти непогрешимости, возможно, святости. Я поддерживал иллюзию — меня — шутовством, изящной словестностью, самоотверженностью и прочей поверхностной плащовкой. И я гнал неуправляемые мысли, возникающие при виде остро-колющих предметов, особенно ножей, пытаюсь унять разночтения внутри моей двоящейся натуры.

Любое оружие рукопашного боя, будь то тесак, сабля или копье, появившееся в глубокой древности, сегодня считалось моим главным

врагом. Те же трепетные в отрицательном толковании переживания, ощущал я при виде армейского штыка, морского кортика. Даже некоторые виды холодного оружия типа сабли, рапиры, шпаги, применяемые в спорте, держали мою натуру в нервном напряжении.

Отрешенный от реальности, как говаривал господин Бунин, “до нелепости”, не управляемый никаким рассудком — его-то, родимого, и не было, — я панически боялся — кухонных прежде всего — предметов обихода. “Оставь нож на столе...”, — всегда говорила мама, вводя меня в смущение, вместе с внутренними планами, навешанными ножебоязнью. Я, тогда еще неосознанно, — собственная исповедальная притча все о том же — где бы я не находился, незаметно для окружающих прятал ножи в стол, за широкие блюда, подальше от людей агрессивных. Или просто засовывал произведение из стали в какую-нибудь стороннюю щель, лишь бы унять глубинную внутреннюю тревогу. Или же примеривал нелепое стальное уродище на пояс, как это принято у ряда народов — как принадлежность национального костюма.

Или же отмечал — вспомнить, к примеру, свадьбу друга в Орше — едва ли кто-то из гостей обратил внимание на беспокойные причитания хозяйки, выясняющей, кому понадобились ножи со стола, куда они подевались. Как же лихо я смел пугающие предметы кухонной необходимости со столешниц километровой стола, спрятав брэнчащую массу в тазик для мытья пола — под кошмарно грязную и неприятно пахнущую тряпку.

Или же взять, к примеру, гостевые ощущения накануне свадьбы племянника — героические и высокие — от жуткой причастности до сладостной жгучести. Сборище народных песен и тостов вопрошало, изумленное: “А где кинжалы?”. И, остроумно хохоча, полные беззаветной любви к молодоженам, хряпало, шлепало, хлопало рюмку за рюмкой, хватая руками достаточно жесткие отбивные, и опять же, ища то, чем можно распилить непослушное мясо. А я чувствовал себя легко и непринужденно, помня об охалке торчащих в разные стороны ножей, зло опущенных в воздухоотвод погреба.

Моя юность протекала не так безмятежно, как мне казалось раньше. Где-то на заре отрочества, может быть, детства, вероятно, отец бросался на мать с ножом. Или же пугал, грозя наказом, исходящим из его железной воли. Где же тогда, по-вашему, мог я подцепить эмоциональную зависимость от их присутствия? Тем нелепее кажусь я себе, всякий раз забредая на кухню в собственном доме, тем невероятнее их власть надо мной. Остается торжествовать в силу природной легкомысленности, проблема означена, названа, осмотрена, обозрена, признана, перепоручена и — рассмотрена письменно, исповедана до бессилия, до смиренного вопрошания.

Тем счастливее светлый праздник равностояния — в пищеблоке — раз тринадцать заглядывал туда в жажде движения и упоения бытием.

Таясь от скуки, планомерности — в раздвоении, непременно отмечая возлежащий источник беспокойства, убирая его темную энергию. Скорее понимая, нежели чувствуя, именно он дает мне, исполненному агрессии и злости, силу и защищенность.

Я, плоть от плоти ненависти и нелюбви, кость от кости обиды и саможалости, возвращаюсь из комнаты приема жиров, белков и углеводов со своим личным, чисто вымытым ножом. Я осознаю за ним кровавые слова и действия. Я всячески стараюсь выглядеть добрым и не опасным. Я бы написал в своих глазах — пусть читают все, во всем мире: “Я не собираюсь пырнуть вас в романтическое сердце”. Но более всего мне хочется вонзить стальное хорошо отточенное чудище в мировое спокойствие, все же, отомстив проклятому миру за долгие унижения...

Аленький цветочек

С того момента мое безмятежное время безответственных взаимоотношений превратилось в удручающую реальность. С того самого часа, увенчавшего большой и жирной точкой окончание моего потрясающего (меня самое), правдивого, исповедального рассказа о горестном моем бытии и его перипетиях. С того и началось или случилось чистое помешательство, умопомрачение, или же просветление, привнес в душу боль, в осознание решительность. С того ли мои силы телесные поглотила новая неизведанная страсть, требуя действия и разрешения внутренних противоречий.

Эмоциональная связь между нами оказалась сильной — характерной для людей инфантильных. Безответственные сексуальные связи тем и прекрасны, что безмятежны, тем и сладостны, что не таят в себе никакой горечи быта, взаимных обязательств и серых безрадостных будней. Аленький цветочек быстро согласилась приехать ко мне на массаж, я же сделал вид, будто днем и ночью мечтаю заботиться о ее остеохондрозе. Эмоции похоти захлестнули наши неизношенные плоти на долгие годы. Сексуальная совместимость, мое умение задерживать семяизвержение и манипулирование друг другом привели в соответствие один из главнейших наших инстинктов.

Аленький цветочек страдала гиперсексуальностью, совершая невероятное для женщины количество тайнств. Как и подобает образу из сказки, записанной автором книг “Семейная хроника” и “Детские годы Багрова-внука” сочинителем Аксаковым, она была поэтичной и проникновенной. Те же романтические картины природы, что и в произведениях русского славянофила, трогали душу мятежной женщины. Мой нефритовый стержень как нельзя лучше подходил к ее лоно, а гарантированная удовлетворенность привязывала ко мне эту симпатичную женщину крепкими сексуальными узами. Я же несколько страдал от ее принадлеж-

ности к замужеству. Я раздражался, тяготясь постоянным контролем Аленького цветка, шипящего на втором плане: “С Раей обнимался, а Таней целовался, ведешь себя так, словно предлагаешь себя всем бабам подряд!”. И в стиле жены Змея Горыныча источала пламенные взоры, похлахла ревностью и тем хорошела, и тем духовно развивалась.

В первые медовые годы мы занимались сексом даже до начала рабочего дня. Она убежала на смену очень рано. Такси, лифт, звонок в дверь, объятия, постель и все сначала в обратном порядке. Через тридцать минут мы как ни в чем не бывало мило трепались по телефону о пустяках, увлеченные друг другом, удовлетворенные и радостные. Мы занимались сексом у меня в офисе и делали это довольно часто.

Но, что же так тяготило меня внутри, что донимало сокровенной тайной, боящейся правды? В блеске ее глаз чудилась фальшь, но не искренность. В натянутом восхищении мной читалось откровенное желание быть исключительной, слыть боготворимой. В ее смене чувств, даже враждебности, зависящей от внутреннего течения депрессии, я находил или специально искал оттенки нечестности, видел их, что очень важно, чувствовал и, стало быть, не обманывался.

Те сорок девять процентов ненависти против пятидесяти одного процента любви поглощали уважение к ней, потрясали элементарную порядочность и надежность в отношениях. Те тяжелые ненавистные чувства — я испытывал их к Аленькому цветку чаще обычного — ничем не объяснялись. Нелюбимые духи действовали на возбуждение разве что аллергически. Алчность похоти со временем сама по себе улеглась и умерилась до супружеской классической повествовательности, до сонливой монотонности. Я пытался воскресить сладкие моменты нашей былой близости и пытался назад.

Наши отношения превратились в одну видимость. Я глубоко вздохнул и сказал себе правду. “Я не люблю Аленький цветочек!”. Статус замужней женщины все эти годы вгонял меня в чувство вины и страха. Мне казалось, муж выслеживает нас, подслушивает по телефону. Мне не нравилось, что она использует меня. В конце концов она изменит мужу, а значит также легко изменит и мне. И тут нахлынула новая страсть к другой женщине — к поэзии. Я с трудом промямлил Алине по телефону: “Наши отношения временно приостанавливаются...” — услышав в ответ “В чем моя вина?”. Я потерял голос и задохнулся от чувства вины. Новая любовь почти безболезненно уняла горечь и страх разрыва. И все началось сначала...

Оденься!

Всеми силами души я стараюсь жить полноводнее, мчаться быстрее времени, врываясь в мировую историю хотя бы фрагментарно. А хочет-

ся — божественно, а мечтается — значительно и фундаментально. Вот и спешу за временной материей, пробираюсь сквозь нее — в ее тенета — за ее неоглядность. Осознаю — бессмысленность спешки, преобладающей во всех моих действиях, помыслах, желаниях. Она — мой образ — суть моя исковерканная, плоть моя грешная, душа моя многострадальная, дух мой осветляющийся.

О вечности, подумав, о брэнном порассуждав, включаю “Тэфаль”, тороплюсь облагородить рубашки. Нетерпеливость рождает суету, будоражит страх, выводит из себя, возвращая беспокойство. Взволнованность возвращает детское мышление. Безответственность подсаживает нелепиду — проутюжить разноцветные наряды до половины. Все одно внизу ничего не заметно. Все равно под брюками образуется скомканность. Неизбежная измятость — ни на что не влияющая. И неуспокоенность — подсознательный протест — дребезжит колокольцем невысказанной тревоги — стыдом перед собой. Точно дело не делаешь, обманываешь, а кого — неведомо. Точно являешься в мир без одеяния, и окружающие тебя люди догадываются о скомканных непроглаженных складках сорочки, спрятанной в джинсах. А твоя супруга не понимает, гложет тебя вовсе не дума о тайной женщине, но невыразимое чувство недовольства неизвестно чем...

Ты снова и снова повторяешь одну и ту же ошибку, усугубляя отрицательное внутреннее состояние. Привычка, основанная на безответственности, порождает лавину причинно-следственных несообразностей. Нелепости переносятся на мелочи, составляющие жизнь, разрушают целостность, превращая целеустремленность в безнадежность.

Так и подмывает отправиться на работу в неглаженных брюках. Так я отворяю дверцы двухстворчатого шкафа, по дешевке купленного у хозяев при обмене квартиры и “листаю” пальцами смешанный воедино осенне-весенне-зимний гардероб, отдающий оттенками блестящих цветных галстуков. Прикидывая на себя будущее время, с удовольствием отмечаю летний джинсовый период, иронически взглянув на два надолго застывших утюга. По пятницам вполне можно устраивать брючный день. Короче, месяца три-четыре пузырчатые места на коленях и слабо рифленные тыльные стороны приводить в порядок не обязательно. Работа у меня по преимуществу сидячая. Пришел и складочки готовы, никто ничего не подумает, никто ни о чем не спросит.

На какое-то мгновение во мне просыпается чувство собственного достоинства. Искрометный и благородный порыв, придавая сил, бросая образ мой в царство утюгов, напоминает о красивой гладильной доске. Сердце давит какое-то нравственное падение, какое-то внутреннее безразличие к своему внешнему виду, существующее внутри догмати-

ческой схемой мышления и поведения. Двадцать одна рубашка хранится в закромах, а я блуждаю по комнатам в поношенной майке, в шортках, подаренных шефом.

Горько и больно жалею себя, голова пухнет от мыслей и размышлений. Вспоминается друг, удивляющий утонченным изыском одежды даже во время ремонта. Я поражаюсь, глядя на его дорожные вещи, радуюсь схваченным пятнам, обилию пыли, любым грязям, нависающим на далеко не дешевом костюме. Я одеваюсь красиво только, помня, я жених. Я встречаю женщин, не заботясь о внешнем виде. Я натягиваю на грешное тело только то, что потом не придется гладить. Я оказываюсь в странной обособленной вышине собственных заблуждений и пустоты. Я берусь за неухоженный внешний вид, постригаюсь, глажу все возможное, выбрасываю ненужные вещи. И удивляюсь, сколь много их, сколь благостно теперь на душе, сколь гулко стучит сердце. И вспоминаю, женщина, уроженка из наших мест, выйдя замуж на мексиканца, долго не понимала, почему же супруг каждый день просит ее об одном и том же “Оденься...”

Поневоле задумаешься о личной ответственности перед самим собой. О применении к себе, как к правонарушителю самоуважения, установленного Богом, мер воздействия. Влекущих невыгодные последствия: осознание чувств, покаяние, осознание того, что совершил, акт любви к ближнему, возмещение вреда чувству личного достоинства. Вот и удостоверься, как по одежке встречают, как ты сам чувствуешь себя при этом...

Ступени грусти

Дни далекие, дни невозвратные! Лестница бытия моего черно-белого, ступени роста моего духовного. С детства отпечатались шаги гулкие, выводящие на второй этаж лидиевского дома культуры с мраморно-деревянными разводами, громадными, танцующими от сквозняка бордово-бархатными портьерами. Величественные и лепные своды с силуэтами рабочих и крестьян, солдат, матросов революции, героев войны с гитлеровцами подавляли мощью и значительностью, принижая чувство собственной значимости.

В те дни показывали фильм “Парижские тайны”. В те часы некое подобие человекообразного змея, изворачиваясь невиданными морскими узлами, взбужая внеочередными ловкачами одолевало громадное в стиле социалистического барокко здание общественно-культурно-политического назначения. Великий жрец фасадным портретом безмолвно обозревал наши, со всех сторон текущие, образы. Кумир, уже давно и навсегда исчезнувший из разумного мира в сумасшедшие, осуждающе пронзал нас всевидящими очами. Мы кротко и покорно

прятали взоры, стыдливо смотрели ниц, любя социалистическую родину, но упрямо тащились в буржуазное кино.

Вездесущие братья Лелики возбуждающе действовали на окраинных пацанов типа меня, фильтруя на — хоть какую-нибудь кредитоспособность. Отчуждение покидало каждого, кто становился частью толпы. Ненависть к тем, кто пытался заполучить билет вне очереди была всеобщей. Повышенная острота ощущения еще более обострялась накануне запуска фильма. Всеобщий гуд двигался по лестнице без лица и образа, высвечивая некие существа. Ловко же забрался ко мне в боковой карман вот этот крепкий волчонок-мальчишка. Я почувствовал за пазухой шевеление мурашек, очнулся, встрепенулся, отпрянул от наглеца, не умея и не зная, как постоять за себя.

Будущие зрители шатнулись вперед еще на одну эпоху. Увлекаясь, я унес любовь к движению ввысь в неизвестное будущее с крупными испытными чертами характера. Я бежал в небеса и, падая, разбивал и разбивал одну и ту же бутылку лимонада, слушая одни и те же осудительные отцовы слова, ощущая одну и ту же хлесткую оплеуху. Я бежал по крутым ярусам ташкентского стадиона “Пахтакор” с Ленкой Рассказовым (жив ли?), я взбирался к славе, водрузив на плечи ленькину восьмидесятикилограммовую плоть, с каждым шагом пунцовея и багровея. Я бежал, пятидесятилетний молодежен, (увлеченный чужой молодой женой) — скакал по утренним подземным переходам на крыльях влюбленности и безответственности. Медленноидущий рядом мужик отметил: “Какая легкость...”. Похвала вырвала меня из себя, поскакала со мной, бахвалясь, вдруг грохнулась смешно для окружающих и печально (банка с бульоном в сумке — вдребезги) для неумных амбиций.

А кинофильм все не начинался. Нехороший румянец на наших щеках полыхал в неплотной темноте, шепчущей, нет света. Самые стойкие и несгибаемые и через пятьдесят минут стихийными аплодисментами зывали к милости кинематографической. Мне с двадцать третьего ряда глазами, привыкшими к темноте во всех отношениях, хорошо виделись профили сверстников, особенно синие яркие глаза знаменитой лиевской танцовщицы, моей тайной и невысказанной любви. Однажды я заглянул в группу танцев, взбираясь по крутой боковой лесенке. Девушка с партнером (крепко я тогда заревновал) протанцевали танго, взволновали, приземлили, пригласили на занятия и были таковы. Безмятежность сменилась особенной красотой мира, полнотой иных чувств, неизведанных, столь близких к поэзии. Я удрученно переживал танцевальные впечатления, щурясь от низкого вечернего солнца, освещающего сквозь узкое окошко мой ступенчатый путь и грустил от бездонной печали...

Приятного аппетита

Что таит в себе это праведное раздражение, плавно переходящее из недовольства в беспокойство и дальше, и глубже — в устойчивую взволнованность и нервное напряжение, чрезмерную болтливость и высокую эмоциональность. Что несет эта реакция моему неустойчивому душевному покою, как, впрочем, любой отзвук на всякий, пугающий меня клич бытия и любого его живого существа. Что означает для меня, с виду загадочного и безучастного, мгновенное выхождение, влетание, перевоплощение из добропорядочности в гнев, отдающий смертельно опасной яростью...

Люди духовные считают, нечестность перед самим собой. А что же еще? Мне говорят, почему ты дома не завтракаешь, а жуешь завтрак на рабочем месте? Спрашивают и все, интересуются, забудь же, молодой человек. Так нет же, я злюсь. Я выхожу из себя так быстро, словно быть внутри совершенно невозможно. Я раздваиваюсь так неадекватно, будто пугаюсь самое себя, точно — в противном случае — непременно наступит конец света. Невероятно властный вещей голос, скажем, голосок, зазывает мою суть вовне некоей пастушьей свирелью, не желающей слышать слова оправдания. И духовность на миг приостанавливается...

Но прежде звучит добивающая меня своей пронзительностью фраза, вслед предидущей, вместо не очень желанного, но нейтрального “приятного аппетита”. Словосочетание обрушивается страшной лавиной психологического давления на хрупкую незащищенность. Реплика появляется в интимный момент приема пищи, во время преобладания животного инстинкта, не могущего ответить членораздельно и по-человечески. “Тебя что, жена не кормит?”. Какая-то скрытность и нелепость топорщится в моем воображении, выдается в пространство ослинными (слава Творцу, не рогами) ушами, цепляясь за обоюдоострые стрелки самодостаточного времени. Какой уж тут аппетит с его латинскими корнями, с его стремлением и ощущением, если уж быть точным. Какие там ощущения, связанные с потребностью в пище. Физиологический механизм, регулирующий поступление в организм еды, наглухо забит отрицательными реакциями вперемешку со страхами. При длительном отсутствии пищи аппетит переходит в чувство голода, и так же при долгом смятении душевного покоя. Оказывается, что при постоянном дерганье человека во время приема пищи, можно вызвать у него интоксикацию, наблюдать заболевание органов пищеварения без обследования, видя его ежечасные повторяющиеся дерганья и стрессовые ситуации.

Как-то я не умею по-шефовски материализоваться вдруг и слепить сходу пограничный столб: “Что жуете!”. Все жующие пригвождены, всякий знает место, ни у кого не возникает вопросов, но автор-то — шеф — в мини эпизоде житейского события — главный. Всего-то делов,

всего-то проблем помимо прочего. Всего, конечно не расскажешь, но когда в душе царит особая неполнота мира, тишины, любви, поневоле трепещешь от несогласия с самим собой. Быстренько разбираешься в психологических нюансах и вопросы формулируешь, и ответы находишь. Правильнее, начинаешь их искать, действуешь и, стало быть, извлекаешься от своеволия. Благодати хлебнув, искать благодсть начинаешь отныне и присно и вовеки веков. Потому что самообман перестает быть и ты чувствуешь — душевное здоровье восстанавливается, здоровымыслие возвращается.

“Тебя жена дома не кормит” — добывает мое изнуренное “Я” строитель новой жизни бетонными ошметками беспардонности. Мне же невдомек, нужно защищаться, а я сражаюсь, следует говорить правду, произнеся защитный монолог отстраненности, перемешав нескладуху майонезом юмора. Я же начинаю оправдываться, как всегда объясняться, как правило, выходить из себя. Я срываюсь на крик, тихонько отодвигая блюдо с вермишелью и курицей между монитором и системным блоком. Чтобы не сглазили, чтобы не рассматривали и не глазели все, кому ни лень. Они же тараканами вползают в офис и вежливо бросают моей жуоющей физиономии восхитительное “доброе утро”. Они и впрямь думают, я рад их приходу, срывающему завтрак. А тот, кого я, мягко говоря, не люблю, ровно тот дятел какой, ровно тот долбежный инструмент, перфорирует мое равновесие в неположенное для строительных работ время.

Моя внутренняя неправда, бессловесность искренности, порождает страх, вдруг да и узнают, что у меня не все так благополучно в личной жизни, как я преподношу всем на самом деле. Что у меня такого живого, тонко и страстно чувствующего нет ни жены, ни любимой женщины, нет никого на свете из противоположного пола, кого я люблю...

О честности и чести

А где в это время пребывает твоя суть, которая обучает букве духовности? Где эта буква, укрепляющая дух? Да-да, вижу ты не ищешь лично для себя никаких выгод, знаю, ты источник многих книжных и житейских премудростей. Верю, мы многим обязаны тебе и тому происходящему чуду радости, сотворенному одним твоим присутствием. Узы, связывающие тебя с небесами, прочны и очевидны. Именно симпатичной духовной позицией, лишенной корыстолюбия и греховности в человеческом ограниченном смысле.

Где уж нам изошриться, где уж нам войти, заглянуть, изумиться, уразуметь, проникнуться сутью твоей непредсказуемой. Но преодолеем инерцию мышления, разрушим стереотип — тебя — отодвинем щеколку, зайдем на огонек, спроецируем правду на всемирный экран. Вот крадешься ты к ящику — тебе доверили маленький складик — вот

лихорадочно впихиваешь грошевые рулончики однослойной туалетной бумаги с перфорацией, вот исполняешься чувством вины от присутствия 350 отрывных листов. Вот же злополучный светогорский стандарт, он снится тебе днем и ночью, отпечатленный в подсознании. Такой материал, означающий в переводе с итальянского “хлопок”. Произведение из растительных волокон. Живет примерно со второго века по воле бога, по радению китайской цивилизации. Изделие почти без минеральных наполнителей, проклеивающих веществ. Из серой волокнистой массы. Из 600 видов бумаги имеет наименьшую массу на 1 кв.м, неопределенную толщину, никаких сопротивлений излому и малую долю белизны. Непоэтичного звучания — туалетная.

Где-то раз тридцать в течение короткой ночи ты просыпаешься с отяжелевшими веками, непонятной головой, непослушным и разбитым телом. Но это трудности общего порядка. Настоящие проблемы возникают и начинаются как только ты остаешься один на один с воображением, наполненным тьмой. Все ненастоящее принимается за нудное повествование, состоящее из обрывков неправд. Оно трещит согласно линии перфорации, отторгаясь и существуя особняком в виде труднообъяснимых скомканных снов.

Где же за этими частностями ты, если угадываешься в темных очертаниях, крадущийся со злополучной принадлежностью туалета, ожидающий встречи с шефом, пристально смотрящим в твои честнейшие и беспокойные очи. Схваченный неизвестной хворобой, по видимому, порчей, ты здорово косишь под совершенно здоровый нравственный образ и смотришь на генерального чистым христианским взглядом, умиляя его доверчивость честной фразой “Ничего не крад...”.

Далась тебе эта туалетная бумага. Но так замыслена и пущена в дело вещественно-туалетная реальность. Тогда наш блестящий офис посетил высокий гость — оттуда! Хозяин из далекого зарубежья — его ожидали по-нашему, предусмотрев каждую мелочь — прикатил, погостил в нашей умозрительности и созерцательности, не обнаружил в туалете во время интимного акта нужных бумажных вещей. Общее впечатление испортилось одновременно с выходом в свет. Мироздание шатнулось, виновные нашлись быстро, естественная история подлунного мира вновь потекла своим прозаическим чередом.

Дальше ты мучился ожиданием приезда самого главного героя пьесы. Ты просто изощрялся в туалетной комнате, ты раскладывал рулоны по всем углам, забросив одну единицу бумажной массы на сушилку. Подумав, ты ради общего дела, для славы пущей фирмы высокого полета, принял решение несколько рулонов подвесить к потолку, эдакий пропагандист самое себя для басенных пересказов как неповторимая личность. Мучительное борение реального и умозрительного закончилось ничем, а твоя невразумительная тяжба с продукцией из далекого Светогорска

затерялась в широких исторических пространствах грузоперевозческой рутины.

Не с той ли поры ты аккуратненько несколько раз в месяц подворываешь знаменитые изделия российского производства. Или же твоя духовная суть умеет жить и честно и бесчестно. И ты не совершаешь никаких действий по спасению души. И ты грузно ворочаешься в постели, вырываясь из состояния “плохо”, разбухшего от подсознательной борьбы со вчерашним ворованным пакетом мешков для мусора. И жалче твари дрожащей ты рассекаешь взором ночную темноту, чувствуя себя жалким, убогим и несчастным...

Тревожные будни

Последствия моего служебного рвения оказываются довольно неожиданными. Одинок, прозябая за рабочим столом — ровно тысячу лет — я подобно великим мира сего, делаю одновременно несколько дел. Факсы принимаю правой рукой, гостями руковожу левой, всех выпускаю, никого не выпускаю. Телефон, раскаленный дочерна, приятно согревает ушную раковину и, прижатый плечом, как бы прячется от сторонних — руководящих глаз — особенно финансового директора, пугающего меня частым мельтешением, неожиданными вызовами, и музоподобными явлениями.

Впоследствии — они повторяются ежедневно — я начал ощущать определенные неудобства — никогда не додумается от чего! Чинный главный бухгалтер, я рад возникновению ее фигуры, медленно, перекатываясь, шествует в направлении заместителя по финчасти. Заручившись моим заверением о присутствии начальницы, жрица дебета и кредита, волшебница положительного сальдо, лихо преодолевает последние метры, пытается войти. Дверь дребезжит от мощного толчка, воздух вибрирует от бухгалтерского недовольства. Следующий вопрос, естественно, мне, с грозным выглядыванием из-за угла, с недовольной мимикой на цифровом табло.

“Анатолий, ты ввел меня в заблуждение...”, — проходя мимо, перемещаясь из состояния уравновешенности в бездну мстительности или недовольства. Мне хоть глаза не поднимай, из чувства вины не выберешься, от липкого оправдания не отмоешься. А тут — следом, из коридора, ускользящего от моего взора вдаль, щелк-щелк поворачивается ключ изнутри, и тут слышится властный, скорее повелительный, попробуй не окажись на месте, поди-ка не услышь, голос! Чисто глас небесный! “Кто меня хотел?”, — и еще более требовательно, — “Толя, кто стучал?”. Финансовые субъекты-таки встречаются, но отрицательное чувство во мне аккуратненько и неумолимо складывается и накапливается до депрессивно-агрессивной черты.

Так происходит вчера, позавчера и всегда, так тянется и год, два, пять и десять. Такое замечательное качество — на непродолжительное время замыкаться для решения каких-то важных вопросов — обнаруживается у главного заместителя нашего шефа. Собственно, привычка ни на единый миг не исчезает. Просто мои смутные гадания — где же замшефа по денежным делам — после очередного стресса ответственного работника, озадаченного негостеприимными запорами, в хаосе несвязных чувств и тревожных гаданий, обрели облик устойчивой отрицательной эмоции.

Объяснив коллегам рекордное количество раз одно и то же и столько тысяч случаев, пребывая в низменном ощущении, я окреп и перестал раскладывать по полочкам каждому аборигену суть дела. Но финансовая голова, на то и голова, чтобы к ней люди шли за советом. И вновь и снова, то шеф, то заместитель, то главбух, то инженер по перевозкам — как будто они должны знать, догадываться, додумывать — обрушивают на мою перегруженную голову лавину (не более одного-двух в день) вопросов-претензий, взоров, полных укоризны, реплик и донимающих меня шуток, колкостей и прямых обвинений.

Беспорядочные воспоминания и переживания прошлых внутренних конфликтов с братьями по грузоперевозкам претворяют в жизнь небесный замысел по изменению моей сущности, помогают преодолеть болевые ощущения всякого духовного роста, обрести некий смысл, цель, нечто очень важное, без чего невозможен личностный рост. И связанный с ним предельно ясный классический невроз. Необъяснимый, полученный годами мучительных и нетерпеливых объяснений взрослым тетями и дядям, думающим, полагающим — перед ними взрослый муж. Туго соображающими, совсем не догадливыми — ведь финансовая царица, хозяйка купюр никуда не отлучилась. Она здесь, а вы все идите туда, куда Макар телят не гонял...

Благословение

И действительно, друг умер, и мне стало плохо не от горечи потери, не от внутренней скорби и печали человеческой. Я отдал себя в полное распоряжение невеселым мыслям, тягостным рассуждениям, тайным воспоминаниям. Я очень многое знал о безвременно ушедшем некогда единомышленнике и собутыльнике. Например, за какие грехи его вырвали из общественной футбольной системы. Мне почему-то очень нравилось рассуждать — сутками — с Витей на воровскую тематику о нашем общем знакомом. Мне пришлось по душе смакование многих малоизвестных подробностей, мне глянулись длительные разглагольствования по сюжету, унижающие человека, более сильного, чем я.

Взамен я получал надуманное чувство превосходства, очередную порцию самообмана и подсознательную тревогу за грех осуждения сильного мужика. Боялся-таки я братца-кролика, остерегался, но обиду таил, высказать претензию при жизни страшился — унижал за глаза человека не умственного труда как представитель не родственного ему класса.

Я боялся его даже в гробу, хотя страх рассеивался, длящийся и прерываемый визгом, плачем, причитанием многочисленной родни. Я чувствовал себя изгоем в твердых границах искреннего сочувствия. Я выглядел не нашедшим места в жизни бродягой, не умеющим приспособить себя к какой-нибудь общественно полезной вещи. Дочь его полагала, я близкий друг ее папы, просила — если целовать, то лишь в лоб, покрытый по окружью головы церковным золотистым налестьем с духовным замысловато витиеватым текстом. Я пребывал в некоем горделивом превосходстве, страдая, впрочем, остатками бреда отношений, стараясь не рассматривать безрассветное лицо усопшего.

Я тревожился смрадным запахом, суеверился мерцанием и пляской лампадного пламени, пугаясь многолюдства, бесчисленных теней, воскресения покойника. Я стыдился глубинных — грязных дум, напоминающих о прошлых грехах осуждения — именно этого мужа. Смятения послужили серьезным поводом для критических оценок самое себя, для возникновения боли и соответственно, благодати.

Кое-кто из старых знакомых, открывенная вдова, словно облаченные званием духовным, повестили о подробностях последнего времени, дней и минут земного пути дражайшего товарища, ныне подвластного лишь суду небесному. Мы, простите за откровенность, легонько поиграли роль Бога, смещая времена, возвращаясь в невозвратимое, сетуя на тошнотворно неверные действия уже несуществующей личности.

Я же не хотел никого впускать в свои необозримые пространства, в личные незатейливые увеселения мирские. Я не желал отдавать деньги, как принято на похоронах, хоть “лепту вдовицы”, хоть полалтына. Совершенно противоположные чувства одолевали душу мою грешную: ощущение катастрофы при виде реально умершего друга и внезапная радость от необязательности материального участия. Ярko горела люстра о пяти лампочках, темно серели уставшие причитать и скорбеть лики. Ликование и торжество, напоминающие высокую победу, охватили все мое существо — деньги сэкономилась, никто ничего не требовал, но весь вечер я раздваивался, взывая самое себя к совести.

Ночной беспокойный сон — снился покойный — разбере-дил-таки останки совести, заставил меня двинуться в костел. Ксендз выслушал, я опустил на колени, священнослужитель положил руку на голову мою ветреную, отпустил грехи, улетевшие напрочь и ежмгновенно вместе со смертельной тоской. Стоя на коленях, я полуискренне сожалел о своей далеко не божественной сути, полувнимательно вслушивался в роко-

чужее благословение, нисходящее свыше и пристально рассматривал изумительные янтарные четки на столике рядом с Библией, с трудом подавляя желание протянуть к ним свои воровские руки...

Жена моя любимая

Моя любимая не мечтала чесать волну, прясть, вязать, пускать веретено, направлять пальцем основу. Счастье мое не презрело золотую канитель. Она не думала о тех одеждах, оными лишь отгоняется холод, но о тех, облачаясь в которые, обнажается тело. Мечта жизни моей вместо божественных книг искала украшения и цветастое пустозвонство. Царицу души моей привлекала не точная и мудрая четкость, ведущая к познанию, но золотое письмо на червленом вавилонском пергаменте.

За молитвой у моей доброты не шло назидательное чтение, а за чтением — молитва. По сему не кратким казалось ей время при столь не разнообразных занятиях. Мой трогательный и строгий инструктор обучения представлял игру в порядок, с обязательными и допустимыми капризами непониманий и разночтений. Я приглашал милое существо в произвольные извивы случайностей. Я чутко вел ее персты по образцам божественным, по заданным контурам. Я изредка гремел аскетически строгим инвентарем обучения, награждая отталкивающей хулой все пустое, цветистое и ослепительное.

Только в зрелом возрасте Бог послал мне всепоглощающую страсть вполне подходящую только маленькому ребенку. Ни за что не нужно было отвечать, ничего не нужно дарить, ни о ком не нужно заботиться. Наваждение ослепило, затемнило разум, уняло здравомыслие, завихрило, вскружило голову, оторвав от земли как и подобает великому чувству. И вставило в мою судьбу недостающее звено непережитой романтической влюбленности. И не нашлось в ней места низменной похоти, но царствовала в ней взаимная любовь.

Я накликал на свою голову милость небес в образе света. Я за-памятовал, за слова нужно держать ответ. Я забыл о духовной связи с небесами и накануне дня святого Валентина посетовал летящим облакам, неплохо бы влюбиться. И если ты готов, и тебе это действительно необходимо, ты обязательно получишь. Вечером раздался звонок, а через день мы поженились, отринув все на свете, невзирая ни на что.

Только на мгновение я засомневался, только на миг страх ответственности застил мои полыхающие страстью глаза. Я выдохнул ни в чем не повинной жене в трубку: “Звони мне...” — хряснул твердым решением по жилистым эмоциональным связям. Владычица сердца моего стонала в моих объятиях, выкрикивая лозунги страсти едва ли заглушаемые обоюдными сладкими поцелуями.

Хотелось пребывать в таком состоянии, как, собственно, каждому нормальному сумасшедшему на почве любви. Удивительное и трогательное чувство защищенности, исходящее от взаимного и честного чувства, превратилось в источник. Мы пили и пили, наслаждаясь его упоительным вкусом, не имеющим названия. Мы вырвались из пугающей реальности, из мучительного и беспокойного мира.

Позднее в ней начали преобладать позы той улично-тюремной основы, того пьяно-агрессивного быта, исторгнувшего ее грешную плоть без какого либо представления о жизни. Немного погодя в повелительнице моей залаяли дикие собаки, зашевелились черти, старой девы, вышедшей из тьмы химической зависимости, со-зависимости и глубочайшего самообмана. Она орала на всех перекрестках: “Хочу замуж, хочу денег, хочу, хочу, хочу...”.

Отчего моя неземная суть острее ощущала случившееся несчастье, страшно реагировала и ужасалась, предвидя скорую разлуку.

Интимное и глубокое чувство, устремленное на другую личность, возмущалось и гасло. Великая идея любви, пришедшая из древней мифологии и поэзии поистине равнялась космической силе тяготения. Равно как и у Платона, и в последующем неоплатонизме любовный эрос оставался несравненным возбудителем духовного восхождения. Но освищенная, оклеветанная грубыми словами и притязаниями, любовь перешла в разряд обыденного, свободного от чувственного влечения. Половое влечение одновременно испарилось, индивидуально-избирательное чувство поникло безжизненным пламенем, навсегда растаяв в словесной беспардонности.

Я крепко страдал, но через боль отработал разрыв в отношениях и стал сильнее в смысле духовном. Любимая истязала меня несерьезными капризами, присущими любой уличной девке, выросшей без любви, наполненной неизвестно чем, лучшее из которого безответственность, непонимание и склонность к предательству. “Молись, что она не оттяпала твою квартиру, не успела родить тебе ребенка”, — мудро пожалел меня друг...

Вздоргнув от чудовищной догадки, я отрешенно присел в кресло напротив товарища, даже не заметив пролитого на новые льняные брюки кофе, проникаясь бредом о том, что могло бы произойти...

Ожидая поезда

Своим появлением в окрестностях станции я, как и многому в своей жизни, обязан футболу. Мои документы, как у каждого спортсмена, служащего в куйбышевском СКА, хранились в какой-то воинской части. Однажды в присутствии высокого воинского чина я плохо высказался против армейского режима будучи приверженцем свободного мышления. Ценой

особых отречений я принял крест армейского страдальца и ничего не хотел слышать в пользу смирения и прощения. И был изгнан из клуба.

Городок встретил меня осенним очарованием бабьего лета, щедрым изобилием красивых русских девушек, провинциальной неподвижностью быта и нравов. Я стремился поскорее добраться к месту службы, изрядно измаявшись изнурительными тренировками. Благодаря служебному превосходству, как солдат последнего года службы, я быстро сошелся с ребятами, впрочем, скрываясь в тени от спортивных событий. Я упрямо придерживался мысли, оставаться как все, с удовольствием, выезжая на укладку путей и прочие работы, сладостно, вкушая линейные обеды, вслушиваясь в треск, шедший из-за ушей.

В дни футбольные я скромно высиживал на трибуне медленную скуку так называемых игровых баталий на первенство города. Вдруг моя душа полузащитника отошла от послушания, бахвальство зашкалило, я туманно открылся местному тренеру и попросился поиграть. Начальник оставался непреклонным, но во втором тайме, проигрывая вместе с командой уже с неприличным счетом, отказался от своей высокой позиции, выпустив меня на безобразно неровное поле, успев крикнуть вслед, что и как я должен делать.

Летающие за мной назидания не соответствовали моим интересам и моему классу мастера, отличающемуся от хаоса под именем игры значительно и конкретно. Через футбольного бога я предложил сопернику и тренерскому волнению свое тамошнее мастерство. Я провел переговоры с очень неподготовленным противником, пройдя почти всю команду, чем привел в восторг дремлющих болельщиков и командира роты, зевающего у боковой линии. Я успел устранить дефицит острых моментов, организовал множество голевых моментов, помог коллективу сыграть вничью, превратился в эдакого местного героя и в пределах воинской части, и среди горожан.

По многим причинам в душе моей тайно творился беспредел нравственный, влияющий на мое решение развиваться как личность. Проживая перекуры в бродячем состоянии станционного бездельника, я с приятным чувством бывшего служаки, оглядывая пассажирские составы с ребятами нового призыва. Я хотел, чтобы меня попросили купить спиртное. Я придумал такой сучий способ заработать деньги. Я двигался вдоль вагонов, спрашивая: “ Откуда, ребята? Может быть водки купить?”. Почему-то к другим обращались, а меня не замечали. Я изготвился ссучиться, но Бог миловал.

Оказав влияние на футбольный мир Рузаевки, я слышал в свой адрес немало лестных слов, в особенности от командира нашего взвода. Я использовал доверие офицера, отдолжив у него перед заключительной игрой кругленькую сумму денег. Я заверил, лейтенанта — вышло деньги, как только доберусь домой.

Последняя игра не состоялась по причине неявки соперника. Зрители неистовствовали, нетрезвые гражданские мужики обзывали неизвестную команду всякими ругательными словами. Отказ соперника не противоречил общему развитию футбольного сезона местного значения, но я тем не менее нашел отклик в сердцах горожан, я владел их футбольными помыслами и желаниями. Я поправил тогдашнее угрожающее положение крохотной команды. Это сделало неважными все мои формальные нарушения. На самом деле они были очень важными, и мне следовало искать путь к спасению от тайных грехов. Хотя, ожидая поезда, я думал вовсе не об этом. И совсем не о нарушении норм религиозной этики, совершая моральное зло, состоящее в нарушении действия божьей воли. Удивительно, как понятие “грех” выделялось из более древнего и неморального понятия “скверны” (как бы физической заразы или нечистоты, происходящей от нарушения сакральных запретов — табу). И даже первородный теологический грех первых людей мало занимал мое внимание, хотя я, как потомок, наследовал его последствия...

Деньги не брать

Я успеваю накинуть на плечи платье агрессии, плащ страха, нижнее белье оправдания и чувства вины. Я с ужасом смотрю на Наташу, собирающую деньги на подарок очередному имениннику. Всеобщий эквивалент выражает стоимость всех товаров и обменивается на любой из них. Подобно Каменному Guestю, она приближается ко мне из непроглядного мрака безденежья, куда я, бессеребряник, с одеревеневшими ногами, забредаю, кажется, надолго. Подобно развитию товарного производства, она светится благородней благородного металла, и тень ее получает форму монеты. Гнилые деревянные ступени на крыльце моего финансового благополучия с трудом выдерживают сборщиков податей. Мои деньги как исторические ценности в процессе обращения стираются, теряют в весе, что приводит к отдалению реального содержания металла в монете от ее номинала. Это дает основание для выпуска чисто номинальных знаков стоимости моей нищеты. Мера стоимости меня не устраивает, средство обращения не выпускается из рук. Я незримо, в беспросветной темноте бессмысленной экономии, нашариваю щеколду и наглухо запираю отсутствующую дверь, бесконечно далекий от критической, честной осмысленности. Взвизгивая, подражая известному животному, я хрюкаю во всеуслышанье, лгу из-под ярких одежд, ссылаясь на указание шефа — деньги с меня не брать (такого приказа не было), достаточно сочиненного поздравления. Неврастения обостряется, психоз додумывает всякие оправдательные штучки, страх тучнеет и разрастается, угрожая безопасности офиса. Но собирательница мзды поздравительной под мирный хруст жующего бумагу ксерокса — видно знает много

стежек-дорожек — минует тревожного механика-диспетчера, исчезает в таинственном коридоре правого — руководящего крыла, стуча где-то по средним векам ближе в новейшим временам...

Взволнованность

День высокого душевного настроения, момент истины. Прямо-таки божественные стихи насылают мне небеса, прямо-таки крылатые глаголы ниспадают по линии благодати и текут, и благовестят, и будоражат. В час Музы не с кем поделиться великой радостной взволнованностью, все заняты низменной прозой реальности, будничной беллетристической работы. А у меня ни тоски, ни отчаяния, сплошная крылатость. В десятый раз без стука — моя привилегия — отворю дверь в апартаменты генерального, эмоциональным ребенком выпаливаю новую идею. А директор думает о своем — о текущем, он лишь тактично намекает: “Толя, заходи пореже...”. Пылающее во мне чувство торжества гаснет, оставляя пепел горечи, золу досады, подзол растерянности. Осознание пронзает мою беспокойную суть, лишая душевного покоя пронзительным ощущением вины за свое детское поведение.

Благочиние

В миг изобилия и праздничного угощения, в который раз иду на кухню — признаюсь честно — воровать бутерброды. Без ложной скромности, изогнувшись перед миром, скажу, я малый не промах. Как пригвоздил меня шеф: “Ты волчара еще тот...”. Вот спешу раньше других в третий раз полакомиться ломтиками семги, бесплатными оливками, розовой ароматной ветчиной. Я парень не глупый, перехитрю кого угодно. Пусть же коллеги в поте лица занимаются производственной тяготинной, пусть ломят мышцы у каждой мускулистой спины в экспедиции, пусть директор решает нерешаемые вопросы. А у меня деется безмолвный поступок, предполагающий в конечном счете негативные последствия.

А у меня накапливается личный волевой, скорее отрицательный опыт, готовый стать негативом, тягостным волнением, антисовестью. Великий нинзя, глядя на меня в эту минуту, позавидовал бы легкости, изящности, я бы сказал, летучести передвижения. Мимо перевозчиков — дверь хлоп — чтобы не глазели напрасно, мимо коммерческого — дверь скрип — чтобы не любопытствовал, сердешный, вдоль бухгалтерии по улице Воронянского к вожделенным бутикам. А там — такой облом — все еще насыщаются, взять что-то тайком нет никакой возможности. Дикая молчаливая ненависть души молниеносно обрушивается на дорогах соотечественников из моих добрых очей, из-под смиренной маски благо-

чинности. Озадаченный, я для вида заглядываю в холодильник, в морозильную камеру, точно ищу нечто важное, съедобное и безымянное...

В бане

Мы паримся в бане с мифологическим названием “Тритон” — нечто среднее между римской и русской, но больше напоминающей разновидность римской — сауны. Мы томимся в среднестатистической парилке, пикируясь колкостями, обмениваясь остротами, давясь смехом и жарким воздухом от смешных анекдотов. Оригинальные истории, как правило, исторгает на горячие камни из потаенного ушата Николай, безусловный лидер фрагмента, душа коллективного единомыслия. Я страшно завидую и крайне страдаю от невозможности присутствовать в центре внимания, от ощущения некоего забытья, покрывшего мраком память, логику и последовательность действий. Я дико изнываю от желания прослыть остроумным, заметным, искрометным. Но у Николая все получается раньше, ловчее, прямо в точку. Анекдот сменяется бытовым наблюдением и поджаривается новой придумкой. Пользуясь небольшой заминкой, несмотря на страстное желание слететь с полки, вылететь из потельни и прыгнуть в ледяной бассейн, вставляю в реальную действительность откровенное вранье, зачем-то наговаривая на себя, преувеличивая свои победы над женщинами, гляся о том, чего практически не происходило. Народ из уважения к моей седине тактично хихикает, вяло реагирует, скучно кивает головами. Мне же плохо! В этом-то весь фокус. Неистребимое чувство стыда за пацанское поведение, за неуместное бахвальство пронизывает распаренное тело до самой души, глубоко потрясает дух, не позволяя мне принять себя таким, какой я есть...

Освобождение

В центре излечения от химической и прочей зависимости я, не задумываясь, обманул врача, наговорив ему всякой неправды о себе, отчего, бедняга, поставил мне неверный диагноз. Заболевание, обусловленное систематическим употреблением алкоголя предполагало потенциальное вранье. Физическая, психическая зависимость от вредного вещества, а также социальная деградация (я мог только воровать) на фоне патологии внутренних органов, обмена веществ и периферийной нервной системы привела к алкогольным психозам. Слуховые и зрительные галлюцинации угрожающего содержания, сверхвозбуждение, бред ревности и отношений невыгодно украшали коллекцию странно приобретенных отклонений. В логове трезвости я чувствовал себя отработанным волком, где остальные трезвые особи виделись и моложе, и сильнее моей

разрушенной стати, моей мятущейся психологии. Дима просто предложил выкурить по сигарете. Отбросив все запредельное, следуя высшей правде и в высшей степени по-своему, и оригинально, он выволок меня из-за моей спины, повел к величественной неведомой вершине нас обоих. В небесной бездонности загремело: “Я Дима, алкоголик, а ты кто?” Меня крупно и больно накрыло правдой реальности и я, борясь со страхом, буркнул: “Вроде, да...”. — “Что “вроде” и что “да”?” — словно передразнил мое словоблудие неумолимый праведник, окутывая меня, противника табака, противно раздражающим облаком. “Ну, наполовину, может быть, я бы сказал, как бы это выразиться...”, — увиливал мой лживый образ, теряясь вдали. Но передо мной находился трезвый со-брат, развивающийся по двенадцатишаговой программе духовного выздоровления. Напротив стоял личный посланник небесного отдела по борьбе со смертельной болезнью. Остроумно отмалчиваясь, мужчина по-мужски произнес несколько сильных вступительных фраз, охладив мои эмоции простым русским: “Твою маму, племянницу и прабабушку... Так, кто же ты, представься, чтобы я мог говорить с тобой на равных?” И присовокупил, не назидая, с десятков личных, а может и нет, историй о нашем брате, о кошмарных ситуациях, точно таких, какие были у меня. Я просто сдался, перебил его в одном интересном месте и рявкнул: “Я алкоголик!”. В душе стало легко и свободно...

Дзюдо

Я представил, тот толстяк, более чем средних размеров грядет к нам с Сашей Фомичевым чисто на битву. Агрессия, исходящая от пьяного или обколотого отморозка, явно влияла на бурную общественную жизнь региона, на текущие дела настоящего момента. Я было подумал, пузанок реагирует на пронзительное дребезжание атмосферы, потрясенной нашим бурным, духовным, с легкой примесью греха осуждения диалогом. Я надеялся, эта семнадцатилетний, хорошо откормленный предками свинтус, душевно прохрюкает в миролюбивом отдалении. Милитаристические настроения заблудшего сына человеческого заметил и Саша. Мы, не сговариваясь взглянули в глаза друг другу, быстро признали взрывную еретичность местного идиота опасной, зарылись в Сашкин автомобиль. Хрюк явно возомнил себя высшим судьей, следуя руководству принятого внутрь химического вещества неизвестного названия. Вечное и временное слились воедино, настало время забыть о нравственности, о разнице в возрасте. Скотина наверняка прицелилась поколотить одного из нас, примерив спяну наши аскетически неразвитые плоти к своей вводящей в заблуждение необъятности. Я, признаюсь, наложил в штаны, чисто психологически. В тумане страха я как можно глубже вжался в комфортное кресло “Ауди” и вовсе пал духом. А немощный, жалкий

и беззащитный с виду Санек вынырнул в путь, проявив мягкость. Он скользнул в открытую дверь и с огромной любовью к человечеству, применив модернизированное джиу-джитсу, уронил животное на непослушный гудрон, укатав его в асфальт конкретными приемами дзюдо. После мы смаковали подробности. Я, как только мог, хвалил Сашу, восхищался его ловкостью и умением. Я поглядывал по сторонам, продолжая бояться призрачной рыхлой фигуры молодого человека с печальным будущим алкоголика или наркомана...

Мучения

Скажу кратко и твердо, нет большей неловкости, нежели глазеть на мимо идущих длинноногих красавиц, шагая под руку с ревнивой женой. Не смею давать никаких советов мужской половине, поскольку опыт мой по разглядыванию сексуально опасных молодых можно сказать неопытен и ничего не может с собой поделаться. Совокупность психических и физиологических реакций, переживаний и поступков, связанных с проявлением полового любопытства, ослепляет очи мои, лишает слуха и координации. Верю, подобные ощущения испытывали многие мои предки. Так появились первые обоснования сексологии в древнейших мифологических системах и медицине древности. Так началось объективное изучение пола в эпоху Возрождения вплоть до современной сексологии, сложившейся окончательно в середине прошлого столетия. Я, верьте мне на слово, честное пионерское, очень хочу слушать любимую, внимать ее нескончаемому монологу, но бесстыжие очи следуют за образом женским. А бред отношений додумывается до немислимых шизофренических высот, думая, полагая, воображая, она догадывается. Или подглядывает за моим взором. Или же намеренно следит, немислимо ревнуя и не озвучивая безмолвные муки жесточайшего недоверия. Следуя методе формирующейся эмоционально личности, вступаю в оправдательное безумие, сопряженное со страхом. Неплохо бы сей элемент, предшествующий чувству вины, отнести к несправедливо малочисленной плеяде наиболее ярких смертных грехов. Хорошо бы сейчас, идя с супругой по оживленному проспекту, попытаться безнадежно смотреть ей прямо в глаза, воодушевленно, философствуя о жизни и смерти и, склоняясь все же к свету, сбросить на чистенький тротуар сознание крайней душевной нечестности. А не глазеть исполобью на длинноногую томную блондетку с сексуально оттопыренной попкой...

Гостинец

От чистого сердца перекладывал я фрукты с гостевого стола в пластмассовую коробочку из-под мороженого для глубоко уважаемого

друга, ожидающего меня к вечеру. Оставаясь единственным непьющим в честной компании, чувствуя здоровый румянец на трезвом лице, я добросовестно пользовался общим опьянением гостей, их безмятежной разгоряченностью, их бесшабашным, безумным мельтешением из ниоткуда в никуда.

Изобилие несчитанных абрикосов и персиков ничуть не страдало от моего дерзкого вторжения, а глазастая трезвая осторожность исподволь наблюдала за взволнованными женщинами, дерзкими — по причине отсутствия страха — мужчинами. Персты действовали согласно с коварством разума. Виноградинки плотно занимали редкие ниши в упаковке, а визжащая и огорошенная алчность оторопело выискивала хоть какой-нибудь уголок для женственной и мягкотелой клубники.

За окном, прямо у меня перед глазами, пьянеющее многолюдство разбавляло вино-водочные вещества пронзительным никотином, визжа и остроумничая там, где небо уже темнело, дул прохладный ветер и легко вдыхалась весенняя прохлада. Благостно созерцающий, ласковый месяц светом стекал по лицам гостей, напоминающим восковые изваяния, которые вдруг ожили.

Наполнив неказистую упаковку, трезвый в чужом пиру, я вновь предстал пред всеильной жадностью, пред всепобеждающим чревоугодием, забыв о Боге, живя в пределах ограниченного разума и воли. Я решил еще раз полакомиться чудесными дарами садов. Плакали и гневались добродетели, торжествовали смертные грехи, сшибались два моих “я”, громыхали, рушась, устои. Опять же, на улице была весна. Я совершал нечто не похожее ни на что. Я буквально проглатывал наиболее цельные и полновесные, привлекательные фруктины, оставляя червивые черешенки, подгнившие клубнички, слежалые абрикосины. Получился вполне будничнейший слой, похожий на лежбище рубиновых пятен, едва скрывающий основание коробочки. Что-то, напоминающее чувство стыда перед другом, шевельнулось в моем сердце. Я вспомнил о Творце, точно зная о Его присутствии. На месте иконы я обнаружил обои с признаками пыли и паутины.

Друг встретил меня с восклицаниями. Открыв крышку с гостинцем, он восторженно заговорил, засмеялся, довольный, не избалованный жизнью. И принялся без разбору хватать и жевать червиво-гнилое фруктовое месиво...

Фантазии

Что было дальше, вы уже знаете: житие обращенного блудного сына длилось целых одиннадцать трезвых лет на стезе безгреховной вплоть до естественного осознания реальной действительности. До окончательного понимания — отдать едва ли не последнюю рубашку — и потрясения сим

чудом духовности. Собаки не лаяли, тишина на земле стояла подобно глухонемоте. Предшествуя началу поистине чудесной метаморфозы. Птицы и вправду пели человеческим голосом. Крестное знамение, исполненное многократно, истиной, справедливостью, любовью истекало в сердце.

Ветер кротко пал к ногам, дальше поле гудело пчелами и блистало солнцем, растворяя мысли о смерти в ослепительном свете. Облако, близкое и недоступное, иногда прятало солнце, сгущая затемненные стекла в автобусе, делая лица пассажиров и моей девушки несколько мрачноватыми. Как если бы их вдруг покинул свет, оставив одну лишь тьму.

В моей счастливой внутренней пустоте заключалась сделка между страхом и “хочу”. Скрепленные рукопожатием, они, тем не менее, не ладили. Слова и жесты их явно принадлежали разным языкам и традициям. Аллегорически пасти ада рвали душу на мелкие кусочки. До всенародного значения, до великого мученичества, до причисления к лику святых. Ах, мощи, мои, мощи, еще не высохшие, еще в мире существующие.

Девушка, вовсе и не моя, счастливо держала свои персты на поручне, легко прикасаясь к пальцам руки моей дрожащей от внутреннего волнения. Более всего на свете я хотел длиться в этом состоянии, внешне интересуясь медленно темнеющим вечерним воздухом.

Всем видом, показывая полнейшее безразличие к внешним проявлениям общественного бытия, тупо, уставившись в разнотравье нескончаемых окраинных полей, в демонстрацию невиданных изменений на все последующие времена. Сама эта преображенная жизнь и все те, кому предстоит жить в этих временах, интересовали меня не более чем замечания аналитического свойства влекут к себе приземленную алчбу.

Девушка, девушка, слово в высшей степени демократическое, способное проникнуть в душу, особенно сексопатической личности, в плоть сексоголика, растлить его, изможденного сексуальными фантазиями. Слово, способное увидеть мою природу насквозь, повлиять на суть мою, посмотрев глаза в глаза. Так она и сделала, точно так, слово в слово за мной и повторила. И вторили девоньке инстинкты, дарованные Богом, чтобы выжить. И величественные пассажиры обратились в маленьких человек, в никчемнущие гулкие существа.

Где уж в ту пору очнуться, где уж томными глазами увидеть ну хотя бы мерно трясущийся салон, хоть бы и мужика, предположительно ее мужа, ба! — держащего девчонку под руку с противоположной стороны. А я-то жаждал представиться, сделать жест при выходе, обронить что-нибудь интригующее вроде: “Ах, Боже мой, как хотелось бы хоть раз в жизни пригласить красивую девушку в театр”.

И как-то посветлело от девичьей белизны, точно открылись глаза. Точно распахнулись ставни в темной избе — точно духовное пробуж-

дение осенило высшей милостью, и призвало к действию. Но что же случилось? Ни мужика, ни народа, ничего! Кроме бешено клокочущего “хочу”, кроме взбудораженной плоти и похотливого томления. Поля сменились светлыми садами, но отчего же тревога и беспокойство? Замелькали многоэтажки окраины города, заволновалась моя пассия, приготовившись к выходу. Вместе с дрожью моей, неудавшимся планом обольщения, надеждой на легкое и благополучное знакомство. Вместе с тем, глядя в глаза темной природе, я увидел обломки надежды. Катастрофа придала сил, я мобилизовал скудные ресурсы неуверенности, выметнулся из авто первым, подал неинтеллигентную ладонь и невразумительно выпалил все накипевшее внутри. Я не услышал ни слова в ответ, уйдя в недовольстве и злости...

Где ты была?

Увлечшись, скажем, влюбившись, в помешательстве известном, желая еще большего счастья пронзительного, я затерзал милую претензиями, донимая: “Где ты была все это время?”. Заерзал, запыхтел, закакофонил в унисон визгливо-голосистому, умирающему креслу. Урезонив, уняв накипь выжидательным, ревнивым взором, настоятельным требующим ответа взглядом. Слыша лишь то необходимое и приемлемое, отметая подозрительное, напоминающее полунамеки на нечто, на что-то отдаленно похожее, грозящее с неба свалившемуся счастью.

Увы, я пока еще не обозревал грядущие судьбинные просторы, не видел предстоящие адские муки расставания, не предполагал огненные страсти разрыва отношений — высоко доверительных. Пока лишь общие девственные проговоры цветной действительности обременяли первую любовь, хлынувшую с высот обетованных в странно позднем возрасте. Пока и тешились мы, отроки великовозрастные, хохотушками, прибаутками, умилением и уничижением неугодных сердцу друзей-товарищей, пробавляясь грешком осуждения.

Увидев на фото мою первую жену, любовь моя спросила, что за старушка, конечно, иронизируя, издеваясь донельзя, укоряя меня издевательски и нещадно. На снимке я с любимой доченькой невыгодно оттененный “мамой-бабушкой-женой” — так прозвала ту, о ком в библейских текстах иногда переводчики говорят как о стоящей напротив, любимая женщина. Без обговаривания. Блеск ее опущенных на альбом глаз выдавал ироничный ум, тайное восхищение собой, чувство удовлетворения. В ней не находилось места равнодушию, холодности или враждебности.

Совершенно изнуренный обильными нападками милой женщины, я ничего не придумал лучше, чем прятать источник раздражения, приводя ее в странный трепет, напоминающий азарт безнадежного игрока.

Слава Богу, в этом альбоме не хранились свадебные снимки, не то довела бы меня моя дева до полного душевного расстройства. Случалось же, неумеренное питание привело меня в мастерскую по изготовлению прижизненных и прочих масок из гипса. Рыдая по самому себе в приступе саможалости, опершись на поломанный внутри духовный стержень, путаясь ногами в обрывках свисающей физической оболочки, я вознамерился заказать прижизненную маску самого себя для дочери, пока еще проживающей у первой жены. Точно собрался умирать. Так точно оно и было. В границах мрачного алкогольного времени. В пределах моей жизни.

Мне ничего не оставалось, как мстить, исходя из преобладающей детскости. Самым пакостным — инфантильным образом — опустить в стакан с чаем от вчерашей заварки облизанную, а не вымытую ложку. Счастливая от обильного моего внимания женщина, счастливо смеялась, пила кофе из чашек, протертых дочиста носовым платком. Я содрогался от звуков марша и торжества справедливости, путая мстительность и возмездие, прощая ей критику дочери, претензии не по существу и даже, любя ее.

На мобильнике отбивался номер шефа, моя любимая слишком спокойно для трезвого алкоголика давила на меня, пытающегося найти причину, лишь бы не отвечать, лишь бы найти причину оправдаться на потом... Моя жена приглушала мою детскую реакцию воркующим: “милый, ты со мной, мы с Богом...”.

Я поделился с ней, как я на офисе сыграл честной компании несколько мелодий, произвел должное впечатление, услышал удивленные и поощрительные возгласы. “Зачем тебе это нужно, милый?” — проворковала она орлиным тоном. Я начал бояться ее и понимать, она мне как мамка, как наставница, как взрослая тетка, как направляющая сила. Именно такой женщины, возможно, мне не доставало всю жизнь. Именно поэтому я, подсознательно, предъявляю вполне правовые претензии: “Где ты была все годы, милая?” И что же нам делать, если время несется молниеносно...

До конца судьбы не зная,
В перепутье, на пути,
Ты пойми, душа лесная,
Тишину не обойти.
Не объять ее и духом,
Бередя ветрами тишь,
Голося души недугом,
Да всего не разглядишь.
Не увидишь и виденья,
Не спасешься у пурги,
Путевое провиденье
И спаси и помоги:
Окати смиренье веток,
Напусти на дни ветра,
Путь отчизны до рассвета,
Перепутье до утра.
И лесная мне темница,
И оснеженная тишь,
И судьба уже не снится,
И любви не разглядишь...

Часть четвертая

СЛУЧИЛОСЬ КАК-ТО ПО ПУТИ

В сиянии тьмы и смеха

Мы с шефом сидели в седьмом ряду — как раз на уровне довольно высокой сцены почти полного зрительного зала. Мы наслаждались отнюдь не Лирой, не звучанием этого древнегреческого щипкового музыкального инструмента. Ведь по преданиям именно игрой на Лире сопровождалось исполнение лирической поэзии, отсюда и название “лирика”. Сей замечательный род литературный, предмет которого — содержание внутренней жизни, собственное “я” сочинителя, а речевое содержание — внутренний монолог, преимущественно в стихах. Поскольку направление охватывает разные стихотворные жанры, многие явления и события жизни, данные в форме субъективного переживания, мы слушали убого пошлые, с примесью тюремной поэтичности, “гарики”. В исполнении известного в определенных кругах так называемого сочинителя и озвучивателя проходных, бранных, площадных рифмованных безобразий. Мы уместились на свободных, удобных для души местах. Шеф внимал сценическому действию, я же примерно треть концерта страдал от тревоги и страха, ожидая явления законных владельцев билетов, поражаясь удивительному равнодушию и спокойствию генерального директора, боясь быть с позором изгнанным.

Поскольку “гарики” не представляли собой в слове запечатленную жизнь этого многострадального человека, то я как сочинитель, в известном смысле профессиональный, подвижник формы и особенно рифмы, сосредоточился на ругательной музыке вне текста, нечаянно радостной и божественно случайной. Самовыражался автор в своей масштабности, на определенной глубине собственной личности. Обще-человеческое значение звучащих лирических конструкций, простите за каламбур, виделось незначительным. Потому что диапазону автора, казалось, чужда доступная лирике полнота выражения сложнейших проблем человеческого бытия. Воспитанный на высоких образцах лирики Анакреонта, Катулла, арабской поэзии VI—VIII вв., Саади, Петрарки, Байрона, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Блока я, как играющее дитя, никак не мог взять в толк, что же меня беспокоит так не явно, как бы из нравственного прошлого доносящийся шепот.

Пребывая в странной поэтичности броского правдоподобия, где мгновенная и лучистая правда факта на дальнем плане, я не вникал в небытие времени, не успевшее материализоваться, но сумевшее волею сего оригинального автора превратиться в недоношенное слово. Но, черт возьми, почему же мне не смеялось, не хохоталось, почему не разливалась душа свободным колокольцем, растормошенная правдой мига, запечатленного так понятно для шефа, и так туманно отраженного для моего беспокойного сердца.

Зал исходил в веселии, отряхиваясь от забот смехом разного качества и калибра, едва ли внимая туманному евангелию от тюремных камер, к сожалению, звучащему во вселенской повсеместности. Я не любил себя еще больше, тогда еще, боясь своего начальника более чем школьник. Я страсть как хотел впасть в неистовство смеха, следуя расслабленному созерцанию шефа. Я стремился к подражанию, но не мог расслабиться и просто слушать, запросто наслаждаться концертом, какой бог послал с подачи кошелька моего руководителя.

Его хохочущее, трясущееся от шуток артиста, тело — зримый знак того, что жизнь развивается совершенно правильно, что все идет так как надо. Далеко не христианская аудитория, похоже, обьятая пламенем, ходила ходуном. Я же, обреченный на муки вечные в пределах полутора часов, стыдился громкой реакции главы фирмы, переживая нескончаемый бред отношений, исподволь оглядываясь на сидящих в непосредственной близости зрителей.

Дело в том, что смеялся шеф даже громче сочинителя, выступающего с особо чувствительным микрофоном, имеющего особенный сценический голос. Хотя то, что звучало со сцены, годилось больше как проповедь птицам, чем поэтический дар людям, я не смог бы, например, взять и уйти. Или, извинившись, ни на что не ссылаясь, ничего не объясняя, свободно и независимо позволить своему “хочу” сделать главное — остаться свободным. Свет разума покинул меня, чувство мужества не подавало голоса, дух дрожал, проживая чужую жизнь, в ореоле смеха, в сиянии тьмы. А многострадальный автор, подобно лирохвостым птицам-лирам, обитающим во влажных лесах юго-восточной Австралии, похоже как и его предшественники имел способность имитировать голоса, напоминающие механические звуки...

Думы воровские

Двойственность ощущал я, отдыхая за Хотиловичами на хуторе у знакомых, на однодворном поселении вне сел и станций, независимо от всех. Раздерганность обуславливалась эмоциональным взрослением с одной стороны и одновременным сопротивлением старого мышления и поведения. Моя божественная суть удивительно приводила себя в порядок прекращением самообмана, мужественными желаниями, целями, установленными свыше. Мое затемненное “Я”, приобретая иной нрав и оттенок хамелеона, придерживалось нейтралитета, плавая по водоему, впрочем, в нейтральных водах расцветшей и крепкой июльской красоты.

Молчаливые — июльские лягушки обильно сыпались из-под ног в темно-зеленое мелководье. Легко и быстро скользили по пресной водной глади представители нескончаемого семейства клопов водомерки.

Шелестела осока, скрывая семейство диких уток. На умеренной высоте над гущиной камыша кружила серая цапля. Птица походила на цаплю с желтым клювом, с необычно удлинненными плечевыми перьями. Видя людей на берегу, резко брала вправо, исчезая за вершинами соснового леса. Комары злобствовали, четверка козлов разного возраста никак не обижалась на мое язвительное “привет, козлы!”. Удивительно умные коты, примостившись за спинами нетрезвых рыбаков, по-человечески реагировали на нырки поплавок, ожидая царского — благотворительного жеста — мелкой рыбешки.

Здесь все без исключения чувствовали возвращение жизненных сил, я бы рискнул сказать удвоенных чистотой воздуха, безмолвием леса, первозданной безмятежностью. Здесь царили патриархальные вялотекущие времена, здесь душа растекалась на все четыре стороны. И приходили на ум слова блаженного Августина Аврелия, христианского теолога и церковного деятеля, родоначальника христианской философии истории, повлиявшего на западноевропейскую философию и католическую теологию, господствовавшего в ней вплоть до XIII века: “Просите, молясь, ищите, рассуждая, стучитесь... вопрошая”. И те, кто молились, здесь, как никогда ранее, ощущали связь с небом.

Моя проблема заключалась в том, что я чувствовал вину, подсмотрев место хранения денег Пекарских. Это случилось само по себе, во время возвращения с прогулки. Это же чистое душевное расстройство — бороться с несуществующими призраками. Как только я не изображал из себя честного гостя. И угодливыми вопросами хозяйке — она меня пугала — и — избеганием места хранения жалких купюр, и скромным несуетным чтением, кротким и покорным видом.

Не помогали ни свидетельства священного Писания, ни мольба, ни обильная благодать, присущая этим благословенным краям. Не спасала и длительная прогулка по лесной дороге, исполненной странными пугающими звуками. Выяснилось, клики принадлежали петухам близкой деревни, гулко перезвучиваясь по сосновому лесу, видоизменяясь до неузнаваемости. Пешее передвижение немного успокоило нервы, утомило плоть, занятую борьбой с комарами. Новенький “Фольксваген” с распахнутыми дверцами, музицирующий на всю округу голосистыми колонками, испортил и без того безнравственное настроение, заманивая вглубь блистательного салона открытой дамской сумочкой, брошенными вещами и кошельками.

Я крайне трудно преодолел воровской соблазн, утешая сердцебие, переводя волнение в область духа и молясь. Используя молитву как первый и последний аргумент в моем крайне трудном случае — клептомании. Довлеющей умственно и физически, ныне и присно, сегодня и всегда. Обладающей наукой рассуждать, предстая в нескольких обликах, истинном и обманном. Поэтому мне не хотелось возвращаться

на хутор. Поэтому душа моя не знала, как быть в таком случае. Как выучиться отличать сие...

Чудо гороховое

Я приехал на побывку — на окраину земли белорусской. Мне предстояло окунуться в чудесные летние дни, полные живности, рассеянности и безделья. Мне, безнадежно стареющему мужчине, с тревожным любопытством слышался гулкий шум леса, огибающего хутор полуподковой. Мне, генетическому дворянину, восставшему из тенет душного города, поминутно рассекречивались тайны крестьянской естественности, орущей с крыльца в приблизительное местонахождение мужа, и наоборот. А в небе скользили крайне раздраженные тучи, изредка и не обильно, морося дождиком.

Я возвратился, так сказать, в прошлую жизнь, навестив моих оригинальных друзей — бывшую жену с супругом. Мы продолжали дружить семьями, несмотря на известную деликатность житейских условий. На мое сознание оказывали давление некоторые смятенные мысли. Тревожные думы не покидали меня, несмотря на забавную ручную гусыню, выпрашивающую хлеб. Бесконечное гудение пчел, шмелей и ос в летней синеве едва ли отвлекало смутные размышления о бессмысленности моего пребывания в счастливом поэтическом царстве.

Я благополучно обманывал свой разум, оправдывая себя усталостью и прочими, не зависящими от меня обстоятельствами. Будто выпав из неких створок, иного мира, скорлупы неизвестного плода, я разглядывался окружающими предметами, плавающими кувшинками, юркими тритонами, той женщиной, шумно повествующей подруге душевные тайны. Той самой тетке (Господи, неужели я мог жениться на такой нескладухе) я не по разумению, а по затмению рассудка (уж лучше бы просто уронил наземь) подарил свой роман-исповедь. Той самке, напоминающей по внешности толстую бабку, предстояло прочесть двести открытий моего прозрачного “хочу”.

Я необъяснимо творил величайший парадокс — все нелепости силами тьмы поощряемы — я не находил ответа. “Зачем мне весь этот цирк?” — подумалось точно так, как среагировала сестра моей бывшей жены Лариса, в ответ на мое безрассудное желание навестить Зою вместе со своей красавицей супругой. Зачем я надеялся, что пронесет?

Напрасно я размечтался. Закон подлости — величайшая основа природы. И предположительно основное развлечение сил небесного свойства.

Я гонял сам себя по двум комнатам, словно у меня расстроился желудок. Я усердно напутствовал бывшую половину читать роман медленно и последовательно, мягко вдаваясь в размышления о Писании.

Думы ограничивались перечислением канонических книг, составляющих Библию, теша неудовлетворенное самолюбие. Едва помня тексты, в которых передается содержание веры. Источник ей — Откровение. Непосредственное волеизъявление Бога как абсолютная ценность и норма поведения и познания, выраженная в текстах Священного Писания, ничему меня не научила. При обоюдном — притворном целомудрии мы деликатно потворствовали друг другу под редкое бляенье многочисленных коз, шипение котов и громыхание умирающего холодильника. Податель благ ни коим образом, нигде и никогда не попирал справедливость. Действо творилось самым, что ни на есть законным образом, изначально сотканное по неверному человеческому сценарию.

Я объединял слово и действие, напоминая о доставленной стиральной машине “Мара”, убегая в смежное помещение, пытаясь увлечь высочайшую Зою Николаевну в стиральное русло. Она же, бессознательно ушедши в правильное течение бытия, отворила нужную страницу и вперила свои бестыжие очи в рассказ “Обида”. Она же, а не гром стала погромыхивать, но пока без молний.

Я понял, все может обернуться моим изгнанием в лучшем случае. Рейсовый автобус только завтра вечером, если выгонят, ночевать негде — разве что в чистом поле — у большака — с комарами, мышами и жаворонками. Я принялся как-то благостно сворачивать тему, пользуясь общим подпитием, суматохой, плавно перекающей в винно-водочное веселье. Я терпеливо выслушал ее законные возмущения, она-то думала, что осчастливила меня. Я же вообще не понимаю, как рядом со мной могло оказаться сие чудо гороховое. Незаметно спрятав книгу, я обошел пиршество, уединясь на берегу пруда. Я слабо слышал, как за спиной что-то загремело, польхнуло и унеслось в бездонную небесную тишину. Привнеся в мое сомнение долгожданное спокойствие и чувство выполненного долга...

Счастье

Я, как духовный наставник по линии Анонимных Алкоголиков, назидал сестре Ирине: “Работай по программе выздоровления. Выполняя требования принципов, заложенных в учении трезвого алкоголизма, ты успешно и благополучно придешь в страну душевного покоя. Признав и решив только свои проблемы, ты вовремя пересечешься с тем человеком, кто сможет составить твою судьбу...”. Но, конечно же, кто согласиться взяться за такую глобальную задачу. Страх и нежелание, инфантильность, незрелость и гордыня ни за что не позволят просто так сдать свои позиции. Выдержки Ирины хватило на несколько лет. Некоторое время она смотрелась духовной и необыкновенно привлекательной, но, как и многие, угодила под властное иго инстинктов, под их слепое, искусное

правление. Сойдя с дистанции, сестра Ирина иногда набирала номер моего телефона и простодушно спрашивала: “Где мое счастье? Где тот перекресток, который ты обещал?”.

Страсти по-французски

Да, мы находились не в “Комеди Франсез” французского театра, основанного в XVII веке в Париже Людовиком XVI. Мы прозябали не в школе актерского и режиссерского искусства. На сцене выступали не Э. Рашель, не Сара Бернар. Пьеса, поставленная в лучших традициях классики, название уже не помню, была поставлена на французском языке, шла на сцене театра около трех часов. Жанр драмы, трактующий действие в форме комического, по принципу организации действия базировался на хитроумной интриге. Все бы хорошо, да вот мое психологическое состояние человека, серьезно подточенного алкоголем, оставляло желать лучшего. Все бы ничего, только людям, более чем увлеченным спиртосодержащими веществами, всем без исключения, не по душе духовное или интеллектуальное развитие. Все бы образумилось, окажись в буфете водочные разливы, будь рядышком иная женщина, потворствующая моим дурным привычкам — иногда — семь-восемь раз в день выпить. Меня не занимали ни характеры, ни осмеяние человеческих качеств. Елена, подосланная отравлять мне жизнь правильными действиями, честными помыслами и поступками, мыслила в духе независимого рационализма личности, не склонной к химической зависимости. Она увлеченно созерцала блестящую игру актеров и, казалось, хорошо знала французский язык. Я же терзался рядом — медленным временем, громкими голосами певцов, в сотый раз изучая полутемное пространство над декорациями, видя там что-то потустороннее. Когда моя личностная суть начала претерпевать серьезные внутренние потрясения, мое терпение лопнуло. Как мальчишка я начал проситься домой, выдумывая причины, ища предлоги, вместо того, чтобы ударить кулаком по столу. Чувствуя вину перед зрителями, женой, я еще глубже увяз в гадком ощущении, не желая сопровождать любимую женщину к дому. Проклинаю состояние прострации, умственной и психологической беспомощности, еще глубже утопая в жестоком нежелании жить с этой прекрасной женщиной...

Грозные словеса

Над моей головой сверкали ревнивые глаза первой супруги Зои. Она опускалась из темного, сонного, ночного облака, пугая меня требованиями близости. Божественно сияла во сне дочь, устало томилась моя неверная плоть, брезгливо отворачиваясь от прокуренной и невзрачной

бабы. Полусогнутая десница незаметно прикрывала правое открытое ухо, как бы невзначай, запирая ушное отверстие указательным пальцем от словесного хлама, образованного не по существующим моделям и законам языка. Раздел грамматики, изучающий все аспекты образования слов в языке, безусловно, обогатился бы редкими экземплярами. А “Слово о полку Игореве” со своей древнерусской лироэпической — ритмизованной прозой, вполне укрепило повесть и размышление о трагичном походе Игоря Святославича, окажись рядом с безымянным автором моя бывшая супруга. Буквально, скорбь о погибших чувствах и полоненных другими бабами, осуждение семейных междуусобиц, славословие личных ратных подвигов во имя отчизны по имени семья и борьба за согласие и единение семьи слышались в перешептах Зои. Пафосу гневных речений жены сопутствовала лирическая стихия простых чувств, супружеского недовольства и в частности — жалости к себе. Опоэтизированные образы неистребимого язычества рушились камнепадом из уст ночного оратора. Языковое многообразие обличительной речи, вызывающей к разуму женщины, придавали тайной семейной сцене черты монументального историзма. Я не чувствовал себя соучастником вселенского бытия, приликая к липкой простыне, цenia лишь лаконизм и афористичность слова моей Николаевны, которая Зоя, ясно представляя ту среду, где она обогатилась речью. Плач Ярославны чудился в личной трактовке свихнувшейся актрисы. Наверняка сама одушевленная природа исторгла фантастический образ на мою несчастную голову. Мне доставало юмора помыслить: а не заняться ли мне сочинительством, вклиниваясь в десятки поэтических переложений “Слова...”. Не потрясти ли мне блистательный перевод И. Шкляревского. Я вслушивался в начало чего-то непохожего на семейную жизнь, чувствуя довольство телесных сил, не обращая внимания на крик души беснующегося существа женского пола: “И домой будешь вовремя приходить, и с женой будешь спать каждый день, и водку будешь пить только дома...”. Все сказанное предлагалось взять на веру, зарубить себе на носу. Слова блистали и низвергались, и нависали, как Бог над дьяволом, грозя покарать дурно начатое дело...

Медовый грех

Во всяком духовном выздоровлении таилась своя особенность, но прежде и всегда и повсеместно случались пышные рецидивы смертных грехов. Во всяком случае, мне казалось, я выздоравливаю каким-то особенным образом, отличным от других. Во всех моментах духовного просветления находились черты непохожести, выделяющие мою взволнованность неизвестно чем. Силы разрушения моей сферы плавно и неприметно заполнили простоту ежедневного счастья, будничность

обычного состояния. В новый опыт, в нарождающуюся мудрость сладким соблазном ворвался мед искушения. Продукт группы семейств жалящих перепончатокрылых насекомых, одного из тридцати тысяч видов низвергся на мою безответственность. Произведение божьей твари, сотканное по крупицам из нектара цветочных растений, блистало одним своим присутствием, будоражило одним только явлением. Колонии золотистых летучих особей облаками застилали окна фирменного помещения, создавая ощущение затмения солнца. Пчела, как объект пчеловодства, с опытом проникновения в воображение шесть тысяч лет, кружилась над головой с очевидной угрозой. Нектар и пыльца застилали обоняние. Пчелы строили перед глазами соты, чистили гнезда, выметали трутней, оплодотворяли самок, напоминающих целомудренных молоденьких девушек, после чего гибли. Во время брачного полета и оборвалось мое мечтание, завершаясь статистическим подсчетом медовых объемов пчелиной семьи и сопоставлением с ее сезонной выработкой. Супротив сорокакилограммового запаса, не дающего душе покоя.

Бидон с медом хранился в подсобном помещении, расположенном напротив рабочего стола. Сорокалитровая емкость, привезенная откуда-то шефом, покоилась соблазнительно и бесконтрольно. Я ощущал себя ясновидящим, представляя медовое хранилище, просвечивая комнату лучами клеptomании и рентгеном чревоугодья. В служебке полыхало, плескалось солнечное чудо, сводя и, наконец, сведя меня с ума.

Как известно, воспоминания о грехе томительно приятны и сладостно притягательны. Вообразите мучения души, представьте увещевания плоти, несмотря на мимо идущие рати работные, будни производственные, века коммерческие. Несмотря ни на что, меня обурежала духовная глухонемота. Я принялся греховодничать, как только генеральный директор и его заместители отправились обедать. Я влетел в темный угол, видя магический свет цветных стекол и янтарные пятна на полу. На мгновение, всего лишь на миг я запер за собой дверь на ключ, наклонил алюминиевую посудину, начал пить обжигающую густую жидкость.

Алчность сошлась с чревоугодьем. Попятились непобедимые воины Александра Македонского, завоевавшие территорию Персидской державы. Треснула его монархия накануне распада в 322 году до н.э., превращаясь в поработенную Римом провинцию. Отступили войска Чингизхана, основателя и великого хана Монгольской империи. От имени великого завоевателя оторвался личный титул “Чингиз”. Взроптали подневольные енисейские кыргызы, айгуры, карлуки. Шатнулось государство Цзинь в Северном Китае, зашевелилась недовольная Средняя Азия. Прекратились опустошительные походы и гибель народов. Закрестились первосвященники, спешно совершая все таинства, кроме рукоположения. Заблистали торжественно стихарь, риза, орарь, епитрахиль, митра. Но и восстали силы тьмы, стремясь к заключению союза со

светом. На офисном небосклоне проступили золотистые пятна, мягкий темно-коричневый свет струился из медового хранилища. Семицветная звезда душевного покоя погасла, на стенах проступали липовые соцветья, мерещилась псека, затерянная в царстве безмятежных липовых зарослей. Словесный портрет моих тайных желаний, сложенный с помощью невиданной честности, затеянный ради истины, пока еще принципиально не выносился в аудиторию честно работающих коллег.

Бог свидетель, не мог я противиться внутренней греховной коалиции, оставшись без наставника, без действия свыше. Я играл в честность и нравственность, греша неблаговидным образом, банку за банкой поедая волшебное лакомство. Это напоминало противоборство двух любящих душ и страждущих сердец, моих раздвоенных жизней внутри смятенного меня. Мысль подавлялась безумным “хочу”. Здравомыслие вяло противилось своеволию, утопая в медовом безумии. Слава Создателю, шеф — человек высокого мышления и не вдавался в такие мелочи, как ведро испарившегося меда.

Алчность чревоугодия помыкала мною, ослепляя бронетанковой гордыней, смешиваясь с медовой массой, доводила до иступления, позволив горькой правде, которая хороша, высока и свободна, заглянуть мне в глаза шефовым пронзительным оком. “Толя, надо разлить мед по литровым банкам, чтобы каждый на праздник получил в подарок медовый гостинец...”. И посмотрел так, будто видел в моей тумбочке очередную ворованную порцию сладкого лекарства.

Чуть посвежевший ветер прощения развеял страх наказания, и я начал действовать. Я активно суетился, чтобы понравиться всем, чтобы остаться в глазах сослуживцев представителем почтенного судилища, почти страстотерпцем и великомученником. Мотыльки остроумия, покрытые различно окрашенными чешуйками, осеняли меня. Я расставлял презенты на столах, создавал впечатление разнообразия, пересчитывал излишки, безбожно перевирал количество банок, пряча в тропиках подсобки еще три единицы. Подражая пресловутой бабочке, с помощью хоботка добывал я божественный нектар и вытекающий сок растений, переживая устрашающий и социальный, урок накануне покаяния...

Легкая добыча

После обеда я, как правило, с благословения руководства выбираюсь из офиса, из своего замкнутого пространства, на короткую прогулку. Не надолго мне удастся обмануть свое одиночество, рассеять прилипчивую хандру и частично унять неодолимую полуденную дремоту. Широкая тень высокого и длинного дома услужливо ведет меня по холодку к магазину. На придорожных деревьях налицо первые признаки первого увядания, стало быть, середина лета промелькнула. И, стало быть, если

страдаешь возрастной забывчивостью, неостановимо мчится вторая половина жизни, наиболее скоростная, но и раздумчивая.

Следуя твoroжной тяге, я сворачиваю на пешеходный переход, держа направление к ближнему гастроному. Я топчу яркие полосы пешеходного перехода, впрочем, скашиваю взгляд влево-вправо, помня, что я не в Германии (пешеходную зебру придумали немцы), зная о непредсказуемости некоторых недуховных водителей. Следом валяться на меня сушь, зной, марево на редкость жаркого лета. Я с досадой оглядываюсь на оставленную тень, ныряю в искусственную прохладу продовольственного магазина.

На выходе натываюсь на красивую девушку инвалида, она просит меня о сопроводительной помощи. Хочется сбежать, уклониться от ответственности, свалить проблему на кого-нибудь другого. Выдавливаю благожелательность, укрываюсь миной довольства, озаряюсь улыбкой.

Я несую ее нелегкую сумку, думая, может, вправду нужна помощь, сочувственно поглядывая на движения несчастного человечка враскорячку, лишённого координации и двигательной свободы. Мы существуем распояской, без всякой логики, вне смысла установленных правил. Она шуршит подошвами обуви по асфальту, напоминая движения заводной куклы. Мое великое и короткое мучение, сменяется вначале любопытством, перетекая в странную заинтересованность ее особой. От неловкости, поспешности и шаговой аритмии я скоро выбиваюсь из сил, отпущенных каждому человеку на определенный фрагмент движения бытия.

Она ведет меня через улицу со спокойствием человека, познавшего судьбоносное потрясение, побывавшего на крутизне грани жизни и смерти. Я испытываю крайнее неудобство, страх и близость кончины. Потому что она совершенно не реагирует на мчащиеся автомобили, направляя наше сообщество наперерез здравому смыслу. Я с трудом держу ее, беспомощную и доверчивую, без особенной любви тащу ее авоську по середине автомагистрали.

Получается добровольная каторга под видом благотворительности. Я буквально волоком тяну шуршащую тяжесть, оказавшуюся слабым женским существом, источающим вулканы нежности, фейерверки желаний и флюиды притягательности. Она томно подставляет мне глаза, может быть, так мне кажется, словно это губы. Она прижимается грудью к моей руке, обвисает, падает, а я с большим трудом поднимаю девушку и чувствую, она зовет меня в страну любви.

Страх и осторожность мои отодвигают бессонное желание близости, трепет и предошущение легкой добычи. Я не надеялся на продолжение придуманного мной романа, но осмыслению надлежало уступить место похоти. Почему я не сделал шаг навстречу, бросив замечательную девушку у входа в лифт? Ведь начало было положено. Ведь стоило бы высказаться, определиться, а не рассматривать себя в качестве мишени для

народа, спешащего вокруг, не обращающего на нас никакого внимания. А с другой стороны, я оставил свою совесть, крепко побитую молью грехов, неповрежденной, столь серьезно и опасно, забредая от скорбящего сердца и сокрушенной души в дебри умоглядительного блуда...

Песня

Я не могу утверждать, что бесконечное, белесое поле пшеницы и уходящая в неизвестность извилистая дорога, виделись мне наяву. Это точно не снился сон, не чудилась книжная ретроспекция, не рождалась досужая выдумка, не творилась метафорическая проделка неумного воображения. Просто поле пшеницы и долгая молчаливая колея. Просто бесконечная перспектива оптического обмана, степной мираж. Просто мерное колебание зыбкого пути без прошлого, будущего и, пожалуй, настоящего. И вместе с тем видимый мир достаточно внятный и осязаемый. К нему даже невозможно было сделать ни одно замечание. Его не следовало трогать, отрывая колосья, мыть их, топтать, дабы не будить спящих земных духов.

Как видим, нижайшие — уничижительные реверансы в прологе отпущены. Неведомая птица, перелетая с места на место, следовала за мной, усаживаясь поодаль на проводах электрической линии, тянущихся обочь — вдоль светловолосой пшеницы. Пичуга подбросила рифму “провода — сопровождай”, подняла настроение, перемешав все на свете, небо и землю, дорогу и бездорожье, отворив некий потусторонний канал связи с силой более могучей, чем моя собственная.

Все возможные мои недоумения по поводу летаргического сна, мифического перевоплощения, пшеничной марихуаны и прочей неразгаданной белизны, меня, читающего священные письмена, далекого от праздного, бездуховного инакомыслия, были отвергнуты, отринуты, повергнуты, развенчаны. Я существовал наяву, я возвращался из гостей. Я ясно слышал гудение ближнего телеграфного столба, я четко отмечал снегозаградительные щиты у самого начала степной жизни.

Я когда-то все это уже видел, знал, чувствовал. В каком-то ином времени, в другой эпохе, в дальнем веке. Господи, почему же в отличие от всего окружающего меня мира, не пресыщало мою душу степное — горькое единообразие. Не утомляло мои глаза обилие красок придорожной травы, чуждое общеупотребительных, неточных слов. Складывалось такое ощущение, будто дни и годы поменялись местами, а полдень лишил меня разума, чувства пространства, приковывая именно к колеистой и заунывной дороге.

Чем же отринуло чувство отчуждения в несравненной остроте ощущений, в обличительном настроении горечи, типа настоя исландского мха или разжеванного антибиотика. Что за существа из неподвижной

степной жизни музицировали на фоне кузнечиковых, жаворонковых и душевных песнопений, призывая, вовлекая в исключительный по характеру своему хор ангелов земли обетованной. Произошло мистическое освобождение от препон подсознательного страха. Никто более в ту минуту в большом воображении не грозил мне отлучением от безмятежного созерцания на полянах и вырубках того же зверобоя продырявленного, имеющего вяжущее и противомикробное действие, путая его с декоративным видом. Или гудящих шмелей, этого сокращающегося вида, важнейших опылителей растений, занятых исследованием чабреца.

Пришед на землю после длительного духовного заточения, прекратив сношения с правительством тьмы, презрев обычаи, традиции и общественные настроения, я запел, предпочтя род словесно-музыкального искусства. Поэтическая форма моего детища казалась то куплетной, то строфической. Классификация песен по различию, во время моего звучания, поколебалась, предвкушая оттенок новизны. Социальная функция песен обогатилась пусть и незначительным, но четким штрихом. Сольное исполнение без музыкального сопровождения произвело впечатление на небожителей. Именитые толкователи теории русского романа смутились, выделяя отдельные черты необыкновенно певучего характера, вдрут проснувшегося в пшеничной неоглядности.

Скорее творилась живые фольклорная форма, зыбко качающаяся на грани бытовой речи и художественного творчества. Истекало повествование, с основами имитации речевой манеры. Лексически, синтаксически, интонационно я ориентировался на устную речь, хотя и пел. В повествовательности легендарного характера перемешивалась и ретроспективность изложения, и поэтическое приближение прошлого. Предания, легенды и буквальщины обильно одаривали меня звуками, красками, образами. Русские непрофессиональные певцы притихли вдалеке, отдавая дань уважения новоиспеченному брату.

Скорее известный прозаик признался бы, как он бездарен, а поэт не без способностей снял бы шляпу перед моей виртуозной техникой стиха. Птицы застыли в изумлении, внимая невиданному слогу, прорезавшемуся слуху, степной заунывности нецерковного, но глубоко духовного содержания песни. Полвека я не решался заявить о себе во весь голос хоть каким-то образом. Пятьдесят лет легенда ждала своего реального воплощения.

И вот, подражая пению отца, я предстал личной, замкнутой на самое себя аудиторией.

Ветер стих. Высокое солнце палило нещадно. Кукушка пророчила вдалеке. Жизнь любила меня, прервав тревожную бессловесность мотивом предков. Немота и молчание разверзлись думающим, чувствующим существом с моим именем и образом. Радость и плач протяжного степного мотива казались голосом тех, кто меня прислал. И не увидел я

ни свидетелей, ни хранителей старых обычаев. И не имел я диктофона, чтобы запечатлеть чудесное диво неповторимой душевной словесности и сказки, обязательно со счастливым концом...

Не оскудеет рука дающего

Однажды явился человек так сказать отрешенный от дворцового этикета. Он опустился в наши легендарные — трезвые времена из чудовищных судьбинных лабиринтов, молодой, красивый и глубоко несчастный. Настолько обиженный судьбой или своеволием, что опыт и деятельность предшественников великого алкоголизма, сразу виделась провинциальной лампочкой в глубинном шахтерском поселке.

Лишенный кистей рук, брат (имени не помню) словно мучил себя воспоминаниями навсегда погибшего физического благополучия. Он тотчас же врезался нам в память какой-то безысходной тоскливостью и неверием. Он как бы отсек свое будущее вместе с руками и ни на что в жизни больше не надеялся. Любая радость мира, любая прелесть бытия воспринималась им как личное оскорбление, точно он беспокоился о сохранении старых обычаев при наших новых порядках.

Однажды он подошел ко мне, окатив волной бессмысленной радости, и попросил у меня нашу главную книгу “Анонимные Алкоголики”, или как мы называем ее “Синюю книгу”. Но я сослался на какие-то туманные запреты, отверг его просьбу, оттолкнув его, думающего, чувствующего, одинокого. И он исчез. Потом мне рассказали, как он, напившись, угодил под грузовую машину, мчащуюся на огромной скорости, как его протащило по асфальту. Потом меня начали преследовать чувство вины и раскаяния. Отголоски их на всю ширь моей духовности и поныне отдаются эхом. В бинении моего изношенного сердца уже ненавистными мне словами слышится “не оскудеет рука дающего”.

Люк-люк-люк

Я представил себя изуродованным, лежащим на земле, с исчезающим румянцем, бледным как горизонт задолго до восхода солнца. Я принялся раскручивать воображение, до отказа набитое случайностями, отрывками смутных повествований, лишенное религиозного воспитания и древнего русского благочестия. И тут же я возвратился в реальную жизнь, внимая весьма рассеянно, почти не слыша своего соседа Николая, его жену Татьяну, на всякий случай, отойдя подальше от края балкона.

С какой-то бесовской настойчивостью и колдовской прилипчивостью я продолжал витать в толпе безумных потешных мыслей. Все они равно сводились к дьявольскому наваждению. Они лишали меня покоя и безмятежности, хотя какое там равновесие духа при непрерыв-

ном алкоголизме. Одна замкнутость, лживость и словесная риторика, скорее ее подобие, при глобальном желании выделиться и произвести впечатление.

А причина заключалась в реальном направлении, на которое меня наводили всемогущие силы тьмы, полобовно держа под руки, сладко шепча на ухо соловьиные, сладострастные увещания. Так между делом, среди потех и ежедневных застольных бдений, уютно, даже интимно выделился оком преисподней канализационный люк-люк-люк под моим окном. Чугунное дьяволово зрение взирало на мой балкон на девятом этаже, сближаясь со мной по мере развития алкогольного заболевания и душевного.

Соседи курили, а я холодно и страшно видел только металлический круг. Гости тешились анекдотами, а мне не веселилось, не хохоталось, не улыбалось. Ни в чем я не находил удовлетворения, только распахивал внимание настезь, бросал взор вниз. А зев потусторонний почтительно манил, великодушно, приглашал к самоубийству. А вокруг снега изумрудные, весны одуванчиковые, осени листопадовые, а над ним лета, лета.

Жизнь моя, веселого мученика спиртосодержащих веществ, борца за трезвость, постепенно превратилась в зримый образ с темно-серыми глазами, наблюдающий за моим состоянием, точно недремлющее око стражей вселенной. Точно и не стало на белом свете домов, людей, играющих детей, одно только академическое занудство смерти, жаждущей впускать в свои стены всякого, кто в праздности безумен.

Мои наивные друзья собутыльники верили, я боюсь сквозняков и намеренно не высываюсь в оконный проем громадного застекленного балкона. Смех в моем доме звучал уже как-то неуместно, а я решительно осуждал длинные перекуры на прохладном балконе, вызывая недоумение соседа Пашки, Славика и остальных.

А люк-люк-люк снился буквально. Мы поглядывали друг на друга доверчиво, не по-товарищески, влюбляясь взаимно. События двигались к весенней распутице. Неглубокие сугробы не скрывали моего чутунного друга. Под влиянием психического расстройства я запутался в дебрях предрассудков. Прохаживаясь в часы безделицы, я останавливался у гудящего места, имеющего надо мной неограниченную власть монарха души. Я поднимал голову снизу вверх и ничего не мог представить, кроме себя, летящего вольной птицей в духе первых воздухоиспытателей. Двойное мое бытие, внутреннее разномыслие (как только уживалось в сердце), не давали смыслу жизни ни света, ни малейшего просвета. От впечатлительности я перестал нормально спать, прекратил бытовые и случайные выходы за балконную дверь, с болезненной ненавистью прислушиваясь к силам духовным и телесным, к силам исполнимым рядом с человеческими возможностями. А в звуке, раздавшемся из канализационных глубин накануне трезвой эпохи, послышался упрек моей совести. А

голос — люк-люк-люк — звучал о том, что не было в живых приятелей моих винно-водочных, что не следовало мне отправляться за ними в могилу, в страшные застенки божьего гнева раньше положенного срока. Что моя сердечная деятельность и дыхание должны продолжаться до отмеренного срока. Хотя бы еще восемь минут, прежде чем нагрянет биологическая — истинная кончина и начнется необратимое прекращение физиологических процессов в клетках и тканях.

Тук-тук-тук

Моим призванием можно по праву считать — “стукачество”, а весьма странная, удивительная, горная профессия так и называлась “Стукач”. Подземные специальности в шахтерских краях именуются с прибавлением прилагательного “горный”, будь то мастер, инженер или диспетчер. Примерно такая же квалификация существует и в тук-тук-тук-потустороннем мире. Примерные духовные трупы туда лишь и допускаются. На самом деле вроде бы еще в живой оболочке, но без обыкновенной силы людской, без политического могущества, без личины веры во имя древнего Православия. Вроде волнующейся невежественной массы. В определенном роде спускаешься, с высочайшего позволения, в иноземные глубины, в царство пыток и жестокости покаяния.

Видны там застывшие бунты мнимых староверов, мятежные восстания, невинно убиенные младенцы, все, кто причислен к лику святых. Слышны там стоны и только, крики неизреченные и ничего более вразумительного. Дышится как при осознании акта правосудия, глубоко и сердечно, больно и аритмично. Отчего я и не мог взять в толк, за какие такие грехи мне ожесточенная ярость, а по словам тамошних корневых современников неслыханная милость — лицезреть жуткую радость вечной тишины. И божественная возможность — приветствовать мучительным молчанием экстраверта совершенно возвышенный (скорее приниженный, все-таки под толщей земли) мир.

Один Всезнающий ведает, что за непостижимый замысел творился по его всемогущему мановению. А те, которые взирали как живые, с запекшимися губами, с неподвижными, но ясными глазами, сдержанно указывали мне направление движения и шептали, точно роптали, за что мне, живому физически, выпала такая честь и привилегия. Звуки шагов куда-то вели, рокоча эхом дотоле неслышанным и невиданным. Некто изысканно пояснял мне суть дела, уверяя, это не акт правосудия, я не жертва небесного гнева. В сии страшные застенки, пугающие неподвижными, остановившимися существами, изредка допускались личности с крутым и фанатичным характером.

От подобной информации становилось страшно до сумасшествия, одиноко до безумия. Но властный и повелительный голос итожил не-

правдоподобную одиссею, рокоча о тех, кто еще не выполнил миссию на земле, приглашая к сотрудничеству, приказав: “Стучи!”, — и вручил тяжеленную чугунную колотушку. “Молись и трудись”, — прошелестело следом эхо, слегка поколебав монолитные своды. Тук-тук-тук — барабанил я в потолок по необъяснимому наитию. Я опасливо оглядывал безобразную картину спящих живых, следя, как мне казалось, за мягким очертанием чьей-то длани, за светлым и розовым проблеском, вероятно, в моих глазах. И вновь колошматил снизу вверх незыблемую полусферу, впрочем, известным чувством ощущая над ней легкое движение.

А меж тем прозрачным огнем горел впереди восток. Ночная группа Анонимных Алкоголиков завершалась утренним бдением курцов, зевотой выговорившихся женщин, свежестью и ясностью утра майского форума. “Когда я опустился на самое дно, — горячо делился своим опытом трезвый алкоголик, — мне постучали...”. Удивительно, все слышали загадочный сигнал, таинственный знак, кто весной, кто на рассвете, кто в степи.

Невидимый соловей вторил стихающему раннему гулу членов сообщества, бережно хранящему свое хрупкое и нежное, грубое и мужицкое, девичье и бабье трезвое счастье. Почти у каждого, в поте лица заработавшего свой трезвый кусок хлеба, звучало в выступлении упоминание о придуманном или о реальном сигнале из-под могилы, напоминающем благословение Божие. Я же, вкусивший двойное бытие, пораженный невыразительной глухонемой, крича и не слыша своего голоса, страсть как хотел донести до сердца каждого суть этого трудного для совести дела. Этого несказанного сказа о моей тяжбе с алкоголизмом, о стуке — вопле о помиловании, когда милость неба торжествовала над гневом смертельного заболевания, когда я трудился там стучащем...

Пробуждение

Праведный гнев, в темной липкой мерзости, застилал очи мои, пытал меня в душевной тесноте несмирения, срывая маску добра и человеколюбия, являя истинный облик мизантропа. Правда свершившейся воли божьей, страшная и неосознаваемая в любом смысле, горше благодати, ненавистней смирения, осадила здравомыслие. Окатила мстительностью, накатила волной агрессии. Я опустил глаза долу, перебирая нездоровыми хрусталиками цифры начертанного на общей тетради семизначного телефона какой-то Гали.

Гневная энергия еще некоторое время клокотала внутри любопытная лишь своей разрушительной отвратительностью. Рыча и возмущаясь, она загналась внутрь, встряхнула тренированную плоть психосоматикой. Объявление начальника охраны по поводу осеннего отпуска, вместо привычного июльского барства на берегу Азовского моря на юге

Украины и Европейской части России, вызвало у меня бурю протеста, отозвалось слабой попыткой возражения и борьбы. Самое мелкое море в мире, соединенное Керченским проливом с Черным, звало меня всей площадью в 39 тысяч кв км. Приглашая в гостеприимный Таганрогский залив на гостевание к тете Ларисе и дяде Жене, в царство тюльки, леща, хамсы и судака. В новые зрительные образы и пейзажи. Я хорошо знал, после таких невысказанных реакций свыше семи баллов, мне предстоит головная боль, бессонная ночь и борьба в воображении.

Гневное видение жило внутри меня со времен первых отроческих бунтов против сурового родителя. Далекое младенчество, как бесконечный — светлый день, завершилось вполне обыденно для неблагополучного юношества, уходя корнями в глубины веков, в смутные эпохи послепетровских царских переворотов. А делов-то сегодня — не угодили с отпуском, умыкнули летнюю побывку, лишили абрикосов, короче, события пустили не по моему сценарию. И кто, этот — я задохнулся от бессилия выразить в словах образ начальника охраны, так и не придумав ничего сверхунизительного, прилипчивого, чтоб пригорело на века и блистало позором, и польхало унижением.

Но гнев глубинно уравнивается подсознательным богомолем. Верно, черты древней русской набожности: пост, долгие поклоны земные, возжигание свечей перед образами, любовь к ближнему, исподволь таили во мне спасительную благодать и дух смирения. Хотя мне не сиделось, не думалось, не говорилось в те мгновения.

Хотя я ловко манипулировал мельтешащими перед глазами телефонными цифрами некоей Гали, впрочем, отвлекающей меня смутными предчувствиями. И прочими пустяками, уводящими в сторону от праведного желания изрыгнуть поток громогласных словес, пристать к берегу мстительности, упасть на песок справедливости.

Само собой разумеется, начальника охраны я возненавидел, лишил его благодати, возвысив в коротком монологе перед шефом прежнего руководителя службы безопасности Виктора. Сам на сам вышел я на ковер внутренней борьбы, слава богу, хорошо представляя, там нет ни победителей, ни побежденных. Мне бы выразить вслух сомнения души, мне бы крикнуть на пол-офиса, волнуясь сильными и разнообразными молитвами. Мне бы отстоять перед начальником свои права (правда — на моей стороне), призвав, бога в свидетели, а шефа в третейские судьи.

Но гнев не загасил искорки моего разума, лишь потревожив его ровное пламя. Я удалился на гору для уединенной молитвы, отринув и осмеяв личный и суеверный старый обычай, все творить по-своему.

Я очнулся на заре, немного потрясенный, но в основном умиротворенный. Райское весеннее утро взидало в мою комнату сквозь оконный проем. Тесное и цветущее буйноростье окрестных деревьев застлало

росистое солнце, проникающее через листву блестящими частицами. Ровное душевное состояние ничем не объяснялось, но понималось как празднование нового дня смирения и прощения начальника охраны. Я вознамерился хоть как-то обозвать его на прощанье нехорошим словом, но за стеной неожиданно и звонко защебетал птах, явно подражающий соловью. И я вспомнил, какой Гале принадлежал тот семизначный номерок и улыбнулся своему внутреннему пению...

Татарская красавица

Мне предстояли не грубые и кощунственные забавы, но первое, нетерпеливое путешествие в женские объятия. Я мечтал о нежной грусти, о печальном томлении, хотя вел себя так, будто мне ведом покой старости и холод вечности бесстрашной. Мне не сиделось рядом с темноглазой, необыкновенно живой, словно наполненной ртутью, девушкой с татарскими чертами, с правого берега Волги, чадом тамошнего умеренно-континентального климата, когда на солнце жарко, а в тени холодно. Сила неостановимых течений, неодолимых страстей Камы и Волги, Вятки и Белой грациозно струилась в ее взгляде. Нравы Казанского царства, образованного после распада Золотой Орды преобладали в ее молчаливой строптивости. Я вызвался жарить картошку с красавицей. Взаимно отражаясь, мы покинули комнатное мельтешение.

Какая-то зоркость глаз, пронзительность внутренняя проглядывалась у дочери степей, схватывавшей все с полунамека, с завидной прямоотой и откровенностью. Кажущаяся простота сердца, обманчивая доступность и чудесная чистота выдавали в деве породу особого — вольного племени. Она отдавалась мне вся без остатка, тогда как я с тревогой оглядывался на читателей кулинарии, спящих вокруг.

Солнечный свет ласково заглядывал в несвежие окна, оттенял неаккуратную плиту. Вкусно пахнущая картошка, отвлекала от нахлынувших переживаний. Запущенность и уют, в самом деле, двоились, поцелуйное школярство давало трещину недюжинных размеров. Я стал нетверд, невесел, бормоча что-то оправдательное. Я просто хотел есть. Девственная застенчивость и моя неопытность тормозили общее развитие романтической приключенческой сексуальности.

В комнате нас заждались. Оказывается, прошло немало времени, прежде чем мы водрузили сковородку с подгоревшим картофелем на подставку. Наша общая молодость визжала, острила, мечтая о телесной близости. Наша любовь и застольная радость вскоре замолчали от трезвого безучастия. Справа считали деньги, содействуя продолжению банкета. Мое молчание сочли за отрицание установленных порядков, шумно покинув помещение гремящей толпой, оставив рядом со мной незнакомую — миниатюрную женщину.

Прошло буквально несколько секунд, а я уже измучился ее всеобщим присутствием. Я изнемогал от страсти и желания, отрицая любое нравственное средоточие. Не было сил выносить эту муку неудовлетворенного желания и чувства вины перед моей татарской красавицей. Мы, конечно же, прожили данное нам время, презрев прошлое и будущее.

Ко всему не прилагалось каких-либо особых фактов, кроме моей горячности и явной неумелости, вперемишку со спешкой. Кроме подозрительного взгляда на бестыжую дверь, взирающую на меня темно-коричневым татарским укором. Несмотря ни на что в соитии, я торжествовал. Я родился как мужчина, как обладатель женщины.

А во тьме кромешной яркого солнечного дня гулко забарабанили. Громкий стук высказывался в духе степного — привольного недовольства, прежде чем на мгновение замолчал, воспламеня краски земли и неба ревностью. Бог свидетель, неисчислимые страсти свободного Татарстана ворвались на дощатые просторы, неистово стуча копытами.

Истинное превращение пережили все в ту минуту. Будто из небытия восстал ее далекий предок и, грозя, двинулся на меня со щитом на груди, с копьем наперевес. Сказать, что я ощущал стыд, который не превозмочь, стало быть, ничего не донести до вашего сердца. Признаться, что я не прав, означало бы явную историческую неточность. Медленно просыпающееся сознание шептало, какой угодно ценой верни наследницу великих воинов, пади на колени, проси пощады. Но нет прощения предательству, даже если это припадок безумия, похоть или минутная слабость. Нет оценки той безысходности, непониманию самое себя, своего поступка. Нет на карте того места, куда она скрылась, потемнев лицом, выбрав один из девятнадцати ныне существующих городов Татари...

Одни воспоминания

Я страдаю забывчивостью и проживаю свою жизнь в основном в тусклом мерцании “давно минувших дней”. Воспроизведение прошлого опыта считается одним из свойств нервной системы. Наверняка, способность накапливать и хранить информацию о событиях внешнего мира и реакциях организма и вводить ее в сферу сознания у меня существенно ослабилась. В самом деле, кратковременная память моя не пострадала от смертельного заболевания. Долговременная память действует избирательно, и возвращает долги неожиданными всплывками. Характер проявления ассоциаций более эмоциональный, чем словесно-логический. Я страшно мучаюсь от прилива прилипчивых событий седой старины, от их ясности и понятности и вместе с тем от их туманности и расплывчатости. И нет с ними сладу, нет противодействия и вообще хоть какого-нибудь понимания или объяснения. Это становится серьезной помехой для внутренней собранности, неожиданной опасностью для жизни. Проще

говоря, мешает мне чувствовать роковые моменты, например, в сию минуту, при движении к выбранной цели в гостевой день.

А времена проваливаются в безумие, путь зыбко вибрирует, почва шебуршит суглинком, осыпаясь, соответственно, в преисподнюю. Рассеянность, должно быть, слышит лишь четкие песочно-глиняные шумы, создавая мне все более хлопот. Мне следовало бы осознать, происходит то-то, но подсознание — щелк — переводит тумблер в левое положение памяти. В неуместное сочувствие, теологический спор с духовными лицами, бдение о переменах в иерархическом строе российского правительства. Создается впечатление, будто я объект, составляющий часть культурного достояния страны, может быть, народа, или всего человечества. В таком случае — я охраняюсь государством и специальными законами. Как произведение искусства, созданное для моего же увековечивания. А почему бы и нет!

Все прочее, как попало раскиданное, я отбрасываю, вспомнив-таки, двигаюсь к Саше Лапину. Мы так сообщаемся по телефону: привет от мастера поэзии мастеру геодезии. И хохочем, и продолжаем юморить, и не останавливаемся на достигнутом. После пятидесяти юмор обретает особый смысл и опору. С чувством полного литературного удовлетворения я несу Саше в подарок первую книгу моей исповедальной прозы. Я почти не помню, куда я направляюсь. Дома похожи один на другой.

Как всегда путаю подъезды, забредаю на шестой этаж, чувствую, не та передо мной дверь, слишком неухоженная, очень облезлая. У Саши-то входные ворота — пальчики оближешь — хозяин! А тут еще кто-то устроил в лифте туалет. От легкого потрясения начинаю медленно что-то восстанавливать в логике событий. Спускаюсь по несвежим ступенькам вниз. Неожиданный возрастной мужик, с противным лицом, стоит между лифтом и фигурой в распахнутой двери. Неожиданно вслух он обвиняет меня в сотворенной кем-то в лифте физиологической потребности.

Возвращается ясность мысли. Приходит на ум любимый Бунин: воспоминания действительно нечто очень серьезное. Говорят, существует даже молитва о спасении от них. Приостанавливаю кочевую жизнь, забывая об опыте молить, о духовности, об осторожности, в конце концов. Лаю на мужика в духе отборной тюремной лирики, превращая человеческое сотрудничество и понимание в дело десятое.

Я провожу бранный тренинг, не выбирая антиглаголы, выходя из себя лишь по нужде. Не успевая испугаться, суля мирянину сокровенный дар агрессии, гнев и ярость.

Стыд и срам, проснувшись, сменяются тревогой и страхом. Ворох предшествующих ошибок давит неосходно, прямостоящий откупщик явно не трусит, чужая помощь группы поддержки в лице соседа, маячащего в проеме. Как тот монах, ограниченный в количестве денег и хлеба, я не

имею пространства и времени. Я в ужасе от создавшейся ловушки, от глупости неожиданного положения. Я на пределе унижения, ниже я не опускаться.

Мужик будто подставляет зеркало, будто отзеркаливается анти-агрессией, произносит защитную отповедь отрицательного свойства. В моей тональности, в достаточно совместимой лексике, родственной моим площадным метафорам. Впрочем, читаю в его лице, лишенном сомнения, выдающуюся силу внутреннюю. Дрожа психологически, юрко проскальзываю в нижний пролет, бросаю тело в зев входной двери, едва слыша ответную реакцию, боясь впасть в иступление мести. Пятьдесят пятый год, живя на земле, все делаю неверно, дважды проживая одно и то же действие...

Ниже пояса

Вот уж такое унижение я тебе не прошу. Вот же не следовало тебе, милая моя, теребить запретную опояску. Понятно, откровения, навеянные обильным питьем спиртных напитков, тайной мстительностью, допустимы, честны и даже оправданы. Состояние, характеризующееся как алкогольное безумие, во многом тебе порукой и опорой. Тогда как правда, наигорчайшая из микстур, исходит из твоего живого нутра именно под воздействием растляющих сознание паров спирта. Тогда же, мы символично ночевали у моей бывшей жены, пребывающей где-то в счастливом заблуждении.

Тогда и ударила ты меня, моя хорошая, ниже пупка, оговорив мои мужские достоинства нелюбезно. К слову, одним взглядом я прочел в темноте твое лицо и твой странный далеко идущий замысел. Чрево импортного дивана проваливалось под моей спиной, словно на миг разверзли преисподнюю, но потом передумали. По каждому произнесенному тобой слову катилась оскорбительность, не имеющая аналогов в истории. Любой звук в адрес мужского достоинства устами женщины, вызов священным небесам. За чем следует наказание, за чем Иерарх, подражая безмолвию, гулко выражает сочувствие иными делами, прощая тебя, но лишая сана любимой женщины.

“Ты так себе в постели...” — этого следовало ожидать от пьющей женщины. От очень слабой женщины перед лицом спиртных напитков. Обычная бытовая история — связь с замужней женщиной. Обычно львы по гороскопу не прощают всякие вольности, оскорбляющие их достоинства. В таблице взаимного расположения планет и звезд на определенный момент времени мы оказались рядом. Набычась, ты светлела в полной темноте своим рыжим и противным телом, очерченная огнями фонарей. И отвлеченно вспоминала мои пьяные поцелуи с женой друга, кажется, захлебываясь, верно, еще раз, проживая свой ревнивый гнев,

пощечин мне, мое бегство из Ясной Поляны, преследование, пьяную бешеную близость.

Я еще нашел мужество войти в твою неопрятную спальню моим драгоценнейшим нефритовым стержнем (чего только не вытворяет водка). Не знаю, что общего у восточного названия члена с поделочным камнем нефритом, с минералом, сложным силикатом, напоминающим вязкие белые и зеленые полупрозрачные массы. Хотя лучшие образцы известны в Китае, а именно из Поднебесной впорхнуло в эротическую лексику диковинное словосочетание, кстати, более присущее языку Богов, чем наши доморощенные слепки шумных браней низшего общества. Некоторое время я притворялся спящим, однако, наблюдая за тобой. Пряча взгляд в сумеречность неплотно сжатых ресниц. Чувство несчастья, неуместность притворства и желание высказать все, о чем кричит душа, делали ситуацию невыносимо бесконечной. Сверху громыхал бегающий по облакам соседский мальчик. За стеной, в смежной комнате, глухие соседи на всю громкость включали магнитофонную ленту с песнями блистательной Аллы Пугачевой. Я тихо страдал от слабости духа, от зыбкости любви.

Множество организованных слов томило душу, бродило созревшей массой, играя винными играми. Твоя привычка курить в пожароопасных местах бесила мою детскую наивную терпимость. Я бы с удовольствием застрелил тебя сейчас, окажись у меня под подушкой огнестрельное оружие. Я, нечестный по природе, по натуре, оказался лицом к лицу с подобным существом иного происхождения. Сырая тьма, надзирающая за нами, казалась страшна. Тень бывшей жены носилась вокруг, мешаясь с редким уличным туманом, с бликами желтых унылых фонарей. Мстительная ревность твоего взволнованного мужа снилась мне даже в бессоннице. Разбросанность твоих интимных вещей напоминала хаос наших чувств и вообще отношений в целом. Сегодня ты ухудшила тонкую изоционность зыбких чувств, вторгаясь в их судьбу природной угловатостью, посрамив во мне самое святое — мужчину. Оставив наше глупое счастье, в долгом драматически напряженном томлении друг по другу...

Что это было

Грянул гром, блеснула молния, засеменял мелкий и противный дождик. Гром повторился, негодуя, вторя голосу предпоследней жены, рокочущему из телефонной трубки в мое правое ухо. В то самое пространство, некогда оглушенное первой женой, ее не ревнивыми упреками. Смирение вкупе с новой эмоциональной защитой с трудом сдерживали натиск всесильного гнева бушующей на том конце провода Елены. Буква справедливости вторгалась в судьбу неудачной шуткой, одной

из сильнейших причин, известной образованностью, обоснованностью и незыблемостью. Буквально и закономерно.

Гром гремел даже чересчур, как-то изошренно и тонко и, следовательно, скоро сорвался, вспыхнув раскатом небесного хохота, подтверждением высшей воли. Голос польхнул отрицательной энергией. Между облаками и землей вспыхивали электрические разряды, неистовый звук сопровождал их. Спаситься не было никакой возможности, разве что, криком, беспардонностью. Но разве о том мои духовные чаяния, разве не о глубоких внутренних изменениях толковал я битый час, встретив Елену недавно, шаловливо, производя впечатление. Не лукавый ли потащил за язык да как дернул, да как уколол болевым ощущением до основания, чтоб ему в Бога поверить!

За вечерними окнами кипела непогода, бушевал страшный ветер. Телефонная трубка обжигала речитативом без внутреннего такта. Скорбный лик Богоматери, плотно покрытый пылью, мерцал, глядя на меня из дальнего угла комнаты, напоминая о пропущенной молитве. Запредельные глаза Елены виделись страшным взором на Страшном суде сквозь ободок светящегося окна. Последним судилищем, которое должно определить судьбы грешников и праведников в монотеистических религиях и в наших отношениях.

Горькие исповеди мои в медленном и тихом исполнении звучали обманчивой танцевальной музыкой, но являли потустороннюю мелодию истинного бытия, обозначающего реальность в философских категориях, существующую объективно. Наши отповеди сводились к материальному миру на общественном уровне, перевоплощаясь в общезначимые принципы и рассыпаясь на поприще бытия личности. Мне не удалось объяснить предпоследней жене их ускользающую — для неподготовленного читателя — суть. Ибо в сравнительном отношении невинный читатель небесного текста казался не более образованным, нежели ученый властитель из похвального письма Оттона (X век): “Император был так учен, что сам был в состоянии читать и понимать всякие письма, какие ему присылались...”. Здесь я не имею в виду титул единоличных глав некоторых монархических государств, введенный в России Петром-1 в 1721 году в ознаменование Ништадского мира со Швецией. Что уж греха таить, несколько наивным сегодня представляется подобный пример даже рядовому восьмикласснику. Увы, вынужден огорчить Елену, исповеди неподготовленному слушателю приносят скорее вред, чем пользу. Исповеди производят кощунственный процесс в мышлении, вызывая потребность давать совет, осуждать, принимать участие, критиковать, но самое страшное, использовать наивность в качестве обличительного оружия.

Самое ужасное и случилось. Меня обличали, благо, по телефону, предвидя мое торопливое бегство, боясь моей эмоциональной нетерпе-

ливости. Кошмар заключался в непонимании субъектом — непроглядности дебрей честности. Гражданка с приятным именем, вы вошли не в грамматико-лингвистические пласты. Не нервничайте, хвала Господу, на том конце земли Господней. Я давно одолел грустные моменты понимания вашей личности. Я подавно отказался от службы у со-зависимости и не собираюсь становиться на вашу точку зрения, не думаю решать ваши вопросы.

Эхо стихающего грома едва доносилось к моей свободной ушной раковине. Второе ухо узурпировала ОНА, романтическая Муза сельхоз-поселка. Я слушал смысл ее обвинений как святой Бруно (X век) Вергилия, сопровождавшего грамматическое пособие Присциана — “Менее всего размышлял о предмете, но всего более о расположении слов”. Я, славянский мужик, наполненный генетическим непощением, христианским человеколюбием. С ухаба палил я словесами: “Тебе дали заглянуть в сотворение мира, радуйся и аплодируй за мужество автору...”. Я похамски бросил трубку, зная, ее романтическую обидчивость, обеспечивая, таким образом, семь-восемь лет тишины...

На выставке

В неподвижные вечера я бродил в лабиринтах Красного костела, заглядывая в разные — доступные уголки. Я подолгу задерживался у картин одного художника, выставленных в постоянно действующей экспозиции, ворочая в мозгах подобные термины из сонатной формы, из области физических величин и безбожно путая их. Произведения мало трогали душу, не манили в неизвестную даль, не привлекали миловидной луною над высокими лесами. Как творческий человек, как личность, причастная высшему образу мышления, я сопоставлял свои мыслительные способности и возможности, ужасаясь провидческому дару, перемешанному с чувством полета. Казалось, что скажется сам наиважнейший предмет, высветится где-нибудь над изваянием пресвятой Девы Марии чудом небесным.

В неподвижности я предавался эстетическому созерцанию не очень-то душевных для моей личности картин. Они звали к размышлению, изменяя мою позицию лишь внешне. Они делали свое дело неприметно, разрушая область чувственности, разочаровывая душу. Я тщетно ожидал, что сквозь замысловатость названия высветится уже не слово, еще не смысл, но чувство. Логика-смысловики торжествовали. Они ликовали обочь, любуясь темными садами за заборами, безродными бульварными тополями, вдыхая кладбищенский запах умело подобранных красок.

В неподвижности всплывало высказывание Абельера: “Преподносят только умение складывать краски без понимания...”. Слева, чисто постриженник, топтался знаменитый художник, заточенный в косноязычие

неточных метафор. Известность он получил под именем ритора и логика живописи. Как светящийся миг новейшей истории, я туманно и вслух порассуждал об отсутствии чувств в очах картин, о невозможности сопереживать, так как автор не дал мне ощутить нечто необъяснимое. Как только художник открыл рот, я понял, это не наш. До меня дошло, избразитель картавит на мертвой латыни. Как преподаватель арифметики в далеких — средних веках.

Тем не менее помещение, исполненное благодати, приятной прохладой успокаивало нервную систему, мягко отпуская колки натяжения нервных струн. Местная благодать располагала к размышлению, призывала к смирению, готовила к очередному отчету перед Господом. Прегрешения, искушения давным-давно покинули священные земли Красного костела. Под низким солнцем невысоких священных сводов, греющим мне душу и плоть.

Думалось о диалоге с мастером, авторе многих сборников стихов, переводчике, редакторе и критике. Я толковал ему как раскаленное солнце течению податливой и неодолимой воде. Я беспокойно ходил по комнате взад-вперед, от полноты чувств доказывал неверную позицию многих художников, намекая на его знакомство с мастерами кисти. Я увязал, словно в песчаной отмели, в нелогичной логике, продолжая его же, учителей мысли, впрочем, не исчерпываясь ими. Я топтал пол, словно под подошвами валялись неугодные душе рукописи, блистая ореховыми глазами, прикрываясь формальными предписаниями. Я требовал, чтобы художники показали мне мировую скорбь и печаль в глазах человека, выздоравливающего от смертельного недуга. Но как говорится, перевод есть истолкование истины.

Скорбно отмалчивался учитель в тени величия, израненный скошенной травой и бессонными бдениями на колючей стерне поэтического пути. И безмолвствовали многочисленные ученики его поэтической дружины. Немо рыдали живописные полотна. С непрязнью, стиснув зубы, оглядывал я важного художника, достигшего почтенной старости, верно, принявшего пострижение, знаменитого правильностью, содействием унылому искусству, усердным радением о благе земли белорусской. Его растрепанные седые волосы напоминали дерево в зимнем пейзаже. И пусть сказанное мной будет моим предположением...

Седина в голову, бес в ребро

Складывалось ощущение, окружают меня толпы высокогрудых и прочих Галин. Повизгивали скрипки, подтанцовывали ноги, белели блузки в сумерках, сновали женихи. Я стонал стоном тяжело раненного в забвенье. Я слушал протяжные песни, знаменитые своей протяжностью и протяженностью во времени. В напевности их разыгрывался фарс мое-

му смятению: “Ой, ты моя Галя...”, — звучало, только с малоросским акцентом. И в глаза мне смотрела Галина, и баяла, баяла, убаюкивала одними глазами, жену мою ревностью изводила, тянула к родным сексоголикам. Только мы с девой этой ими и являлись, а любимая женщина, возникнув, обрушила на нас, отсутствующих, гнев свой немилосердный, сверкнула глазами молниеносно и была такова.

Складировались эмоции штабелями, проговаривались чувства огульно, а романтический взор съедал мою плоть, теряясь в глубине моего безнадежно похотливого взгляда. Чувство вины перед супругой убиралось на второй план. Рождалось усердное радение во имя чего-то. Ни коим образом не думалось о благе взаимоотношений, ради какой-то похоти, только ради нее. Мирское имя Галя, вероятно, являлось синонимом похоти. Имя явно не приписывалось духовному званию. Литеры путались и мешались с тяжелым воздухом многолюдного форума. Буква нравственного закона о верности любви терзалась подошвами на паркете танцевального зала. Сквозь толпу я чуял обжигающий взгляд ревности моей прекрасной половинки.

Сквозняк перемен с трудом прорвался в мой мобильник, высветив в долине воспоминаний номер забытой Галины. Давно и периодически мы состязались с ней в супружеской неверности. Огарок свечи памяти оплывал, телефон задыхался, чувство металось загнанно и мятежно, уже обезглавленное. Жест канцелярии небесной я оценил по достоинству, почувствовав себя заложником средневековой инквизиции. Получив учительский регламент, вызванный из вечности любовью милой моей принцессы.

Последние чувства путались размышлениями, дабы знал и помнил я о них, дабы страдал хоть бы немного. Вихри танцующих пар создавали головокругительный эффект, приглашая к вальсу. Мы с Сашей переглянулись и, не стовариваясь, двинулись восвояси. Красное слепящее солнце моей любви напоследок окатило меня с ног до головы мстительностью и ревностью. Раскрытые полные губы Гали жаждали поцелуев, польхающие глаза ее светились удивлением, переходя все грани возмущения. Телефон зуммерил, надзор высших святителей имел место быть. Лжечувства обличались широко и общественно.

Мы лихо мчались на прекрасной машине Александра, следуя божественным контурам пути. На песчаной отмели заката, в тон Сашиному монологу о духовности, я усмотрел зазнобу, спешно нашел в телефонной книге заветные цифры, надавил на клавишу. Глупые решения поспешают за гласом приказующего. Глупейшие результаты исходят из своеволия. Эмоциональное буйство извергло в ответ нечто страстное и душевное, повинувшись явно вожделениям. Чувственное неистовство почувствовало подвох и подмену ценностей. Саша же продолжал рассуждать, живя в небесных общежитиях.

В моей душе творилась страшная сцена. На другом конце связи пылала другая Галка, из прошлой жизни, из иной страсти. Небесный обличитель своеволия и ревностный попечитель души моей, прислал ангела любви. И тот в угоду Господу посмеялся надо мной ради спасения главного — истинного чувства к женщине, имя которой, в общем, созвучно с утомившими меня именами — галлюцинациями...

Темнота

“Толя, опять ты ешь в темноте...”, — голос возник из света, слышался из фойе офиса, раздвигал комнату переговоров. Мои жевательные движения запинались, оптимистичные расчеты на комфортный прием пищи не оправдывались, но завершались моим разоблачением. Я старался не допустить обсуждения возможных вариантов, чувствуя себя скверно на общем обозрении. При молчаливом возмущении я неловко двигал стулом, уличенный в естественности.

Комната, приспособленная под кабинет Главного строителя, некогда полностью принадлежала мне и моим прихотям. Помещение больше пустовало, ожидая гостей, распространяя аромат густого дымящегося кофе, исторгнутого из импортной кофеварки с броской надписью “Кофе Грано”, естественно, на английском языке. Продукт, полученный обжариванием и измельчением семян кофейного дерева, источал причудливые кофейные видения из далекой экзотической Бразилии. Слово производное от арабского “кахва” тем не менее больше перекликалось с неповторимым бразильским футболом. Место приготовления бодрящего напитка считалось моей личной кельей. Здесь я и молился. Здесь находил убежище для духовных размышлений. Следуя преувеличенному представлению о своей значимости, я считал благодатное пространство личным кабинетом. Довод казался мне убедительным и неопровержимым.

Иногда ко мне захаживала в гости жена, и мы усаживались за громадным переговорным столом по разные стороны. Я располагался напротив двери, держа супругу в темноте, видя и слыша, одновременно, неся службу. В моменты перекура затемненная площадка служила местом для различных физических упражнений. Но главное, никто не усомнился в моем отсутствии во время приема пищи, не примечая механика-диспетчера сквозь затемненные стекла. Внешне я сохранял полную невозмутимость, внутренне, переживая дьявольскую тарбарщину бесконечных телефонных звонков, неожиданных посетителей, факсов, обращений руководства, общих вопросов и личных попользований.

С увеличением строительных мощностей мои площади занял Главный строитель, и я не мог отвлечь это препятствие. К подобному акту общественного вандализма я отнесся так, как если бы посягнули на частную собственность. Перебирая в бездне знаний германские племена

вандалов, уничтоживших культурные ценности Рима и другие памятники античной культуры в далеких 429 — 453 годах. Но всякий сын Отечества должен от своего достатка помогать нужде государственной. Я, конечно, принял вторжение как залог благоволения Божьего, но внутри источал себя до крайности высокими отрицательными реакциями, возрождая надежду на возвращение храма притязателю. К тому же завершилось доброе обеденное благоденствие, строитель являлся неожиданным, как Муза, и слышать ничего не хотел о моих проблемах.

Я же, как преобразователь духовности местной, страдался до гастрита, ссылаясь на нововведения, осуждая их безбожно. Но святая воля неба превыше всего. Ради славы жизни вечной смирился я с неожиданным соседом, приспособился к его непредсказуемому явлению. И тут эхо божьего слова устами коллеги из светлого фойе в мою темноту ворвалось, спасая душу мою христианскую, света боящуюся: “Толя, не ешь в темноте...”. Напоминая слова из сказки, про сестру Аленушку и братца Иванушку. Я упорно не желал слышать его риторические усилия, но со страхом ожидал укоризненные слова, не лишённые научной основы. К тому же я не собирался становиться козленочком и еще кем-нибудь из восьми видов горных козлов семейства полорогих. Или домашней парнокопытной и жвачной тварью с печальными человеческими глазами.

Я выказывал упрямство, а заместитель генерального директора вспыхивал блистательным укором, преодолевая великий путь от кабинета до аппарата с водой “Протера”. Я не испытывал человеколюбия от звука его шагов, предошущая угрозу, исходящую от его пронзительных рационалистических доводов. Не веря истинному христианскому пастырю, страдая внутренним напряжением, весьма вредным для пищеварения, боясь признать свою неправоту. Все же я великодушно согласился с его неопровержимыми доводами. Я отказался от собственной воли, начал кушать при свете, выходя из темноты к людям. Хотя исключительная закрытость чувств пыталась спрятаться от моего странного стремления к достижению вечной жизни...

Три галочки

Ни единым словом не обменялся я с учителем, разве что взор во взор спрашивал он притчевый вопрос: “Понял суть?” — одними глазами, подражая дзен-буддисту, пребывая в самопогружении, в созерцании одной из школ буддизма, возникших в Китае в далеких V—VI веках. Я ответил, подражая индийскому миссионеру Бодхидхарме “Да...”. Но безмолвно, демонстрируя веру в возможность обретения просветления, размышляя над бесконечным и бессмысленным с позиции логики диалогом или вопросом. Как представитель западной интеллигенции в каком-то смысле. Ибо не столь невинными казались наши дерзкие

восхождения к высотам мировой поэзии, лишенные ожесточенных споров, опасностей грозного царского гнева и противостояния. “Ну, вот и доползли мы до вершины...”, — вслух подумал мастер. Он не обладал порывистым характером и склонностью к авантюрам. Если уж назвал адрес местонахождения моего в иерархии высшего вида творчества, то так тому и быть. Если уж произнес слово попечитель особо одаренных пиитов, считай, небеса загрохотали. Ибо не расточал творец словесный капитал попусту налево и направо. Но выси запредельные, точно взорвались, может, случайно, а может быть, сопереживая.

Мой поэтический гуру ничего не растолковывал, точно знал, я откажусь принимать какие-либо объяснения моих сочинительных противоречий. Толкователь молчания обращал чело в сторону уличной — надежной системы освещения, вдумываясь в мои поверхностные строки. Веление наставника как обычно было безмолвным, а мое исполнение не отличалось яростным противодействием. С пианино обрушивались водопады собственных и чужих рукописей, шкафы, перегруженные книгами, исторгали диковинные буклеты на пол. Послушание как норма ученичества только и годилось для осмысливания. Он отмечал мое творение тремя галочками — наша внутренняя оценка качества моего сочинения, своеобразная шкала ценностей, — и немота воцарялась между нами, но немота понимания и бессловия.

Я реагировал безотлагательно, сетуя на нещедрость “галочью”. Я роптал: “Неправильно!”, намекая на низкую оценку, выпрашивая большее количество отметин. Он же пришел творить не свою волю, но того, кто заправляет поэтическим Парнасом. С высоты греческого горного массива, с высоты в два с половиной километра над уровнем моря, к северу от Коринфского залива, глядя в сторону города Дельфы. Видя местопребывание самого Аполлона. И дальше, оглядывая французскую поэтическую группу “Парнас” середины XIX века, с их декларированием “искусства для искусства”, их сочинения бесстрастных и прекрасных форм, с их блистательным, изысканным поэтическим языком Ж.М. Эредиа, Ш. Леконта де Лиля и других. И он как действительный сил небесных служил своему делу безответно. А я повиновался не с ясным духом, но с открытым сердцем, но тайно робца, пытаюсь одурачить его рифмованными хитростями. Скажу честно, ни разу не получилось. Он что-то отвечал активной жене, кому-то толковал по телефону, ненадолго приземляясь, давая отдыхать уставшим крыльям.

Конечно, он видел бунт сердца моего и не карал за ропот. Да, он слышал мои языческие притязания и не отвергал их, блистая пушистыми бакенбардами, напоминая, мне издали великого Пушкина. Пастырь поэзии не оскорбился моими досужими размышлениями, огорошив: “Анатолий, ты не заболел? Три галочки за стих — это где-то между Пастернаком и Мандельштамом! Тебе этого мало?”. Я, измученный мед-

лительностью Музы моей, принял состояние работ удовлетворительным. И все мне не хватало, и все не насыщалось мое тщеславие хвалебницами. И все же я ворочал в голове многосложные — неожиданные ассоциации Бориса Леонидовича, повторяя его экспрессию и напряжение лирики с ярко выраженными элементами классической поэтики. Параллельно я перебирал культурно-исторические образы и мотивы Осипа Эмильевича. Его конкретное восприятие мира, с трагическим переживанием гибели культуры.

Ни одно движение не смущало молчание его поэтического сана, нарушаемое лишь зуммером телефона. Неспешным монологом жены, боязливым язычеством моей полнейшей свободы от какой бы то ни было ответственности. Я подозревал, он намеренно ставит препятствия на пути моего развития. Я боялся, в последнюю минуту иссякнут все силы, все запасы фантазии как недостающие деньги для спасения души человеческой. И с поправкой на все прошедшие века клянчил и клянчил у него вожделенные галочки...

Свинарка и пастух

Такой шутовской финал оказался не столько смешным, сколько неожиданно грустным. Доярка внезапно выскочила из-за навозной кучи, запыхавшись полевой дорогой, во всю прыть бросилась убежать большаком в город. Она примкнула к нам, прежде, пройдя огонь и воду древнейшего женского ремесла. Блатхаты, воровские малины, пьянь подзаборная числились ее приятелями. “Нулевая”, “плечевая” были ее прозвища. “Субботники” с милиционерами, дно проституции, унижения и оскорбления, короче говоря, вся изнанка жизни, благополучно завершились чудовищным алкоголизмом.

Она мчалась вперегонки с судьбой, бросая вызов смерти, позволяя старухе с косою брать себя за холку. Ветер перемен парусом раздувал родильную рубашку, видно в ней дева и родилась. Языческие боги оставили ее в покое, снабдив яростной мстительностью, нетерпимостью, неспособностью сотрудничать на равных. Люди шарахались от нелепой взрослой детскости, охотники до сексуальной добычи без промаха стреляли в нее похотью, иногда, балуя венерическими приключениями.

Простые народные сердца, какими считались мы, дети огненной воды, терпеливо выслушивали не самый честный монолог. Помня слова святителя: должно помогать каждому человеку для собственного спасения, мы не противоречили категорическому императиву духовного развития, хорошо зная строгость высших инстанций. Таким чином, собираясь жить дважды на земле, мы готовили себя к вечности.

Иерарх распорядился, чтобы благовестили живой и драматически напряженной исповедью к великому бдению ее сердца, к большому

исцелению. Время буквально свистело у нас в ушах. Первая красавица трезвого королевства протянула свинарке руку помощи. Я стучал в большой колокол ангельства, многие вторили, и падшая душа пробуждалась, держась в нашей противоречивой цельности и полноте. Спящая душа просыпалась, вырываясь пародийной тенью, гротескной плотью театра теней мертвых.

Нескончаемые будни прижимали нас к земле, овевая, опутывая сообщество трезвости гордиевым узлом эмоциональных связей и обязательств, взаимных соперничеств и ответственностей. Все заметили, она убегала от содружества по неприметной крапивной улице предательства к ожидающему ее преувеличенно жениховатому пастуху. Первая леди трезвости плакала, учитель рыдал кроваво и безмолвно, остальные укоризненно глядели вслед пьяной и одновременно трезвой девочке, предпочитающей тьму вредных привычек, рутину прошлого мышления, безответственность былого поведения.

Обезумев от страха, она топтала грядки здравомыслия, падая в грязь, возвращаясь к нашей прозрачности и доверительности со смешным пугалом. Одобрением встретили ее братья, собираясь к соборному молению. Пастух совершил пожертвование, а затем отказался от благоворенности, потребовав деньги обратно.

Дальше двигаться было невозможно. Он обвинил меня в предвзятости и в манипуляции, накричал на моего внутреннего маленького ребенка, втоптал на некоторое время в грязь.

Внешне я напоминал потерянного провинциала в столице, у которого украли кошелек с деньгами и документами. Изредка всхлипывая, я делился сутью того, что произошло со мной, ища защиту. В душе поселилась неуютная прохлада. Досада усугублялась тихим предательством симпатичной соратницы по духовной борьбе, мирно беседующей на собраниях с пастухом. В зыбкой темноте тревожных переживаний бил источник нескончаемого беспокойства. И тайное желание отомстить, всегда присутствующее, часто преобладающее в настроении. Я даже хотел его застрелить. И к тому разработал определенный план, предав духовному забвению свинарку, иногда прощая ее, как и обаятельную даму трезвости. Впрочем, не забывая об их склонности к предательству, проклиная перипетии духовного роста...

Страшная женщина

Поглаживая по вихрам своего внутреннего ребенка, я сегодня снисходительно ухмыляюсь, нашептывая в его немые ушные углубления: “Ничего страшного не произошло, ты не совершил ни одной оплошности, все это алкоголизм...”. Белая голубизна светлого небосвода ослепляет мои очи. Мне стыдно за неразборчивость, за легкомыслие

в выборе сексуальной партнерши. Из глубины небесной вспыхивают ласточки. Зеленеющая зыбкая дорога речной глади Днепра хорошо просматривается с высокого этажа пятиэтажного дома, стоящего на самой высокой точке города. Колеблющееся водное пространство теряется вдали, блестя и заывая.

Пять секунд быстрой ходьбы под гору для тренированного человека плевое дело. Господь являет высокую милость, спуск стелется скатертью. В солнечном мареве лукавый создает лживый женский образ. Суетливое неприглядное существо противоположного пола преграждает мне путь к любимой Тамаре. Решимость святителя на мгновение ослабляется делами важными, колебля мою внутреннюю готовность умереть по ревности к делу Божию. Милостивым словом своим он не достигает слуха ушей моих. Благовест, совершаемый одним колоколом, призывает верующих к началу богослужения, заглушает слух народный звоном, суля хорошее начало христианской любви Божьей к человеку, предполагая действие Бога, спасая душу мою грешную. Но “харизма”, как перевод употребляемого в Новом завете греческого слова, несет благо лишь тому, кто ищет, кто хочет, кто по собственной воле движется к свету.

В самом деле, я прямо падаю в лапы похоти. С высоты птичьего полета я валюсь в объятия чудовища с женским обличьем. Ангелы верности напевают укоризненные песни. Радость встречи с любимой девушкой, меняется на пошлое удовольствие, на одноразовую усладу на первой минуте случайного диалога. Все, имеющее хоть какое-то отношение к порядочности, покрывается беспросветной мглой, оскорбляя пастыря небесного, так много отдавшего сил на создание меня. Впереди меня еще ожидает исповеднический подвиг, муки стыда, предчувствие венерических шевелений, обманные речи семейного содержания.

Как глупо и вздорно толковать свое поведение задним числом. Как должно, вы посмеетесь надо мной и над теми, кто внушил мне с детства подобное поведение. Как на стену лезу я в логово безнравственности, теряя истинное лицо, забывая о высшем предназначении, терзая величие духа неосознанным поведением. Великая стыдоба, книга, почитаемая безнравственными лицами, шелестит страницами. Ласточки покидают горизонт, река выходит из берегов, заочно омывая мой грех.

Что владеет мной в эту минуту, я не берусь объяснить. Женщина, в самом деле, страшная, пожилая, почти старуха, если посмотреть на нее трезвыми глазами, полулежит сбоку на грязной простыне. Она усталая и счастливая, неприглядная и затасканная мужиками, вином, одиночеством, беспорядочными связями. Где-то далеко Тамара ждет меня, хотя бы моего оправдательного звонка, хотя бы весточки с голубями.

В теплом дне все смешивается, путается и переиначивается. Во мне вдруг просыпается гадкая брезгливость к тому, что не так давно произошло. Глаза мои листают подорожник. Один из 250 видов. Глаза

гипотетически пьют настой и сок из листьев, как отхаркивающее, так и заживляющее раны душевные. Мой взгляд не отрывается от гудрона, холостое приволье тягостью необъяснимой давит на темечко. Я медленно преодолеваю пролеты этажей, отдаляя момент встречи с милой девушкой. Дверь ее квартиры спускается на три этажа ниже, звонок разражается громом. Любящий взор моего счастья выражает смятение и немую просительность. Но вопросы не звучат, уста не приводят никаких оснований, никаких доводов. Ничего, кроме молчания. И последующие муки совести и страх вновь встретиться с той страшной женщиной преследуют мое воображение еще долгих тридцать лет. Я приезжаю на то же место спустя десятилетия. Те же ласточки приветствуют мое пришествие. Также широко и волнительно, огибая утес, уносит воды свои Днепр, отражая все ту же белую голубизну прозрачного неба. Легкая дымка летней жары нависает над пятиэтажным зданием, чуть затуманивая те страшные окна на первом этаже, за которыми свершился гадкий грех...

Божье наказание

Согласно некоторым перспективным теологическим толкованиям, Бог не наказывает человеческое своеволие, но лишь скорбит, обозревая слепые действия заблудшей паствы. Живя в согласии с небесами несколько минут в день, я все остальное время прозябаю в неустанной и бессмысленной борьбе с божьими промыслами, делами и чудесами. На улице стоит невыносимая жара. Затемненные стекла задерживают течение воздушных потоков. Бессмысленный спор с реальностью в воображении обнажает мою греховность, выявляя через чур уязвимые места моей души, колебля мое существование на грани святости и безумия.

Ничего, кроме правильного движения жизненного пространства, по существу и не происходит. Палящие лучи заоконного солнца гасятся суровой прохладой офисного бесстрастия. Крошки хлеба, неопытно просыпанные под моим столом в минуты скорого перекусывания, нервными движениями ног заталкиваются под тумбочку. Я вынашиваю планы мести начальнику охраны за неверно поставленный в графике отпуск, мечтая его застрелить. Доказательство тому — серый оттенок ненависти, мстительности и обидчивости на моем плутоватом личике.

Если бы у меня появилась возможность заглянуть в конец жизненного пути, я бы туда не посмотрел, зная некоторое лукавство психосоматики. Уважая законы всемогущей смерти, ее особые мифы, наиболее близкие к реальности, смиренно промолчу, дай бог благополучно прожить в любви и вовремя преставиться. Но уж и застыт очи поволокой ярости безобидные с виду желанья узреть праведное наказание, кровное отмщение. Но уж и помнят тех, кто вынашивает сильные отрицательные реакции как основополагающие принципы жизни. Ждут, не дождутся

в подземном царстве после раздела власти с братьями Зевсом и Посейдоном — Аид, сын Кроноса, где царствует с Персефоной в обиталище мертвых.

Преисподняя, она же пекло в христианском представлении еще и внутреннее состояние души. От мысли кружится голова, ноет в спине, стреляет в пояснице, слегка и властно перекосив и стать, и плоть, и дух. Слава небесам, она озадачена финансовыми ребусами, снуя легко, как вдохновение, но властным державным шагом. Благодарение богу, он не торопит справедливое время вербальных будущих событий, позволяя словесное развенчание, звонкий раблезианский смех и всеевропейские мудрые решения. Тем самым разрешая мне собраться с силами на священную борьбу с самим собой.

Однако, проклятия и несогласие с волей неба сыплются из меня внутрь самое же меня, подталкивая мой образ в места наказания отверженных ангелов и душ умерших грешников. Низвергая порой в бездну — в недра земли, в Тартар, намного ниже Аида, куда в свое житие низринуты титаны, Сизиф, Тантал, по соседству с буддистским Нарака, который напоминает мусульманский Джаханнам. Надо же, на последнем духовном издыхании, вторым планом блестяще выполняя рабочие обязанности, метя в добрые архипастыри, желать кончины своему брату земному. “Чтоб тебе глаза сегодня закрыли, чтоб тебе свечку в руки дали, чтоб тебе деньги собирали для погребения...”. Глотая и давясь злобной слюной мести в очень жаркую погоду, на очень хорошей работе. В тихой гавани, посланной мне для спасения души и плоти, но не для мести...

Слыша голос, напоминающий хриплые слуховые галлюцинации. “Стыдно тебе будет не засвидетельствовать признательность сыну благодетельному, верно, тебя спасшему от верной гибели...”. Колеблются жалюзи, рокочет таинственный монолог, длится жара, двигаются руководители трудового процесса, изредка волнуя медленную дрему короткого душевного покоя накануне новой борьбы...

Сны вещие

Сюжет выходил не по-гаданному. Буквально предметы поменяли свое назначение. Способ развертывания фабулы в потустороннем сценарии странно опредмечивался, но перемешивая последовательность и мотивировку подачи изображаемых событий. Пирог ситные валились со смеху. Пруды прятали воды свои. Жалобно звучал теленок с выгона. Петух хлопотливо защищал кур от соперника. В небе перекликались жаворонки. В полях зеленели поросли, свежие всходы на колхозных полях щипали хозяйские козы, горизонт оплавлялся раскаленным солнцем. Но я изображал веселость, растекаясь широко и открыто, улыбка сейчас мне

нужна. Тут пригодилась бы веселая байка, но затевалась другая история в моей печальной душе.

Сюжет считался духовно непросвещенным, неспособным, стало быть, к смиренным реформам. Сюжет суживался и терялся в очертании наступающей ночи, сливаясь с фабулой и наоборот, навсегда расходясь в разные стороны света. Но традиционно в словоопределении — ход событий производился произвольно. Стараясь заснуть на далеком хуторе, я гнал мух, комаров и мысли. Я отталкивал от сердца недоверие к Православию. Я слушал суетливых мышей спящих за потолком. Темное небо крохотным лоскутом проплывало между белой занавеской и падоконником. Иногда во чреве форточки из тьмы возникали коты и привиденчески исчезали в гулком пространстве комнаты.

Сюжеты нависающих декоративных холстов все же навевали мысли о счастливом окончании тяжелых раздумий. Пространственно-временная динамика сонных вещей и вещей событий изображалась хаотически для глупых реалистов. Звонко гудел ночной лес. Утомительно и протяжно спорилось в воображении, коему и было вверено управление моей личностью. Вполне серьезно, рассуждая, я рисовал в сутемени долгие и знойные отповеди мне от первого лица в литературном мире. Я намеревался бросить ему в лицо саможалобное сообщение — мое решение покинуть литературную родину. Принадлежа к писательскому дворянству, к сословию, уничтоженному после октябрьского путча, я собрался развенчать всю литературную камарилью, с их лживыми словесами о высоком предназначении слова. Я ощущал на геномном уровне связь с одним из высших сословий феодального общества. Но я не обладал закрепленными в законе и передаваемыми по наследству привилегиями — собственностью на литературное первенство. Я принялся смотреть в его лживые глаза, скользя по хитрой физиономии.

В сюжете ночной гурьбой прошелестели страхи от слуховых галлюцинаций. На удивление трезвые мысли колесили мое мыслительное пространство. Книжные тома неказистой библиотеки высились массивом, выглядели дружным семейством смиренных представителей разных религий. От избытка ума и разума ворошил я издательские покои, отрезая, главному редактору путь к отступлению. Он, скотина бездарная, установил широкий круг личных привилегий, как бы введя дворянское самоуправление, как бы возникнув из пепла большевистских чудовищных костров. Пусть процитировал бы, неуч криминальный, “Табель о рангах” от царя Петра I. Пусть показал бы жалованную грамоту от матушки Екатерины II на права вольности и преимущества литературного дворянства, владетель тюремной лексики. Я старался поддеть его как можно больнее, уже не топчась, не приплясывая перед этим сморчком на высоком литературном этаже. Пусть же мелькнет моя легкая рукопись, пусть же мне вновь откажут, сволочи!

Ох, как трудно указывать на свои необыкновенные способности, на склонность к гениальности. Ох, как не дорожите вы счастливым случаем иметь дело со мной, не цените мою поэзию, риторику, может быть, последнего представителя языка богов. Сидящий в кресле главный хранитель болота, великий бумагомаратель, автор мертвых романов, терпеливо слушал, и что-то лаял грешный без стыда и совести, изолгавшись.

Независимо от сюжета я треснул его глаголом по маразму и проснулся от грохота чего-то падающего на пол с печи, сброшенного котами. Продолжая радоваться их непонятливости, я, мастер словесных наук сулил им громы небесные, грозя уйти в пустынный монастырь, оставить литературное сиротство в печальном одиночестве. Знаю, кричал мой несформировавшийся голос, для чего вы создавали новый союз меча и орала. Чтобы благополучно издавать за счет государства книги, книги, книги, сволочи.

Сюжет осыпался бранью. Схема событий искажалась в их логической причинно-временной последовательности. Экспозиция в целом вводила в заблуждение революционностью, но всего лишь захлебывалась завистью. Завязка, нарушая все литературные безобразия, напоминала гордиев узел. Развитие действия навевало мысли о связи говорящего с психическими отклонениями. Кульминация призывала к смятению и только. А развязка заставляла разводить руками от недоумения, от необъяснимой позиции бывшего соратника. Мотивировка повествования о событиях казалась по-детски легкомысленной. Билет Союза писателей летел в лицо главному литератору вместе с рукописью, опускаясь в урну. Подавитесь вы своими изданиями, своим высоким положением, мракобесы притворства, болтуны без совести, проповедники без морали, признающие только магическую силу сто долларовых купюр и жаждущие власти...

Тревожные дымы

Баня дымила белым цветом среди черно-зеленых дымов окрестных шахт, косохимзавода, печей частного сектора. Баня стояла крепкая, добротная, построенная на долгие социалистические века на радость народную, на счастье наше чистое-пречистое. Банная аккуратность выдерживалась в духе того времени, без изысков, но и без тараканов. Донбасс — это вам не какая-нибудь провинция. Донбасс — это цивилизация, обилие алых роз, прилавки продовольственных магазинов, заваленные любой колбасой, добрейшие — отзывчивые люди, играющие со смертью в рулетку.

Эта невысокая худая банщица с густыми веснушками на лице, с дымчатыми волосами и задымленными глазами по тем далеким понятиям даже вызывала смутные — сексуальные переживания. Она указала на

один из ящиков для одежды, продолжая о чем-то спорить со скандальным мужиком, представляющим бледное лицо с красными веками, руки, в безнадежно неизлечимом треморе, возможно, алкоголизма.

С утра в казенном заведении банились человек пять-шесть пенсионеров, старик, сильно пахнувший клоакой да мы с Саньком Лелеко. Прибавьте директора банного престола, блюстителей и администратора, и перед вами вырисовуется незабываемая патриархальная советская тишина шахтных окраин, малоэтажные серого колера дома вперемешку с частными строениями, стадион, баня и дом культуры. Одним из главных дел тех событий можно считать опохмеление, лузганье семечек в свободное от работы время, ожидание производственной смены и серые и невыразительные гуляния молодежи.

Слуги антихристовы из-под полы торговали курительными наркотиками. Сыны погибели темной пробавлялись самогоном самого разного качества. Серьезным поводом для рассмотрения местных слухов, перемешанных с неистребимой пылью разгоряченных переулков, называлось однообразное бытие шахтерских нравов. К ним обязательные и бесконечные перекуры и разговоры с папиросами.

Дымы, а были здесь и те, кто внимал времени существу, не всем доставляли удовольствие. К сожалению, мы с Сашей употребляли вещества дымного характера. Мы не верили в пришествие антихриста, не рыли себе могилы, не закутывались в саваны добровольного уничтожения. Дымы в шахтерском краю и без того достигали заоблачных высот, подземных глубин и пронизывали душу до основания. Всякий, кто родился в наших местах, привык созерцать гряды терриконов, жару, забивающую дыхание, обманчивую синеву раннего или позднего прохладного воздуха.

Великой загадкой сфинкса я считаю выживание в таких условиях. Окутанные искушениями, окропив ладони водой из колодца, вдохнув свежесть акации, растущей под открытым банным окном, мы отдыхали после парилки. Думаю, у Саши складывалось впечатление, что я выпарил ум и разум одновременно. Он сидел, развалившись, прислонясь спиной к двери ящика для одежды, скреб разгоряченную спину и с удивлением, скорее недоумением наблюдал, как я после каждого парения тайно от дежурной банщицы выкуривал сигарету, выдыхая сигаретный дух в сторону.

Хозяйка банного заведения с ног сбилась, пытаясь доискаться до причины непонятного задымления вверенных ей площадей. Вздволенная женщина не разгадала акт волевого школярства, проверяя пустые урны, подозревая внешне менее интеллигентных мужей в поджоге. Моя внутренняя неуравновешенность в те дни достигла известных пределов начальной тяги к веществам наркотического свойства. Ситуация предполагала, в конечном счете, действенный безмолвный поступок, готовый

превратиться и очень скоро в заболевание. Каждая выкуренная сигарета свидетельствовала о нравственной немощи. Мужик с испитой физиономией, обвиненный в моем грехе, вконец разругался с дежурной по бане. Саша беззвучно хохотал. Я проявлял неутомимое усердие, умножая смертоносные дымы, не задумываясь о том, что мне еще предстоит выкурить горьких и гадких сто сорок тысяч сигарет. Если “кушать” зелье по одной пачке в день. Истину говорю во Христе, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Сейчас, сегодня, сию минуту вдруг всплыла из неизведанных глубин подсознания гнетущая, неистребимая стыдоба перед той измученной работницей банно-прачечного комплекса. Издергала мою совесть в ранние полусны, в возрастное бдение вновь появившаяся ответственность перед тем, что свершил не по чести, что содеял легкомысленно или осознанно и зло. И ходил Иисус по всей Галилее, исцеляя всякую болезнь в людях. И приводили к нему всех немощных, одержимых разными недугами и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных. Среди всех прочих нездоровых находился и я. И Он исцелил меня...

Трезвление

Почтив свою прошлую пьяную жизнь надгробным словом, я ускакал на мерине времени к месту своих банных побывок, душных воспоминаний, необъяснимых выходов.

Почти тысячу лет легкой пылью легло на дороге, почтительно убеясь серебристым ковьялем, блестящей польнью и забытjem. Почив на лаврах трезвости несколько месяцев, я почувствовал растущий страх, преобладающий над ростками здравомыслия. Бог нового образа жизни принял меня весьма милостиво, позволил оглядеться, благодетельствовал в прогулке по местам пьяной и безумной славы. Предлагая мне путь миротворца души заблудшей. Но прежде, очищая сердце исповедаями, уподобляясь детям, отвергая страсти, желания и размышления на второй план. И прежде не плакал я открытым ликом, но сейчас зарыдал принородно, не стыдясь стыда своего. И кротость рождалась внутри, и правды алкала душа. И милость легла в десницу мою, и стал свет.

Последний оплот моего банно-прачечного прозябания по причине строительства метро, снесли бульдозером, место сравняли с землей. Здесь, за версту от родных пенатов, нервно предаваясь воспоминаниям на середине нового жития, я представлял себе события давно минувших дней. Я не желал употреблять в свою пользу расположение сил небесных и на всякий случай еще раз помолился. Я еще раз прислушался к таинственному звучанию пророков-подвижников трезвости — высшего блага человеческой жизни. Голоса рокотали о простых людях, живущих индивидуально-мученическим, волевым опытом, не

пытаясь стать вселенско-значимыми. Голоса нашептывали о логически-здоровомыслящих личностях, усугубляя во мне идею подвижничества. Тени напоминали, не труби перед собой, как делают лицемеры, ища прославления. Ты уже получил награду свою земную от Отца Небесного. Не парься суетными мыслями, не болтай лишнего, ибо многословие утомительно.

Как раз на этом самом месте и располагалась парилка мечты моей. Я глупо огляделся кругом, неосмысленно посвистел, побрел по гулкому помещению к заветной двери. Сопровождавшая меня сторожиха, держа в руках дарственную шоколадку, ворчала вслед о тяжелой жизни, о нехватке денег, о хронических заболеваниях. Я барствовал в счастливой мысли о правильности утреннего выпаривания вчерашних винных паров, о своевременном разглаживании смятой физиономии. Строительный участок, ожидая людей, рано утром выглядел менее привлекательно, чем после обеденных выпивок в отсутствие начальства. Еще был жив сосед Коля, еще смешно шутил неподражаемый Васильевич, еще не дали горячую воду. В открытую форточку птицы небесные роняли мелодии, заглушаемые шумной автострадой.

Я парился, сидя на досках, брошенных поверх слабо нагретых камней. Я обильно и бессовестно плескал из ушата ледяную влагу на слабо шипящее основание, предвкушая удивленные лица моих утренних приятелей и собутыльников. Я улыбнулся сам себе, обращаясь к силам безумия и алкоголизма, поблагодарив их клан за сохранение жизни. Я, уже умеющий критически считать, пришел в восторг от возможности угодить в книгу рекордов. Триста шестьдесят пятая баня подряд приютила мое тело. Я медленно и осторожно слез с досок, взвизгнул плотно прикрытой дверью, перебираясь к бассейну. Не ища себе сокровищ земных, отбиваясь от моли и ржи тленной. Очи мои начали светиться, очищаясь от алкогольной скверны. Тело светлело, предвкушая омовение.

На зыбкой поверхности холодного водоема плавали радужные пятна и нечистоты. Я, живущий по вере святых, с трудом представлял нечеловеческие нагрузки в разгар пьянства. Полминуты в парилке, бегом трусцой к ледяной воде и вновь и вновь, повторяя экзекуцию самое себя, теряя понятие о времени, лишаясь чувств, эмоций, каких бы то ни было ощущений. И выходя в мир обманчиво трезвым человеком, с горьким привкусом хмельного дурмана. Но вскоре явились два старца с предупредительным письмом оттуда. Так, мол и так, ежели не сменишь убеждения на более разумные, то вскоре отправишься в далекий небесный уединенный монастырь, в необратимое местоположение, непросыпное смирение и благодать. И свет в тебе не свет, а тьма.

Месту тому соответствовал отшельнический образ уединенного бытия, строгая келейная судьбина с верховным настоятельством, с подготовкой к будущим духовным подвигам служения. Запредельная

вечность глядела на меня из пыльной дороги оком блестящей подковы. Весть о предстоящем счастье выглядела настоящим фокусом трезвости. Выучиться — умению жить трезво — это и предусматривалось лично, собственными деяниями, следуя верхней правде божественности, не переча очень коварной кривде. Но можно ли прибавить себе росту хотя бы на один локоть, пройдя муки преисподней?

Дитя мое предерзкое

Шепча пятидесятый псалом: “Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои”, вперемешку с молитвой о душевном покое: “Господи, даруй мне ясность и умиротворение, чтобы принять то, что я не в силах изменить, мужество, чтобы изменить то, что в моих силах и мудрость, чтобы уметь отличить одно от другого”, я не успел произнести главные слова, венчающие обращение к небу с просьбой: “Да исполнится не моя воля, а Твоя”. Я внутренне ухмыльнулся, не смея поднять глаза, исполненные недовольства, агрессии и гнева с первыми признаками ярости. Тут я вспомнил, я хотел подумать другое, теребя залистанный псалтирь памяти, чувствуя себя скверно от — присутствия дочери. Я ощущал крайнее раздражение, переходящее все границы терпимости от — ее личностного существования в моем жизненном пространстве. Еще и еще раз по глубокому смирению — я убеждался в истинности выражения: “Ученый человек и умный человек — лишь на первый взгляд почти синонимы”.

Вороша канву псалома одними губами: “Окропи меня иссопом, и буду я чист, омой меня, и буду белее снега”, не вникая в божественный смысл молитвы, я стоял на коленях перед резвящимся на кресле внуком. Я призывал всю благодать небесную к солнечному Богдану и одновременно страдал от всемогущей и нависшей надо мной тени любимой и дерзкой дочери. Вчера моя Светлана разбила мое воспитательское искусство (я весьма не музыкально и фальшиво распевал малышу песни собственного сочинения), унижая мое блестящее для любителя исполнение этюдных импровизаций. Третьего дня во время музицирования, в час эксклюзивного личного концерта в честь наследника престола, Светлана Анатольевна унизила меня мстительным шипением о моей бездарности. О том, что ребенку не следует слышать плохие образцы гитарной техники и голоса.

“Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною” накатывались на ум детища Давида. В ту минуту голубоглазый сын моей любимой дочери неистово рвал струны популярного щипкового инструмента. В неполных одиннадцать месяцев мое чудесное повторение не реагировало на тщетные предостережения: “Остороженько, порвешь струны”. Зато доченька с чувством мщенья вышептывала сквозь губы

всю свою явную и тайную мстительность типа: “Давно пора эту расстроенную гитару выбросить”.

Как и полагается, укрепляясь в жизни духовной, я стерпел двадцать четыре замечания и критику выпускницы соборно-школьной программы о семи свободных искусствах, изобретенной на исходе “темных веков” — к X столетию. К юбилейному — двадцать пятому случаю, неожиданно наигрывая отрывок из рондолетто великого Джулиани, я с любовью поставил любимой дочери психологическое зеркало, отразив нападение интеллигентным глухим выдохом: “Пошла вон отсюда”. Она схватила ребенка, подарив ему еще один психоз, взвизгнула по-базарному, воскликнула площадно: “Внука больше не получишь”.

“Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня”, — рокотал голос царя иудейского. Плачущего ребенка в соседней комнате прервали, заняли игрой, успокоили. Душа моя исполнила марш презрения, несмотря на предупредительные правила внутреннего устава, невзирая на устные наставления небесные. Мне бы обратиться к чаду с величайшей заботливостью и любовью, как бы умоляя ее. Но я подвергся искушению от злых духов и на мгновение расслабился в борьбе. Возможно, я помнил язвительное замечание, насыщенное насмешкой, издевательством и глумлением.

“Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня”, — больно благовестил высокочтимый текст. В тот вечер я по обыкновению высиживал с внуком вечернее развитие и беспокойное бдение. Накануне сна недюжинная энергия подвижнической жизни руководила моим изменяющимся образом. Слезы умиления тихо и не больно текли внутрь души. Как и полагается любящему деду, я обильно сыпал на пути младенца солому, подкладывая подушки. С опущенными глазами, я наблюдал за дочерью. Она контролировала перебирание сборников стихов деда. “А эту книжку можешь порвать”, — пошутила учительница, унижая мое раннее издание в стиле модерн.

Все стало с ног на голову. Исходные предметы основ этики сдвинулись и лишь намекали на свое присутствие в мире. Вечерами я тревожно спешил к ожидающему меня внуку, но слышал наставление: “Сначала дедушка помоем руки”. Я напоминал нечаянное обозначение в просветах придуманных фигур. Дочь настойчиво твердила мне о моем несовершенстве. И сегодня пригвоздила меня обидным выражением, разумеется, в присутствии Богдана. “Дедушка своей помощью тормозит развитие ребенка”.

Апеллировать к рассудку, взыскивавшему правила, дело не благодарное. Станным образом воспитанная душа не может жить по иному, нужны чудеса и знамения, необходим новый опыт духовной жизни. И вспомнились замечания мамы и отца, воротились из памяти бессмыс-

ленные сравнения меня с “хорошими” детьми поселка. Все это умаляло неразвитое чувство собственного достоинства. А тут еще и дочь навалилась тяжким бременем педагогики, запечатлев в подсознании мои придирки, замечания и наставления во время юности. Поневоле думалось о славе небесной, о награде за земное унижение. “Ибо жертвы ты не желаешь...”, — вещало эхо псалтири.

А тем часом возвращался с работы зять. Бедный ребенок, занятый возней с забавным дедом, глазом не вел в сторону папы, невзирая на угодливые потуги мамы. Он ревел, выкручивался из рук Светланы, а та в свою очередь с нелюбовью опустила, почти бросила сына на пол: “Иди к своему деду”. А мне после сна, контролируя вползающего в мою комнату мальчика, заявила: “Сам-то еще больше Богдана рад, что дед, что внук”. Промолчав на реплику мужа: “Почему ты мне не делаешь замечание?”. Расставаясь с тлением осени, двигаясь в сторону грядущей зимней торжественности и чистоты...

Правило

Компьютерный гений набрал красивым текстом и прикрепил клеящейся лентой на кухонный ящик над мойкой. “Уважаемые посетители пищеблока! Пожалуйста, вытряхивайте остатки пищи, кофе и чая из ситечка в раковине в мусорное ведро”. Читаю нехитрое выражение в форме просьбы в тысячный раз (десять лет работаю на фирме). И снова поддаюсь игривому расположению неприязнательного местного шутника, остроумно переправившего букву “я” на букву “а” во втором слоге слова “вытряхивайте”. Некий доморощенный, истинно фирменный юморист простым карандашом, не мудрствуя лукаво, жирной чертой наискось перечеркнул последнюю букву алфавита, начертав первую. Неуловимо пошловатый оттенок, непереводимый ни на один язык мира, заиграл всеми гранями просторечного воображения, неутомимого пересмешничества и мужского инстинктивного единства. В этих литературных вершинах перемешались и смех несусветный, и слезы несказанные. В них слышался и гогот темницы, и рев бурлаков, и шум блатарей. Задерживая дыхание, я затаенно ухмыльнулся, боясь быть обвиненным в пошлом мышлении. Я ополоснул кружку с травой, почему-то вылил содержимое не туда, куда нужно. Самоуважение грозно одернуло мои одежды, напомнило о смирении и внимательности. Чувство собственного достоинства, охваченное приступом чувства вины, вместо того, чтобы исправиться, покаяться, попросить у Бога прощения, лихорадочно выискивало способы самообмана. Непризнание вины грозило самодовольством. Поневоле вспомнились слова французского историка Люса: “Прежде чем думать о распространении грамотности, надо воспитать в себе любовь к опрятности. Только тогда, когда рубашка из предмета роскоши превратилась в предмет пер-

вой необходимости, явился материал для приготовления дешевой бумаги, без которой не имело большой цены и самое изобретение книгопечатания”. Смех смехом, но я-то не прошел учение до учения, я не подготовил себя — чистого и опрятного — к встрече с правдой. И кривда осенила гордой осанкой, изворотливость ослепила разум, на мгновение затвердело рыхлое лживое слово лживой души. Из тьмы мгновенно и молниеносно вспыхнуло оправдательное лепетание. “Я же вылил в канализацию не чай и не кофе, и даже не остатки пищи, а жмых от лекарственной травы. Об этом в предупредительной бумаге ничего не написано...”

Круговорот вещей в природе

Бумажные листы формата А3 главный строитель хранил как зеницу ока. Листы шли на ура, были дефицитными, улетали нескончаемо в необозримые строительные лабиринты. Однажды главный строитель вслух выразил недовольство на грани негодования, велел передать Константину Соловьеву, отвечающему за своевременную доставку канцтоваров, чтобы тот немедленно дозаказал на фирму бесценную бумагу. А пока ведущий соиздатель нашего будущего пользовался НЗ, моим золотым запасом, хранящимся наверху высоченного шкафа. Вожделенный материал таял, словно весенний снег, вызывая у меня внутри недовольство. Ощущение такое, как если бы страдала моя частная собственность. Как если бы ко мне забирались в карман среди белого дня, на глазах у честного народа. Но первый строитель, невысокий ростом, уверенно двигался от кабинета к моему шкафу, становился на носки, нащупывал нужную продукцию и спешил к неустанному ксероксу. Казалось, листы формата А3 растут на шкафу по мановению палочки волшебника. Казалось, ничего нельзя объяснить. К вечеру, довольный своей работой, покидал помещение офиса мастер теории и практики строительства. Я же тайком забирался в его закрома, пополненные Константином Соловьевым, и переправлял очередную партию листов наверх. А назавтра руководитель строительного направления снова повторял заученные движения и оставался доволен. И каждый из нас служил неизменным винтиком величайшего из законов природы — круговращения вещей.

Характер

Немало бесплодных лет минуло с той поры — от первых признаков осознания самого себя до пристального — духовного внимания к собственной персоне, к своей родословной. Как в далекие советские времена знаменитый антрополог академик Герасимов восстанавливал человеческий облик по черепу, так я по психологии своей личности воспроизвожу черты, генетически присущие незримым пращурам далеким.

Достойный и великий наставник рода Сендеров по линии отца прапрадед Федор, судя по всему, был сильный духом для подвигов духовных. Конечно, излагая ход мыслей, лучше их не обдумывать тщательно, ибо запутаешься в сложных хуторских воспоминаниях. Сама психология позволяет освободиться от обилия надуманных картин, условностей, потребности рассуждать о собственной душе. В нашей простой жизни человеческое “хочу” неизбежно в генетической памяти. Мелкая обыденность превращает общий фон в мелкую подробность, унимая тревогу перед реальностью.

Прапрадед Федор, безусловно, сиял добродетелями, словно звезды на земле Волинской. Стало быть, исходя из моих достоинств, крепок был предок в посте, терпелив в бдении и в коленопреклонении. Думаю, он любил порядок в хозяйстве, до конца дней своих оставался приверженцем умеренного образа жизни. Подозреваю, что общая грамотность, состоящая из школьных грамматических штудий — во имя подлинного поэтического слова с любовью передалась сыну и моему прадеду Иосифу Федоровичу.

Сын его, мой дед Степан Иосифович, в своем идеально здоровом сердце привнес наследникам чистый воздух лесов Украины, жаркий пыл тамошних степей, страшное волнение эмоциональной незрелости воспитания детей. Степан твердо верил, что младшие должны подчиняться взрослому и мудрым, не смея говорить перед ними иначе как с послушанием и покорностью. Тогда же, может быть, тогда родилась в его сердце любовь к чистописанию. Возможно, очень даже возможно, что мама его и моя прабабушка Зиновия Васильевна дала роду несокрушимость духа, страсть к образованию, исходящую от прапрадеда Василия, папы Зиновии.

Жена деда Степана, не исключено, что она пустила по роду страшную психологическую силу нашего взора, точно, надзирая за нами с небес, если кто впадал в какое-либо согрешение. Она же, целительница, костоправ сохранила тайну духа своего отца и моего прадеда Константина. Стержень их семейства, вероятно, держался на чем-то страшном и странном. Любопытно, по каким таким большакам человеческих провинций в коричневых шапках прибрежи в наше семейство адепты алкоголизма? О том молчит история, в том не помощники логика или диалектика — движущие силы нашей потомственной учености, нашей скорбной умозрительности.

И по смерти сияет безвременно ушедшая из жизни бабушка Софья Константиновна. Как несгораемая звезда небесная, различными чудесами хранит она мой путь, молится за мою душу. Отсюда и силы на двадцать четыре часа. И, подозреваю, она учит меня учить и учиться, ее рассудок обнаруживает себя в моей непредсказуемости. И, как раз туда я и клоню, ее страдания, ее кровоподтеки внутрь, черные раны

внутри, беспмятство темного (может быть, заболевание печени) лица, поминутно сохнущее тело (может быть, раковая опухоль), приблизили ее к наиболее трудному и опасному виду иноческой жизни — затворничеству — в себе. Примером она доказала, что нет такого искушения, которое не смог бы выдержать человек, управляемый духом божьим. Чем не подражание Христу?

Тайный смысл, генетически заключенный в четверке сыновей, доступ к уразумению того, что в специальных учениях именуют взволнованность. Что еще пока не выражено образно и метафорически. Что есть страдальчески счастливое лицо, грустная усмешка, если задуматься не для людей, глубоко запавшая скорбь. Нетрудно представить дядю Петю и без тщательного рассмотрения. Замечательный дядя, прежде всего для наших внутренних плачей. Просто замечательный дядя. Простой немецкий снаряд разорвался рядом с ним в ноябре 1944 года. Шел сильный дождь. Воронку быстро наполнило водой.

Кому-нибудь из нашего рода следовало бы ради славы вящей, ради жизни на земле, возжелать жизни иноческой. Но кому просить пострижение? Кому наложить на себя тяжелые подвиги. Например, надеть власяницу, а сверху покрыться сырой козлиной кожей, чтобы кожа на нем высохла, чтобы он затворился в тесной пещере и молился, молился со слезами. Страдающая ветвь рода? А почему бы и нет. Отец мальчишкой угодил в концлагерь к немецким фашистам, точно в затворе не ложился на бок, только сидя засыпал ненадолго. А почему бы отца — не причислить к лику святых? Обольщенный темными силами он пострадал, как и все, кто не защитил себя крестным знаменем. Светловолосые бесы смутили незащищенного юношу, оставили полуживого в шахте с оторванной рукой, снабдили на всю жизнь неосознанными страхами перед расплатой за пребывание в немецком плену.

Вообразите себе подростка, битого отцом нещадно в целях воспитательных. Представьте себе провинциала, угоняемого в неизвестность почти на верную смерть. Перевоплотитесь в беглеца из фашистского застенка. Превратитесь в сорокакилограммового мальчика, доберитесь домой, где вас давно уже похоронили. Отлежитесь в лесу на хуторе, слушая рассказы о жестокости большевиков. Выдержите все напряжение, отвечая на вопросы офицеру НКВД. И всю жизнь бойтесь, чтобы не всплыла правда. Много лет остерегала мама родителя, одергивая отца в нетрезвой болтливости. Потом еще травма — потеря правой руки в шахте.

От дяди Семена осталось во мне удайство природы, неукротимая энергия плоти, неудержимая любовь к жизни. От дяди Миши знаки наивысших священств — шар над крестом, умозрительные круги имперской мощи.

Взгляд бабушки Акулины, мама моей мамы, как бы говорил, ты не связан с миром мрака. Ее отец и мой прадед Лаврентий (может быть Лав-

рентий), вполне мог приятельствовать с отцом деда Никиты Авдеевича. Уроженцы небольших деревень, как правило, знают всю округу в лицо. Хочется думать и утверждать, что взгляд у меня от бабушки, отходчивость и усидчивость от деда, мастера пошива кожухов, делателя валенок, любителя рюмки, внимательного и любящего отца. Мама сказывала, в любую погоду Никита Авдеевич встречал ее со школы на лошади.

Перипетии обыденной жизни стерли мою склонность к авантюризму, снизошедшую, верно, от дяди Афанасия. Я ведь тоже мечтал втайне ощутить чувство защищенности в какой-нибудь силовой структуре. Спецслужбы приютили его, да, как показала жизнь, ненадолго. Он умел производить впечатление, сорить деньгами, заваливать подарками. Служил где-то на Дальнем Востоке, погиб под японскими бомбами. Очень любил свою сестру красавицу, мою маму. Лично ей всегда присылал в посылке модные вещи.

Здесь рядом и всегда проклятая неизвестность, чревата она вымыслами. Здесь одна из разгадок моей неуживчивости, она от Марии. Она от тети Маши, от маминой сестры. Она, по воспоминаниям дяди Жени, от Марии Никитичны, что подарила мне классическую ершистость, завидную желчность характера и занудство.

А скорбная тетя Анна дала тихую самоотверженность, застенчивое мужество, готовность к самопожертвованию. Как она летела, спасая сына Михаила, падающего с березы, подставляя мальчику уже оставившую ее душу. Как страшно хрустело искромсанное тело, когда родичи пытались ее перевернуть. Смогу ли я найти себя до такой степени, чтобы бросить все и посетить могилу тети и других родственников?

Неподалеку от праха сестры покоится дядя Жора, солдат Отчизны, гармонист самоучка, бездетный муж гибкого ума, глубоко понимавший суть вещей. Что взял я у тебя? У тети Нади, властной женщины, изнуренной борьбой с алкоголизмом, т.е. с самим собою? У той самой тетки, посмевавшей дерзить самовластному отцу моему — прямо в лицо — прямой угрозой и недвусмысленным намеком о скорой расправе. А что привнес в мою индивидуальность несгибаемый и несмирный дядя Вася, вероятно, первый заместитель Господа Бога? Небеса не слышали большей дерзости в личностном плане. Небеса приветствуют вольнолюбивые личности. Уж не твой ли вольный дух поселился во мне, дядя Василий? Уж не от дяди Жени у меня страсть к тайной популярности, желание слыть и быть остроумным и оригинальным?

Вот и остается мне, перечитав, пересмотрев психологические штрихи пращуров моих, по мне же восстановленных, оправиться от страшного осознания и потрясения и начать вести строгую жизнь. Конечно, идти в пещеру — это уже крайность. Но власяницу придется надеть, ступить в протоптанные черевички, чтобы ноги в мороз к земле примерзали. И таким образом службу стоять-выстаивать. И так достойно нести об-

ретенные черты характера, с таким трудом подсмотренные в деяниях родни...

Крапивная глушь

К чему ты пришел, всю жизнь шагая по амбициям других, обманывая себя и ненавидя людей? Желая славы перед людьми, избирая великое дело подвижничества не для литературы (рука не поднимается написать для поэзии), ты просидел праздно, вместо того, чтобы трудиться с братией на ниве слова. И ты потерял все свои награды, земные и небесные. И творения твои уподобились побуревшему подсекольному, и пространства твои горделивые подернулись паутиной. И сухими репейниками легли твои борозды мысли, загорчили поздней пижмой, покрылись неприглядными серыми полянками. А ты хотел, чтобы в тишине неказистого, а главное, неточного рисунка щебетали хотя бы щеглы. Ты мечтал, чтобы в мертвом разнотравье переливались кузнечики, а высохшие бурьяны скрыли гнетущую крапивную глушь неточных глаголов твоих рифмованных строчек.

Ты выучился вот таким, я бы решился сказать нерациональным способом, но совершенно сбился с толку, путаясь в духовных речениях и толкованиях. Не скажу, что ты всегда нес полнейшую чушь, не стану утверждать, что совершеннейшая чепуха под личиной оригинального мышления, жгуче крапивная пасхалия астрономии квадривиума со всеми сопутствующими ей умениями украсила твою глубокомысленную нелогичность. Отнюдь, но ты ни на иоту не приблизился к вершинам поэзии, которая неподсудна, не судит, но все видит. Ни деление времени, ни расчеты солнечного и лунного, календаря, солнцестояний и равноденствий, ни толкование знаков зодиака, ни пение того, что ты пытаешься именовать музыкой стихосложения, не делало, не формировало богобоязненного и богоугодного человека.

Чем дальше я как читатель забирался в крапивную гущину твоих шершавых (откуда в твоих поэмах такое обозначение образа, я дважды встретил неудачное прилагательное на первых пяти страницах) строф, тем больше убеждался, что деревни твои — потемкинские.

Что твои исторические ретроспекции не пережиты (ты же еврей, как ты можешь страдать и болеть душой за русский народ), что твои странности и склонность к мании величия свидетельствуют о твоём оболещении. От имени печерских подвижников, молясь, я пытался отогнать от тебя бесов и вывести из затвора. Я старался научить тебя грамоте духовной, чтобы ты отныне посвятил себя посту поэтическому и чистому, смиренному житию литературному.

Но твой сад не благоухал, гулко падали на землю мертвые плоды бесчувственных стихов, трогая разве что тени вечных странников земли

мертвых. Как же мне стыдно за самое себя, за то, что я, угождая твоей самодовольной физиономии, читал для тебя твои же уродливые слепления, напевая неискренние дифирамбы, предрекая тебе участь первого поэта королевства. Вокруг пламенели клены, рдели редкие осенние кустарники, кружились разноцветные листья раннего бабьего лета. Кругом текла кипучая жизнь, призывая к стихослужению. Но не превзойти тебе великих пастырей слова, во время пожара не угасить молитвой пламя, а в сильную засуху не испросить сильного дождя на жаждущую землю. Потому что пляшут в дикой вакханалии твои силы тьмы, ставшие нарицательными, обряженные в маски святотатцев, пророков и святых. Потому что не обмануть, не ввести в заблуждение взыскательного читателя нетактичными заголовками, отсутствием чувства меры и логики в этом сером мертвом крапивнике при совокупном действии твоего душевного лукавства и безбожности.

Тетя Лариса

Тетя Лариса вспоминает: “Инсульт случился у Евгения Никитича, давление 220 на 100, он не в себе, я вся изнервничалась. На камне сидит, совсем плохой. Люди прибежали, сообщили новость”. Тетя Лариса всматривается вдаль, отодвигая тарелку: “В больнице не узнавал. Я ведь одна, если он болеет, в доме не с кем поговорить...”.

Из дня сегодняшнего моя любимая тетя возвращается в то время, когда они приехали из Матвеевокурганского района (Округ Таганрога) Ростовской области. “В 1941 году отец дал мне имя, ушел на фронт и пропал без вести”. Добрая тебе память, солдат России, герой Отчизны, защитник Отечества Силантий Никитович Пономаренко. Как виноград, свисающий на подворье, черны уже неразглядимые факты. И корчатся жилы, и трещат кости, и жар обнимает чрево, и все члены мои, если задуматься о судьбе Родины, которая — история отдельных судеб. Она в крохотной и громадной скорби о маленьких братьях, Толике и Юрике, заболевших scarлатиной, умерших в обозе с семьями.

Она в думах о событиях в Амелентьево, что неподалеку от Таганрога. С мамой Марией Федоровной поселяетесь вы у сестры при школе. Мария Григорьевна, наставница, пророчит: “Крала, у тебя большое будущее, только нигде не зацепись...”.

Маленькая Лариса просится на руки, а мама, уборщица в МТС, тащит два ведра с водой в крохотную комнатушку. На тебе, дочушечка, коробочку с водичкой, шепчет мамочка, и девочка шагает рядом. Маленькая Лариса, ты не забываешь глупую шутку мальчишек со змеей. Противную гадину швыряют в окно. Ты взлетаешь на шкаф, ты цепенеешь от неудобства. Тебе поясняют: “Цэ не гадюка, цэ ужака...”. И

передает тебе сам Бог через знакомых мамы кто молока, кто дичи, кто бутылку растительного масла.

И дарят небеса вашей семье две комнаты в конфискованном доме. И назидает мамочка, смотри, масло не разбей. Как в воду смотрит, бутылка — бах — и вдребезги. Ты каменеешь, рвешься вдаль, куда глаза глядят. Точно все происходит сейчас, за теми крышами частного сектора, за густыми осенними сумерками. Точно за тьмою стоит мама и не верит, что ты нашлась. Она шепчет, обнимая тебя: “Что же ты, дуручка ты моя, думала, что я тебя за бутылку масла буду убивать?” И задумывает пышку, соображает блин, масло с луком. Течет время, мама уезжает в деревню к новому мужу. Жизнь твоя течет самостоятельно. Ты живешь у тети, год работаешь учетчицей. Неожиданно мама получает травму спины. Три месяца и нет мамы. Ты не забываешь, как мама просит тебя отрезать длинные волосы, как бы жалуется на то, что ей тяжело причесываться.

Достается тебе, бедной девочке. Ты живешь у тети, той самой, что муж любит выпить. Потом оказываешься у папиной родни. Тетя Оля, жена папиного брата, угощает тебя карамелькой, а Нелле дает шоколадную конфету. Ты сжимаешься от несправедливости, тебе не хочется чая, у тебя нет желаний, кроме одного, поскорее покинуть этот дом. И так ты оказываешься у тети Нины. Ты ничего не рассказываешь, тетя Нина дает тебе ключи со словами: “Иди покушай...”. А вечером брат отца пытается понять, что же все-таки случилось. Но ты молчишь, словно рыба. Ты ничего не объясняешь и папиному брату, который часто заходит и извиняется. И ты и становишься дочкой.

Ты помнишь и строгое воспитание, и прогулки втроем с мамой и папой, и запрет на любые звонки молодых поклонников. Ты и сегодня видишь те длинные одежды, дорогие наряды, от которых было не по себе, и хотелось надеть простое платье. Но ты ни о чем не жалеешь. У тебя хороший муж, у тебя прекрасный сын, замечательная невестка, восхитительная внучка. Ты ярко и метафорично повествуешь о своем удивительном пути, глядя в непроглядную грядущую ночь. О жизни, прожитой не зря...

Императрица

Ты впархивала в двухкомнатную келью одновременно и муза и императрица. Сонные мухи недоумевали, домовый с треском проваливался в воздуховод, а светлые хранители дома темнели от возмущения. Ноги мои были, как в огне, корчились жилы, трещали кости, жар обнимал члены и чрево мое. Я любовался неумолимым шествием владычицы, снизошедшей на грешную землю с небес обетованных.

Ты восставала, и бедная Афродита обратно превращалась в пену, сборное пение в честь приезда пантифика затихало, люди богобоязненные начинали сомневаться, а богоугодные служители смотрели мимо золотого распятия. Собственно, ты являлась образцом для подражания и предстала в качестве образца для воспроизведения. Я забывал свою лютую похоть, и радовался, сама матушка великодержавная, словно огонь небесный, вспыхнула на пыльно коричневом небосклоне дешевых, износившихся обоев.

Ты вносила путаницу в мою крестьянскую простоту как нравственно аллегорическая агитация за мир, как творчество бога, как чудо сознательной фантазии Творца. Я пытился на золотистый свежеекрашенный балкон со скрипучими полами. Я распахивал сгнившую от времени створку балконной рамы, точно собирался прыгнуть в березовую сень шестиэтажного дерева, но стеснялся воркующих за перегородкой интеллигентных соседей. Солнце слепило мои похотливые очи, едва пересиливая твое имперское сияние. Солнечные лучи тонули в густых порослях цветущего детского сада. Отворенные стеклянные двери балкона отражали тебя и направляли на декоративное овальное зеркало, расположенное наискось. И я видел тебя таким чудодейственным образом.

Накопленные обиды слышались слабым эхом, но не страшным змеем, пытающимся проглотить меня, дыша пламенем, осыпая искрами. Я зывал из глубины сердца: “Господи Боже и Спаситель мой! Почто оставил ты меня, ты един человеколюбивый, избавь меня от скверного беззакония моего”. Ты стояла напротив, крепко сжимая челюсти, теребя завитушки на локонах. Над тобой блистала молния смирения, божественный свет, как солнце, сиял меня. Твое чудесное платье (тебе идет именно платье) серебрилось японским иероглифом, оставляя, что странно, золотистую пыль.

Верхние этажи обдавали скучно перфораторным треском. Мы смотрели друг на друга и думали, вместо того, чтобы чувствовать, не вызывая греховный материал из простых человеческих желаний. Глаза души первенствовали и заглушали чувственное восприятие. Ветер листал березовые шелка и каштановые атласы под густое щебетание детских голосов, перебиваемое кликами воспитательниц. Шумливые галки и сойки едва слышались, заглушаемые бродячим шмелем. Пчела ползала по полу балкона, отвлекая мое внимание и уменьшая напряжение довольно запутанных отношений и судеб.

Почему-то на ум пришла выдержка из списка библиотечного минимума учебников “Священник у алтаря” Александра Неккама: “За небольшие проступки следует слегка ударять лозой по рукам, розгами же наказывать только в случае крайней необходимости. Не должно прибегать к кнуту, дабы не перейти меру в наказании”. Мне страсть как хотелось содрать с тебя царские амбиции, разорвать соблазнительные

трусики и, выбрав на теле сумрачное место, выстегать твои ягодицы именно кнутом. Чтобы ты жалобно всхлипывала, ощущая на хребте крест настоящей женщины, кроткой и покорной.

Не будь свиньей

Ты сидишь, опустив голову, будто что-то вспоминая из далекого прошлого, теребя его несокрушимую темноту. Ты почти касаешься рукой пола, чертя на досках таинственные знаки раздумчивости и раскаяния. Чувство вины, взмыв, грузно опускается на загривок, стекает вязко и аморфно по хребту, слегка тревожа неизлечимый остеохондроз. В ответ из глубины души доносится то ли плач, то ли вопль умиления, и ты начинаешь истерически подергиваться, как бы раздваиваться, будто бы сходишь с ума, захлебываясь в слезах саможалости.

Ты смолкаешь, обдумывая неблагоприятные поступки, так, мелочи, никчемнущие пустяки. Ты задумываешься после того, как начинаешь слушать и воспринимать на звук творческое слово, видимое только глазами души и сердца, умным зрением, проникающим за пределы очевидного. Ты признаешься сам себе в перманентной нечестности, собственно, в ерундистике, в незначительных событиях, в невидных проделках, в проделанной работе. А если разбить жизнь на составляющие, становится очевидным, в жизни все есть главное, и выходит, ты всегда и во всем нечестен перед самим собой.

Ты раздражаешься всхлипами и стонами, венчая тихие внутренние страдания протяжным звуковым выдохом, похожим на фонетически настянутое “У”, исторгнутое из мрачных глубин исстрадавшейся души, ищущей света. Это звенели плохо вымытые кофейные чашечки, наскоро вытертые бог знает чем. Это холодно потели несвежие блюда, оживленные выдохом гортани, промокнутые салфеткой тысячеклетней давности. Это обдавала хлоркой вода, подгорченная избытком лугового духовного сословья средних веков, но рокотала невиданная доселе корпорация по производству незримых грехов.

И дни светлые и солнечные, и ночи долгие и раздумчивые, все отпечатлелось и тлело, тлело, перемалываясь в горниле перерождения. Чтобы ты получился выжженным, как золото, крепким и сильным слугою Господу нашему. Чтобы ты не чурался тяжелой работы, чтобы подвигался в затворе в удалении от мира и его соблазнов, укрепляя любовь к Богу, преодолев искушение сребролюбия, страсти не столь грубой, как страсти плотские, но, тем не менее, опасной для жизни.

Сонно тянется однообразный офисный день. Медленно, очень медленно ползет время. Осторожно и подробно память проворачивается в обратном направлении, то сушку выхватит впопыхах уворованную, то

мечту — идиота — найти кошелек, скажем, заместителя директора после зарплаты и, конечно же, не вернуть. Подобные размышления обычны в век духовного переворота, при рождении принципиально новой формы взаимоотношений с самим собой, с другими людьми и с Богом. При ощущении душевной укоризны от собственной нищеты, звучащей евангельски и не иначе как прочувствовано: “блаженны нищие духом”.

Собственно, здесь ты не имеешь никакой частной собственности и заботаешься о собственном спасении. И повинешься воле неба, и никто не видит тебя праздным. В устах твоих красноречивых отныне Иисусова молитва. Отныне и присно, и на веки веков ты раздаешь нищим и на устройство церкви все, что лишнее. Словно вторя, лилово-малиновая туча проникает в стены офиса, заступает европотолки. Под ее освежающим фоном ты не щадишь плоть свою, терзая ее постом и молитвой. Пусть она, угнетенная оными, смирится, наконец, у самого поворота в сторону честной вечности, где в несокошеных ржах видится тебе худошавая фигура скорбного Иисуса. Где ты, рожденный для подвижнической жизни черноризника, думаешь и о своем спасении, и служишь людям, абсолютно честно и по совести...

Сны вещие

Сон снился странный, длинный, как арабеска (я имею в виду вид орнамента мусульманского толка), отнюдь не мирской. Стон длился нескончаемо, тревожно, может быть, перерожденчески. Он слышался славянским криком раскаяния во время палочной экзекуции, полагающейся за пьяное вождение автомобиля в Арабских Эмиратах. Он переходил в крик на старославянском языке, когда азиатские палочные шпицрутены больно проникали в четырехглавую мышечную массу на восьмом десятке ударов положенного наказания за езду в нетрезвом виде.

Сон завершался старческими свистами сырой хворостины, мелькающей столь часто, что у самих наказывающих рябило в глазах. Тон наказания видоизменялся до признания бессилия перед алкоголем бледными испитыми ликами, еще лживыми на первых порах трезвления. А на пригрезившемся центре зависимости, напоминающем скорее резервацию, нежели медицинское учреждение, красовалась надпись: “Перепроизводство людей алкогольного труда, обслуживающих господствующий класс”. Для людей-изгоев, выпавших из общественной системы, не нашедших своего места в жизни.

Именно эти изгои, вереща, докуривая в туалете сигареты отвратительного качества, обретали первый опыт того, что подвижническая жизнь надежнее искусства врачевания.

Я тревожно глядел в их беспокойные шизофренические глаза, получив от неба полную и абсолютную власть над их душами. Из этих гряз-

ных изгоев, именуемых моими братьями по несчастью, рекрутировалось безымянное братство носителей религии для смертельно больных людей. Жесткий порядок, в твердых границах которого воспроизводилась эта духовность, пришел в соприкосновение с грубым вещественным миром, оставаясь всего лишь его неактивным соседом. Но и живя вне алкоголизма, как бы, вися, в воздухе. “И почему ему не страшно во тьме на ниточке висеть?”, — провидчески предвосхитил социальный статус алкоголика в мировой системе координат русский поэт-эмигрант.

А изгой с безумными взорами, с крепким запахом навоза, пота и запущенной избы, целовались с нелюбимой реальностью, с превосходством арийской надменности, с амбициями зарвавшегося поручика, с сумасшествием Мишки-мойши-моромоя (чем не Баба-Яга?), со злобным и кривым лицом серебряной Татьяны, с голубым подземным самодовольством Вовки шахтера. Из тряпки я соорудил флаг и призвал всех, бессильных перед алкоголем, под свои знамена: “Двушаговые влево, остальные направо — шагом марш”, — скомандовал я божественным басом, не признающим никаких возражений.

“Что же вас так мало, тех, чье дело правое?”, — скорбно и печально отметил я про себя, закричав на них так, словно передо мной стояли представители вечной духовной глухонемоты. “Шаги переписывать каждые три месяца, непосещение группы приравнивается к алкогольному срыву. Отсутствие дневника эмоций считается предательством трезвого выздоровления. Всем без исключения надеть власяницы наших умерших братьев и по каждой строчке ста пятнадцати страниц развернутой формы двенадцатишаговой программы — в соприкосновении с духовностью, люмпен подобной походкой и потому относительно свободной — вперед!”

Я продолжал: “Говорить только о чувствах”. Я командовал: “Вовка, не умничай, поручик, мы уже знаем, что ты дважды женат на своей жене, Танька, не пожирай похоть Вальдемара, Мойша, не веди себя как пьяный, почтительней относись к гуру, сволочь, не то расскажу всем, почему тебя женщины не любят”. Я добавлял, войдя в проповеднический раж: “Поручик, кобель старый, не намекай моим женщинам на флирт, лицом не вышел. Матрос, твоя баба — Надежда, оставь в покое Галину. Умники недопитые, я вас научу, как уручинскую группу любить, я вам устрою яростную брань...”, — начинал я расшатывать, здание самообмана, возведенное на века. Терзая этих бездомных скитальцев, неотягощенных духовными знаниями...

Сны реальные

Я кричал на них уже весело, потому что многие из трезвых алкоголиков слушались меня беспрекословно. Я стоял напротив эмоционально

взволнованного многолюдства и ненавидел это братство, трезвеющее не по дням, а по часам, а потому уходящее из-под моего контроля. Я возомнил себя властителем вселенной и требовал абсолютного подчинения. Научившись иконописанию от греческих алкоголиков, я требовал от русских братьев того же. Я принял пострижение, трудился неусыпно и бесплатно, и поэтому презирал Вячеслава, который брал за обучение деньги. Я мысленно испепелил “Феникс” с его отрицательным результатом вместе с российским центром зависимости Маршака и прочими подобными заведениями стран СНГ.

Я будоражил алкоголиц во имя отнюдь не пустого смысла. Я тащил за волосы Ирину, я возмущенно слушал глупых умников со стахановской — я бил их головой о стену, призывая двигаться дальше пятого шага. Но это несговорчивое стадо упрямых ослов, это недуховная толпа упрямо мычала о том же, о чем не следовало звучать. Я мечтал приспособить их только лишь к одной полезной вещи — бесстрашному и последовательному движению в учебном заведении под названием институт трезвости, где нужно учиться только отлично. Я получал завидную плату — собственную тревогу. Я безболезненно вводил их в эмоциональную трезвость, дергая за бороды бородатых, обрывая усы усаатым алкоголикам, страдающим психосоматическими отклонениями.

Я почти ничего не тратил на свои нужды, проявляя милосердие. Готовность помочь кому-нибудь, проявить снисхождение к кому-нибудь из сострадания, человеколюбия, сердечного участия, превратились в деятельную помощь, вызванную этими чувствами. За чистую и добродетельную жизнь я удостоился трезвого священства и был прославлен божьим даром чудотворения. Элина вязала бесконечный платок духовности, Лица прямила полотно трезвого рассвета Ирина сидела у крыльца и ожидала свое счастье. Игорь, Саша, Слава, еще один Саша и Константин — они были неподвластны светскому суду — славили собственными трезвыми песнями грустную лиру Анонимных Алкоголиков. Рая и Татьяна давно вошли в число светских и духовных лиц.

Я напрасно помазывал иным раны своей кровью, пытаюсь исцелить их желание, подвластное лишь Создателю. Теперь же я кланяюсь им низко, с тихой улыбкой, с доброй памятью за все, что они для меня сделали, показывая то, что мне не следует делать. Сегодня я не тащу их на коленях в шестой этап трезвого выздоровления, не указываю, что названия шагов всего лишь заголовки, ничего не имеющие общего с тем, что нужно сделать. Я не учу их трезвости, как не могу научить игре в футбол того, кто сам этого не желает. Пусть их столы ломаются от избытка, а спальни грохочут от непристойных веселий. Пусть множатся их бессодержательные разговоры во время перекуров на лазах у возмущенного ксендза, пусть усталой и грустной будет их мучительная трезвость, ведущая только к эмоциональной печали и скуке.

Не выжить им в чрезвычайных обстоятельствах, когда жизнь подбросит жирный кусок, который не только проглотить, но и прожевать нельзя. Не устоять им при падении каменного храма и при грабительских набегах иноземцев. Пусть выпускают они в свои незатейливые и пустые пространства радости мира, презрев мои увещания и предупреждения. И пока продолжается мой с ними разговор, пока длится мирный диалог, все одно моя безупречно вышколенная ученость оказывается завакской настоящего — чувственного брожения Анонимных Алкоголиков, изучающих, словно Библию, книгу “Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций”. И они есть свет, рассекающий тьму трезвого невежества, ленного нежелания, бунтующего “Я”, что является единственным спасением при смертельном заболевании...

Миша, мойша, моромой

Если бы ты знал, как я рад, что твоя жена тебя бросила и укатила, неважно с кем, неизвестно куда, главное, навсегда унизив тебя. С тобой случилась непрекращающаяся истерика, мягко перетекая в шизофрению, держа тебя под анестезией алкоголизма. Заурядная ситуация крепко взяла твою ничтожную душонку, вытряхнула ее из твоей дерьмовой и неопрятной плоти, превратив нечто, именуемое мойшей, в безликую аморфную массу человеческого материала. Своим размазанным здравомыслием ты пытался вообразить бывшую жену в объятьях другого мужчины, блуждая в темных горницах больного воображения. Если бы ты мог представить мое чувство огромного удовлетворения, если бы ты мог представить всю огромность моей радости, истекающей из жала злости. Жаль, что не я наставил тебе рога, а какой-то там француз.

Если бы ты знал, что я переспал почти со всеми женами своих друзей, не считая женщин с плохим вкусом. Если бы ты, моромойское чудовище, оказался моим приятелем или, не дай бог, другом, тебя постигла бы участь обманутого еврейского мужа. Она тебя и настигла, только в иной форме, в других лицах и жизненных ситуациях. Имей хоть немного совести, чума ты непутевая, не смотри на моих женщин. Надо бы еще и с женщин стрясти магарыч за спасение их жизней от твоего присутствия и сопутствия. Если бы твоя гадкая физиономия не мелькала на проспекте Притыцкого, как искусственная молния в плохом декоративном фильме, мои сновидения тянулись бы лиричней, а мои встречи, сам знаешь с кем, сияли бы золотым клубком взаимопониманий.

Но если бы ты мог наблюдать за собой со стороны, если бы ты узрел свое сходство с лопухами и чертополохами (не с теми, что являются медоносами среди многочисленных видов сорных растений), тебе не мерещились бы мои любимые женщины. Ты ведь прекрасно все понимаешь, вы, евреи, умные, но женщины вас не любят. Так что же ты за-

видуешь мне, когда я, куда не посмотри, нахожусь в окружении первых красавиц нашего благословенного сообщества. Что же ты, еврейское чудо, шипящей змеей подбираешься к моей тени на проспекте и шипишь гаденько и мелко все о том же, об одиночестве, обездоленности, о том, что у тебя увели перспективную даму. О том же, словно дворняга, лаешь на занятия по духовности. Причем, бранишься на двух языках. Причем здесь моя завидная популярность среди прекрасного пола? При всем этом я так и не понял, что ты имел в виду, называя меня осеменителем. Я тебя просто проигнорировал, а потом начал думать и раздражаться. Наша уважаемая и почтенная сестра уверила меня, что твои грязные уста возвысили меня произвольно, желая как раз обратного. Как бы там ни было, я не исключаю, что твоя двухшаговая ученость и мое трезвое програмное мастерство могут стать взаимно иными, если мы не будем общаться.

Если бы ты, брат мой еврейский, полюбил воздержание, зачем тебе благосклонность прекрасной половины человечества, если бы ты собирал лебеду, растирал ее, пек хлеб и тем питался, тогда твоей душе, я уверен, зажилось бы легко. Ты ведь все одно пугаешься любых женщин, приближающихся к тебе даже на пушечный выстрел. Запахни свою импотенцию, наслаждайся знакомством со мной, живи в мире вещей, каждая из которых теперь уже не только след творческой мудрости божией. И не вкушай ничего, кроме хлеба из лебеды, не пей вина эмоционального, всегда будешь весел и не печален. В таком случае неприметными станут растройство ума и души, очевидные в блеске твоих безумных очей, в неухоженности, в подверженности крайностям. Но самая исключительность твоя заключается вовсе не в глубине страданий, а в твоём поразительном сходстве с известным неорганическим веществом, а женщины и жены, как известно, его не любят...

Толкуя превратно Орфея,
Игривые Музы уста,
По страсти томление вея,
В пути утомляют, устав,
Свергая небесные звуки,
Изменой душе пригрозив,
Предшествуя творчеству муки,
Ложатся светло по грязи,
Со свитком и грифелем злобы,
Вощенной дощечкой добра,
Твой путь, начиная особый,
Тебя в содроганье пробрав...

* * * * *

У родни к исходу ночи,
Угли трогаю в печи,
Спину тру, смежая очи,
За пургой не сплю в ночи.
За спиной тоска рассвета,
Не болит уже живот.
За пургою в гуще веток
Поминание живет.
А за ветреностью лютой,
Покаяние в душе.
Плачу в сердце, слезы лью-то
И смотрю настороже:
На мое исчезновение,
На пургу и дню вдогон...
На родню, и рвутся звенья,
Руша уголья в огонь...

Часть пятая

И ВСЕ-ТАКИ СКАЖУ

На просторах

Наконец-то улеглась нескончаемая возня с женой. Слава богу, я вырвался на прогулку с трехлетней дочерью, сидящей в старой коляске, капризно разваливающейся на каждом ухабе. С болью слушал я хрип несмазанного колеса, падающего столь часто, что я уже ни за что не верил в удачную прогулку. Чистое сердце мое, изнывающее без любви, радостно трепетало, наблюдая за любознательной дочерью. Думаю, это и есть неосознанная молитва — благоговение перед ребенком, перед прекрасным и любимым чадом. В расцвете сил летних разливались грядущие травы, маня безбрежным полем, привлекая свободой от супружеских диалогов зудения, даря предчувствие случайной встречи с молодой и неверной — чужой супругой.

Дочь находилась в божественном возрасте, когда детей можно за просто по-родительски поцеловать, не будучи отверженным. Иногда Светлане надоедали мои телячьи нежности, малышка с прямотой божьего — невинного создания отстраняла мои губы властным жестом и причитанием: “Не цююй...”, забавно, произнося литературное сочетание “не целуй”. Но мы двигались вдаль, свежие клевера именовались мною с математической точностью, тысячелистники срывались и разглядывались с дотошностью ботаника, пижма и полынь растирались на руке и нюхались. Как мог я интуитивно составлять в воображении маленького человека картину мира, спеша подальше от нелюбимой жены, впрочем, очень терзаясь от безлюбья.

Заблуждаясь, я вполне логично прибавлял себе несколько сотен очков в общественной иерархии. Как потенциальный выразитель ритуально-священнической общественной функции. Я ощущал элитарную предназначенность к святой жизни, но вне смирения, но с мирским уклоном, безоглядным служением идее воспитания — в данном случае. Остроумно замечу, мой порыв педагогический сметал на пути все установившиеся учительские традиции. Я путался в сорных сложноцветных чертополохах, рода колючих растений. Я плутал в полевых корнеотпрысковых сорняках — многолетних осотах. Я ругал непроходимые гущи медоносных лопухов, отвар из которых — старинное лекарственное средство, обладающее мочегонным и потогонным действием. Согласно науке о лекарственных травах, молодые корни и побеги лопуха съедобны. Долго я мучился, выискивая хоть корешок, хоть листочек, жуя и сплевывая горечь полевую, имея главной целью обучить дочь, произвести впечатление на ребенка.

Но замечу, “быть” и “быть на пути”, согласно Маритену, — разные дела. И я со своим бытием не расположился особняком, хотя мое “быть” поздних времен — вполне оппозиция. А сейчас романтическим корабликом мы с дочерью пробирались улицами в раздольные поля, восхи-

щающие душу любовно-приключенческими воспоминаниями. Силуэты далеких фигур, одинокие мамы с детьми, возможно, ищущие того же, что и я, хрупкие мачты редких разбросанных деревьев терялись в море бушующем запахами и звуками травы. В моей особой — воображаемой келье не находилось места скуке. Инфантильность подвигла мою натуру к родительскому подвигу во имя созидания. Я отказался от управления супружеской обителью, встречая бунт своей отвратительной половины. Я заключил себя в ските неверности. Я так подумал и самодовольно оглянулся вполоборота.

Я бы мог биться об заклад, но вон та далекая фигура невысокой женщины — весьма походила на мою Зою Николаевну. Я ударился в многополезные умственные рассуждения, оторопело остановился и еще раз осторожно осмотрелся, делая вид, что меня очень интересуют поэтичные высоковольтные провода. Да, без сомнения моя нелюбимая жена следила за мной. Сошедшая с ума на почве ревности, она недолго начальствовала над моей душой и, разумеется, телом. Я выразил этой неинтересной личности тотальное отрицание, гнев, недоверие, а всю любовь подарил воспитанию дочери.

Я протащил эту женщину много тысяч верст лишь мне знакомыми путями среди долины ровных. Пока не потерял из виду ее не сексуальную фигуру...

Страхи сексуальные

Контурсы Большой Медведицы проявились на небе ночном. Силуэты светящихся окон плыли за прозрачными занавесками. Свет фонарей путался с мерцанием звезд, возделанным взглядом второй жены, рассматривающей меня явно не по-товарищески.

Я страшился не оправдать ее томительное ожидание, пряча болезненно тусклый отблеск супружеской обязанности в страхе неуверенности. Не так давно я обратился к новому, трезвому образу жизни, в некотором смысле оказавшимся уголком ада и сборищем воображаемых кошмаров. Исторически преходящая теоцентрическая идея дала душе путь, плоти — высвобождение колоссального объема энергии, разуму — возможность обрести здравомыслие. Я блестяще удерживался в удивительно устойчивом и целостном здании мира, свободном от винных паров. Я жил в зыбких стенах трезвомыслия особым способом, известным только тем, кто знаком с трезвым путем.

Я таранился из темного угла комнаты на взволнованную супругу, испытывая лишь ужас от будущего соития. Протрезвев, я потерял уверенность в своей потенции. Эмоции оглушали своим количеством, думы бушевали горным потоком, неуправляемая энергия сулила повторить сотворение света и тьмы. В глазах Елены читалось, уж лучше бы ты пил,

уж больно нудно слушать твои саможалобные бесконечные причитания. Я же искал место, лишь бы спрятаться, лишь бы не обниматься с не-любимым телом в тревоге и тоске, прислушиваясь к беспробудному сну плотской стрелы.

А крайняя плоть возымела новую традицию — жить отдельной, дерзкой независимой от моих желаний жизнью. Взбунтовавшийся нефритовый стержень вконец обезумел и не стремился к целостности. Отчего Большая Медведица казалась мне близкой и родимой, а жена чужой и ненавистной. Оттого суматоха наступающей ночи становилась желанной и спасительной. Общая грусть делилась надвое неровно и несправедливо. Причем мне выпадало две трети. Темный горизонт, перемешанный крышами домов, прозрачными шторами и моей невысказанной печалью вполне отражал мое внутреннее состояние.

Трезвость, свалившаяся мне на голову с длани Господней, явилась каплей казуса выздоровления, призванного озадачить всякого, кто преодолевает муки духовного развития. Да и то в форме некоей неуверенности в себе, ничего не имеющей общего с самим трезвением. В виде временной необъяснимой потерянности с растрепанными волосами, туманными мыслями и детскими образами. А в них рождественскими огоньками, сходными с мерцанием далеких звезд, повизгивали обрывки мыслей, похрипывали осколки страстей, покашливал притворный образ живого меня.

За образами явственно хрустела бумажная тайна явной неверности, душевной убогости, неспособной любить честно и доверительно. Все сказанное сводилось к объяснению затемненной стороны моей личной жизни, но не имело целью озадачить супругу, находящуюся в неведении. Впрочем, я даже приостановил изумительный роман с Людмилой, потеряв веру в сексуальные силы. Просто так по телефону я пояснил влюбленной Людочке, временное прекращение отношений скорее говорит о моем внутреннем состоянии и ни коим образом не накладывает отпечаток на наши чувства.

А Елена между тем возникла из темноты как из могилы. Наверху глухо огрызнулась короткая очередь позднего перфоратора, разрывая духовновоспитательное влияние медитации, приглушая речитатив чистоты и изящества, глуша красноречие супруги. Я скоро и невразумительно перекрестился, обнажая душу в сторону востока, вовсе не замечая Елену. Я шептал нечто уклончивое, уклоняющееся от объяснения этого нечто. Нехитрая иконка, затерянная в необозримых пыльных книжных полках, похоже, засветилась, сливаясь с блеском Большой Медведицы, с похотливым огоньком в глазах жены, призывая меня к истинам благо-непорочного жития. Даже исцеляя от слепого служения идолу разврата, ненасытности плоти и других невежеств закоренелых.

Вишня, яблоко и дыня

Как молодой священник, но с внутренним ропотом, я рядился в обманчивые одежды добропорядочности, передвигаясь по залам офиса вездесущим ангелом — в разные направления. Светлая и прозрачная честность пути имела две взаимодействующие цели. Первая — запутать честную компанию, ввести в заблуждение привередливое общественное мнение и обязательно прослыть в глазах человечества не раскольничьим старцем, не крикуном против духовенства, но мужем духа. Вглядываясь в сумрак офисных окраин, шуруя шумными подошвами, я создавал мифическую народную молву местного масштаба. Тщательно изображая рвение на службе государевой, я вполголоса причитал о сгоревших лампочках, недостающей туалетной бумаге, завтрашней зарплате.

Но стремился я в кухню, к тарелке с чужой вишней аморели с мало-кислым, неокрашенным соком. Грустно было ощущать внутри подобное невежество, но вишневый зуд оказывался сильнее моей личности. И хотя сам Господь надзирал за вальсированием, едва ли он мог сейчас растолковать мне некоторые положения Священного Писания. Как мужчина неосознанного возраста, барахтающийся в безответственности, я взволнованно сворачивал в кухонные врата. И покидал меня крест, улетая в небо. И гулко, как река в преисподней, гудела хрипая вентиляция. И отводил глаза в сторону Бог, не желая видеть вишневое воровство и вороватое оглядыванье.

Вишен оказалось столь много, что хватило бы на всех. Мелкие косточки равномерно ложились в урну, исчезая в мелком мусоре. Целлофановая сумка с яблоками, каждое из которых возникло здесь из греческой мифологии с надписью “найпрекраснейшему”, также не давала мне покоя, временно отошла на второй план. Я забирался в белый налив с четкостью кремлевских курантов. Я скромно вытаскивал по одному яблоку и не более. Богиня раздора Эрида намеренно подбросила фрукты на свадебном пиру духа и честности. Теперь началось вишневое безумие. Истинно тенью, скорее силуэтом, абрисом вырисовывался я то там, то здесь, нервно дожевывая кроваво-бурую вишневую массу.

Мастер, создающий силуэтные портреты, именуется он силуэтист, задумался грустной думой. Мастер творил мой силуэтный набросок, но не находил стержня. Он не улавливал логики в моих действиях. Он не видел перспективы и великого смысла. То яблоки, то вишни, думалось ему, как же быть? Но яблочные плоды отошли в сторону. А поведение не изменилось. Словно потаенные проповедники самообмана одолевали бедного меня. Словно антихристики рассеивали свое зловерное учение. Закостенелое невежество ничем не отличалось от мелкого воровства или того же отступничества от веры. Вселенская стыдоба накатывала и затихала в душевных пустотах. Вездесущая и голосистая совесть про-

катилась по офису голосом шефа, предлагая чудесную сочную дыню из рода огурцов. Однолетняя бахчевая культура, окультуренная в Средней Азии свыше 2 тысяч лет назад, повеяла сухим, горячим воздухом далекой пустыни, утолила сахарами и соками, отдавая “бекмезом” — медом, рождающимся из золотистой мякоти.

“Делиться нужно?”, — спросил я генерального директора, после чего нашел верное и остроумное решение. Я спрятался на кухне, впитывая и множа самый дух личностного раскола, накрошил гору желтого дынного месива. Боясь кревоугодной конкуренции, подражая неразумной свинье, я набросился на лакомство. Где-то очень глубоко замаячила гуманная потуга угостить Костю Соловьева, но кревоугодь и злоба, слушать ничего не желали. Очи души страдали саркомой. Слух не воспринимал божественный голос совести. Едва я успел замести следы дынного преступления, как возник Костя Соловьев. Мне подумалось, он заметил гору дынной кожурь в урне.

Оставалось прекратить делать глупости и выгть по-дьвольски. По свидетельству святого Антония, враг всех людей может испортить поэта, но он не может создать поэта. Дьявол может выть, но никогда не запоет песню. В ту пору я ощутил себя сторонником силы тьмы и содрогнулся от ощущения нечистоты душевной. Спасительное явление первого заместителя принесло благусть в мою неправую позицию. “Толя, вишни тебе, яблоки в пакете тоже для тебя...”. И ангелом упорхнула вдаль, уронив крыло святости испытателю судеб человечества. И пошла кроткими шагами по необозримым финансам, легкая, как Муза, звонкая, как весна...

Пальто

Бледная луна в утреннем небе светила необыкновенно, суля надежду на нечто непредсказуемое. Обманывать себя не хотелось, гадать было не к лицу и не по чину, а прорицатель из меня весь вышел. Мечталось заглянуть в будущее, хотя бы несколько ближайших часов. Все вокруг только просыпалось в пронизывающей прохладе уходящего февраля. Все мое тело, покрытое пупырышками переохлаждения, зябло в старомодной куртке. Молоко редкого предрассветного тумана пробирало сыростью, холодило одежды изнутри. Душе явно не доставало идеи, проповеднического жара. Душа явственно ощущала в глубине сотворение дидактического произведения ораторского типа, выполняющая внутреннее требование нравственного и духовного порядка, или пробуждения. В духе одного из главных жанров средневековья, в стиле в древней русской литературы — в проповеди Кирилла Туровского. Странно, но я чувствовал силу именно в этом направлении, просто изнывая от жажды религиозного поучения, в мечтах произнося витиеватые фразы в облачении священнослужителя в конце литургии.

Наблюдение за тающей луной по дороге на работу доставляло воображению разнообразие. Утиные выводки со стороны пруда напоминали о радости бытия. Представители рода водоплавающих птиц, кажется, передо мной мельтешили чирки, поражали яркой окраской оперения самцов. Обитатели пресного водоема, так мне думалось, в сложной гамме утинового общения уведили меня, всегда забывающего прихватить на прогулку ломоть хлеба для благотворительного кормления представителей очаровательной фауны. Всего мгновение я наблюдал их сложный ритуал ухаживания, прежде чем двинуться дальше. Последние звезды, эти светящиеся газовые шары, подобные солнцу, красились в невидимый цвет, все еще забавляя меня на границе юношеского возраста моего второго пришествия (я побывал в состоянии клинической смерти). Недолго меня приютила ближайшая к земле звезда Проксима Кентавра. Выхватывание реальности приостанавливалось тяжбой с пассажирским многолюдством, страхом опоздания, исторической борьбой с неизменяемыми вещами. Например, с тем, что все в автобусе не там стоят. Или же с желанием отомстить гражданину не столько за оттаптывание ноги, сколько за пачканье обуви. Детское видение вещей мира преподносило достаточно сюрпризов внутреннему ожиданию чуда или чего-то на него похожего.

Волевое школярство — вот что мог я противопоставить не агрессивной и вполне доброй красоте суетного мира. Я, кто всеподробнейше по-пластунски еще раз прополз исповедально многие памятные пути. При этом, обретая полнобытийственный смысл полноправного человека. Один шеф понимал, о чем идет речь. Скажем, проникал в суть внутренних изменений лучше других. Смеясь от каждого значимого жеста, дивясь моей неокостенелости, наполненности энергией Первосоздателя.

Волею небес, шеф входил в офис с огромным пакетом. У меня от нетерпения и хорошего предчувствия тревожно забилося сердце. Можно сказать, умеренно затахикарило, увеличив частоту сердечных сокращений от нервного напряжения.

Охваченный сочным воображением, я молниеносно провертел в памяти многие и неожиданны уместные подарки от генерального директора. И отнес их к смиренному служению фирме. И посчитал, я достоин более дорогих и частых презентов. С каких-то пор я, обнаглев, начал принимать сюрпризы как должное. Явление начальника я воспринимал как приезд дяди в детстве, сопровождающийся пикантной шоколадкой.

Шеф умел радовать сразу. В такт движению, не останавливаясь, он положил, скорее — бросил на мою столешницу то, что я предчувствовал еще утром, глядя на прозрачную луну. Истины одной из трех мировых религий — христианства посыпались из сердца моего, не желая оглашаться простой человеческой благодарностью. Участие в косвенном таинстве, напоминающем о чудесности Божественной благодати, при-

общало меня к смирению. Оставаясь в пределах школьной риторики, я выдавил несколько междометий вперемежку с восклицанием и восторгом, но в напыщенных формах классического ораторства глухонемой. Моя внутренняя риторика быстро проскользила этапы исторического перевоплощения в поэтику, стилистику, преодолевая общелитературное, лингвистическое и философское значение термина. Я не задумывался об условиях и формах эффективной речевой коммуникации, предпочитая музыку как прямую аналогию ораторской речи и ее вершину — молчание. Я возненавидел рабочие проблемы, звонки и служебную этику с ее центральной проблемой добра и зла. С ее основами, начиная от Аристотеля и стоиков, включая учение о субстанции и ее модусах Спинозы, минув науку о должном в системе И. Канта, вспоминая противovesную материальную этику ценностей М. Шелера и Н. Гартмана... Я мгновенно вжился в волшебную ткань. Боясь, что мне снится сон, страшась, что сон вдруг прервется и пальто, чудное, немецкое, модное, черное, очень-очень дорогое кто-нибудь выхватит и вроснет в него своей нелепостью. И не сбудется чайнье моего внутреннего ребенка, остановленного в развитии на уровне скудности отроческого гардероба.

Итак, пальто, в бесчестных наименованиях, чисто египетская Иссида — “тысячеименная, о десяти тысячах имен”. Звенящая бесподобная вещь, каких у меня от роду не водилось.

Какая стала мороком, блестела даром божьим, желанной, выстраданной благодатью. Но шеф, хорош, спрашивает шутейно: “Наверное, не подходит, давай кому-нибудь отдадим.”

Нет уж, быстрее Родину продам, приму иное вероисповедание, превращусь в верного мужа, откажусь от футбола, нежели расстанусь с мечтой всей жизни. Все, отринув, жду окончания дня. Несмотря на обильный снегопад, надеваю бесценный дар, хоть раз в жизни, да с чувством нормального чувства собственного достоинства и удовлетворения. Но снегопад густ и никто меня не замечает. Любимая жена просто шагает рядом, сражаясь с внутренними противоречиями, загружая меня ревнивыми намеками, держа меня под руку, обильно обсыпанную мелким снегом, дразня Дедом Морозом. Не замечая дикихвинных изменений в облачении, не подозревая истинности образа, личностного возвышения. Ни слова не вымолвив о пальто...

Поиски гарантий

Красный куст дремал под сырым утренним небом. Ранняя апрельская листва блистала неповторимой свежестью отрочества. Низина подернулась пронизывающим туманом. Ползущий майский жук посуетился на мокрой тропинке, зябко скользнул под широкий прошлогодний кленовый лист, разрешая любые противоречия по поводу потепления.

Червонный красавец неизвестного мне вида отвлекал тягостные мысли. Пурпурный представитель необъятной флоры явно тяготел к моей душе, точно понимая мое внутреннее состояние позднего жениховства. Почти всерьез я намерился взять в жены девушку младше меня по возрасту вдвое. Уязвимость душевного противоречия целиком и полностью заключалась в поздней влюбленности, в возрастной слепоте, в чувственной эйфории. Дымка низины продолжала мои заблуждения, а рассуждения обрекали чувственность на воображаемые страхи.

Полыхающие безлистые ветви как бы расширяли мое медитативное пространство, как бы заговаривали смысл, и были тем, кто расширяет перспективу. Римляне так именовали полководца, присоединителя новых приделов. Так что пылающий мой собеседник то появлялся, то пропадал в молочном прозрачном тумане, слегка меняя оттенок. Мой добрый предводитель звал за собой в глубину лощины, к забытому пруду, к свободе утреннего природного целомудрия.

Меня следовало бы стегануть розгами по мягкому месту, а линейкой оттягать по затылку, чтобы привести в чувство. Моя бесперспективная боязнь за потенцию, за будущее, за еще не наступившее материальное благополучие раскаляли меня докрасна и роднили с ветвистым стройным братом. При необыкновенной внутренней силе выражений и сомнений, я трезво и методично опросил всех без исключения знакомых, выводя нечто среднее, чуждое душевным колебаниям. “Да брось ты об этом думать, — таково среднестатистическое резюме, — путь бабы ломают головы...”, — чем частично рассеяли тревогу, унося ухмылку, продолжая держать улыбку, провожая меня взглядом из-за хитро прищуренных век.

Умею же я держать самое себя в постоянном напряжении, не позволяя ни минуты скучать в сухом изложении догматических или нравственных постулатов. Так я подумал и удивился столь долгому пребыванию в сыром, но очень тихом месте. По словам Леонардо да Винчи, где окрик, так нет места истине. Я медленно вспоминал великих мира сего, известных деятелей искусства, бизнесменов, рядом с которыми находились молоденькие жены. Так чем же я хуже их? Но кто-то обличительным голосом, не потрясающим, но грозным, отчески укоризненно перечил из гушины стыдливого куста. Он выплывал максимы Спинозы: “Не плакать, не возмущаться, но понимать”.

Окрик окриком, а решение принимать мне. Я медленно двинулся суглинком тропинки, все время, помня о таящемся под кленовым листом жуке. Каждую минуту, ища ответ в дальних колокольных звонах церкви, заикливаясь на выражении Малларме “всякое мастерство леденит”, повторяя словосочетание снова и снова. И отчего-то радуясь отсутствию того же мастерства, следя за беспокойной фигурой бомжеватого мужчины, негромко бранящего стоящую рядом женщину. Огненный приятель на прощанье больно хлестнул меня по щеке. Я побрел, один-одинешенек,

неожиданно повеселев оттого, что третьего дня я успешно удовлетворил в один день двух любимых женщин без каких бы то ни было проблем. Муки смятений обрыдли, я норовил их как-нибудь упразднить, принять какое-то решение. Но ужас будущего старения, мысли об изменах молодой жены и неуверенность в завтрашнем дне, определили мое вечное одиночество...

В храме

Я сгорбился, опустил плечи вниз, принялся молиться. Но, словно “волшебная флейта Пана, заставляющая козлят плясать на опушке леса”, взвеселила мою сексуальность аппетитная женская фигура, скорбно застывшая у скорбной Девы Марии. Окрестности костела, утонувшие в сумраке, предвосхищали имшу. Тут как раз и подоспело явление ксендза, бывшего внутренним голосом самой тишины небесной.

Мой дух еще не бодрствовал, плоть моя не ощутила немощи. Изнемогая в силе похотливой, я напрасно вчитывался, вдумывался, вчувствовался в обращение к Господу. Тщетными оказывались усилия хоть как-то внять вечерней службе. Ничего, кроме широкой равнины полузаполненного костела, никого, кроме Бога и свечей, кроме иерарха прихода не существовало вокруг. Но суть моя склонялась к изящной женской фигуре, следуя первозданному греху, прелюбодействовала в сердце своем. Очи мои вонзались в женскую плоть чуть ниже пояницы, созерцая божье творение как таковое.

На слабо освещенных сводах мерцала вифлеемская звезда. Грустные глаза Иисуса с картины смотрели в мою сторону из глубины веков. Очертания здравомыслия обозначились, воспринимая прозрачность бытия. Страсть моя, ухватившаяся за реальность, сквозила повсюду. Никакие предложения оставить грязное дело и обратить внимание на произведение духа и благодати, не достигали ушных раковин. Привычный человеческий материал обуял меня целиком. Явная художественность обманывалась жадным взором искусителя, чистая потенция вдохновляла спящую слепоту.

Это глупейшее, двойное, слушанье и виденье делало меня больным и расслабленным, разволнованным и похотливым. Это длилось чистое безумие предаваться в храме волнующим воспоминаниям, порождаемым не той женской фигурой, молящейся слева. Почему-то энергия, сложенная в первой поре свежести и крепости сил, вновь возобладала над разумом. Я не примечал настоятеля. Я не обращал никакого внимания на тех, кто с чистым сердцем и открытой душой молился рядом. Голова моя, словно парализованная, смотрела влево. Темнота стустилась. Святые образы засияли ярче. Отчетливо доходило до моего сознания содержание имши. Легче дышала моя грудь. Я не видел больше никакого имени, кроме божественного творения.

Неожиданно случилось то, чего я никак не ожидал. Как только я на минуту пришел в себя, рядом присела та самая девушка, понравившаяся мне со спины. Я украдкой рассматривал дивное создание, оказавшееся не таким уж привлекательным в непродолжительном времени моего придуманного увлечения. Согласно воле Творца, я каялся и принимал временное монашество. Дабы распространять христианские положения моему внутреннему язычнику в духе евангельском.

Личная ревность и внутреннее призвание возымели действо. Темный сырой ветер, треск полыхающих свечей у подножия девы Марии, очаровательная соседка не препятствовали духовному настроению. В моих чертах уже преобладали черты умеренности и справедливости. Красота, воспринимаемая чувствами, сделала свое дело. Телесное зрение уступило зрению очами души. Тяжесть языческого мрака отступила перед святой верой небесной. Слезы умиления брызнули из моих глаз. Стыдясь своей слабости, я скоро двинулся к центральному проходу вправо и, не оглядываясь, вышел на улицу через главные ворота, все еще ощущая стыд и унижение перед Высшей милостью...

Лекарственные травы

Я устроился в 28 аптеке плотником по совместительству. У любимой и любящей Людмилы. Вечером, когда надвигались зимние сумерки, когда время основной работы завершалось, душа моя издавала крик радости от жажды встречи с милой женщиной. Потный и взлохмаченный, я принимал душ, выпускал выдох и начинал думать о счастье, трясясь в 28 автобусе, спеша к 28 дому, в полных двадцать восемь лет от роду. По иронии случая аптека значилась под тем же номером.

Я возник перед заместителем директора аптечного заведения, а это была моя любимая, молодой и привлекательный и неожиданный, и угодный богу, потому что действовал. Любя искренне и чисто, впервые в жизни, страдая по-настоящему. Влюбленность не принесла душевной свободы по нескольким причинам. Мы оба состояли в браке и, стало быть, вели себя нечестно. Мы жили по соседству в панельных домах, поэтому мы все время ходили по лезвию бритвы, зависали над пропастью разоблачения, рисковали предстать перед тысячеглазой ревностью моей жены и ее супруга.

Людмила окатила меня нежностью. Я же растаял от внимания и едва сдержал порыв страсти, охлаждаемый ее внимательным и переменичивым взором. Мое лицо вдруг растянулось в блаженной улыбке. Меня развлекло то, что на листке календаря чернели те же две цифры: два и восемь. Я поделился наблюдениями с фармацевтом моего сердца, и мы достигли единодушия. Но сейчас надлежало жить по тезису сына божия Порфирия "Следует бежать от плоти". Всюду сновали работники

в белых халатах, из каждой щели глазела всевидящая молва. Людмила повела меня в мою коморку вполне в духе учительства Августина, относясь ко мне как к небожителю. На ступеньках в безлюдном месте коснулась моих волос, ускользнув сквозь пыльное стекло в разводах.

Но нельзя долго оставаться праздным. Сделав несколько предупредительных замечаний по предстоящим лютничким вмешательствам, она указала на мешок с пакетами сухих лекарственных трав. Их предстояло мелко рубить острым предметом, напоминающим топор. В убогое подвальное оконце скреблась вездесущая вьюга. За ней переключались нетрезвые агрессивные мужики, непоэтично ругая непослушную винную пробку без ушка. Я державно восседал на деревянном приспособлении, как Тицианов Карл V на лошади, и тюкал острой железкой по летучим сухим стеблям. Ирреальный лекарственный образ расплылся, чисто вымысел в сжигаемом черновике.

Я чувствовал себя идолопоклонником, взирающим на море разлитое трав, манящее, аки купель крещения. Все происходящее противоречило моей благочестивой натуре. Грязные и пыльные полы, не лишённые и бумажного мусора, возмущали, заставили закрыть лицо руками, словно в детстве — в прятках. В коридоре кто-то двигалась по линолеуму, рокошашему, как задушевная беседа. Людмила вошла в тот момент, когда во мне разгорелась жажда покояния. Я со стыдом представил людей, покупающих тщательно упакованные сухие травинки и смеси трав. Я вообразил пожилых и беспомощных пенсионеров преклонного возраста, с верой читающих аптечные каракули на белых фирменных наклеенных листочках, доверяющих волшебной аптеке и ее продукции. Настроение испортилось, душе сделалось худо, чувство вины не высказалось. Отблески моего могучего ума и несокрушимой веры полыхнули в воздухе, изумляя любимое создание. А моя любимая заторопила, что же ты, Толюшка, венником, венником сметай скоренько в кучу и рассыпай по пакетам. Должно быть не менее двадцати восьми пакетов. Я, было, заикнулся о нечистых полах, но Людмила отмахнулась рукой, обронив циничное и не духовное: “выживут...”.

На малом закате

Какой-то мощью веет от наших тучнееющих фигур, от наших возрастных статей в начале воскресной футбольной баталии между командами “Молодые” — “Старики”. Иным, пошучу мрачно, пора собираться на пенсию, а они туда же, носятся, как молодые орлы с неокрепшими крыльями, только движения скорее дряхлеющие, чем юные. Только крепки еще Валера и Толян из Масюковщины. Последнему 57, Валерке немногим меньше. В основном все деды с дюжиной внуков. А Сашке — седьмой десяток — так что судите сами, какой у нас состав, если соперники

в среднем имеют за хрупкими плечами 17—22 года, не считая несколько более солидных, так сказать, “легионеров” среднего возраста.

Какой-то особой демократичностью обдает наше разновозрастное общество утреннюю атмосферу у школы, разминаясь всерьез, стуча по воротам вполне на уровне. Среди ребят, мужчин и стариков скромно затесался и я, не дипломированный учитель поэзии и риторики, поверхностный знаток философских и богословских наук. Пылкий организатор Андрей, он же преподаватель физической культуры местной школы, умело и уместно подстегивает честную компанию, норовящую отлынуть от футбольной дисциплины. Леня ввиду хороших физических данных положительно напрягает любителей своеволия и грубости. Юркий Юра, основной забивающий, часто с моих острых передач, рассеянно переговаривается с “Руриком” (Юрой), весьма и весьма талантливым, но часто пропускающим игры по неизвестным причинам.

Какая-то предтеча с оттенком святости витает в воздухе накануне каждого воскресного матча. В воздухе мелькают жаворонки, наши главные болельщики, ясно разгорается летний солнечный день, медленно подтягиваются сопровождающие нас любители пива и зрелищ. Футбольные невежды, проходя мимо, посматривают на нас скептически. Привольно блистают у дальней кромки поля обильные травы. Каким-то бесом обольщенный, ругает весь белый свет Лешка. Вратарь Кирилл, омраченный меланхолией, в тон ему возмущается безответственностью некоторых игроков, сотрясая голубоватую бездну ясного летнего неба.

Какое же это счастье не учено, не книжно, не словесно парить над землей, растворяясь в божественной игре. Истинно и боги на греческом Олимпе развлекались на досуге, играя в мяч. И все, все, все, кто жил и творил до появления гениальной игры, верно, приняли бы ее чудесное пространство, как прилагательное чудо к чудесности реального мира. Все земное население, от монархов до мирян, от теологов до врачей, от ремесленников до поэтов, от святого до грешника тотально, в помещении и под открытым небом предаются футбольным изыскам. И все равны нематериальным образом в сноровке, ловкости, атлетизме.

А Сережка (сто лет прошло) кричит на генерального директора крупного предприятия, ты, механизатор, здесь ты никто, здесь все равны, давай, бегай, а не команду. А Леня сцепливается с молодым и строптивым семнадцатилетним парнем. А Костя их растягивает. А Ромка, сноровистый и драчливый, печально оседает в тюремное заключение. А Валерка становится жертвой эпилепсии. А Дима по прозвищу вобла (не надо было ему пить водку) в приступе нетрезвой агрессии убивает человека и — 20 лет! А дед, бывший мент, доиграл до 63 лет, пока врачи не запретили.

Молодежь опять проигрывает, мы счастливы. Их вратарь Дима, играющий тренер по совместительству, не в себе. Он идет по пыльной

площадке, браня юных футболистов за нерадивость. Мы же, победители, возвращаемся со щитом, обретая новое знание, сотворив новое деяние, светлое и проясняющее нас самих, самый смысл жизни, неповторимый футбольный путь...

Возьмите меня

С тех пор, как я вступил во взрослую жизнь, я начал искать самый короткий путь к женским сердцам. Мое сексуальное “хочу” нащупывало расположение прекрасной половины человечества на заре и в вечерних сумерках. Я бросался в постели к проводницам в поездах как только они соглашались. Я психологически пронизывал попутчиц противоположного пола в любом виде транспорта, не гнушаясь калек, уродиц, глухонемых, прокаженных, алкоголиц, безумных, старых, страшных, несовершеннолетних и прочих. По истине я числился в высоких архивах несостоявшимся насильником, если не считать психологическое давление актом вандализма.

С тех пор я остался вечным себе переселенцем сексуальной пусты, начиная от родильного перекрестка и завершая первым появлением на жизненной дороге. Тогда я не поцеловался с Наташкой, не овладел другой девушкой, не решился сделать первый шаг на танцах. Внезапная тишина охватила мое сердце, и я бросил якорь в провинции, начав спускаться под жизненную гору. Точно возвращаясь после долгой командировки, я набросился против человеческого обычая на бедную девушку, ища аллегорий и символов, убегая от буквального смысла. Я дарил ей надежду, одинокой матери, рассматривающей меня как сияющее чудо небесное в этом провинциальном вертепе серой непроглядности и беспросветного пьянства.

Буднично и прозаично всходили солнечные дни. Уроки, обещанные мне небесами, уже даны, но пока еще не осознаны. Но уже можно делать выводы из былых приключений. Я неяркая звездочка, оставшаяся вторым номером. Я слабый прозрачный дымок в безлистном — осеннем саду, пахнущий сырой листвой, неразгорающим костром, прелью увядания. Я блудливый пес маленького городка, мечтающий о любви. Я топчу понятия о первородном грехе, прикрываясь простотой, невежеством и притворством. Я прячу воззрения на предмет веры, уклоняюсь на сторону падшего, спившегося ангела, становясь нестрогим в жизни, не твердым в вере, изменяя Тамаре, себе, любимой женщине, ее подруге и т. д.

С монаршьего благоволения я с трудом выживаю в самом центре греховности, облачаясь в невинность, становясь правой рукой слуги тьмы. Я сижу в гостях и ощущаю крайнюю готовность отдаться всякой бабе, желающей просто совокупиться. Нисколько не обуздывая

страстей против всех, кто служит мне препоной. Я хитро и дальновидно вытанцовываю с чужой супругой, но не забываю следить за передвижением ее ревнивца-мужа. Крылья моей романтики напряженны и готовы взметнуть мою плоть в приключенческую суету странных недомолвок, восхитительных ужимок, скрытой неверности. И гора идет к Магомету. И он почитается как пророк. Выходец из рода Бану-хашим племени курейшитов, получив откровение от Аллаха, выступает в Мекке с проповедью новой веры, подчиняя Мекку, провозглашается главой теократического государства. И наступает мое время, улыбаясь старческой улыбкой разочарования от пыток душевных и мучений плотских, от вечных переселений.

И немощь физическая не избавляет мое личное достоинство от мук нравственных. Медленно и нудно скрипит за мной калитка, точно так, как и много лет назад, выпуская меня из дворика на пути-перепутья. Неужели наступает конец жизни моей многомятежной? Неужели устрашающие образы былых грехов, вечный укор (ты себя предлагаешь всем бабам) любимой женщины чередой грезятся воображению накануне главного суда. И произносится: “О, главо, главо! Разума, упившись, куда ся преклонишь?” А вдалеке одна Наташка и другая, обе располнели, счастье свое найдя.

А отчий угол страшно покосился. Но, Слава Богу, жива мама. Одна она и ждет в полумраке вечернем не силой авторской фантазии, не собачьим взбредом о силе и тщете. И вечны мухи, и неповторим сверчок, и улыбки старые тени от ветхого сарая, от пыльного ореха. И неожиданный девичий голосок поет нехитрую заунывную песню, как в день отъезда, точно ничего не изменилось, точно не минула тысяча долгих лет...

Футбол у Фурмана

Удивительный-таки человек Владимир Афанасьевич Фурман во всех отношениях. Наш футбольный тренер, наша надежда и опора. Защитник наших рабочих зыбких позиций. Мучитель и терзатель профкома, всегда взволнованного явлением сурового просителя благ спортивных для нашего блага. А мы-то хороши, тренер за ворота, не шелохнемся на тренировке, ни лишнего движения в двусторонней игре под названием “дыр-дыр”. Две воротные дырки малого размера и никаких тебе вратарей.

Кое-кто поопытней, поиничней, шалит не так уж невинно, запуливают мяч “случайно” срезавшимся ударом за невысокую стену боковой трибуны. Имя его я забыл, фамилию ветер выдул. Так и не досчитываемся футбольного снаряда, притворно глядим по сторонам, рискуем по заворотной траве, прячем глаза в сторону. Отрабатываем чувство вины — у меня самое сильное — добросовестными рывками, Сафонова

не обогнать, ровно метеор, Филипова не обойти, чисто ракета. Присели спиной к тренеру, свисток, координация, разворот, пошел-пошел — земля из-под ног.

Все видит многоопытный наставник, все помнит сын раскулаченной большевиками семьи. Выслали, говорит, на Дальний Восток, а там не жизнь — малина. И ягоды, и грибы, и орехи, и климат вполне приемлемый для организма. В гостинице — хрясь — разбушевавшего мужика правильным, хорошо поставленным боксерским ударом в челюсть! Мы и поныне верим в то, что он занимался боксом и борьбой. В общаге на улице Ольшевского одному бузотеру, как на допросе вопросом в лоб, что здесь делаешь? Тот, живу. Вот и живи, а не то жить не будешь больше. Произнес как-то без страха, я лишь испугался, что придется ни за что, ни про что драться.

Подражая Фурману, я наскоро до его прихода разбираю игру для смеха. Так, Лагута, за игру — четыре, Васюченко — три, Репнев, ну, ты сам знаешь. Все ложатся со смеху, снимая игровое напряжение. После всего “проходимся”, кто по винду, кто по водочке. Толя Синегаяев, гений полузащиты, маг точной передачи и волшебник обводки даже к началу игры приходит с “запашком”. Толя Филиппов с запахом. Саша Мардинкевич, не уверен, но, кажется, тоже не без греха. Прносятся годы и я, некогда фанат футбола, к ужасу своему пробираюсь к раздевалке, отравляя святое место винными парами.

Не все юные дарования раскрываются к выпуску из футбольной академии. Мне понадобилось еще шесть лет, чтобы всеми гранями заиграл потенциал “дикого” футбола, зачудила природная самобытность, заблестала техническая сторона школы при команде мастеров “Шахтер” Донецк. Плод созрел. Функциональная подготовка — совершенна, благодаря индивидуальным занятиям на песке. Я жалко и уныло “сучаю”, полосуя газон попеременно с Васюченко. Не более двух касаний, взял — отдал, получил мяч — освободился от него. Афанасьевич с раздражением — мне — с трибуны, Толя, возьми игру на себя. Боже ты мой, не сохранилось даже записей, даже воспоминаний, кроме моих честных слов. Марадона отдыхает. Восемь человек обвел, кричат ребята, а я их даже не замечаю. А на втором этаже я выпрыгиваю, как Пеле в Мексике со сборной Англии, зависаю в воздухе так высоко, что нападающие спешат удержать меня за ноги.

Так, закончили, проносит тренер заветную фразу, долго и терпеливо дожидается, пока мы примем душ, усаживает команду на пятиминутку и раздает освобождения от работы, подписанные заместителем генерального директора. Я уношу “сюрприз” своему начальству без боязни, помня, что за спиной у меня всегда неулыбающийся, строгий и очень добрый и отзывчивый мастер тренировочного процесса Владимир Афанасьевич.

Через десятки лет я остро почувствовал недовольство тем, что я не состоялся, не раскрылся, не реализовался до конца, порой, изнывая от непростения самое себе, погружаясь в обидную пучину саможалости, как все непризнанные гении своего дела...

Запасной

Я наблюдал беспорядочно-скучные передачи напарников по команде с трибуны не как травмированный игрок, но как запасной полузащитник. В чистом небе медленно плыли раскормленные жарой тучи. Нескошенные травы за воротами молились солнцу, клонясь к земле. Я, потерявший былую блистательную форму по причине женитьбы, отлучения себя от футбола, безответственности, непонимания текущего момента, изнывал на полупустой трибуне, разбитый жалостью к себе и обидой. Новый тренер, не знакомый с моей “звездой” в лучшие годы — прошло всего лишь семь месяцев — видел во мне крепкого — надежного деятеля золотого запаса.

У ног сонно парились мячи в сетке. Босые ноги, свободные бутсы, опущенные гетры — видано ли — каждая деталь амуниции напоминала мне о моем унижении. Пройдет много лет и я с сожалением отмечу мучения и потуги знаменитого украинского форварда Андрея Шевченко, усаженного на скамейку запасных в лондонском “Челси”. Тщетно великий киевский форвард, бывшая звезда итальянского “Милана”, некогда лучший нападающий Европы, пытался влиться в игровой процесс после выхода на поле в середине второго тайма. Он виделся как бы психологически надломленным.

Еще раньше в дублирующем составе донецкого “Шахтера” я наблюдал тихую “войну” диспетчера горняков Анатолия Конькова и приезжего полузащитника такого же класса Севидова. Я запомнил отстраненное выражение глаз легионера из Москвы, скучающего в качестве второго номера на трибуне с чувством ярко выраженного недовольства. Тогда Коньков “съел” чужака, да и высокопоставленные руководители донецкого футбола предпочли своего доморощенного, который, конечно же, предал и доверие, и авансы.

С какой радостью я встрепенулся, услышав свою фамилию из уст раздраженного тренера. Толик, выйдешь вместо Репнева, полукричал молодой творитель футбольной тактики с соседнего мини яруса. Если бы я знал наперед о предстоящих в коротких футбольных веках злоключениях. Такой вот замысленной небесами вышины и глубины. Разбуженные окликом тренера поднимали головы редкие болельщики, рассматривали меня с явным интересом. Скрывая ту же радость, я готов был красоваться до позднего вечера, лишь бы не появляться на газоне. Неуверенность

в собственных силах одолевала невыносимой тяжестью. Люди толпились у выхода, поругивая команды от недовольства. Многие знали меня как мастера любого игрового фрагмента.

Мое собственное небо сделалось еще жарче. Мяч никак не выкатывался за линию поля и я долго не мог дожидаться разрешения судьи ступить на травяное покрытие. Новая неизвестность, предшествующая выходу в основной состав, сбивала неровное дыхание нахлынувшим волнением. Это гадкое чувство — отсутствие веры в себя, быстро превращает ноги в ватное изделие, а тело в шарнирное уродище. Но перед тем, как водится, вроде анекдота. Девушка с трибуны произнесла достаточно громко, красивый мужчина. Не знаю в чей адрес прозвучали слова, но судья дал добро, мир отключился, все в округе затихло. Я же думал о близкой и далекой незнакомке.

И я побежал в точности тот, который хаживал не так давно в футбольных героях, который мог терзать оборону до полуночи, не прося откусать ломоть хлеба, не пытаюсь утолить жажду глотком прохладного вина. Но прежде, чем потчевать себя угощениями, я бросился в самую гущу обороны, помня о высмотренных слабых местах. Сашка Шляков неожиданно затолкал мяч в ворота, не забыв отметить мою неплохую передачу. Затем он щедро налил мне после игры несколько стаканов спиртного напитка неизвестного происхождения с такой моралью впридачу. Сегодня ты молодец. Я, помню, очень обиделся, перепутив в опьянении веселье, плач и песни...

Как спорили Анатолий Юрьевич и Анатолий Никифорович

Я отнюдь не застенчив, он далеко не многословен. Я не умею скрывать радость постижения бытия, улыбаюсь по-детски, хохочу наивно, восхищаюсь простодушно. Он же умозрителен до пророчества, раздумчив до мудрости, самоуглублен до классической самодостаточности. Его мысли будятся моим скромным вторжением, точно окрыляются, точно-точно видят далеко, смотрят высоко, знают много-много, точно — устали, зарокотали ровно и основательно. Клянусь сборником стихов “Белым-бело”, где я провел модернистские эксперименты с формой, словом, рифмой, я слышу течение его размышлений. Движение ровное, как Волга в тихую погоду, широкое, как великая древняя русская река Ра, приближающаяся к устью во всей своей мощи, как могучая и великая средневековая Итиль в неодолимом стремлении. Он смотрит со своей Валдайской возвышенности и наблюдает волны Каспийского моря, образуя поэтическую дельту. Своим движением он дает жизнь множеству оттоков, охватывая площадь целого государства. Его поэтическая река

глубока и судоходна, она соединяется со всей поэзией России и всего света. По водной глади скромно хожу в свой лодчонке и я.

Юрьевич Анатолий, растревоженный редакторскими потугами, грузно поднимается за ручкой и очками, усаживается на диван, подобрав левую ногу под правое колено, углубляется в мои творения. Вирши мои окружают его, дружески хлопают по плечу, ерошат еще не седые волосы, ошеломляют количеством, свежестью, неожиданностью, растекающимся талантом. Поэзы летят с небес, стучатся в форточку, лезут во все щели, продираются под дверь, протискиваются в замочную скважину. Он же ведет себя так, словно всю жизнь ждал этого момента. Он радушен и гостиприимен, словно мы не виделись лет тридцать. Лишь ворчит скорее равнодушно, чем участливо: “Опять тонну стихов принес...”.

Разбереженный участливым говором, я поднимаю голову и начинаю оправдываться, объясняя его самоуспокоенности, что — нужно работать на 99 процентов независимо от таланта, данного небесами. Я защищаюсь с полминуты, пока он вместо ответа роняет едва слышное: “Я же не могу читать и одновременно отвечать тебе по- существу...”. Но мне не терпится, ровно бродячему клирику накануне дармовой выпивки. Мне, как и любому сочинителю, крайне необходимо внимание к собственному творчеству. И хотя я принес ему черт знает какой поэтической бурды, детско-имперские амбиции равнозначны и капризны во все творческие времена. Он предлагает мне испить штоф творческой сдержанности, но я предпочитаю разгульное веселье всеохватности и ненасытности самовыражения.

Однако, какова гулянка, таково и творчество. Я, бедняга, жертва эмоциональной карусели, путаю грамматический род, неверно ставлю ударение, иногда, уличая и его в редакторской поверхностности. Он пытается заключить меня в тиски вовсе не грамматических склонений, нет, он требует, просит, назидает, укоряет, советует распевать свои песни только в болючие периоды, в страдательные переживания. Высокий архиипита как всегда прав, вагант вечности, как правило, непогрешим в своих суждениях, он, что верно метафорически, голос моей совести, страдающей хронической глухотой. Глаголет его глас не громко, но пророчески. Пророки, как известно, проникают всюду беспрепятственно, особенно в темноту самонадеянных заблуждений, подобную моей.

Но все затихает. Я нетерпеливо держу паузу. Я изнемогаю от набегающей болтливости. Он молчит себе как тот Толя Юрьевич, владелец света и укротитель тьмы непоэтической. Как бессловесное течение той же родимой Волги. И, опять же, клянусь короной короля рифмы и тем же сборником “Белым-бело”, 2000-ми оригинальных рифм. Бытие его густо замешано на земле и глине как и подобает подражателю бога. Дальние страны, непройденные дороги, родные просторы мелькают в

его печальных глазах. Они видятся и слышатся в его же переводе сквозь мои всепитейные исповеди нескончаемых эмоций, сквозь зеленоватый оттенок его отстраненности, тянущиеся далеко до темного горизонта и дальше, за очертания таинственных курганов поэзии к небу, на собрание мужей вечности, на праздник языка богов.

Сто метров

Я пробегаю это короткое расстояние ежедневно перед работой — вот уже десять лет и один день. Я долго ищу хоть какую-нибудь замену утренней зарядке, хоть маленькую компенсацию ограниченному образу движения. В далеком прошлом остались обязательные оздоровительные, поддерживающие физическую подготовку кроссы, прогулки-фантазии, допустимые в праздные времена свободного времяпровождения. Отныне я как народ. Вот уже десять лет и один день я, как все, фиксированно хожу на предприятие к восьми часам, изнемогая от недостатка движения, выискивая разные способы поддержания уровня эмоционального равновесия.

Я оригинально одолеваю холодное и ветренное пространство, пересекаю многолюдное встречное движение, шурша сырым осенним асфальтом. Я жуть как боюсь встретить знакомых, родных или приятелей. Мне неловко и стыдно оттого, что бегу трусцой в дорогом костюме, модных туфлях. Мне неудобно, что меня видят мои друзья-приятели из соседней фирмы, курящие накануне смены. Любому, кто спросит меня о причине такого бега, я мысленно готовлю точный, вразумительный, полный агрессии ответ.

Но только ветер холодит мое лицо. Только прохладное и неласковое солнце изредка по рассветному заглядывает в мои инфантильные очи, хохоча пронзительным лучами. Топ-топ-топ слышится, сдается мне, до северных морей, до южных гор. Стук-стук-стук и дребезжат окна, думается мне, просыпаются недовольные молодые мамы, укачивающие младенцев, вздрагивают неврастеники и психи, шизофреники и неопохмелившиеся братья по отсутствию разума. Сейчас они всем миром откроют балконные двери, распахнут форточки, возьмутся за руки и завладеют моей юной душой. Или хуже того, засмеют на глазах у всех, у Гены, который не бросает курить с раннего утра вот уже седьмой десяток лет короткой человеческой жизни.

Что-то веселое, удалое, лихое, безмятежное есть в бесконечной моей спешке, в нескончаемом бреде отношений, в ожидании встречных и случайных вопросов, избегании вопросительных взглядов. Лишь ясная лазурь, мелькнув в густых облаках, подмигивает мне заговорщически, лишь гуляющий пес с грузным и медленным хозяином проводят по мне внимательным взором и равнодушно семят дальше по росистой обо-

чине, по хорошо выкошенному разнотравью. А длинный жилой дом, ускользящий в обратном направлении, молчалив и нетронут жизнью, тиха его тыльная сторона, пусты его балконы, равнодушны его окна. Лишь далеко маячит Гена, отвернувшись в сторону востока, предстая мне спиной, курит свои сладкие дорогие сигареты, окатывая себя дымом, местную неблагоприятную экологию и весь белый свет.

Я пребываю в некотором испуге от вчерашей встречи с коллегой по охранному ведомству из соседней организации. Сутки вспять я спешу таким же макаром, деля встречных раскольников на чернецов и черниц, уходя таким чином от реальности. Из боязни посрамления, я уклоняюсь от состязания с самим собой, пока не раздастся знакомый и укоризненно поддевающий голос знакомого, в тон мне имитирующий мое мельтешение. На сердце плохо, на душе тяжело, общее настроение падает, обостряется чувство неловкости сложившегося положения. Коллегу я ненавижу, перевожу его в разряд хрюков, достойно не отвечаю, отчего чувствую себя скверно.

Настроение у меня портится на весь день. Упадническое состояние духа ухудшается после звонка сестры, слушающей мои горести без сострадания, поддевающей меня язвительно, возможно, без умысла. Она весело хохочет вслед завершенному монологу, чем ставит крест на нашем приятельстве. Гена, тихо переминаясь с ноги на ногу, добывает глупую сигарету, наконец замечает меня, широко улыбается, двигается навстречу. Еще не зная, видел ли он меня бегущего, я беру ровное дыхание второго номера и оправдываюсь, заговаривая ему зубы. Смутно, вороша, наше далеко-далекое футбольное прошлое...

Дай милостыню

Облака темнели, желание падало, впереди маячила встреча с юродивыми и нищими, блаженными и другими служителями благодати. Думанье сходило на нет от жадности, от невозможности осмыслить текущий момент. Настроение не строилось, не создавалось, опускаясь до отрицательной отметки. Мне предстояло пройти горнило духовного развития, отделение чувства вины. Кагорта божьих воинов ожидала меня в обозримом отдалении, стуча костылями, трясясь немывтыми плотями, блистая ветхими одеждами.

Облака застилали слабо согревающее солнце конца августа. Тепла не доставало для просвещения духовного, для преодоления странной стыдливости перед возможностью расстаться даже с очень мелкими купюрами. Качество это продолжало благополучно жить и процветать в моем сердце. Всякий раз, пробираясь мимо нищих, застывших как древние памятники некоей поэтической быти, я истязал и совесть свою, и нравственную жизненную позицию, и тем не менее, не мог прийти к

внутреннему соглашению. Всякий раз я чувствовал смутную опасность, исходящую от уродливых, неухоженных фигур.

Они беспрепятственно владели вотчиной моего сердца, вызывали чувство необъяснимого страха и тревожной почтительности. Возможно, их предки служили воинами у великих полководцев, может быть, они брали свое начало от людей воровских, от беглой татьбы. Всякий раз они действовали на сознание удручающе, как дикая нескончаемая степь, как полчища несметных орд, как сила более могучая, чем моя вера.

Я зашагал быстрее. Я не отрывал глаз от неподвижных приближающихся фигур, беспрепятственно одолевающих меня смятением на значительном расстоянии. Я всегда давал весьма скудное подаяние в Подлунной, полагая, что живу, может быть прозябаю, но в божественной полноте. Но в полной божественности. Просящему дай. Но сколько? Просящему оторви от сердца, а не переведи по безналичному расчету государственные деньги. Но те, одиноко и скопом стоящие напротив храма, вроде и не просят, будто бы просто стоят, неучи неучами, но постигают верою такое, чему ни за что не выучиться.

Полосой человеческих деревьев темнели они поодаль, вызывая, выдирая, заставляя переживать трудно переживаемые чувства. Душа моя ощущала глухоту, она не умела дарить, отрывать от сердца, расставаться с ничтожными материальными благами без сожаления. Я ужасно страдал в двойственности безжизненной, в корявости неестественной, трудно передвигаясь в сторону нищеты, перед которой ничто и книжечество учительское, и богатство ничтожное. Усиливающийся ветер разметал легкомысленную пыль. Я страдал от преобладающей неосознанной алчности, от невозможности жить легко и открыто, быть щедрым и добрым.

У врат нищенствующего чистилища у меня задергались ступни ног, я внутренне запросил небесной помощи, призывая небожителя. Я возненавидел серую массу худых и нескладных фигур, напоминающую выставку мощей. Они просвечивали меня насквозь, не оставляя ни малейшего шанса на сопротивление, на собственное мнение. Я тупо рассматривал пыль под ногами, чувствуя себя глупее глупого, пораженный тяжким бедствием — внутренней жадностью. Приступы неврастения посещали меня одинаково ровно и при щедрых подачках и при скупом воздержании от подношения. Я начал понимать, милостыне нельзя выучиться просто так, как невозможно повторить падающий дождь, каплю росы, радугу.

Я сосредоточенно увековечивал сие знамение молитвенного прошения, переводя внимание на золоченные купола, на благовест по случаю Успения, ощущая в ладони горсть святой воды, не проливающейся между пальцев. Купюра на моей ладони лежала достаточно серьезная. Я впервые без сожаления опустил немалые деньги в шапку широкоскулого

небритого мужа с необыкновенной голубизной во взгляде. В его глазах просматривалось многоцветное небо с искоркой восторга...

Дом — моя крепость

О чем я мечтаю, пребывая в восхитительном из чувств — ощущении защищенности? О чем думаю, коротая безмятежные околошахтные будни, полные острых стеклянных бутылочных осколков, смертельно опасных соблазнов, лукавых воровских путей? Что хранит меня, забирающегося на терриконные зоключения под беспощадно катящуюся породу? Кто увлекает мысли в бревенную гущину лесного склада, норовящую рухнуть, давя всякого, кто на пути? Что бы не происходило, где бы я не блудил, как правило, без разрешения отца, я подсознательно помню, за спиной меня ожидает надежная опора, каменная крепость, отчий рубеж и оплот.

Наверное, об этом я помню за синими ставками, за ковыльными горькими лугами, за страстно шумящими чащами камышей. Конечно же, только и только о доме отеческом теплятся думы мои отроческие, о заводи детства радеют помыслы несмышленные в моровую язву и нашествие саранчи, во время владычества монголо-татарского ига, в эпоху наполеоновского вторжения, в период немецко-фашистской агрессии. Что бы не происходило, отчая обитель имеет славу вечную в сердце моем. Прибежище моего восторга и защита моей печали, плач души уязвимой и смех плоти безмятежной.

Высокое значение обретает дом наш на поселке. И тем, что первый телевизор покупаем мы, Сендеры, и тем, что отец выбирается председателем поселкового совета, и тем, что участок наш располагается у большака, соединяющего шахту “Лидиевка” и одну из окраин. Набираю силу и я милостивым вниманием самого Никифора Степановича, всеобщего любимца, могущественного главы семейства.

Не могу похвалиться особенным рвением пред очами родительскими. Скорее наоборот, перед родителем я ощущаю угасание внутренних сил, действий, желаний. Но это пустяки рядом с неповторимым чувством защищенности, исходящим от каждой пяди огромного приусадебного участка, каждого пролета ограды, каждой половиной доски. Сонная безмятежность царит на медленном времени, на червонной крыше, на густом крыжовнике. Особенная родная тишина истекает от колющихся, неудобных для лазания, абрикосовых деревьев, щедрой шелковицы, кисло-сладкого винограда.

Если медленно спуститься с невысокого крыльца и неспешно шагать направо, мимо собачьей будки, к калитке, то не выдержишь, обжигаешь подошвы детских ног горячим асфальтом, задыхаясь в момент непродыхаемого марева, кляня пекло, свернув в ореховую тень — за хату.

Здесь, в относительной прохладе, катайся на визжащих качелях, у кого еще есть такие, тянись на ржавой прержавой трубе неказистого турника, гляди в редкие штaketины за сонными поселянами, бредущими с полными сумками из магазина, за детьми, сосущими тающее мороженное, за перекатыванием почти прозрачного раскаленного воздуха.

Есть тупики и похуже, но тут никуда не деться, ни за что не спрятаться, разве что в подвал, если совершить эмоционально-поэтическое воспроизведение. Много лет отзываются на здоровье близкой родственницы подвальные прохлады — радикулитом несусветным, бронхитом неожиданным.

Все отвеснее и опасней становится житейская дорога, все дороже и милее мне дом крепость, в котором невозможно найти общий язык с мятежным родителем, со скандальной обстановкой, с неустроенностью, неуютом, бездуховностью. Уже не радуют красноватые стволы яблонь и груш, не привлекают гулко падающие сливы, не вдохновляют скучные выяснения личных отношений. Но почему я все время мечтаю вновь и вновь увидеть мою единственную и надежную крепость, почему я скучаю по ней и каждый раз взволнованно тороплю поезд, печалюсь воспоминаниями...

Мини грехи

Практикантка Настя, молодая, красивая, духовная, выразительно смотрит на меня от ксерокса, рассуждая о высоком и поэтическом. Я для нее поэт и писатель, значительная и загадочная фигура, объект интеллектуального внимания. Я для нее существую как собеседник мужского рода, ровесник ее начальствующего папеньки. Как известно, ровесники родителей для девочек бесконечно далекие и старые мужчины. Поэтому Настя никак не воспринимает меня с точки зрения женского любопытства, наблюдающего объект противоположного пола. Девушка говорит о существом умно, самодостаточно и немного лукаво. А я стою вполоборота по отношению к собеседнице, втихую отрывая несколько мешков для мусора в воскресную хозяйственную текучку для собственного дома. И стыдоба окатывает меня с головы до ног от мысли, что утонченное очаровательное существо вдруг проникнет в мои мысли и увидит мою истинную суть.

Дурные урны

Временно — в снежный период, я убираю дневной офис, кляня многолюдство толпящихся посетителей страховой компании. Я мечтаю, чтобы они поскорее убрались на другие площади, хотя ребята и девчата у них славные. Я грежу о том времени, когда ни одна душа не потревожит

мой обеденный перерыв, постоянно разрываемый явлением граждан. К тому же люди привносят на чистый плиточный пол офиса грязное наследие простуженной не солнечной погоды. Главный муж фирмы велит мне следить за текущей чистотой. И вот я играю супер современной шваброй, словно малолетний ребенок игрушкой. Я протираю ежеминутно возникающие следы, испытывая к страховщикам все большую неприязнь, резко переходящую в ненависть. Я начинаю роптать, но шеф предупреждает: “Не выделывайся, убирай за доплату, не то будешь бесплатно мыть...”. Я проглатываю замечание, вспыхиваю антисмирением, ропщу в воображении, возражаю, бросаю резкие слова в лицо и увольняюсь. А в реальности, посинев от гнева, побагровев от накотившей ярости, тру ненавистные грязи в горделивом уединении...

Премиальные

За что-то генеральный собрался депримировать мою скромную особу. Моя и без того невыразительная зарплата — ее не разглядеть даже в самый крупный телескоп — зашаталась, опьянев, осунулась немощным стариком, просыпалась мелким песком преклонного возраста, рассеялась легким сигаретным дымом по больному воображению.

Настроение вслед осознанию повело себя упаднически, прыгая с вершины надутой амбициозности в пропасть нескончаемого уныния. Помнится, знакомец главного строителя по-приятельски ожидал нашего прораба в его же кабинете — в его временное отсутствие. Созидателю крайне не понравилось такое положение дел. Не любя свободолобивого и более умного, чем он, меня, застройщик не преминул сдать меня шефу, конечно же, помня о моем дерзко-возмутительном тоне в его адрес по одному рабочему поводу. Тогда шеф несправедливо снял с меня хлебы засушенные, крепко обидев поэта. Ну, он хорошо знает, что случается с обидчиками художников слова. А тут новая ситуация, новое унижение маленького ребенка за рассеянность в познании мира. Я выслушал претензии, покивал по взрослому головой, но на сей раз отмахнулся хорошо поставленным блоком. “Извините, я в депрессии...”. Генерал высоко оценил правдивый аргумент — оставил мои премиальные в покое...

Обворовывание

На тумбочке из-под салфетки — в домашней прихожей — я заметил краешек двадцатитысячной купюры. Взволновалось, затрепетало мое воровское сердце, моя нечестная и неосознанная, как выражается один мой коллега по духовному развитию, “инстинкта”. Бесхозная “деньга” подмигивала темно-зеленым очами, манила сгибающимся указательным перстом. Вместительная комната закружилась каруселью, денежный

знак вцепился в мое “хочу” зубами, как бульдог, смертельно и навсегда. Я резко отряхивался от липкой банкноты, отмахивался равнодушием, унижал бумажку притворной умеренностью, козырял незыблительной духовной позицией. Двадцатка проникновенно овладевала колеблющимся духом, нечестной натурой, незащищенной душой. Я как обычно подумал, что делаю грешное дело в последний раз, ловким движением профессионального иллюзиониста продемонстрировал исчезновение докучливого лукавства. Охваченный волнением, стыдом и многими смятенными чувствами, я скользнул в свою комнату пылинкой бестелесной, испугавшись остро скрипящей двери. Между унимающимся сердцебиением, сомнением и раздвоением грешным и шизофреническим, я неожиданно просветлился, вспомнив, что деньги-то я сам и припрятал, или просто так сунул в текущей поспешности. Получилось, вор у вора и украл...

Достойная смерть

Коллега по грузоперевозкам, доказывал мне достоинства кончины во время акта любви. Он приводил весьма убедительные и неожиданно разнообразные аргументы, многие из которых звучали довольно ярко. Я отпечата в подсознании живые, полные романтики монологи сотрудника. С тех пор я стараюсь быть очень осторожным в страстной близости, боясь некоей программы самоуничтожения. Отныне я основываюсь на задержке семяизвержения, избегаю опасности перевозбуждения, но явно теряю в самой страсти, превращаюсь в механического мужчину, растягивающего нахлынувшую потенцию более чем на тридцать минут. Однако, считая себя истинно профессиональным футболистом, я недавно возобновил далекий разговор, отметив, смерть на футбольном поле не менее достойна, чем успение в бозе от огня любви. Мы недолго препирались и сошлись на том, нужно отыграть последнюю игру, возвратиться домой, принять душ, упасть в объятиях прелестной женщины, испустив дух. Таким выйдет снайперский выстрел в самую десятку. Люди скажут, он выстрелил без промаха, он умер достойно...

Почтальонка

Скорбя о человеке, я предаюсь печали неизъяснимой. Болезненно отзываются в сердце моем его душевные хвори. Особенно, если передо мной существо иного пола, нежели я, особенно, если чадо божье заточено в темницу алкоголизма.

По утрам, полдням и вечерам она заносила на офис письма. Я узнавал ее по неровным вкрадчивым шагам, по осторожной поступи,

выдающей чувство вины и неуверенности в себе. Она звонила так же, как некогда я трезвонил в дверь любимой женщины, коротко, отрывисто, с осознанием последствия, подготовкой к оправданию, если что не так. Она заглядывала в проем входа, как бы испрашивая разрешения появиться, как бы оценивая меня как главного и начальника. Она входила, приплясывая, припрыгивая, подергиваясь, посмеиваясь, прибаутничая, объясняясь и оправдываясь. “Так много почты...”, — почти всегда звучало из ее уст, обдающих меня, профессионального трезвого алкоголика, духом свежевывпитого или не так давно употребленного горячительного. Шестидесятисантиметровое расстояние между мной, расписывающимся за получение уведомлений и ею, овевающей меня, сбивающей мое ровное дыхание, называлось взрывоопасным. Я едва не валился назад к стене вместе со стулом, подвешенным на нем дорогим шерстяным пиджаком, неприяню к спиртосодержащим запахам.

Я намеренно подкладывал на поле ее обозрения ярко синюю книгу “Анонимные Алкоголики”, надеясь на пробуждение интереса. Не видя никаких результатов, я начал заговаривать с ней по существу, однажды пригласив женщину на собрание общества трезвости. Я хорошо знал, выучиться трезвости просто так нельзя. Надобно надеяться на чудо и верить в него. Но и обязательно присутствие ее желания. А его-то не было. Вскоре развивающаяся алкоголика попала под гонения и пропала. Конечно, сподручней осуждать ее явно испитое лицо, сбивающий с ног запах, то, что здесь заключена ее мистическая — начинающаяся смерть. И та мистика стала для нее удобной и комфортной. Антиэстетической потребой. Недееспособность талантливой алкоголики добавила к моей зависимости чувство вины за весь мир, за ее боль. Я продолжал переживать за нее, держать то, что мне не принадлежит, что — тень не моей солнечной стороны. Я наивно до сегодняшнего дня надеялся вступить за нее, укрепить ее непрочное существование, упрочить зыбкую жизненную ступень. Однажды в дверь позвонил иной мужчина-почтальон. Он аккуратно сложил на столе газеты, указал мне место для росписи, вежливо попрощался, ушел. Очень хотелось мне спросить у нового доставщика почты о судьбе горемычной женщины...

Держи крепче

Сказал Вася по прозвищу “kozyрек”, указывая мне, новичку слесарного ремесла, младенцу сурового производства, то самое место, где нужно схватиться за колесо, где давить монтировкой колесо, чтобы шина правильно стала на металлический обод. “Здесь пальцами нажимаю”, — активничал моторист по фамилии Пушкарь, подталкивая мою десницу к стыку обода и шины. Резина сделала-таки свое выталкивающее дело,

накачалась, раздалась внутри, подвигая толщину громоздкого колеса — вдруг — срываясь с неподвижного мертвого ржавого обода на привычное место. Как раз туда, где только что покоились мои бесценные персты, как раз в ту точку, где оказался ангел-хранитель, отвративший нелепую травму неосторожности отроческой. Мужики смолчали, Василий ехидно хмыкнул. Я же разошелся ни на шутку, высказал рабочему с ехидной рожей все, что я о нем думал. Я порывался к больно бьющему предмету с коротким названием кол, да мужи опытные и бывалые отстояли. Отринули мои эмоции в шутейные просторы, загладили ситуацию. Доныне сидит в душе заноза обиды, неудовлетворенное самолюбие и тайный гнев на того козла вонючего — Василия по прозвищу “kozyрек”.

В очереди

Девушка в окошке почты на приеме посылок двигалась медленно, граждан отпускала так, будто начинала ослабевать в юном возрасте, имея к тому же болезненный цвет молодого лица. Девушку бранить было себе дороже, люди подвигались к цели сонно, ничего не поделаешь. И ничего не попишешь против внеочередности участника Великой Отчужденной войны. Одиннадцать человек тяжело и одновременно вздохнули, когда пожилой муж с лицом первого натуралиста Рождера Бэкона медленно и грузно подсеменял к началу ожидания. Даже законстеленые материалисты, как те ученые, признали старика отцом и патриархом. Традиция есть традиция, ей не присягают, не целуют крест, ее соблюдают, ровно негласный договор. Даже я со своей горячечной жаждой поскорее завершить почтовые манипуляции смирился, взяв дыхание на некороткую дистанцию. Сам не ведаю, сколько времени прошло, пока я предстал вторым номером на паперти почтовой. Когда замаячила желанная цель. Но ярче воссиял свет Евангелия, восстала из суеты почтовой сухая старушечья фигура, точно с прориси икон святых, иконописца священника Вячеслава Савиных. Кашляя и кого-то вразумляя, шепча нечто невразумительное, она затронула во мне ненависть и неприязнь, всполошила жалость к себе, иные недобрые переживания. Я напряженно сверлил затылок впереди стоящей женщины, почти не дышал, надеясь проскочить, притворяясь задумавшимся мужчиной. Именно ко мне обратилась бабушка, наказав явлением, обложив оброком терпения, усмирив во мне нехристя одним взглядом, исполненным чистоты иконописной...

Восьмерка

Прости меня, пацан, мчащийся на красивом велике под гору. Прости, что я, страхами алкогольными источенный, попался, испуганный

самим собой, тебе на пути. Прости, что наорал на тебя, совсем еще юного несмышленища, радующегося дню, исполненному надеждами на будущее, любящего подробность мира, каждую отдельную вещь и, конечно же, свой блистающий всякими прибабасами велосипед. Но глаза в глаза перед тобой предстал я, заорал от страха, чистый уличный забияка, испугал, сбил с пути истинного. Тогда я служил у Вельзевула, и тот ловко повернул руль вправо. Ты полетел вверх тормашками, врезавшись во все на свете, превращая свое велосипедное чудо в груды металла, колеса в восьмерку, а свою непорочную жизнь в кошмар обиды и безысходности. Прости меня, пацан, от чистого сердца, от всей души. Нет у меня возможности найти тебя и возместить ущерб. Прости хотя бы через Высшую силу небесную. Пусть мой глубокий испуг будет утешением для тебя. В сердцах, в отчаянье, рыдая от бессилия, ты выкрикнул: “Мой отец очень сильный...”, — чем крайне смутил меня, лишил душевного равновесия на весь день.

О храпе

Со всеми дорожными подробностями мчались мы с пассажирами в плацкартном вагоне, разрезая непроглядную ночь. Кто спал, кто бодрствовал. Мужчина храпел художественным гудом, человеческой трелью, рычащим придыхом, завидным присвистом, спотыкающимся сопением, мучительным стоном. Мужчина, сопровождающий свою жену, зашел кротко, поздоровался тихо, сидел молчаливо, плясь в темнеющий закат. Изредка он поворачивал голову на щебетунью супругу, глаголящую нескончаемо, словно возлюбив свет и отвергнув тьму, не выражая никаких чувств. Как только начало темнеть, муж своей жены сдержанно, как бы в изнеможении, мягко повалился на матрац верхней полки и мгновенно завел во сне храповицкие мелодии. К моему удивлению, его супружница так успокаивала недовольных людей: “Мой касатик так во сне песни поет бестревожные и вреда никому не приносит, — добавила, — во сне все лики одинаковы, это так святые произносят свои речи, это так благодать свершается благородная...”. И три светоносных луча солнечных упали с неба на его обличье, как бы подтверждая статус славного мужа. После я долго ворочался, недобрыми мыслями поминая ко сну свою жену, непрестанно делающую мне замечания по поводу чудесного храпения божественного...

Мучительные завтраки

Я не знал куда деться, как реагировать, видя сквозь затемненные стекла комнаты переговоров открывающуюся дверь, возникающую статью нашего строителя. Я наспех прятал тарелку с остатками незавершено-

го завтрака на подставку для электрического чайника, рукавом сметал обильные крошки батона. По причине хронического гастрита черные хлебы я не употреблял. Я быстро выходил из темного помещения — кушал я в полной неосвещенности — почти сталкиваясь с учтивым мужем лоб в лоб, не подавая виду, что я испугался, видя и его вздрагивание от моего возникновения. Благообразный и вежливый мужчина в сущности появлялся на свое рабочее место, как всегда вовремя, впрочем, раньше остальных более чем на полчаса. Он бы с удовольствием пошутил в утреннем обмене вежливостями, да прозябал в испуге от моей выходки. Строитель рассыпался бы в мой адрес колкостями и шуточками, да я его огорошил. В производственных отношениях что-то не завязывалось. Я злился на него из-за прерванных трапез, он же дулся на меня за строптивый нрав и юношескую амбициозность. Я выказывал недружелюбство, я добирался к месту службы очень и очень рано, да все одно строитель находился в стенах офиса. Я пытался вставать совсем уж до первых петухов, да видно не судьба мне столоваться в его обиталище. Верно, назло мне делал, пытаюсь быть со мной запанибрата. Точно, чуя, не отличаюсь я жесткой решительностью, слаб я в чувстве собственного достоинства. Может, потому и вспыхивал, как зарница перед солнцем, напрягал для чего-то более важного, для существенного понимания жизни, тренирую мое статически расслабленное состояние души, предшествуя, собственно, действиям по изменению своего отношения, скажем, к завтраку, к внимательному принятию бытия. В конце концов я принял решение не сражаться умозрительной войной, но измениться самому и перебрался в нашу столовую, перестав чего-то бояться...

Нажмите кнопку

На квадратном листике, приклепленном к двери на уровне глаз довольно крупными буквами написано “Нажмите кнопку”. Я располагаюсь у выхода и смотрю в живую действительность, запечатленную в символе, можно сказать и в догмате. Вдохновенная сиюминутность празднично и радостно зазывает взоры невнимательных и спешащих посетителей. Я питомец порядка и внимания, собранности и сосредоточенности, не сочувствую многолюдству, буквально срывающему дверь с петель, не принимая порядок, введенный в нашей замечательной фирме. У меня есть основания думать, что текст, а я лично набирал его на компьютере, нанесен латинскими неведомыми обывателю буквами.

Вначале я мучаюсь положением дел, оберегая тех, кто, находясь не в себе, разбегается и толкает неподвижную дверь. Спустя мгновение посетители возмущаются дверной неподатливостью, удваивают усилия, а большие и сильные оттягивают полотно — как только не вырывают — образовывая внизу фантастическую щель. “В чем дело?”, — вопрошают

трогательно интеллигентные женщины. “Что за глупые шутки?”, — вопят их единополюе сподвижницы. “Вам что, делать нечего?”, — кричат спешащие красавицы.

Мужи самоуглубленные, думающие о великом деле, находящиеся по этой причине не в себе — так я определяю пригодность к бизнесу — менее склонны в открытому и конструктивному высказыванию агрессии. Безмолвный мужской протест выглядит бычьим упрямством на испанской корриде. Вопросы, подобно женским, разрывающие мой образ, почти не задаются. Суровые представители мужественного пола, облекая мне, схоласту, мышление, упрощают вопросник любопытства, удивления и, наконец, возмущения. Сопереживая, влечение большой созависимости, в первые годы я теряю добрую половину нервных клеток на поиски решения проблемы гостей. Потом выясняется, многие страдают рассеянностью эмоциональной, страхом и спешкой. По сему возмущения по поводу двери возможны в виду их полной бессмысленности.

А ежеминутно повторяющиеся ситуации, создающие норму, предпосылку моему образу мышления и поведения, бьют мимо цели, ибо цель смирение, духовное развитие. А сии холостые патроны, так сказать, разрушают меня как образ, как цельность, призванные темными силами расстроить меня, служителя света. “Ты че, мужик?”, — гневно рычит сильный сгусток мышц, возвышаясь над моей столешницей статуей свободы. “Это шо еще за номера?”, — грохает рокотом, грядёт взором, блестит яростью борец в переломанными ушами, явно не склонный к творческому диалогу вежливости.

Поучавствовав в их проблемах, обнаружив безостановочно каждому в отдельности правила игры, я понимаю, мистика и схоластика противостоят друг другу, но могут сосуществовать. Так и утверждается новый вид моего мышления, основанный на терпимости, взамен той ненависти, пожирающей душу мою грешную не один год. Так и вразумляюсь я мыслью, мы люди одной культуры, одной формации, одной эмоциональной беды, несдержанности и нетерпимости. С тех пор я оставляю в неприкосновенности проявление отрицательных чувств, сохранив в древней первозданной силе свою святую и правую позицию честно отработывающего часы отрока.

Правда, безоценочность не возникает, нужды греховные нуждаются в подпитке, в осуждении и суде. Против вселенской церкви, в противовес Священного Писания, утвержденные верхней самодержавной властью небесной. А иноки несостоявшиеся позволили мне наблюдать за чистотой собственного развития, противодействовать ересям и расколу внутреннему. В случае недоумения и выключения нижнего света, оставаться терпимым и добрым, искореняя суеверие, выслушивая жалобы, свидетельствуя о чудесах духовности. Вот как может иметь влияние обычная кнопка с надписью...

У Голубцовых

Мы выпили бутылку вина в туалете на вокзале, часа четыре потряслись в поезде, наблюдая за его сыном, употребив все силы человеческие на поиски того же вина. Одуревшие от веществ, отравляющих сознание, мы наконец-то выпрыгнули на живописном полустанке могиловщины, приводя в порядок отекавшие ноги, спешно закуривая табачную гадость из красной примовой пачки гродненского производства.

Друг прошелся по сусекам местной торговой точки, предоставляя мне право гида и воспитателя его мальчика. Березняк с редкими соснами возвышался стеной, отмежаясь от гравейки, убегающей вдаль почти прямо к туманной щетине бесцветной лесной чащи. По укатанному суглинку покатали мы на автомашине в сторону отчей обители Голубцовых.

Мальчик не докучал детскими капризами. Водитель доставил нашу десантную группу — как называл нашу троицу Леонид — до поворота и предоставил нам свободу выбора пути. И не было вариантов, кроме продвижения в наступающую тьму до пришествия темной тучи, ползущей за нами. Теплый вечер благоволил уборке картофеля, по этому поводу мы и отправлялись в деревню. Солнце безнадежно покинуло благостный мир как минимум до утра. Пугающая тень накрывала темную песчаную дорогу, убегающую в мрачный сосонник, с промельками волчьих глаз. Леонид поведал пару жутких историй в тему, чем вверг душу мою детскую и незрелую в тайный ужас, в темное смятение.

Мы шли и громко переговаривались, а мне мерещились глухие лесные обители, кельи мошельников, скиты пустынников, жуткие углы затворников, безымянные схроны молчальников. Хищные блестящие клыки виделись за каждой сосновой лапой. Седой древностью веяли хвойные застывшие переходы. Казалось, под ними хоронятся ложа, отсвечиваются таинственные мощи святых. Такие мысли, громкое говорение друга, наивный лепет ребенка, отвлекали воображение, занятое борьбой с несуществующими хищниками, пока в кромешной тьме не замаячил силуэт дома. “Вот и добрались до места, — произнес друг, — ну, здравствуй отчий угол...”

Мама его радовалась приезду сына и внука, ласково рассматривала меня, известного ей по рассказам. Маме Леонида было известно мое намерение жениться на дочери Зине. Как бы ни ладилась дела, мы сидели за столом, поглощая изыски домашнего приготовления. “Папа, дай бутылочку...”, — тихо и смиренно уговаривал Леня строгого родителя. Что-то мешало отцу ответить отказом. На всякий случай Владимир Голубцов вспомнил о позднем времени, но все же выхватил откуда-то поллитра, точно предвидя такой поворот событий.

Утром я рассматривал диковинные для горожанина сельские окрестности. С удовольствием бросился вывозить навоз, уж лучше бы любую

другую работу, выбился из сил. Мы подключили к делу соседа к великому раздражению папы. Я поперебирал сено, поудивлялся обилию попадающихся яиц, посмущался, наблюдая лениного курящего сына. Сидящий рядом с нами Ленин папа багровел, играл желваками скул, видя и слыша воспитательный акт сына. “Пусть пробует сколько хочет, кури, сынок...”. Думаю, педагогически он оказался прав. И обо всем забылось, пока я собирал вслед за трактором картошку на бесконечном огороде, обогнав участников сбора навсегда. Об этом праздно болтали, пока отсутствовал глава семьи, пытаюсь забраться в таилище спиртного, тщетно поднимая ломиком плотные ворота подвала, и все-таки не напрасно, подняли, напились. А после долго слушали отповедь патриарха, готовились к долгожданному отъезду, тащили сумки к поезду, измученные пьянкой и сигаретами. И сколько мне не предлагали взять с собой хоть какие-то продукты, я не смог преодолеть ложное чувство вины, боясь своих собственных чувств, страшась говорить о своих желаниях открыто...

Вы мне звонили?

Тихо на офисе, как в скиту, безмолвно, по-летнему душно, одиноко. Прелестная безмятежность романтического размышления длится мгновение и вновь прерывается, и вновь оскверняется телефонным зуммером, разя духовное пробуждение отдельной личности и подвижника. А история прежде всего — история деяний подвижников.

Офисная тишина, имеющая в прошлом и более яркие, чем многие иные имена на титуле памятном, более полезные, нежели моя скромная персона, прекращает действие “по тщательном исследовании всего сначала”, — как пишет евангелист Лука. Молчание безглагольное требует благочестивого повествования о событиях, чтобы просветилось твердое основание мотива, причины, истока событий. Подчеркну равноценность различных временных отрезков перед вечностью и признаю любое данное изложение как имеющее свой смысл и значение.

Следуя традициям отрицательных эмоций, веря солнцу и свету, тому, что все происходит правильно, в милое офисное утро, варвар варваром, изнемогая от злости, не беру, хватаю заклятую “звонилку”. Из темных глубин электроакустического прибора для преобразования электрических колебаний в звуковые, изобретенного в США в 1876 году, из его разговорной части в миллионный раз слышу воркующий голос взыскательного абонента. “Я вас слушаю...”. Или же “Вы мне звонили, в чем дело, какие проблемы...”. Или чрезвычайно нетерпеливо, опираясь на высветившиеся цифры, заимствуя из них скудные данные, строя догадки, уточняя некоторые из них. “Говорите, у меня всего несколько минут...”. Сволочи сволочами, одни претензии, одни напасти от них.

Взбираться на гору всегда трудно. Подниматься на крутую вершину человеческого взаимопонимания, на крутизну принятия ближнего как самое себя, задача крайне нелегкая. Ноги скользят по отвесному склону раздражения. Изменя авторский текст душа без оснований считает необходимым внести изменения и дополнения фактического характера, не объясняясь, не оговаривая сложившиеся условия. Все номера просто отбиваются на том конце провода на мои семь цифр, так устроен коммутатор. Примерно тридцать человек безостановочно сообщаются по связи по многу раз в день. Неотвеченные звонки чуть позже возобновляются выходом на меня. И снабжаются справочным материалом в моем лице, раздражаются металлическим голосом.

Но дорога к смирению и терпению полна змей и колючек гордыни, ухабов самовлюбленности и шляхетского гонора. И нет от него спасения. Но он помогает пристальнее взглянуться в предысторию внутренней смуты. Клокочет злоба в ответ на один и тот же повторяющийся вопрос. Невыносимо объясняться перед нетерпеливыми вопрошателями, которым не очень-то понятно мое резюме. Ведь у него на цифровом табло отпечатаны мои данные.

Робко приобщаюсь я к покорности, как гунн, изучающий псалтирь, как прохладная Скифия, согреваемая огнем веры истинной, как войска рыжих и белокурых гетов и даков, носящие за собой походные храмы, упомянутые Блаженным Иеронимом еще в IV веке.

Я уподобляюсь гуннам, аварам и болгарам, опустошающим Скифию и христианство. Нетерпеливо держу я трубку телефонную, стараясь отвечать достойно, но гнев и еще раз гнев клокочет во мне, создавая образ твари внутри себя вместо бога, отнимающий истинного Создателя. Хрупкий и всеильный дух силится ответствовать достойно, но дробится от злобы эгоистической. Сквозь нравственные запреты производственной этики бьется лицемерие и озвучивается после завершения диалога, ускользающего от понимания. Вслед еще не упокоенной мысли — чертыханием и проклятием. За проклятое раздражающее и ежедневное: “Вы мне звонили?”

Моя милиция

Хорош прародитель, кто первый придумал страшилки для маленьких детей. Сам малыш малышом в плане эмоционального развития, сам недоумок и барбос с перезревшим пенисом. Ничем не увлеченный, кроме половой жажды, далекий пращур мучился ранним отцовством рядом с похотливоглазой и усталой от материнства красавицей. Не зная куда деться от назойливого и неугомонного младенца, не понимая и не цenia, что перед ним редкая возможность еще раз прожить свою жизнь воочию, наблюдая за собой в прошлом, видя свое последовательное развитие.

Хорош праотец, изнывающий от негодования, испуганный недюжинной энергией ребенка, придумщик и дерьмец, избрал воспитательный аргумент, ввел его в гены, начал страшать, придурок придурком, сообщил традиции, передал по поколениям, идиот идиотствующий. Докатилось эхо преемственности поколений как образ убийственный и спасительный. Дотягивал и мой родитель до нескольких минут терпения и ужасал милиционерами. Следом мама подхватывала, не представляя, что же делать с юрким гиперэмоционалом, крайне утомительным в воспитательной работе. Подкрепляя детское воображение напряженным ожиданием будущих встреч со страшными блюстителями порядка, строгими и справедливыми, бродящими по улицам с мешками.

Хороши же первочеловеки безответственностью исторической, думавшие беспокойно, всего боящиеся, всех пугающие, нисколько не заботившиеся о просвещении чад неразумных разумными суждениями, терпеливыми бдениями, ночными терпениями. Воздрузили в души море беспокойное, степь тревожную, чащу, нечистой силой кишашую. Но не покой и осторожность, не трезвый расчет и решительность. Но обратное действие, повествуя дитяти несмышленому неизвестно что. Все мы ничтожны перед Богом. Чего же я хочу, чего добиваюсь, изрекая глаголы колючие?

“Почем кг страха”, — спрашиваю я сегодня, идя долгой улице Юшкова кивая милиционерской тени, появляющейся до сих пор в детско-взрослом воображении. Дольше я не могу поверить в обратное. Предки мои, совершите чудо, освободите от тьмы в душе, явите чудо, подобно епископу, присланному Аскольду и Диру от Патриарха Фотия. Бросьте Евангелие в огонь, хочу лицезреть его нетленность. “Господи! Прослави имя Твое перед сим народом”. Поразите меня удивлением, избавьте от полувекowego шараханья от лиц в униформе, от защитников правопорядка.

Опять же, к чему жесткие нравственные запреты. Почему не чудодейственность, почему страх, страх, страх. “Вон идет дядя милиционер, если будешь баловаться, если не станешь слушаться, он тебя заберет в сумку...”. Где это рядом, пожалуйста, покажите мне его, я проделаю в нем дырку, чтобы при случае сбежать и спастись. Но стражи правопорядка всюду, они вездесущи, от них нет спасения. Каждый из них вносит частицу разрушающего страха, недоверия миру и ломоту в левой стороне головы.

Хороша-то реальность. Поневоле обратишь очи на “страсти Господни, терновый венец, гвозди и хламиду багряную”. Помимо желания внутреннего обратишься к мощам святым. Обминая в ночи подушку бессоницей, спящую жену взором, думая беспокойно, выковыривая из подсознания то — приртыанное добросовестной памятью тревоги, испуга и колебания. Иди сквозь дремоту пробуждения, в дали житейские без волнения душевного. Спешу медленно, как говорится, моя милиция

меня бережет. Кряхти от мороза редкого, брызгай слезами умиления, наблюдай сквозь полуоткрытые веки за нестрашными участковыми. Прости основателей династии и дальше, глубже, от седьмого колена вниз до Авеля и Каина, до первого отсвета заката, до светлого младенца, впитавшего страх, внушенный неразумным предком. Сегодня испуг, как аукнулся и откликается в сердце моем, заставив надеть много нелепостей. Обеспечив будущие сшибки с неопасной реальностью моим детям. Не тронь меня, моя милиция...

Талант

Я бил по нему развратом и пустотой легких увлечений противоположным полом. Его оскудению предшествовало действие отнюдь не духовное, увы, не интеллектуальное. Я свалился в провинцию с необозримых высот бирюзового неба, молодой, красивый, необыкновенно способный к высокому восприятию мира. Светлое утро вело тропинку вдоль древней реки. Заречные поля отдавали легким прозрачным туманом. Низкое солнце сулило приятный летний день. Душа стремилась куда-то вдаль, в необозримость, ища приключений плотских и греховных. Непробужденный дух метался, двигая беспокойную плоть вдоль и поперек маленького провинциального городка. Его поразительное спокойствие к моему приезду немного обижало, никто не рукоплескал моему образу, никто не приветствовал меня, идущего никуда.

В парке еще безлюдно витала сырость, все нормальные люди либо спали, либо шли на работу. Я рассматривал блестящие паутинки на траве, трогал рукой переливающиеся росинки, томясь медленным временем, не решаясь выпить водки еще до тренировки. Неподвижные круглоголовые липы — так остриженные — скрывали любимую кленовую аллею. Редкие песни птиц нарушали относительную тишину загородного редколесья, пустеющих лугов, сырых бесследных дорожек. Талант, отяжеленный грубой телесностью, в полудреме чувствовал нечто грандиозное, предшествуя творению, хотя бы замысла.

Талант не ощущал никакой возможности чудодейственного преображения, дабы выявить смысл самое себя. Недюжинные способности в поэтическом царстве слегка оправдывали тварное бытие, не появляясь явно и крупно. Солнце все более согревало землю, выделяя вдалеке подобие шалаша, напоминающее кривую букву "Л". Я конечно же, подумал о любви. Чистое летнее небо приглашало к путешествию. Хотелось чувства, вернее похоти, точнее приключения, отвлечения от реальности. Отринуть порчу духовную не представлялось возможным. Некая отрицательная программа, задействованная силами более могущественными, продолжала действовать неумолимо, ведя меня непонятно куда. Талант не вписывался в сущность, если ее рассматривать как целостность.

Отверждение жизни уже ощущалось в самих ощущениях, требующих одной только честности.

Матерые ангелы похоти и прочие предатели Бога, впихивали меня в статический чертеж безвыходности, предоставляя красоту древней реки, заречные поля, загородные аллеи в качестве антуража. И не более того. Мой талант угодил в самую настоящую мистику, путаясь в понятиях, двигаясь от образа к безобразности, т. е. в классический тупик ирреальности. Помните известный мистический рецепт: “Беги суеты внешних дел, беги и скройся от бурь внешних дел...”.

Темные силы завладели моим талантом посредством измены. Они взяли и умертвили духовные поползновения обычной и всемогущей праздностью, непобедимой ленью, растляющим бездельем. Я скучно рассматривал дальние красные черепицы домов на склонах. Я теребил взором речной перекат, поющий об одиночестве и все. Я осмысливал неосмыслимое, я рассуждал о рассудимом и нерассудимом, почему-то с тревогой душевной наблюдая за дальними мужскими фигурами. Талант, втиснутый в рамку, в багет, в безжизненность, отдавал ледяной сыростью, несмотря на летнюю жару, несмотря на благость середины августа.

На месте срубленного дерева, светлела щепка, валялись ветки, лежали пустые бутылки и остатки пищи. Над макушками кленов взметнулась редкая стайка голубей. Мне очень хотелось выпить водки, хотя до тренировки я никогда не пил. Падшие ангелы отослали мою фигуру куда надо, и я впервые в жизни употребил спиртное в одиночестве и до занятий по футболу. Мой изящный и аристократичный талант еще двадцать два года пропивал голову, прежде чем завязать знакомство с небом...

Кофейная гуца

Состояние души умеренно-континентальное, местонахождение духа окраинно-небесное, оценка здравомыслия инфантильно-незрелая. Настоящее дело состояло не в том, чтобы обозначить глубинные личностные пласты, но выявить ложный текст, файл, если можно так выразиться, внедренный тьмою. К сожалению, программа давно укоренена, представлена иными силами, предпослана вовсе не для меня и отнюдь не Писанием. Задумка лжи не разрушалась учительскими установлениями и муштрой школярства. Неправда просто обозначилась, прежде всего страхом и далеко не божьим, а стало быть, несправедливым мотивом, обуревающая мою скромную личность волнующими непонятками, идущими из основополагающей глубины.

Очертания самообмана хорошо гармонировали с моим духовно-мужественным челом, витая над лысеющей многовьющейся макушкой, что свидетельствовало о многолюбстве неумной натуры, о преобладании

неистребимой похоти. Из приоткрытой двери в кабинете шафа сквозь жалюзи едва просматривались полосатые дали. Они упирались в современное строительство жилого дома, развивающееся на фоне садовых деревьев, оставленных при истреблении частного сектора. Языческие истуканы панельно-кирпичного содержания, сотворенные руками человеческими, безбожно погнали былые патриархальные воспоминания.

Приближалось время общего моего просвещения и просветления. Сережка крикнул из соседней комнаты, разрывая хрупкую скорлупу благодати, раздирая тонкую шелковистую прозрачность божьей милости, получаемую мною в то мгновение с небесного склада. Ничто доселе не тяготило мою совесть, ослабленную неразвитой мужественностью. Кумиры из естественных желаний высились повсюду, громоздясь на тучном ксероксе, на старом темнокожем факсе, мешая новой христианской жизни.

Я не решился ответить Сережке честно, открыто признаться в кофейной некредитоспособности, в отсутствии горстки зерен колумбийского происхождения, воровского изъявления. Потому что на днях шеф снял табу на распечатывание нового килограмма отборного южноамериканского кофейного зелья. И громыхнул, сим повелеваю, распечатать заветный ларец не по случаю твоего возвращения из отпуска, как планировалось, но для дорогих гостей ныне и присно приходящих в земли белкаровские и благословенные. Потому ли я при местной расфасовке “случайно” сыпанул в металлическую банку из-под индийского черного чая некоторое количество темного зернистого вещества.

“Случайно” оказавшееся у меня кофе выпилось чудесным образом и быстро. Последнюю порцию я наскреб по сусекам не далее как сегодня утром. А тут, точно снег на голову, Сергей с кофейным вопросом. Он главный компьютерщик, ему нельзя отказывать. Я так зашумел извилинами, что на миг отключилась электроэнергия, но произнести простую правду не смог. Кофе нет и все, и все дела. Так поступают нормальные люди, но не трезвые алкоголики. Чтобы угодить значительному Сержику, рискуя собственным благополучием, сверкая личиной чела, поправив маску на облик, я украсил золотом и серебром ситуацию, бросился в потаенное место кофехранения, сунул туда руку, зажал в горсти порцию кофейного снадобья. Дверь зазуммерила, я от испуга спрятал непослушную руку в ускользящий мелкий карман штроксов, опуская зерна, освобождая руку для приветствия, если это грядет шеф.

Конечно же, пришел другой человек. Разумеется, шефа я встретил угодливо, унизив чувство собственного достоинства. А при встрече отвлек его внимание унижительной болтовней от чарующего кофейного аромата, витающего в воздухе, как устойчивый запах фирменного французского мужского “дезика”...

Небесный Андрей

Он погиб трагически, неожиданно и, как все смерти, необъяснимо. Он, с придачей мужественности, надежности, честности внушал доверие всякому нормальному мужику. При встрече с ним женщины краснели от радости, а парни внутренне ежились от неуверенности в своих физических бойцовских качествах. Все мерзостное он называл мерзостью, все красивое он именовал красиво без лицемерия и самообмана. Лично мне он давал некую точку опоры, определенное ощущение защищенности, чувство, что все будет в порядке и ничего не может случиться, пока Андрей бегаёт с нами на футбольном поле. Пока он благоволит мне как неплохому игроку нашего оздоровительного футбола.

Память отсылает меня в тот трагический день смерти, в то летнее утро — Господи, столько лет уже прошло — мы медленно и неорганизованно собирались на ветхом стадиончике “Фрунзенец”, соседствующем с областным институтом усовершенствования учителей. Добро стоящим одесную и горе бедолагам на левой стороне, сказал некогда князь Владимир накануне крещения Руси. Нам стоило бы помолиться, но такое предуведомление игровому духу у нас не принято и не практикуется. Отпустив ангела хранителя, гонца вечного рая с праведными, Андрюша нетерпеливо слушал нудные росказни бывшего мента, полковника в отставке по прозвищу “дед”.

Память оставила четкую картину, пронизанную какой-то внутренней спешкой. Может быть, бессонная ночь — Андрей отработал смену в ночном баре — превращала живой диалог в лавину взволнованности. Он словно торопил события, словно время уже отмеряно, словно он об этом догадывался. Конечно же, он не видел, куда движется, куда идет, беспокойно стоя на росистой листве, тревожно оглядываясь, недовольно пересчитывая малое количество вовремя проснувшихся футболистов-пенсионеров. “Дед, хватит звездеть”, — обрезал наш лидер анекдотные отповеди господина мента, как говорится без уважения и даров. Я втайне мечтал так же ответить милиционеру, да крепко боялся, может быть легко дрейфил, отчего не уважал самого себя.

Утро принимало надлежащий вид зеленой летней свежести. Мы преисполнились готовностью перебраться на школьную гандбольную площадку по причине малолюдства. Нам бы созвать совет бояр и старшин, да случилась нелепость. У женщины тамошнего дома захлопнулась входная дверь, оставив троих маленьких деток в плаче и страхе недосыгаемости. Она попросила помощи брата Андрея. Именно они маленькой стайкой, огибая длинную змею пятиэтажки, оказались роковой смутой. “Старшой, че случилось”, — крикнул брат брату, уж лучше бы он не увидел роковое соседство. Уж лучше бы...

Он побежал за соседями на жуткий праздник собственной смерти. Мы же поплелись вслед в школьные палестины, недосчитываясь людей и чертыхаясь. Какой-то неприязненный грузный удар упавшего предмета неестественно разорвал утреннюю безмятежность. Эхо его коротко обдало нас неземным отзвуком, переположило всех, испугав меня, еще не опохмеленного, почти законченного алкоголика. Чувство надвигающегося футбольного воскресного чуда не завершилось воскресением Андрея. Он лежал на земле смотрелся уроком собственной жизни в назидание другим.

Жалкой темной волной накатила уже посмертная история в нескольких уроках. Я держался на расстоянии, глядя на ужасно и безнадежно — вдоль расплосованные ноги, будто их саданули две царские секиры. Вокруг топали и кричали, вопили и ужасались люди, быстро собираясь на страшное зрелище. Прожитая жизнь Андрея стала историей, прожитая добром и волей, поступком, жестом, игрой, жестом и сполохом вечности. Он превратился в иного, небесного Андрея необъяснимой волею Создателя. Долго меня преследовала та нелегальная сцена, то бескровное ли, поминутно белеющее и белеющее лицо, неподвижно упирающееся в землю, дабы никто, никто на земле больше не увидел его минутной слабости...

А ты не бойся

Мы слонялись в фойе филармонии, теребя медленно время перерыва ничего не значащими разговорами. Писатели они и на Первом съезде писатели. Амбиции — выше крыши, чувство собственного значения гипертрофировано, честолюбие с явными признаками имперских замашек — у иных. У других — сочинителей преклонного возраста мудрая успокоенность. У тех, кто в правлении, безусловно, чувство превосходства на челе, за тем и ощущение многопечатности, причем весьма перспективной и необоснованной. Те, которые совсем великие творители прозаической и рифмованной строки, пугали меня статностью и высоко поднятой головой. Один я и переживал за их благополучие, боясь спотыкания, падения, а то и серьезного творческого ушиба — впрямь идеологического удара врага по бесчисленному многотомью, по криминальному геройству.

А мы — я и мой развивающийся гений — занимались тяжелейшем из видов деятельности человека, мы ненавидели основную массу известных выводителей слов. Те, кого мы не знали в лицо, прозябали в нашем счастливом равнодушии. Круглолицые симпатичные и живые знакомцы с оттенком подпития под глазами, пожирались нашим высоким, крайне тяжелым, уничтожающим всякую духовность чувством. Мы листали лица очами претенциозности, а не просто так, это вам не книги издавать

к юбилеям собственным, вызывая гнев основной массы, не могущей пробиться сквозь призрачно существующие правила.

Это вам не водку жрать с теми критиками, с какими надо, лизать задницу тому, кто даст указание и — издание ваше. Тьфу, пронизанное школой советского стиля, придуманного образа и мертвого творения, сочинение выйдет в тот день, в какой следует. Это вам элементарная, тяготящая вас трезвость и совестливость. А кто здесь честен, пусть бросит камень в мои издания, вышедшие за собственный счет. Сидели у власти буравкины, они же и издавались. Стали у кормила поэзии спринчаны, они же и размножались. Теперь же вы, а что изменилось, скажите на милость?

Но мы беседовали со второстепенным поэтом, страдающим манией величия еще более, чем я, что очень и очень радует. В его бесцветных глазах не то закат, не то ночь. Как безупречный учитель святой бедности, владетель божьей немощи, помещенный Иерархом в двадцатое столетие, пил его самовлюбленные речи вприкуску с его же безумием. Я, жениховатый поклонник великой Ниццеты, горячась, угождал эмоциональности брата-поэта, пребывающего где-то в безумии и отвлеченности. “Они еще не понимают, кто я...” — отмечал пиит, свою гениальность, подчеркивал значимость, повышал самооценку. Я страшно боялся его шизофрении, которая переводится как отсутствие понимания.

Я приходил в состояние “мы” и семенял егозой перед недоучкой, думая одно, говоря другое. Мы пообсуждали всех главных в его смысле. Мы проблеяли что-то о публикации, на что коллега честно ответил: “Я читаю в журналах только свои стихи...”

В сию же минуту я начал чувствовать вину за него, за себя, за всех, кто это услышал. Но больше всего на свете мне захотелось произнести то же самое в лицо всем с высокой трибуны съезда. Я плевал на ваши бездарные творения. Гений здесь я, и больше в “Литературной Немиге” смотреть нечего...

Первый сборник

Боже, до какой степени надо быть взрослым ребенком, до какого уровня безответственности дойти за свои поступки, чтобы выпускать сборники вершей, подобные ранним стиховым средоточениям. В самом прямом смысле жалкий вид имеют те книженции в белом больничном переплете, исполненные с плохого оригинала. О смысле их рождения можно поговорить отдельно, а можно и вообще не трогать эту тему. Имеет ли смысл рассуждать о смысле смысла, о цели всего сущего? Думаю, вопрос основы истончается, зыбко дымится как исчезающий дымчатый рассвет.

Решимость моя в ту пору походила на действенность князя Владимира, вздумавшего милицейскими методами спьяну покрестить честной

народ. Объятый небесный восторгом, но не молясь, я торопился с приятелем столичными дождливыми осенними улицами. Мы творили мелкий бизнес, возились с печатной продукцией, распространяли редкие издания, используя их временный дефицит в стране. Мы исколесили центр города, умудрились забрести в управление налоговой инспекции. Едва не арестованные возмущенными налоговыми сборщиками, мы живо обсуждали в закускойной между “сотками” недавнее приключение, глотая проклятый алкоголь с хлебом и мягким салом.

Мы спустились вниз к Немиге, наткнулись на издательство, расположенное на площади Свободы, и меня осенило. В числе прочих замечательностей, оригинальных проступков прошлого, я рискну назвать немислимый шаг в сторону книгопечатного действия. Мой приятель, народолобец и демократ, однозначно оценил мой интеллектуальный шаг фразеологически вечным словосочетанием “За это надо выпить...”.

Хороший парень — по его словам — свет моего Возрождения, опора моего страха, сильный и бесстрашный Павел поддержал меня почти как религиозный фанатик. Мы прямо-таки ворвались в дверь производства, нанесли на своих кожаных лаптях уйму грязи, заглянув в комнату, где топали и орали одновременно. Женщина средних лет легко вошла в мое положение, блистая холодеющими и привлекательными коленями.

Боже милостивый, как же я тогда спешил, ровно объявили о конце света. Мой порыв мог укротиться разве что силою Пашкиных доводов, всегда зрелых и убедительных. Печатные машины гудели, пахло тяжело устоявшимся специфическим духом. Благовестие веры капало с окна просачивающимися каплями. Ревностные благовестники книжные крестили мир приятно ароматными изданиями. Мое язычество ослаблялось воздвижением храма действия, решимости, настоящим мужским поступком. Моя характеристика самое себя кому-то покажется определением и его позиции, но событие происходило так. Книгу я назвал “Добрый день”, умилив друга, взорвав настроение женщины, согласившейся за небольшую плату увековечить плоды моих творческих мучений.

Нравственная жизнь моя в тот день не изменилась. Мы пили с еще большим усердием, уже за мой счет, причем я, обычно щедрый в питейном плане, угощал невиданным для моей эмоциональности начинанием. Ровно через неделю — я едва не умер от нетерпения сообщив о предстоящем событии всем знакомым — удивительная женщина (я бы женился на ней в порыве благодарности), незаметно спрятав премиальную пятидесятидолларовую купюру в самый лифчик, торжественно возложила на мои трудовые длани аккуратную упаковку с пятьюдесятью книжонками. По-прежнему неровный дождь, гонимый ветром, залетал в открытую форточку. Первые внутренние слезы радости материализовались в реальные потеки под глазами. Я поспешил вытереть их, боясь, что мою слабость увидит ожидающий меня у входа, курящий свои про-

тивные сигареты, Павел. Я вышел, размахивая ужасно некачественным изданием, скорбя о прежней бесцельности жизни...

Мясо

Бес чревоугодя ничего не желал слышать, ничего не хотел понимать. Он вонзился в мое “хочу” смертельным жалом, терзая желудок голодным воображением, обоняние пронзительными копчеными запахами, а ненасытную плоть искушениями. Бес затмил глаза своими завидующими глазами, не могущими оторваться от холодильниковых копчений свежего выпуска, от слюноотделительного влияния. Я нудно и медленно жевал хорошо отбитую свинину, забрасывая в зев рта пересоленную гречу пресного маслосодержания. Обилие “белой смерти” в привкусе, внешние производственные раздражители, борьба с кофейной тягой не могли отвлечь двоящуюся личность от потуг чревоугодных.

Я укрывал копченость от самого себя, накрывал ее грязными воображаемыми рогожами, но плоть стонала, обоняние предполагало животное насыщение, нравственность презревала запреты, предпочитая крысиность. Наваждение плоти демонстрировало грозную бесью мощь, грозя возвратить в старое русло мышления. Хотелось чужого продукта, ароматно зазывающей не вегетаринской копоти, ложного плотского праздника. Чревоугодная жажда, сравнимая разве что с ощущением обезвоживания в пустыне, стучала по сонной артерии, проникала в сердце, превращалась в убеждение.

Я глубоко, очень искренне скорбел о своей прошлой жизни. Я мечтал измениться, с божьей помощью, не прикасаться к чужим вещам. Но бес меня заклиптоманил, он раскачивал меня медленно с усилением, словно нарастающий ветер одинокую тонкую полевую березку. В тон ему подвывал вентилятор, монотонно гудели заикленные мысли, странной болью, напоминающей воспаление мочевого пузыря, болела душа.

По-скотски, ровно и бесстрастно, повествовал хозяин чрева. Он будил во мне зверя, умело отторгая от меня дух небесный.

Я глотал вкусную свинину и не ощущал вкуса. Я порывался подняться, но сила великая и темная давила так же могущественно, как и атмосферное давление. Духмяное и легко доступное мясо доверчивым малышом нашептывало: “Бери меня, на, возьми меня один раз...”. Кусок красной съедобной плоти одним жестом перетянул мои сомнения на грязную сторону пути, куда я попал с превеликим трудом. Мне не давался обратный шаг, мне становилось не по себе, кухня накренилась под углом более чем пятьдесят градусов.

Выученики божьи и зачинатели моей духовности истоиво барабанили в дверь моего здравомыслия, пытаясь отодрать мышление от символического ощущения чревоугодя.

Мне предстояло предать свою новую веру или же гигантским усилием, отчаянным жестом духа — плоть здесь ни при чем — улыбнуться, обязательно улыбнувшись, двигаться вперед. А рука тянулась к острому ножу, разум предпочитал тьму, слуховые галлюцинации слышали тишину бескомпромиссную и полное отсутствие помех. Я начал рассуждать сначала, так как в сознании потух свет, информация забылась, чувства огрубели. Перекуривая, бес чревоугодья немного ослабил происки, я же пустил в ход духовные наработки. Я признал бессилие перед бесом, я перестал ему противиться, положился на волю небес. Унылая тень, напоминающая старуху, скользнула мимо холодильника. На меня невозможно было глядеть. Отправился человек полдничать, а возвратился изможденный бесами, обессиленный и растрепанный неизвестно кто. Я присел на рабочее место, приступил к работе. У приятеля создалось мнение, будто у меня бред. Голос звучал неровно, слышался в интонации надрыв и пьяные ноты. Камни шевелились под языком. Безусловно, отмечали знатоки недуховных явлений, парень ведет родословную от достойных мужей. Не будь он так сказать жонглер божий, не возвратиться ему из темноты в защитники бедных алкоголиков...

Спешу медленно

Помимо проблем с чувством меры, во всем без исключения, я в пожилом возрасте столкнулся с неосознанной спешкой, управляющей моей жизнью, отравляющей зрелость необдуманными решениями, скороспелыми выводами и отрицательными результатами. Много назад Михаил Андреевич, один из работников “Пежо”, где я трудился, вложил в мои ладони схемы и описание пяти простых упражнений из книги Питера Кэлдера “Око возрождения” — секреты омоложения — древняя практика тибетских лам. Я всей душой, телом, духом принял и полюбил диковинные и довольно простые с виду упражнения. Омрачало одно обстоятельство. Одна из моих тайных жен, знакомя с чудесными исцеляющими движениями Востока, глядя на мои быстрые действия, спросила: “Но почему так быстро...”.

Помимо прочего я как профессиональный спортсмен с трудом выдерживал ритм дыхания, установленный мудрыми тибетцами. Я сразу же воспротивился, ввел свои правила, укладываясь почти всегда в восемь — девять минут. Не удивительно, что мои амбиции росли, повышалась самооценка, торжествовало смирение. Но вместе с тем ожидаемая результативность оставляла желать лучшего, вводя в смущение мой дух, мою душу и тело. Спешка донимала мой душевный покой. Я “выстреливал” простые начальные манипуляции для оздоровления, дабы всем бахвалиться, дабы самоутвердиться в глазах окружающих людей, но только не для собственной действенности. Я

родился по сути жадным, а в человеке не должно быть алчности, говорил полковнику лама.

Я всем показывал учебное пособие эзотерических школ страны. Я выполнял задание походя и с внутренним беспокойством. Следуя старому и незрелому мышлению, я приводил к обращению внутренний поток времени необдуманно, развитие личной силы, сохранение и восстановление здоровья и молодости тела безответственно. В принципе, опять же следуя проклятой спешке, я почувствовал, что соревнуюсь с полковником Бретфордом, поведавшим миру об уникальной практике учителей Тибета.

Вместо того, чтобы приподнимать завесу над одним из аспектов эзотерического знания, раскрывать более грандиозные перспективы пространства и времени, я занялся самообманом, теряясь в поиске более коротких путей исполнения того, что есть сама жизнь. Но у Бога свои планы на мою личность. Неистощимый источник молодости и жизненной силы простил меня, загрязняющего природу примитивной нечестностью. Он зазвенел далеко не звонким голосом брата Славы, машущего мне руками на занятиях по духовности. Я вначале решил, что у брата духовного юбилей, он принес торт и от нетерпения делится со мной эмоциональной радостью.

По окончании круга трезвости молодой человек преподнес мне в подарок полный текст реальной или сочиненной истории о приключениях полковника. Одного взгляда, брошенного на страницы распечатки оказалось достаточно, чтобы уличить себя в невнимательности, поверхностности и спешке по отношению к собственной вихревой форме. Второе ритуальное действие оскорбилось моим разгильдяйством. Все последующие движения предъявили претензии к моей безответственности, которая мгновенно унималась в моменты предельных ситуаций, в минуты критического осознания надвигающейся опасности или же старости по естественному возрасту.

Я завел будильник на пятнадцать минут раньше обычного. Стыд перед самим собой, наплевательское отношение к самому дороговому моему чуду — здоровью гнело мое сердце и в бодрствовании и в тяжелом сне. Сегодня как никогда я был честен перед собой, дыша максимально правильно, спеша медленно при выполнении чудодейственных актов небесных. Я истинно почуял растягивание, новую эластичность, повышение общего тонуса мускулатуры. Клянусь Тибетом, я ощутил воздействие на динамику вихрей тонкого тела. Осознав смертную спешку...

Признание

Мне всегда доставало известности. Меня бередила чужая слава местная. Тербила и никаких гвоздей, гвоздила и тревожила, обман-

чивая ветреница. Еще в раннем детстве я заприметил, как соседи приветствуют дядю Сашу, футболиста команды “Весовая”. О нем почтительно отозвался на кубковой встрече папа в присутствии дяди Миши из Мелитополя. Мяч катился к последнему защитнику, а тот прямым подъемом вынес его подальше от собственных ворот — в духе футбола того времени. Сегодня я как тренер таких игроков держал бы на скамье запасных. А тогда отец тепло и участливо отметил момент для родного брата из Мелитополя: “А там Саша...”. Сказал о своем приятеле как о первосвященнике, об очень значительной личности, как о надежной опоре. Произнес, будто точку поставил, будто истину изрек.

Помню, больно меня тогда кольнула зависть и обида. Не обо мне, любимом сыне, почтительно отозвался родитель мой суровый. Не в мой адрес звучал хвалебный мотив, не в мое покорное и доверчивое лицо сыпались слова одобрения. От их отсутствия злодейства также умножаются, явные и тайные. И начинаются осторожно, хотя пока еще без жестокости. Как нуждающимся нужна дополнительная пища, одежда, деньги, так мне, пленнику бесславия, поработанному жаждой славы, нужна была свобода духа.

Видя, что нет пользы моему развитию рядом с отцом, нет покоя моему духу от его присутствия, я начал искать снисхождения своей личности, слабости, причудливости. Одним словом, я тяготился непониманием меня как естественного и божьего образа ребенка, чистого и талантливого, бесхитростного и уязвимого. Я ступил, а что делать, на крутую и тернистую тропу популярности. Я двинулся прямо в поэзию свободных европейских наций. К вечеру кеды дымились и отклеивались, обдавая горелой резиной отчий дом. Колени стирались на бесконечной игровой площадке. Пропускать уличные футбольные баталии или, не дай бог, исчезнуть надолго — дорогое удовольствие. А это ослабление лидерских позиций, умаление чувства собственной значимости. Не дай бог!

Такова футбольная молодость меня тамошнего, приснопамятного, давно умершего и воскресшего милостью небесной. Не будь великого футбола, не будь величайшего желания получить в нем признание, насыщался бы я сладким лицемерием Его, молясь Господу о земле и о людях. Но мощи мои не были открыты и прославлены в пределах легендарной Лидиевки. Они покоились за терриконами породными, за копрами высокими, за бурьянами непролазными. Вырывался я из гроба сероводородного к ветрам достославным. Но радуйся, радость поселка, ликуй правитель мальчишек неудержимых, первоначальник игр ежедневных, пристанище оным творящий.

Грядет признание, устами ребят с поляны глаголет — приходи играть, без тебя плохо и трудно! Словами известного дяди Саши, гордого и недоступного — молодец, что записался в группу подготовки! Так что возможны всякие чудеса и уличные метаморфозы. Дядя Миша

объявился, легок на помине, а я уже в юношеской команде “Шахтер”. Не хула, но слава обо мне идет по улице Юшкова. Время действия — не молежня, но и молежня футбола, храм игры. Со стороны отца можно сказать, вопросов нет и ответов не предвидится. Все ясно как божий день. Батя носится по поселку гоголь гоголем, быстрее меня, левого полузащитника. Я замыслен так принципиально — дух захватывает у родни. Валик Фролкин, ко мне не подходит, я уже футбольный горняк. Иду с футбольной драматургии медленно, смотрю важно. Попробуйте еще меня задобрить, ведь происходит черт знает что такое. Амбиции до высоких абрикосовых веток Глазко, чувство недоступности, как виноград, что за бугром у хозяина с высоким забором, со злым псом. Где голубиная простота удивления? Давит, мучает сладкая слава поселковая, грядет ветреница державная...

Непочтительность

Не нравится мне отношение моей дочери ко мне как к родителю. В период беременности, ясное дело, женщины нервные и чувствительны. Я молчал, проглатывая постоянные замечания. “Папа, полотенце пахнет, повесь его на балконе...”. Жуть как не приемлю критику любого пошиба, выросши в строго патриархальной семье. Страсть как жажду отомолвиться громогласно, поставить на место занесшееся чадо. Да сверху еще и еще: “Папа, не чавкай, папа твои кросовки пахнут, папа, тебе надо стирать майку, потом воняет...”.

Я, честно говоря, не мог видеть дочь без содрогания, ожидая напасти. Я ходил на цыпочках, летал, как НЛО, бесшумно, двигался, как величайший мастер ушу. По известному закону, дверью хлопал сквозняк, а вину чуял я. Предметы падали шумно, а страдал опять же я. Тушеные овощи затевались с аппетитной семейной перспективой, но запахи проникали сквозь три стены, раздражая обоняние моей дочери, уже молодой мамы.

Одна моя знакомая, уважительно относясь к Светлане, добавляла, что ей кажется, что она вас обижает, Никифорович. Бывшая жена лет шесть-семь назад, когда мы с дочерью гостили у них на хуторе, прямехонько отметила неуважение ребенка к старшему родителю, впериваясь в нее заспанными слезящимися глазами, обозвав ее грубо и не по-матерински резко: “Ах ты неблагодарная...”.

В самом деле нужно быть благодушным, ну, хотя бы снисходительным, научиться отвечать томной меланхолией. Остричь по-доброму, не пытаясь прослыть главным и помнить, дочь выросла в словесно-чувственном аскетизме. Моя умница редко слышала от меня игривые хвалебницы, легкомысленные и вздорные монологи, уступчивые препирания. Сев на родительский престол, я старался задобрить дитяти

подарками и подношениями, но не ласками и добрыми чувствами. Не тронутая заразой язычества, девушка росла в благочестии, предпочтя праздности назидательное чтение.

К тому же я тихо пил, был суров и строг, по-диктаторски неумолим, по-самодурски нетерпелив. “Господи, научи меня идти по следам твоим. Молю сердце мое, чтобы оно знало Тебя и Твои заповеди. Даруй мне дар, какой даровал Ты угодникам Твоим”. Но давление отчее с лихвой возвращается. Так, сестра моя младшая Галина сторицей осыпает гневом маму мою престарелую, помня запреты подсознательно, садомазохизмом отмищая бездумно. Так, годы тонули в сумерках исторических и непроглядных, зажигались новые вехи житейские, укрупнялось одиночество мое душевное.

Лавиной валилась мне на голову дочернина созависимость, т. е. проживание чужих житейских фрагментов, контроль над ними неосознанный. Деланье всего с точностью до наоборот. И непонятно почему, с какой мотивацией. Но и разумно возвращение агрессии родительского давления, как утверждает известный немецкий психолог, направленное неожиданно и с неожиданной стороны в оригинальной упаковке. Я не начинаю кипятиться, потому что дочь у меня разумница-умница. Подвижница-энциклопедистка, не мне чета. Таких еще поискать — не сыщешь. Я не пытаюсь гневаться, ибо нет его, гнева, я пробую артачиться, нет смысла. Негодовать? Не на кого. Дочь у меня чудесная. Внук у меня божественный. Застопорившееся нравоучение души? Возможно. Взял и недовольно сказал все, что думаю словами отповеди. Как отрезал, как злость проглотил, но остался милосердным к бедным созависимым, наслаждаясь благостью духовного развития, начиная понимать что-то более глубокое, чем повышенные требования к людям...

Страшно

На ум приходят слова песни “Больно мне, больно...” только в другом виде — плохо мне, плохо. Уязвим и беспомощен. Переполненный рвением стать лучше, человечнее, милосерднее. Если не сказать, образцовым на пути самосовершенствования. Да тускнеют мечты от близких страхов, портится настрой от тревоги нескончаемой. И знакомства значительные заводил, и с сильными мира сего дружил, и с милиционерами водился и водку пил, не помогает. Близость смерти духовной колеблет зыбкое существование, умирает стержень, не окрепнув, ломается уверенность от беспокойства перед жизнью, от неуверенности перед завтрашним днем.

Что же дальше? Разгадка проста, ничего, кроме развития, никого, кроме знаний и устремлений к великой цели. А мужи пьяные орут на остановке, за три версты слышу, останавливаюсь за три девять земель,

ищу опору, мощу мосты отступления, лажу пути отхода. А назад дороги нет и там, за спиной молодежь перепившаяся у переулка бузит в естественности природной, в натуральности сексуальной и неудовлетворенной. Там их девки, их стая орущая и хмельная, а мне не в коня корм. Мне невдомек, что мне, незадачливому был голос Божий, с которого стекала благодать, расширяя границы твердолобого смирения.

Я кидаюсь не в свой троллейбус. Будь что будет, поеду не в свою сторону, где-нибудь пересеяду, доберусь в края свои отчие. Самоуничтожение лишь усугубляется словами громкими, идущими из уст мне под ноги, прыгающими мне в уши от бабы скандальной, из монолога, продиктованного свыше. Чтобы меня приструнить, обратить мое внимание на главное — на слабое место в личностном развитии. Еще один урок-тренаж, еще один случай, не несущий угрозу, делается уроком научающим дух и душу, воспитующим разум скудоумный.

Сижу в углу салона троллейбусного, трясусь от мысли, чего бы не вышло. Люди подвигаются вплотную — зябко, толкаются — агрессивно, заходят — неловко, вновь приближаются, чтоб они провалились. Как хорошо сейчас в полупустом транспорте. Та скандальная сука выметается, а я возвышаюсь ценой унижения. А я расту духом, минуты три ничего не боясь. Как же хорошо быть нераздвоенным мужиком, быть в себе, не дергаться от резкого голоса, от пьяного рыка, от неожиданной претензии. Как близка совершенная радость, слово к слову, действие к действию и ничего плохого не происходит. Не нужно чувствовать себя вторым номером перед тихо стоящим мужчиной, будто передо мной сосед дядя Ваня, какого я до сих боюсь, перед которым никогда не чувствую себя сильным.

Вдруг растроганный нежностью к самому себе, едва не угодив в саможалость, я думаю, какой же я несчастный человек. Сколько же мне приходится страдать как трезвому алкоголику, совершенно беспомощному перед беспокойной реальностью. Я опускаю глаза вниз, так легче ехать, я углубляюсь в какую-нибудь мечтательность, так думается безмятежно. Я отрешаюсь, изменяя сознание копанием в мобильном телефоне, редактирую стихи по ходу движения, думая о тех, кто за мной наблюдает. А когда поднимаю голову, отмечаю, никто не обращает внимание на мою скромную особу. Никому нет дела до моих стихов, до моих страданий внутренних и неслышных. Одни только добрые предобрые и любимые народом контролеры ласково окидывают меня взором и не подходят близко, будто чувствуя невыразительность моего состояния.

Одни только студентки шепчутся о вчерашних ухажерах, которые все же запомнили их имена. Монологи напоминают длинные письма из провинции ни о чем, но мне нравится их читать вот таким неуклюжим и воровским — подслушивающим образом, находя в них нечто удовлетворительное и нежное, как забытые и душевный покой. И душе моей не так уж плохо...

Граница рассвета и тьмы,
Весны золотая лучина...
Кончину на время уйми,
Холодная страсти причина.
И следствие — россыпи чад,
Траву у могилы ероша,
Тебя, повторяя, звучат,
Крича о мгновенье хорошем.
И помнятся боли сильней,
Людей, исцеляя, поверьте,
Летя переулками дней,
Гордыню, пыля круговерти...

* * * * *

Сильное ветра каченье,
Слабое страсти значенье
И середина пути...
И завершение века
А впереди человека,
То, от чего не уйти.
То, что семейные козни,
Точно в страдании позднем,
Грешное дело, следы.
И покаяние спуска,
И понимание узко,
Недалеко у беды.
Нож — обязательно в спину
Ровно пути половину
Проговорили уста.
Но за усталостью тела,
Счастья душе не хотелось,
Ровно полвека спустя...

Часть шестая

О ЛИЧНОМ И НЕ ТОЛЬКО

Война

Боевые действия обид и амбиций начались неожиданно. Со стороны противника — пожилого мужа — раздался выстрел — по ноге касанием торговой корзины привокзального магазина. Изделие больно царапнуло ногу чувствительными ударами. Я отпрянул, следя за противником, умаляющим мой суверенитет таким невнимательным поведением.

“Ах, корова ты неповоротливая, ах ты свинья неотесанная, осторожней!”, — крикнул я разыгравшимся воображением. Вслух-то страшно ругаться. Но выражения выбирал специально обидные, слова язвительные, образы литературные.

Умозрительные возмущения не возымели действия. Очередь медленно двигалась к кассам. Я как бы случайно, отходя полшага назад, толкнул обидчика, ловко опустив свою сумку между раненой ногой и болтающейся корзиной. “Ха-ха-ха!” — взялось внутри, забушевало мстительной радостью, разнеслось безмолвной гордостью, покатилося невысказанным самодовольством. Оглянуться я боялся, однако боковым зрением внимательно контролировал старую скотину, козла, выжившего из ума.

Пожоже, враг находился в смятении, обратив внимание на противодействие, оценивая молодого человека, с виду интеллигентного и спокойного. Очередь двинулась на полметра. Кассирша кричала через весь зал Катерине, чтобы та уточнила стоимость двадцатидвухпроцентной сметаны в желтой упаковке. Неспokoйная женщина сбрасывала сексуальную энергию громкими и скандальными претензиями левого толка (склоняясь к левой кассе). Старая скотина начала массированный обстрел, а я нарочно обзывал крепко сбитую уродину женскими нарицательными кличками фауны. Казалось, уничижительные словосочетания животного толка пронизывают его нижнее поле, подкашивая основу.

Яркое солнце глядело из-за витрин, смягчало нахлынувший гнев светлой радостью слепящих лучей. В их жизнеутверждающей силе, в их пылающей ясности на моем духовном фоне уродливее очертились черты непредсказуемого обидчика. И стонала внутри мстительность, и выло несогласное недовольство, подобно несмазанному двигателю магазинного вентилятора. И перекликались по-производственному кассирши, поминутно крича через весь зал вездесущей Катерине. А за окнами начинался новый солнечный день, радуя перспективой пути и неведомым счастьем.

Я принял решение и начал военные действия, рядом с которыми ядерные конфликты жалкие праздничные фейерверки из китайских петард в затрапезной глубинке. Я стонал от праведного гнева, от справедливой ярости. Я шагнул назад, как бы случайно наступая на ногу старой собаки своей сокрушительной пятой. Недруг попятился, недоумевая, степняк с обветренным и породистым ликом, дрогнул и не ответил. Лицо его

виделось белым и зацвело нетлением как у святого. Похоже, начинались знамения и чудеса в честь меня, мученика. Моя страдающая и больная душа, вострепнулась, на глазах у народа поднялась и перестала хромать. Ужели сам чудотворец, главный расширитель благодати, снизошел по мою гордыню несокрушимую. Ужели мощи его восстали, обрели плоть и указали мне бренность, тленность моей агрессивной позиции.

Уж и гневливый нрав к завершению очередного стояния поутих. Уж и слова не сказались, и сердце покаялось, и жизнь продолжилась без видимого изменения. Высказанная больно и разрушительно внутрь, вот она вся перед вами. Жизнь, оказавшаяся ветхой, требующая нового сооружения. Возможно ли такое?

При торжественном покаянии, изумительном исцелении совершилось несколько чудес. Одно из них — рождение духа. Я решил праздновать сей день, как встречу чудотворца и мученика. Пострадав законно, я победил врага и ныне славлю день песней, возвышаю прогонителя демонов. По этому поводу я принял иночество и удалился в иную страну тишины и покоя. Веселясь духом, я мечтаю подвизаться в посте и молитве, прежде чем почитать в ранней, средней или глубокой старости...

Кто главный

Сколько же сил положено на выяснение не главных истин, сколько же усилий души и духа совершено в унижение позднего становления, в отношениях, в которых наделано столько глупости. Первым делом, устроившись на работу в фирму под названием “Белкарго”, я попробовал угождать всем без исключения. Веселенькое дело, каждого возвести в ранг генералиссимуса и соответственно реагировать. Осилев несколько трудовых дней после тридцатилетней алкогольной заморозки, начал одолевать время и пространство, как сегодня это делает мой внук. Первая реакция — улыбка, пляска всякому, реверанс любому. Разделение фирмы на уделы не принималось всерьез. Должности путались. Владимир Степанович только и нашелся: “Ничего себе...”, — в ответ на мой детско-угодливый доклад с ясельными придумками, метафоричными образами. “В лучшей фирме мира все отлично...”, — отчеканил я в маленькие невеселые глаза, смущенный рядом стоящей финдиректоршей.

Ключи я предварительно выкладывал по ранжиру, как сказывал герой фильма “Ты мне, я тебе”, располагал по значимости. Топоты барабанили задверную территорию, доводя мое ожидание до неистовства — от нетерпения. Бухгалтерша тридцать пятого значения гордой осанкой заставляла трепетать душу. Не располагающая к себе инженер по перевозкам имела такие амбиции, будто ходила в подругах жены президента. Прямо-таки урок-загадка с разгадкой неизвестно когда. Все чин чином, как в жизни. Все перепутано, но главное, замешано на

чудесности. Как бомба прямым попаданием разрывает плоть на мелкие кусочки, так я разлетелся на частицы самопроизвольно.

Важные перевозчики своим чувством собственного значения давили на меня прессом. Я буквально очутился в городе, изобилующем храмами малыми и большими, причем разных конфессий. Я никак не мог вразумиться, кто же единодержавный обладатель сего богатства. Кто патриарх и вседержитель. Кто единосущный и повелевающий мирами фирменными. Одна моя нога ступала в расчетный отдел с письмами. Другая ступня топала в прихожей возле миленькой Оксаны. Обильные слезы словесного угождения сыпались из глаз моей души искренне и честно. Ударяя себя в грудь почти травмоопасно, я действительно появлялся с чистым и открытым сердцем у вязкого и скользкого заместителя по перевозкам. Я не примечал никаких несправедливостей в свой адрес, почти умирая с голода от маленькой зарплаты.

Десница на ходу поднимала трубку настойчивого телефона, а левая рука двигала фирменные дела факсами в неизвестном направлении, неизвестно кого обогащая. Я раздирался во имя святого послушания, от простоты душевной. Безо всякого стороннего утешения я начал получать в свой адрес охладительные замечания от конкретных руководителей, вспыхивая в ответ внутренней ненавистью и желанием мстить. Более значимые и важные начальники в отличие от иных затемняли свет, трудно проникающий в замкнутое пространство моего пребывания. Я так долго и так ревностно убивал по три зайца за один раз, что злосчастные коллеги обесценились сами по себе от внутреннего разочарования. Бесконечное милосердие дается всему страдающему миру.

Много энергии израсходовал я на преодоление простоты, на выяснение ответа, на одоление гнева и негодования, чтобы с великим смирением и почтением отринуть лжепророков, чтобы перестать дергаться от третьестепенных заместителей, решение которых ничто без разрешения шефа. И я простил себя нежнейшим образом легендарного Нарцисса, полюбив самое себя духовно. Я перестал наполнять помещение угодливым лаем и унижительным шарканьем монологов. Я поднял голову до надлежащей высоты собственного достоинства. Как сказал шеф, только по другому поводу, я состоялся и здесь. Я обрел в униженности полноту радости совершенной. Теперь каждый момент такой вот жизни равен вечности, схватывается предельно зримо, достаточно осознанно. Но сколько же сил положено, сколько сил...

Телефонные хитрости

Давно устоялись телефонные переживания в новом микрорайоне Уручье. Забылись бесконечные звонки и хождения по инстанциям. Прахом покрылись суетные разговоры о недалёковидности советской

власти, о нашем народном страдании. Мне в данном контексте событий немножечко обидно. Мало кто помнит давнишнее бестелефонье, отсутствие той маленькой подробности жизни, впрочем, отравляющей течение событий.

Едва ли кто-нибудь из жильцов дома 14 по улице Руссиянова воскрепит в памяти дни подинно прошедшие, истинно исторические, с их правдой факта, события.

Как-то воочию схватывается собственная боль, личная скорбь по мучительно дорогим образам времени перемен. По сладостно естественным пустым прилавкам магазинов, составляющих жизнь и заставляющих приспосабливаться, равно как и ее отдельных личностей. Как-то праведно и хорошо от чувства собственного значения в ободранном (так быстро после заселения) подъезде. Так легко спускается вниз отяжеленная алкоголем плоть. Не опохмелившаяся душа кубарем катится вниз, а быстрота движения скрывает уродство стати, которая (извините за каламбур) под стать колобку.

Ни в одной квартире не звенят телефоны. Запустив руки в неглубокие краманы, я направляюсь на телефонный узел. Десятки, сотни раз, почти ежедневно, я мелькаю в кабинете важного чиновника, задобряю начальника то выпивкой, то неожиданным презентом. И не было числа моим подношениям, (я занимался книжной торговлей), необозримы мои изреченные словеса — хвалебицы и речи угодные. Количество измен собственной душе говорило о том, что я достоин лишь самых недр ада.

И однажды в моем жилище зазуммерил аппарат с односторонней связью, как телефон-автомат на улице. Мы радовались с дочерью недолго, до тех пор, пока о нашей телефонизации не узнали соседи. Наша замечательная соседка Галя (дай бог ей здоровья) часами высиживала у волшебной игрушки, беседуя со всеми на свете. Другие соседи не оставляли нашу технику без внимания. Посторонние и случайные знакомые заглядывали на пару слов и просто позвонить по очень важному делу.

Я же добился установки полноценного аппарата связи. Я испытал такие муки, что почувствовал себя личностью. Но я угодил в психологический капкан и ничего не мог поделать с собой. Проблема сугубо личностна, суть ее конкретна, решение уникально. Ранее мне не доводилось подпадать под жесткий пресс чувства вины, под камнепад бреда отношений. Но теперь я ощутил его странные бесконечные лабиринты. Я изо всех духовных сил старался вести себя так, чтобы мой телефонный чиновник не подумал, будто я специально ходил к нему в гости ради телефона. Бредовая мысль действовала, как комитет по идеологии.

В первом сближении проблема не видится острой, но ее темная сторона, управляющая ситуацией крайне сильна и опасна. Если всмотреться пристальней, вслушаться чутче в меня, то вполне уместно расхохотаться. Но мои человеческие возможности ограничивались крайней инфантиль-

ностью. Как зачарованный, я вновь и вновь, сам того не желая, тащился на автобусе к телефонному приятелю. Потом, изучив ложную гордыню, я был потрясен силой притяжения чувства вины и воображаемой ситуации. Я противился, а разум не соглашался, я возмущался, а разум слепо выводил маршрут к ненавистному автобусу. Ноги против желания вели меня к постылому кабинету. Душа, не способная совершить свободный волевой поступок, рыдала, но не могла восстать против разума, помутненного алкоголем.

В конце концов, я возненавидел все телефонное хозяйство города и перевел наше общение с чиновником в русло телефонного диалога. Затем в редкие случайные встречи. Потом я бросил пить. Беседуя с прошлым, я нашел этот момент очень болезненным, и сказал о нем. Боль постепенно отпустила меня и вскоре покинула меня навсегда...

Страшилки

Тыфу ты, какая гадость лезет в очи из зеркала в туалете во время причесывания жирных и непослушных волос. Тыфу ты, что за чертовщина вспоминается, вылетая из бездн подсознания, глядя на меня из зеркального отражения пристально и пронзительно. Так смотрят разве что из зазеркалья. Из затейливых лабиринтов преисподней разве что доносятся длинноты о радостях совершенных детства несмышленного. Причесывалось второстепенно, в душе настудилось отрицательных эмоций умеренно, собственное отражение виделось и не отражалось. Отшествие из реальности совершалось по зыбким ступеням неэкономного мышления, увлекающего от тяжеловесного осознания, что ты не велик как футболист, не значителен как писатель, не гениален как поэт.

Создавалось такое ощущение, будто в подсознание образовалась трещина, как тогда, в Донбассе, у пятиэтажного дома, едва не переломившегося надвое. А из разворота примеры противоположного свойства располагались считалками мифопоэтическими “Эники-беники, ели вареники...”, придумками своевольными вперекрутку с иноязычными словами немецкого происхождения, узорчатыми матерно-площадными завихрениями типа: “Бабы суки, бабы, яти...” И все-все-все, непременно отфутболилось в середине зрелой жизни как способ доказательства существования иной и глубинной явленности. Как наименование божественной антирадости, не имеющей ни имени, ни адреса, ни родины. Попробуй-ка, сдвинь ее с места, чем-нибудь еще кроме исповеди, кроме всеильного, всемогущего духа божьего.

А водичка из крана леденит — простужено, а воздух из трубы гудит с хрипотцой, с причмокиванием, с прикрикиванием. Летят капли водяные на чистое зеркало, нашей техничкой Натальей до блеска выдраенное. А меня-то нет. Я осторожноенько начинаю “цедить” коктейль давно

забытых дней, все легче коротается время, все же, какая ни есть, но иллюзия анестезии. Уста изрыгают в собственное отражение: “Уся, Руся, Катя, Хом...”, — поминая анекдот, пересказанный лет пятьдесят назад, кажется, Людой Конево́й. Секрет смешной истории заключается в том, что перечисленные слова, произнесенные скороговоркой, слагаются в пошленькое слово с местным — донецким — малоросским диалектом. В народном исполнении, не очень-то учитывая падежи, не слишком-то считаются правила литературные. Всем известно, что делают жесткие рамки с поэзией речи.

Всем известные чудилки, страшилки, придумывалки, воображалки и прочие происки нечистой силы неожиданной и невидимой лавиной покатались под гору. Вода из крана и та не заглушала их странное действие. Собственное отражение не виделось, подготовительная работа, стало быть, сказалась. Как изрек величайший предатель всех времен и народов, “процесс пошел...”. Захихикали темные чудища, пришедшие в детское воображение на поляне. Зачавкали неприглядные лики, выглядывающие из-за костра у бугра насыпного. Заиграли повести Вовы Козела, божественного рассказчика, о черной руке, о таинственном темном герое, о всякой всячине, какой и не должно быть в детском сознании. Впрочем, пусть живет, только в очень маленьком количестве.

Пусть мой внук тоже знает разные уличные балагурки и побаски, но прежде пусть наполняется светом участия, радостью причастности, чувством собственного значения. И тогда посыпятся наградительные чудеса в виде душевного покоя и ровного отношения к пугающей реальности. Она не отталкивает за труды бескорыстные каждого, кто отправился в путь за радостью совершенной, убеждаясь в полезности трудной покорности, горького смирения, ускользящей уступчивости. Смотрите-ка, проборчик наточился, зеркало очистилось. Ах ты, зеркало, мой свет, возврати меня в реальность, в дни, прохваченные стужей, в свет, промоченный дождем...

Публикация

Ощущение цели придавало сил, чувство пути расширяло кругозор (Господь взыскует узкого пути). Неудовлетворенные журналистские амбиции наводили на хорошие мысли. В далекие советские времена мне светила крупная публикация. Материал отличался от проходных “развлекушек” для отдела новостей. Мой приятель посулил место в номере для целого очерка в настоящем, государственном, литературно-публицистическом ж-у-р-н-а-л-е! Ура-ура-ура! Троекратно трубил нескончаемым рефреном трубач радости душевной. Из раструба клубился вихрастый иней. От теплых переживаний оплавлялись примерзшие форточки в накуренной квартире. Супруга моей радости не разделяла.

Длинные обозы троллейбусов медленно разрезали поземку. Я нервничал, спеша с новой бутылкой (с деньгами тогда случилась неприятность), жажда еще и еще “подогреть” небольшой коллектив отдела. Я для коллег по перу виделся чисто благовеждением. Мое вхождение в проем двери напоминало приступление князя Константина к княжению в Муроме в XII веке. Тогда пораженные язычники пали на землю, единогласно прося крещения. Как говорится, через несколько минут после обращения весь народ местный торжественно окрещивался, причащаясь к матушке водке. Я продолжал испытывать муки нравственные, не ведая, что мой материал и так был бы опубликован безо всяких там горячительных буферных зон.

Но я вновь выискивал деньги, экономил на обедах, утаивал во время зарплат, замалчивал о сверхпремиальных. Я ненавидел собеседников, их случайно входящих коллег, их речи, их неяркие манеры и однообразные темы. Я испытывал одну лишь тоску, вслушиваясь в метафоры друзей просвещения и противников страстей, булькая проклятой и всемогущей дочерью духа дьявола. Я стучал в ворота обители писательской, надеясь услышать голос: вот придет рассерженный привратник, спросит, кто ты такой? По какому праву бродишь по свету и морочишь людям голову? Мне стало бы легче, случись такое превращение, окажись предомню некто здравомыслящий.

Но облегчение не наступало. Дверь отворялась сама собой. Никто не восклицал, убирайся прочь, как тебе не стыдно! Где твоё уважение к самому себе? Где твоя человеческая гордость? Чего ты боишься, чего добиваешься? Может быть, ты ищешь подпору своего падающего язычества? Долго ли в тебе играть суевериям, часто ли тебе угождать отрицательным усилиям волхвов? И можно ли ослабить их власть над твоей душой, когда ты не прилагаешь ни одного усилия, чтобы выпутаться из тенет страха?

И да заставят они застынуть меня в предстоянии — за воротами, на снегу морозном, в дождь проливной, в холод и голод терпения. И да не унизишься ты, слышалось в ночи, между ревнивыми претензиями бесноватой женщины, бушующей одесную. Не ропщи на сирую долю, не возмущаясь на судьбинном пути, плюнь на грошовый очерк на производственную тему. Доказательство тому ярость и угроза бабы глупой твоей. Продолжи ее стук в душу твою, отринь чувство вины перед неизвестно чем, прогони самого себя с бранью площадной, с ругательствами интеллигентными. Гони себя взашей. Отпусти себе одну пощечину, поддай дожину оплеух, намль хорошенько шею.

Напечатался-таки мой труд многодневный в духе социализма в ежемесячнике республиканском. Проснулся я утром знаменитым, утопая в ослепительном блеске зимнего утра. Дочь поцеловал под причитания-угрозы тетки супружистой. “Оставь ребенка, разбудишь...”. Улыбнулся

хоту восходящего светила. Полюбовался вьющимся холодом неплотной форточки. Что-то смешное вспомнил и никуда не поехал, вздохнув свободно. Вспомнил, на антресолях полбутылки огненного вещества. Подумал о тайной своей красавице и любимой женщине. Прикинул, сколько же рубликов из гонорара можно упрятать от скандальной погудки женского пола и самодовольно потянулся...

Мое почтение, Раиса Павловна

О, как мне хочется, дорогая моя сестра, угодить твоему образу, понравиться в метафорическом выражении, запечатлеться в воображении твоём ярко и блистательно. Поразительное сходство наших мышлений, пусть и накоротке, многим завистникам не даст покоя. Но, несмотря на существенные препятствия со стороны язычников, мой неприятель Михаил Недуховенко, отметил все же мою выгодную позицию, помнишь тамошнюю суету накануне моего десятилетия? Помнишь наши с Элеонорой — втроем — гуляния в подлунном холодном марте? Помнишь наше противостояние групповым противникам, если так можно выразиться? А Мишка, скотина завистливая, воздержусь от углубленной отрицательной оговорки, один раз в жизни произнес вслух хоть что-то толковое и объективное, похвалив меня, возвысив вас. “Да, Анатолий как всегда общается с красивыми женщинами...”. Заслужил-таки почтение, тварь бессловесная.

О, как бы мне продвинуться в ненавистной духовности так далеко, чтобы не пытаться производить всплеск фейерверка, взрыв остроумия, вспышку на празднике эпиграмм.

Прости меня, сестренка, если что не так. Нигде в подлунном мире не водворялась так мирно и последовательно программа взаимного развития, бездна взаимопонимания, трепетное внимание друг к другу. Мы шли мимо тихих воришек и тайных ночлежек, мы терпеливо переносили унылое пространство бездуховного однообразия и медленной скуки. Ни трапеза, ни веселье не оживляли наши души, одно только чувство братской любви и не более согревало наше торжественное шествие.

Наше совместное временное развитие водворялось достаточно мирно и удивительно спокойно. Помнишь, как много борьбы и страданий положили исповедники имени Христова между греками и Римлянами? Помнишь, сколько крови пролито при введении христинства в разных странах земли нашей многострадальной? У нас же не произошло ничего подобного. Тишь и благодать. Озарение солнцем и ни одного безответного звука в гулкой тишине шумного города, развивающегося вторым планом и скучным измерением.

Воскреси, пожалуйста, в памяти, ведь все-все-все, что не напоминало наше общение, отдавало и обдавало пряным одиночеством и острой

бессмыслицей существования. А подавление внутренней нетерпеливости напоминало страстный порыв никуда. Походило на монолог без актера. Выглядело слепящим образом без света. И нет-нет-нет, ничего предосудительного, ты не запамятовала, как, обдавая блестящим, словно отшлифованным небесным ручьем, дождем, стекала светло-зеленая благодать, пригревая нам правые щеки. Потому что ветер терзал нас слева, и все отрицательное тянулось слева ветхими строениями прошлой и трудно объяснимой жизни.

А мы с тобой, кроткий и неиспорченный язычеством народ, спокойно и уважительно косились на уважаемую былую жизнь и покорно, плача о прошлом, в течение ста лет двигались, уходя в романтическую неизвестность веселящейся столицы республики. Мы не привыкли видеть рядом обычных добропорядочных христиан. Мы скорее жаждали услышать свыше, эй, куда же, законченные бродяги веселой судьбы, трепещите! Идет второе пришествие вас самих на грешную землю, в этот ни с чем не сравнимый город.

Но страшно в том поместье, но шумны в нем надоедливые адепты нетрезвой судьбы. Крепки узловатые палки в их руках, так и охватили бы вервием, так перепоясали бы поперек хребта хрупкого. А мы все переносили с радостью и терпением, уходя в наши умозрения и неразгадываемые ребусы понимания. Мы и не помышляли о благих муках Христа, сами их, повторяя, перерождаясь для иного пути. И мы чувствовали счастье и покой. И нам посчастливилось остаться друзьями на веки вечные. И Элеонора нам аплодировала. А Мишка при встрече опять нам позавидовал, утомив прямизной завистливого мышления...

Иже Анжела

Я привыкал видеть тебя рядом. Я ревновал тебя к другим мужчинам, не будучи твоим мужем, интимным другом, любовником, а также кандидатом в оные. Мне нравилось, что ты нравишься другим мужикам, и еще больше мне нравилось, что тем мужикам это не нравится. С тобой поневоле закаламбуришь, глядя на твои черты, исполненные кротости и миролюбия. А что касается легкого оттенка царственности, то державный налет присущ всем нормально развивающимся людям, но львам по гороскопу в особенности.

Итак, ваше величество, мы, народ, целое столетие находимся бок обок. С чувством полного морального удовлетворения мы, с вашего позволения, отмечаем некоторые окаменелости на лицах ваших поклонников (глупо рисовать их в дурном тоне). Посещение наших дворянских собраний вносит в образы, так называемых зрителей в твою сторону, определенные неприятности и душевные раздоры, несмотря на существенные преимущества наших встреч, невзирая на тонкости общения и

обмена мнениями. Однако порой от ярости озлобленного — моим возле тебя присутствием — народа, проливающего слезы за мнимых богов похоти, не желающего подчиниться неумолимому течению событий, наблюдалось уменьшение народного духа. Явно выделялись на лицах (перечисление имен опускаю по известным причинам) отсутствие успеха вновь обретенной веры, долговременная — мне — зависть и непослдовательные — от Сашки рыжего — к тебе претензии.

В конце концов, эта неразбериха — кто, есть, кто — окончательно повлияла на умонастроение народа, явно приближающегося ко мне с огнем и мечом, дабы отвоевать у меня мое духовное сокровище. А мы умоляли их именем Господа отворить нам свои сердца, учиться переносить муки и обиды, и лишения, и ничем не бахвалиться. Мы пытались вопрошать, чего вы еще не получили от Бога, если ваша сохраненная жизнь не самое главное для вас? В конечном счете, нас утомили надоедливые взрослые дети. Мы отправились, куда глаза глядят, перефразируя известное стихотворение Евгения Евтушенко и далее: “Но то и дело, оглядывалась ты назад, туда, где твое прошлое горело...”. Цитирую по памяти, простите, если что не так.

Мы крутили асфальтированную планету нашими усталыми ногами, а дождь вымывал ее дочиста к нашему главному празднику не одиночества и покоя. Мы становились спокойнее, с виду серьезнее. Прозрачные изваяния туманных идолов постепенно сдавали свои позиции по мере нашего приближения к Богу, конечно, в нашем земном и весьма ограниченном понимании. Бесконечные мысли о корысти хрустели под нашими ногами, осознанные и отшвырнутые прочь. Мы притязали лишь на маленький духовный прогресс. Мы не опоясывались мечами, не проливали ничьей крови, не зажигали лживых огней фарисейства. Войско не следовало за нами, картины Страшного Суда не бросались народу в упрек за непонимание.

Крепко держали нас одни только земные выгоды, да так, что пуговицы трещали, обнажая, у меня мускулистое тело, у тебя привлекательную фигуру. Сашка рыжий полагал, будто мы любовники. Все так думали, сообщая и единообразно, скучно и примитивно. Но праздник все же наступил, потому что мы заговорили о главном. Мы с тобой чувствовали это главное как-то особенно, как в детстве, как в состоянии поэтического вдохновения. Ведь мы были устроены, точно сама вселенная, по ее образу и подобию. Мы действовали, а не слонялись бесцельно по нетрезвому безлюдью.

Мы приняли деятельное участие в решении только своих проблем. Чужие переживания, столь привлекательные для осуждения, к вечеру отодвинулись в тени многолетних деревьев Кальварийского кладбища. Мышление прояснилось. На бледном темнеющем закате лучами остывающего солнца ярче ранней луны обозначилось “Иже Анжела...”.

И понеслось гулять под небесами спокойным и надежным лунным светом...

Итак, она звалась Татьяна

Твои замечательные и честные эмоции озвучивались по-детски, растапливали гребни сугробов, курились дымной сигаретной поземкой. В тебе ветрено пронеслись исповедальные усилия, подхватывались стойкой снегирей, вели белой прозрачной благодатью. Проходящие мимо нас почтенные сыны человеческие прикрывали глаза от твоего яркого ослепительного света. И прозвали тебя, "Таня светлая...". И вправду свежесть морозного утра исходила над твоей головой золотистым ореолом. К счастью непросвещенной паствы ты оказывалась для всех невидимой, незримой, неоценимой. Несколько мужей богоугодных посматривали на тебя, путая то с Золушкой, то с ангелом в образе человека.

Разве что ревностные подражатели апостолов могли по-настоящему оценить твою почти божественное происхождение. Разве что очень высокая духовность могла услышать в речах твоих действительное, исцеляющее ум и душу речение, исподволь творящее свое дело. Но разве жизнь божественного текста и твоя собственная не совпали по назначению? Только и спросил, идя по среднему снегу, страдая от редкостной стужи. Ты, шедшая немного впереди, подавала пример великой святости и доброго назидания. Будь рядом церковь, ты обогащала ее своды более чем золотым сиянием. Будь государственная обитель просвещения, ты осияла ее святостью, покрытую дремучим лесом недосягаемости, молитвами и богомыслием.

Около полудня ты спустилась с небес на тройке добродетелей. Лицо твое с мороза покраснелось, доброта разругалась. Общее мнение народное разделилось. Иные, особенно Мишкина хитрая физиономия, блестяли глупой и хитрой миной сатира. Те, кто напротив, отмалчивались, видя рядом с тобой самого Святителя, вызывающего весьма тревожные мысли.

Мало кто отметил, своим явлением на землю ты возвратила зрение нескольким слепым, избавила несколько человек от хромоты и, ходили слухи, кого-то спасла от неизлечимого недуга.

Я лично беседовал с немым, он заговорил, не веря в свое исцеление. А темноликий бес прошмыгнул мимо нас, захлебываясь от злобы, грозя копытом неизвестно кому. Ты шествовала, словно невеста небесная, царица царицей, очищая тех, кто страдал недостатком духовности, своей твердой нравственной позицией. Ты вела себя так, будто собралась постричься в монахини.

И мы испугались твоего решительного взгляда. Я мог бы написать целый трактат о твоей решительности, но нет на то у меня высочайшего изволения.

Самым задушевным тоном я просил тебя не покидать нас сирых и убогих, пока все сокровища земные и небесные не откроются нам. Ни на минуту мы не прерывали нашу просветляющую беседу, слушая и легко, перебивая, друг дружку. Каждое слово в тебе поучительно блистало, каждый жест практически влиял на зимнюю умеренную стужу. Твоего душевного тепла хватило бы для наступления весны. И грезилось потепление, и формировалось руководство к действию, причем благородному. Паства заволновалась, те, кто курил, поняли бессмысленность некатинowego увлечения. А те, кто считал, что его тело и без того пребывает во здравии, признавали твое стройное и речистое пение из области духа истинно божественным.

Я же гордился знакомством с тобой, но мне, максималисту, все было мало. Мне же подавай нравственное наставление непросвещенному люду. В то время ты положила основание тому, что трудно переоценить, началу нового мышления и поведения. Проведя немало времени в схеме, в пещерном монастыре непонимания, ты восстала лучезарно и навеки, ныне и присно. Стало быть, дух твой и тело пребывают в благополучии, коль ты есмь улыбка, ты есмь радость наша и друг паствы развивающейся.

Снежная зима на исходе. Летописец изрек, думаю, о тебе: “Подобного не видели у нас...”. Эхо развеял ветер. У костела громко разговаривали братья и сестры, упиваясь крепким кофе, смущая ксендза странным и шумным поведением. Ты робко оторвалась от многолюдства, часто оглядываясь, двинулась под гору нового пути, увлекая всех, кто в осознании. Мое благоговение перед тобой было и есть безмерно. Ибо ты преобразилась, переродилась, пресуществилась, став праведною невестой небесною, чьим-то надежным счастьем, нашим добрым другом. По разумению паствы никто не мог вспомнить тебя прошлую. Сказывали, она звалась Татьяна...

Крепись, Ирина

Ты только посмотри на себя в первый год нашего общего развития. Ты не ставь меня в неловкое положение. Самая блистательная, самая духовная, самая-самая смиренная и необыкновенно притягательная. Ты озорно шагала по обломкам разрушенной империи своеволия, открытая как настоящая демократия, честная, как божий младенец. Приняв сан духа, ты покинула обжитое место старой обители, махнув на прихожан, оставив им безответный ропот в мой адрес. Я выводил тебя из мрачных лабиринтов лжедуховности в надежде, что ты начнешь творить чудеса.

Мы скрипели подошвами по шаткому мосту, убираясь все дальше из прошлой жизни. Мы бежали по аллее света, взявшись за руки. Мы перешагивали сразу через много ступеней, смущая наблюдателей, радуя

Всевышнего. Дверь твоя — личных взаимоотношений — зазывала в сени к маме, посудачить один на один о чудесной реальности. И никаких замечаний аналитического свойства. Ни коим образом не выяснять отношения за той дверью, тяжелой и, к счастью, не отпирающейся так легко, как видится на первый взгляд. Твое же исповедальное, скорее примирительное слово, обращалось и к бывшему мужу, отравителю безмятежного бытия. Потом выяснилось, тебя (я жил твоими чаяньями) раздирала реакция на супруга, а сам-то он мирской несчастный и одинокий разведенец, навеки ушедший к тучной бабенке.

Твое, в высшей степени демократическое слово, предназначалось сыну, пестуну, надежде, любви материнской. Он у тебя красавец, футболист (высшая степень похвалы небесной) и опора в твоём, может быть, не совсем реальном одиночестве. Что ж, может быть, может быть. Мы весьма эмоционально обменивались высокими мнениями о сокровенном. Тогда я почувствовал, ты способна быть до конца принятой твоей мамой, бывшим мужем (по-твоему он мерзавец) и сыном. Давай посмотрим в глаза естественности. Мы никогда не пытались сблизиться как мужчина и женщина, хотя по твоим восклицательным отголоскам, они и сегодня разносятся по улице Притыцкого, тебе хотелось чего большего, чем духовное общение.

Ирина моя, Ирина, мое ты тропическое растение, мимоза реальности, сама женственность и беспомощность в бесконечном семейном диалоге. Обладательница монолога гордости, ведущего, безусловно к одиночеству. Казалось слишком просто, через чур неправдоподобно нашарить на притолоке души твоей открытой и ранимой звонок сердца. Но мне это в голову не приходило, развивая наше истинно содружество, предупредительно-ласковое общение, трогательно-романтическое сотрудничество. Высокие и худощавые, толстые и неопрятные, разные и всякие мужи пытались повлиять на твою благосклонность. Я легко улыбнулся, протянул тебе дрожащую ладонь, оглядывал публику и сдержанно откланивался.

Завистливые мерзавцы распространяли о нас сплетни, предполагая в нас грядущие адские страсти. Мы своим присутствием на группе “университеты жизни” мирили противоборствующих в распрях. Благо, ни один из воображаемых противников не решился на мстительное предпринятие. Ненавидя меня тайно, завидуя тихо, кляня подсознательно. А способы нашего содержания и терпения состояли из нашего общего мучения в геенне огненной химической зависимости. Через обговаривание мы с грехом пополам добрались до самой глубины души.

Аллегорическое моралите не увлекло нас в бесчувственные края. Я посулил душе твоей любовь, мужа и счастье при условии, что... Последнее ты пропустила мимо ушей, не приняла духом, но в том и заключалось само счастье. Тон твой постепенно обретал ленивость, гримасы кокет-

ливость, новый твой образ жизни удивительную способность к приспособляемости. Ты теряла меня, английская леди с примесью славянского непокорства. Ты улетала, носительница генетического бунта, обладательница изящных восточных черт, особенно чарующих в минуты улыбочивости и открытости. Обращение к тебе происходило в эмпирически данной конкретике. Я явно не годился тебе в мужья, а ты декламировала: “Хочу замуж...”. Посмотри же на себя сейчас, озаренная яркой своей жизнью, блеском глаз долгожданного внука и тем приятным обстоятельством, что мы в сущности в земной жизни уже неразлучимы...

Лица, не буди лихо

Ты свалилась то ли с паперти, то ли с погоста, еще живая и вроде бы вполне потусторонняя. Ты ли это была, Лица, Ликочка, Ликуня. Мамочка твоя схватилась одной рукой за ускользящее пространство, другой за пульсирующий висок. Родня встрепенулась, мы замерли и всем миром вырвали тебя, падающую в преисподнюю. Вместо тебя, от смущения и неловкости, туда проваливался я. Минувя суеверие, еретичество, колдовство и прочие жениховские штучки. Теперь вы с мамочкой в четыре руки сторожили меня, разведенного, вслух читая церковный устав святого Владимира в одном из дошедших до наших дней списке.

Ты вела речь о делах семейных, о похищении жен, о вступлении в брак, о ссорах между мужем и женой. Ты уже не рушилась ни в какую сторону, но зависла и непонятно на чем держась (честное слово Господа Бога тоже в счет). Мы даже не пытались замять историю, которая завершилась всего лишь грохотом ремонта столетней квартиры, твоим восхождением на Олимп новой жизни.

Но прежде прошло несколько тысячелетий, по примеру небесного законодательства, прежде всего случившегося за тревожные века перерождения и пребывания в весьма неуютных трезвомыслящих течениях. Но прежде я пью и пью предложенный мне чай, ласково наблюдаю за твоими очень быстрыми внутренними изменениями. Я чувствую умеренную смелость, отсутствие похотливых порывов (ты не мой сексуальный тип), огромное внутреннее желание изменить тебя по своему образу и подобию. С первых слов моей проповеди ты ведешься по доброму, не противясь, но вторя и внимая моему голосу. Ты до конца остаешься чудом, чудесно явленным, то ли с паперти, то ли с погоста. Чудом, в последний момент выхваченным, да так, что слух пошел по земле тракторозаводской. По слабым ушам местных граждан прокатились слетни о твоём спасении. Люди специально приходили на тебя посмотреть. Валерка, подлец, лгал тебе.

Но мамочка точнейшим жестом приостановила всеобщее мировое любопытство в то время, как душа твоя переродилась. Силою всего лишь

нескольких простых слов, образующих истину. И ты вторила, вкладывая в непослушные извилины, едва шепча, едва лепеча: “Я бессильна...”. Мамочка норовила заполучить меня на дачу, предвидя доброго жениха, завидного (с квартирой) мужа. Ну, так мне думалось. Сделку заключали долго и нервно. Ты, моя радость, то и дело увиливала от моих требовательных положений. Я же подбирал день к твоему дому, взлетал на второй этаж, звонил. Мы начинали развиваться, только разговаривали. Не исключаю, возможно, у нас получился бы неплохой роман, но я-то повода не давал, даже не мыслил о прелюбодеянии.

Иногда наезжало много гостей. Каждый из них имел на тебя свои виды. Один я оставался на сто процентов бескорыстным, мешая поклонникам осуществлять коварные похотливые планы. Валерка, по уровню своего развития, не понял нашей дружбы. Другие думали так, как думали. Я брал тебя простотой, капризную, изнеженную. Я стоял над тобой с розгами из чувства вины, с умилением разглядывая твои горящие щеки. Ты выражала готовность отправляться хоть куда, но завтра. А сегодня ты надувала губы, школьница школьницей, плача бесслезно, не хочу на занятия, не поеду. Веселые улыбки окружали твою надуманную угрюмость. Я любил тебя именно за нее, неуместную на паперти, с которой ты и свалилась, ускользнув с погоста от самой могилы. Валерка вперивал свои умные и насмешливые глазенки, качаясь от ревности, ничего не понимая. Мамочка заключала со мной договор, разгоняя всех женихов правого толка. Свершив жестами, завершив обедом и заверением, что все будет хорошо. И мы приостановили человеколюбивые мероприятия.

Напряженное состояние по желанию что-то произнести и обязательно, сейчас, сегодня спасти от смертельного падения Лиду ничем не отличалось от адовой пасти, оставшейся без зубов. Мы выбрались на свет божий целыми и невредимыми. Благодаря честности, искренности, непрестанному вмешательству в процесс маменьки. Благодаря частично отшельническому образу временного прозябания, возрастающим успехам в духовной жизни. И мы, дорогая моя, пробирались по дебрям, холмам и горам и поселились в новой обители, где ни лжи и обмана. Где иногда выглядывал Валерка, умничал, его слова походили на самообман, слышалась насмешкой. Под его суровым и осуждающим взглядом мы с Ликой ели вермишелевый суп из глубоких тарелок и чувствовали себя не в своей тарелке...

Думы во сне

Хочу я, брат Анатолий, установить мир между тобой и тем человеком, что прячется за твоей спиной. Хочу, чтобы ты пришел в сознание и возраст, чтобы нашел самое благочестивое состояние души. Хочу, чтобы каждый день заглядывал в церковь, внимательно слушал божественное

слово, чтобы ты остался верен самому себе. Запомни, главное не изменить самому себе. Тебя во сне не преследовали ни люди, ни звери. Ты чурался праздности и ярких одежд. Ты внутренне изготвился соблюдать небесные заповеди. А пока не ломай голову над тем, как избежать покупки подарка для любимой женщины. Никому не произноси вслух свои мысли о том, как ты собираешься устроить конфликт в отношениях со своим счастьем, дабы вновь примириться после дня рождения. Лишь бы уклониться от мужественного поступка — быть щедрым, дарящим, бескорыстным. Лишь бы на миг не уподобиться образу Творца. Тогда ненасытное пламя ада не лизнет твою душу своим раскаленным языком. Алчность сильнее страха наказания. Ты находишь повод для конфликта, придираясь неизвестно к чему. Ты отправляешь бедную и несчастную женщину в слезах, исполненную обиды и горя. Ты резко и агрессивно отмахиваешься от волн чувства вины и злорадствуешь от осознания своей власти над небесным созданием. Ты самодовольно улыбаешься, ловко ты всех обвел вокруг пальца. Только туман рассвета приводит тебя в чувство, окатывает холодом стыда, сыростью саможалости, скукой уныния...

Саша по прозвищу “большой”

Яркая лампочка невиданного духовного света озарила твое чело, легко коснулась души, не добираясь до ее потаенных потемок. Ты направился вслед за мной, послушный и непонятный. Мы совершали достойное покаяние в грехах. Благость тончайшего стекла скатывалась нам прямо под ноги. Я вызвался твоим поручителем, заверив сопровождающих нас ангелов, что ты достойно пронесешь крест смирения. Мы в один голос кричали то же самое. Нам вторил шумный город. Молва народная восхищалась тобой. Группа народных избранников аплодировала, не вникая в твои высказывания. Но я чувствовал, я чуял отсутствие покорности за недоговоренностью и полумерами. Душа твоя вела тайный стговор с бесперспективной расчетливостью, как будто можно иметь собственное мнение при смертельном заболевании. Народ в один голос сулил тебе вечную любовь и признание. Народ верил, люди знали, ты не обидишь никого в целом свете. Но ты забыл о себе, о самом главном человеке вселенной для себя. Твое коварство поразило меня двоедушием, ослепленностью, бессмысленностью. После женитьбы — ты бурей пронесся по жизни другого человека — ты обронил сакраментальную фразу: “Я чуть не напился...”. Прости, брат Александр, ты же профессиональный мастер трезвости. На твоем уровне духовного развития подобные мысли неуместны. Стало быть, все чудилось премудрому мальчику. Стало быть, лжинка, которая слышалась мне за кажущимися откровениями все же существовала. Но как же заверение перед ангелами света? Чего тогда стоит мое поручительство перед небесами? А те в от-

вет громыхнули, огрызнулись коротким дождем. Я отпрянул в сторону, глупо подпирать да еще в духовном смысле то, что уже разрушилось изнутри. Чаения не соответствовали духу народного собрания. Пять шагов оказалось, как и водится, недостаточно для решения двенадцати внутренних противоречий. Смирение простиралось как-то недалеко. Другие пути увлекли твою суть. Радость народная угасла, интерес к тебе пропал. Ясность и связность мысли окуталась туманом, главное и откровенное подернулось глухонемой. Увлекательные финансовые рубежи укрыли тебя от наших духовных глаз. То, что я увидел на форуме, напоминало чужой портрет иного возраста и времени из-за небывалости твоего чудесного возвращения. Смотрелся ты как-то болезненно, поработанный бледностью и горем...

Диво из аптеки

Диво звалось Натусик. Диво любили члены народного собрания. Отдельные личности сочувственно относились к влечению ее сердца, хотя Натуся оставалась чуждой к обществу, окружавшему ее глубоко одинокую натуру. Ничто не трогало нежное женское сердце, кроме духа отрицания, кроме силы тьмы, которая почему-то имела власть над слабым и нежным существом. Ее чувства не слабели только к определенным веществам, почитаемым в определенном обществе. Когда наступала пора возвращаться домой, мы верили, она отправилась в домашние стены. Но чувство собственной ненужности не позволяло Натке просто так напрямиком топтать к подъезду через сквер. Сильные побои от встречи с несправедливым миром заворачивали женщину куда надо. Работая в аптеке, она двигала стопы к дочернему предприятию — в аптеку ликероводочную. И выносила в сумочке ее свирепейшего представителя с винной рожой. Знамение антихриста осеняло Наташину душу, превращая личность в имя нарицательное. Уже после первого глотка спиртного напиток человек переставал быть таковым. На горочке маячил нелюбимый муж, отбрасывая укоризненную тень до самого кустарника. Ветки растения крепко держали тетю мужскими пьяными похотливыми перстами. Коротко любилося на травке в полумраке со случайными встречными. Триста шестьдесят пять раз в году мы расставались с ней после общего духовного собрания, веря в ее духовность. Двенадцатикратная защита не спасала ее "хочу" от крайнего проявления. Словесные укоризны супруга тщетно бились в ее анестезию и падали на пол вместе с одеждой. Одна мама пыталась держать ее в мистических оковах страха на почтенном расстоянии. Бедная родительница не ведала, как она пряталась от мужа на кухню, один за другим выпивала три стакана вина и через непродолжительное время мешком сваливалась на пол. Супруг всю жизнь ждал чего-то хорошего. Она же мечтала о другом счастье. Чувства ослабели,

духовность не действовала, дочь уходила из-под контроля. Она наложила на себя железные вериги своеволия, греша даже более и чаще меня, что невозможно из-за опасной близости смерти. Ежедневное ритуальное предвareние самообмана завершилось изгнанием с работы, унижением души, разочарованием. Мы всегда вспоминаем ее, как диво дивное из аптеки, как мастера особенного образа жизни, побившего все мыслимые и немыслимые рекорды человечества в употреблении веществ противных сути. Я же за все человечество чувствую вину, что не смог помочь ей обрести здравомыслие...

Света из тьмы

Ты опустилась к нам на небесном облаке, когда литургия уже завершилась. Ты порывалась властвовать над миром. У тебя ничего не выходило, реальность оказывала на тебя трезвое и противное влияние, со своей глупой претензией на скучную чудесность. Ты шла домой, пересказывая мне историю сотворения мира, только ее не основную часть, ежеминутно повторяясь. Никто не интересовался нами. Мне в каждом прохожем мерещились твои огромные мужья, ревнующие громадными кулачищами мою интеллигентную физиономию. Тебя нельзя было повторить, скопировать, сдублировать. Ты сама индивидуальность, ускользающая в небеса против всякого понимания. Все, кто интересовались тобой, оказались с носом и почивают на бобах разочарования. Ты недоступна никому, ты свет, идущий из тьмы. Как известно, ничто не может удержать свет от стремления к подвижничеству, от чего у меня дрожит сердце от зависти. Ты тайно обошла все монастыри нашего региона, возмущив прихожан, лекарей и преподобного Антония. Томительная грусть одиночества и духовной неудовлетворенности читалась и видится в твоих замечательных глазах сегодня. Мы встретились у входа в костел, с удовольствием выпили по чашке взаимопонимания и откровенности. И разбежались в разные стороны бытия, следя за ускользающим общением. Ты с небес, я суровым мужским взором, вместе наблюдали за литургией, думая каждый о своем...

Разжалованный

Анна Константиновна, директор пионерского лагеря “Борок”, коротко и однозначно отметила: “У Анатолия высшее образование, он журналист, поэтому я назначаю его воспитателем в старший отряд...”. Голова моя закружилась от счастья, остроконечные сосны вонзились в небеса, нескошенные травы ниже наклонили головы. Дети полюбили меня, мягкого, уступчивого, угодливого скорее всего, по сути своей — развивающегося алкоголика.

Мои тихие пьянки продолжались нескончаемо. На такое проявление антипедагогтики дети не обращали никакого внимания. Я хорошо к ним относился, тогда как остальная часть воспитущей братии была с отроками крайне строга. Никто кроме меня не захаживал с детьми далеко за колосющиеся поля. Никто не мог размягчить сонных утренних детей уместным движением из ушу. Дети с благодарностью отзывались обо мне в своих кельях мамам и папам в родительские дни. Дети изготобились пойти за мной в огонь и в воду, но алкогольная дерзость, как всегда не вовремя, свела меня с пути здравомыслия. Мое раскрасневшееся лицо затягивалось паутиной безумия. Я потерял способность управлять собой, своими словами, чувствами, эмоциями. Шум, преобладающий в непутевой голове, вышел наружу. Меня отстранили и понизили в должности до кухонного рабочего. Кому дано воспроизвести то чувство вины, какое я испытывал, глядя на своих ребят. Они приветствовали меня издали, вероятно, тоже с такими же ощущениями. Я видел себя со стороны огромным и неловким. Я использовал малейшую возможность, лишь бы увильнуть от жаркой раздачи первых и вторых блюд, боком, назад, прискоком за негабаритную стенку. Лишь бы не видеть детских укоризненных глаз...

Немцы

На исходе первой половины жизни я обнаружил внутри себя неприязнь к немецкому народу, привитую долговременной советской идеологией. Странные чувства вызвали положительные повести о не фашистских поступках солдат гитлеровской Германии. К примеру взять рассказ моего дяди, которого немец угощал конфетами. Или воспоминания жителя той же деревни о помощи фельдшера больным детям. Такие моменты не укрупнялись. Фашизм разоблачался раз и навсегда. Лишь только завершалась неудержимая удаля увертюры, титры превращались в партизанские тропы, вводили в лесные землянки, в боевые блиндажи на передовую.

Возгласы внутреннего одобрения восклицали эмоциями, болея душой за "наших". Хотелось скорой победы наступающего отряда, дикого восторга от страсти неожиданного нападения на вражеские позиции. Но вот нетипичная, с оттенком комичности, ошеломляющая музыка. Гитлеровские вояки в страшных касках окружали село. Чужестранные воители появлялись на шоссе, обгоняли подводы с крестьянами. Зал лидиевского Дома культуры, битком набитый детьми моего поколения, превращался в единого немого зрителя. Я как сейчас вижу во тьме руку сидящей справа девочки, судорожно дергающую монолитный подлокотник. Я помню ее лицо, вылепленное с образа праведного гнева, с чела ярости, с облика мстительности.

Даю рубль за сто, мой лик ничем не отличался от негодования всей державы, застывшей у киноэкранов. Клянусь, три черных солнца одновременно исторгнули тьму в огромную страну. Великий страх заглушал все сто пятьдесят полутонов человеческих чувств. Впору было задохнуться от переживания, от внутреннего напряжения. Хронические бронхиты в такие минуты излечивались. Простуды в горле плавилась нахлынувшим патриотизмом. Нервный смех юной героини пронизывал тридцать рядов по-рентгеновски. Крупные, ослабленные лица противника, идеологически правильно очерченные режиссером, вызывали ненависть, ненависть, ненависть.

Картины лежащих на земле мирных жителей, умерщвленных военными преступниками, дети, томящиеся в окопах концентрационных лагерей били по голове обухом фактической правды, усиленной увещательной тирадой голоса за кадром. Практически все фильмы, связанные с Великой Отечественной войной 1941—45 гг., вызывали наружу бурю переживаний одностороннего характера. Одно только слово “немцы”, брошенное с киноленты через экран телевизора в мою хрупкую душу, произвело впечатление большее, чем сто живых разбойников-грабителей. Актеры в немецкой военной форме врвались в дом с обыском, а я оцепенел от ужаса. Воспламененный благородством защитника Отечества я соперничал и бил проклятых фашистов из пулемета. Патроны у меня не заканчивались, как в югославских военных фильмах.

Ласки и угрозы в адрес допрашиваемых подпольщиков, несчастные женщины, едва живые от голода, томящиеся в темнице. Им предлагали все богатства мира за предательство, им сохраняли жизнь, но молодогвардейцы шли на верную смерть, не поправ своей чести. Постепенно слова фашисты и немцы слились воедино. Искусительница-ненависть запылала злобой, обратилась внутренним убеждением, восстала устойчивым чувством. Сегодня мне неловко от мысли, что я не сделал ни одной попытки разобраться в немецкой аномалии, пересмотреть вопрос неверно вложенный в мое детское сознание.

Двенадцать исторических этапов духовного развития, конечно же, изменили мое внутреннее состояние до неузнаваемости. Моральная инвентаризация, должна продолжаться всю жизнь (это касается тех, кто забрел в могилу в полном здравии), привела в чистилище исповеди дня, часа, фрагмента. Говорят, 12 слишком правильное число. Пусть еще существует тринадцатый этап прощения международного. По слухам, по пересказам, нет ничего вернее новой легенды, рожденной переживанием, ставшей традицией, трансформируясь в осознание. Я прошу прощения у немецкого народа, у его культуры, истории, спорта. Я прощаю замечательных людей и отныне не вздрагиваю от крика киногороя: “немцы...”.

Дед

Однажды брат Виктор возвратился домой и увидел деда, лежащего на полу. Дед Степан Иосифович Сендер отныне и присно и вовеки веков воспарил на небеса. Последнее время старик ничего не ел, откровенно выражал неестественную мысль о нежелании жить, о бессмысленности своего дальнейшего пребывания на грешной земле.

Крайне пожилой мужчина смотрелся истинным художественным произведением как таковым. Высохший до неимоверности, он исходил от тоски и одиночества, похоронив трех сыновей, претерпев предательскую — позднюю женитьбу последнего и самого младшего шестидесятилетнего сына Михаила. С Мишей можно было предаться воспоминаниям, поспорить о некоторых деталях прошлого и даже не зло поругаться на почве разноречивых событий далекой молодости. Одним словом, аксакал затосковал. Тайн в жизни для него не осталось. Бытие как произведение искусства, как сообщество людей превратилось для бывшего воина царской армии, штабного писарчука, жертвы советской власти, свидетеля трех войн, связанного с отрядами партизан в Белоруссии и узника одиночества, в медленнотекущую пытку.

В 89 лет у Степана Иосифовича вдруг случился приступ аппендицита. Сколько людей проходят мимо, сквозь сию операцию, минуя ее, не задерживаясь. Но как ухватиться за человеческую реальность накануне девяностолетия, которая сквозит пронзительной болью в животе. Какие можно услышать предложения, если 90 лет в конце двадцатого столетия, в ужасе атомной экологии, это все 130 в веке предыдущем. Дед как самое произведение искусства и слыл таковым, был им и являлся среди прочих истинно шедевром. “Послушайте как у деда мотор молотит, — кричала молодая помощница врача медицинскому персоналу, — он говорит, болел цингой лет семьдесят назад...”, — продолжала захватывающий монолог юная жрица гиппократова племени, удивляя видавших виды врачевателей.

Дед признавал только два лекарства, водку с перцем и водку с солью. Почему с солью, я абсолютный чемпион мира по употреблению алкоголя в марафоне, так и не смог узнать, уточнить и понять. Конечно, в таком почтенном возрасте любой врач отметит возрастную планку, сошлется на возраст и возрастом же откритится. Так-то оно так, но как-то в среднем, шестидесятипятилетнем возрасте у бывшего партизана спросили, давно ли он перестал заниматься любовными делами. На нетактичный намек пожилой муж среагировал без обиды и довольно резво, бойчее иных и более молодых. Глава рода недвусмысленно отметил, что в 65 он еще по бабкам бегал, не подозревая в себе столь непривычного для молодости старческого человеческого материала. Онако же, перед потомками предстояла чистая художественность, чистейшая человеческая потенция.

Когда-то дед поменял мешок кукурузы на овес для колхозной лошади. Его сдал однофамилец, оставшийся безымянным. В местах не столь отдаленных заключенный Степан Сендер на всю ивановскую строчил письма не шибко грамотным братьям по заключению. Божественно красивым почерком он изъяснялся в любви чужим женщинам, жалобил неизвестных невест, печалил смутной и радостной надеждой матерей. Каллиграфия и вправду соответствовала вышеприведенной метафоре, вызывающей двойное чувство у всякого фомы неверующего. Возможно, я предоставляю вещь-смысл как осязаемое доказательство, а не просто метафорическое чаяние моего преувеличенного желания.

На пожелтевшей клетчатой бумаге, сохранившейся самым удивительным образом и благодаря дедовой аккуратности, я читаю блестяще написанные, грамотно изложенные строки некоего заявления, оставленного дедом в 80 лет. Дед писал по многим инстанциям с одной единственной просьбой вернуть отобранные во время ареста боевые награды. Справедливость, разумеется, в советский период не торжествовала, все запросы остались без ответа. Дед честно дожил вторую семейную жизнь с Елизаветой Ивановной Никорой, продал дом, уехал с женой к ее дочери, вложив все вырученные деньги в ее хозяйство, да просчитался. По неестественной смерти супруги, говорят, дочь довела мать до самоубийства, деду и вовсе не стало житья в примах. Ему выделили место в сарае рядом со свиньями, всячески унижали, не замечая, не уделяя должного внимания старику.

В таком плачевном состоянии и застал отца младший сын Миша, откликнувшийся на письмо родителя. Михаил Степанович в срочном порядке забрал папу в Мелитополь. У сына дед зажил на славу. В меру пил и ел, и рюмкой водки не злоупотреблял. Дед отличался внешней аккуратностью, никогда не пользовался утюгом, но складывал брюки по старинке между периной и матрацем. Утром эта часть мужского туалета всегда оказывалась как бы выглаженной. А старая царская закалка не позволяла его чувству собственного достоинства показаться на людях небритым. Бритье всегда превращалось в ритуал, любые бритвенные станки отвергались с дворянским презрением. Старая бритва, кажется, ровесница долгожителя, тщательно отбивалась по традиционным брадобрейским методикам на кожаном ремне и сто лет не менялась.

До 96 лет Степан Иосифович ходил в парикмахерскую стричься, несмотря на иные просьбы и предложения. Перерыв в пострижениях случился в то время, когда ему удалили катаракту. Но вскоре сын Миша женился во второй раз и превратился в редкого гостя, лишив одинокого отца последнего собеседника и слушателя. Дед Степан затосковал. Он часто просил Мишу приехать, но сын занятый устроением личной жизни, не смог уделить внимание отцу. Когда мой брат Виктор пришел с работы домой, дед лежал мертвый. После похорон убрали дедову комнату,

вымели из-за кровати килограммы дефицитных таблеток, купленных во время перестроечного дефицита лекарств. Бог с миром отпустил старого солдата, упокоив его душу на веки вечные.

Вспышки памяти

Дядя Женья, а ты носил партизанам патроны? “А как же, племянник, у меня и трудовой, и боевой стаж с шестнадцати лет. Ходили под фронт ловить лошадей. Помню, привели три кавалерийских, двух приручили, а третья, ни в какую — на дыбы”. Дядя Женья в свои семьдесят шесть лет хорошо повествует.

“Дед Никита нашел в кустах ольхи винтовки, видно, солдаты побросали. Ремни отстегнули, оружие спрятали в баню, в подпол на горище. И как-то сразу появились партизаны — москвичи. Четыре человека на пони, такие маленькие лошади, а с ними зять соседки. Затребовали отвести их в Кукуевку к полицая, забрали у него винтовку и семнадцать патронов. Я их в березняке перехватил, спрашиваю, ну что, много оружия взяли? Сколько вам нужно? Привел их в баню и начал доставать из подпола. По пять винтовок связывали и грузили на пони. Еще из речки доставали, помню, вода очень холодная была”.

Дядя Женья очень хотел бы выпить еще одну рюмочку моего дарственного белорусского напитка, настоенного на ста травах, именуемого поэтически “Беловежская”. Да тетя Лариса строга и сурова с ним. А тот, точно ребенок какой, продолжает: “Я к партизанам обратился с просьбой, возьмите меня с собой, они же, подрасти, парень, только и отвечают. Обещали поговорить с отцом, три раза за оружием приезжали, после прислали записку от двоюродного брата с просьбой отдать все, что в подземелье, а ниже предупреждение, если кому-нибудь хоть словечко скажу, то голову мне оторвут как брату”.

Известный белорусский напиток не дает дяде Жене покоя. Я его прекрасно понимаю. Он механически жует вермишель, кивает в ответ головой на замечания тети Ларисы, чисто дитя малое и вновь выдает с завидной точностью возникающие в памяти фрагменты. “Бабушка Акулина идет в криницу, а лошадь рядом с нею, хороший конь, рак горла у него был, пить он не мог. Позвали мы Решетника, тот отправляется к реке, собирает подводные новообразования, которые в народе называются “чертов палец”, такие столбики белые выкапывает, засушивает лягушку и еще что-то, все перемешивает и привязывает к горлу животному, дает жареного ячменя. Так наш Хуркун и выздоровел”.

Немного помолчав, заглянув в невозвратное время, дядя вновь озвучивает: “Тогда на женщинах пахали. Мы, дети, все делали как взрослые, брали картошки, вареного сала, спирта. Поработаем, поспим, снова поработаем, а с вечера грузим борону, плуг. Бабушка Акулина

ячменя в фартук насыпет и “кось-кось-кось”, тогда и конь носится как угорелый. Если много пахать, не сдвинется с места. Лошадь выделяли на два-три двора. Наш Хуркун вообще необычный был. Ни одной упряжке не позволял себя обогнать, обязательно должен бежать первым, не дай бог, кто выделится, так Хуркун по обочине, по пашне, по воздуху, но выскочит впереди всех”.

Дядя Жена явно устал, но балагурит: “Однажды мы в ночное ходили. Утром проснулись, костер горит, одна голова на привязи, а лошадь волки съели. Долго плакали, жалко. А как дома дед Никита нарежет овчины, а я голю для вставок. Бабушка Акулина ему, Никита, ты же сегодня не опохмелялся. Отец, когда выполнял заказ, не пил и злился на мать за то, что она его доставала. Мы грели воду, на большом столе мочили и заворачивали войлок, надевали на форму. Отец что-то добавлял, чтобы войлок быстрее скатывался. Часто делали дамские валенки с закаткой. Мать же картошки накопает, травы лебеды для свиней запарит водой и на целый день уходит в колхоз. Нам кушать хочется. Мы лук-перо нарежем, солью посыпем и с молоком...”. Утомился бедный Евгений Никитич, вижу, нет у него сил, потянулся в дальнюю комнату досыпать сны младенческие, юность растревоженную поминать...

Тишина

Я звоню оригинально, настойчиво, пряча лицо за металлический столб ворот, чтобы меня сразу не узнали, выглянув из окна кухни. Я трезвоню много раз, разрывая тихую и нетронутую дворовую тишину, подозревая, что Саня в душе уже возмущается и гонимый любопытством, появится быстрее обычного. Я не ошибаюсь, Саня, конечно же, в порыве умеренного недовольства спешит взглянуть на наглеца, посмевшего так долго и беспрепятственно беспокоить его величество. Жаль, из-под ворот видны мои двухсотдолларовые кроссовки, но мой друг о моей супермодной обуви еще ничего не знает, Санек не ведает, это я собственной персоной явился в город Донецк.

Красная металлическая калитка, освобождается от верхнего гвоздевого фиксатора чуткими пальцами великого мастера по дереву. Руки Саша золотые. Ноги бывшего футболиста ступают четко и замедленно, как и у меня, колени ноют так же, как и мои. Калитка распаивается, и наши восклицания сотрясают тишину и дрему улицы Юшкова, исторгнувшую в мир такие яркие и самобытные личности, как Саша и я. Об этом, кроме нас самих, пока никто не догадывается, никто даже и не подозревает, что таланты города Донецка проживают в районе шахты “Лидиевка”. А точнее-то на улочке, исполненной орехов, абрикосов, вишен, шелковицы и самогона. На улице нашего детства, на поселке

нашей юности, в царстве пыли, чернозема, палящего марева и чудовищной экологии.

Саня моим приездом вырван из утомительного и однообразного быта, обрезания ветвей, прибавания плинтуса, диалога с женой Татьяной, которой, как и всем женам, нужно видеть мужа рядом. Желательно всегда в работе, непременно, чтобы он думал о жене, чтобы любил все ею приготовленные блюда. И чтобы был кротким и смиренным. Собственно это и есть внутренний портрет Саши. Если вы не верите мне на слово, спросите его супругу, но не в этом дело. Я взрываю им тишину своим вторжением.

Я гляжу на нескончаемые — хозяйственные муки друга и бросаюсь ему на помощь. Мы собираем орехи вместе секунд двенадцать, но в это-то и дело. Я ставлю точку в ореховый процесс. Мое участие становится историческим фактом, его не выбросишь, не умолчишь. Свидетель Бог, Саша и его чудесная Татьяна. В сходных обстоятельствах работникам давали чай без сахара и это уже кое-что. Стакан крепкого, возможно, сладкого чая, непременно собранного на южных склонах улицы Юшкова. Мою тайную просьбу слышат небеса. Через мгновение Татьяна предлагает мне отобедать вместе с ними. Я недолго отнекиваюсь, но вскоре сдаюсь под напором гостеприимства хозяйки, под убедительным ароматом зовущих кулинарных ароматов и запахов.

Время летит быстро. Саша провожает меня в тишине станции Рутченково на своей красавице автомашине. Мне бы такую диву! Дежурный по вокзалу объявляет, что поезд задерживается на один час. Я начинаю нервничать, дергаться и бегать с одного перрона на другой. Уже в который раз и в каждый приезд Саша говорит мне одну и ту же уместную и правильную фразу: “Чего ты колотишься?”. И то — правда. Как будто я весь в лохмотьях только что возвратился из своего самочинного крестового похода и обнаружил, что оскорбляют госпожу Бедность. Санек предлагает прокатиться на машине к нему домой — ровно пять минут езды — и попить чаю. Я категорически против такой авантюры, я возражаю, как мне подсказывает больное воображение. Добрых пять минут я восприняла бредовую идею буквально, перевариваю мысль, проживаю ситуацию за ситуацией, создавая ужасные сцены одну кошмарней другой.

Тщательно отшлифованная территория станции запоминается аккуратностью. Помещения железнодорожного узла напоминают о недавнем ремонте. Сцепщики поездов хрипло переговариваются по селекторной связи, напрягая сознание. Все, что должно было свершиться во время отпуска, случилось, свершилось и даже стряслось. Господь, владеющий немалыми землями, дарит мне все близлежащие терриконы, придорожные пейзажи. А я, хоть и условно, принимаю необыкновенный подарок, что еще нужно человеку, ведь не деньги же! Так я и поселяюсь всюду и везде. Моей душе теперь легко и хорошо.

Мы с Сашей достаточно вспоминаем прошлые события, особенно футбольные дела, близкие сердцу. Мы наговориваемся до такой степени, что у меня дергаются челюсти. Ожидая поезда, я нервно поднимаю голову вверх, и вдруг вижу перед собой нечто крылатое, кажется, живое, распростертое крестом. А в следующую минуту по радио рокочут о прибытии долгожданного пассажирского состава. Существо, напоминающее распятие, держится за крест или же раскидывается по небу крестообразно. Мой друг ничего не замечает. Духовные учения поговаривают о знамении мне и Саше. Душа моя и плоть моя холодеют от скорби и печали, тело ощущает слабость.

Я предъявляю проводнице билет, спешно втаскиваю в тамбур полмешка орехов и сумку с питанием. Следом, словно пушинка, влетает мой немецкий чемодан, почему-то всегда интересующий таможенников. Пока-пока, Родина. Друг тянется в обратном направлении, видение истаивает, проступает синева, плывут посадки акаций. Расширяется и мелькает родимая развилка, уводя взгляд в сторону пути в направлении шахты “Лидиевка”, точно процеживая думы сквозь низошедшую свыше тишину...

У тети Нади

Вера Яхно приглашает меня в дом. Вера сетует на здоровье мамы после инфаркта. Мы вдвоем чувствуем внезапную пустоту в сердце, ощущая одно и то же при мысли о наших возрастных родителях. В отчей Вериной тишине обильно свисают грозди черного винограда. В глубине двора в естественной собачьей агонии злобно бьется старый пес, честно отработывая свой хлеб.

Вера, словно охваченная тревогой, источает внутреннее напряжение, а самодостаточность делает ее необыкновенно привлекательной. Движения Веры размерены и основательны, глаза женщины источают скорее смуту и неясность, чем устойчивую жизненную определенность. Мы говорим обо всем на свете, мы не виделись целый год. Виноградники, покрытые плотным слоем пыли, так и манят руки, так и зовут неслышным голосом в глухие спальни, взывая о любви.

Вера готовит чай и кофе. Я рассматриваю дымчато-лиловые стены. Я скольжу по видимым из окна сумеречным небесам и неясным облакам. Я гляжу, как тетя Надя грузно притуляется к печи, я слушаю, как Вера настойчиво напоминает о прогулке, как велел доктор. Я с жадностью набрасываюсь на предложенный кофе, стараясь не замечать осенние сумерки и накатывающую в сердце темную тревогу.

Вера повествует о том, что у мамы после инфаркта изменилось внутреннее состояние. Я слушаю рассеяно и невнимательно, чувствуя противоречивые похотливые позывы. Впрочем, у основания моей ду-

ховности всегда остается очертание несориентированного сексуального инстинкта, окруженное каемкой жеребьячества. Впрочем, пустующие пены гнездышка Яхно, после отшествия в иной мир хозяина дяди Вани, к личным отношениям не располагают. Дружественная атмосфера наших приятельских общений после долгой моей отлучки развивается исключительно на дружественной ноте. Моя жена могла бы мною гордиться. В отличие от плоти, требующей и пожирающей кофе чашку за чашкой. В отличие от чревоугодия, пытающегося собственными силами справиться с чудовищным зовом сдобы и конфет.

Впрочем, происходит чудо, но вполне в духе моей изменяющейся жизни. Спускаясь в комнату естественных соблазнов, я спокойно храню верность, смущая и напрягая заложенную во мне программу неизлечимого донжуанства и волокитства. Будничность и покой комнатной атмосферы омрачаются глубиной тревогой перед наступающей темнотой. Я напрягаюсь от внутреннего беспокойства, тщательно скрываю недовольство самим собой, ищу повод для окончания занимательной беседы.

Глядя на огни уличных фонарей, вспыхнувшие за окном, я думаю об одиночестве Веры, о своей исключительно духовной супруге, о том, что может быть и хорошо, что я не женился на этой женщине. Я рассуждаю о превратности судеб, о странности бытия, полагающего каждому толику личного счастья к ногам и непременно вовремя, и согласно внутренней готовности. Сейчас, когда я с распростертыми крылами готов лететь куда угодно навстречу своему счастью, медленно входит тетя Надя, восклицая: “Все, Толя, я уже не работник, а чурка, иду по огороду и падаю...”

Я произношу дежурную фразу “увидимся, услышимся”, наскоро надеваю свои дорогие кросовки, спеша затемно миновать слабоосвещенные лидиевские переулки. Странной улыбкой, словно радуясь наступающей темноте, очевидно, удовлетворенный окончанием приятной встречи, я еще на один год, до следующего отпуска, оставляя прекрасную Веру печалиться у зеленых железных ворот...

К Додиной

А теперь и вовсе прозаическая история, потому что она, кажется, ни о чем. Потому что я спускаюсь с неба на землю и делаю вид, что жажду встречи с одноклассниками. Самообман сладок и ослепителен. Я намеренно забываю адресные данные Толи Науменко, видно, не очень хочу. По привычке, проходя мимо дома друга, ищу глазами его маму за дымкой костерного низко стелющегося дыма.

А теперь очередь Валеры Матюхина. Поодаль, на противоположной стороне, через поселочный квартал, Валерка маячит вприсядку с приятелем, ведя оживленный разговор. Я возникаю как свет в темноте:

“О, — находится приятель, — давай, беги за бутылкой!” — изрекает традиционный стереотип, поднимаясь во весь рост, говоря своему собеседнику: “Смотри, одноклассник мой, как хорошо выглядит!” — восклицает первый пенсионер нашего класса и принимается за словоблудие. И как бы в воду глядя, пророчествует: “Загляни в Балеву...”.

Я сворачиваю в глубину переулка, футболу ногой плоды ореха, отмечаю урожай груш в чьем-то дворе и лицом к лицу сталкиваюсь с Витей. Мы идем в сторону его интересов и говорим о вечности. Многоцветие мира всегда было его жизнью. Витя даже не подозревает о своей поэтической яркости, о личной неповторимости. Мы сетуем на скоротечность времени, мы удивляемся обычным философским вещам, разбегаемся каждый по своим интересам. Потому что ему на свадьбу, а мне к Додиной.

А теперь, взволнованный встречей, я заворачиваю во двор Хоменко. Я не скрываю своей радости, видя его фигуру на огороде. Мудрый хоменковский пес практичен, как и сам хозяин, он лает скупно, не более трех раз и, похоже, на нескольких языках. Виктор подходит ко мне так, будто мы расстались с ним полчаса назад. Хотя с Виктором мы никогда не были в дружбе, хотя Хом не является огнем, тем ярчайшим цветом в саду Господа Бога, общение с ним не представляется моей душе пыточным и нудным действием. Витя пьет свою горькую водку, предоставляя право выбора мне, кофе или чай.

А теперь Витька Сычев. Отец Виктора творил прекрасные живописные полотна. Сын художника уверяет, что природа на нем отдыхает, слабо прислушиваясь к нуде супруги, успевая и внука воспитывать в строгости, и дом показывать, и новости сообщать. Витя угощает меня помидором с грядки. Едва ли ему по душе моя трезвая жизнь. Он наблюдает, как я терзаю несравненный овощ, и в его очах мелькают живые и беспокойные мысли.

Я уожу в заросший школьный двор. Площадка густо покрыта лебедой, бурьяном и полынью. Школа располагается как раз напротив дома Сычевых. Двигаются люди и события, мелькают годы. А школа по-прежнему выживает в обрамлении многолетних акаций, в облачении осеннего цвета, старая и больная, она по-прежнему вызывает теплые чувства.

А теперь Сашка Засидкевич, никогда не предающий родные места. Где бы Саша ни ходил, он всегда возвращается в истинный божий — отчий дом. Как и сейчас, бредя в подпитии, болтая безумолку, ведя себя как маленький ребенок, он поначалу не узнает меня. Вскоре, как в пантомиме, Засидкевич то двигается туда сюда, то носится с неожиданными идеями, то школьничает, принимая боксерскую стойку, чисто ребенок. Моя твердая духовная позиция крепко его настораживает, пугая трезвой перспективой и скучным однообразием.

А теперь я заворачиваю свой путь к Вале Додиной. Главная встреча ожидает меня у нашей несравненной Валентины. Хвала и слава вздымаются из ее небольшого дворика. Мы непременно соберемся у нее всем классом, и все, кто возжелает провести досуг в трезвости, прекрасно пообщается. Глазами трезвости я вижу только то, что может оказаться примером для подражания. Я слышу в основном духовные образцы. Я твердо верю, что человек в своем единственно неповторимом одиночестве само воплощенное слово. Это самое слово роднит его с другими людьми, выходит хорошо и ловко у сердца, беспокоит душу, питает мысли. Это слово общения пронизывает божье существо до стыда, до жгучей боли, до физического отвращения, пронзая невидимыми чувствами и ощущениями.

А теперь, истомленный многочисленными посещениями, я прощаюсь с безмолвной калиткой Валентины Додиной. В последний раз без надежды топлю кнопку звонка, незлобно чертыхаюсь, ухожу, несколько раз оглядаваясь. Подруга дней моих школьных изволит где-то почивать. Волнуются птицы небесные, мешаются голоса и краски, хлопают соседские двери. Я признаюсь себе, отпуск играется не всерьез, желание организовать встречу на высшем уровне оказывается надуманным и неискренним. В ногах затаивается слабость, переломить ход мыслей не удается, воспоминания не вытравливаются. Я делаю вид, будто мне спокойно, я ищу себе оправдания. Невытравимое чувство вины следует за мной по пятам вечной тенью, омрачая эту в высшей степени внезапную судьбу...

На выставке

В Донецке на бульваре Пушкина сплошная красота, архитектурный модерн и листопад. Двигаться по этой современной улице в столице Донбасса одно удовольствие и наслаждение. За футбольным клубом команды “Шахтер”, если прошагать несколько кварталов, вычурный вход влечет в подвальное помещение оригинального выставочного зала. Загораживающее очертание лика великого художника эпохи Возрождения привлекает еще и изречениями. Одно из них уверяет, что поэзия — это звучащая живопись, а живопись — это безмолвная поэзия. Приглашение в салон современной итальянской живописи “Падуано Арте” зазывает окунуться в атмосферу Италии, где сердце Неаполя бьется. Эксклюзивный представитель сети галерей именитого итальянского галериста Антонио Падуано, салон с 1962 года открывает миру все новые и новые таланты.

Когда я оказываюсь в атмосфере салона, о которой упоминается в предисловии, я понимаю, они передают дух улицы Фориа, где располагается главный итальянский центр сети галерей. Я думаю, можно

ли скопировать жест, звук, черно-голубые тени в “Танце со спины” Толирано, или нежность и трогательность очаровательных девушек. Так бы и выхватил у них из пачки сигарету, так бы и затянулся никотином. Столь гармонична композиция, легок рисунок, умерен колорит. Так бы — о — стоимость полотна заставляет задуматься, а обнаженная Нуго, тающая в неизменяемом — локальном цвете, мастера Пейрано, путает мои мысли, срывает замысленный мною урок. У меня впервые за весь день за спиной маячит лукавый, наводя на грех. Я рассеянно рассматриваю арбуз и виноград на недорогом натюрморте, который соответствует энциклопедическому толкованию буквально “мертвая природа”, изображение неодоушевленных предметов. Я прицениваюсь к произведению, предполагая нулевой результат.

Я двигаюсь мимо картин, как бы ощущая реку незримого времени. Как бы преодолевая вспять ее вязкое и неумолимое течение. При этом, успеваю оценить длинноногих, красивых девушек в естественном освещении и воздушной среде. Особенно, отметив наиболее дорогую вещь “Падение Христа” неизвестного итальянского художника, датированную 1740 годом. Картина размером 100x74 представляется истинным шедевром и таковым является.

План, зреющий в моей голове, кажется мне гениально простым. Едва ли кто-то из работников, обслуживающих экспозицию, обращает на меня внимание. Прогуливается по террасе раздумчивый интересный мужчина, он, конечно же, полон высоких дум. Кому из них снился сегодня сон: галерея накрывается, вот-вот рухнет, картины качаются, земля ходором ходит. Кому привиделся мой образ, которым они пренебрегают, принимая загадочную фигуру за любителя искусства.

Да-да, я не просто так останавливаюсь возле творений Монтеллы. Его “Рыбный рынок” прямо-таки образец живой живописи, хоть доставай кошелек и покупай дары моря. Мне даже кажется, что холст немного отдает запахом рыбной чешуи. Мне грезится, позолоченный багет плывет по волнам, играющим на беспокойной морской глади в отдалении. Меня трогает поистине живое небо, осязаемые фигуры. По некоторым лицам вполне можно было определить количество выпитого спиртного.

А это все не то, декоративщина, пейзажи мастера Мартине меня не волнуют. Но крайне примечательный — маленький размер полотна, способный уместиться в моем вместительном пакете, останавливает мое внимание. Все еще находясь под впечатлением картинных осьминогов, сводящего скулы разрезанного лимона, взгляда голодных и красивых детей, я почти поддаюсь воровскому инстинкту.

Я останавливаю свое внимание на пейзаже, даже не запомнив фамилию автора. Я выбираю данный сюжет из-за его удобного для воровства расположения. В двух шагах находится выход. Охраны в галерее

не наблюдается. Двери можно оставить приоткрытыми, подложив под них газету. Ножницы лежат в моем увесистом хозяйственном пакете. Остается обрезать две тоненькие веревочки. На вид они кажутся почти нитями. Вдохновенный Госпожой Бедностью, я практически принимаю решение, но раздаётся благословенный призыв евангельский. В небесной канцелярии идут на компромисс по требованию мудрости и человечности, ради моего спасения. Отряд милиционеров растекается на площади выставки, словно требуя от меня, чтобы я думал по-евангельски. Так я и стою минут пятнадцать, приходя в себя после сильного потрясения. Пусть думают, что я переживаю высокие чувства от встречи с прекрасными картинами, от общения с безмолвной поэзией...

Мамины окна

Поднимая клубы пыли, по улице проехал автомобиль. Ожились сытые и сонные поселковые собаки во дворах. Их бездомные братья, злые от голода, лохматые и неухоженные, обгоняя автомашину, сопровождали четырехколесное диво до шестнадцатого дома, следуя древнему инстинкту преследования. Млекопитающее рода волков, чувствуя котом, нырнуло в лаз под новой бетонной оградой, зная, двор не охраняется. Проведя естественный поиск, пометив все, что следует застолбить, животное скользнуло глазами по небольшим старым окнам, тщательно выкрашенным моей сестрой в светло-голубой цвет.

Мамины окна вполне напоминали глаза смиренницы. Остатки почти невидимой пыли, взволнованной авто, мягко осели на малинник, на грозди винограда, чуть затемнив хмурые стекла. Собаки, в их группе охотничья лайка, служебная овчарка, спортивный доберман и декоративная болонка, угомонились, залегли в схоронах. Собачий вожак услышал мои шаги, скрылся с животной хитростью и ловкостью.

Мамины окна, равно как и отчий дом, устремленный в небо, вызывали в моей душе ностальгическое томление. На асфальтированном дворике в течение восемнадцати лет отпечатывалось мое прошлое. Воспламенённый страстью, я бродил по территории предков, ничуть не обижаясь на решение мамы, оформить дарственную на младшую сестру. Я не источал ласки и угрозы, не заключал себя в темницу гордости и обиды. Я прижал коленом дверь неказистого сарайчика, отодвинул засов обманку с висющим на нем и никогда не запирающимся замком, взял грабли и лопату.

Мамино окно с оживленной стороны закрытое вечно зеленой ставней, уныло взирало на мою возню с каменной крошкой. Плоды ореха гулко падали, выкатываясь из рыхлой оболочки. Я сам себе казался афонским черноризцем, пришедшим для тайного — чьего-то — пострижения. Искусительница реальность источала соблазнительные женские голоса из-за новой ограды. На меня жаловались ангелы похоти. Но я

сыпал в собачий лаз каменную крошку вперемешку с землей, пылая злобой к таинственной собаке.

Мамино окно, зашторенное мрачными ставнями и пылью переулка, оставалось безмолвным. Я поглядывал на четырехстворчатые шторы, втаптывая в насыпь гнилую доску от прошлого забора, чтоб зверю не повадно было. Уже в который раз какая-то из тех четырех псид, носящихся по ту сторону, творила чистое безобразие. Сестра Галя во время моей первой побывки у мамы выразилась конкретно: “Ту тварь поймаю, убью...”. В тот теплый воскресный полдень бабьего лета я выслушивал мамины упреки за отказ помогать по хозяйству. Я же не для этого приехал! Так я думал, унимая злость на курящую сестру.

Мамины окна в тот миг казались крохотными и детскими. Я потрогал хорошо выкрашенную раму веранды, заглянул в кухонную темноту и принялся раздавливать орех об угол отцовского дома. Я нежился под виноградной сенью, преломая ореховый продукт, исполненный растительного белка и йода. Мама, одетая в божественное прозрачное сияние света, философствовала. Мама ничего не знала о собственной благодати. Светлый ореол взвеселился над седой головой, играл блеском небесным и божественным.

Мамины окна превратились в пыльные зеркала и отражали странное дневное мерцание, заметное для тех, кто служит Богу. “Люди говорят, сын приехал, у чужих соседей высиживает время, а сестре не помогает...”. Гнев, высказанный мне мамой, вывел меня из равновесия, потому что я не успел отстраниться и обиделся. А поверх легла шутка вовсе не пустяковая: “Сын, жила я у одной дочки, у другой, а теперь хочу переехать к тебе...”. И глядела в мои глаза, не проникая, но пронизывая праведностью и чистотой: “Что молчишь, — давила мамочка психологизмом, — испугался”.

Мамины очи, как и слова, угодили в самую суть. Конечно же, я испугался, хотя и ребенку понятно, мать ни за что не придет в далекий Минск, она просто не выдержит дороги. Я успокоил свою смятенную душеньку, посмеялся над порывистым желанием отомстить сестре. За великую победу над грязной страстью я удостоился душевного покоя и знания. Сестра, часто выпивая рюмку, следом выкуривая одну сигарету за другой, информировала меня о том, что дверь в новых воротах будет открыта, а мама будет находиться взаперти. Увидеться с ней я смогу через окно. Сестра освободилась от прежних терзаний таким образом. Моя нечистая страсть руководить людьми и обстоятельствами утишилась. Власяница под одеждой жгла тело. Осенний сырой чернозем подворья студил босые ноги, мамины окна взирали укоризненно, орешник бил по лицу, а шелковица царапала тело.

Я намеренно долго топал вокруг дома, зная, что мама слышит мои шаги. Я жестко уплотнял бывший собачий подземный ход, бухая по нему

подошвами, звонко подбивая уклончик лопатой. Я приоткрыл ставни и громким голосом напомнил о себе. Мама уже ослабела до такой степени, что могла ходить медленнее времени. Через минуты послышался гул открывающейся форточки в угловой спальне. С фундамента я смотрел на маму, слушал вопросы, ощущая неловкость от такого странного общения, переживая отрицательные чувства оттого, что люди скажут.

Мамины очи излучали смирение святого, за которым одни страдания. Мы рассматривали друг друга, и я не мог понять, кого из нас следует считать узником, запертую на замок маму или меня, отреченного от ее мира. Я просил родительницу на несколько минут отпереть дверь, уверяя, что Галя ничего не узнает. А мама спросила: “Правда ли, что Валя сказала, буду тонуть, руки не подам?”. От удивления я не нашелся, только и спросил, когда же Валя могла такое напести? А мать выдохнула, что все видела и слышала во сне. Я рассмеялся, как мог ее успокоил. Я запомнил собак, несущихся за мотоциклистом и взбитую пыль переулка. Я унес с собой чувство вины за такой способ общения, определенную безысходность, помня, что Галя не раз подчеркивала, это мой дом! Я подпоясался вервием смирения, возложил ладонь поверх узловатых пальцев маминой ладони, лежащей на краю форточки. “Я люблю тебя...”, — только и выдавил, точно обрезал связь с узницей странных обстоятельств...

P.S. В полдень яркое солнце врывается в комнату сквозь занавески и пыльные оконца. В день приезда, самое время для радости и откровений, мою плоть потчевали щедро и обильно. Колбаса, плов, селедочка, соленья, огурцы и помидоры и т.д. В миг моего явления маменька не в первый раз отметила: “Хорошо, что ты приехал...”, — явно, имея в виду скоротечность брэнного бытия и другие прозаические наблюдения собственного опыта души, возможно, духа. И просто изрекла: “Галя полы покрасила...”. Мама, как представитель живой жизни, была и существовала только в суровой удручающей реальности.

И реальный убивающий запах из светло-оранжевой кухни действовал сногшибательно, забивал нос, хмелил голову. Точно стоянка близ логова прокаженных. Сестра, выпивая рюмку за рюмкой, запаха краски, конечно же, не ощущала, заостряя интерес на моей повести о побывке в Таганроге у легендарного дяди Жени. Младший из рода Новиковых при отъезде мудро напомнил: “Береги мать”, — пытаясь при этом от чистого сердца всучить мне необычный подарок — табурет. И смех, и грех — эти старики, прошедшие войну, нищету послевоенной разрухи. Их практические наметки жизни смешно выглядели, но, в конечном счете, оказывались всегда правильными, как и сама не очень симпатичная тайна жизни.

Я показывал маме и младшей сестре фотографии, изъятые из архивов родственников Таганрога и Мелитополя. Иные — я откровенно

украл. Могу поклясться на Евангелии, пожелтевшие от времени снимки мне нужней. И нет цены свидетельству о рождении деда Степана, удостоверению личности бабушки Акулины, извещению о смерти фронтовика дяди Пети и другим. Мама держала в руках паспорт своей матери, целовала ее лицо и плакала. Сейчас они с мамой были ровесницами...

Свидание

И все-таки беглый комментарий к моей чудовищной задумке не годился. А нужно ли вообще что-то толковать? Жизнь сама по себе все расставляла на свои места, крепко ущемляя мудрецов и ученых. Бытие вело меня мимо дома моей романтической увлеченности. На зеленой скамье у калитки сидела бабушка — моя несостоявшаяся теща — жадно поглощала виноград, вызывая внутри противоречивые чувства.

Рядом маячила ее девятнадцатилетняя внучка, дочь моей тайной зазнобы — моей далекой и невозвратной юности. Девушка с пылающими глазами типа Софии Ротару надзирала за престарелой женщиной. Коренная жительница улицы Железнодорожной медленно вспоминала, кто я такой, откуда взялся. Она пыталась угостить меня виноградом, от вида которого меня тошнило. Я бросил чернявой молодежи обещание заглянуть завтра, окинул взглядом дом, где я мог быть хозяином, поспешил по своим делам.

Назавтра я плелся мокрым после дождя разбитым асфальтом, кляня машины, обдающие с ног до головы брызгами и летучей водяной пылью. Я то расстегивал тугий ворот несвежей рубахи, пахнущей дезодорантом, то заострял внимание на звуках падающих прямо на дорогу созревших орехов, чувствуя себя не в своей тарелке. Небывальщина какая-то, чертовщина и тарабарщина, думал я, наклонясь вперед от нахлынувших мыслей. Брести в гости к внебрачной дочери некогда любимой мною отроковницы.

Напряженное и мучительное размышление раздирало душу. Но как ведется, закон божеский и законы людские никогда не пересекаются. Я проходил непройденный урок школьной молодости, я шел к темноволосой красавице, уклоняясь от густых капель, сыплющих с придорожных шелковиц и абрикосов. Я даже проникся трепетом жениховства, не пережитым в срок и вовремя. Смешно сказать, глупость несусветная, безумь необъяснимая, спешу на то свидание, в ту обитель, к той же фамилии, только вместо той женщины меня ожидает ее дочь.

Просто-таки безумная жизнь легкомысленного купеческого сынка в зрелом возрасте. Думал я, а похоть преобладала, воображал-то я не о гостевании. Об ином общении мечтал я, приближаясь к рассеянной старушке, сидящей на скамье, к ее внучке, держащей в руке краснова-

тую кисть винограда. Летучие автомобили окатывали меня порывами ветра. Я волновался о том, как заброшу девушку смешными и умными цитатами, громкими именами. Я представлял, как изображу напряженное и мучительное чтение чужих стихов, забавных историй, как тонко направлю девичье желание в сторону постели, беседуя, впрочем, лишь о безобидном массаже.

Напевные стихи вспыхивали в душе, перебивались автогулом, внутренним сомнением, отсутствием четкого и ясного плана действий. Но прочь тревога! Виват, красавица! Присутствие бабушки чувства вины не вызвало, страх пропал, девушка велась на рассуждения. Очаровательное создание с чертами гуцулки любезно пригласило меня на чай, приказав бабушке никуда не уходить со скамьи.

Я втапывал в грязь милый образ первой увлеченности, словно явленный мне всемогущим Господом. Не от щедрости сердца глаголил я ложью и коварством в целомудренную душу. Я прямо двигался к греху, вопреки всем мирским, общественно-моральным запретам, как будто их не существовало. Я притворялся, будто поступаю по божескому закону любви и милосердия. Но отброшу истолкование. Я повествовал выдуманную историю о сновидении, в каком я с нею целовался.

Я пересказывал девушке сюжет предрабсового сна и цедил вкусный чай без сахара. Без стыда, без совести я склонял бедную девушку к сладкому прелюбодеянию, с ужасом отмечая ответное презрение и душевное улюлюканье. Душа моя захолонула. Я произнес главное, я озвучил прямо и бессовестно то, что замышлял извилинами тайного прелюбодеяния, вынашивал и таил долгие годы...

Честность

Нет на нашем поселке ни одной женщины, которая могла бы сравниться с Наташей. Нет в истории наших улиц ни одной страницы, отдающей паровозным дымом, покрытой черноземовой пылью, сквозь которую проступали бы компрометирующие строки супротив симпатичной женщины. Черные борозды дважды черных — из-за избытка угольных пылинок — запечатлели разные события. И даже всесильное время не смогло добавить ни одного штриха, ни одного приключения, клика или возгласа.

Людская молва жестока и неумолима. Непрестанное гудение грузовых угольных поездов по близлежащей выемке — это вам пустяки. Водопровод в нашей степной и безводной пустыне событие мелкое и проходящее. Люди, одни только люди оставляют неясные и зыбкие следы на памяти времени местного значения. И витает труднообъяснимая философская категория над шиферами осунувшихся крыш, путая сизо-черные дымы. Печи-то топятя угольком, другого цвета здесь не увидишь.

У Наташки и голос хорош, и характер не плох, и детки замечательные. Мне бы на ней в свое время жениться, да не судьба. Один раз я попытался ухаживать за Наташкой, да брат ее не вовремя явился, испугал, всю любовную прелюдию испоганил. А как прошелестели годы неостановимые, как ум и разум уравнились по значению, можно и вывод кое-какой сделать, и правду сказать самому себе.

Наташкина пугающая прямота лично мне всегда приходилась по душе. Ее внутренняя порядочность и честность (а как еще должно быть?) удивляли многих обывателей наших мест. Хоть ты приходи на поклон и проси благословения или пострижения у хозяйки дома, красующейся, в короткой свитке, во внутренней несокрушимости веры и духа. Хоть ты обращайся за советами и наставлениями в особых случаях духовной тревоги.

Давно ушли в мир иной основатели сего мирского обиталища. Много лет назад покинул пыльные места, липкие черноземы и дом с набрызгом серого толка мой друг детства Славик. Мама его, тетя Валя, характер имела ровный, ум острый, женственность необыкновенную. Папа его, дядя Саша, отличался не мягким, явно не уступчивым нравом. Теперь все ясно, как божий день. На пути встретились две сильные личности, не смогли построить отношения, основанные на сотрудничестве, пошагав по жизни порознь.

Издавна сидит во мне то странное ощущение тревоги, ощущение зыбкости бытия, возникшее сразу же после того, когда дядя Саша впервые оставил семью. Потом все покатило как прежде, как ни в чем не бывало. Но с ощутимой моральной потерей, с душевной травмой, с невидимой трещиной в интимности и доверительности. Как же я тогда испугался за благополучие друга, предавшись внутреннему анализу общественно-моральных запретов, пересмотрев некоторые свои детские воззрения.

Собственно, приятельские отношения с Наташкой я берег как зеницу ока. Ее существование давало сознание: есть на параллельной поселковой улице место, где тебя привечали и всегда будут рады видеть. Но я забывал о главном, я гость абрикосовых переулков, я давно чужд сложных поселковых страстей. Я давно жил воспоминаниями, путался в событиях и картинах, донимавших воображение.

Я чувствовал себя железными опилками в магнитном поле, лишенном электрического тока. Я вдруг потерял самый ориентир. Мой нравственный компас закружился меж трех сосен, которые соответственно: вишня, слива, абрикос. Фрукты осыпались, как факты исподволь обговариваемой жизни. Несколько дворовых псов, злых и полных агрессии, точно непоохмевшиеся алкоголики, зашлись от приступа собачьей злобы в нескольких сантиметрах от моей бесценной плоти, но по ту сторону забора. Я отметил, ограда-то зыбковата, в хозяйстве явно ощущалось отсутствие твердой мужской руки.

А речь-то о Наташке. Она и выкатилась из двери, спрыгнула с крылечка, невысокая, крепко сбитая, красивая да как заедет по глазам словесами обличительными! Да как лишит меня на некоторое время и такта природного и вежливости врожденной. “Ты, Толька, поменьше болтай! Я тебе в прошлый раз исповедалась. Потом другие люди передают мне наш разговор слово в слово! Вспоминай, кому разболтал, давай, давай!”

По земным человеческим меркам случилось нечто ужасное. Обычная Наташку, вторили пугающие меня псы. Поддерживая хозяйку, они поминутно лаяли, напоминая, кто здесь хозяин. Попробовал бы я только возразить или не дай бог обидеть женщину. Только посмел бы я сделать шаг на невыразительную территорию чужого участка. И многое слышалось в их прозаическом, но членораздельном храпе. Наткнулся я таки на возмездие как на недруга в глухом переулке. Потерял доверие честнейшего человека.

С той поры и замер я, словно замороженный, словно онемевший, озадаченный, оглушенный. Словно промелькнуло тысячелетие, таким долгим показалось мне межзаборное противостояние. Славное мгновение боли, стыда и переосмысления. Богом поклялся я тогда, в те секунды, показавшиеся мне вечностью, держать язык за зубами. Владыка охотно выполнил мою просьбу, подарив болезненное и покаянное осознание, ощущение разверзшейся тверди и полное непонимание того, что же произошло...

На кладбище

Казалось, я запомнил местонахождение могилы отца. Думалось, вот-вот я увижу надгробный — серого мрамора — памятник, вот как внутренне — в который раз — вздрогну от пристального, исполненного одного лишь страха, взора отца. Родительские глаза взирали в меня образом тревоги. Фотомедальон живо передавал внутреннее состояние папы.

Казалось, в прошлый раз я более внимательно присмотрелся к лику, запечатленному на металлокерамике. Подсознательно я отметил смутное беспокойство, глубинную взволнованность и смятение в облике. Переваривая вечные истины, как и полагается в кладбищенское посещение, я многое передумал, стал терпимее к жестокости отца, видимо, вырастая до прощения и покаяния.

Казалось, в тот полдень жарко светило солнце, накаляя листья сирени. Безвременно желтели поросли рябины, акации и клена. В такую жару знойное марево замкнутого кладбищенского пространства просто невыносимо. Даже местные обитатели, держащие на виду каждого посетителя родственной могилы в надежде немного поживиться или выпить надармовщину, залегли в своих норах и не высовывали носа.

Тогда я долго искал заветный холмик, прикрывая макушку пакетом, потя неимоверно. Полно же, думал я сам себе, изнывая от духоты, теряя присутствие духа. Хотелось все бросить, махнуть рукой на всякие условности и бежать в спасительную тень, в прохладный ставок. Я переступал чужие захоронения, злился на неожиданно возникающие препятствия, торопил и торопил события.

Одна природная и наработанная целеустремленность держала мое нетерпеливое существо в тонусе. Термометр показывал тридцать девять в тени. Самой тени не виделось. В глазах начинало двоиться, чувства выходили скверно. Я вновь начинал с первого ряда, медленно пролистывал имена и фамилии, смутно ощущая сострадание, особенно у детских лежбищ. Тень предка и впрямь канула в поэтическую запредельность. Отец был в душе поэт. Поэта нельзя заменить или повторить. Он оставил великое дело — меня, но одного не смог сделать, как художник, уходя в мир иной, не смог сохранить на земле свои глаза.

Отец мог выразить себя, несмотря на известную внутреннюю и внешнюю цензуру. Как говорится, родитель обязан своей неповторимости не только тому, что в нем есть, но и тому, чего у него нет. Сущенно, в нем и отрицательные качества были положительными, и суть своей земной миссии он понял правильно. Он глядел на мир, точно Франциск Ассизский, точно бытие вчера еще не существовало. Такова его задача, ходить по земле как божье прощенье. Очищать себя подвигами в бою и все начать сначала.

Отец страдал детской невысказанностью и всю жизнь самоутверждался, ища трибуну. Как многие талантливые люди, он самовыражался в анекдотах в эпоху молчания. Отец скрывал нахождение в гитлеровском концлагере, но не мог удержать болтливость пьяной души. Смешные истории распирала его неосторожную натуру. Мать, как могла, сдерживала неистощимого весельчака компаний, шепча: “Коля!”, — и показывала ему, повернувшему голову в ее сторону, миниатюрное подобие тюремной решетки, сложенное из четырех пальцев крест накрест.

В минувшем году я забрел так далеко, что даже небесная канцелярия подала знак предупредительным рыком суки, оценившей в густом шиповнике одной из заброшенных могил. Я свернул резко влево, медленно падая духом, осознавая свое бессилие перед жизнью, и наткнулся на укороизненный образ отца. Я вздрогнул от неожиданности, переживая то самое состояние, о котором говорят, стало не по себе. Примечательная странность заключалась в моем страхе, прежде всего. А прежде страха не наблюдалось. Я старался избегать встречи с глазами того, кого и любил и ненавидел, и прощал, и нет.

Как тот младенец, пришедший в мир ангелом, я играл в траве, не помня, что она над могилой. Я сокрушался на взрослеющие толстые ветви сирени. Я думал, надо бы их срезать, не то они повалят надгробие

наземь. Я смутно предчувствовал, хвала родителям надежна лишь тогда, когда она стоит ни на чем. Я вспоминал, только непостижимая милость дарует нам чудо бытия через родителей и Господа. И опять, как в первый день рождения, обозрел окружающие меня цвета, услышал звуки.

Я рвал траву на могиле и злился на ее неподатливость. По большому счету можно всегда предусмотреть такую ситуацию и прихватить с собой хотя бы нож. Я крутил и тербил вездесущие ветки сирени, пытаюсь пересилить гибкое растение. Семь потов сошло с меня, прежде чем я остановился удовлетворенный проделанной работой. Я перевел дух, избегая смотреть на фотографию. Она меня пугала, лишала покоя. Я не чувствовал себя хозяином самого себя, а это меня раздражало.

Сорняки я бессовестнейшим образом отшвырнул на дорожку, слегка осквернил чью-то территорию. Я попятился, едва не споткнулся о край надгробья. Все еще, не поднимая взгляда, я оценил размер сыновнего долга. И наткнулся на жесткость взгляда, взрослея и медленно приходя в себя...

Лида

Двоюродная сестра шла так медленно, что я нагнал ее в одно мгновение. Сестра вначале отпрянула, испугалась, после пригляделась, узнала меня, громко запричитала, заорала так, что стыдно стало перед людьми. Сестра была глуха и близорука. Окружающие нас густые акации, каштаны и клены прилегающего зеленого парка, глушили истошные вопли радости. Прилегающая к дорожке аллея боевой славы поселка Лидиевка ветшала и зарастала непобедимыми бурьянами, вечной польнью, исторической лебедой.

Сестра сказала однозначно, без слухового аппарата я не слышу. Пока дойдем домой, ты молчи, а буду кричать. Можешь не отвечать, я глухая, как тетеря. В прошлом году я по забывчивости окликнул сестренку жестом, увидев ее во дворе многоэтажных домов. Натерпелся я стыда и страха перед людьми. Представьте рядом бабу с громким голосом, которая шумит так, что люди спешат на помощь, воображая, бог знает что. Наслушался я правды и о старшей родственнице, как та не дала со сватами познакомиться. И о младшей Галине, как та по-свински выгнала Лидию из хаты. И о том, что вытворяет моя младшая сестра на поселке. И что надо с ней сделать, чтобы та больную мать не обижала, а то, срам, мать ходит в синяках.

Все тревожнее становилось у меня на уме. Все больше я осознавал, теперь весь поселок услышал о злоключениях родни, пока я обречен на безответное слушанье. Пока Лида наденет слуховой аппарат, у меня произойдет нервный срыв. Мы, каждый по-своему, переживали ее нелегкую судьбу, огибая недействующий террикон. Породная искус-

ственная насыпь, осыпанная деревьями, смотрелась довольно сносно. Зеленый холм скрывал шахту, где Лидия Колесникова получила увечье, ушла на пенсию по инвалидности. Налево асфальтированная дорога вела к дому культуры, где долгие годы Лидия выступала как солистка, выступая в стиле Людмилы Зыкиной.

Мы взбирались на третий этаж моей громкой родственницы. Я почувствовал, ее семьдесят шесть — это возраст! Это и смерть ее мамы, моей тетки Анны (Ганны), ее убило березой. Это и голод, и холод послевоенного детства. Всего за три этажа я вспомнил, как Лида жила у нас, приехав в промышленный район страны к родственнице. Я хорошо помнил, например, ее скандалы с отцом, боявшимся ее длинного языка. Ссоры, как правило, завершались отлучением Лиды от дома, после чего рано или поздно наступало примирение. В их отношениях что-то было не чисто, витали слухи, но бог им судья. Под крик маминой племянницы мне удивительно легко виделось прошлое.

Некогда Лидия, прячась от нашего степного солнца, вызвалась вздремнуть в стилом погребке. Выбралась она из подземелья уже с радикулитом, защемлением седалищного нерва, воспалением легких и с вечным проклятьем непереносимой духоты. Долго мы вспоминали еще один не совсем забавный эпизод. Отец тогда оставил мать с маленькой Галей в харьковской больнице с отравлением желудка. По подпитию он соображал туго и подпорченную курицу привез домой. В тот день к нам заглянула и Лида. Бедная женщина, подобно мне, набросилась на испорченную птицу, наевшись до отвала. Долго мы с ней ползали по огороду, глотая водопроводную воду, мучаясь рвотными позывами.

Слуховой аппарат наконец-то позволил нам общаться на равных, я ощутил себя человеком. Лида силится накормить братика Анатолия, да я отказался от всего, согласившись лишь на чай без сахара. Я был сыт. Передо мной стояла конкретная цель, взять у родственников фотоснимки из прошлого нашей фамилии по линии отца и по линии матери.

Мы рассматривали желтые свидетельства прошлых лет с Лидиными комментариями. Я рассматривал ее мужа Гришку, хорошего шахтера, хорошего алкоголика. Сестра Валя рассказывала, у них родился ребенок, но Лида его задавила, то ли во сне, то ли по неловкости естественной. Здесь я впервые увидел тетю Анну (Ганну), трагически погибшую в далекие пятидесятые годы прошлого столетия. Красавица, каких свет не видывал. В мамином роду у всех чудесные лица. Я рассмотрел Лиду и отметил, лицо сорокалетней женщины, душа совсем молодая. Но возраст, он и на Лидиевке возраст.

Мы плачем каждый по-своему, прежде чем расстаться. Возможно, навсегда...

Школьный двор

Я видел разруху и запустение спортивного зала, разбитые окна несвежей, словно смертельно больной, школы. Ни шороха, ни звука не доносилось из бледной отгоревшей пылины, заполонившей некогда цветущую территорию учебного заведения. Здесь (во мне шевельнулось сомнение) высились гандбольные ворота чистого и аккуратного мини-стадиона. Каждую перемену мы бешено мчались продолжить футбольные баталии. За всеми стеклами стояли пристально следили за нами не спортивные маменькины сыночки. Из каждого окна (мы очень верили в это) за игрой исподволь наблюдали наши будущие невесты. Бешено клокотал утоптаный чернозем, потели в майской пыли белые рубашки. Не слыша звонка, разгоряченные мальчишки безбожно опаздывали к началу урока.

Я увидел под ногами остатки разбитой асфальтной роскоши, вытекающей из-за угла двухэтажного здания. Вспомнилось, по дорожке, воздушно скользя, двигалась моя старшая сестра и невестилась, и кружилась в воображаемом танце, и что-то рассказывала подруге. Бьюсь об заклад, дневные звезды никогда еще не наблюдали за девушкой счастливее Вали.

Немного погодя, но к тому же сюжету пригрезился внутренний мотив одиночества. Печаль нахлынула, но об этом потом, не забыть бы только. Пробежаться бы за те располневшие тополя, достать бы из выемки далеко зафутболенный (кажется, Аликом Клешкиным) мяч. И впервые за призраками тополиных теней узнать бунтаря одиночку, героя школы, пропускающего занятия, гордого, ничего не страшящегося.

Он кивнул мне далекий и недоступный, как Овод, пробудив грустный мотив внутренней неудовлетворенности. Он шевельнул внутри желание геройства, жажду ожидания. Герой пустынных посадок, неожиданно рассекреченный, прибегнул к страстному языку жестов. Он приложил палец перекрестно линии губ и просипел — т-сс! С той поры он здоровался со мной как с равным, а я гордился знакомством с главным возмутителем педагогического спокойствия.

Окно на первом этаже в кабинете директора показалось мне открытым. Рама шевелилась, играя солнечным лучом вечернего солнца. С того места много лет назад надзирал за нами всевидящий Василий Харлампович. Я бы рискнул назвать его одним из счастливчиков среди множества несчастных поэтов в душе. Жизнь бывшего морского десантника не раз висела на волоске. Вся жизнь его была поэмой. Я написал о нем первую в своей жизни стихотворную повесть. Постепенно я превратился в главного слушателя его обвинительных тирад в мой адрес. Потом наступили времена, когда я чаще наблюдал школьный двор, топчась на ковре директорской обители в оковах дисциплинарной несвободы.

И потом моя великая цель — выделиться среди всех — превратиться в менестреля, распевать свои песни, ослепила золотыми сполохами надуманной романтики. Я, стремившийся сыграть свою роль до конца, уже прокрадывался в лабиринты школы со страхом, прячась от всех, пугаясь самого себя. Я украдкой выглядывал из-за тополиных стволов в молчаливое и полное страсти разоблачения окно директора.

Сейчас я замирал в полудиком пространстве почти бесследно исчезнувшей школьной цивилизации. Из ее обитателей тамошней эпохи никого не осталось в живых. Приверженцы педагогики и мои ровесники безнадежно постарели. Гнездышко школярства исчезало на глазах у равнодушных свидетелей. Обитатели улицы разбежались по свету, а кто уцелел, свивал гнездышко и тихо коротал дни свои бранные.

Несколько минут назад, выйдя из добротного дома одноклассника, я обнаружил за поворотом заброшенный край, степную скуку, унылую жизнь в стране воспоминаний. Я ощутил слабую связь с теми нравами, с тем советским сословием, с общностью соплеменников. Стыдно признаться, но я не чувствовал корней своей родины. Знатные и древние роды, не имея ничего общего со мной, отворачивались. Сподвижники школьного директора предавали меня, оформляя документы в трудовую колонию. Внуки партийных боссов наезжали на меня лошаадьми с возгласами: “Слава...”. Деяния мои стирали в хрониках, против имени моего чертили дурные словеса и страшные обличительные характеристики. И сошло с ума мое поколение, спилось, потерялось, улетучилось, разбрелось, сгорело от самогонки, рассыпалось в унылой пыли пеплом памяти неистребимой...

Рыбный голод

В дорогу сестра пожертвовала палку колбасы, экзотические фрукты, того-сего и добрый кусок красной рыбы. Дорогого стоил ее подарок, расходов у нее хватало, новый забор вытянул все денежные запасы. И не рассказать историю ее нелегкой жизни — повесть одиночества талантливой и неумной природы из породы Сендеров. И не поведать о душевных смятениях в беспощадной борьбе с собственным “Я” во время медленного течения длинного торгового дня. В минуты бесконечного унылого бденья.

Вчера сестрица довезла меня на такси до самого подъезда, где я благополучно квартировался у дорогой и любимой сестры Валентины. Грешным делом, я сначала сдрейфил. Я подумал, сестрица намеревается заглянуть в гости к родной Валентине, но к счастью ошибся. Не то пришлось бы слушать их непримиримый диалог.

Сестрица стояла за прилавком и обслуживала лидиевских сограждан. То, что она творила, выглядело поэтичнее того, что она говорила.

Ее торговая жизнь состояла из отдельных сцен, похоже, доведенных до конца. Ни один случай с покупателем нельзя было переиграть заново. Люди тянулись к ней необъяснимо и магически, унося частицу хорошего настроения и немного еды впридачу. Следуя некоей природной интуиции, Галина произносила слова по делу, раздувала душевный сыр-бор на ровном месте и тут же, прибаутничая, гасила зачавшееся полымя, унимая неизвестно куда занесшийся было дым.

Сестрица наполняла мне сумку, терзая меня чувством вины. Долги эти минуты непонимания, душевной разобщенности, тайного недовольства неизвестно чем. Длинные эти разрушающие сердце обоюдные притворства в казенном доме. Заметались мужики на улице, заклубилась грязюка-пылюка у крыльца, зашептались сплетницы, разглядывая нас, прощающихся перед дорожкой.

Сестрицын дар тяжело оттягивал руку, грузно отдавался в больное плечо. Я отдохнул за откинутой калиткой маминого дома, проглотил одними глазами скудный дневной свет, падающий в окна с небес. Я пообщался с мамой через форточку, ничуть не комплексуя. Разве что, испытывая чувство вины после маминого вопроса, дала ли Галя что-нибудь с собой?

И осталась мама в усталом полусвете уже чужого дома, оформленного в виде дарственной на младшую дочь. И отправился я восвояси, возводя в ранг искусства любое действие. И побрел вдоль трамвайных путей — времени к ужину еще не набежало — захлапанных обломками всякой утвари, не имеющей названия. И названивали грохочущие донецкие трамваи старого поколения. И хрустели под ногами глиняные черепки старой посуды. И рябило в глазах от пестрого разноцветья всякой всячины и всячины.

Обломки внутренней культуры, хмурые мусорные силуэты, перемешанные курами, врезались в память общечеловеческой досадой, омрачали горечью воспоминаний о былой чистоте промышленного края. Я вновь ощутил дефицит йода, когда очень хочется соленой рыбы. Это когда ты половину Донецкой области отдаешь за рыбного коня. Это же божье наказание так хотеть йода, топя по невысохшему чернозему у трамвайных путей. Я плюнул на все, на завтрашний отъезд, на отсутствие голода, на глазающее многолюдство из трамвайного чрева, на то, что вкуснятиной следовало бы поделиться со старшей сестрой. Я зашелестел пакетом, развернул бумагу, алчно впцепился зубами в красную мягкость слабосоленой горбуши. Удручали меня только трамваи с их любопытными пассажирами.

Я жевал морское мясо безостановочно. Если бы кто-то попытался мне помешать, ему пришлось бы туго. Оглядевшись, я рассмеялся над самим собой, поняв, почему трамвайные чудища останавливаются у меня за спиной. Я находился у пересечения трамвайного пути и же-

лезнодорожной колеи как раз напротив знака “STOP”. Рыбий жир растекался по рукам, множа незрелые чувства. Редкий придорожный куст едва ли скрывал мое чревоугодное таинство, трамваи злили, жажда донимала изнутри. Гнело чувство вины перед сестрицей, которой завтра во всем признаюсь. Может быть, Галина отвалит мне еще ломоть осетрины?

Таганка

Таганрогские бизнесмены на совесть заволокли центральную часть города. Глаза разбегались от гармоничной красоты оформления, завидной выдумки дизайнеров, многообразия торговых форм и содержания. Таганрог Ростовской области России торговал на всю ивановскую, зазывал, заманивал, знойный от пыли, влажно воздушный от близости Азовского моря.

Любование — этот вид развлечения с японским оттенком, скорее напоминающий рассматривание, однако, относился к категории духовной. Мое внутреннее состояние напоминало известное выражение циников: “Блажен, кто ничего не ждет, он радуется всему”. В голову не приходило ассоциировать дешевый декоративный антураж с искусством, а забавные цветные неоновые побрякушки с прекрасным.

Таганрогская сплошная коммерческая бутафория тянулась нескончаемым потоком почти не повторяющихся имен, названий и цифр. Малые и большие коммерческие предприятия тихо нежились и блаженствовали на центральной улице. И не было от них спасения, от их фальшивости и неестественности. И негде было передохнуть глазу и душе, остро ощущающей неправду.

И вдруг в каком-то чудесном разрыве, пусто зияющем непочтительностью, на меня обрушилась известная уличная песня “Таганка”. Мелодия ошеломила грязными и пьяными мужчиной и женщиной, неожиданной и честной картиной житейского дна и процветающего алкоголизма, поразила звучностью поющих голосов. Вид человеческих существ не имел названия, запахи разили самых стойких, лица вызывали сожаление. Я слабо улыбнулся, сочувственно поморщился, безучасно оглядел оригинальный дуэт, который тянулся за мной шлейфом истинной жизни, звучащей на всю чеховскую округу...

Измена

О неверности моей первой любви Тамары мне рассказывал Сережка Каплун. Его брат, Витя и Коля Долгие молча слушали, закусывали водку плавленными сырками и жареной мойвой. С крутого спуска на берегу Днепра проглядывалась заречная вольница и художественная

перспектива поэтических осенних дней. Хотелось креститься в сторону церкви, притаившейся ниже по течению реки недалеко от моста.

Сережка, держа в руке недоеденный кусок хлеба, поведал подробности похождения моей первой любимой девушки после встречи с выпускниками. Он даже назвал количество половых актов, совершенных конкретным человеком, которого я хорошо знал.

Я принялся равнодушно отпovedываться, машинально поднимая с земли симпатичный гольш с острыми углами. Выдохнув ревнивое, украшенное оттенком равнодушия: “Мне все равно, мы уже расстались...” я привстал, запустил камень на середину течения, отметил, как на миг разверзлись мутные древние воды.

Я успел лучше рассмотреть церковные купола, скользя по заднепровью. Толя Каплун как всегда торопил с наливанием и много ел. Витя все время ему напоминал: “Капа, ты что, жрать сюда пришел?”. А его братец, сопереживая мне, быстро выпил, выдохнул и прежде, чем зажевать алкоголь, продолжил мою тему. “Да ладно, ему все равно! Печет, знаю, свербит здесь...”. Он постучал правой ладонью по середине груди и угодил в самую боль. У меня действительно заболело сердце и что-то остро отдалось в душе...

Муза в мамином дворе

ОНА встряхнула виноградную сень рода древесных лиан, отяжеленную спелыми черными гроздьями, перепорхнула на яблоню, зачерпнув грациозной кистью горсть воды из корыта. ОНА позабавила птиц — только для них и зрима — продралась сквозь плотные ветви сливы, этого естественного гибрида терна с алычей, заиграла побегими малины обыкновенной. ОНА проскользнула мимо меня, стоящего под шелковицей (тутовое дерево), дающей черные тутовые ягоды. Она равнодушно посмотрела на меня, направляющегося поклевать поздние ягоды крыжовника с помесью смородины, богатые пектинами, витамином С, железом и фосфором. ОНА подразнила меня за спиной, ударив по стволу персикового дерева, скакнула на неказистый сарайчик из которого сейчас не появится сестрица, потому что прозябает на смене в магазине и возвратится поздно вечером. Сестрица, впитавшая дух покойного отца, исполненная агрессии, вызывала в душе страх и трепет. В ее присутствии я никогда не ощущал свободы.

На фоне Музы я видел себя крохотным и ничтожным, ибо ОНА после Бога — ВСЕ! А мама, запертая в доме — сестрица велела ей не впускать меня внутрь — как большая муха на окне в спальне, стучала узловатым перстом в стекло. Муза разглядывала женщину в полумраке как деревенскую дурочку. Муза примостилась на острие миниатюрного внутреннего заборчика с удивлением наблюдала превращение мамочки

в золушку. Форточка, окно и дом сияли и преображались до неузнаваемости.

Вокруг Музы по бороздам и шиферу текла мирная тихая жизнь поселка. Вырванные бурьяны чахли в своей бессмертности, завидуя притаившейся у старого забора лебедке. Некоторые травинки пробивались через трещины в асфальте и вплотную подбирались к стенам шестидесятилетнего дома, растревоживая ум мамы-узиныцы. Странно, но меня как нельзя лучше устраивало такое положение дел. Главная хозяйка широкого двора маяется взаперти, хотя и с удобствами. Маму я тоже подсознательно боялся как родительницу.

Присутствие Музы украшало этот один-единственный день безмятежного счастья. Где-то в глубинах мозговых извилин таилось мое желание стать хозяином уголка детства. Мама, прозябающая в своих покоях, мешала мне осуществить мечту. Позже небеса осенили мамину голову, и она подписала дарственную на младшую сестру Галю. Отныне в доме я чувствовал себя, как бунинский цыпленок, неизвестно зачем попавший в дом. Я слонялся по комнатам сироткой во всем видя детство и отрочество, затаив обиду и глубинное желание оказаться главой семейства...

Василенко

Я унял злость на своего начальника по фамилии Василенко и сел в поезд. Купейные разговоры заняли внимание. Мелькающие поля и перелески отвлекли думы неповторимой поэтичной новизной. Источник раздражения утих, перестал подавать признаки жизни. Мой косвенный руководитель, отправивший меня в осенний отпуск, растаял в сосонниках и березняках, несущихся вспять.

В Таганроге я забыл о недовольстве. Я отправился в Ростов-на-Дону. В город, исполненный страсти и огня, город, выросший из крепости Ростовской в честь митрополита Дмитрия Ростовского, втягивающий внутрь, сжигающий энергию странными ощущениями исторической памяти. Удивительно свободный (с Дона возврата нет), поразительно многоликий, необыкновенно горячий “папа” российских городов держался сановито и вольнолюбиво. Он дерзил моему самолюбию, не оценив такое событие как мой приезд. Вечером я сбежал с Дона к Азовскому морю. Гуляя по туманной набережной, я топтал песок, напитанный водой накануне прилива, чертил на песке любовные письма. Я одолел сто двадцать семь ступенек и оказался в городе. Женщина спросила сигарету. Я сказал, что не пью и не курю. “Вы что, сумашедший...” — воскликнула дама мне, уходящему к улице Чехова.

В мечтательности каштанов, акаций и кленов глаза резанула надпись на доске “Дом-музей писателя Василенко”. В знак протеста я не посетил

квартиру знаменитого человека, пожалев двадцать пять российских рублей. И очень удивился, узнав, что “Максимка”, одно из моих любимых сочинений отрочества, создано талантом человека с нелюбимой мной фамилией.

Я пересекал границу России с Украиной. “Так, — командовал представитель таможни, листая паспорт — Софья Ивановна Василенко, согласно постановлению Совета Министров”. Женщина что-то везла сверх нормы. И снова ныхлынуло что-то.

Гуляя по бульварам украинского края, я пинал ногами кленовую листву, напрягал ноги нескончаемой ходьбой, килограммами поглощал эскимо. В местном отделении Союза писателей на одной из дверей красовалась надпись “С.Василенко”.

В эту минуту я понял, дело в моем внутреннем состоянии, в неумении прощать. Чувство взрывалось при малейшем намеке на ассоциацию. Вечером я выписал и продумал свои реакции, не оставляя их без внимания до возвращения в Минск.

Скорее же в путь — к дому, к любимому внуку. Скорее же обнять милую женщину. Таксомотор уносил меня в огни проспекта, мимо куполов строящейся церкви. Я обонял чистый воздух, любовался текущим по горизонту лунным блеском. У подъезда меня окликнул мой старый знакомый Василий Константинович. В лифте я подумал без какого-нибудь раздражения, ведь его фамилия Василенко...

Вероника

Стих точно сквозь землю провалился. Вернее сквозь снег, падающий с крыш и деревьев. Стояли лютые морозы, невыносимо поддувало в щель из-под балконной двери в наши охлаждающиеся семейные отношения. Я точно помнил, сочинение получилось на славу. Переписанное на бело на лист формата А4, произведение тайлось в заветном месте, чтобы моя любопытная “варвара” не сунула туда вонючий нос. Я просмотрел щели между книгами и, собственно, больше искать было негде.

От моей по зимнему бледной, непородистой и ревнивой жены, боящейся моей неверности, можно ожидать любой беспардонности. Как огня, боялась непутевая моя супружница, моя чудовищная ошибка молодости, моего отшествия в любовную связь. По сему — это я понял много позже — и наткнулась баба моя неприглядная вместо любовного вирша на настальгическое и печальное рыдание о внебрачной дочери.

Спустя годы я не раз вспоминал странную — зимнюю позицию мамы Вероники, встретившей меня, гостя, с холодной злостью и неприязнью. О существовании ребенка я узнал случайно, встретив Регину с очаровательной малышкой на заснеженной улице. Смутная догадка зазуммерила в области сердца. Мы заскрипели по снегу в сторону печали,

Регина ледяным голосом рокотала грустную повесть о том, как родичи допытывались у нее, кто же отец. Чувство благодарности смешалось с умилением к девочке.

Взбалмошная Регина решительно отвергла мой дешевенький подарок (с деньгами в ту пору случилась большая напряженка), отрезала попытки проявить родительскую нежность, отомстила откровением о любовнике. Я уходил в снегопад, боковым зрением отмечая Регину, наблюдающую за мной из окна.

Однажды я узнал, моя бедная внебрачная дочь отправлена в Германию в пансионат, напоминающий наш детский дом. Регина оказалась из породы кукушек. Помните у Есенина в поэме “Емельян Пугачев” “Люди всяк со звериной душой, тот медведь, тот лиса, тот волчица...”.

И я проникся одиночеством Вероники, ее ощущениями, пережитыми без мамы и без папы. Милая моя девочка, прости меня и прочти меня. Я и сам обречен на взрослую детскость, на беззащитность и непонимание окружающего меня мира. Женщины кукушки таких людей видят издалека.

И я точно помнил, стихотворение тайлось здесь, в моем, пусть и небольшом, личном архиве, в зазорах между книгами. Такие места хорошо хранили пыль. Я воспроизвел поверх пыли некоторые фрагменты щемящей боли. Там звучала просьба Регины позаботиться о дочери, если что-нибудь случится. Там, в канве податливого белого стиха, звучал крик любви и ненависти, завершавшийся категоричным “не появляйся никогда!”. Там падал снег с деревьев, крыш, давным-давно. Там, за окном, кружились мелко разорванные кусочки листа формата А4, выброшенные женой в форточку из страха и ревности, под жуткий вой метели, в которой слышалось “рукописи не замерзают...”.

Мелитополь

Спустя сорок лет я мчался на скоростной электричке по степям Украины, чтобы увидеться с братьями и сестрой. Уныние и запустение царили в закомном пейзаже. Обреченно склоняли головы перезревшие подсолнухи, словно ожидая подаяния. Травянистые растения семейства сложноцветных, завезенные в Европу испанцами в начале шестнадцатого века, а через три века в Россию, как будто продолжали выполнять свое тогдашнее декоративное назначение. Полукустарники, из семян которых крепостной крестьянин Воронежской губернии Д.С. Бокарев в 1829 году впервые получил масло, тянулись нескончаемо. “Оце, де мій цуцьк?” — шутила чернявая хохлушка, играя с сыном и, поглядывая на сгоревшие плантации. Со смирением, с кротким напевом вязала носки моя молчаливая соседка.

Степи напевали голосами казаков, притаившихся за Днепровскими порогами. Просторы вторили, а ветры разносили напевы по всей линии запорожской сечи, подхватывая мелодии “казачьей” республики. Точно верховный орган — сечевая рада, шумела колония ворон во главе с кошевым атаманом, чинным старым вороном. Точно казацкие курени, держались особняком галки. Уродливые по форме овраги, поросшие лозой, акацией и бурьянами, верно, помнили дни ликвидации в 1709 году Старой Сечи, создание Новой линии защиты южной границы России, которая была упразднена Екатериной II после подавления восстания Емельяна Пугачева. Степи шептали тихо, как бы осеняя того, кто к ним обращался за благословением. Слезы застилали мои глаза, будто я обличал виноватого. Будто злые духи, искушениям которых я так долго подвергался, оставили меня, изгнанные силой внутренней молитвы.

Тускнеющая синева вечернего неба быстро принимала серые тона. Перелески и таинственные лощины слабо освещались нарождающейся луной. Очертания изб, силуэты крыш, непроглядье выгонов и блеск прудов смешались в одну бесконечную картину жизни, запущенную небесным киномехаником в ускоренном действии. Добавив в молчаливые равнины радость, тоску, раздумчивость и меланхолию. Накрывая пеленой мрака областной центр Украины Запорожье, до 1921 года Александровск. Порт на реке Днепр стал бы моим родным городом, окажись я более удачливым на стезе футбола. Место сосредоточения цветной металлургии, косохимической промышленности, выпуска запоминающихся автомобилей “Запорожец” и “Таврия”, полыхало вдали цветами больших огней.

Пункт назначения вдруг появился из темноты, поезд зашатало на стрелках, в глаза вонзились бельма тусклых станционных фонарей. Брат Виктор возник на перроне громадной тенью. Образ дяди Миши увиделся в его знакомых чертах. По неровной дороге мы пробирались на улицу, названную именем революционера. Я узнавал от брата грустные подробности о небесном передвижении душ родственников.

Дом у брата полон детей и внуков, двор о четырех собаках. Будь осторожен, любитель легкой наживы, не берись рукой за верх железных ворот, не то останешься без кисти. Прочь, недруги, от дома Сендеров!

Стол у брата гостеприимен, так и съел бы яства, душевно расставленные его радушной женой, так и спрятал бы в карман пару кусочков ароматной колбасы. И невестка у брата красавица, и сын молодец, два внука, и внучка, все чин чином. Дочь у брата, впору влюбиться. И сын неженатый, умница.

Назавтра во дворе я почувствовал целительную энергию подворья, особенно орехового дерева. Орехи валялись под ногами, я набивал ими карманы, ходил по парку, скорлупой щелкал. Мелитопольский парк — место примечательное. Здесь мало асфальта, отчего воздух свеж, на-

строение бодрое, девушки красивые, да я уже не молод. Да страсти больше совещательного свойства, да желания по преимуществу принимают форму пешего передвижения. И ведет меня вдаль нескончаемая — центральная улица, обдавая газовыми выхлопами автомобилей, заманивая в торговые точки скучно, но порой оригинально и блистательно.

Например, владелец магазина-пассажа водрузил у входа памятник В. Высоцкому. Какая любовь зажгла твое сердце, трубадур, подтолкнув к чудесному решению? А хозяин мебельного салона огранил вервием металлический венский стул, приложив историю рождения гениального детища мебельного искусства, сделанного в 1859 году Михаэлем Тонетом. Стул в начале XX века в рекламных целях сбросили с Эйфелевой башни. Кстати, мебельное чудо, упав на землю, не разбилось.

Вечером пришла сестра с мужем. Лариса не изменилась, лишь небольшая — возрастная усталость слегка забрезжила на ее красивом лице, лишь усмирительная мудрость запечатлелась в ее глазах. А старший брат, всегда занятый работой и хозяйством, ввалился в дом только на-завтра, огорчившись, что я не пью. Валера выглядел усталым, наверное, переработался. Мы долго вспоминали наше общее прошлое, смотрели фотографии, переговаривали родословную.

Я уезжал рано утром. Забегала Лариса, передала литровую банку абрикосового варенья. Виктор завалил сумку бутербродами, вишневым и клубничным джемом. “Долгие провода, долгие слезы...”, — произнес я брату на перроне. Мы с полуслова поняли другу друга, надеясь увидеться через год. “Только предварительно позвони!” — прокричал младший из Сендеров. Поезд уносил меня за степи Донбасса с теплым чувством удовлетворения от родственной встречи...

Красивые буквы

Я делал то, чему научиться нельзя, я менял почерк и характер. Моя вера имела основу мистиков и была не теорией, а влюбленностью. Поэтому что я любил не человечество, а людей, не христианство, а Христа. И возвращался от путей греха, с его любодением, клеветой, празднословием, чревоугодием. Назвавшись таковым, я принялся каждый день каяться в своих грехах и оказался на пути к себе, т.е. на пути к Богу.

Я выводил букву за буквой, сосредотачиваясь на деталях, добываясь внутреннего покоя. Ожила память после болезни, вспомнились забытые частности, строки легли на бумагу. Я писал и с трудом понимал, о чем идет речь. Смятение шло не от путаницы мыслей, раздрай начинался от недовольства своим почерком. Его нерадивость, в свою очередь, от внутренней взволнованности, тревожности, словом, несобранности. Помните, эмоционально незрелые люди даже не представляют, насколько они рассеяны.

Намереваясь попасть в Царство Божие, я как разумный человек понимал, с таким корявым чистописанием к Богу дорога заказана. Да что там говорить, чисто пляшущий слог после долгой винной трапезы. С каллиграфией предстояло провести грандиозную операцию, сравнимую разве что с полетом человека в космос, проживанием собственной жизни еще один раз, переучиванием мастерского научения.

Вот и превратился я в поэта, воспевающего солнечный свет, спрятавшись в подвал. Вот я обрадовался теплу и бросился в ледяную воду, взывая Бога рыданием, слезами, пощением и покорностью.

Но что мне даст писательская морока и непонятная перспектива в пятидесятилетнем возрасте, чем поможет моему душевному состоянию? Начинать сначала любое дело всегда головная боль. На данную тему у меня даже во всем мире не найдется противников, а любой из граждан земли, испробовавший еще раз повторить уже однажды пройденный путь, бьюсь об заклад, мой единомышленник. Скорей всего в собственном смысле мой духовный порыв ни чем не поможет. Зато в ином — пристрелочном смысле — да! Возникло чувство, какое можно сравнить с жизнемером-эхолотом. Оно способно обратить взор вспять, приблизить прошлую жизнь к настоящему моменту.

Короче, мне следовало реставрировать постановку пишущей руки и встроиться в фонотеку почерков текущего столетия. Однотонное эхо ударило в чувство тревожности среди панельной скуки пластиковой эпохи и растекалось нудным и долгим переписыванием длинных текстов. Я равнялся на деда, который исторгал из ручки волшебные образцы. Литеры представляли женский род и по самой природе призваны исполниться красотой и грацией. Представляете, какой маяк осветил бездорожье самосовершенствования?

Помнится, мама собирала нас к столу читать письмо деда Степана. Странное, однако, послание с избытком доставляло буквами то, чего не доставало в тексте. Наши пустые закрома невыраженных эмоций переполнялись, вытесняя агрессию. Наши очи начинали светиться от любования, не от чтения, вперив удивленные зрачки в диво рукотворное. Строки многоречиво молчали и молчаливо кричали, изрекая наставления и просьбы, приглашая к диалогу. Перифразируем князя Изяслава, сына Ярослава I, посетившего преподобного Феодосия в святой обители в X веке. Князю понравились брашна, и он спросил настоятеля, отчего же его, князевы, брашна, которые стоят гораздо дороже, не так сладки?

Отчего же мои письма, которые фаршированы умными мыслями, холоднее и скучнее писем деда? Оттого, отвечал Изяславу священник, что здесь братия все готовит с молитвой и благословением. А молитвенное состояние — это состояние покоя души, показатель внутренней собранности, здоровой мысли. Чтобы достигнуть гармонии, нужно изначально

и подробно пересмотреть истоки и всю прожитую жизнь. Безмолвная душа в жажде света больно кровоточила. Рука строчила, возвращаясь в рождение, когда наг и нищ, ты явился на свет Божий. Когда ты ничем не владел в мире и был подобен Христу.

В состоянии святой бедности я легко преодолевал воды воспоминаний, легко переходя быструю реку бытия. Телесная чувствительность медленно отходила на второй план, дух возносился небывало высоко.

Ровней и понятней смотрелись еще неуверенные строки. Чаще и явственней всплывал перед глазами почерк деда. Посиделки с мамой и письмом деда оказались бесценной воспитательной акцией. Она представляла, в общем-то, какую ни есть, но опору. И подставляла зыбкое плечико моему духу изнутри. И еще она являлась феноменом непонятного свойства, и как будто первым ориентиром.

Но превыше любых похвал — восстановление памяти, воскрешение из мертвого забвения и пришествие в осознание. В силу чего я проник взором в бездну промотанных лет. Там блистал свет. Там звучали неожиданные ответы о тайне божественной Троицы, высокие и глубокие вопросы священного Писания. И почерк мой вновь родившийся, ни с чем не сравнимый, стал приносить чувство огромного, громадного удовлетворения. И самое взволнованное внутреннее гонение обратилось во славу Божью. А каракули мои былые повергнули в неслыханное изумление высоким стилем и светом. Я снова преодолел путь от незнания к знанию, наитруднейший из земных путей. Посредством личного переживания и страдания.

И опять-таки — награда! В отпуске, находясь на побывке в далеком украинском Мелитополе, в пыльных архивах дома Сендеров, я разыскал единственное свидетельство несравненного почерка Иосифа Степановича. Смиренный сын Иосифа Федоровича наивно искал справедливость у Советской власти, пытаясь возвратить отобранные награды, ища справки в архиве партизанского движения Украины. “Я, гр-н села Пища, Любомельского р-на Волынской области...”

Я знаю, ты меня слышишь, славный внук Федора Сендера! Властью данной мне Богом, возвращаю тебе знаки государственного отличия. Вечная тебе память. Вечное проклятье режиму, терзавшему тебя много тысяч лет. Предаю их анафеме...

Козы и козлы

“Почему у козы молоко холодное, — спрашивал у егеря новый больной в палате кардиологического отделения и смеялся хитро, осторожно, чтобы не обидеть, — у нее хвост верх торчит, ветер ее продувает...” Тяжелые больные улыбались, а те, кто находился накануне выписки, хототаи свободно.

Деду, поступившему в палату с диагнозом аритмия сердца, сделали укол, поставили капельницу. Старик быстро пришел в себя и говорил безумолку. Полжизни он пас коз и, как человек из народа, знал о замечательных животных все, что можно. Он думал о козлах, он мыслил козлинными категориями просто и поэтично. Мужики, уставшие от нудного ничегониделанья, уколов, общего обследования, развлекались наблюдением за строительной бригадой. Строители не предполагали, что за ними надзирают четыре пары глаз и комментируют всякое движение, любую хитрость, малейшее ухищрение.

Трах-тах-тах завелся трактор — “веретенки залил...”, — удовлетворенно заметил профессиональный механизатор, лежащий справа от меня. “Гляди, гонца заслали, — восклицал егерь, — глянь, я тебе говорю, выпили уже...”. Ни к кому не обращаясь конкретно, приказывал больной, отбывающий “второй срок” на излечение в одной и той же палате за полтора месяца.

Егерь, который по его же словам самый главный браконьер, насытил шестиместную палату откровениями. “Настреляем кабанов, номера заляпаем. Один кабан отжил, спрыгнул с машины...”. И еще: “В армии как брошу взрывчатку в Дунай, три государства молчат, что хочу, то и делаю...”. Егерь заинтересовался козами, предчувствуя выгоду. “Дед, скажи...”.

А дед только и ждал этого момента. “Козлы все делают правильно. Коза хоть гордая, однолюбка, дает козлу один или три раза, она хочет ласки. А козел ее силой добивается. Чистоплотное животное, — дед сделал паузу, уставился в какую-то мыслимую точку, — недаром же коза божье создание, Иисус же в яслях родился, а там козы были...”. Нашел пожилой человек все-таки нужный и действенный образ, забывая о капельнице, запальчиво пытаясь встать. Препятствовать рассказчику уже было невозможно, как не совладать с Марадоной в лучшие годы, как не остановить течение строки Пушкина в минуты вдохновения.

А дед убаюкивал и веселил, звонко слышались его повести под рокотанье тракторного двигателя и веселые восклицания рабочих за окном второго этажа. Коренной житель деревни, казалось, мало интересовался тем, кто и как его слушает. Он просто исповедывался, устав от молчания и одиночества. “Козу бы научить наркотики искать, она лучше собаки любой запах чует. Грибы сразу находит, любой гриб, кроме поганок, ест. Очень любит на досточке — на высоте стоять. Это у нее горный инстинкт. Играет, что дитя”.

Егерь у окна оживился: “Гля, прораб уже стакан опрокинул, гля, вон идут с обеда, раскраснелись...”. Главного трибуна перебили, смутили козлопаса, он же кричит на всю больницу: “Леха, покупай козу...”, — и овладел вниманием, артист! “Дети у меня взрослые, палкой не научишь, они нагдаун сделают”. Почему-то аксакал палаты отвлекся от козлинной

темы, быстро разложил свои интересы на койке, высказался о любви к спорту, произнес, что любит футболистов и поэтов. Ох, как подмывало меня признаться соседу по койке, что я бывший футболист и поэт. А он грочочет, отец собрал, мол, не на сто процентов, сердце подвело.

Только профессиональный тракторист никому не внимал, решал кроссвордные ребусы, призывая к участию публику, занятую козлами. “Так, по вертикали, ветер в Африке, семь букв, кто угадает, спит на один час больше...”. Из чувства вины и сердечной солидарности, я поддерживал соседа одесную и вяло улыбался, отдавая предпочтение все-таки мудрому козодю. А тот, видя мое неподдельное внимание, совершенно бессистемно вываливал одну порцию информации за другой, мешая их со случаями и забавами. “Приеду, баба у соседа, он моложе меня, ему всего семьдесят лет, — он игриво, лукаво оживлялся, тема-то сексуальная и вечная, — я пробовал к бабе года три назад примостыриться, она кричит, не распалляй мне душу, все равно у тебя ничего не получится...”.

В конце первого знакомства, когда капельница у него была на исходе, мы узнали о проделках урагана в Воложинском районе. Именно козы увели хозяина в сосонник и не пустили домой, предчувствуя беду. Дубы, точно спички летали в те роковые дни. Приезжал президент, видел истинную картину разрушения, помощь оказал. Как бы в завершение чудесный наш рассказчик философски выдохнул: “После урагана я целыми днями думал о вселенной, думал с ума сойду, — потом растянулся на широкой кровати, раскрасневшийся, разволнованный к приходу дочери, — вот так легко, ты смотри, как хорошо мне стало”, — удивлялся и удивлялся козлинных дел мастер, неиспорченный цивилизацией. Он быстро заснул. Медсестра, что-то ворча, осторожно и умело вытащила иглу из вены. Я пережил за старика чувство неловкости и страха...

“Я все ждала, я так любила...”

Ни за что не угадаете, чьи это строки! Это способ организации стихотворной речи моей сестры, это бунт яркой личности, противопоставление мощи духа презренной прозе. Перед вами то, что в разделе Ветхого Завета Библии зовется “Песнь Песней”. Собрание, отличающееся яркой образностью лирических песен (на языке иврит) о страстной, преодолевающей все преграды любви. Авторство одно время приписывалось царю Соломону. По ее мотивам, как известно, писатель А. И. Куприн написал повесть “Суламифь”.

Какие ассоциации рождались в смятенной душе недюжинной натуры, наделенной природой талантом руководителя, страстью созидания, любовью к творчеству? Какая мотивация лежала в членении речи на соотносимые и соизмеримые между собой стихи с характерной

стихотворной интонацией? Едва ли Валентина вспоминала о законах стихосложения, небрежно, как и все поэты, записывая стихотворный текст первой степени в наказистую сиреневую тетрадь, членя его, создавая свободный стих.

В предпоследний день моего пребывания в центре Донбасса, в очаге каменноугольных залежей, в средоточении черной и цветной металлургии, химической и коксохимической промышленности, в наиболее благополучном в экологическом отношении регионе СНГ — Донецке, жена Леонида Колесникова почему-то вспомнила о строчках более или менее упорядоченных, уравненных по наличию тех или иных звуковых элементов. У Никифоровны, если судить фактически, стержневыми элементами были не звуки, а страсти, как и полагается большой поэзии, имеющей под собой настоящий талант. И мама племянника Алеши выхватила из забытья веков пожелтевшие от времени папирусы.

“Я так надеялась на чудо...”, — вторила старшая сестра — силлабической основе соизмерения строк, колебля общее количество слогов, мешая внутрь метрическое и тоническое стихосложение. При этом, удивляя меня и восхищая. Притом сестра не проявила гордости, присутшей мне, легко рассталась с твореньями дней своих далеких. И я, подобно Александру Ивановичу Куприну, измученному почти двадцатилетней эмиграцией, водкой и одиночеством, принял решение внести в многообразие тонко очерченных типов и лирических ситуаций свою скромную лепту.

“Ловила нежный этот взор...”, — выхватываю из канвы сочинения, растворяюсь в расположении слогов определенной высоты, долготы и силы, спотыкаясь на определенных позициях слогового ряда. Утопая в новом кресле, не переставая удивляться способностям родственницы. Восхищение мое распостранялось на систему упорядочности звуковых признаков текста, подкреплялось системой повторений конкретных звуковых единиц текста. Звуки (аллитерация), слоги (рифма), слова (рефрены), грамматические конструкции (параллелизм) как и в разных языках, так и в ее творчестве отличались от моего мастерства весьма существенно.

“И так хотелось мне обнять...”, — шептал я вполголоса, вникая в невиданные для меня пласты мысли. Удивлялся я многим вещам, особенно попытке мастера совместить мелодичный и метрический стих. Я знал, что в русском стихе подобное недопустимо, так как высота и долгота звуков в русском языке не смысловразличимы, или не фонологичны. Но хозяйка гостеприимного дома, как ни в чем не бывало, делилась впечатлениями от продажи трусов, обращая прозаические повествовательные формы в стихотворение в прозе. Повышенная эмоциональность ощущалась и в восхитительной яичнице, и в бессюжетной

композиции продуктового изобилия на столешнице, и во внутренней установке на выражение субъективного переживания.

“И не доступен он тебе...”, — вникал я в смысл, одновременно кивал головой, соглашаясь с Валентиной сам не понимая в чем. Мне стало ясно и понятно, что-то неуловимое сближает говорение владычицы пошива мужского белья с лирической поэзией. Потому что козел у нее звучит ритмостройно “козэл”, потому что во взаимодействии стиховой формы со словами отчетливо выявляется звуковая сторона речи, создаются тончайшие оттенки и сдвиги художественного смысла, невоплотимые способом прозы. Конечно, границы поэзии и прозы отнесительны.

Но я слушаю и диву даюсь истинным языкотворцам, использующим систему средств — в выражении мысли. Я чувствую сильную неординарную личность, наблюдаю, как Валентина Никифоровна и “государством” руководит, и чад своих успевает накормить, и дело швейное наладить. Я с трудом поглощаю обильное, щедрое и вкусное угощение, изошренно отбиваюсь от радушных добавок, сетую на тяжесть в желудке. За окном моросит небольшой дождь. Сестра не идет, не спешит, а мчит в импровизированную комнату-мастерскую к очаровательно звучащей швейной машинке. Она летит, прикандаленная к великому делу и слову, которое играет в ее устах всеми цветами радуги.

К олигархам

Дочь и зять, жена и друзья думали, что я отправился в отпуск. Тетя Лариса и дядя Женья в приморском Таганроге приняли меня как дорогого гостя, как любителя морского побережья. Донецкие родичи, соседи, одноклассники и приятели покивали головой — на побывку к маме. Вояж по запорожской области выглядел настоящей родственной ностальгией.

В мыслях скромно путешествующего мужчины жила великая, далеко ведущая идея. В чувствах литературного мужа, клокотала, пылала сногшибательная перспектива — пробраться к владельцам умов.

Не просто проникнуть в стан сочинителей, но непременно занять престол в мировом масштабе. Замахнуться на Нобелевскую премию в области литературы. Затворники высшего вида творчества встречали выскочку презренной улыбкой.

Я несся в скором поезде к одному из двух олигархов Украины, занимающих прочное финансовое положение не только на небосклоне республики. Я трясся на сбившейся вате неудобного одеяла, листал глазами верхушки соснового леса, пролетающего за противоположным окном. Муки письменного обращения терзали меня изнутри несовершенным и неубедительным текстом.

Допустим, мне отпустят пять, нет десять минут. Я расскажу о своем футбольном прошлом. Нет, время летит быстро, он образованный богач, разносторонний и культурный человек, с ним нужно быть немногословным. Зачем ему мое прошлое, мои неяркие спортивные достижения. Уж лучше начать так, Вадим Львович, у меня есть внутреннее право один раз обратиться к вам за помощью. Он обязательно удивится, почему. И тогда — я!

Нет-нет, опять все не то! Ничего он не спросит, это мои выдумки. Он человек планетарного масштаба, каждая минута у него на учете. Нужно придумать что-то сверхудивительное. Вот, нужно озадачить. Таким образом, чеканно, без ложных и отвлекающих метафор. Еще, еще раз представить себя на его месте. Как бы я повел себя в подобной ситуации. Появляется неизвестно кто, представляется, уверяет, что он твой ученик. Стоп! Здесь главный козырь. Тут вся аргументация и сила. Я его ученик. Его стихи меня вдохновили, на его строках я учился, пришел к определенной поэтической дисциплине (сборник собственных сочинений — на стол!). Далее, ваши образы из “Исповеди книгочех” оригинальны и неповторимы, они явились основой моего неожиданного поэтического мышления.

Больше похвалы и лести! Ни один поэт не устоял перед дифирамбами. Сочиняет стихи, значит, он неполноценен, стало быть, недоволен честолюбие. И кротче, покорнее, смиреннее, немощней, глаза наполнить восхищением, будто он и в самом деле великий писатель. Сделать паузу, войти в состояние беспомощности, искреннего отчаяния, выдохнуть, я учился у вас.

Он сделает удивленные глаза, в эту минуту скромно открывайся. Говори, что он король стиля, откровенничай, как принял решение переписывать его стилистически безупречные исторические абзацы, как плакал, ведя изменение почерка, собственного стиля. Ври, не бойся, преувеличивая, шепни, я делаю это уже в третий, нет в пятый раз. За-молчи, потупив взор, в таком положении, процитируй несколько строк из монашеского устава Бенедикта. И вот, и вот он, до глубины души растроганный твоей бедностью, берет тебя под свое крыло.

Моя мечтательность быстро завершилась в Донецке. К другому олигарху всеукраинского масштаба мне люди добрые посоветовали не совать нос. “Он общается только с первой командой...”, — отстраненно пробасил бывший игрок “Шахтера” Юрий Дудинский. В клубе команды мне рекомендовали примерно то же самое. Кто подпустит простого скромного поэта к тем, кто имеет реальную финансовую власть? Кому нужны проблемы сочинителя по изданию очередной книги. Промолчал я о своих огорчениях. Пусть думают, что я был в отпуске...

Режущий предмет

Прости меня, Учитель милостивый и Пастырь сострадательный за дерзновенный поступок, за грех необъяснимый и — праведный. Но все по порядку. Скорый поезд, как и принято, разрезал южную часть СНГ. Пьяные пассажиры и слегка нетрезвые граждане изредка мелькали в проходе, пугая воображение. Пусть и незначительно, хоть и со стороны.

Мужик порассуждал за стеной и неизвестно как уснул в нашем плацкарте, сидя на боковом сиденье. Перед этим я только слышал, его прервали, успокоили, утихомирили. Он спал сладко, как починют люди в почтенном возрасте, в средне развитом алкоголизме с умеренными последствиями. Голова его аккуратно лежала в закуске, предполагая дальнейшее развертывание жизни. Пьянь как пьянь, ничего необычного.

Нож дорожного назначения покоился рядом с его головой. Взволнованный острым предметом, я огляделся, осторожно взял полотенцем холодное оружие. С внешней небрежностью я прогулялся к дальнему туалету, почитал график движения поезда, выглянул в тамбур. Звон металла, упавшего между вагонами мчащегося поезда, как мне думалось, услышали даже машинисты электровоза. Звук специальной стали, я начал верить в это, превратился в нашего попутчика и больше не покидал мои уши.

Первое, что спросил пьяный попутчик у сидящего напротив мужа: “Где нож?” На ответ среагировал с подозрительностью и агрессией. “Не убедительно отвечаешь!” О ноже в вагоне думал его хозяин и я. Страх и чувство тревоги захватили полностью мою душу. Распитый мужлан оказался дотошным. Он опросил почти весь вагон, добрался до проводников.

А скорый поезд летел на юг России. Вечерние лампочки слабо освещали страницы моей книги. Прочитанные слова, продуваемые сквозняком, шелестели в голове. Глухое занудство и однообразие летало по вагону: “Вы не видели нож с разноцветной наручкой? Хороший нож, специально в дорогу захватил, какая-то сволочь взяла...”, — жаловался, глядя на не повинного соседа, который не выдержав, высказался не агрессивно, но конкретно: “Послушайте, уважаемый, вы пришли уже без ножа...”.

Поздно вечером мне показалось, что хозяин ножа обо всем догадывается. Я стал сверхосторожен, разобрав в его бормотании слово Таганрог. Тревога дважды усилилась, взбивая воображение, словно коктейль. Я поверил, что в месте назначения пьяный придурок собирается устроить мне разборку. Я додумал, что он из Таганрога, что его встретит такая же, как и он, агрессивная братия. Нигде и ни в чем не находил я спасения, даже в монотонности стука колес, слыша “Ножь-ножь-ножь...”.

Домик Чехова

“Чехов родился на улице Чехова...”, — точно примечает неизвестный стихотворец. К слову сказать, такое ощущение возникает у каждого, кто приезжает на родину талантливого русского прозаика. Тот, кто идет по очень длинному ряду смиренных старинных домиков, по однодневным и декоративным торговым точкам, по скверу, раздваивающему строения, на каких значится знаменитая фамилия.

Заглядывая в литературный дом-музей мастера, я как бы ставлю точку в культурной программе дня и поездки в целом. Я бесшумно скользя по дворику, вымощенному плиткой, покупаю билет, сожалея, что нехватка денег умаляет мою покупательскую способность. Мое неудержимое “хочу” страдает, испытывая муки нравственные от невозможности приобрести понравившиеся сувениры. Мое “я” унижено тем, что кто-то выбрасывает деньги на развлечения, а я, поклонник Антона Павловича, не в состоянии привести с родины писателя хотя бы вот эту тарелку с чеховским пейзажем.

Крышу обители Антоши Чехонте сейчас приводят в порядок. Работница музея поясняет, извиняется, рассуждает, будто я и сам не знаю, что на нужды культуры деньги отпускаются в последнюю очередь. Постоянная обительница музея, продолжая тему, переключается на литературную тему, балует меня бесплатной экскурсией.

Я откровенно признаюсь в склонности к воровству, рассматривая картину “Кающаяся Магдалина”. Вполголоса я выражаю зыбкую надежду о наличии сигнализации на каждый экспонат. Мудрая женщина распяет kleптоманию истинным откровением. Что не вся принадлежность музея находится под звуковым контролем. Я весь слух и внимание, я весь зрение и напряженность.

Слушая о предыстории сюжета повести “Степь”, я ловлю себя на интересной позиции. Меня распирает от надувшегося и жаждущего озвучиться вопроса. Жажда любопытства обостряется в гостинной. Особенно ценные икона и старая Библия приковывают мои очи, владеют вниманием. В устах, не выдерживая замкнутого пространства, плавится металлом большой вопрос? В унисон сомнению, рассказчица озвучивает приговор моим не романтическим чаяниям. Гулко звучит в помещении суровая чеховская правда, за всем здесь надзирает суровое око общест-венности...

Невольник чести

Судя по косности его поэтического языка, можно было подумать о приверженности сочинителя к адептам дворовой, конечно же, не тюремной лирики. Он, как и полагается любому поэту, свалился в мой

полдень с благословенных небес. В глухом сумраке еще не поздней осени он гулко шагал рядом — смятым и незатейливым — довольно сырým гекзамером.

В полутьме слабо освещенной провинции я слушал повесть о том, как он поругался с редактором журнала “Неман”. Этого оказалось достаточно для возведения его в ранг, скажем, полубожества, учитывая мою низкую самооценку. Но и самодостаточность моя личная хрипло поползла вверх от новых знаний, переживаний, набухая кровавой опухолью стресса.

Поэт находился на том уровне лирического развития, когда следовало бы повернуть взор в сторону истинной поэзии. Впрочем, о его творчестве судите сами: “Отсветило лето, отсветило, вновь дожди осенние пойдут, знаю я, что ты не все забыла, наши грезы к нам еще придут...”. В те далекие годы ноющие, податливые на слезы и очень слабые строки, как говорится, совершили свою молитву и помазали меня священным елеем поэтического пробуждения. Я оказался страждущим, который получил исцеление. Морозящий дождь тогда засеребрился на манер легендарной благодати. За разноцветной кленовой листвой замельтешил ангел в образе Александра Сергеевича Пушкина, обещающая вместо Царства Небесного, горькие — вечные муки творчества.

И чудо произошло, временное ущемление моей духовной и прочей свободы со стороны алкоголизма достигло, в конечном счете, противоположного эффекта. Чудо взяло с места мой мятежный дух, направило его в другой город, превратив меня в беглеца того же духа. Географическая экспансия поэзии по городам и весям при ее жесткой социально-идеологической локализации еще существовала. Ей способствовала не только миграция сердитых и непризнанных мастеров слова, но и волевые акты вот таких непритязательных братьев по перу. При нем я и постригся, стал отшельником поэтического слова и образа, молясь непрестанно за его здоровье (жив ли?). По его явлению, я почувствовал голос небесный.

В тот осенний день я восхотел накормить его обедом в ресторане “Орша”, но он отринул мое угощенье, как некогда чудотворец Агапит выбросил благодарственное золото положенное в его келье князем Владимиром Мономахом за чудесное и безвозмездное врачевание...

Подарок

Накануне моего пятидесятилетия ко мне подошел шеф и спросил. “Голян, что тебе подарить на день рождения?” Зрелый человек ответил бы однозначно и достойно. Я же, пребывая в эмоциональном застое, растерялся до такой степени, что у меня сквозь редкие волосы на голове

проступил дым мыслительного перенапряжения. Я восстал статуарно окаменевшей глыбой, не могущей вспомнить даже свое имя.

Целых полвека никто не обращался ко мне по причине полной алкоголизации человеческого образа. Я виделся мотыльком, боясь вспугнуть самое себя. Я скрестил персты, не искривленные работой, поднял вверх голову, не исполненную долгими размышлениями, читая на небосводе золотые литеры: “Отрок, только избранных Господь награждает взрослым детским восторгом и смятением судьбоносных решений...”. А может быть я находился в реальном забытии несбывшихся фантазий.

Страх и боль перед ответственным решением окатывала меня с ног до головы. Вот-вот алчность, туманящая разум, домокловым мечом нависала над хрупким сосудом сказок и чудес. Я вперивал близорукие очи в бесчисленное множество пригрезившихся в одночасье подарков. Я усаживался за рабочий стол, подпирая голову, отяжелевшую от раздумий. Демократический пафос о свободе выбора сильным голосом требовал — все, а разум ужасался от мысли, что можно совершить ошибку. Так мыкал я горе, что скорбь легкую, небесам и ангелам на веселье — до праздничного дня, получив в подарок то, что душа заказала.

Радость моя оказалась кратковременной, помимо печи СВЧ, я мечтал еще об электрочайнике. За одну только ночь я истерзался до такой степени, будто лишился, по меньшей мере, целой империи. Алчность жадно поела меня со смачным хрустом и чавканьем. К утру мое едва начинающее морщиться личико сделалось неузнаваемым. Мое отражение в зеркале одними только глазами указало обучаться смирению, послушанию и нестяжательству. Чтобы не погибнуть от смертельного греха...

Дожди проливные

Красивая добрая женщина одиноко и печально смотрела куда-то вдаль за лобовое стекло, исхлестанное обильными небесными струями. Необыкновенно грустная красавица бальзаковского возраста выглядела одинокой в нашем мужском футбольном многолюдстве, разогретом выигрышем на выезде, винными парами и молодостью. Интеллигентная дама, казалось, не замечала симпатично свежих футболистов, вроде бы не слышала похотливо пустозвонных намеков на обмен номерами телефонов или прогулки по городу. Она приспособилась стоять на нижней ступеньке справа возле водителя, иногда, прислоняясь лицом к мокрому стеклу. В глазах ее слабо отражалось туманно серое небо, буруны дождинок и слабо видная бесперспективная даль. Временами наша случайная попутчица отвлеченно кивала головой на мои беспомощные фразы, рисуя извилистые линии на запотевшем изгибе стекла.

До игры мы старались женщин в автобус не брать. Но теперь мы возвращались в дождливых сумерках с победой, с прекрасным настроением. Тренер не возражал против того, чтобы довезли прекрасную незнакомку до самого дома. Выходя, она любезно протянула мне в руки добротный импортный зонтик, шепнув: “Когда-нибудь вернете...”. Имея склонность к воровству и невозврату, я ощутил острый испуг, подетски среагировав почти мгновенно опять же от страха. Как-то глупо, не по-мужски, не по-джентльменски прозвучало с претензией на остроумие мое бездоказательное объяснение типа, вы можете не беспокоиться и т. д. Моя пассия обротилась медленно и с достоинством принцессы, ответила так, точно учительствовала в стране хмурой нежности. “Если бы я знала, чего нужно в жизни страшиться — после того, как умерла моя дочь, мне уже нечего бояться...”.

Изящная женская фигура бесшумно скрылась в подъезде за пологом отвесно летящей сырости. Вслед с нервным скрежетанием захлопнулись кривые двери львовского автобуса советских времен, оглушив на миг нетрезвый хохот сверстников и шумные проливные дожди.

Она ждала и верила

Она говорила мне словами песни. Она называла меня мужчиной своей мечты. Она работала бухгалтером, жила, верно, на квартире или же у родственников. Зачем тогда, спрашивается, привела она меня в подъезд многоэтажного дома именно этого панельного строения? Зачем-то выбрала третью входную дверь, если считать слева направо. Я заподозрил ее в двух грехах: либо она здесь обитала, либо не я первый молодой человек, с которым она целовалась у лифта.

Предположение о других мужиках мне не понравилось, если не сказать больше. Приступ ревности ударил в голову мочевым напором, ослепил глаза умозрительной ревностью. Но пришло время целоваться, это была доминанта моего тамошнего интеллектуального и духовного развития, и страсти застлали мне юные огнеподобные очи.

Я добирался до ее интимных мест, она же, как и подобает в первый вечер знакомства, приостанавливала мои вездесущие руки. Я тербил ее темные волосы, перебираясь перстами за ворот к туго застегнутому лифчику. Нежные завитки кудрявились у нежной девушки вокруг головы, создавая хорошие условия для похотливой лести. Я находился в прекрасной форме психологического насильника и всю пользовался своим преимуществом. Я ворковал о будущей семейной жизни, о наших детях, теребя пьянящие сознание волосы на темной затылке, расстегивая верхнюю часть женского туалета. Большие позвонки под гладкой и не очень возбуждающей кожей неестественно выпячивались, шепча об остеохондрозе. Тело моей будущей жены — так я ее называл — взвол-

нованное неожиданным перевозбуждением соития, уже прижималось ко мне естественно и доверчиво.

Она шептала о том, что ждала и верила в нашу встречу. А я отбивался туманными рассуждениями о градации ответственности, соответственно моменту, правда, выискивая обходные пути и здесь. Спустя две недели удивительное существо без имени (странно, я не спросил, как ее зовут) непонятным мне образом отыскала мой адрес в общежитии, прислала нежное и трогательное письмо. Она гвоздила, как судьба, укором девушки, исполненной веры в то, о чем я врал, наполненной серебристой звездной россыпью. И сегодня в глубинах памяти зыбко клеблются ее безупречно красивые строки, издавая стон пробужденной любви, завершаясь незабываемым речитативом: “Толя, я думаю о вас...”

Дерьмовая история

Как видим, все младенческие университеты незавершены, как бы сказали сейчас, аспирантско-докторантское время потрачено ни на что. Ветхий двухкомнатный дом тосковал по любви и доброму слову. Собаки разноцветной стаей носились по зачинающемуся поселку. Отец ладил неказистую ограду, мама разрывалась между огородом, плитой и непоседливыми детьми. Скрипучие ворота обдавали вечернюю тишину нервным визгом, пугая обнаглевших голодных мышшей, снующих по глиняному полу. Пахло жареной картошкой, горьким степным ковыльно-полынным духом с очевидным оттенком фикальной канализации. Это отец после смены удобрял огородный чернозем неорганическим естеством, черпая и черпая старым ржавым ведром буро желтую массу человеческого происхождения.

А моя жизнь младенческая, ползучая — учение особое. Инстинктивные инструкции столь же незыблемы, столь же пунктуально Господом раписаны. “Кать-качь-качь...”, — лепетал я, изворачиваясь ужом, изучая глухие глиняные углы с пауками. И своеобразно опредмечивал территорию маленькими дымящимися испражнениями. И размазывал произведение неуправляемой плоти — смешно только со стороны — в блинообразное рукотворное диво, в чудо без известного запаха, учась жить и только.

Но это научение куда больней и горше. Можно подумать — сплошное мучение. Ничего подобного, познание мира едино. Начинается оно, равно как и завершается, с обычной дерьмовой истории, своего рода завет академии младенчества. Нет-нет, кто-нибудь и сочинит гимн на латинском языке благословенному дерьму, как действию, полагающемуся по сценарию фрагментарного обряда взросления.

Так что я, вольный дикий зверь, подобно папе, дабы освободить его от предрассудков, удобрял глинобитное основание родительского дома, вытирая ладони о плохо оштукатуренные стены...

Ледяные горки

Тьма ночи рассеивалась, мороз ослабевал, в чистом зимнем небе запылала заря. Я дождался, пока мама дожарила приевшийся хек, наскоро позавтракал, сделал глоток сладкого чая, начал быстро собираться на улицу.

Мороз не располагал к праздности, щеки саднили, тонкие рукавички слабо удерживали тепло. Но всего этого я не замечал, поглощенный страстным желанием поскорее добраться на ледяную горку, которую вчера заливали у дома Проценко. Я скрипел валенками по свежему снегу, вслушиваясь в нарастающий шум веселящейся детворы. Я услышал их клики возле дома Матвиенко и заспешил еще бойчее, засеменял в неудобных валенках, по плохо растоптанной тропинке мимо низкорослых сараев у местного футбольного поля. Я почти бежал, задыхаясь от накопившей неизвестно откуда радости, от удивительного чувства безмятежности, от предчувствия чего-то необыкновенного.

Я влился в ребячий поток, топча атласный снег, рассыпчатый, как отварная картошка. Я поднимался на горку справедливой чередой ребятишек, визжащих от избытка ощущений, от неожиданного разнообразия в скуке детского поселкового прозябания. Лед, раскатанный валенками, шароварами, падающими шапками, утерянными варежками, дешевенькими пальтишками, нашим жарким смехом, ярко блестел, отражая безупречную голубизну чистого неба. В голых абрикосовых ветвях стрекотали воробьи. В небе появились первые признаки редких облаков.

В один из спусков я почувствовал, горка “прохудилась”, ее расскользили до самой земли. Ледяное неудобство охладило мой пыл. Дети, словно очнулись от сказочного забытья, грызли кто снег, кто льдинки. Мокрые насквозь варежки дымились, пальцы на правой руке начинали замерзать. Я приходил в себя, все еще не веря в окончание сказки, запоминая теплое чувство, как показало время, размыкающееся не вдруг в пределах короткой человеческой жизни...

Унылые столбы

Я вообще не был склонен к черной работе. Создатель наделил меня нравом дикого степняка, бродяги, страдающего непоседливостью. Я в чувствовал отвращение к любой деятельности, кроме пустой болтовни, психологической интриги, футбольной страсти. Я принадлежал к особенной породе людей, предрасположенных к подвижничеству, к миссионерской деятельности, к монашеству, может быть, к затворничеству.

Все вышесказанное не мог знать мой отец, прозаично скрепляющий дугой и болтами основание бревна со швеллером, которому как минимум полвека ржаветь в сыром черноземе Донбасса. Родитель лелеял меня

как будущего помощника, видя во мне опору к старости. Я же ненавидел его пристрастия как простолюдина, не понимал его склонности к строганию, пилению, точению, забиванию гвоздей в тупое, никому не нужное хозяйство.

В начинающийся жаркий день августа мне не удалось сбежать на окологородную орбиту. Каким-то необъяснимым образом папа разгадал мой хитроумный замысел — проскочить огородами вдоль забора у Стрельчихи, перемахнуть через невысокий пролет и оказаться в свободном мареве родимой улицы Юшкова. “Иди сюда...”, — попросил, приказал отец, а вроде бы и позвал. Он вручил мне ключи и моя экзекуция началась.

Слесарный инструмент непослушно выскальзывал из рук, прыгая с гайки на окровавленный палец, разбитый на первой секунде. Рогатое уродище не слушалось левой руки, силы иссякали, папаша поминутно и язвительно комментировал мои неумелые движения. От отца неприятно пахло потом, дешевыми папиросами “Прибой”, от него несло страхом, из него исходила агрессия.

Как психологически униженный ребенок алкоголизированной семьи, я считался неплохим психологом. Я специально устраивал отцу рабочую раздражительную тягомотину, понимая и предвидя в конце концов свое позорное изгнание. Меня уже нельзя было унижить никоим образом. Потому что чувство собственного достоинства я не знал, чувство значимости, защищенности, безопасности не ведал и — изготовился еще раз проглотить любое унижение, наконец-то услышав от грозного родителя: “Иди отсюда...”. И столько нелюбви и ненависти, недовольства и раздражения слышалось в его голосе, что я стал на один сантиметр ниже...

Медленное время

Добрая Ольга Григорьевна по доброму вела урок географии. Майская жара плотно обнимала солнечную часть девятого класса “А”, стекая на первый ряд школьных парт. Мы не тяготились занудным течением классных минут, но четко знали, у Сереги Чиж на руке красивые часы с патриотическим и волнующим названием “Командирские”.

Замечательная Ольга Григорьевна добросовестно тыкала указкой по странам и континентам, говорила о умеренно-континентальном климате какого-то государства. Мы же медленно, прямо издевательски — в классе тридцать человек — начинали интересоваться по очереди, вместе, стихийно и организовано, сколько же осталось до конца урока. Мы поворачивали юные головы в сторону Сереги Чиж, толкали его, шептали, вкрикивали, подавали знаки пальцами, указуя указательным перстом десницы на точку над запястьем левой руки, где располагался первый личный часовой механизм нашего школьного коллектива.

Чуткая Ольга Григорьевна, которую никто не боялся и не слушал (кому нужна ее география в романтическую молодость, в невыносимо жарком мае месяце) увлеченно перечисляла какие-то климатические категории, летящие мимо ушей. Менее всего слушал красивую учительницу я. Принадлежа к разряду наиболее нетерпеливых учеников, я донимал владельца часового сокровища чаще других, дотошнее назойливых, утомительнее занудных. В состоянии классической детскости секунды, отягощенные свинцовой инфантильностью, двигались вдвое, втрое медленней обычного.

Мы доконали, достали Чижу до такой степени, что наш школьный брат по непослушанию в шутку пообещал выбросить проклятые часы, добавив, как мы все его достали. Выспрашивание медленного времени превратилось в невидимый урок, протекающий вторым, но главным планом. Несдержанных в классе оказалось гораздо больше, чем я полагал. Нетерпение разрывало нас изнутри, позволяя выдерживать две-три минуты, затем исторгая вопрос. На следующий урок Сергей опоздал, видно бегал домой. Часов на руке у Чижу не было...

Касса высокого класса

По традиции Сообщества Анонимных Алкоголиков здесь нет начальников и подчиненных. А самофинансирование делает это совершенное братство независимым и свободным. Седьмая из Двенадцати Традиций гласит: “Каждой группе Анонимных Алкоголиков следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне”. Поэтому после окончания каждого собрания мы сбрасываемся — кто сколько может — но не более десяти долларов в общую кассу, часть из которой идет на общее развитие, часть на литературу, часть на совет обслуживания, остальное на чай, сахар, печенье. И никто никому ничего не должен. Можно ли найти содружество людей, где все равны, где главенствуют принципы, а не личности.

По традиции я в течении некоторого времени выполняю роль кассира. Преобладающее воровское мышление безошибочно напоминает о бесконтрольных купюрах, о всеобщей рассеянности, о доверии мне со стороны всех. Сегодня вместе со мной никто не пересчитывает послегрупповые пожертвования. Я тихо использую доверие мне в свою пользу, безбожно запуская свои нечистые лапы в кассу А.А.

Моя финансовая наглость, как и полагается мошенникам, растет. Безнаказанность увеличивает аппетит, я с наслаждением занимаюсь приписками, вычетами и сложениями. Прямо пропорционально нечестности растет чувство вины, страх разоблачения, внутреннее беспокойство и безотчетное раздражение. Я подгоняю денежную отчетность

ловко и неприметно. Мой внутренний бог — совесть — бунтует, вопия стыдно и громогласно.

Небеса вдруг насылают мне проверку в лице Светланы. Она бьет во все колокола, крича в многолюдствах о моем своеволии, о моем влиянии на группу. Она делает свое доброе дело.

С грехом пополам все же собирается внеочередное рабочее собрание. Я с позором, якобы обидевшись, покидаю сборище под хрюканье Мойши: “Останься и отчитайся...”. Я подхожу к Светлане, вполголоса лепечу ей отчетную информацию, тыкая в мифические цифры. Она еще очень пьяна эмоционально, по-сему соглашается: “Да-да, все в порядке...”, — не желая со мной конфликтовать. Мне стыдно, но я про себя обзываю всех собратьев нехорошими словами, покидаю группу, быстро иду через площадь Независимости, ничего не замечая вокруг...

По совести

Я бы попросил у него прощения, да не знаю как это сделать. Я, собственно, только сейчас ощутил некую ущербность, внутреннюю неловкость перед преподавателем факультета журналистики. Перед старейшиной отечественной публицистики (в 83 года он еще преподает и консультирует студентов) у меня есть определенная вина, которая создает едва ли не богохульные контрасты между самодостаточностью и долгом.

Я бы сказал ему следующее — в пределах разумного — простите пожалуйста за все, за все, за то, что я, словно мальчишка какой, столь безответственно — нет слов — отнесся к мастеру пера. Я бросил ему незавершенный диплом, да где там неоконченный, так, полуфабрикат, если быть точным. Я испугался реальности, встревожился перед ответственностью, смутился накануне взрослости, хотя и бумазейной, хотя и справочной.

Три месяца я жрал водку, содействуя дружеским вакханалиям. Позже — как только храбрости достало — предстал пред очами препода. Он честил меня высоколитературно, он ваксил мои бессовестные глаза по-журналистски, не унижая и без того униженного, до глубин ничтожества. Вполне существующий урок с уроком собственной совести. Великий журналист взял и переписал мой диплом, доведя его до состояния истинной вещи.

Тридцать лет минуло с тех пор, как я пережил свой очевидный позор. Но если отнять одно от другого, то ироничные времена высмеют тебя истинного, без прикрас. И лета захохотали, рядом и неразлучно, ежедневно насылая того же преподавателя, предпочтя мое раскаяние. Но я делал вид, будто не узнаю почтенного старца, будто по рассеянности не примечаю до боли знакомое лицо, пристойные сдержанные жесты. Однажды я все

же заговорил с ним, уводя в сторону его внимание подарочным изданием своего первого романа. Я снова лгал, воспроизводя себя же, в игровом житейском парадоксе, в своей двойственной целостности, осуществляя двоящееся единство. Вышел текстовый гротеск, осуществленный справедливостью, бесстыдный фольклор, пародийная сшибка смысла и слова в целостной жизни, в неразъемности судеб. Ложь, мастеровито сшитая воедино, скрыла правду. Я опять изменил самому себе...

И я скажу

Прежде всего председателю правления — о том, что звонили из Швеции, о том, что в этом году в области литературы выбор пал на меня, что деньги уже переведены, но официальное сообщение прозвучит через неделю. Я войду в его кабинет, нетерпеливо перебежю бесконечный телефонный разговор и, глядя в его удивленные глаза, жестко, словно гвоздем, приколочу неумолимым словом. “Отныне и присно и вовеки веков вы второй, а значит — последний...”. И не обращая на него ни малейшего внимания, объясню главному редактору, что на встрече с президентом я произнесу праведную тираду, никого не умаляя, но утопая в саможалости и обиде на весь мир. Я напомню о щедром жесте всех издательств мира, которые в одночасье большим тиражом пустят по свету мои книги. Я исповедаюсь первому лицу государства в нежелании публиковаться в Белоруссии. Я признаюсь в материальных амбициях, озвучу недоплаты, учту моральный ущерб, попрошу компенсации за денежные затраты в частных издательствах. Я скромно захочу иметь две квартиры, домик под Минском, джип, гараж, негромкую должность с определенной зарплатой, чтобы доставало денежных купюр на бензин. Первый поэт и прозаик королевства — дело политическое, фигура одиозная, это вам не какой-нибудь там космонавт или олимпийский чемпион. Чувство недовольства и разочарования все равно истерзает мою одинокую душу. Президент, конечно же, отвалит мне щедрый кусок благ, потому что я хоть и горделив, но не предатель, я верный пес его величества. Позже, утопая в изобилии, я не смогу подавить чувство саможалости. “Зачем мне все это сейчас, куда вы смотрели, когда я был молод, когда страсти будоражили мое молодое сердце”. Я, верно, крепко обижусь, я крикну досаждающим меня представителям издательских фирм: “Ни одна моя книга не увидит свет в родном Отечестве, пока главенствуют вот такие писаки...”. И я скажу, я все вспомню...

Под кроватью

Поздний осенний вечер ветрено стучит в плотно закрытые ставни. На чердаке прямо над нами топают таинственные существа. За стеной —

их хорошо слышно под кроватью — шумят, прыгают, бухают призрачные странники, прозрачные видения, незванные гости.

Родителей нет уже который час, а мы с сестрой не решаемся выглянуть из-под панцирной сетки, занавешенной пологом низко свисающего одеяла. Мы дрожим, колотимся, трясемся, боимся и все такое. Нет на белом свете более тяжелой доли, чем страшиться неизвестно чего. Удивительно смешно об этом слышать, но человеку, исхитрившемуся угодить в эмоциональную незрелость не до веселья.

Для согревания мы затаскиваем в нашу подкроватную крепость все, что можно. Мы барикадируемся подушками, пальто, скамейками, зыбкой верой и призрачной надеждой. Сумасшедшие мышцы шушукаются и смеются над нами, обнаглев до невероятной откровенной показательности. Люди, бредущие столь поздно мимо нашей калитки пугающе громко болтают и свободно смеются. Мы принимали их за родителей, возвращающихся с гулянки у Иващенко.

Осенний сад шумит как-то щемяще, трогая душу, разя в самое сердце. Мама и папа явно задерживаются, а мы с сестрой переживаем один из многочисленных стрессов. Лампочки в сорок ватт, включенные в каждой из восьми комнат, создают ощущение того, что называют безличностным глаголом “забрестило”.

Неяркий экономный свет давит на психику, служа скорее тьме. Детское воображение угнетенным образом воспринимает смутные предположения о словесном наказании за свет, горящий повсюду. Вездесущая заоконная осенняя темнота оказывается сильнее, трагичнее, проникновеннее всех маминых претензий. Шумно шевелятся взбухающие изгибы ставенных створок, напоминающая наше чувство незащищенности. За шумным порывистым ветром не слышно, как мама и папа топают за окнами по асфальтированному дворику, как шумно болтая и жестикулируя, входят в веранду. Щемящее переживание крепко сжатой пружины, медленно распрямляется, хоронясь в подсознании на веки вечные. Родители окликают нас, но мы не находим сил радоваться и бежать навстречу своему освобождению.

Горкомовское свинство

Гуляя по провинции, мы читали на мемориальной доске отметку о проживании первого секретаря горкома партии, почетного гражданина города далеких времен развитого социализма. Мы, в прошлом профессиональные футболисты, вспомнив, возгорелись гневом по одному из спортивных моментов истории городка. Мы запыхали метафорическим недовольством оскорбительного характера, постепенно успокаиваясь и в греющих душу воспоминаниях.

Тогда провинциальное однообразие и скуку взбудоражил приезд ветеранов сборной СССР по футболу. Одни только имена, перечисленные на красочных афишах, вызывали трепет у каждого уважающего себя болельщика самого прекрасного вида спорта. Стадион, вмещающий пять тысяч зрителей, верно, собрал все пятнадцать, напоминая бушующее море накануне бури.

Ошеломленная провинция многотысячными возгласами комментировала каждое движение великого Стрельцова, изящную обводку юркого Хусаинова, искрометную, взрывную манеру передвижения Рейнгольда, “мертвую” хватку вратаря Пшеничникова. Несмотря на грубые приемы случайно затесавшегося к нам в коллектив Коскина, матч завершился мирно.

Первый секретарь зашел в раздевалку, поздравил нас с хорошей игрой. А нам хотелось крикнуть, почему горкомовцы не сообразили заглянуть на стадион накануне такого праздника. Спортивный комплекс находился в аварийном состоянии. Туалеты томились в углу кособоким позорищем. Санитарные условия напоминали лихорадку с переборами горячей воды.

А после провинциальное руководство увезло знаменитых московских гостей на банкет в железнодорожный техникум, по-свински проигнорировав нас, соавторов торжества, отшвырнув нас, обиженных и затаившихся в себе. Случилась неслыханная наглость по отношению к нам — местным звездам. Произошло унижение, какое преподнесло нам горкомовское свинство, какое и сегодня помнится как незабываемая обида...

Рейтузы

Восьмого марта мои любимые сестры (Гале шесть, Вале пятнадцать лет) с нетерпением ожидали отца. Его возвращение сулило девушкам подарки, мне же удовлетворение мужского любопытства. Сестры изнывали от медленного времени, от предчувствия праздничного настроения, которое искрилось на их лицах, слышалось в бытовом задоре маминой стряпни, виделось в девичьих глазах.

Отец возник неожиданно, зашел шумно, можно сказать, всех застал врасплох. Мелкие негабаритные окна, задраенные занавесками и шторами слабо пропускали и без того мрачный мартовский туман Донбасса. Перебежками, резвясь младенчески, в сторону папы кинулась по холодным половицам наша общая любимица Галина. С надеждой подошла сдержанная, но взволнованная внутри старшая Валентина, на миг, опережая спешащую из кухни маму.

Дамы обступили отца в полутемном углу и замерли в ожидании чуда. Я еще с утра вручил сестрам дешевые поздравительные открытки

и поэтому с чистой совестью наблюдал за развитием событий. Папа с многозначительным видом, словно вынимал из карманов флаконы дефицитных в то время французских духов, извлек три совершенно одинаковых аккуратно завернутых бумажных пакетика. Разными веселыми словами он поздравил женщин с Международным женским днем, вручил долгожданные презенты. Сестры быстро развернули упаковку и в один голос разочарованно прошептали: “Опять рейтузы...”, — огорченно отбрасывая разноцветные женские панталоны куда-то в мою сторону, слегка смягчая мое чувство вины за отца...

Богдаша великолепный

Вырастает из ползания, переходит на следующую ступень коленно-ладошечного передвижения. Останавливается передо мной, окрыляет душу взором ангела, и я истинно понимаю смысл выражения “не чаять души”. Прошмыгивает мимо меня, вполголоса шепчущего вслед ему стихотворные строки. Жаль, никто не записывает то, что экспромтом сочиняет дедушка, чем не радио няня, строчки, рожденные в любящем сердце.

Окатывает меня теплом ангельства, возвышая до ощущения святости, до мощи в немощи, до всемогущества в бессилии. Расширяет пределы одной человеческой судьбы, всей родни, рода до семи колен, смазывая личностные богохульные контрасты, оправдывая и объясняя всю прошлую униженность. Он старше генералиссимуса, проползает сквозь внеклассный фрагмент “учебной” жизни, выбирая лишь ему одному понятное направление мышления и действия.

Мы застываем друг против друга, ровесники по сути своей, он с бездной неосознанных желаний, инстинктивных порывов, я, сознательно желающий выполнить любой его порыв, любую младенческую прихоть. Мы неразделимы, как тьма и свет, как ненависть и любовь, как жизнь и смерть. Только в этой двойственной целостности — полноценны и счастливы. А если отнять одно от другого, тогда и будет то, что именуется хаосом.

Мы парapedагогический шедевр, не вписывающийся ни в одну воспитательную схему. Мы правда жизни, врезающаяся в лавину (если больше одной) игрушек. Мы рядом и неразлучно. Игрушечная музыкальная елка осточертевает нашему двоящемуся единству, но осуществляет нас, пляшущих, кружащихся, в стиле начинающих и робких вагантов, хмельных от счастья.

Игровое пародирующее умение дедушки и младенца одновременно действует как пародийная сшибка слова и смысла в божеском тексте, в котором постепенно вырисовывается божье провидение. Барсетка превращается в волшебную сумку с крыльями, улетает в закрываье,

часики — летающее время — воплощаются в моих импровизированных движениях в мироздание, взирающее в меня любящими и очарованными глазенками человечества в образе великолепного Богадаши, подтверждающая вечную истину “в каждой капле бытия — все бытие”.

Правильность дочернина воспитания жестко вправлена в грамматику и держит нас, ровесников, деда и внука, точно живой каркас, сдерживая на крутых чувственно-педагогических виражах. Ручка уже осознанная малышом как предмет для какого-то начертания, правильно вкладывается дедом в очаровательные пальчики, ребенок чертит каляки-маляки, помня местонахождение пищащего инструмента. Взирая на смешного деда, кое-что творящего с мячом, вызывающего внимание не только любопытного мальчика. Повторяя его ныне присно и вовеки веков...

По ухабистой округе, за дрожащими ручьями,
Ты рыдала безутешно — застилали небо очи.
И туманно дни разлуки, пеленали тьму ночами
И волшебнo поминали упоительные ночи.
Ты вбегала, чисто ангел, разволнованные крылья,
Мне, светлая чело доуки, разбивая тьму на счастье.
Ты мела осколки горя, хлопнув искренности былью,
Гулко топая душою, изводя судьбу на части.
Исчезая за ручьями, уходя на солнце прямо,
Унося любви надежду, по осенней грусти веток.
Ты зарею истекала, принимая форму храма,
На сочащейся основе, серебра росу рассвета...

* * * * *

Но если риторически,
Ничтожно мне панически,
Ничто мое могущество...
И что же, очищение?
Семейное общение,
Деление имущества!
Хламье у дома папино,
Мое лишь утро в крапину,
А что еще, не ведомо,
Да что же, все сестрицыно,
Бессмысленно все, истинно,
С обидными обедами...

Спустя слабосильные плечи,
Бесцветные, пуча глаза,
Почту жалко-нежные речи,
Услышу-то, гром и гроза.
Видение ясно увижу,
О грусти слова изреку,
Столетия подвинутся ближе,
Полвека, причтя старику.
Пучины разверзнутся гулко,
Пустые слова, обличив.
Видение у переулка,
На счастье уронит ключи.
Виденье займется иконой,
Грехи, принимая сполна.
В душе разгорится исконно,
Гордыни и мира война.
Глаза источат умиление,
Виденье коснется плеча,
У грома запнется смирение,
Ругая грозу сгоряча...

Тропинка вьется как-то в сторону,
Мне, угодная, дню и ворону,
А я у старости, смотри:
Мужчина, думающий медленно,
Морщины лба — моя отметина,
И разномыслие внутри...
И воронье, и раздражение,
К тропе припасть бы, все решение,
И поклониться стороне.
Тропе то притча путеводная,
То тишина душе угодная
То счастье, думается мне.
А горе больше постороннее,
Ты воронье шуми нестройное,
Ты и запомни, и учти:
Та сторона — душе родимая,
А та тропа, ты знай, любимая,
О смысле узкого пути...

Счисление жизни умершей,
Судьбы золотистый янтарь...
Кромешно и жутко, поверь же,
Теряться в тебе, календарь.
Ужаснее чувствовать роли,
Мифичные тени, душа...
О жизни, о смерти, старо ли,
Задуматься бы, не спеша.
Освоить обиды значенье —
Гляди, открывая года:
Опасное смерти теченье,
Кипучая жизни вода.
Судьбы мельтешение лисье,
Случайности волчья тцета
И дней календарные листья,
И тьмы роковая черта...

Содержание

Часть первая

Позвящается любимому внуку Богдану	5
Предупреждение	5
От автора	6
Сливовые страдания	8
Странно... ..	8
Террикон	8
Шахта “Лидиевка”	10
Женская баня	11
Забывтая поездка	13
“Кому мороженое...”	14
Забывтые уроки	16
Этикетки	17
Тревога	18
На поляне	20
Воспитание	21
Погоня	23
Черешни	24
Гвозди	26
Большие деньги	27
Кочерыжки	28
Белая лестница	29
Рубильник	30
Хождение в пионеры	31
Странный случай	33
Хенде хох	34
В погребе	35
Горечь	35
Скиталец	37
“Сладкие” папиросы	38
Бревна, доски и бруски	39
Привидение	41
Далекий взрыв	42
Красные уши	43
Восьмилетка 94	44

Уходя в другую школу	45
ДСШ	47
Средняя семьдесят девятая	48
В шалаше	50
На взгорочке	51
Медбрат	52
Баласики	53
Мировой рекорд	54
Азартная душа	55
Свидание	56
“Десантники...”	57
Школьные причуды	59
Анаша	60
Последний звонок	62
У ворот	62
Первый гол	63
Гранаты	64
В армию	66
Рота, подъем!	67
Осторожнее	69
Станция Леонидовка	69
Шестнадцатый спортивный	71
Дерзость	72
Степи оренбургские	73
Таня	75
Ирония судьбы	76
Впечатления	77
3:6	79
Самообразование	80
Медовый месяц	81
Боевое “крещение”	83
Кожвендиспансер	84
Деньги Бороды	85
Евгений Онегин	86
Ничтожество	88
Кефирная сила	89
Мельников-Печерский	90
Заля	91
Мои недостатки	93

Северная Пальмира.....	94
Моя команда	96
Велосипедистка	97
Ящик водки	98
Морская пехота	100

Часть вторая

Гитара.....	102
Людмила	103
Обида	104
Наваждение.....	105
Труссы.....	107
Молитва	108
Трезвое чудо	109
Чудесный голос	110
Еще одно чудо	111
Накануне	111
Отходняк.....	112
В то чудесное утро.....	113
Чудесное превращение	113
Чудесное путешествие	114
Чудесное собрание.....	114
Чудесное возвращение.....	115
Чудесное желание.....	116
Ксендз Владислав, настоятель прихода св. Сымона и св. Елены.....	117
Черная слива	118
Фроттеризм.....	119
Волчий вой.....	120
Встреча с одноклассниками	121
Александра Александровна	123
Кошелек	124
Экономия.....	126
Какая честь.....	127
Стеснение	129
Великое заблуждение	130
Письмо к известному поэту РБ.....	132
Концертные пьесы.....	133

Иди к черту, Чертков!.....	135
Сестра моя любимая	136
Дядя Женя и тетя Лариса.....	138
Меж четырех директоров	139
К деду.....	141
Наташка	142
Во имя человечества	143
Мужские слезы	145
На тракторе	146
Красное удостоверение	148
Букет цветов.....	149
Тайная борьба	150
Влюбленность.....	152
Сумка	153
Шизофрения	155
Энергия	156
Аппетит приходит во время еды	158
Школа ангела	159
Тяга	161
Обеденный перерыв	162
Нобелевская премия	164
Кофе	165
Теологический спор	167
Дневник.....	168
Сестра Галя	170
Воровские мысли.....	171
Пятьдесят долларов.....	172
Паспорт.....	174
Поэт Леонид Голубцов	175
Свидетель.....	177
Учитель.....	178
Забывтый сюжет.....	180
Рано утром	181
Орехи	182
Журналистика	183
Осенний дождь.....	184
Сухой счет	186
Море разлитое	187
Литровая кружка.....	188

Улица Глаголева	189
Маргарита	190
Мокрые майки	191
Перекур	193
Фальшивые абонементы	194
Шансы	195
С легким паром	197
Гонцовский стакан	198
В пути	199
Книги, книги, книги	200
Жодинские переживания	202
Рыжий	203
Больничные листы	204
Сказочный бизнес	205
Тишина	207
Виноградный сок	208
Кавказцы	209
Галина	210
Фигура на простыне	212
Медсестра	213
Приключения	214
А можно было бы	216
У грани честности	217
Рифма	218
Иван Лукьянович	220
Вездесущие стихи	221
Дядя Вася	223
Трамплин	224
В посадке	226
Морская капуста	227
Письма	229
Виктор	230
Червонцы	232
В поезде	233
Бешеный муж	235
Майские жуки	236
Рогатка	237
Психологические миниатюры	239
Падение	240

Хитрость	242
Стресс всех стрессов.....	243
Миниатюры	245

Часть третья

Вступление	248
Сендеры	252
Новиковы	254
Мяу-мяу	256
Гости	257
Принцип	259
Почесуха отроческая	261
Садизм	262
Исповедь по швейцарскому времени	264
Шоколадные перегрузки	265
И был свет	267
Благие намерения	269
Кислички	270
Последние слова.....	272
Музы.....	274
Своеволие	274
Шестой номер	275
Ну же, ножи!.....	275
Аленький цветочек	277
Оденься!	278
Ступени грусти	280
Приятного аппетита	282
О честности и чести	283
Тревожные будни	285
Благословение.....	286
Жена моя любимая	288
Ожидая поезда	289
Деньги не брать	291
Взволнованность	292
Благочиние	292
В бане	293
Освобождение	293

Дзюдо.....	294
Мучения.....	295
Гостинец.....	295
Фантазии.....	296
Где ты была?.....	298

Часть четвертая

В сиянии тьмы и смеха.....	302
Думы воровские.....	303
Чудо гороховое.....	305
Счастье.....	306
Страсти по-французски.....	307
Грозные словеса.....	307
Медовый грех.....	308
Легкая добыча.....	310
Песня.....	312
Не оскудеет рука дающего.....	314
Люк-люк-люк.....	314
Тук-тук-тук.....	316
Пробуждение.....	317
Татарская красавица.....	319
Одни воспоминания.....	320
Ниже пояса.....	322
Что это было.....	323
На выставке.....	325
Седина в голову, бес в ребро.....	326
Темнота.....	328
Три галочки.....	329
Свинарка и пастух.....	331
Страшная женщина.....	332
Божье наказание.....	334
Сны вещие.....	335
Тревожные дымы.....	337
Трезвление.....	339
Дитя мое предрезкое.....	341
Правило.....	343
Круговорот вещей в природе.....	344

Характер	344
Крапивная глушь	348
Тетя Лариса	349
Императрица	350
Не будь свиньей	352
Сны вещи	353
Сны реальные	354
Миша, мойша, моромой	356

Часть пятая

На просторах	360
Страхи сексуальные	361
Вишня, яблоко и дыня	363
Пальто	364
Поиски гарантий	366
В храме	368
Лекарственные травы	369
На малом закате	370
Возьмите меня	372
Футбол у Фурмана	373
Запасной	375
Как спорили Анатолий Юрьевич и Анатолий Никифорович	376
Сто метров	378
Дай милостыню	379
Дом — моя крепость	381
Мини грехи	382
Дурные урны	382
Премиальные	383
Обворовывание	383
Достойная смерть	384
Почтальонка	384
Держи крепче	385
В очереди	386
Восьмерка	386
О храпе	387
Мучительные завтраки	387
Нажмите кнопку	388

У Голубцовых	390
Вы мне звонили?	391
Моя милиция	392
Талант	394
Кофейная гуща	395
Небесный Андрей	397
А ты не бойся	398
Первый сборник	399
Мясо	401
Спеши медленно	402
Признание	403
Непочтительность	405
Страшно	406

Часть шестая

Война	410
Кто главный	411
Телефонные хитрости	412
Страшилки	414
Публикация	415
Мое почтение, Раиса Павловна	417
Иже Анжела	418
Итак, она звалась Татьяна	420
Крепись, Ирина	421
Лика, не буди лихо	423
Думы во сне	424
Саша по прозвищу “большой”	425
Диво из аптеки	426
Света из тьмы	427
Разжалованный	427
Немцы	428
Дед	430
Вспышки памяти	432
Тишина	433
У тети Нади	435
К Додиной	436
На выставке	438

Мамины окна.....	440
Свидание	443
Честность	444
На кладбище	446
Лида	448
Школьный двор	450
Рыбный голод.....	451
Таганка.....	453
Измена	453
Муза в мамином дворе	454
Василенько	455
Вероника.....	456
Мелитополь	457
Красивые буквы	459
Козы и козлы	461
“Я все ждала, я так любила...”	463
К олигархам	465
Режущий предмет.....	467
Домик Чехова.....	468
Невольник чести.....	468
Подарок.....	469
Дожди проливные.....	470
Она ждала и верила	471
Дерьмовая история	472
Ледяные горки.....	473
Унылые столбы.....	473
Медленное время	474
Касса высокого класса	475
По совести.....	476
И я скажу	477
Под кроватью.....	477
Горкомовское свинство	478
Рейтузы.....	479
Богдаша великолепный	480

Литературно-художественное издание

Сендер Анатолий Никифорович

В краю зеркальных отражений

Роман

Ответственный за выпуск А.Н. Вараксин
Компьютерная верстка А. И. Рябков
Корректор И.Ф. Вараксина

Подписано в печать 05.03.09. Формат 84 x 108/32.
Бумага офсетная. Гарнитура "AcademyC".
Усл. печ. л. 26,04. Уч.-изд. л. 15,5.
Тираж 50 экз. Заказ 10.

Издатель и полиграфическое исполнение:
издатель А.Н. Вараксин.
ЛИ № 02330/0131774 от 06.03.2006.
E-mail: editpol@tut.by

ISBN 978-985-6822-96-3



9 789856 822967